

Владимир (Зеев)  
Жаботинский



ИНСТИТУТ ЖАБОТИНСКОГО В ИЗРАИЛЕ  
(ТЕЛЬ-АВИВ)



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КОВЧЕГ»  
(МОСКВА)

**ВЛАДИМИР (ЗЕЭВ) ЖАБОТИНСКИЙ**  
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ





*ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ. 1898*

**ВЛАДИМИР (ЗЕЭВ) ЖАБОТИНСКИЙ**

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

**В ДЕВЯТИ ТОМАХ**

**том второй**

**в двух книгах**

**книга 2**



**ПРОЗА**

**ПУБЛИЦИСТИКА**

**КОРРЕСПОНДЕНЦИИ**

**1902**

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2 Рос = Рус)-44  
Ж12

**Издание осуществляется при спонсорской  
поддержке Фонда Михаила Черного**

**Книга издана при поддержке  
Благотворительного фонда  
«Российский еврейский конгресс»**



**Редакционный совет:**

Йоси АХИМЕИР, Ирина БЕРДАН, Михаил ВАЙСКОПФ,  
Борух ГОРИН, Феликс ДЕКТОР (*главный редактор*),  
Леонид КАЦИС (*научный редактор*), Вольф МОСКОВИЧ,  
Дмитрий РАДЫШЕВСКИЙ (*председатель*),  
Александр ФРЕНКЕЛЬ (*заместитель главного редактора*),  
Александр ФРИДМАН

**Составление и общая редакция Феликса ДЕКТОРА**

**Предисловие Стефано ГАРДЗОНИО**

**Послесловие Леонида КАЦИСА**

**Примечания Ирины БЕРДАН,  
Михаила ЛИПКИНА и Александра ФРЕНКЕЛЯ**

**Жаботинский В. Е.**

Ж12 Полное собрание сочинений в девяти томах. Т. 2. Кн. 2:  
Проза. Публицистика. Корреспонденции, 1902 / Владимир  
(Зеев) Жаботинский. — Минск: МЕТ, 2010. — 792 с.

ISBN 978-985-436-579-4.

Во вторую книгу второго тома Полного собрания сочинений Вла-  
димира (Зеева) Жаботинского входят его фельетоны, рассказы, очерки,  
эссе и рецензии, опубликованные на страницах российских и зарубежных  
периодических изданий в 1902 году.

**УДК 821.161.1-3  
ББК 84 (2 Рос=Рус) -44**

**ISBN 978-985-436-579-4 (т. 2, кн. 2)  
ISBN 978-985-436-550-3**

© Дектор Ф., составление, 2010  
© Гардзонио С., предисловие, 2010  
© Кацис Л., послесловие, 2010  
© ООО «МЕТ», оформление, 2010

## ОТ РЕДАКЦИИ

*Во вторую книгу второго тома ПССЖ<sup>1</sup> вошли все известные нам сегодня произведения Жаботинского, опубликованные в периодических изданиях 1902 года (за исключением стихов, пьес и переводов, которые составляют отдельный том).*

*В конце каждого текста указаны имя (псевдоним) автора, название газеты (журнала) и дата выхода (по старому стилю для российских изданий и по новому — для зарубежных). Постраничные сноски, отмеченные знаком \*, принадлежат автору или редакторам первых публикаций; сноски, пронумерованные цифрами, — редакции ПССЖ.*

*В Приложении собраны произведения 1899–1901 годов, по тем или иным причинам не вошедшие в первую книгу второго тома.*

*Том завершается сводным библиографическим указателем сочинений Жаботинского 1897–1902 годов.*



*Редакция благодарит Ирину Любавину и Григория Ротенберга за дружескую помощь в работе над этой книгой.*

---

<sup>1</sup> Здесь и далее: ПССЖ — Полное собрание сочинений Владимира (Зеева) Жаботинского в девяти томах.



## *Жаботинский итальянского периода*

Если есть у меня духовное отечество,  
то это Италия, а не Россия.

*В. Жаботинский*

Трудно сказать, насколько эта фраза соответствует действительности, но пребывание в Италии, несомненно, сыграло исключительную роль в том, что Жаботинский «стал Жаботинским».

Друг его юности Николай Корнейчуков (он же Корней Чуковский) описывает вернувшегося из Италии Жаботинского «лучезарным, жизнерадостным» человеком, полным радости, энергии, новых идей. «От него первого я узнал о Роберте Бруннинге, о Данте Габриел Россетти, о великих итальянских поэтах. Вообще, он был полон любви к европейской культуре, и мне порой казалось, что здесь главный интерес его жизни», — писал Корней Иванович много лет спустя<sup>1</sup>.

Владимир с детства учился языкам, много читал, в десять лет уже сочинял стихи, хотя по-настоящему писать «начал лет с четырнадцати от роду»<sup>2</sup>. О своих первых шагах на литературном поприще Жаботинский впоследствии вспоминал: «Я перевел на русский язык „Песнь песней" и „В пучине морской" И. Л. Гордона и послал их в „Восход" — не напечатали. Перевел „Ворона" Эдгара Аллана По и послал в „Северный вестник", русский ежемесячный журнал в Петербурге, — не напечатали.

<sup>1</sup> К. Чуковский — Р. Марголиной: [Письмо от 12.09.1965] // Рахель Павловна Марголина и ее переписка с Корнеем Ивановичем Чуковским. Иерусалим, 1978. С. 20–21.

<sup>2</sup> Владимир Жаботинский: опыт автобиографии / Публ. Х. Фирина [В. Кельнера] // Вестник Евр. ун-та в Москве. 1993. № 3. С. 215.

Написал роман, название и содержание которого я не помню, и послал его русскому писателю Короленко, и он из вежливости ответил мне, то есть посоветовал „продолжать". Не считать всех рукописей, что я посылал редакторам и получал назад — или не получал — в возрасте между тринадцатью и шестнадцатью годами. Я уже отчаялся в своей будущности, уже страшился, что мне написано на роду быть адвокатом или инженером. Однажды я случайно развернул ежедневную одесскую газету и нашел в ней статью под названием „Педагогическая заметка"<sup>1</sup>. Моя статья!»<sup>2</sup>

Живший тогда в Одессе поэт Александр Федоров увидел его перевод «Ворона» Эдгара По (кстати, этот перевод по сей день считается одним из лучших) и включил в готовящийся сборник «Наши вечера»<sup>3</sup>. Он же познакомил Владимира с редактором газеты «Одесский листок».

Начинающий литератор спросил, может ли он рассчитывать на публикацию своих корреспонденций из-за границы, на что редактор ответил: «При двух условиях: если вы будете писать из столицы, в которой у нас нет другого корреспондента, и если не будете писать глупостей». У него были корреспонденты во всех европейских столицах, за исключением Берна и Рима. Мама просила: «Только не в Рим! Поезжай с Богом, раз ты уж решил оставить гимназию, но на худой конец в Берн, там среди студентов есть дети наших знакомых»<sup>4</sup>.

Так получилось, что Жаботинский бросил гимназию, несмотря на все те перспективы, которые она открывала в тогдашней России для еврея: «...мне атмосфера гимназии опротивела, и я решил оставить ее при первой же возможности, даже не закончив курса. Жестоко боролся я за это решение с членами своей семьи, родственниками и знакомыми. Молодой читатель не поймет, что значила „гимназия" в глазах еврейского общества сорок лет тому назад: аттестат зрелости — университет — право жительства вне „черты", — короче

<sup>1</sup> См.: *Вл. И.* Из детского мира: Педагогическая заметка // Южное обозрение. Одесса, 1897. 11 сент. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 27–29).

<sup>2</sup> *Жаботинский В.* Повесть моих дней / Пер. с иврита Н. Бартмана // Жаботинский В. О железной стене. Минск, 2004. С. 467.

<sup>3</sup> См.: Наши вечера: Лит.-худож. сб. Вып. 1. Одесса, 1903. С. 62–65. См. также: Чтец-декламатор. Т. 2. Киев, 1905. С. 175–180; Т. 4. Киев, 1909. С. 19–23.

<sup>4</sup> *Жаботинский В.* Повесть моих дней. С. 467.



говоря, человеческая, а не собачья жизнь. А я уже ученик седьмого класса, еще полтора года, и я смогу надеть синюю фуражку и черную тужурку студента»<sup>1</sup>.

Некоторые исследователи считают, что Жаботинский был исключен из Ришельевской гимназии за участие в рукописном журнале<sup>2</sup>. Сам он такую версию решительно опровергал: «...среди прочих волшебных сказок, которыми незаслуженно разукрасили летопись моей жизни, слышал я и такую, будто меня „исключили“ из гимназии. Боюсь, что если бы я не оставил тогда ее, в конце концов меня бы действительно выгнали, но случайно я ушел из нее по своей доброй воле еще до этого неотвратимого события»<sup>3</sup>.

Не исключено, что Жаботинский несколько романтизирует свою биографию: семнадцатилетний гимназист, мечтающий стать писателем, расстается со школой, с родными и отправляется в дальние страны...

Так или иначе, но весной 1898 года Жаботинский уезжает в Швейцарию.

Поезд шел через Подолию и Галицию, останавливаясь во всех местечках по пути следования, и на каждой станции в вагон входили евреи. «...Впечатление было сильным и горестным, — вспоминал Жаботинский. — В поезде я впервые соприкоснулся с гетто, своими глазами увидел его ветхость и упадок, услышал его рабский юмор, который довольствовался вышучиванием ненавистного врага вместо бунта... Теперь, состарившись, я научился различать под покровом этого пресмыкательства и насмешки достаточную степень гордости и смелости; тогда я не знал этого, тогда я склонял голову и молча вопрошал себя: и это наш народ?»<sup>4</sup>

Записавшись на юридический факультет Бернского университета, Жаботинский начал зарабатывать на жизнь и учебу корреспонденциями для одесских изданий. Здесь на лекциях профессора Рейхсберга юноша впервые познакомился с уче-

<sup>1</sup> Жаботинский В. Повесть моих дней. С. 467.

<sup>2</sup> См.: Фирин Х. [Кельнер В.]. Жаботинский // Русские писатели, 1800–1917: Биограф. словарь. М., 1992. Т. 2. С. 250. Исследователь основывается на обнаруженном им мемуарном тексте (см.: Гимназисты: Владимир Жаботинский и Корней Чуковский в воспоминаниях Льва Когана / Публ. Х. Фирина // Народ мой. Л., 1991. 17 февр.).

<sup>3</sup> Жаботинский В. Повесть моих дней. С. 467.

<sup>4</sup> Там же.

нием Маркса. Постепенно он сблизился с «русской колонией», состоявшей в большинстве своем из евреев.

«Дважды в неделю собирались сходки в колонии, на которых, как правило, велись споры между фракциями Ленина и Плеханова или между „эсдеками“ и „эсерами“... <...> Однажды колонию посетил Нахман Сыркин и много говорил о слиянии сионизма и социализма. Он не нашел большого числа приверженцев, потому что среди нас было еще мало сионистов. Но мне хорошо запомнилась эта беседа, ибо я тоже выступил с речью... Я говорил по-русски примерно так: не знаю, социалист ли я, ибо я еще не познакомился как следует с этим учением, но то, что я сионист, — несомненно. Ибо еврейский народ очень скверный народ, соседи ненавидят его — и поделом, изгнание его ожидает, Варфоломеевская ночь, и его единственное спасение в безостаточном переселении в Палестину. <...> Видно, впечатления от поездки через Галицию проникли в самую глубь моей души!»<sup>1</sup>

В Берне Жаботинский написал и вскоре опубликовал в петербургском журнале свое первое сионистское стихотворение «Город Мира»<sup>2</sup>.

Осенью 1898 года он перевелся в Римский университет и покинул Швейцарию. Удивляет не только сам переезд (вспомним, что мать была против Рима), но и быстрота, с которой неоперившийся студент-иностранец установил необходимые контакты и в совершенстве овладел итальянским. Едва успев попасть в новую для себя страну, он напишет: «Флоренция говорит на чистом, прекрасном итальянском языке. В Болонье я покупал жареные каштаны... у крестьянки из Тосканы, которая говорила безукоризненно красиво и правильно»<sup>3</sup>. Через много лет Жаботинский будет вспоминать: «Тогда, в дни моей молодости, я говорил по-итальянски, как итальянец, жители Рима принимали меня за уроженца Милана, а сицилианцы за римлянина, но не за чужеземца. Между моими и их мыслями, реакциями, выражениями радости и гнева и повседневными привычками не было никакого различия»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Там же. С. 470.

<sup>2</sup> См.: *Эгал*. Город Мира: Древнее сказание // *Восход*. СПб., 1898. № 11. С. 142–144.

<sup>3</sup> *Эгаль*. С дороги // *Одесский листок*. 1898. 30 нояб. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 87).

<sup>4</sup> *Жаботинский В.* Повесть моих дней. С. 477.

Интересно отметить, что в 1911 году, когда Жаботинский будет переводить с иврита на русский прозаическую поэму Хаима-Нахмана Бялика «Свиток о пламени», он переложит ее текст силлабическим стихом, построенным по образцу итальянского эндекасиллаба<sup>1</sup>.

Жаботинский прожил в Италии три года и писал впоследствии: «Все свои позиции по вопросам нации, государства и общества я выработал под итальянским влиянием. В Италии научился я любить архитектуру, скульптуру и живопись... В университете моими учителями были Антонио Лабриола и Энрико Ферри, и веру в справедливость социалистического строя, которую они вселили в мое сердце, я сохранил как „нечто само собой разумеющееся“, пока она не разрушилась до основания при взгляде на красный эксперимент в России. Легенда о Гарибальди, сочинения Мадзини, поэзия Леопарди и Джустини обогатили и углубили мой практический сионизм и из инстинктивного чувства превратили его в мировоззрение»<sup>2</sup>.

Итальянский поворот в жизни Жаботинского вызывает массу вопросов. Во-первых, не владел ли он итальянским до того, как попал в Рим? Этот язык был достаточно распространен в Одессе того времени, а юноша, несомненно, обладал задатками полиглота. Во-вторых, случайно ли он выбрал Рим? Напомним, что именно в Италии происходит оживление общественно-политической мысли конца XIX — начала XX века. Здесь развивает и пропагандирует марксистские идеи университетский профессор Жаботинского, видный философ и теоретик марксизма Антонио Лабриола. И, в-третьих, мог ли двадцатилетний россиянин, пусть даже мгновенно освоивший итальянский язык, пробиться на первую страницу газеты итальянских социалистов и печататься в престижных литературных журналах<sup>3</sup>, не имея каких-то особых связей?

---

<sup>1</sup> См.: *Гаспаров М. А.* Итальянский стих: Силлабика или силлабо-тоника? // Проблемы структурной лингвистики, 1978. М., 1981. С. 214.

<sup>2</sup> *Жаботинский В.* Повесть моих дней. С. 471.

<sup>3</sup> См.: *Giabotinski V.* La rivolta russa: L'atteggiamento del pubblico in Russia // *Avanti!* 1901. 10 apr.; *Idem.* Cosa sono e cosa vogliono gli studenti russi // *Avanti!* 1901. 16 apr.; *Idem.* Tolstoj allo zar // *Avanti!* 1901. 17 apr.; *Idem.* Anton Cekhof e Massimo Gorki: L'impressionismo nella letteratura russa // *Nuova Antologia.* Roma, 1901. Vol. 96. P. 722–733; *Idem.* Mitologia russa // *Roma Letteraria.* 1902. N. 21/22 (10–25 novembre). P. 391–393.

Дважды в неделю, а то и чаще Жаботинский отправлял сначала в «Одесский листок», а затем в «Одесские новости» статьи, рассказы, очерки, посвященные политической, социальной и культурной жизни Италии. Подробно писал он об итальянской сцене и ее прославленных актерах — Томмазо Сальвини, Эрнесто Росси, Аделаиде Ристори, Элеоноре Дузе, Джачинте Гвальтьери, Эрмете Новелли и Эрмете Дзаккони. Параллельно периодически писал на те же темы и в петербургском «Северном курьере»<sup>1</sup>.

В одесских газетах Жаботинский подписывал свои итальянские корреспонденции Эгаль и Altalena, причем последний псевдоним стал его вторым именем. Потом Жаботинский объяснял, что выбрал его «по смехотворной случайности»: дескать, он еще недостаточно владел итальянским и полагал, что «altalena» переводится как «рычаг», тогда как на самом деле это «качели»<sup>2</sup>.

Не слишком убедительное объяснение, принимая во внимание, что псевдоним возник после того, как Жаботинский прожил в Риме без малого полтора года, и в тогдашних его работах, написанных по-итальянски, можно встретить весьма изысканные слова и обороты. Но если даже допустить, что он действительно ошибся, то почему же не сменил «Качели» на «Рычаг», когда обнаружил «ошибку»?

Надо полагать, был для него в этом слове определенный смысл. «Мой псевдоним и жизнь моя — „Качели“», — напишет пятидесятилетний Жаботинский в стихотворении «Мадригал», вспоминая все свои скитания, «все родины, все десять языков»<sup>3</sup>.

Весной 1899 года Владимир «поехал в Одессу держать экзамен на аттестат зрелости со своими однокашниками, но провалился по очень важному предмету — по древнегреческому языку»<sup>4</sup>.

Надо полагать, в Италии у Жаботинского было много неотложных дел: он тут же возвращается в Рим, чтобы там про-

---

<sup>1</sup> См. об этом: *Кацис Л.* О псевдонимах раннего Жаботинского // ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 715–728.

<sup>2</sup> См.: *Жаботинский В.* Повесть моих дней. С. 477.

<sup>3</sup> *Жаботинский В. (Altalena).* Стихи: Переводы — плагиаты — свое. Париж, 1931. С. 113–114.

<sup>4</sup> *Жаботинский В.* Повесть моих дней. С. 477.

должить свои занятия — причем, «вне университета больше, чем в нем»<sup>1</sup>.

Впечатления Жаботинского от Италии были разносторонними. Это — университетская среда, мир культуры и политической жизни, а наряду с этим — ежедневное бытовое общение с людьми. Были контакты и с «русской колонией», но Жаботинский почему-то не любил говорить об этом (достаточно вспомнить резкое и в то же время неточное утверждение: «В Риме не было никакой русской колонии»<sup>2</sup>).

В своих рассказах и очерках он часто делится впечатлениями о встречах с простыми людьми, представителями различных слоев итальянского общества. И в то же время довольно скупно пишет о контактах с такими деятелями итальянской культуры и политики, как Энрико Ферри и Антонио Лабриола.

«Энрико Ферри я лично не знал, но он оказал еще большее влияние на мой ум, чем Лабриола. Официально его курс в университете назывался „Уголовное право“, то есть был посвящен учению о преступлении и наказании, но его лекции отличались поистине энциклопедической широтой, охватывая ближнее и дальнее, явное и тайное, общество, душу, наследственное право, материю и дух, переустройство общества, литературу, искусство и музыку. <...> ...Не было проблемы, которой мы ни занимались бы в кружке Лабриолы или в своем студенческом кругу — от положения негров в Америке до поэзии декадентов, кроме единственного вопроса, которого мы никогда не касались, — еврейского вопроса. Помню, однажды вечером, в ходе спора о тех же декадентах, Лабриола подверг резкой критике книгу Макса Нордау „Вырождение“ и припомнил при случае несколько других грехов автора, но и на сей раз обошел молчанием его самый большой грех — сионизм. Не умышленно — забыл, и все мы забыли, забыл и я. Не было тогда в Италии не только *антисемитизма*, но и вообще не было никакого выработанного *отношения* к евреям, как не было установившегося *отношения* к бородачам»<sup>3</sup>.

Известно также, что Жаботинский посещал семинар Чезаре Ломброзо, а в качестве журналиста присутствовал на всевозможных встречах, конференциях, конгрессах, спектаклях, концертах, расширяя таким образом контакты с миром итальянской культуры и политики, о чем красноречиво

<sup>1</sup> Жаботинский В. Повесть моих дней. С. 477.

<sup>2</sup> Там же. С. 471.

<sup>3</sup> Там же. С. 474.

свидетельствуют его статьи, рецензии, обзоры, печатавшиеся в одесских газетах.

В первом же итальянском репортаже мы находим интересные литературные замечания, например: «...во всех — по крайней мере, русских — стихотворениях, посвященных Венеции, „гондолу“ обязательно рифмуют с „баркаролой“». К слову сказать, рифмуют совершенно некстати, потому что по-итальянски говорится не *гондо́ла*, а *го́ндола*, что даже одеситам не показалось бы рифмой к слову „баркарола“»<sup>1</sup>.

Любопытно, что такое же внимание к правильному ударению в этом слове мы находим у Пастернака. Во второй редакции его стихотворения «Венеция» читаем: «И го́ндолы рубили привязь, / Точа о пристань тесаки», — с примечанием автора: «в отступление от обычая, восстанавливаю итальянское ударение»<sup>2</sup>.

Вряд ли можно говорить о прямом влиянии статьи Жаботинского на Пастернака, но необходимо отметить, что тема «Пастернак, Жаботинский и Италия» нуждается в дальнейшем исследовании, особенно в связи с пьесой Жаботинского «Министр Гамм (Кровь)»<sup>3</sup>, написанной по мотивам одноименной драмы Роберто Ломбардо<sup>4</sup> и в сентябре 1901 года представленной на сцене Одесского городского театра.

Через тридцать с лишним лет Жаботинский напишет: «Кто поверит теперь, что в дни своей молодости я сочинил пацифистскую пьесу, против войн вообще и против Англии в частности? Я писал ее еще в Риме: тему, связанную с бурской войной, я взял из рукописи одного из своих друзей (он — Гоффридо в моем рассказе „Диана“), но изменил сюжет, ввел новые лица и т. д. и т. п.: три действия в стихах!»<sup>5</sup>

Ранний рассказ Жаботинского «Диана» не свободен от литературности и декадентства, но, как и многие его тексты,

<sup>1</sup> Эгаль. С дороги // Одесский листок. 1898. 30 нояб. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 86).

<sup>2</sup> Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Л., 1990. Т. 1. С. 80.

<sup>3</sup> См.: *Altalena*. Министр Гамм (Кровь): В 3 карт. Одесса, 1901.

<sup>4</sup> См.: *Lombardo R. Sangue: Dramma sociale*. Catania, 1899. Кстати, Ломбардо, откровенно подражавший Горькому, был последователем революционного синдикализма и познакомил Жаботинского с лидером этого движения Артуро Лабриолой. Имя Лабриолы Жаботинский упоминает в корреспонденциях июля–августа 1901 года (см.: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 493, 495, 505–507, 510).

<sup>5</sup> *Жаботинский В.* Повесть моих дней. С. 481.

носит явно автобиографический характер. Так, мы узнаём, что прототипом Гоффредо был молодой сицилийский революционер Роберто Ломбардо.

Итальянские репортажи Жаботинского знакомят одесских читателей с важнейшими событиями повседневной жизни страны: от празднования юбилейного года католической церкви Anno Santo и покушения на короля Умберто I — до реформ несомненно талантливого министра народного просвещения Гвидо Баччелли и действий главы кабинета министров, яркого ретрограда генерала Луиджи Пеллу; от парламентских дебатов по поводу амнистии или обсуждения проблем, связанных с сицилийской мафией и неаполитанской каморрой, — до роли масонства в итальянском обществе, похорон народного любимца Феличе Каваллотти и подвигов герцога Аbruццско-го... Особое внимание журналист уделяет итальянской литературе и прежде всего драматургии и театру, он регулярно пишет об итальянских актерах (Новелли, Бенини, Дзаккони и др.) и драматургах (от Энрико Бутти до Габриеле Д'Аннунцио). Жаботинский детально описывает музыкальную жизнь Италии (роль и значение Дж. Верди, новые оперы Пуччини, Масканьи). Вращаясь в университетских кругах, он информирует российскую публику о проблемах современного права и открытиях ученых. Достаточно упомянуть его статьи о книге профессора Дзуккарелли «Антропология в деле Дрейфуса—Золя», о работах Анджело де Губернатиса и выступлениях Раффаэло Джованьоли. Некоторые корреспонденции Жаботинского опираются на сообщения итальянских газет и журналов, но, как правило, он сам находит и интерпретирует информацию. Его интересует жизнь итальянского еврейства (что позднее в «Повести моих дней» он будет отрицать), а также деятельность итальянских левых (от Артуро Лабриолы до Феличе-Джужффрида).

Большое внимание Жаботинский уделяет жизни простых римлян и их говору «романеско», как, впрочем, и неаполитанскому наречию. Его познания в области городского фольклора и диалектной лексики проявляются, например, в немудреной песенке, включенной в одну из корреспонденций: «*L'aurora é ggìa spuntata, / Iso nnate le viole, / Ma nun rinasce er zole / Sin nun t'affacci tel!*»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Altalena*. Рим. Уличная жизнь // Одесские новости. 1901. 1 марта (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 434).

Он часто пишет о связях Одессы с Италией и ее культурой, подробно рассказывает о хорошо известных одесситам актерах, музыкантах и спектаклях, например об актрисе Джачинте Пеццане-Гвальтьери или спектакле «Люцифер» по пьесе Энрико Бутти. В рассказе «Ницца la Bella» Жаботинский приводит отрывок из сонета одесского итальянца Пеццолы: «*Melodiosa nel dire, i cori assale, / Mentre virtù nel labbro suo non mente; / Casta nel cor, par che d'amar si pente — / E ad inebbiare ogni mortal poi vale*»<sup>1</sup>.

Что касается русских в Италии, Жаботинский сообщает, что живут они «совершенно отдельно и независимо друг от друга и почти между собою не знакомы; нет у них здесь поэтому никакого учреждения, вокруг которого могла бы группироваться русская колония в Риме, — например читальни»<sup>2</sup>. Лет пятьдесят тому назад, продолжает он, было «caffè Grecso... где по традиции собирались все приезжавшие сюда русские: здесь можно было видеть Гоголя, Иванова, Боткина, Тургенева, Толстых, Брюллова. Кофейня процветает и до сих пор, но русского в ней ничего нет... Русской речи здесь уже не слышно; место русских заняли поляки... Вообще о русских здесь не слышно: едва знают по имени художника Степанова, а ведь кроме него здесь больше двадцати пяти лет живут и братья Сведомские, и Бакалович, и Риццони... Здесь же годами проживает проф. Модестов, но не слышно и о нем... Словом, есть проживающие русские, но нет русской колонии, даром что на *via Sistina*, на доме, где Гоголь писал „Мертвые души“, есть мраморная доска от этой самой несуществующей „русской колонии“. Следовало бы поспешить с устройством здесь академии для молодых русских художников по примеру всех цивилизованных и крупных государств Европы. <...> ...Теперь... здесь о России больше заговорили и благодаря слухам о новом тройственном союзе, и благодаря другим обстоятельствам, особенно благодаря М. Горькому, которого усердно переводят. Тут бы и постараться, тут бы и объединиться интеллигентным россиянам, проживающим в Риме, чтобы сообща устроить открытые чтения о новой (не худо бы и о старой) русской литературе, руководить переводчиками в выборе произведений, добиваться

<sup>1</sup> Вл. Эгаль. Ницца la Bella // Одесский листок. 1899. 4 нояб. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 209).

<sup>2</sup> *Altalena*. Рим. Русская колония в Риме // Одесские новости. 1901. 2 июня (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 472).



своим коллективным весом постановки на здешних сценах Островского, Чехова...»<sup>1</sup>

Журналист предлагает использовать для этого русский дом на *via delle Botteghe Oscure*: выделить там два-три зала и какую-нибудь приличную сумму на основание русской читальни, вокруг которой могла бы группироваться русская колония, создать комитет для организации лекций русского языка, русской литературы, русского искусства. «Столичной печати, — заключает Жаботинский, — следовало бы осветить... то обстоятельство, что относительная новизна учреждения нисколько не умаляет его безусловной пользы со всех точек зрения, особенно в момент, когда духовное сближение между Россией и Италией так легко достижимо на почве признаков политического сближения»<sup>2</sup>.

Несмотря на заявленное Жаботинским отторжение от русской колонии, он уделяет внимание жизни русских художников в Италии, опередив тем самым М. Осоргина, А. Амфитеатрова, М. Первухина и других русских писателей и журналистов, которые начнут описывать Италию лишь после Первой русской революции. Так, Жаботинский знакомит читателей с живущими в Риме братьями Сведомскими, Е. Краснушкиной, А. Степановым, Г. Семирадским, А. Риццони и другими художниками. В рассказе «Чочара» описана история юной крестьянки, простодушно позирующей ню русскому художнику. Сойдясь с польским мистиком, она принялась умолять художника уничтожить недописанную картину и в конце концов утопилась<sup>3</sup>.

В ранних рассказах Жаботинского причудливо сочетаются репортаж, фельетон, рецензия и художественная проза. Порой автор откровенно заимствует чужой сюжет. Так, в примечании к рассказу «Буря» он сообщает, что использовал сюжет драмы Л. Р. Монтени «*Tempesta*»<sup>4</sup>.

В ряду собственно беллетристических произведений можно выделить рассказы «Невежа» (о писателе, который бежит от пошлости своей прежней среды); «Ницца *la Bella*»

---

<sup>1</sup> *Altalena*. Рим. Русская колония в Риме // Одесские новости. 1901. 2 июня (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 472).

<sup>2</sup> Там же. С. 474.

<sup>3</sup> Там же. С. 472.

<sup>4</sup> См.: *Вл. Эгаль*. Буря // Одесский листок. 1899. 12 апр. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 188).

(эпизод из жизни Александра Сергеевича — поэта, высланного в Одессу «в наказание за какие-то выходки в Петербурге или Москве»); моральную притчу «Правда», а также рождественские рассказы «Одна минута» (о жертве несчастного случая, виновником которого, как выясняется, был сам рассказчик) и «Святки в Италии. „Мео“» (приключения говорящей куклы и маленького чистильщика обуви)<sup>1</sup>.

Осенью 1903 года Жаботинский опубликовал в «Одесских новостях» три очерка под общим названием «Гетто»<sup>2</sup>, вышедшие затем отдельной брошюрой с посвящением «всем недругам Сиона» (недрузьями автор называл тех, кто призывает к ассимиляции евреев)<sup>3</sup>. В этих очерках мастерски сочетаются сарказм и лаконичность изложения, характерные для Жаботинского-публициста. Образы обитателей римского гетто и представителей нееврейского большинства отличаются тонким психологизмом и глубоким пониманием языковых и культурных особенностей итальянского общества. Читатель не найдет здесь элементов литературности или эстетизма, свойственных до известной степени сборнику стихотворных и прозаических опытов раннего Альталены «В студенческой богеме», куда вошли пять новелл о студенческой жизни («Вместо вступления», «Studentesca», «Харчевня студентов», «Бичетта», «Amoureuse trinité»), юношеская поэма «Шафлор» и маленькая комедия «Гейша»<sup>4</sup>. В 1930 году «Харчевня студентов» (переименованная в «Тратторию студентов»), «Studentesca» (под новым названием «Via Montebello, 48»), «Бичетта» и более поздняя новелла «Диана» составят итальянский цикл, открывающий парижский сборник «Рассказы»<sup>5</sup>. Перед нами

<sup>1</sup> См.: *Altalena*. Невежа // Одесские новости. 1900. 23 дек. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 365–371); *Вл. Эгаль*. Ницца la Bella // Одесский листок. 1899. 4 нояб. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 204–214); *Он же*. Правда // Одесский листок. 1899. 15 мая (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 195–199); *Altalena*. Одна минута // Одесские новости. 1900. 28 дек. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 375–378); *Вл. Эгаль*. Святки в Италии. «Мео» // Одесский листок. 1898. 25 дек. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 113–121).

<sup>2</sup> См.: *Altalena*. Вскользь. Гетто // Одесские новости. 1903. 12 окт.; 18 окт.; 29 окт.

<sup>3</sup> См.: *Жаботинский В.* Чужие!: Очерки одного «счастливого» гетто. Одесса, 1903.

<sup>4</sup> См.: *Altalena*. В студенческой богеме. Одесса, 1903.

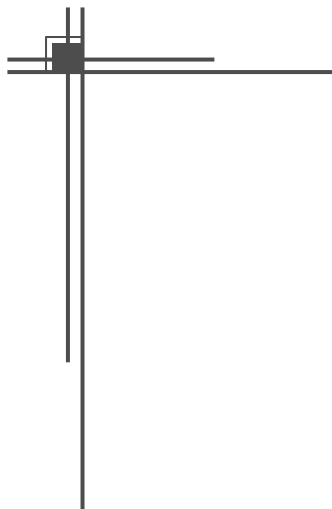
<sup>5</sup> См.: *Жаботинский В.* Рассказы. Париж, 1930. С. 11–85 (также: ПССЖ. Т. 1. С. 453–500).

ряд текстов, отмеченных элементами экзотики и ницшеанства начала XX века. В то же время в них присутствует бережное отношение к итальянским реалиям (например, переведенная русскими стихами серенада Дзини в рассказе «Via Montebello, 48»).

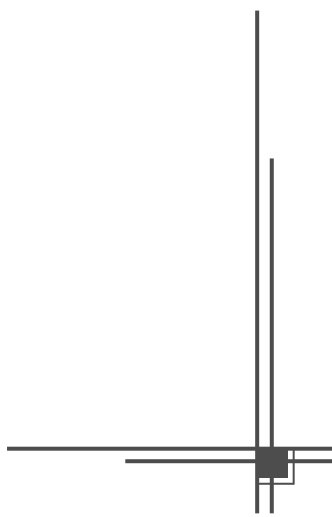
Этот небольшой корпус русской прозы свидетельствует, с одной стороны, о развитии литературного мастерства молодого Жаботинского, а с другой — о роли Италии и итальянской культуры в формировании взглядов будущего вождя и реформатора сионистского движения.

**Стефано Гардзонио**

*(Флоренция–Пиза)*



**ПРОЗА**  
**ПУБЛИЦИСТИКА**  
**КОРРЕСПОНДЕНЦИИ**  
1902







# Вскользь

## МИРАЖ

В этот день принято уверять друг друга, будто наступил новый год и принес с собой новое счастье. Очевидно, у людей много старого счастья, и оно им уже надоело.

Повинуюсь обычаю. Прочтите, если вам не скучно, эту ша-раду в картинах. И, если вам не лень, разгадайте ее.

В ней мое поздравление с Новым годом и новым счастьем.

Мое первое.

• ◆ •  
Пустынная, бесплодная долина затоплена черной темно-тропической ночи.

Из черной темноты слабо вырываются чьи-то стоны. Два и три раза поднимаются они с земли, и никто их не слышит.

— Облегчите мои муки — я сойду с ума от этой боли — пусть придет кто-нибудь облегчить мои муки, если есть еще милосердие на свете!..

Белая женская фигура бледно вырисовывается в черной темноте.

— Кто там стонет? Где вы?

Минута молчания — и потом голос, исковерканный мукой и злобой, отвечает:

— Вы говорите по-нашему, но я узнаю ваше произношение. Вы — из пришельцев. Я не хочу вашей помощи. Уходите.

— Я перевяжу вашу рану и уйду.

— Я не хочу вашей помощи. Я и без вас не один. Рядом со мною лежит много моих братьев, убитых вашими братьями в сегодняшней битве. И, верно, еще больше ваших братьев, убитых моими братьями в сегодняшней битве. Я не одинок!

Снова минута молчания — и из черной темноты грустно слышится серебристый голос женщины в белом:

— Я ищу здесь одного из моих братьев. Утром, уходя на битву, он поцеловал мои волосы и сказал: «Малютка, сегодня вечером мы вместе встретим Новый год». Но он не вернулся. Может быть, вы слышали здесь еще чьи-нибудь стоны, кроме ваших?

— Я не слышал больше ничьих стонов, кроме своих.

Снова минута молчания — и еще тише прежнего, еще печальней прежнего слышится голос женщины в белом:

— Я перевяжу вашу рану... Можно?

— Перевяжите мою рану, сестрица. Боже! Что за муки... Так. Спасибо. Мне легче, сестрица.

Из черной темноты, откуда-то издалека, доносится тяжелый гул одинокого пушечного выстрела и надолго наполняет своим ужасом черную темноту.

— Полночь. С Новым годом, сестрица!

Снова минута молчания — и вдруг в неумирающий гул пушечного выстрела врезается вопль женщины в белом:

— Боже! Ты, всеведущий! Ты, всезрящий, разве Ты не слышишь, как земля всеми голосами своими умоляет Тебя облегчить ее муки — перевязать ее раны? Ты, всеведущий, Ты, всезрящий, разве Ты не знаешь, *чего* ей недостает, ей, богатой и золотом нив, и золотом россыпей? Отзовись же в эту великую ночь! Открой в эту великую ночь, оттуда, с Твоего торжественного Неба, открой людям, *чего* недостает этой окровавленной земле, чтобы прогремело в эту великую ночь слово Твоего ответа по всем окраинам мира!

Снова минута молчания, и снова, и снова, и снова минуты молчания — и из черной темноты не доносится Божий отклик.

Только мертвое эхо насмешливо повторяет то слово, в котором открыто, *чего* недостает земле, богатой и золотом нив, и золотом россыпей.



Мое второе.

Деревянный потолок над головою, стены сдвинуты, как стены темницы, и все-таки в углах совсем темно. В окно, закрытое досками, плюет ночная вьюга.

На скамье лежит ребенок и смотрит на свою мать. Она прядет багровыми пальцами, старое веретено вертится и жужжит.

— Мама.

— Что?

— Когда будет новый год?

— Завтра утром — уже Новый год.

— Хорошо, я подожду. Ты мне дашь покушать в новом году?

— Да.

И жужжит веретено.

— Мама.

— Что?

— Папа придет в новом году?

— Придет.

— Он вернется к нам?

— Вернется.

— И нам будет опять хорошо?

— Будет.

Веретено жужжит тупо, уныло, однозвучно.

— Мама.

— Что?

— Отчего всякий раз, как я тебя спрашиваю, ты все даешь разные ответы, а веретено в это время тянет одно и то же, одно и то же, словно оно дразнится над тобой и надо мной?

Мать молчит, а веретено жужжи-и-ит... тупо, уныло, однозвучно.

— Мама.

— Что?

— Мама... Я боюсь попросить.

— Не бойся.

— Мама... Ты не можешь перестать работать, чтобы веретено замолчало и перестало дразниться?

— Не могу.

И жужжит веретено, тупо, уныло, однозвучно, бесконечно...



Мое целое.

Желтый полдень обливает раскаленным дыханием желтую пустыню.

Караван остановился.

— Дальше я не могу идти.

— Я тоже не сделаю ни шагу. Я измучен.

— Я ложусь тут же. Я устал. Я не пойду дальше.

Путники бросаются на желтый песок.

Тишина смерти.

Вдруг раздался возглас:

— Смотрите! Смотрите в ту сторону!

— Где?

— Что?

— Вон там, там, на востоке!

— Боже!



— Мы спасены!

— В дорогу! Скорей!

— Да, да! Это — знаменитое озеро Лисса, я ведь знал, что оно должно быть где-то здесь, помните, я ведь вчера как раз говорил кому-то из вас об этом?

— Да, да, мне!

— И мне! Помню. Ты говорил, что на его берегах растут плодовые деревья?

— И что там трава растет выше всадника?

— Скорей! В дорогу!

Звучный, резкий голос покрывает все эти голоса:

— Стойте!

— Что такое, старший?

— Я хочу вам напомнить то, что было в прошлый и запрошлый раз. Мы видели вдали такие дивные картины, как теперь, — один из вас точно так же уверял, что то было озеро Лисса, по берегам которого теснятся плодовые деревья и трава ростом выше всадника, а другие точно так же поддакивали ему, как теперь. Но едва мы направлялись в ту сторону, все исчезало, и мы опять оставались среди беспредельной желтой пустыни.

Все голоса яростно отзываются:

— Старший! Иди за нами или мы тебя бросим.

Старший говорит:

— Я иду за вами. Кто знает? Может быть...

Караван уходит...

*Altalena*

*Одесские новости. 1.01.1902*



## **Вскользь**

### **ЗАМЕТКИ ЧУЖИМ СТИЛЕМ**

Почему пьют люди, когда им пить вовсе не хочется?

Интереснейшая психологическая задача.

У обыкновенного человека для вина есть внутренняя мерка.

Выпил столько-то, и казалось вкусно.

Теперь больше не хочется — каждая новая капля вина проходит в горло силком, неприятная, точно рыбий жир.

Это значит — довольно, потому что теперь, если не остановишься, начнешь пьянеть больше того, сколько позволяют приличие и эстетика.

Но человек сидит и пьет. Неприятно — и никто, собственно, не заставляет, а он сидит и пропирает себе в горло эту жесткую, терпкую жидкость.

Как будто бы из чувства долга.

Ах, mon Dieu!<sup>1</sup> В этой жизни так необходима искренность — даже для пьянства.

Хорошо, вероятно, *искреннему* пьянице.

Пьет, испытывая физическое удовольствие, потому что ему пить вкусно, — в ощущениях пьяного состояния приятность — и когда идет домой, то без ложного стыда делает зигзаги и от всего сердца декламирует:

— Есть на Волге утес...

*Миким гохом* оброс...



Господа, какие у вас проекты на Новый год?

С Нового года, как известно, все люди начнут совершенно новую жизнь.

По крайней мере, они твердо решили начать новую жизнь.

Все они теперь намерены правильнее распределять отныне свои дни.

Во-первых, вставать рано. А для этого, конечно, не ложиться позже полуночи.

Ночные кутежи отныне будут допускаться только по одному разу в неделю.

Курение будет прекращено или сведено до трех папирос в сутки: после завтрака, обеда и ужина по одной.

Свои дневные занятия мы отныне распределим по очень остроумной программе. Именно: от девяти до двенадцати — то-то, от половины первого до четырех — то-то, а от шести до восьми — то-то. Очень удобно, и можно будет все успевать.

У кого зубы испорчены, тот начнет лечить зубы.

Лысеющие твердо решили с Нового года перестать лысеть.

Вообще с Нового года пойдет уж музыка не та. Мир коренным образом изменится.

По крайней мере, такие у всех у нас проекты.

---

<sup>1</sup> Боже мой (*фр.*).

С мая, собственно, заваялась у каждого из нас нужная работа — да все не могли собраться. А теперь — вот уже с Нового года и начнем.

Мы очень любим приравнивать реформы нашей безалаберности к новой квартире или новому месяцу.

Удивительно хорошо сказал где-то Ницше:

— Некоторые люди думают, что весь мир переменится, когда они приобретут новые башмаки.



Как симпатично встречали Новый год одесские артели!

Все вместе — четыреста или больше человек.

И во славу этого единения младший из них — юноша лет восемнадцати, Иван Кукушкин, — прочитал собственные стихи, за которые товарищи без конца качали и целовали его.

Один из моих коллег записал эти стихи. Вот они в почти не ретушированном виде:

*Воскликнем приветствие, братцы!  
Дождались — настал Новый год.  
Не нужно робеть и бояться,  
Мы двинемся смело вперед.*

*Вперед будем дружно стремиться,  
Своею тропой идти, —  
Одно только важно: не сбиться  
С прямого, святого пути.*

*Возьметесь с любовью за дело!  
Нам нужно лишь честь соблюдать,  
Мы будем открыто и смело  
Дорогу себе пролагать.*

*Велико значенье артельной идеи!  
Пусть ширится, крепнет оно!  
Давайте же, братцы, смелее, дружнее  
Сольемся мы в нечто одно!*

*Давно уж мы ждем, в нетерпенье стора,  
Когда-то просветит для нас жизнь иная,  
Чтоб было нам можно свободно вдохнуть,  
Была бы возможность нам на свет взглянуть?*

*Давайте же, братцы, работать, трудиться,  
И будем, насколько возможно, учиться:  
Наука — опора всему.*



*Довольно жить нам в темноте:  
Проснуться нам пора!  
Теперь же мы по простоте  
Воскликнемте ура!*

Милый, должно быть, юноша — этот г-н Иван Кукушкин.

**Altalena**

*Одесские новости. 3.01.1902*



## **Вскользь**

Прекрасный доклад прослушали в четверг вечером члены и гости Литературно-артистического клуба. Г-н Селиванов читает и говорит безукоризненно, с естественной выразительностью и поэтому безо всякой аффектации. Брошюра его, которую он изложил в своем докладе, написана и умно, и красиво, и с чувством. В то же время замечания г-на Селиванова о народном театре имеют не только принципиальную, но и практическую важность: это также придало реферату оттенок свежести ввиду того, что обыкновенно в клубе читаются доклады более или менее отвлеченного характера.

Публика, по-видимому, осталась в высшей степени довольна. Частности реферата вызвали, однако, возражения.

Г-н Селиванов указал на то, что «для народа» играют у нас по большей части любители. Это ему представляется безусловно вредным. Пусть любители играют для своих знакомых — перед народом должны выступать только актеры.

В ответ на это было замечено г-ну Селиванову, что вред любительской игры может быть совершенно устранен присутствием хорошего режиссера. Сам г-н Селиванов указал, что в московской труппе Станиславского талантов нет — кроме режиссера. И вот именно этот режиссер умудряется ставить пьесы «концертно», не только не нуждаясь в талантах, но даже избегая их. То же можно сделать и с любителями.

Мне показалось, что г-н Селиванов недостаточно ясно ответил на это замечание. Расплывчатость его ответа проистекала из того, что он не установил перед слушателями точного различия между актером и любителем.

Или я очень ошибаюсь, что девять десятых всей разницы состоит в том, что любитель играет для удовольствия, а актер — за жалованье. Остальное очень несущественно. Крупных талантов среди любителей, конечно, нет, но не о крупных талантах здесь речь. Средняя же более или менее приличная способность — вроде среднего приличного мужества у солдат — почти в одинаковой мере есть и у актеров, и у любителей. Само собой, я говорю о заправских, постоянных любителях, потому что острый миг мимолетного любительского зуда в возрасте около 16–18 лет переживают все смертные, кроме глухонемых.

Но эта маленькая разница — игра для развлечения и игра за жалованье — делает большие дела: роет большую пропасть между актерами и любителями. Есть очень старая истина, ставшая уже трюизмом:

— Если вы хотите, чтобы человек усердно относился к своему делу, платите ему за это деньги.

Разве можно рассчитывать на любителя, который сегодня не придет на репетицию, потому что в конторе его задержали лишней работой, и который, собственно, не будет убиваться, если представление отложат? Ничего с ним не поделает самый лучший режиссер, потому что, во-первых, режиссерство — не мнемоника, и заочно им заниматься нельзя, а во-вторых, любитель от режиссера не зависим и может во всякую минуту заартачиться. Сунет палец в ноздрю и на том упрется:

— Я так понимаю Гамлета!

Не только театр — любое дело в мире непременно провалится, если его поставить на любителях.

С одним мнением г-на Селиванова трудно согласиться, хотя оно очень распространено среди интеллигенции передового направления. Г-н Селиванов говорит, что для народа особых пьес не нужно — классический репертуар вполне подходит для него.

Мне кажется вообще, что в практическом деле нет ничего неудобней общих правил и принципов. Предвзятая мысль мешает трезво судить о каждом случае отдельно.

Я писал уже об этом по поводу постановки «Дон Карлоса» в Попечительстве. Там, несмотря на выдающуюся игру г-на Россова, простонародные слушатели, на мой взгляд, не получили никакого разумного впечатления от этой великой драмы.

На бурные аплодисменты нельзя полагаться. Очень верно, по-моему, понял дело один из вчерашних оппонентов г-на Селиванова:

— Простонародью вне театра негде разгуляться. Попав в театр, оно рукоплещет во всю мочь, не разбирая того — понравилось, нет ли. Отчего не похлопать?

Вообще по внешним признакам не всегда можно точно судить о настроении толпы — интеллигентной или простонародной. И в этом — возражение тому оппоненту, который привел следующий факт народной непонятливости: во время представления «Соколов и воронов» в том месте, когда Зеленов в отчаянии выбивает окно и зовет «честных людей» на помощь, с галерки Попечительства донесся голос:

— Завтра стекольщик заработает!

Оппонент не упомянул, рассмеялись ли соседи или зашикали. Но если бы и расхохотались, это вовсе не означало бы, что слушатели не чувуют характера этой сцены. Напротив, это значило бы, что они чувствуют даже бытовой комизм такого тонкого момента, как то, что в этой комнате только что совершилось большое преступление, а завтра все-таки надо будет прежде всего вставить стекло, чтобы кому-нибудь не надуло флюса. Если эта публика так чутка к мелочам — неужели можно предположить, что она в превратном (смешном) виде оценила длинную и эффектную сцену суда над Зеленовым?

Напрасно думают, будто смех при некоторых местах сцен печального тона доказывает, что или автор сплеховал, или актеры испортили, или публика ничего не понимает. Может быть так, что и автор без упрёка, и актеры хороши, и публика права — и смех ее при печальной сцене совершенно законен и ничуть не вредит общему минорному впечатлению.

Я не знаю почти ничего в литературе тягостнее и грустнее, чем последнее действие «Дяди Вани». Но в самом унылом периоде этого действия есть фраза, всегда невольно вызывающая смех. Вы, вероятно, вспомните, как доктор Астров, ожидая минуту своего отъезда под монотонный стук счетов дяди Вани, смотрит на географическую карту и ни к селу ни к городу говорит, если не ошибаюсь:

— Жара, верно, в этой самой Африке — несносная!

Нет ничего более естественного, чем если при этой фразе мы болезненно засмеемся, потому что сама эта фраза есть болезненная усмешка — желание тоскующего человека отвлечь свое внимание от тоски. И ни на секунду этот смех не всколыхнет общего фона скорби, который оставляет в чутком слушателе вся сцена.

Чтобы, однако, вернуться к репертуару народного театра, повторю, что в практическом деле следует избегать общих правил. Классик очень часто может подходить к пониманию и интересам простонародья, но иногда может и не подходить — «Дон Карлос» написан тем же Шиллером, который создал и «Орлеанскую деву».

Далее не скажу, чтобы народу был исключительно необходим особый репертуар, но думаю, что народ имеет право на особый репертуар. Когда интеллигентом стал буржуа, то он потребовал мещанской драмы. Народу более других интересны пьесы из народного быта, а таких, хороших, в России пока меньше, чем мало.

Но и в этом отношении исход указан в том же прекрасном докладе г-на Селиванова. Пусть только возникнут настоящие народные театры. Тогда оживится и драматическая литература народного театра.

**Altalena**

*Одесские новости. 5.01.1902*



## **Вскользь**

В морозный крещенский вечер я слонялся один-одинешенек по многолюдной площади Navona.

В Риме странно празднуют Крещение. Туча старых и малых собирается около полуночи на эту огромную площадь. Тут в особых бараках заготовлены тысячи дудок, трещоток, свистелок и разных других снарядов этого рода. Публика живо раскупает их и весело кружится по площади, стараясь каждый на шуметь как можно больше.

Я тоже купил себе дудку длиною почти в аршин, я тоже ходил из конца в конец огромной площади, старался на шуметь как можно больше и тоже неистово дудел в уши встречным барышням. Но там все были компаниями или парочками, а я был один —

оттого мне было скучно. И оттого моя дудка ревела ужасно нелепо, и когда я дудел над ухом у барышень, это выходило как-то некстати и, видимо, злило барышень и их спутников.

В большом грохоте есть много опьяняющего — он напрягает все нервы, бодрит и веселит, как здоровый, ясный русский мороз. Но в этот раз шум площади Navona отскакивал от моих ушей, не взвинчивая сердца. Неприятно видеть людей компаниями и парочками, когда ты один.

Так я пробродил час или больше с дудкой в руках, потом мне все это надоело — подарил дудку маленькому оборвышу и отправился домой.

Когда я прошел несколько узких переулков и зарево шума понемногу погасло далеко за моей спиной, женская рука сзади схватила меня под руку.

— Добрый вечер, москвич!

Я узнал немного хриплый голос и отозвался, не поворачивая лица:

— Добрый вечер, Примпринелла. Откуда ты?

— С площади Navona.

— Разве ты была там одна?

— Я была там с моим *gegazzo*<sup>1</sup>, он потом ушел с товарищами в кабак и велел мне идти домой.

Имя ее было Розина. Но она приказала, чтобы на улице ее называли Примпринелла.

Я знал ее уже давно. Я тогда часто вечером засиживался в одной маленькой кофейне возле площади Эсквилино, и когда выходил оттуда, то почти всегда на ближнем углу замечал стройную, тонкую девушку, в тальме и без шляпки, но с видом и осанкой настоящей королевы. Иногда она стояла неподвижно, иногда прохаживалась в теневой стороне от луны. Она казалась очень гордой и никогда никого не останавливала и не зазывала.

У нее оказалось много интересных странностей. Часто она бывала очень резка, почти груба.

Иногда же у нее бывали припадки детской ласковой нежности, и в такие вечера она почему-то непременно заканчивала просьбой:

— Москвич, расскажи мне что-нибудь из астрономии.

Я тогда нагал ей, сколько мог выдумать, о далеких звездах, об их величине и о том, какие на некоторых светилах есть счастливые и свободные государства с крылатыми людьми.

---

<sup>1</sup> Парень (*итал., рим. диалект*).





— Угости меня в кофейне.

— Мне не хочется теперь сидеть в кофейне, Примпринелла. В крещенский вечер во всех кофейнях слишком много народу.

— Как ты скуп!

— Я вовсе не скуп. Но мне бы хотелось сегодня посидеть где-нибудь в уютном закрытом уголке... Примпринелла, у тебя есть дома огонь?

— Я могла бы развести.

— Тогда я возьму извозчика, мы проедем мимо Араньо и купим там марсалы, пирожного и шоколаду, потом проедем мимо моего дома, я взбегу на минуту наверх и захвачу свой чай, а потом отправимся к тебе и проведем несколько часов по-семейному. Хочешь?

Она подумала.

— Не знаю... Он, верно, не придет раньше утра. Хорошо.



— Москвич, расскажи мне что-нибудь из астрономии!

Мне было так хорошо у нее на оттоманке, с глиняной грелкой в руках, с теплотой в груди от чая и марсалы.

— На что тебе астрономия, Розина? Я ведь ничего не знаю о звездах. Я всегда выдумываю.

— А... Тогда расскажи мне, как у тебя на родине празднуют Бефану?

— У меня на родине, Розина, не все празднуют Крещение.

— Почему?

— Потому что не для всех людей на свете в один и тот же день бывает праздник.

— Я не понимаю.

— Ничего, это не важно. У меня на родине в крещенский вечер молодежь забавляется гаданием. Девушки останавливают прохожего на улице и спрашивают: «Как ваше имя?» Если он ответит «Джованни», значит, имя жениха девушки будет тоже Джованни, а если он ответит «Пьетро», значит, имя жениха девушки будет тоже Пьетро. Кроме того, гадают воском. У тебя есть воск?

— У меня осталось несколько маленьких свечек от прогулки по катакомбам святой Агнессы.

— Достань их.

Она вынула из комода пучок тоненьких белых восковых проволок. Я вытащил из них светильни, скомкал воск, положил в ложку и стал топить над свечкой.

— Налей холодной воды в полоскательную чашку, Розина. Видишь ли, когда воск растопится, я вылью его в холодную воду, он сейчас же в ней отвердеет. Смотри внимательно: какую форму примет воск, то тебе и суждено в жизни. Так гадают у крещенский вечер у меня на родине... Посторонись, я лью.

— Что там такое? Ничего. Крючки.

— Подожди. Ты грамотная?

— Да. Это три S?

— Три S. Что бы они могли означать?

— Я не знаю никаких три S.

— А я знаю.

— Ну?

— Spedale Santo-Spirito.

Она улыбнулась.

— Больница Санто-Спирито — очень хорошая больница. Лучше всякой другой. Там меня будут лечить студенты — у меня среди них масса знакомых. Дай Бог не хуже! Погадаем еще, только не воском. У тебя на родине гадают чересчур печально.

— Как же будем гадать?

— Положим руки вон на этот столик и вызовем духа.

— Вызовем.

Розина задула свечу и прикрутила лампу. Мы пересели с оттоманки на стулья и положили пальцы на крошечный круглый одноногий столик.

— Москвич, только ты не смейся, а то он не придет.

— Я не смеюсь. О чем ты его спросишь?

— О моей судьбе. Не будем разговаривать. Надо все время думать о нем.

И она, вероятно, стала думать о нем, а я думал о многом другом. И не то рассеянно, не то нарочно я слегка накренил столик в мою или в ее сторону.

В ту же минуту Розина еще более хрипло, чем обыкновенно, проговорила:

— Ты здесь?

Но не успели стихнуть эти слова, как мы услышали два резких и звонких удара, потом один и еще два. Я не понял, в чем дело, я только испугался и вскочил. Но Розина была уже на ногах, и стояла у окна, и шептала:

— Боже! Это стучится вниз мой регаццо. Уходи скорей, ради Бога — ты спрячешься на лестнице и потом уйдешь, когда я впусти его сюда... Когда он пьян, он готов идти на ножи с моими посетителями. Уходи скорей, москвич, только дай мне прежде, ради Бога, две лиры — я сегодня почти ничего не заработала... Уходи...

Я дал ей два франка и пошел прятаться на лестнице.

**Altalena**

*Одесские новости. 6.01.1902*



## **Вскользь**

Г-н Ганейзер напечатал в «Петербургских ведомостях» святочный рассказ в оригинальной форме разговора между А. П. Чеховым и Максимом Горьким.

Происходит эта беседа будто бы в тот самый вечер, когда Горький в Москве приказал публике Художественного театра отвязаться и не мешать ему с Антоном Павловичем пить чай. М. Горький после этого происшествия уходит, по замыслу г-на Ганейзера, к себе в номер и в сильном волнении берется за перо. Ему хочется написать пламенную статью о том, что у него на душе. Но г-ну Горькому не пишется. И в то время как он сидит над бумагой, к нему в дверь стучится и входит А. П. Чехов.

— Скажите-ка, Антон Павлович, вы пришли, чтобы ругать меня за мою речь к публике?

— Нет... Мне просто захотелось прийти к вам.

— Ночью?

— Да, ночью.

— Ну, хорошо... Спасибо.

После этого между ними начинается беседа или, скорее, спор, в котором г-н Ганейзер сумел дать несколько мест, действительно очень интересных для характеристики этих двух писателей.

Горький, например, говорит:

— Вот что скажите вы мне. Почему мы с вами сделались идолами? Не знаю, как вам, а мне эта роль весьма противна. Я не хочу... Куда ни приду, все в рот смотрят, все ждут, что вот-

вот, сию минуту, еще и калош не снял, а сейчас же начну изрывать крылатые слова, перлы мудрости... Истомился. Приду домой и ругаюсь, как черт.

В этом — не особенно глубоко разработанная, но верная картинка того, как отзываются на брезгливом человеке физические доказательства «культа писателей»: приставание и глаzenie.

Вот еще одно место, которое стоит выписки, потому что, если не ошибаюсь, об *этом* крупном недостатке М. Горького его критики еще не говорили.

Горький говорит:

— Стало быть, теперь я обязан самые важные вопросы решать. Теперь, когда я берусь за перо, то и думаю: надо мне такое написать, чтобы всю Европу удивить. Оттого и писать мне стало трудно, ничего дельного не выходит. В важных-то вопросах я и сам ничего не понимаю, а от меня требуют решений. Хоть тресни, а решай! Или, как говорят, выскажись. Нам необходимо, чтобы по этому вопросу Максим Горький высказался... А позвольте, господа, как же я выскажусь, когда меня самого тысяча тысяч вопросов терзает и я на них ответа не умею найти. Приехал ко мне в Нижний Новгород один юноша... Я, говорит, хочу вас спросить, как вы смотрите на неомарксистское направление?.. Ко всем чертям!

— Простите, Алексей Максимович, — сказал серьезно Чехов, — но вы сами немножко виноваты в этом.

— В чем то есть я виноват?

— В том, что вас оракулом сделали. Зачем же вы им делаетесь? Люди привыкли иметь идолов, искать оракулов, творить кумиров. Они не могут жить без этого, в них глубоко живет потребность идолопоклонства. Но вам-то кто же велит удовлетворять эту потребность? Мне думается, что вам именно потому и стало трудно писать, что вы беретесь разрешать вопросы... В беллетристическом произведении нельзя выяснять, как вы смотрите на неомарксистское направление.

Чехов у г-на Ганейзера удивительно хорошо знает своего коллегу Горького.

С М. Горьким вышел в России странный казус — нечто вроде недоразумения, — послуживший причиной такого быстрого роста его популярности.

Этот писатель так талантлив, что и без упомянутого недоразумения популярность не ускользнула бы от него, но тогда она

пришла бы нормальным шагом, не торопясь — так, как на Руси принято.

Казус заключался в том, что марксистская молодежь в первое время приняла М. Горького за «марксистского писателя».

В то время в обеих столицах барышни и молодые люди умственного пошиба переживали апогей неомарксизма. Они непримиримо настаивали на привлечении земледельца к фабричному колесу и ни за что, несмотря на все просьбы народников, не соглашались оставить мужика в деревне. И, видя в себе такой жар и пыл, они с радостью заключили, что спячка прошла и что для России снова настает оживленный, деловитый период.

Но так как все прежние деловитые периоды имели своих «певцов», то и неомарксистская молодежь ждала своего «певца».

И тут явился «Челкаш». Больше ничего не надо было.

Автор рассказывал о том, что за дрянь есть мужик, еще прикрепленный к своей земле, и что за прелесть, напротив, есть тот мужик, который уже оторвался от своей земли. Марксисты увидели в этом подтверждение «учения».

Если бы «Челкаш» был написан полубездарно, то и тогда Горького все-таки не преминули бы «провозгласить». А так как Горький оказался вдобавок и талантом, он совсем ослепил своих поклонников и пошел — без своей вины, но и без удержу — в гору и в гору.

Мало-помалу недоразумение выяснилось. Во-первых, сами неомарксисты поостыли. Главное же — всем стало очевидно, что фабричный так же мало похож на Челкаша, как мужик, и что Челкаш точно таким же презрением обдал бы фабричного, как и мужика. Потому что и фабричный — человек прикрепленный, подневольный, часто семейный, а не сам себе господин. Уж, а не сокол.

Следовательно, Горького пришлось освободить от подозрения в потакательстве марксистским идеалам.

Но уже было поздно — карьера Горького была сделана. И когда марксисты очнулись, у Горького оказалась уже масса поклонников из других «лагерей».

Но марксистская слава принесла г-ну Горькому и вред — она развила или обнаружила в нем тот крупный недостаток, о котором я выше говорил.

Этот недостаток состоит в том, что г-н М. Горький не имеет твердости, уверенности в себе.

Было время, когда он производил такое впечатление, будто и сам поверил в то, что он, Горький, в своих писаниях «марксист». Он, тешивший и вдохновлявший себя и других волшебными сказками, уверовал в то, что его сочинения будто бы доказывают необходимость для мужика покинуть деревню.

С писателем, который тверд и уверен в себе, этого бы не вышло. Твердый и самоуверенный писатель в ответ на просьбу:

— Ах, осветите перед нами, пожалуйста, то-то... Отзовитесь на вон то...

Говорит коротко и ясно:

— Я теперь занят. Пишу исторический роман. Эпоха царя Гороха.

М. Горький, напротив, оказался слаб сердцем. Он стал и «освещать», и «отзываться», хотя душа его лежала совсем в другом направлении. Настолько в другом, что, дописавшись до «Мужика», он не выдержал и бросил.

И надо надеяться, что теперь г-н Горький окончательно вернулся на свою дорогу — на дорогу увлекательной лжи, чудесного преувеличения, бенгальских огней, всего, на что ему истинно дан талант — на истинную службу нуждам этого времени.

Любопытно, что г-н Чехов (по г-ну Ганейзеру) неодобрительно относится к этой — не скажу особенности, а прямо сущности таланта М. Горького, то есть к его «лживости».

Чехов говорит:

— Вы сделали великое открытие: в среде босой команды, обездоленной, забитой, голодной и ободранной, героев нашли. Вот герои! Вот где соль человечества, вот где истинно свободные люди... Я собственными ушами слышал, как одна молодая дама из общества, начитавшись вас, в порыве энтузиазма воскликнула: «Мне хочется в босяки!»! Но вы обманули эту милую даму. Силой вашего таланта вы заставили поверить тому, чего нет. В действительности ничего ведь этого нет, ничего такого демонического в этих ваших героях... В действительности — это глубоко несчастные, жалкие люди, не способные ни на какую борьбу, ни на какой сознательный протест...

Тут уж г-н Ганейзер сплеховал. Вряд ли г-н Чехов настолько мало чуток и действительно считает «ошибкой» Горького то, что есть *raison d'être*<sup>1</sup> Горького.

Разве г-н Горький бытописатель? Разве для кого бы то ни было, кроме совершенно праздных людей, есть какой-нибудь смысл в том, верно или неверно Горький изобразил босяков?

---

<sup>1</sup> Разумное основание, смысл (*фр.*).

Вовсе не в том социальная задача, которую — сознательно или нет — взял на себя М. Горький.

Люди о чем-то тоскуют. Эта тоска развращает их, обесцвечивая, лишая сил и порывов.

Чтобы возродить в утомленных силу, желание и порыв, лучшее средство — показать им людей, в которых эти качества есть. Нужды нет, если для этого понадобится обман.

М. Горький так и поступает. Он «лжет», рассказывая то, чего не было. Он пользуется тем, что есть один слой людей, о котором нам можно рассказать какие угодно небылицы, потому что мы его не знаем. Об этих людях он передает чудесные сказки, рисуя сильные и ничем не связанные существа. И раз только он рисует их так увлекательно, что и нам невольно хочется быть им подобными, разве может касаться нас такая мелочь, как то, что босяки Горького и босяки настоящие не похожи друг на друга?

Дама, о которой говорил выше устами Чехова г-н Ганейзер, была, вероятно, очень недалеко. Оттого она и поняла Горького как приглашение всем идти в босяки.

Причем сама она, несомненно, отнюдь в босяки не пошла.

Но человек разумный поймет, что Горький вовсе не зовет добрых людей стать *настоящими* босяками, а желает только увлечь и настроить их силой, свободой и страстностью своих *выдуманных* босяков.

**Altalena**

*Одесские новости. 11.01.1902*



## **Вскользь**

*Этого мы не ждали.*

Даже когда приходили самые тревожные, потом совсем отчаянные вести, с трудом думалось, чтобы мог действительно умереть в самом разгаре своей жизни такой человек — такой большой, такой богатырь, такой хороший, такой любимый.

То, что называется всей Одессой, беспокоило, правда, следило за его болезнью.

Но казалось, что в этом беспокойстве не было страха за исход. Была скорее простая тревога о больном человеке, потому что он страдает:

— Он, конечно, поправится, но только бы уж поскорее!

Одна моя пожилая знакомая, даже не очень большая театралка, выдавшая его раз пять на сцене и ни разу вне сцены, ворчала на него:

— И будет ему наука. Пусть не летает зимой, что день, из Киева в Одессу и обратно. Он шутил шутки со своим здоровьем, а так нельзя. Точно маленький!

В одном небольшом кружке заговорили о нем, и кто-то с неловкой улыбкой намекнул, что дело, собственно, может кончиться худо.

— Да... конечно, — решили все сначала, но затем поодиночке стали сами себе возражать:

— Разве такой человек может умереть от тифа? Он у себя в труппе выше и плечистее всех.

— Такой здоровый!

— Переживет нас с вами. Знаете, отчего я особенно радовался, когда наш театр оставили за ним? Потому что, когда встретишь его на улице и видишь, как он идет величаво, степенно и статно, своей боярской поступью, окидывая знакомых этим красивым королевским взглядом сверху вниз, приятно подумать: это хозяин нашего театра. Никого другого не хочу!

Это было смешное мнение, но правда в нем та, что ко всем нашим представлениям о Н.Н. Соловцове было всегда примешано впечатление величавой силы, о которой говорила его внешность.

До того даже, что одна из итальянских певиц сказала мне:

— Вы думаете, что такой человек может умереть спроста? Есть вещи, которые спроста не бывают.

— А в чем же дело?

— В дурном глазе. Здесь *jettatura*<sup>1</sup>. Я настоящая итальянка и не стыжусь своего суеверия. Когда мы еще только собирались ехать сюда и прочли список имен всех тех, кого *il rovero*<sup>2</sup> Соловцов ангажировал на этот сезон, я сейчас же сказала подруге, что в труппе есть дурной глаз. Оттого — судите сами: ваша зима похожа на весну, и, однако, мы все хвораем, и женщины, и мужчины; «Друг Фриц», прелестная опера, не понравился вашей публике, а *il rovero* Соловцов умер. Без дурного глаза такие *titani*<sup>3</sup> не умирают.

<sup>1</sup> Сглаз (*итал.*).

<sup>2</sup> Бедный (*итал.*).

<sup>3</sup> Титаны (*итал.*).



Спорить было бы напрасно.

Если jettatura, то пусть и будет jettatura. Это теперь все равно, когда покойный лежит, окруженный цветами, скрестив свои руки на груди под белым газом.

Его лицо не так уже величаво, как было у живого, потому что глаза наглухо закрыты и внутри, под веками, потухли и потускнели, и это чувствуется. И еще тоже странно и больно видеть на его лице светлые волоски вокруг губ и на подбородке, теперь, когда он уже больше никогда не будет гримироваться.

Как будто бы в напоминание о том, что смерть убивает в артисте не только человека, но и актера, потому что от созданий актера ни-че-го не останется, кроме доброй памяти.

Таково актерское дело. И быть добрым и великодушным человеком — это тоже такое дело, от которого ничего, кроме доброй памяти, не остается.

Что ж — благо тому, кто прожил хорошо, заметно и полезно, кто при жизни слышал людскую благодарность и любовь и людские шумные рукоплескания, и после смерти — художник и человек — оставил на земле две добрые памяти, неосязаемые, но прочные.

Доброй ночи. Где бы это ни было, в небесах или в земле, — доброй ночи.



В Одессе ожидается открытие новой школы — училища практической живописи.

Приятно слышать.

В Европе давно уже все то, что выставляется на вид публике с целью привлечь ее внимание — вывески, плакаты, афиши, рекламы, вплоть до коробочных этикеток, — исполняется не простыми ремесленниками, а особыми практическими художниками.

Правда, там и настоящие художники иногда не брезгают посвятить несколько дней работы составлению проекта или даже прямо исполнению какой-нибудь выдающейся по содержанию афиши.

Но настоящий художник, слуга чистого искусства, соглашается на такую «профанацию» только в исключительных случаях — если, например, Сара Бернар выступает в новой сенса-

ционной роли. Тогда какой-нибудь знаменитый художник из ее друзей изготавливает для нее какой-нибудь шедевр не столько афишного, сколько вообще живописного искусства.

Но и помимо этих особых случаев, афиша, реклама и вывеска за границей исполняется с большим тщанием, умением, вкусом, оригинальностью и разнообразием.

Чтобы понять важность этого, достаточно вспомнить, какую роль во внешности городских улиц играет вывеска и афиша.

Не говоря уже о том, что подъем художественного уровня у мастеров практической живописи принесет свою долю пользы и торговле.

Если велико значение рекламы вообще, то оно тем больше, чем реклама лучше.

Русские газеты хорошо бы делали, если бы к Новому году выпускали не сухие плакаты с перечислениями, которые лень прочесть, а афиши-картины с немногими словами о цене газеты и с ее адресами.

Эффектная картина куда лучше многословного объяснения.

В Европе газеты перед Новым годом расклеивают по стенам то колоссального всадника, летящего вперед во весь опор, то лодку, смело борющуюся с волнами, то работника со светочем в руке.

Эти картины, художественно и эффектно исполненные, в одно и то же время и привлекают внимание, и объясняют без слов характер издания.

Между тем их «рекламный» характер ничем не хуже широковещательных объявлений, практикующихся к общей скуке в России.

Для театра художественная афиша имеет прямо огромное значение и, во всяком случае, больше захватывает публику и в то же время является более благовидной приманкой, чем обычное у нас:

«Новая постановка, обошедшаяся в 20 тысяч!!!»

Вообще «этика» рекламы, по моему убеждению, должна почти исключительно сводиться к добросовестности.

Но и самая брезгливая щекотливость должна будет признаться, что художественность — лучшее оправдание для рекламы.

*Altalena*

*Одесские новости. 13.01.1902*



## Вскользь

На эту сессию думы назначены выборы в «коночную» комиссию, которая обсудит, выгодно ли для города получить через три года электрический трамвай на таких условиях, какие недавно были предложены бельгийцами. Решаюсь по этому случаю скромно высказать несколько робких замечаний профана.

Я понимаю, что теперешнюю конку на клячах следует убрать, ибо она неприлична.

Иногда вас на бульваре знакомят с так называемым молодым человеком приятной наружности.

Он весьма изящен. Пиджачок на нем доходит до того пункта, который итальянцы называют «двадцать три»; брючки выглажены со строкою.

Галстук на нем цветной, и в нем торчит желтая булавка отнюдь не в середине, а чуть-чуть вправо от середины.

Из левого наружного кармана на груди выглядывает дюйм размалеванного носового платочка.

И все это очень мило. Но когда вы взгляните в этого молодого человека приятной наружности, вас поразит то открытие, что у него и воротнички бумажные, и грудь бумажная, и рукавички бумажные.

Бумажное белье — прекрасная и почтенная вещь. Имена Мея и Эдлиха окружены в моем благодарном сердце ореолами теплого сияния. Чудные воспоминания юных дней связаны для меня с этим великим изобретением.

И теперь, когда я вижу какого-нибудь серенького студента, у которого из-под скромной тужурки выглядывают эти милые белые полоски с чуть заметным желтоватым отливом, — душа радуется и невольно желает всяких благ этому студенту, Мею и Эдлиху.

Но то, что очень мило в сереньком студенте, совершенно невыносимо в претенциозном франте — в «молодом человеке приятной наружности».

Наш город — человек молодой и по наружности очень приятный. И на его улицах эта конка с клячами производит убийственное впечатление бумажного белья.

Шутить с этим впечатлением нельзя. Одессе суждено понемногу превратиться в курорт. Поэтому ее будущность больше,

чем будущность какого бы то ни было другого русского города, зависит от ее внешней красоты.

Но при замене кляч другой, более цивилизованной тягой следует хорошенько обдумать, действительно ли в одном электричестве спасение.

У электрического трамвая есть свои неудобства. Большой процент несчастных случаев, дороговизна, безобразие проволочной сети, которая портит вид улиц едва ли не хуже кляч, потому что кляча скроется за углом, а проволоки останутся. И, в придачу ко всему, в очень сырую погоду электрический вагон может иногда остановиться на рельсах и забастовать на неопределенное время. Если такая заминка случится вечером, то к удовольствию отдыха для пассажиров присоединится еще и приятная темнота.

Есть другие усовершенствованные системы трамвая, кроме электрической. Было бы очень интересно выяснить, могут ли они найти применение в Одессе.

В некоторых швейцарских городах, например, действует пневматический трамвай. На конечной станции под низ вагона вдвигается резервуар вроде ящика, наполненный сжатым воздухом. При помощи системы клапанов и регуляторов прерывающаяся струя воздуха приводит в движения колеса. На противоположной станции пустой ящик выдвигается и заменяется полным.

Ни столбов, ни проволок по улицам не нужно, и нет того нестерпимого грохота, который окружает электрический вагон.

Такой трамвай прекрасно работает в Берне.

Правда, там для сжатия воздуха утилизируют природный двигатель — необычайно быструю реку Аару. У нас пришлось бы прибегнуть опять-таки к электричеству.

Вопрос и заключается в том, что дешевле: электрическая тяга по всем линиям большого города, включая сюда и проволочную сеть со столбами и ремонтами, или электрическая станция для заготовки сжатого воздуха.

В качестве третьей комбинации надо упомянуть самостоятельные вагоны с аккумуляторами; но это, кажется, слишком уж дорогая система.

Было бы очень любопытно и важно услышать мнение специалиста по этому поводу. Что выгоднее — трамвай электрический или пневматический? Для чего потребовалось бы меньшее количество электрической энергии?

Но, кроме того, чем будет двигаться наш будущий трамвай, есть очень важный вопрос о том, как будет житься служащим на этом трамвае.

Что прилично для бельгийцев, для Камбье-родителя и Камбье-сыночка, то будет некстати в учреждении, к которому приложит свою руку город.

Как жилось кондукторам при Камбье — мы все еще помним, но предпочтем об этом не говорить, потому что боксерские похождения этих двух субъектов в Одессе представляют такой же срам для них, как и для нас, которые все это терпели и стерпели до конца.

Их преемник г-н Легодэ находится в Одессе еще очень недавно. Мы его не знаем. Дай ему Бог, понятно, здоровья и генеральский чин, но покамест факт тот, что при Камбье кондукторов не заставляли подметать вагоны, а г-н Легодэ заставляет.

С прибавкой жалованья?

Pas du tout<sup>1</sup>.

Я очень люблю всякого рода варягов. Если бы моя воля, я бы отдал даже наши лиманы лет на двадцать каким-нибудь бельгийцам — и тогда бы у нас в Одессе через три года был всероссийский курорт. Но в варягах надо ценить исключительно их энергию и деловитость. Что касается интересов города и служащих варягам горожан, то ни Камбье-родитель, ни Камбье-пти<sup>2</sup>, ни даже г-н Легодэ о них думать не станут.

Не будем на них за это в претензии, у них свои дела, — но вооружимся же и мы ежовыми рукавицами.

**Altalena**

*Одесские новости. 17.01.1902*



## **Вскользь**

Все объясняется. Газета «Московские недомысли» открыла закулисную тайну пожара, погубившего московскую гостиницу «Метрополь».

Это Бог наказал гостиницу за то, что на ее стенах были изображены раздетые дамы.

Дело, оказывается, произошло так.

<sup>1</sup> Как бы не так (*фр.*).

<sup>2</sup> Малыш (от *фр.* petit).

Редактор «Московских недомыслей», русский литератор Шпицрут, сидел в своем кабинете и писал передовицу.

В дверь постучались.

Русский литератор Шпицрут хотел сказать «войдите», но, будучи увлечен работой, ошибся и перевел с немецкого:

— Внутрь!

Вошел репортер. По сияющему лицу г-н Шпицрут понял, что будет пожива.

— Что?

— Оскорбление нравственности!

— Где?

— В гостинице «Метрополь» на стенах изображены разде-  
тые дамы.

— Да? Хорошие?

— Н-ничего себе. Бока — вот такие.

— Хе-хе. Ну, и *логарифмы* — тоже?..

— Есть и *логарифмы*.

— Это мило. Идите. Я вами доволен; я вижу, что с переводом вашим в другой отдел редакции мы сделали полезное приобретение. Идите.

И, взяв новую полоску бумаги, русский литератор Шпицрут начал новую передовицу:

«Доводя до сведения, надеемся, что будут наконец приняты меры к пресечению...»

Небеса прочли эту статью и распорядились сжечь гостиницу «Метрополь». И гостиница «Метрополь» сгорела.



Никакое ханжество не возмущает так, как ханжество на почве нравственности.

В основе обыкновенного ханжества лежит всегда хорошее и драгоценное чувство — вера, — только непомерно и лицемерно разросшееся.

Но ханжа-моралист противен тем, что даже само ядро его фанатизма есть не что иное, как его собственное развращенное воображение.

Ханжа-моралист возводит это свое развращенное воображение в сан чего-то божественного, ходит соглядатаем среди людей и проповедует им ту же развращенность воображения.

Чтобы понять сущность ханжи-моралиста, лучше всего припомнить его исторического родоначальника.

О нем рассказывает библия. Он был сыном праотца Ноя и звали его — Хам.

Однажды старый Ной упился до того, что положил ризы свои и в таком виде развалился в своей палатке. На эту картину набрел сын его Хам.

Вид голого старика-отца произвел на Хама впечатление: он зареготал и побежал звать своих братьев, чтобы они тоже пореготали.

Но братья, не будучи хамами, посмотрели на раздетого отца и никакого такого впечатления не получили.

Пробудившись, Ной проклял и выгнал Хама. И с той поры Хам бродит по круглой земле, надзирает и доводит до сведения.

Красивое человеческое тело, это не только красота — это гигиенический идеал.

Люди должны любить этот идеал, должны знать идеальные формы своего тела и уметь ценить их.

Красивое тело — это символ святых и дорогих нам понятий, залог здоровья, силы, хорошего и плодovitого материнства.

Но Хам этого всего не помнит. В человеческом теле для него скрыто только напоминание о красной ягоде клубничке.

Что греха таить — во всех нас от рождения скрыта частичка Хама. У всех нас развращено воображение. И г-н Вересаев, может быть, наполовину прав, когда говорит, что на студентов-медиков демонстрируемые женщины на первых порах производят волнующее впечатление.

Но ведь именно потому и развращено наше воображение, что человеческое тело стало чем-то секретным, таинственным и неприличным. Мы от него отвыкли и приучились связывать мысль о нем непременно с разными свойственными Хаму представлениями.

Послушать моралиста — он велит для нашего излечения разбить все статуи и порезать все картины. Он уберет изображения человеческого тела с глаз наших долой. Он усилит сознание таинственности и неприличности человеческого тела — и будет думать при этом, что оздоровил нашу душу.

Но мне кажется очевидным, что оздоровление нашего воображения может быть достигнуто только совершенно противоположным путем.

Больше статуй, больше картин, больше изображений идеального тела на каждом шагу — тогда мы привыкнем к его красоте и при взгляде на него перестанем облизываться.

И Хаму нечего будет делать на свете. Праотец Ной снимет с него проклятие, и Хаму будет позволено исчезнуть с лица земли.

Правда, тогда русский литератор Шпицрут лишится части своего заработка. Но это ничего.

*Altalena*

*Одесские новости. 18.01.1902*



## **Вскользь**

Мальчик сидел над решением трудной арифметической задачи, бился, мучился, потом вдруг упал в обморок и оказался скончавшимся от воспаления мозговых оболочек.

Это произошло недавно в Москве. Мальчику было 12 лет, и звали его Володя Федин.

Держу пари на что угодно, что задача, над которой он умер, была взята из задачника г-на Верещагина.

Это — не художник Верещагин, это — другой г-н Верещагин, но тоже в своем роде художник.

Меня очень часто интересует психология разных темных личностей. Что именно они чувствуют и испытывают при исполнении своих темных дел?

Пушкин говорит:

*...есть люди,  
В убийстве находящие приятность.*

Когда они вонзают нож в тело своей жертвы, им —

*...приятно  
И страшно вместе.*

Все это очень интересные аберрации нравственного чувства. Но психология г-на Верещагина — интереснее их всех.

Что побудило этого г-на выпустить на свет Божий такой задачник и что чувствовал и испытывал он в то время, когда занимался темным делом составления этого учебного «пособия»?

Если бы нужно было сочинить арифметику для каторжников — задачник г-на Верещагина мог бы заслужить на конкурсе первую премию и медаль с изображением на ней девятихвостой плети.

Даже когда бегло просматриваешь этот очень ходкий задачник, на каждом шагу приходишь к изумлению.



Сколько, спрашивается, нужно было тонкого иезуитства, сколько убежденной фанатической жестокости, сколько хитрой, характеризующей маньяка мелочности для того, чтобы выдумать все эти гадкие подвохи, подставить ученику-ребенку все эти «подножки» для того, чтобы с таким усердием воспользоваться всем, что может сбить с толку, затемнить дело и обескуражить!

Этот г-н Верещагин — один из самых бессмысленно жестоких и сладострастных детоистязателей, о каких нам с вами приходилось слышать.

Я сожалею, что к его задачку не приложен портрет автора, потому что было бы интересно проверить на физиономии этого человека некоторые положения итальянской антропологии.

И так как дело здесь кончилось смертью от воспаления мозговых оболочек, я ни на минуту не сомневаюсь, что бедный мальчик Володя Федин корпел над задачей, взятой именно из кладезя г-на Верещагина.

Удивительно даже, что такие ужасные случаи не встречаются гораздо чаще, раз произведения вроде верещагинских допущены к обращению в русских школах.

Если обыкновенно дело кончается только так называемым переутомлением, то есть истощением всяких соков — и телесных, и духовных, — то я это приписываю одному счастливому обстоятельству.

На школьном жаргоне это счастливое обстоятельство, эта спасительная и во всех отношениях прекрасная система называется «скатать».

Ученик, расположенный и способный к арифметике, решит иезуитскую задачу, а остальные у него «скатают».

Мальчик Володя Федин сам виноват в своей смерти. Ему никто не мешал «скатать».

Впрочем, беру эти слова назад. Могли и мешать.

Бывают такого сорта родители.

Они видят какой-то непостижимый «долг», какую-то фантастическую «честность» в том, чтобы ребенок, которому в жизни арифметические выкрутасы никогда не понадобятся, непременно сам решил задачу с этими выкрутасами.

— Лопни, а реши самостоятельно!

Так как мальчик не мог решить самостоятельно, — он и лопнул.



Это очень старый вопрос:

— Зачем нас учат абсолютно бесполезным вещам?

Никогда в жизни ни одному старому бухгалтеру не придется возиться с такими вычислениями, какими пестрят у нас задачки для малых детей.

Но в задачке, прежде чем добраться до этих вычислений, надо еще пробраться сквозь целую сеть уловок, вывертов и подвохов, с которыми уж наверное потом в практической жизни никто не встретится, даже если ему поручат исчислить капли морские.

К чему все это? Какой в этом смысл?

Виноват: я забыл, что все это «развивает гибкость ума».

С этим я согласен. Но для развития гибкости ума есть средства еще более действенные.

Есть игра «винт». Введите ее. Она, по крайней мере, не будет пыткой, потому что интересна и уж во всяком случае более пригодится ученику в дальнейшей практической жизни, чем умение решить иезуитскую задачу.

Потому что я решительно не приложу ума, где, когда и кому могут понадобиться иезуитские задачи.

Может быть, они впоследствии пригодятся инженерам, но тогда пусть и обучают им только в политехнических институтах.

Правда, впрочем, что для конкурса при поступлении в институт эти задачи очень пригодятся.

На конкурсе профессора тоже задают загадки такого рода:

— Два в квадрате?

— Четыре.

— Три в квадрате?

— Девять.

— Угол в квадрате?

Извольте догадаться, что надо ответить:

— 90 градусов.

Но к конкурсу подготавливаются, обыкновенно, в течение целого года. Есть специальный задачник для готовящихся к такого рода экзаменам. В нем, говорят, собрано и объяснено столько головоломок, что, кто пройдет этот учебник с головы до ног, может уже не бояться даже пуль дум-дум.

Следовательно, опять-таки незачем мучить арифметическим maximum'ом детей, из которых две трети и не подумают потом о технологическом институте.

Но есть одна «наука», еще более гнусная по своей бесцельной и жестокой трудности.

Это — грамматика, особенно синтаксис.

Я никогда еще воочию не видел той пользы, которую она будто бы приносит. Но допущу на мгновение, что эта польза где-то незримо существует.

Все-таки необъяснимо, почему грамматикой угощают детей буквально с приготовительного класса.

Ведь это — чисто философская, метафизическая наука — о категориях понятий. Да еще двойная: о категориях понятий *an sich*<sup>1</sup> (этимология) и о категориях понятий «в пространстве» (синтаксис).

Не постигаю, как можно думать, что малые дети могут понять всю эту путаницу.

Тем более что «наука» грамматика совершенно еще не разработана, до того, что в ней нет даже мало-мальски разумных определений.

Ребенку девяти лет докладывают:

— Слова, служащие для обозначения *предметов*, называются «именами существительными». Слова, служащие для обозначения *качеств*, называются «именами прилагательными». Слова, служащие для обозначения *действий*, называются «глаголами».

Прекрасно.

После этого вы спрашиваете у ребенка:

— Какая часть речи — «добродота»?

Этот ребенок будет выродком рода человеческого, если не ответит:

— Имя прилагательное.

Или:

— Какая часть речи — «бегание»?

Обещаю этому ребенку плитку шоколада, если он не решит:

— Глагол.

И обещаю две плитки шоколада тому педагогу, который объяснит мне, почему «бегание» есть «предмет».

А это еще только этимология, более легкая часть грамматики.

— «Грамматика учит правильно говорить».

Сомневаюсь. Если учит, то очень мало.

---

<sup>1</sup> Здесь: само по себе (нем.).

Три плитки шоколада тому, кто даст мне грамматическое правило для различения пяти местоимений:

— Что-то, нечто, кое-что, что-либо, что-нибудь.

Однако мы их различаем и не путаем, потому что у нас есть чутье.

В этом чутье все дело. А чутье вырабатывается не зубрением грамматики, а практикой. Для того, чтобы выучиться говорить правильно даже на чужом языке, нужно много практики с самым малым количеством грамматики.

А «практика» в наших русских школах ведь известно какая.

Латинист из Оломоуца диктует экстемпорале, ставя ударения на первом слоге:

— Внимайте и не списуйте: «Галлы же обычествовали войну вести из коня...»

Учитель французского языка морализирует:

— Езли ти глюп, иди вон из кляс; езли ти не глюп, сиди змирно в кляс.

А ученикам в этой обстановке предлагается совершенствоваться в правильной *русской* речи через восприятие той великой истины, что «бегание» есть «предмет»...

Какая-то дикая, непроходимо дикая чепуха.

*Altalena*

*Одесские новости. 19.01.1902*



## **Вскользь**

### **О СНЕ**

В Америке основалось общество для борьбы со сном. Это общество находит, что для человека вполне достаточно спать четыре часа в сутки. И оно ставит своей задачей пропаганду этого четырехчасового сна.

Не знаю, насколько правы эти янки в научном отношении. Действительно ли четырех часов сна достаточно для поддержания нашего организма в неприкосновенной целостности?

Сон — с известной точки зрения — необходимее пищи. Женщина-врач Манассеина производила опыты с собаками и нашла, что смерть от голодания наступает для хорошего пса на двадцатый день, а смерть от полной бессонницы — уже на шестой.

Это очень интересно, однако нельзя не пожалеть, что г-жа Манассейна перемучила столько собак для доказательства такой старой истины:

— Сон необходим.

Так что, может быть, четырех часов сна и мало.

Но янки правы с той точки зрения, что семь-восемь часов сна в сутки — это слишком много. Утверждают, что ровно столько и нужно человеку. Допустим. Но все-таки это невыносимо много.

Мы как-то обыкновенно даже не замечаем, не обращаем внимания на то, что треть нашей жизни проходит вне жизни.

Это ужасно.

Перед нами седой, сморщенный, сторбленный старик. Мы говорим:

— Он стал таким за шестьдесят лет жизни.

Между тем как это — роковая неправда.

Этот человек жил ведь всего сорок лет.

В сорок лет, понимаете ли, в *сорок* лет мы уже становимся седыми, сморщенными, сторбленными.

Мы теперь часто встречаем молодых людей, у которых на макушке лысина, под жилетом брюшко, в уголках глаз — гусиные лапки.

Знаете, сколько лет этому юноше?

По паспорту — двадцать четыре. А на самом деле — шестнадцать.

Это больше, чем ужасно.

Мы привыкли считать, что Пушкин, умерший так рано, в самую лучшую и плодотворную пору жизни, прожил всего тридцать семь лет.

И это была тоже «роковая неправда».

Пушкин прожил всего двадцать три года!

Лермонтов — не двадцать семь лет, а всего-навсего восемнадцать!

Жизнь человеческая не просто коротка.

Она — короче самой себя.

Если бы американцам удалось ввести четырехчасовой сон! Это была бы огромная экономия.

Жизнь Пушкина по этой системе продлилась бы не двадцать три года, а двадцать восемь. То есть все равно, как если бы при восьмичасовом сне великий поэт прожил вместо тридцати семи лет — целых сорок два года.

Лермонтов, если бы он спал по четыре часа в сутки, *прожил* бы в своей жизни не восемнадцать, а двадцать лет. Это равнялось бы уже не двадцати семи годам обыкновенной жизни с семью часами сна, а целым тридцати.

В русской литературе было бы множество шедевров, которых теперь нет.

Это способно довести до отчаяния: жить так мало — и терять еще целую треть этой жизни.

Вообще, если б можно было не спать...

**Altalena**

*Одесские новости. 20.01.1902*



## **Вскользь**

В Одессе и в соседних городах оказалось удивительное количество тоскующих барышень и молодых людей.

Я сужу об этом по письмам, которые получил после 30 декабря, когда рискнул напечатать на этих столбцах свой посильный ответ первой тоскующей барышне, написавшей мне такое хорошее письмо.

Я получил несколько писем.

Одна оппонентка из другого города пишет, между прочим:

«Ваше открытое письмо, кроме негодования, ничего не возбудило во мне.

К вам обращается за советом, да мало сказать „за советом“ — за спасением — юная, неопытная женщина, а вы рекомендуете ей все поддельное...

Слишком *вы* уже разочарованный человек, а не та, которая пишет вам.

Вы говорите, что настоящего дела нет, что есть только поддельное, которое не в состоянии увлечь тебя.

Нет, неправда, есть дело, есть много их. Только взяться мы не умеем.

Боишься лишиться покоя, комфорта, боишься быть *не как все*.

Не умеем мы взяться, не умеем найти интереса, хотя, кажется, и ищем.

Что вынесет особа та из вашего письма?

Что жить нужно, как все? Если все и вся поддельны, то и тебе надо сделаться такой?

Должно быть, вы уж слишком немолоды, потому что только старость способна так беспощадно рассеять и развеять хорошие, честные идеи и всячески помешать их осуществлению.

...Если вы можете дать только то, что дали своим письмом в номере таком-то, то не говорите, не отвечайте ничего.

Всякий, еще неиспорченный и честный еще (по-настоящему) человек скажет только, прочитав или услышав из уст ваших проповедь вашу, что вы — человек нехороший, сжившийся с жизнью, — или нет — с суррогатами жизни, теми, вероятно, которые вы так рекомендуете.

Тяжело мне стало, как прочитала ваше письмо. Я сама так много пережила и переживаю, сама много думаю о том, зачем живу, кого грею своей жизнью.

И что же, — чем больше живу, чем больше думаю, — прихожу к тому, что когда живешь, жить надо не даром, что надо работать, выбирать работу по уму и сердцу, увлекаться работой, любить людей и верить в людей; главное — верить, что есть хорошие, честные люди. Без веры в них, без работы — жить нельзя и не надо».



Другие письма уже не то, что это. Ни той меткости, ни той теплоты.

Положительная часть этих писем сводится к следующей фразе, изображенной в одном из них:

«Удовлетворение мучающих порывов можно найти только в идейном строе убеждений, новой, выстраданной религии, которая бы озарила всякое дело, всякую работу, пробудила новую осмысленную любовь к людям, дала бы возможность оценивать людей».

Наконец в заключение этого письма *настоящее дело* называется своим полным именем:

«Сеять передовое слово и подготавливать мир к решению той проблемы нищеты, которая...»



Господа, прошу вас на минуту вернуться к первоисточнику всего инцидента, то есть к письму той госпожи, которой я ответил в номере от 30 декабря.

Получив его, я увидел, что она вовсе не ждала от меня ни «совета», ни «спасения».

Вот ее слова:

«Я, право, не знаю, для чего я вам пишу и поможете ли вы мне».

И дальше:

«Мне хотелось бы получить от вас ответ и узнать впечатление, какое мое письмо на вас произвело.

Напишите же — это займет меня и хоть на время избавит от тоски».

Эта госпожа очень трезво рассуждала. Выше цитированный господин студент где-то в дебрях своего письма говорит о том, что «создавать идеал» есть задача «философа и социолога». Но госпожа, которой я ответил, соблаговолила принять к сведению, что я — не философ и не социолог, а только газетчик и стихослагатель.

И она просила просто развлечь ее сочувственным откликом. Я это и сделал, потому что еще с детства заучил, что разделенное горе — полгоря.

Если бы я увидел, что ей нужно «спасение», я бы не стал вообще отвечать, потому что спасти бы не умел.

Но кивнуть головой человеку, который пишет: «Мне больно!» и сказать ему: «Мне тоже больно» — это, казалось мне, я умею, и на это, кажется мне, я имею право.

По-вашему, я обязан «ободрять». И великолепно, я ведь ободряю.

Разве я не советовал своей корреспондентке усердно работать и усердно слушать передовые «слова»? Разве я не ободрял ее жить?

Я только не скрывал, что эта жизнь *бугет* «поддельная», то есть не та, которой бы моей корреспондентке хотелось, и потому *бугет* поддельным и усердие.

И если вы находите, что я не должен был высказывать таких еретических мыслей, а был обязан наговорить кисло-сладких слов о том, как увлекательно давать уроки за 10 руб. в месяц во имя торжества просвещения, то это значит, что у нас с вами разные вкусы.

Я в надлежащее время очень ценю ложь, но почти во всякое время предпочитаю правду. И так как я был убежден в том, что наша теперешняя жизнь не может быть не «поддельной», я это



и изложил чернилами на бумаге. Вы, кажется, хотели бы учредить надо мной еще одну цензуру?

Но это мы оставим. Гораздо важнее — существо дела, то есть спор о том, действительно ли нашу жизнь нельзя так устроить, чтобы она увлекала.

Вы говорите, что можно.

«Есть дело, есть много их», — пишет одна.

«Удовлетворение мучащих порывов — только в идейном строе убеждений», — поясняет другой.

Боже, Боже, как неопытен этот господин студент!

Видал я эти «идейные строи убеждений». И сам я тоже с головы до ног убежден в том, что «проблема нищеты» должна быть разрешена в смысле уничтожения нищеты. И шесть семестров подряд слушал рецепты этого уничтожения. И писавшая мне госпожа тоже, несомненно, понимала, что «проблема нищеты» должна быть разрешена.

Вы пишете, господин студент, о целом «строе убеждений», я говорю только о «проблеме нищеты». Пусть это вам докажет, что «проблеме нищеты» я придаю первое и почти абсолютное значение в ряду задач человеческого возрождения. Я тоже «убежденный» человек.

Много убежденных людей на свете. И те из них, у которых есть царь в голове, самым исправным образом жалуются на неудовлетворенность.

Идеал, убеждения — все это хорошо, но все это не удовлетворяет. И, кроме того, все это есть и у нас.

Старички говорят, будто у нас нет убеждений. Непрррравда! Надо не иметь или глаз, или совести, чтобы не знать, сознаем ли мы великую цену «добра, любви к ближним, братства» и считаем ли мы злом «нищету».

Но «убеждения» не делают человека. «Убеждения» также мало удовлетворяют, как мало удовлетворяет сознание той великой научной истины, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Борьба, кипучая деятельность, ежеминутный риск, сильные противники и наглядные результаты — вот что дает удовлетворение.

Идеал и убеждение — вещи второстепенные.

Можно бороться и в борьбе находить полную отраду даже тогда, когда не сознаешь цели борьбы или даже когда сознаешь ее недостижимость.

Умирая, Сирано де Бержерак размахивает шпагой и говорит:

— Знаю, что мне суждено пасть. Но не ради победы надо биться! Я знаю, что в конце концов вы меня одолеете — это все равно: я бьюсь! я бьюсь! я бьюсь!

Против рецепта господина студента, который видит спасение в «идейном строе убеждений», я позволю себе напомнить другой рецепт:

— Прежде всего, нужен человек сильный и работающий. Лучше иметь истинного человека, хотя бы и сомневающегося в своих убеждениях, чем твердый строй убеждений без человека внутри.

И несчастье в том, что человека теперь нет. Истинного, кипучего, работающего человека — нет. В жизни моей я его еще не видел и вы тоже не видели.

Мы, конечно, видели людей, изнемогающих в работе с утра до ночи, но я не об этих людях говорю. Эти люди завалены немилкой, подневольной работой, я же мечтаю о человеке, страстно любящем одну работу, рвущемся к ней и имеющем ее под руками.

То же самое говорит моя оппонентка:

«*Nago* выбирать работу по уму и сердцу, увлекаться работой...»

*Nago!* Понимаете? Легко сказать: «надо»!

Нет-с. Мы *не выберем* работы по уму и сердцу. И *не будем* увлекаться работой.

Почему? Потому, что мы не такие люди. Не оттого нет у нас дела, что мы его не нашли, а оттого, что если бы мы его и нашли, оно бы нас не увлекло. Мы теперь не увлекаемся.

Что ж, положи руку на сердце, вы, моя оппонентка, скажете, может быть, что благодаря вашему открытию, выраженному в словах: «*nago* увлекаться работой», вы перестали тосковать от неудовлетворенности и спрашивать себя этими чудными, у самого сердца подслушанными словами:

«Кого я грею моей жизнью?»

Или вы, господин студент, изобретатель «идейного строя убеждений», может быть, вы скажете, что в светлые минуты и вас не грызет тоска от отсутствия удовлетворяющего дела?

Если не грызет, то я вам завидую, господа, но и жаль мне вас, если не грызет.

Жизнь наша поддельная. Жизнь наша похожа на генеральную репетицию настоящей жизни. Все как будто бы заправское — и костюмы те же, и слова те же, но огня и увлечения в актерах нет.

*Altalena*

*Одесские новости. 21.01.1902*



## **Вскользь**

### **СЦЕНА-ПРОЛЕТКА**

Сюда едет труппа *Überbrettl*, венское повторение французской *Roulotte*, которую мы недавно видели в Новом театре.

*Überbrettl* в переводе с венского жаргона означает нечто вроде «сверхподмостков».

Название страшное, но этот род сцены совсем не непременно должен быть посвящен декадентщине.

Приставка «сверх» употреблена в этом слове только для придания ему печати самоновейшей модности.

Действительно, ничего моднее нельзя выдумать.

Поколения, чем дальше, тем больше и жить торопятся, и чувствовать спешат.

Газета вытесняет с первого плана журнал.

Корифеи литературы давали когда-то романы.

Теперь они дают или рассказы, или драмы, то есть такие произведения, с которыми можно познакомиться в один присест.

Но эволюция пошла дальше.

Драма — это все-таки три-четыре действия, а то и пять. Это ужасно долго.

И вот драматург модной Вены, Шницлер, дал публике ряд одноактных пьесок, иногда связанных в «стольктологии», иногда нет, но, во всяком случае, одноактных.

И это наконец показалось слишком долго.

Тогда из Парижа заимствовали тамошнее изобретение — пьеску-намек, пьеску, которая от занавеса до занавеса занимает всего несколько минут.

Это — картинка, *proverbe*<sup>1</sup>, или шарада в лицах. Она может быть комична, может быть «с настроением», может быть «с гражданской идеей».

Это может быть наконец просто живая картина.

<sup>1</sup> Пословица, поговорка (*фр.*).

Главное условие «сверхподмостков» — быстрота действия, молниеносная прыткость.

Сценки должны *пролетать* перед зрителем.

Я даже предложил бы перевести слово *Überbrettl* на русский язык термином: «сцена-пролетка».

Это гораздо ближе к смыслу вещи, нежели немецкое *Überbrettl*, в котором есть что-то базарно-«декадентское» — «декадентское» в том смысле, в каком употребляют это слово приказчики, продавая материю с узорами:

— Совсем в декадентском стиле. И недорого!

«Сцена-пролетка» затем близко подходит к первоначальному французскому термину «*La Roulotte*». Если не ошибаюсь, это странное слово значит «повозка», то есть подвижной балаган-фургон — символ мелькающего и мерцающего подвижного репертуара.

После этой рекламы собственному переводу модного словечка позвольте устроить здесь же рекламу одной моей маленькой, но заветной мысли.

Мне бы очень хотелось, чтобы при нашем Литературно-артистическом обществе была устроена сцена-пролетка, *Roulotte* или *Überbrettl*.

Ведь недаром же обществу называться «артистическим».

По субботам в помещении общества устраиваются танцевальные вечера с литературно-музыкальным вступлением. Эти вечера охотно посещаются публикой.

Отчего бы не придать литературно-музыкальному вступлению характер *Überbrettl*.

Исполнители — кликните только клич — найдутся. За режиссером дело тоже не станет. Достаточно указать на г-на Селиванова, который к тому же как человек вполне интеллигентный прекрасно поймет, в каком стиле надо будет вести это дело.

Думаю, что и с репертуаром не вышло бы задержек. Написать сто строчек диалога, то грустного, то веселого, — не Бог весть какой труд. К нему можно было бы привлечь не только местные силы, но и тех из столичных авторов, с которыми у кружка имеются связи.

Что касается обстановочной стороны дела, то за ее успех и качество можно прежде всего поручиться. Достаточно вспомнить, что в этой затее столь же охотно, сколько и любезно приняли бы участие наши талантливые южнорусские художники.

Мне даже мерещится «опера-крошка» под руководством нашего милого И. Г. Супруненко.

Мне кажется, что почин такого рода внес бы заметную искру оживления в одесское житье-бытье.

Я не придаю большого «воспитательного» значения этой затее. Но как развлечение Überbrettl не хуже всех других — и, во всяком случае, выдается своей современностью.

Мода в должных пределах — прекрасная вещь.

За то, что такая «сцена-пролетка» — или назовите ее как угодно — осталась бы в своих должных пределах и не сбилась бы в сторону чрезмерного легкомыслия (как у французов и венцев), ручается престиж нашего Литературно-артистического общества.

С чем и повергаю эту мою маленькую, но заветную мысль на благоусмотрение правления.

*Altalena*

*Одесские новости. 23.01.1902*



## ***Музыкальные понедельники Литературно-артистического общества***

Наша музыкальная жизнь так бедна и бесцветна, что всякая затея пополнить ее может быть только приветствуема. В самом деле, опера царит в Одессе почти безраздельно, между тем как камерная и симфоническая музыка производится у нас как бы между прочим, являясь, по мнению многих, каким-то хотя и почтенным, но скучным придатком к опере. Правда, местное Музыкальное общество делает все, что в его силах, но для города с почти полумиллионным населением этого более чем недостаточно. Вот почему мысль устроить музыкальные собрания с серьезной, строго последовательной программой, которые шли бы параллельно с собраниями музыкального общества и, культивируя преимущественно новую музыку, являлись бы дополнением последних, заслуживает самого серьезного внимания со стороны всех, кому дороги интересы искусства; и нам думается, что начинание Литературно-артистического общества в этом направлении встретит поддержку в одесской публике, у которой, говоря экономическим языком, спрос на серьезную музыку был до сих пор мал потому, что чрезвычайно незначительно было ее предложение. Мы со своей стороны считая насаждение новейшей серьезной музыки в Одессе делом прямо-таки необходимости, можем только пожелать, чтобы Лите-

ратурно-артистическое общество, являющееся пионером на этом поприще, не ошиблось в своих расчетах на отзывчивость нашей публики и действительно принесло ту пользу родному городу и искусству, достижение которой оно поставило себе целью. До сих пор состоялось уже два «Музыкальных понедельника», и, судя по программе их, «понеделники» эти обещают быть очень интересными. Пока были исполнены: в первом концерте — квинтет молодого композитора Лонго, отрывки из оперы Рубинштейна «Купец Калашников», соло для арфы и сюита для двух фортепиано Рахманинова. В собрании было предпослано председателем общества И. А. Смирновым сообщение о цели и предполагаемом содержании «Музыкальных понедельников» артистического общества и вкратце охарактеризована была деятельность композитора Боккерини, квинтет которого затем был исполнен. Остальные номера программы составляли: ария Вальтера из оперы «Мейстерзингеры» Вагнера, романсы господ Прибика и Бернарди, первая сюита для двух фортепиано Аренского и мелодекламация. В отношении исполнения второй вечер удался лучше первого. Чудный квинтет Боккерини прошел отлично: видно было, что исполнители отнеслись с любовью к своему делу, и этим преимущественно, по нашему мнению, объясняются те солидные результаты, которых они достигли при сравнительно небольшом числе репетиций. Очень мило была сыграна г-жой Баржанской и г-ном Ценовским красивая сюита Аренского, а г-н Супруненко с присущим ему мастерством спел арию из «Мейстерзингеров» и несколько романсов местных композиторов. Очень понравилась также мелодекламация г-на Петровского под артистический аккомпанемент г-на Ценовского.

А.

*Одесские новости. 23.01.1902*

## **Вскользь**

Бедного Макаревича ограбили. У него съели остатки жаркого.

Макаревич и его эконоом возмутились до того, что накинулись на виновного и стали вдвоем колотить его всеми своими осьмью ногами.

Я вполне на стороне Макаревича и его эконома.

Со стороны г-на Денисенко, которого они вдвоем избili в восемь ног, и повара, который угостил г-на Денисенко остатками жаркого, вся эта история была возмутительным нерадением о хозяйском добре.

Так нельзя обращаться с остатками жаркого!

Я понимаю все бешенство Макаревича и его эконома.

Тут, понимаете, огрызком хлеба, упавшим на пол, — и тем надо дорожить.

Он может пойти завтра на панировку котлет.

А остатки сегодняшнего жаркого — ведь это несколько завтрашних порций! Несколько рублей!

Скормить несколько рублей какому-то подповаренку! Дать подповаренку то, что завтра могли бы съесть порядочные господа!

Это ужасно. Это неслыханно.

Так я себе объясняю гнев Макаревича и его эконома из-за съеденных остатков жаркого. Объясняю и настаиваю на их правоте.

Мировой судья должен будет их обязательно оправдать.

Что сказали бы мы с вами, если бы какой-нибудь кухонный мужик посягнул на наши священные привилегии?

У содержателя кабака испокон века есть священная привилегия:

— Распорядиться остатками жаркого по своему усмотрению.

У эконома содержателя кабака — своя:

— Содействовать этой утилизации остатков жаркого. Подповаренок посягнул на эти привилегии — вот его и поколотили. Поделом вору и мука.

А кто интереснее всего в этом деле — это публика.

Любопытно будет посмотреть: убавится в кабаке Макаревича посетителей после этого события?

На днях я прочел в одной из одесских газет рассказ, который мне смертельно не понравился.

К слащавой литературе я вообще отношусь равнодушно, но это было уже слишком слащаво. Автор хотел подпустить горькой сатиры — и сделал из нее карамель.

В этом рассказе повествовалось, как интеллигентная семья с дамами и барышнями распивала чай, беседа на интеллигентные темы.

Вдруг вбежала горничная (положительный тип) и с плачем рассказала, что во дворе поймали старика-вора и бьют его на смерть.

Дамы и барышни (отрицательные типы) выразили негодование по поводу того, что горничная жалеет вора, и тут же весело решили пойти посмотреть, как это его бьют.

Пошли и посмотрели. А потом горничную решили считать:

— Верно, она сама воровка, если ей жалко вора.

Много надо было выпить постного масла, чтобы сочинить такую «книжку с картинками».

Ведь это — неправда. В чем угодно обвиняйте интеллигенцию, особенно южнорусскую, но только не отрицайте одного.

Не отрицайте, что кулачное избиение, особенно одного человека многими, всегда вызывает в нас апогей отвращения и возмущения.

По трусости нашей мы не двинемся на защиту избиваемого, но чтобы нас притом не передернуло с головы до ног, чтобы нас это не ударило по самому больному месту души и чтобы мы еще пошли любоваться отвратительной дикой картиной истязания, — это все только могло присниться человеку, опьяневшему от трех бутылок лампадного масла.

Смейтесь лучше над чистой платоничностью этого нашего сочувствия избиваемому, над тем, что мы и пальцем не шевельнем ему на помощь! Тогда — другое дело. Вы будете правы.

Хоть взять этот случай с Макаревичем.

Публика, положим, не видела, как избивали г-на Денисенко. Но таких вещей публика никогда не увидит. Макаревич сам не пожелает, чтобы его посетители заинтересовались:

— Отчего он так горячится из-за остатков жаркого?

Но для публики вполне достаточно, по-моему, *знать*, что кабатчик вкупе с верным своим холопом избил беззащитного служащего ни за что ни про что.

Разве этого мало для того, чтобы сама публика догадалась наказать кабатчика самым чувствительным образом?

Выдумали у нас какие-то бойкоты английских товаров — в защиту Трансвааля, и прусских продуктов — в отместку за Вжесню.

Но разве это возможно? Где на земле такая солидарность, которая бы устояла против несметного количества частных выгод и удобств?



Велика Англия — и далека.

Воевали бы мы лучше у себя дома, под рукой, вот с такими Макаревичами.

Кабатчик себе не враг. Если бы у него попустовали столики неделю-другую, много бы ему прибавилось и ума, и опытности.

И получилось бы у него столько остатков жаркого, что он надолго перестал бы ими дорожить.

**Altalena**

*Одесские новости. 24.01.1902*



## **Вскользь**

Арестовали шулера.

Г-н Герниг обыгрывал честную публику в Одессе; здесь его уличили и, вероятно, устроили подходящие овации; тогда он поехал в Кишинев, где и попал, так сказать, в лузу.

Удивительно много этого народа в Одессе.

Ничто вас не гарантирует от встречи с шулером. Никакое форменное платье, никакое благородство в лице и манерах не может служить ручательством за то, что данный господин не «арапничает».

Сидит он за столом мило и спокойно и больше молчит — изредка только скажет соседу, который медлит снять:

— Коллега, вы адски действуете на нервы.

Или снисходительно улыбается, глядя себе в карты:

— Мне адски везет сегодня.

Извольте доказать ему, что это неправда, что вовсе ему не «везет», а сам он себя вывозит. «Адски» вывозит.

Ибо карты у него заранее разложены особенным образом. Когда вы шли к нему домой играть и хотели любезно купить колоду, он, зевая, откликнулся:

— Помилуйте, как можно. У меня дома есть еще запечатанная.

А дома ждет помощник. Приветлив, как барышня, изящен, как силуэт с иллюстрированной открытки, и опять-таки вся физиономия густо вымазана благородством.

Он распечатывает колоду и передает ее своему патрону; патрон — хлоп! — подменивает ее другой колодой и начинает продуцироваться.

Когда он тасует, карты положительно танцуют в его руках.

Он берет одну часть сзади и перебрасывает ее вперед, потом остальную — и тоже перебрасывает вперед. И получается все, как сначала.

Это — вольт в два па.

Он может тасовать карты и в три па — тогда он делит колоду у себя в руке на три части и жонглирует ими, как виртуоз: они у него мелькают то туда, то сюда — и в конце концов остаются там же, где были раньше.

А потом, как вы ни снимайте, он и его помощник уже знают всю игру наизусть.

Да еще, если бы эти строки попали им на глаза, они бы только пожалы плечами:

— Какой отсталый человек этот бедный газетчик! Ему знаком только самый старинный, самый наивный из наших приемов. Так еще при бабушках мошенничали!

С тех пор, как известно, наука шагнула вперед.

И «люди науки» тоже продвинулись немало по лестнице прогресса.

Прежде они шмыгали в подонках человеческой водосточной канавы — теперь они блистают в обществе порядочных людей.

Редкий день не встретишь на Дерибасовской кого-нибудь из них.

Элегантен. И барышня с ним — самая дорогая: пройдет она мимо вас и зашуршит так, что ваши мысли невольно прильнут к источнику этого шуршания.

Откуда, спрашивается? Папаша этого магната поет козлетоном в городском хоре. Сам он, магнат, ни уроков не дает, ни в конторе не служит и даже «дневников» не сочиняет для гимназисток 8-го класса.

Может быть, он состоит при пожилой даме? Но тогда он не мог бы щеголять «по Дерибабушке» каждый день с новой шуршащей барышней.

— Следовательно, он?..

— Совершенно верно.

«Он» притом вовсе не непременно должен быть сыном городского козлетона. Он может быть и из «хорошей семьи».

Иногда «его» папаша занимает видное положение.

А сын промышляет. Иногда на нем такие пуговицы, которые должны были бы исключать всякую мысль об оном таланте. Но талант есть и в землю не зарыт.

Этот сын даже не обязательно шулер. Он может быть и просто честным художником.

Особенно если его поле — бильярд. На бильярде плутовать почти невозможно.

«Он» и не старается плутовать. Он просто-напросто совершенствуется и наконец достигает идеала виртуозности.

Тогда он вступает в союз с несколькими франтами из своих друзей, и начинается роман под заглавием:

«Рокамболи карамболи».

Друзья наблюдают. Затесался в бильярдную новичок, особенно провинциал, — они его подбивают играть и сдают ему две-три партии.

Главный Рокамболь подходит, следит за игрой — и приятель говорит ему, как будто вполголоса, а как будто и в полтора голоса:

— Посмотри-ка, Жорж, на этого господина — «адски» хорошо играет. Тебя возьмет!

— Ну ппааложим!

Провинциал вступается:

— Угодно?

— Есть разговор.

Играют. Рокамболь тоже сдает «рябчику» две партии, тот начинает торжествовать и заламывать куши — и тогда ему приходит капут.

Рокамболь вдруг разворачивается и показывает всю ширь своего искусства. Шары провинциала улетают в лузу, точно там их родина. И когда «рябчик» опомнится, только штаны и увезет он к себе в Бендеры. А шулерства не было.

Случается и еще лучше: труппа ездит на гастроли.

Особый приятель доводит до сведения, что на таком-то пароходе сегодня вечером выезжает в Херсон компания богатых провинциалов. Экспортеры, да еще с Днепра — значит, народ азартный.

И вся труппа, с главным Рокамболом в хвосте, покупает себе билеты и едет в Херсон.

По дороге — та же история. Сначала подручные увлекают провинциалов, сдавая им по маленькой партию за партией, потом приходит ipse<sup>1</sup> Рокамболь, присматривается, присаживается, проигрывает 15 рублей и вдруг за три часа времени выигрывает 500.

---

<sup>1</sup> Сам (лат.).

Придраться не к кому. Плутней здесь не было. Рокамболь просто-напросто гениально играет.

А если он мало-помалу заманил «рябчиков» в свою ловушку и довел их до белого жару, это уже тонкая психология, которая по закону не наказуема.

Но интереснее всего, в нравственном отношении, положение помощников Рокамболя.

После каждой удачи он оделяет их установленными процентами. И они живут и процветают, а греха на них нет уж совсем никакого.

Провинциала обыграли? Но ведь не они его обыгрывали. Они, напротив, ему с самого начала еще своих пять рублей спустили. Чисты и невинны, как барышня моложе восьмилетнего возраста!

Тем более что некоторые из них даже ни карт, ни кия в руки не берут. Даже и в бильярдной не бывают.

Они только доносят, что на горизонте явился такой-то объект и что встретиться с ним можно там-то. И дальнейшее — не их дело.

Самый невинный репортаж.

Я знаю одного из таких репортеров. Ничем осязаемым не занимается, а обедает у Гоппенфельда и носит черную тужурку рублей за 35.

По Дерibasовской ездит не иначе, как в карете и, встречая мою скромную пешую особу, всегда любезно кланяется.

Я слаб душою: я отвечаю на поклон.

Но если он прочтет эти строки, то прошу его обдумать: когда же, собственно, мы с ним познакомились?

Я не помню этого счастливого дня. И ничего так не желаю, как чтобы и в его памяти этот прекрасный день утонул во тьме забвения.

*Altalena*

*Одесские новости. 25.01.1902*



## *Отцы и дети*

Я не люблю слышать, как старички говорят о теперешнем поколении.

Прежде всего — я не люблю старичков. И не вполне понимаю, за что их можно любить.

За опытность? Мы живем на земле для того, чтобы дело делать, а не для того, чтобы накапливать себе в голову опыт. Ergo<sup>1</sup>, за опытность нечего кланяться, как нечего кланяться за богатство.

Опытность — то же богатство. И... глупому сыну оно не в помощь.

Ценить старичков за то, что они когда-то сделали? Готов.

Но девяносто девять сотых теперешних старичков в свое время ровно ничего не сделали.

А те, которые сделали, — те тоже слишком уж увлекаются, если хотят по сей день жить на проценты со старых заслуг, то есть быть вождями поколения теперь, потому что они-де знают, какие башмаки носило поколение, жившее три чертовы дюжины лет тому назад.

Если бы хоть была в них, в старичках, ясная любовь к молодости и чистое, беспристрастное понимание свежих мыслей.

Нема!

Старички злятся. Если вы написали «лекарство» через е — они злятся: в их время писалось Ё.

— Но ведь это одно и то же!

Ноль внимания. Старички злятся.

Вы можете выбиться из сил, доказывая:

— Да мы — ваши преемники! Мы продолжаем вашу же дорогу! Но на этой дороге есть и равнины, и горы, и моря. Вы шли горами — и у вас были сапоги с гвоздями. Перед нами теперь море — вот нам и нужна лодка. Это все. Отчего же вы отказываетесь от нас?

Старички злятся:

— Вы бросаете сапоги с гвоздями, которые сослужили такую великую службу?! Вы меняете их на какую-то лодку?! Стыдно!!

Это — закон природы. Одряхлевший воин ворчит на молодых, потому что скорбит о своей потерянной мощи.

Ну что же, низкий поклон его ранам, и когда пойдем на учење, то оставим его дома, потому что он учился в то время, когда еще не было скорострельной винтовки.

Что же остается от старичка? Седая борода?

Борода — прекрасная вещь.

---

<sup>1</sup> Следовательно (лат.).

Но я очень люблю поэму Пушкина «Руслан и Людмила». И помню оттуда сказку о волшебнике Черноморе.

У карлы Черномора была длинная борода, и в бороде была его кудесническая сила. Бородою он мог удавить сразу сто человек. И все боялись его бороды.

Нашелся витязь Руслан. Этот витязь был *молод*. Он отрезал у Черномора бороду.

И тогда Черномору стала грош цена. Черномора положили в дорожную сумку и привесили к лошадиному заду.

Я не люблю, не уважаю и не ценю старичков.

Но так как они усиленно опрашивают теперешнее поколение:

— Что вы такое?

То попробуем действительно разобраться хоть немного в этом вопросе:

— Что мы такое.

Меня, конечно, никто не уполномочивал отвечать на этот вопрос. За то, что я скажу, буду ответствен только я. И многие из этого самого теперешнего поколения отрекутся от того, что я скажу.

Но тут уж моя рука владыка. Я считаю себя наблюдателем — удачным или нет, другое дело. И как наблюдатель я имею право судить, какие элементы составляют вечную сущность теперешнего, сегодняшнего поколения и какие элементы посторонние, навеянные и несущественные.

Может быть, я и ошибусь. Но я не боюсь ошибок ни в мыслях, ни в делах.



Итак... Надо начать с убеждений.

Я думаю, что у «нас», в старом смысле, «убеждений» почти нет.

Т. е. есть твердая уверенность в том, что земное зло — тьма, несправедливость, голод и все, что угодно, — должно быть уничтожено, или человечеству незачем существовать.

Но говорить себе:

— Для уничтожения зла надо всегда идти по этой дороге, а не по той, следовать этой программе, а не той.

Этого «мы», мне кажется, не желаем, потому что нам надоели предвзятые мнения.

Старички раз и навсегда говорили себе:

— Не подавать милостыни.

И поэтому истинно убежденные из них не подавали милостыни даже тогда, когда сердце разрывалось от жалости. Нищий умирал с голоду или попадал в тюрьму, но принцип был соблюден.

«Нам» противен этот фанатизм.

«Мы» будем судить жизнь и ее факты точно так, как теперь в суде — скором, правом, милостивом и равном для всех — судят людей.

Не по букве закона или принципа, а по совести.

А «совесть» — это неуловимое для разума, не укладывающееся в рамку «принципа» сплетение доводов за и против. Это — полное и верное отражение жизни, по крайней мере в том объеме, в каком эта жизнь каждому отдельному человеку видна и понятна.

Умнее своей совести не будешь.

У старичков в душе сидел коронный судья и решал все дела по букве закона.

У «нас» в груди сидят двенадцать присяжных и решают дела по чутью совести.

Я не знаю, что милее вам. Я предпочитаю присяжных.

«Убеждение» старичков было сборником резко определенных правил. Убеждение «наше» — неуловимое, несказанное чувство. «Настроение».

О, я знаю, старички, что вы ехидно засмеетесь и спросите:

— А как же вы будете контролировать? Различать своих от чужих?

Мы не будем контролировать. Это вы контролировали. Это вы спрашивали каждого проходящего:

— Стоп! Прочти нам наизусть твой катехизис.

Мы же спросим только:

— Желаеть ты блага людям?

— Да.

— Мы твои товарищи.

И оттого, что вы старались все подводить под струнку, под регламент, вы, старички, в ваше доброе время были похожи на солдат.

Я же надеюсь, что «мы» в наше доброе время будем похожи на рыцарей.

Знаете разницу между солдатами и рыцарями?

Первых ведут скопом по общему пути.

Вторые скачут вольно по тысяче дорог.

Я не говорю, что те лучше других. Я одинаково люблюсь и мощной массой солдат, и рассыпной отвагой рыцарей.

Я только говорю, что время общей команды прошло и наступило время индивидуальной работы, отчет за которую дадут ее результаты.



— А куда же вы поскачете по этой тысяче дорог?

Не имею понятия.

Это у вас, старичков, были на все клички. Один батальон назывался так-то и, значит, предпочитал щи; другой батальон назывался иначе и тяготел к овсяной похлебке.

Я же надеюсь, что «мы» никак не будем называться.

*Выше всех на белом свете —  
Человек без ярлыка.*

Я надеюсь и верю, что каждый из «нас», когда настанет его время, выберет свою дорогу по своей склонности — и пойдет показывать на ней свою силу.

Может быть, он ошибется? Натворит беды вместо блага?

Может быть. Но это не важно. Лишь бы была сила и лишь бы она не гнила в бездействии, а работала, работала, работала!!

Не надо бояться ошибок ни в мыслях, ни в делах. Потому что и после нашей смерти в мире будут поколения работы.

Все можно будет поправить! Только безделья не поправишь, а безделья у «нас» (так я надеюсь) не будет.

«Мы» не на безделье поскачем в рассыпную по тысяче путей,

*Целуя на скаку хорошенькие лица,  
Затем что надо ведь и нам повеселиться!*

Вот разница между вами, старички, и «нами».

У вас катехизис.

У «нас» — вольная воля.



Вы можете сказать, что все это риторика и общие места.

Говорите. Мне не мешает, когда люди говорят.

Один только вопрос вы можете мне задать, на который я затрудняюсь ответить:



— Глубоко ли верите вы в то, что все это так и будет?

Я этого не знаю. Я писал и говорил, что *все* теперешние люди, стар и млад, кажутся мне вялыми и неувлекающимися.

Я не знаю, пройдет ли эта хворь.

Но я верю, что, если она пройдет, то «мы» окажемся именно тем, что я попытался описать выше.

И еще я верю, что, если когда-нибудь, когда поздние потомки подведут итоги и вам, старички, и «нам», — то вы в раю низко поклонитесь в ноги нам и скажете:

— Спасибо! Вы тоже принесли крупицу блага земле.

И «мы» тогда еще ниже поклонимся в ноги вам и благоговейно скажем:

— Спасибо! Если бы вы не начали, мы не могли бы продолжать. Потому, что мы продолжали *ваше* дело!

**Altalena**

*Одесские новости. 26.01.1902*



## **Вскользь**

В конце концов — смотрю я на этот мир и очень радуюсь.

Дело в том, что он прогрессирует и исправляется.

Ежедневно какого-нибудь воришку отправляют в тюрьму. Поэтому с каждым днем, несомненно, на свободе остается все меньше и меньше воришек.

В то же время честные труженики из низшего сословия постепенно завоевывают себе уважение в обществе.

Например, я лично знаю двух господ, которые решили говорить извозчикам «вы».

— Сvezете за пятнадцать копеек?

Особенно же радует меня в этом отношении мой дворник. Вот человек, сумевший завоевать себе положение!

Эта эволюция происходила у меня на глазах.

Я помню еще такое время: придет, бывало, Хома с черного хода, поздоровается с горничной, не щиплет ее, потопчется на рогоже и стыдливо спросит:

— Барин будут дома?

Выйдешь к нему.

— Что такое, Хома?

Он кланяется.

— Да вот у вас который молодой человек были, то выйдя на лестницу, сели и поехали вниз по перилам. А хозяин увидел и меня же скомпрометировал.

— Ну?

— Так нельзя ли им сказать, чтобы они ножками по ступенькам сходили? У нас перила щербатые, можно в брюках шкodu наделать...

Дашь ему пятак — он скажет «merci» и уйдет, не ущипнув горничной.

Прошло несколько времени — Хома стал немного развязнее.

— Барин дома?

— В чем дело?

— Хозяин прислал расписку. Просит уплатить.

— Вечером.

— Нельзя. И рад бы, да нельзя. Хозяин с меня же взыщет. «Ты, — говорит, — ответствен и неаккуратен!»

Дашь ему гривенник.

— Что ж, найду вечером. Вы до меня ласковые — и я до вас ласковый. У меня так!

Утекло еще немного воды — и у Хома появились странности.

Захожу я раз на кухню и еще за дверью слышу подавленный шепот горничной:

— Не про вас писана!

Вхожу — что-то серое шарахается к плите, выпрямляется, стаскивает с головы шапку и говорит:

— Это я, Хома. Будучи для осмотра плиты. Чтобы удостовериться, или труба не спорчена.

Горничная стоит в стороне и раздраженно вмешивается:

— Никакой трубы спорченной тут нема! Пошел бы к себе в подвальчик искать спорченную трубу!

Хома выпрямляется:

— Ты у меня полегче! Я тебе, барышня, не так себе кто-нибудь! Ты вот лучше больничную квитанцию покажи?

Тут он приемлет пятиалтынный и уходит, говоря:

— ...рси. А за трубами надо следить. Я еще приду.

Через несколько месяцев после этого у меня с Хомой был краткий разговор в подъезде.

Я вернулся ночью, позвонил у ворот, сунул Хоме двугривенный и хотел пройти, как вдруг услышал:

— Что ж это так поздно?

Я остановился.

— В театре был, Хома.

— А-а. Если в театре, тогда ничего. А что в том театре представлялось?

— Музыка.

— Так. Там... как его... никогда не представляют так, чтобы против закона?

— Никогда.

— Так. Покойной ночи.

— Спокойной ночи, Хома.

А поблагодарить за двугривенный забыл.

И если не ошибаюсь, то именно с этого разу он вообще перестал благодарить.

Я входил в ворота, совал ему в руку монету и спешил к своей двери. Он запирали ворота и проваливался в свою землянку.

Но однажды, всовывая монету, я нечаянно взглянул ему в лицо. Его лицо выражало такую значительность, что я невольно пробормотал:

— Спасибо...

Он ответил:

— Не стоит.

И с тех пор завелся такой порядок: Хома отпирал, я боком втискивался в подъезд, опускал двугривенный в ладонь и говорил:

— Спасибо!

Он принимал двугривенный и отвечал:

— Не за что.

В прошлом месяце он, впрочем, упразднил и эту формулу, заменив ее кряхтением, — и наконец однажды сказал мне:

— Ежели всегда так поздно, то я как-нибудь и не услышу звонка. Можно бы и пораньше, кажется!

Я извинился.

Но в ночь под Новый год или, точнее, в утро Нового года я добрался до своих ворот около четырех часов утра.

Я звонил, звонил, звонил... Хома не слышал.

Вероятно, я был очень утомлен. Я присел тут же на завалинке и заснул.

И мне приснилось, будто уже наступил рассвет и будто Хома стоит надо мною и трясет за плечо:

— Вставайте! Пора улицу подметать!

И будто я встал, взял метлу и подмел улицу, а Хома надзирал и указывал:

— Вон там, направо. И чего это извозчики так наш угол излюбили!

А когда я кончил, он будто строго посмотрел на меня и сказал:

— А с Новым годом не поздравляете? Свои порядки заводите?

И я будто немедленно произнес:

— С Новым годом, Хома.

И будто протянул к нему ладонь, чтобы получить на водку. Но Хома строго заявил:

— Что насчет денег на чай, то по-прежнему.

И я будто бы дал ему полтину и сказал:

— Спасибо.

И тут я, к сожалению, проснулся. А очень любопытно было бы знать, как бы Хома ответил на мое «спасибо» в этом пророческом сне.

**Altalena**

*Одесские новости. 27.01.1902*



## **Вскользь**

Самоубийство Агишева — это рисунок в тексте книги «Школьный учитель».

Не всегда бывает так, что школьный учитель, приобретая собственную школу, начинает форсить, задавать тон и третировать en canaille<sup>1</sup> преподавательский и родительский персонал.

Бывают и обратные примеры.

Школа приобретается с любовью и надеждами. Мерещатся все такие хорошие вещи: добрые отношения учащихся к учащимся, поставленные на основу взаимного доверия и уважения. Педагогический совет в виде дружной семьи, вдохновленной одинаково «идейными» стремлениями. Общение с родителями. Наконец, такая обстановка и постановка преподавания, какой еще изумленный мир не видал.

Оказывается:

С детьми ничего нельзя поделать. Семья так их воспитала, что покажешь им ласку — немедленно положат ноги на стол,

<sup>1</sup> Здесь: грубо, бесцеремонно (*фр.*).

а захочешь, чтобы они эти ноги убрали на место, — изволь приниматься за те же самые рутинные строгости, которые мечтал навсегда устранить из своей школы.

Мечтал о доверии к ученику, а приходится требовать от него каждый понедельник родительской подписи под отметками. Да еще томиться подозрением, не подложная ли.

Мечтал о доверии детей к преподавателям, а вместо того — черт знает по чьей вине! — на всяком шагу сталкиваешься с за- таенной детской враждебностью, осторожностью, подозри- тельностью...

Родители учеников оказываются чем-то совсем уж непри- личным. Если пригрозить прогнать ребенка домой, они внесут плату за право учения, но станут вам злейшими врагами и загу- дят на перекрестках:

— Что ж это за педагог? Он о деньгах думает, а не о просве- щении.

Если же не пригроишь уволить ребенка, то денег так и не увидишь в первом полугодии раньше Рождества, а во вто- ром полугодии — раньше экзаменов. И не будет из чего платить за помещение и учителям.

Да-с, общение с семьей. Задача! Хороша эта семья. На вся- кое нововведение прежде всего огрызается эта самая семья.

— Отчего у вас не выдают наград? Мой мальчик второй день подряд плачет — он так хорошо учится, и вдруг без награды!

А про себя думает — скупость.

Попробуйте упразднить отметки: набежит туча мамаш. Будут такие, которым поневоле соболезуешь: дети скверно учатся, они детям не доверяют и хотят иметь доказательства успехов или неудач.

Но будут и такие, которые вызовут только отвращение и раздражение. Это те, которым приятно на зависть всему ми- ру созерцать еженедельно «пятерки» в записных тетрадках благонаправленного родимого щенка.

В школьном деле разочарование начинается с родителей.

И наконец мечты о какой-то особенной постановке препо- давания разбиваются о то простое обстоятельство, что на све- те есть программа, ее же не преиждешь. И кончаешь, рефор- матор, теми же диктовками во славу буквы **Ѣ** и историей Иловайского... Иловайского, это еще с полбеда, а если Фарма- ковского?

Мы пропустили посторонние неприятности — сверх абонемента. Всегда найдется доброжелатель, который пошлет по парочке анонимных писем и вам лично, и в инспекцию народных училищ...

Школьное дело — каторжное дело. За многое со школьным учителем надо *бороться*. Но почти ни за что нельзя его *винить*. Трудно быть лучшим в этих условиях — или надо иметь проволочные жилы.

Но, по крайней мере, то было утешением, что хоть некоторые истинно хорошие люди сочувствовали школьному учителю, помогали ему, чем можно, и уж ни в каком случае не представляли ему ножки.

Такого доброго отношения вряд ли заслуживал кто-нибудь больше покойного Агишева.

Человек вел самую скромную жизнь, но тратил больше своих средств. Все эти деньги шли на училище.

Весь город знал, что у Агишева школа поставлена и обставлена превосходно. Из частных заведений это было чуть ли не лучшее. Помещение для нее было нанято над морем, с таким обилием чистого воздуха, каким вряд ли может похвастать у нас даже 3-я гимназия.

И в то же самое время сам Агишев, который не пил, не играл и не кутил, запутывался дальше и дальше в сетях вексельной бумаги.

Кредитор не шутит и не должен шутить. Пока есть на свете деньги, им нужен порядок.

Но от лиц, давным-давно доказавших миру и Риму свое полное бескорыстие, от лиц, окруженных издавна самым устойчивым уважением общества, можно было ожидать другого образа действий. *Noblesse oblige*<sup>1</sup>. Есть такие степени духовной *poblesse*, с которыми несовместимо звание кредитора. И тем более — рвение кредитора.

Агишев не думал о смерти. При нем нашли билет в театр на вечер того же дня, когда он застрелился.

Он мог рассчитывать на лучшее будущее для себя и своей школы: всего некоторое время тому назад особый комитет, взявший на себя спасение училища от краха, успел удовлетворить наиболее страшных кредиторов.

---

<sup>1</sup> Положение обязывает (*фр.*).

За помещение не платили уже очень давно. Но Агишев знал, с кем он имеет дело, верил в noblesse и менее всего с этой стороны ждал последнего удара...

Я в этом всем ничего не понимаю. Как это случилось? Как это могло быть допущено?

О жадности к деньгам не может быть и речи там, где все мы готовы поручиться за самую широкую щедрость, за сто раз доказанное бескорыстие.

О крайней нужде тоже помышлять не приходится. Не могла быть «необходима» та относительная miseria<sup>1</sup>, которую Агишев мог задолжать за это помещение.

В том же доме, наконец, пустуют еще несколько дорогих квартир...

Не понимаю.

Но главное — ведь это была школа! И ведь у нас теперь на земле январь месяц, то есть учение в полном разгаре!

Держать у себя даром в многотысячной квартире чужую школу — к этому не обязывает и noblesse.

Но разве нельзя было выселить эту школу во время каникул? Нельзя было подождать четыре месяца?

Очевидно, нельзя было, потому что Агишеву пришлось хлопотать о *двух днях* отсрочки.

Как известно, отсрочка получилась. Но Агишев уже успел тогда и отравиться, и застрелиться — на развалинах своей опечатанной школы.

*Школа!* Это ведь была школа! И мы имели право думать, что в этом случае со школой не будут ведаться через судебного пристава.

Странно, очень странно и непонятно — и больно. Не только за Агишева.

**Altalena**

*Одесские новости. 29.01.1902*



## **Вскользь**

Г-жа Алма Фострем говорит, что в России много хороших певцов.

Все, что исходит из такого компетентного источника, должно быть без спора принято на веру, как стих из Корана. Но ведь и Коран дозволено подвергать разъяснительному толкованию.

<sup>1</sup> Здесь: жалкая сумма (*итал.*).

«Много» — это очень и очень относительное понятие. А «хороший» — понятие еще более относительное.

В данном случае я позволяю себе толковать слово «много» таким образом:

— В России столько первоклассных певцов, что их свободно хватает для Петербурга, Москвы — и летом для гастролей.

При таком понимании выражения «много» мы можем принять термин «хороший» в его абсолютном значении.

Если же мы, наоборот, захотим принять в абсолютном значении слово «много», то для термина «хороший» придется прибегнуть к филологическому толкованию. Надо будет предположить, что корнем слова «хороший» будет слог *хор*, и заключить:

— В России очень много таких певцов, из которых можно было бы составить приличный хор.

Первое или второе толкование мифической фразы госпожи Фострем, какое ни предпочтете — с обоими можно безупречно согласиться.

И никогда никто в этом не сомневался, что в России хватит первоклассных певцов на обе столицы, а приличных рядовых голосов почти на всю провинцию.

Отсюда ясно, что, кому хочется процветать на положении «провинции», тому не возбраняется завести у себя русскую оперу с русскими певцами.

И весь вопрос в том, насколько выгодно и желательно для Одессы попасть в этом отношении в чин захолустья.

Мы — во всех отношениях захолустье. Всю без исключения умственную и духовную пищу мы получаем из столиц и после столиц. Или же от третьестепенных поваров, которых забраковала столица.

Но из этого печального правила у нас, в Одессе, есть одно исключение: итальянская опера.

В ней мы самостоятельны. В ней мы соперничаем со столицами, опережаем их; благодаря итальянской опере в одесской духовной жизни есть хоть одна выдающаяся, замечательная, не захолустная черта.

Всякое прикосновение к нашим итальянцам кажется мне положительно кощунством.

У нашего города нет традиций, кроме этой. С нею он родился, с нею вырос. Город богател, хорошел, город вымирал от чу-



мы или служил целью вражеским ядрам — в горе и в радости, из года в год Одессу утешали и ободряли итальянские певцы.

С традициями так нельзя обращаться: взять да прихлопнуть. Особенно с такой чудно-прекрасной традицией, как эта.

Можно, впрочем, сказать с уверенностью, что все разговоры о русских певцах так и останутся разговорами еще на много и много лет вперед. Когда в Одессе будут другие театры, милости просим тогда «хороших» певцов домашнего изделия: мы им будем очень рады для разнообразия. Но главное место в оперном сезоне еще надолго, судя по настроению компетентных лиц, останется за итальянцами, потому что у них голоса во сто раз лучше.

Я буквально не разделяю психологии тех немногих, которые ратуют за русскую оперу с русскими певцами в Одессе.

Если это фанатизм, то нечего и спор вести, а если не фанатизм, то что же?

Не могу я понять людей, которым приятно во всем плестись в хвосте столицы, носить ее отрепья и вкушать ее объедки.

Есть такой город — Харьков. Там публика недавно с ума сходила по одному баритону, который у нас в Городском театре был бы возможен только на затычку.

В Харькове его носили на руках точь-в-точь, как у нас г-на Джиральдони.

Если бы этого харьковского кумира возвести в квадрат — из него бы еще не вышло даже половины г-на Бонини.

А г-н Бонини у нас второй баритон.



Трогательно слышать, как противники итальянцев сетуют: — Что это за русская опера на итальянском языке? Сидишь на «Пиковой даме» и ничего, кроме *tre carte*<sup>1</sup>, не понимаешь!

Бедняжки!

Можно подумать, что когда они слушают оперу по-русски, они понимают все слова.

Экая чудная дикция оказывается у доморощенных певцов? Кто бы ожидал.

Бейте меня, ссылайте меня в каторжные работы, но когда я сижу на редакционном месте, которое находится близко

<sup>1</sup> Три карты (*итал.*).

от сцены, и слушаю оперу, то, поют ли ее по-итальянски или по-русски, я одинаково понимаю по одному слову каждые пять минут и отнюдь не больше.

Режьте меня и колесуйте, но не верю, чтобы и сами господа противники итальянщины обладали способностью улавливать в опере слова текста, хоть бы и самого распрерусского на свете.

В опере, если понимаешь пятое через десятое, и за то спасибо. Для прочего есть либретто.

В оперу ходят слушать мотивы, голоса и оркестр, а вовсе не слова.

*Altalena*

*Одесские новости. 30.01.1902*



## *Хаджибей*

Поезд наш бежал, дрыгая вагонами, из Киева в Одессу. Пассажиры пили чай с бутербродами и говорили о том, как Киев растет и как падает Одесса. Толстый господин коммерческого типа уверял, что он ездит в Киев по делам раза два в году и всегда находит что-нибудь новое: то выстроился дом-небоскреб в четырнадцать этажей, то целую улицу не узнать. А в Одессе и построек не видно.

— Предприимчивость пропала у одессита, — прибавил он. — Еще недавно было ее — хоть отбавляй. А теперь вялый пошел одессит, пассивный.

— Да, да, совершенно верно, — подхватил другой пассажир, молодой и щеголеватый. — Это вы совершенно верно подметили: в упадок пришла не только материальная жизнь города, но и психика одессита. Ведь это еще недавно была совсем особенная психика, знаменитая на всю Россию, и главной ее чертой была именно этакая бодрость неунывающая, умение при каких угодно обстоятельствах «выкрутиться» и найти надлежащую комбинацию. В сущности, на всю Россию только и были два города, создавшие свой «тип»: Москва да Одесса. Москвич — определенная фигура и одессит — определенная фигура: произнесешь эти названия, и сейчас перед тобой возникает выпуклое, отчетливое представление. Попробуйте сказать «киевлянин», «саратовец», даже «петербуржец» — пустые звуки, паспортная отметка о местожительстве, не больше.

А «одессит» — нет, господа, это не звук пустой был, это была рекомендация...

— Как же, — буркнул третий пассажир, мужчина хмурый, — услышав эту рекомендацию, люди мигом за карман хватались...

— Преувеличивать изволите, — смеясь, отмахнулся молодой, — но долька истины есть. И, знаете, я бы ничуть этого не стыдился. Пусть боятся, лишь бы знали. Терпеть не могу фигур расплывчатых, о которых ни знать, ни сказать нечего. Одессит таким никогда не бывал. Всегда имел ярко вычерченную индивидуальность, гордо носил вроде венца или знамени и обожал и ее, и себя, и родной город. А теперь это все пошло прахом.

— Ну? — сказал хмурый, — ничего подобного. Попробуйте и сейчас сказать встречному человеку на севере, что вы — одессит: мигом шарахнется и начнет коситься да посматривать, где ваши руки.

— Ах, это, к сожалению, только по старой памяти, не больше, — ответил молодой. — Уверяю вас: одессит, как тип, линяет, бледнеет, выцветает, вымирает. Я его больше не ощущаю вокруг себя, не встречаю в сколько-нибудь ярких воплощениях. И первое доказательство линяния: исчезло самосознание. Когда-то одессита на севере или за границей можно было с двух слов узнать: он начинал всякую фразу с формулы «у нас в Одессе». Это надоедало, раздражало, но это было характерно, это доказывало наличность некоей святости, опорного пункта, на котором зиждилось прочное самоуважение. И это теперь, господа, раскрошилось. Уверяю вас. Заметили ли вы, господа, что одесситы перестали уже любить Одессу? Право! Уже лет пять или шесть как перестали. Опротивела.

— Разве? — спросил господин коммерческого вида.

— Уверяю вас. Я это давно чувствую, но ясно увидел это последним летом, в тот день, когда по Греческой улице пустили первый вагон электрички. Представьте себе на мгновение, что бы творилось в Одессе, если бы электричку ввели этак лет восемь тому назад. Весь город сбежался бы на Греческую. С одних дач приехало бы сто тысяч народу — полюбоваться. Шествие вагона принято было бы как некое национальное торжество: да-с, национальное, ибо одесситы интуитивно смотрели на себя как на некоторую нацию, вроде американцев, что ли.

Гам и ликование стояли бы на улицах; у Робина и Фанкони за столиками дошло бы до крупных слов из-за спора о том, где лучший трамвай: в Одессе или в Вене (с Петербургом и сравнивать бы не стали: «тоже мне город!»). Газеты неделю подряд жили бы описаниями этого самого вагона и впечатлений от поездки в оном туда и обратно. В «Листке» литератор Знакомый вспомнил бы по этому поводу, как однажды в Петербурге на аналогичном торжестве его близкий друг Иван Сергеевич Тургенев сказал ему... Лознгрин в «Обозрении» написал бы о том, что электричество есть прогресс, а прогресс есть любовь и братство между людьми. А в «Новостях» провозглашал бы Вознесенский, что в гудении проволок есть нечто мистическое, родственное хаосу, нечто от звериного вопля тринадцатилетней девочки, познающей (без своего на то согласия) радости любви, или Кармен описывал бы чувства старого босяка, раз за сорок лет вылезшего из своей берлоги и поднявшегося вверх — разделить радость хотя ненавистного, буржуазного, но все же родного города... А теперь? Кучка людей постояла, поглядела и разошлась. И я тогда, помню, с особенной ясностью ощутил и сказал себе: гибнет город!

Заговорил опять господин коммерческого типа:

— Гибнет-то гибнет. Это правда, что гибнет. И, признаться, я не верю, чтобы можно было его спасти. Вот у нас много надеются на линию Одесса — Бахмач. Линия, конечно, хорошая. Но ведь главная-то сила не в ее качествах, а в том, что Николаев и Херсон еще бедны по части рельсовых связей. Ну, и значит — достанется Одессе опять временное преимущество, на двадцать-тридцать лет, пока конкуренты не выхлопочут и для себя новых и выгодных железнодорожных веток. А зато они-то, Николаев и Херсон, стоят на Днестре и на Буге, и уж этого преимущества Одесса у них и в триста лет не перебьет, ибо оно от Бога. Да, пропала... Если не сейчас, то через тридцать лет, а от судьбы не уйдешь.

Забрел я недавно к сыну в классную комнату и загляделся на карту России. Давно, знаете ли, не видал. И вот глядел я на нашу Одессу, в нижнем углу слева, и думал: что за нелепая, взбалмошная мысль это была — насадить громадный город именно тут, в двух шагах от двух богатейших рек, то есть взять да построить нечто естественно ненужное, бессмысленное, беспочвенное, какую-то столицу без царства, гостиницу в стороне

от проезжей дороги... И держалась она до сих пор, в сущности, не природной своею силою, а неудачами да отсталостью конкурентов. А теперь капут ей пришел. Я долго не верил, а теперь вижу: капут.

— Невероятно, но неизбежно, — вздохнул, подтверждая, молодой.

Хмурый господин заворчал из своего угла:

— А почему невероятно? Я где-то читал такой рассказ. Богатая древняя столица встречает свое победоносное войско. Ликование, толпы народа, блеск и треск до самого неба. А в этот самый час скромные, грязные человечки, чистильщики клоак, замечают, что подземные воды поднялись против обычного уровня на один палец. Потом на два. Потом на ладонь. В городе смеются. А через неделю потоп. Затоплены дворцы и храмы, снесена целая цивилизация, море лежит на том месте, где дурень-человек расположился недавно, как у себя дома, гора стала островом — и только на острове уцелело несколько патрициев, художников и философов с женами и детьми. Там они и остались жить, а через сто лет их потомки бегают по острову нагишом, потом веками, по крохам, снова с азов, создают новую цивилизацию, строят корабли, завоевывают победоносное войско — а черт его знает, что в этот самый час происходит и незревает под землю...

— Брр! — сказал молодой человек, — надеюсь, это все же не будет так ужасно.

— Да, конечно. Теперь эти вещи происходят мало-помалу, так что со стороны и незаметно. Разве одесситы, например, заметили громадную перемену, совершающуюся у них прямо под носом: как опустело море перед Одессой? Десять-пятнадцать лет тому назад с бульвара не видать было воды, до самого волнореза: лесом торчали мачты и трубы, и лодке не было проходу среди пароходов, катеров, дубков да фелюг. Господи, из-за одних арбузных корок в августе нельзя было пробраться в открытое море! Все теперь опустело, облысело, и страшно даже иногда становится, глядя сверху на редкие суда: стоило ли ради этой дюжины скорлуп возводить такие молы? И вот, из ста одесситов 95, уверяю вас, даже не подозревают об этой наглядной, чисто зрительной перемене. Так и все остальное, мало-помалу, по кусочку да по кусочку переменится, растает население, опустеют целые улицы, потом целые предместья, в заброшен-

ных домах без стекол и крыш будут ютиться босяки, похляты заброшенные акации, камни мостовой будут шататься под ногами, как больной зуб во рту, а резкой, мгновенной перемены не будет. И это хуже всего. Если бы сразу, авось бы опомнились. А то помаленьку-полегоньку и сойдем в небытие...

— Вы говорите: могли бы опомниться, — вставил господин коммерческого типа. — А, по-моему, если бы и опомнились, все равно — помочь нельзя. Понимаете, когда у города нет настоящих, естественных экономических ресурсов, то его никакими усилиями воли надолго не упрочишь. Пропало.

— Не думаю, — ответил хмурый пассажир. — Из Одессы еще можно было бы сделать чудесный курорт, и морской, и лиманный, и просто климатический. Но чтобы такую задачу поднять, опять же нужны не те люди. Нужно одно из двух: или просто взять да сдать всю Одессу в аренду бельгийцам, лет на девяносто пять, всю, со всеми потрохами; или, извините за выражение, жидов пустить в городскую думу. Они выстроили Одессу-торговку, они бы выстроили и Одессу-банщицу. Но ни то, ни другое невозможно. Следовательно, идет подземная вода, и надо с этим примириться.

— Все-таки, — сказал молодой, — так страшно я себе этого не малюю.

— Как хотите, — возразил хмурый. — Вспомнилось мне вдруг только что одно курьезное обстоятельство: по-турецки Одесса до сих пор называется официально не Одесса, а Ходжабей. Так и пишется: «наш императорский консул в Ходжабее...» И мне один турецкий патриот объяснил: «20 лет тому назад, говорит, берег этот был наш, и мы не потеряли надежды, что через двести лет опять он за нами останется»... Ну, этого-то, конечно, младотурки не дождутся, и мы еще посмотрим, кто у кого раньше будет на похоронах. Но что правда, то правда: сто лет тому назад стояла в том месте, где теперь Одесса, деревушка Хаджибей; пройдет сто лет, и на том же месте будет снова красоваться деревушка Хаджибей.

Так они говорили, а я за что купил, за то и продаю.

**Altalena**

*Одесские новости. 30.01.1902*



## Вскользь

### ИМЯ СОЛОВЦОВА

#### Открытое письмо кому следует

Никто не ожидал, чтобы Соловцов умер так скоро. Никто не ожидал, чтобы эта смерть совпала с его юбилеем.

Если бы нам это предсказали два месяца тому назад, мы бы пожали плечами:

— Не верится. Дело возможное, но — не верится.

Но попробовал бы нам кто-нибудь сказать, что через несколько месяцев после смерти Соловцова и *имя* Соловцова исчезнет из жизни и превратится в тощее воспоминание, пришитое к каменному памятнику!

Мы бы не только не поверили, мы сказали бы прямо, что это невозможно! Так невозможно, как в полдень невозможно закатиться солнцу.

На этой земле все оказывается возможным. М. М. Глебова утомлена, сын покойного, очевидно, не чувствует склонности к театральному предводительству, — а актеры соловцовской труппы... уже получили другие ангажементы.

М. М. Глебова имеет право быть утомленной. От нее нельзя требовать дальнейшей работы.

Сын покойного тоже вправе слушаться своих собственных влечений. Если его не тянет к театру, было бы странно упрекать его.

Но соловцовских артистов я не могу понять. Несколько дней тому назад, когда я прежде услышал, а затем прочел о том, что соловцовская труппа разбредается по разным городам, я в первый раз буквально испытал, что значит выражение: «не верить своим ушам и глазам».

Позвольте, господа. Ведь на ленте вашего серебряного венка было написано:

— От *осиротевшей* труппы.

Мы подумали, что это не фраза. Мы знали, чем был для нас Соловцов; нам, чужим людям, хотелось плакать на панихиде — значит, вы, друзья и товарищи этой дивной, ныне отлетевшей души, могли от чистого сердца считать себя осиротевшими.

Так мы подумали.

Простите же, если мы теперь выразим глубокое и скорбное изумление тому, что сироты, не сняв еще с рукавов черного крепа, торопятся покинуть бедный родной дом, который был выстроен усилиями богатырских плеч покойного, и переменить свое родовое прозвище, пустив честное имя умершего «отца» по вольному ветру.

Браво!

Мы вовсе не сентиментальничаем. Мы вовсе не готовы вопить во всякую минуту, что имя умершего человека — «ах» и что имя хорошего актера — еще более «ах», а имя такого прекрасного антрепренера — совсем уже «ах!»

«Ах» — это звук пустой. Смерть печальна, но — мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий. И тому, кто спит, не легче, если его имя помнят, и не горше, если забыли.

Но имя имени рознь.

Соловцов был не только прекрасным актером и редкостным антрепренером. В Соловцове дорог пионер.

Не обинуясь, в этом отношении можно поставить его очень высоко.

Оглянитесь-ка на то, чем стало театральное искусство в наше время. Это — поучительная картина.

Я не судья тому, какой теперь у нас период в художественном отношении — расцвет или упадок. Но в моральном отношении в области театрального искусства я позволю себе считать теперешнее время периодом беспардонного торгашества.

Все актеры, у которых имеется талант выше среднего, наплевали на старые бредни о просветительных задачах и поступили на сытую службу в Петербурге и Москве.

Было когда-то крепостное искусство, но тогда оно было подневольным. Тогдашних актеров можно было жалеть.

Теперь театральное искусство стало крепостным по доброй воле артистов. Этому имя — торгашество.

Эти господа с божественной искрой, с душами тонкой ажурной работы, выросшие кто на Волге, кто на юге, кто на черноземной полосе, показали спины родным углам и дали за деньги порастыкать себя по разным столичным кунсткамерам. Там они живут, жирно кушают и разыгрывают на потеху пересыщенной публики то, что будет приказано.

А родные углы пока питаются и в этом отношении травой лебедой.



Вечная память Соловцову за то, что он боролся с этим позорным порядком!

Он мог бы сам попасть в почетное звание «украшения» столичной сцены: он этого не сделал.

И только благодаря ему еще несколько первоклассных талантов спаслись от производства в чин столичных «украшений» и перекочевали в провинцию, где можно было действительно не развлекать, а просвещать, не «продуцироваться» в прославление собственной гибкости, а пионировать искусство согласно стародавним заветам этого искусства.

Только благодаря Соловцову, и ему одному, наш юг приобрел в постоянные светочи несколько талантов первой величины, без его богатырского почина и они бы наезжали к нам на гастроли во время, свободное от барщины.

И Соловцов мечтал, что на этом еще не остановится его подвиг. Но труппа все-таки пока уступала крепостным театрам; если бы он прожил еще те годы, которые мог бы прожить, у нас на юге был бы *образцовый* театр, то есть *равный* нашим тучным северным театрам по блеску своих талантов и по достоинству своих художественных правил.

Имя Соловцова — имя системы, которой мы, люди, рожденные в «провинции», влюбленные в эту нашу провинцию и болящие за ее темноту, должны свято и фанатически поклоняться. Потому что в этой системе равномерного распределения духовных богатств по всем областям России так, чтобы уничтожилась уродливая духовная гегемония двух городов, — в этой системе весь смысл нашей просветительной борьбы, если мы ее ведем, — единственное оправдание нашей культурной работы, если мы хоть немного работаем или мечтаем о работе!

Имя Соловцова дорого нам потому, что он смотрел на нас как на людей, а не как на провинциалов, и старался давать нам лучшее, что было в его силах, а не объедки с казенного стола.

Мы думали, что не будет уже соловцовской антрепризы, но останется соловцовское товарищество — не треснет на полдороге такое дело и не пропадет имя Соловцова.

Но вы, господа неутешные сироты Соловцова, бросаете его дело, дезертируете, не заботясь о заместителях, из завоеванных им городов, и его славные доспехи будут теперь проданы старьевщикам.

Честь и слава! Вы, очевидно, люди без предрассудков.

Вольному воля.

Пошли вам судьба всякую удачу. Пусть ваши артистические карьеры будут для вас путями славы и счастья. Этого мы вам желаем от чистого сердца. И если вы тоже мечтаете о том, чтобы в конце концов попасть в число «украшений» крепостного театрального зверинца, — да услышит вас небо и в этом. Мы не сохраним злобы против вас.

Но мы запомним и не забудем, что у вас был святой долг и вы не исполнили этого долга.

*Altalena*

*Одесские новости. 1.02.1902*



## **Вскользь**

Бывают приятные ошибки — моя ошибка, на которую указывает письмо г-на Федорова-Соловцова, из особенно приятных.

Мне только не хотелось бы, чтобы читатели могли подумать, будто эта ошибка произошла по моей вине, от чрезмерной поспешности моих заключений.

Если бы относительно духовного наследия Н. Н. Соловцова даже еще два месяца не говорилось и не писалось ничего, то ни я, ни кто бы то ни было другой не подумал бы выводить из этого молчания заключений о том или другом обороте дела. При всем нашем интересе к этому вопросу мы терпеливо ждали бы событий.

Но в данном случае молчания не было. Не только из слухов, но и по газетным заметкам можно и должно было заключить то, что заключил я. Сначала сообщили, что М. М. Глебова не берет на себя будущей антрепризы одесского Городского театра; потом — что М. М. Глебова (это было напечатано) совершенно прекращает и киевское дело; наконец — что артисты соловцовой труппы приняли посторонние ангажементы на будущий год.

Все это я взял не из темных слухов, а из сообщений, одновременно печатавшихся в разных газетах и еще для меня лично подкрепленных свидетельством знающих лиц.

Кроме того, в своем «открытом письме» я имел в виду менее всего М. М. Глебову и господина Федорова. Я написал буквально:

«М. М. Глебова имеет право быть утомленной. От нее нельзя требовать дальнейшей работы.

Сын покойного тоже вправе слушаться своих собственных влечений. Если его не тянет к театру, было бы странно упрекать его.

Но соловцовских *артистов* я не могу понять».

Здесь опять была ошибка: г-н Федоров-Соловцов, как видно из его письма, унаследовал любовь к искусству. Но, хотя я и думал обратное, я ведь ничуть не ставил ему это в упрек и во всем письме обращался только к артистам и только им выражал свое изумление.

Это изумление и теперь остается в полной своей силе, потому что, во всяком случае, со стороны боевых товарищей покойного здесь было проявлено гораздо больше заботы о собственных удобствах, чем о соловцовском деле и об «имени Соловцова».

Я не приписывал и не приписываю этого — сохрани Боже! — эгоизму. Здесь дело было просто в неясном понимании того, что такое «имя Соловцова».

И я очень рад, что Мих. Фед. Багров оказался в этом отношении благородным исключением. Это делает честь его чуткой и интеллигентной натуре.

Не говорю уже о том, как приятно узнать, что уважаемая М. М. Глебова нашла в себе силы для дальнейшего ведения этого большого — в двух смыслах *большого* дела. Приятно и за М. М. Глебову, и за театральное искусство, и за Киев, и за весь юг.

Потому что мы по-прежнему надеемся, что к духовному наследству Соловцова будут приобщены и другие города юга — в частности и в особенности Одесса.

Будущая антреприза обеспечит себе не только сборы, но и личные симпатии и благодарность одесситов, если в одном из предположенных теперь двух драматических полусезонов доставит нам грустную радость — приветствовать в Городском театре посмертную труппу Соловцова, загробный подарок от незабвенного человека.

Самому же товариществу мы — на этот раз смело позволяю себе, никем не прощенный, говорить от лица всех в Одессе, кто любит театр, — новому товариществу мы от полноты и глубины сердца желаем счастья, успеха и торжества на прочном фундаменте благородных художественных и деловых принципов покойного. И просим учредителей товарищества принять нашу горячую благодарность за то... что мы ошиблись.



Встретим добрыми пожеланиями и г-жу Лубковскую. Мы ее совершенно не знаем, но надеемся, что она не найдет причин жаловаться на нас и в свою очередь не заставит нас больше, чем следует, жалеть обо всем том неожиданном, что произошло за последний месяц.

В частности, ее мысль — разделить драматический сезон на два периода — в полтора месяца каждый — представляется мне очень благоразумной.

Могу вспомнить по этому поводу подлинные слова Н. Н. Соловцова:

— Если привезешь сюда драму надолго, не будут посещать. Всякий скажет сам себе: еще успею. В Одессу надо приезжать на месяц, на полтора — тогда будут сборы, как у меня в сентябре.

Это, по-моему, совершенно верно.

С принципиальной стороны деление сезона обязательной драмы тоже представляется мне заслуживающим предпочтения. Артисты не должны засиживаться на одном и том же месте: театр кочевым родился и кочевым ему следует быть. А при перенесении второй половины сезона на ранние месяцы года — к этой половине будет и больший выбор столичных новинок, и свежий интерес публики.

*Altalena*

*Одесские новости. 5.02.1902*



## ***В Литературно-артистическом обществе***

Четвертый по счету «Музыкальный понедельник» нашего артистического общества третьего дня привлек массу публики: все места были заняты. По-видимому, интересно и разнообразно составленная программа оказала свое действие на одесситов, вообще неохотно поддающихся на музыкальные приманки. И действительно нужно отдать должное распорядителям «понедельников»: более разнообразной программы при наличных силах Литературно-артистического общества трудно желать. Сюда входили и композиции для органа, и не исполняв-

шийся, кажется, никогда в Одессе квартет Гайдна № 46, и пение, и ансамбль для фортепиано, органа и скрипок, и, наконец, такой же ансамбль для mezzo-soprano, виолончели, органа и фортепиано. «Гвоздем» вечера был упомянутый выше струнный квартет — вдохновенное произведение, выдающееся даже в ряду таких шедевров, какими являются остальные квартеты Гайдна. Его грациозная первая часть, чудное, полное настроения анданте с вариациями второй части и менуэт с чрезвычайно интересными пассажами для виолончели — классические вещи по выдержанности стиля и широкой разработке музыкальных идей. Слабее — финал квартета, отдающий несколько шаблоном, установившимся в прошлом веке для последней части квартетов. Исполнители (господа Мироненко, Хаит, Левин и Вульфус), положившие, по-видимому, много труда на изучение этого квартета, сыграли его стройно и сумели передать публике то настроение, которым он проникнут. Выступившая на концерте певица г-жа Фердман обнаружила красивое грудное mezzo-soprano с приятным, сочным медиумом и с несколько неустойчивым и резковатым верхним регистром, над которым г-же Фердман следовало бы еще поработать. Не мешало бы ей также избавиться от неприятной манеры «подъезжать» к нотам, особенно верхним, что, по нашему мнению, не составило бы для госпожи Фердман большого труда, принимая во внимание очевидную ее музыкальность. Из исполненных ею третьего дня пьес особенно удалась ей «еврейская песня» Рубинштейна, пропетая с большим выражением. Г-н Оре, сыгравший знаменитую прелюдию Баха, а также свою композицию, по-видимому, искусный органист, хотя утверждать это довольно затруднительно, так как инструмент, на котором играл г-н Оре, по своему жидкому тону вряд ли заслуживает название органа. Поэтому особого впечатления его игра не произвела. Что касается произведений Генделя (Largo) и Баха — Гуно, написанных для целого ансамбля, то исполнены они были хорошо, особенно второе; в первом же несколько препятствовал цельности впечатления суховатый и резкий аккомпанемент фортепиано, не гармонировавший с широкой, тягучей и плавной мелодией Генделя.

**А.**

*Одесские новости. 6.02.1902*



## Мари д'Арнейро

Сегодня г-жа Мари д'Арнейро подведет итог вашим симпатиям. Предсказываем ей блистательный итог.

Она полонила одесситов с первого своего выхода в «Госке» — и с тех пор этот плен так успел нам понравиться, что мы желали бы в свою очередь заполонить эту лузитанку<sup>1</sup> на будущий год. Жаль только, что это, кажется, будет невозможно.

Делать нечего, обойдемся одним сезоном, чтобы тоже со своей стороны подвести род итога г-же д'Арнейро.

Это необходимо. Все остальные высшие наши труппы — кроме г-жи Делли-Аббати, господ Апостолу, Джиральдони, Наваррини, я подразумеваю в их числе и г-на Бонини с его чудным голосом, — все они наши старые друзья. Только г-жа Мари д'Арнейро посетила нас впервые.

Итак, в чем состоит то неуловимое *je ne sais quoi*<sup>2</sup>, которое пленяет нас в г-же д'Арнейро? Потому что у каждого актера или певца, кроме таланта или голоса, которые обязательны для всех, должна быть еще своя особенная струнка, своя артистическая точка, — и в ней-то и заключается отличие одного артиста от другого и почти все его обаяние. Эту струнку легко почуять, но трудно определить, а без нее все-таки, будь певец одарен хоть голосом ангела Израфила, он будет бесцветен и никого не тронет.

Это самое *je ne sais quoi* госпожи д'Арнейро заключается, мне кажется, в ее тонкой манерности.

Видно с первого взгляда, что г-жа д'Арнейро — не итальянка. Итальянки поневоле естественны: даже та доля безгрешного кокетства, которая нам представляется прямой необходимостью даже для самой добродетельной хорошенькой женщины, итальянцам недоступна. Итальянки не могут красиво позировать и мило жеманиться: они притворяются только тогда, когда хитрят, да и тогда плохо. Это все нисколько не портит их очаровательности, — напротив, безыскусная прелесть их носит в себе еще до сих пор благоухание классической, гомеровской красоты. Но именно поэтому они малосовременны.

---

<sup>1</sup> Уроженку Португалии.

<sup>2</sup> Нечто (*фр.*).

Наше время предпочитает более сложные характеры. Это как с музыкой. Во время оно опера сливалась из ясных, отчетливых, искренних мелодий. Теперешняя опера сплетена, как кружево, из тысячи музыкальных кокетств — ужимок, гримасок, лукавых усмешек, дразнящих и неудовлетворяющих блесков...

Может быть, это все болезненно — другое дело; не о том мы говорим. Мы говорим о факте: современный вкус требует утонченного жеманства, какой-то особенной *minauderie*<sup>1</sup>, смешанного из дерзости и церемонности. Оттого в Европе теперь в такой моде Япония и японские женщины.

Крайности сходятся: Португалия — такой же крайний запад, как Япония — крайний восток для нашего полушария. Уж не оттого ли г-жа д'Арнейро так хорошо владеет «манерой»?

Все мы заметили, что ей меньше всего — в драматическом отношении — удастся роль Татьяны, потому что Татьяна — простая степная девочка, — и больше всего роль Флории Тоски, которая жила около 1800 года, когда в Риме еще царил эпоха менуэта, приседаний, пудры, филигранного кокетства.

Сценическая манера госпожи д'Арнейро вся унижена и пронизана тонким бисером этого пленительного жеманства, которое теперь, через сто лет забвения после эпохи наших прабабушек, вновь подхвачено модой, — с теми новыми оттенками, которые приличны более острому, более смелому и вызывающему характеру современной женщины.

Нельзя определить манеру госпожи д'Арнейро пустым словом: «неестественность». Это неверно, потому что в наши мудреные дни сама искусственность стала натуральной, сама неестественность — естественной и искренней... Это — не слой купленной пудры на поверхности нашей кожи: мы рождаемся насквозь пропудренными...

Виноват. Я теперь только замечаю, что вместо фельетона о бенефисе нашей милой новой гостьи у меня получился целый тяжеловесный трактат.

Что ж, пусть это послужит доказательством глубины того интереса, который вызывает в нас эта певица и артистка.

И так как г-жа Мари д'Арнейро, кроме артистки, еще и главным образом певица, то мне хотелось бы избежать упрека в том, что я ни слова не сказал о ее голосе.

---

<sup>1</sup> Манерность (*фр.*).

Но я профан в этом деле — простой ценитель из публики. Я знаю только то, что у госпожи д'Арнейро прекрасный голос, — и могу закончить комплиментом:

— Если ее прелестные средние ноты кажутся чуть-чуть бледнее других, то только потому, что красота высокого и низкого регистров затмевает их прелесть...

*Altalena*

*Одесские новости. 7.02.1902*



## **Вскользь**

Если углубиться в верхний Абруццо, то недалеко от склонов огромного Гран-Сассо можно набрести на живописнейшие уголки в мире.

Это — дикая, скалистая, неисследованная страна, заселенная только шершавыми пастухами да козами. Козы соскребают траву с каменистой почвы, пастухи лежат точно в истоме на солнцепеке и даже почти не поют. Может быть, это не истомы, а отчаяние, потому что в верхнем Абруццо люди голодают.

Но над этой печальной землей растянуто бездонное, невероятно синее небо, скалы и горы на краю его рисуются то готическими, то мягкоизогнутыми линиями, и изредка вдали виденяхонт Адриатического моря.

В одном из этих уголков, недалеко на север от главного города провинции, есть долинка или площадка, называемая купелью Божией Матери Млекопитательницы.

Там из гладкой стены вырывается струя ключевой воды и сбегает в пропасть, а наверху в цельном утесе вырублена ниша с Мадонной и Младенцем у нее на руках.

С этим ключом связано одно поверье.

В начале весны, но не знаю точно, в какой день, сюда сходится большая толпа молодых женщин и девушек из окрестности. Девушек гораздо больше, чем женщин: замужняя абруццарка скоро теряет и прежнюю миловидность, и беспечность от тяжелых семейных работ, и ей уже не до поэтических суеверий.

Мужчинам в этот день нельзя подходить к купели.

Собравшиеся надевают на гранитную Мадонну венки, обвивают ее и Младенца гирляндами, потом расстегивают свои раз-



ноцветные шерстяные корсеты, которые носят по тамошней моде поверх белой блузы, и одна за другой окропляют себе грудь водою из этого ключа.

Они верят, что вода из источника Мадонны Млекопитательницы, проникнув в их тело, обильно претворится в молоко для их детей, уже рожденных, или уже зачатых, или только будущих.

Но я хотел, собственно, рассказать вам главным образом не эту легенду и не по поводу этой статуи.

Если обойти площадку Мадонны «del Latte»<sup>1</sup> и по довольно широкой тропинке пробраться саженей на тридцать выше, перед вами откроется узкое полутемное ущелье с небольшим водопадом.

Я думаю, что этот водопад и дает воду для млечной купели.

Как раз под водопадом — вы едва различите сквозь облако водяной пыли — помещается другая статуя.

Эта уже не вырублена, а создана природой. Это — лежачая продолговатая масса, в которой можно, при небольшом усердии, найти подобие спящего рыцаря с откинутой рукою.

О нем есть легенда.



Давным-давно в Абрुццах народу жилось еще хуже, чем теперь. Впрочем, мамалыги и *пиццы* (лепешек) тогда было гораздо больше, и козы давали удивительно ароматный сыр, но разные чужие люди то и дело налетали на бедные деревушки, забирали скудные деньги, угоняли коз и портили девушек.

В Аквиле жил один свирепый вельможа, который особенно ненавидел простой люд — до того, что однажды велел повесить у себя на воротах какого-то пастуха безо всякой вины, просто за то, что лицо пастуха ему не понравилось.

Три дня качался пастух на каменных воротах. На третий день пришла его старая мать, похожая на ведьму, зарыдала и погрозила кулаком в окна вельможи:

— Проклинаю тебя! Человек без сердца, у тебя и дети будут без сердца.

Прошло пять месяцев — у вельможи родился сын. Мальчик был здоров и красив, но казался вялым и сонным.

Его назвали Гоффредо.

---

<sup>1</sup> «Млечной» Мадонны (*итал.*).

Он рос, начал бегать, начал говорить, стал учиться. Он казался очень способным. Мать и свирепый отец страшно любили его.

Но Гоффредо относился к ним обоим и ко всем холодно и бесстрастно.

Мать это мучило. Иногда, прижимая сына к своей груди, она вздрагивала, потому что сердце сына билось так тихо, точно у него и вовсе не было сердца.



Так оно и оказалось. У Гоффредо в груди было пустое место. Это удостоверили два седых испанских врача, которых отец нарочно вызвал из Неаполя.

Вельможа, мрачный, как буря, спросил:

— Вы можете помочь в этой болезни?

— Мы не можем дать сердце тому, кто рожден без сердца, — ответили врачи.

Вельможа отпустил их, дождался ночи и пошел за город, к старому часовщику дон Чикко Стрегоне, о котором шла дурная слава — «пахло гарью», как говорили люди, понимавшие дело.

Вельможа сказал ему:

— У моего сына в груди вместо сердца пустое место. Можете вы вложить ему в грудь живое сердце? Я обещаю вам тайну и 1000 скуди.

Часовщик ответил:

— Жизнь есть движение.

— Так что же из этого?

— Я могу дать вашему сыну сердце, которое будет двигать-ся. Приведите его ко мне завтра в полночь.

Гоффредо последовал за отцом со своим всегдашним безучастием. Придя в берлогу колдуна, он без любопытства оглядел ее и спокойно присел в углу. И когда дон Чикко велел отцу Гоффредо выйти за дверь, юноша даже не спросил:

— Зачем?

Часовщик остался наедине с Гоффредо. Он посмотрел гостю пристально в глаза, подал ему зеркало и сказал:

— Смотрите.

Зеркало так блестело, что Гоффредо через минуту незаметно перешел в состояние глубокого сна.

Тогда дон Чикко раздел его, сделал тонким ножом глубокий надрез на левой стороне по его груди и вложил туда густую спиральную пружину.

Потом он обмыл, зашил рану, одел спящего юношу и позвал вельможу:

— Возьмите вашего сына. Он пролежит неделю без сознания. Ходите за ним. Потом он очнется — и все будет хорошо.



И Гоффредо стал самым доблестным из модных рыцарей Италии.

Он один никого не притеснял, он странствовал по городам и защищал угнетенных, потому что в груди сильно билась и трепетала пружина, которую люди называли сердцем.

Мать его умерла, с отцом он расстался, не желая быть свидетелем его беззаконий. Он был теперь совершенно одинок на свете и поэтому отдал всю свою душу униженным и голодным.

У скорбного люда никогда еще не бывало такого заступника.

Но как-то, лет через пять, стали замечать, что лицо рыцаря становится бледнее и бесстрастнее, что в речах его уже не слышится прежнего огня и рука его не так бодро хватается за крест рукоятки.

Сам Гоффредо заметил это. И еще он стал замечать, что прежний могучий стук и трепет сердца в его груди стал ослабевать, и минутами казалось, что уже сердце рыцаря Гоффредо не билось и только давило холодной тяжестью его могучую грудь.

Полный скорби, тихо ехал однажды рыцарь Гоффредо горной тропинкой. Он въехал в ущелье, увидел водопад и услышал песню.

Пела девушка в мерцающей белой ризе, сидя на выступе под водопадом и едва виднеясь сквозь облако водяной пыли.

Она пела так хорошо, что грудь рыцаря сжалась, и вдруг он почувствовал, что придавленная пружина забилась сильнее, и вскрикнул от радости.

Песня оборвалась, девушка исчезла.

— Фея Адальджиза! — взмолился рыцарь. — Я узнал тебя. Я слышал, что ты добра и великодушна. Пой! Твоя песня вернет мне сердце, а когда оживет мое сердце, я снова стану могуч для борьбы за обиженных.

И тогда снова раздался невидимый голос феи Адальджизы. И пока она пела, сердце рыцаря Гоффредо сжималось и сжималось и сдавливало спиральную пружину — и когда фея перестала петь, сердце в груди у рыцаря трепетало и билось, как язык соборного колокола на заре Светлого воскресенья.

Рыцарь Гоффредо громко и бодро воскликнул:

— Спасибо, фея Адальджиза. Всякий раз, когда мое сердце забьется слабее, я буду возвращаться к тебе. Спасибо тебе за меня и за всех скорбящих на этой земле!

И Гоффредо погнался назад. Бедные люди снова нашли своего заступника.

Прошло много лет, много раз рыцарь Гоффредо возвращался к водопаду в ущелье, и фея Адальджиза никогда не отзывала ему в своих исцеляющих песнях.



Но в последний раз он долго стоял у водопада и долго-долго звал добрую фею — она не откликалась.

И рыцарь Гоффредо уже чувствовал, как совсем замирало и, наконец, замерло сердце в его груди, а фея не отзывалась.

Вдруг серая птичка слетела откуда-то и закричала:

— Фея Адальджиза заперта на дне этой пропасти. Там лежит огромная злая гадюка: она обвилась вокруг стройного стана феи и не велит ей петь. Сойди вниз, убей гадюку, освободи фею!..

Но рыцарь вяло качал головой. В его груди ничего уже не билось. Ему не хотелось спускаться в пропасть и бороться с гадюкой. Он был только утомлен, и ему хотелось спать.

Вот он и спит на выступе под водопадом, где он впервые увидел фею Адальджизу. Некому разбудить его и снова завести пружину в его груди.

И жители верхнего Абруццо ведут горькую жизнь и теперь даже не ждут больше возвращения рыцаря Гоффредо, который защищал угнетенных.

**Altalena**

*Одесские новости. 9.02.1902*



## Вскользь

Я сам не дворянин, и ни моим детям, ни моим внукам никогда не быть дворянами. Тем не менее никогда я не ощущал в себе никакого предубеждения против дворянского сословия.

Когда люди, не знавшие и не выдавшие России, спрашивали у меня:

— Что представляет из себя русское дворянство?

Я говорил все хорошее, что знал о роли дворян в земстве.

О кающемся дворянине и его подвигах.

О мировых посредниках и вообще о деятелях эпохи великих реформ из дворян.

О дворянах Тургеневе, Григоровиче и Пушкине, предвозвещавших освобождение крестьян.

Мне было известно, конечно, что есть и противоположные черты в характере этого сословия.

Но на крупные явления следует смотреть издали, так, чтобы подробности сливались и были видны главным образом общие очертания и цвет.

Общие черты я считал и считаю благородными, общий цвет я считал и считаю чистым и светлым, значит, об остальном, как об исключениях, не стоило говорить.

Но когда смотришь не издали, а вблизи, тогда нельзя не замечать этих исключений и нельзя не огорчаться тем, что они так резко не соответствуют общему фону.

Еще так недавно псковские помещики провозгласили Пушкина «дворянином Пушкиным», а совсем на днях такой же титул получил другой поэт, и, наконец, теперь екатеринославские дворяне хлопчут о предпочтительном приеме в женскую гимназию дворянских дочерей.

Постараемся разобраться в этой группе фактов без всякого предвзятого взгляда.

Забота о своем сословии преимущественно перед другими — очень почтенная вещь. Свое каждому дороже; каждый человек любит свою мать, и не надо требовать, чтобы он непременно больше любил чужую.

Пока существуют сословия, до тех пор очень хорошо, чтобы каждое из них старалось быть не хуже других.

Но если оно переваливает за эту цель и стремится уже к тому, чтобы во что бы то ни стало подмять другие сословия под себя, это значит, что место прежнего чувства собственного достоинства занял эгоизм, да еще мелкий эгоизм, при всем его высокомерии.

Мелкому эгоизму мы не можем сочувствовать.

Это как с патриотизмом. Когда Италия боролась за свою равноправность, сочувствие народов было на ее стороне. Когда же Италия захотела подмять под себя другую страну, самые горячие друзья Апеннинского королевства не могли не радоваться его поражениям.

Но там, по крайней мере, была настоящая, хотя ложно направленная, необходимость. Нужна была земля, куда сплавлять избыток населения.

А тут?

Это — прямо оскорбительно.

Екатеринославские дворяне носят платья, сшитые мещанами, едят хлеб, созданный и испеченный крестьянами, — шагу не делают без услуг «низших» сословий. А в школе им обидно сажать своих детей рядом с детьми разночинцев.

Позвольте, господа: в чем дело?

Есть аристократия. Это — люди особого типа, выросшие в особенных, утонченных и очищенных от всего грубого условиях жизни. Их родители, деды и прадеды тоже вырастали в той же атмосфере.

Аристократы — совсем особая порода; если они не злоупотребляют своими преимуществами и не кончают из-за этого вырождением, они остаются образцами красивого человечества. И лучшая надежда лучших реформаторов — та, что когда-нибудь все человечество будет аристократично душой и телом.

И легко понять аристократа, истинного аристократа, если он не решается бросить свое фарфоровое дитя в кучу кремней.

Но «аристократ» не значит «дворянин». Дворян очень много, аристократов очень мало. И «що попови можно, то дякови зась»<sup>1</sup>.

Мы смеем думать, что дети обыкновенных городских дворян ровно ничем не отличаются от детей среднего городского непривилегированного класса.

---

<sup>1</sup> Что можно попам, того нельзя дякам (укр.).

Никакой разницы ни в телесной, ни в духовной организации.

Среди тех и других одинаковый процент послушных и непокорных, прилежных и ленивых, злых и добрых.

Те и другие одинаково списывают трудные письменные упражнения друг у друга и с одинаковой развязностью уверяют учителей, что это «ей-богу, собственная работа».

И наконец, насчет внешней благовоспитанности мы тоже разницы не замечали. Кто побогаче, умеет есть в обществе, кто победнее — не умеет, совершенно независимо от происхождения.

Да не вздумают только екатеринославские дворяне настаивать, будто ни одно из их чад никогда не лезет указательным перстом в ноздрю и не кладет в обществе обоих локтей на стол.

Видали!

Или, может быть, тамошние дворяне находят, что сын лавочника может заразить дворянское дитя приверженностью к грошу?

Гм... Мы пока видим вот что:

Земство, которое представляет мужицкое «быдло», дает на гимназию 3000 и ничего не требует.

Город, то есть лавочники, тоже дает деньги и тоже не будет шуметь.

А высокородные и, значит, сей металл презирующие господа бароны говорят:

— Мы вам тоже денежек дадим, — только уж вы нам предоставьте преимущество...

Будьте спокойны, господа екатеринославские дворяне. Наши дети ничему не научат ваших детей. Ученого учить — портить.

**Altalena**

*Одесские новости. 10.02.1902*



## **Вскользь**

В Полтаве гоголевский юбилей будет торжественнейшим образом отпразднован; в разных местах будут прочтены во всеуслышание отрывки из «Переписки с друзьями».

Слушатели получают таким образом полное представление о таланте и манере великого юмориста.

Его горький смех, его хохочущая скорбь над бедностью и несовершенствами нашей общественной жизни, как известно, лучше всего отразились именно в этом сочинении.

Смело можно сказать, что если бы Гоголь не написал ничего, кроме «Переписки с друзьями», он бы все-таки остался Гоголем.

Если бы, конечно, не переменял фамилию — с надлежаще-го разрешения.

«Переписка» — это, оказывается, квинтэссенция гоголевского творчества. Если уподобить совокупность всего, что написал Гоголь, тучному, упитанному и питательному тельцу, то «Переписка» и будет именно самой вкусной его частью. Вроде филе.

Жаль только, что этот способ — подавать к юбилейному пиршеству филе юбиляра — не был изобретен в 1899 году.

Тогда исполнилось 100 лет со дня смерти Пушкина. По сему случаю на Руси был праздник, который, однако же, прошел так, что никого особенно не удовлетворил.

И понятно: не было главного блюда — не было филе Пушкина.

Это непростительно. В десяти томах Пушкина неужели не нашлось ни одного филейного произведения? Не поверю.

Не будем говорить о тех его поэмах, которые существуют только в рукописях и даже за границей печатаются не иначе, как с целомудренными многоточиями.

Конечно, и эти поэмы не лишены воспитательного значения, но рукописная передача слишком исказила их, что особенно чувствуется в самых пикантных местах.

Но ведь есть в русской печати, например, «Вишня» или «Фавн и Пастушка». Чем это не филе?

Разве эти произведения не дают квинтэссенции Пушкина точно так же, как «Переписка» — квинтэссенцию Гоголя?

Жаль, что так поздно изобрели. Иначе в Полтаве тогда могли бы прочесть для просвещения неразумных еще и следующие стихи Пушкина, в которых так ярко отразился гений великого поэта:

*Играй, Агель,  
Не знай печали;  
Хариты, Лель,  
Тебя венчали  
И колыбель  
Твою качали...*

А впрочем, не все потеряно.



Будем праздновать еще и другие юбилеи. К столетию Лермонтова можно будет присоветовать Полтаве вот что:

*Не гаром она, не гаром  
С отставным гусаром.*

А к двадцатипятилетию смерти Салтыкова можно приготовить еще лучшее филе.

Салтыков, как известно, попробовал однажды написать для своей племянницы гимназическое сочинение. И получил три с минусом.

Рекомендуем Полтаве это произведение.



А кстати о Гоголе: вы читали Гоголя?

Я думаю, что это не праздный вопрос.

В Риме есть старинное caffè Gresco, где в былое время собирались по вечерам все русские, наезжавшие в этот город.

В одном углу кофейни на стене написан в виде маленького медальона портрет Гоголя.

Один образованный итальянец, прочитавший незадолго до того перевод «Тараса Бульбы», засмотрелся однажды на этот портрет и потом спросил меня:

— В России очень ценят Гоголя?

Я по сей день не нашел ответа на этот вопрос.

Ценить-то очень ценят, но какая же цена этой совершенно платонической оценке?

Совершенно платонической, потому что Гоголя в России взрослые люди не читают.

Его, так же как и Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гончарова, даже Достоевского и почти всего Толстого, прочитывают в отрочестве и потом откладывают раз навсегда в сторону.

Печальная судьба всех классиков. Из учителей человечества они мигом превращаются в писателей для школьного возраста.

Беда не в том, что Гоголя читают дети. Это даже хорошо. Истинно великий писатель не должен отгонять малых сих от себя.

Беда в том, что Гоголя и Тургенева уже не перечитывают взрослые.

В тридцать лет они словно боятся потерять частицу дорогого времени на чтение книги, которую прочли уже в пятнадцать.

Как они ошибаются! В тридцать лет уже это совсем другая книга. Иной у нее голос, о другом она говорит, и только усилена ее прелесть тем, что она смутно и отдаленно навеивает память о чем-то читанном когда-то давно, давным-давно...

Перечитайте Гоголя.



Только не советую вам идти для этой цели в нашу публичную библиотеку: не дадут.

Теперь публика жалуется на какие-то новые распоряжки в этом учреждении: если не ошибаюсь, для получения книги впредь будут требовать от посетителя паспорт и подписку о невыезде.

Я решительно не понимаю, к чему вся эта заботливость. Разве наша библиотека и так не хороша?

Наша библиотека и два года тому назад была очень хороша.

Я в первый раз попал в нее именно года два с чем-то тому назад.

Сдал пальто.

Служитель сказал:

— И шапку.

Сдал шапку.

Служитель дал мне две марки: зеленую и красную. Обе грязные.

Я вошел в зал.

Написал на карточке свое имя, звание, род занятий и адрес.

Получил билет и бережно спрятал его.

Отдал восседающему зеленую марку.

Восседающий сказал:

— Красную.

Дал красную.

Восседающий сказал:

— Зеленую возьмите себе.

Взял.

И когда я после всего этого стал перелистывать каталог, первое, что мне бросилось в глаза, было заглавие: «Вечера на хуторе близ Диканьки» — и на нем печать:

— *Не выдается.*

Факт. Я ушел и больше не возвращался в нашу публичную библиотеку.

**Altalena**

*Одесские новости. 12.02.1902*



## **В Литературно-артистическом обществе**

Третьего дня состоялся пятый «Музыкальный понедельник». Главным номером программы был неизвестный в Одессе секстет Глинки, красивое, несколько наивное произведение, богатое мелодиями, но неглубокое по содержанию. Сыгран был секстет очень хорошо. Вообще, исполнение произведений камерной музыки в артистическом обществе с каждым разом становится лучше и лучше, по мере того как исполнители привыкают к особенностям игры друг друга. Солистами выступили госпожи Черткова, Дубельт и г-н Монтефорте. Первая из них — певица с голосом очень красивым в середине и с несколько резкими и невыработанными верхами. Поет г-жа Черткова музыкально и на концертной эстраде производит приятное впечатление. Голос госпожи Дубельт (сопрано) также очень красив и свеж во всех регистрах, поет она со вкусом, но, к сожалению, интонация ее не всегда чиста и звук голоса несколько колеблется (не вибрирует, а именно колеблется). Очевидно, голос певицы нуждается еще в дальнейшей обработке. В вечере принимал участие пианист г-н Монтефорте, сыгравший несколько мелких вещей, между прочим, Рахманинова, Падеревского и др., а также своего сочинения «Персидскую рапсодию». Нельзя сказать, чтобы он обнаружил при этом качества первоклассного пианиста. Техника у него довольно развита, но удар сух при небольшой силе, а для лирических вещей игре его недостает и мягкости, и певучести. Кроме того, исполняет г-н Монтефорте такие известные вещи, как менуэт Падеревского или вальс Шопена, уж чересчур своеобразно, что нисколько не оправдывается качествами его игры. Что касается собственной его «Персидской рапсодии», то произведение это ни с точки зрения содержания, ни по форме не может быть причислено к разряду выдающихся.

**А.**

*Одесские новости. 12.02.1902*



## Вскользь

Сегодня поминки Виктора Гюго.

На поминках писателя всегда очень важно выяснить, представляет ли он для нашего времени какой-нибудь интерес, кроме чисто исторического. Гюго был общественный человек первой величины, но писатель не из величайших. Его произведениям судьба определила известное число лет, больше которого они не могут прожить. Но это число лет «известно» пока только судьбе — мы его еще не знаем и только стараемся разобрать или догадаться, пришло ли для романов Гюго время забвения.

Об этом много можно спорить и, кажется, много спорили. Но все такие споры поневоле остаются бесплодными и не приводят ни к какому заключению.

Потому что спорящие критики всегда упускают из виду одно обстоятельство, о котором я упоминал уже вчера по поводу юбилея Гоголя.

Критик не может судить *по себе* о впечатлении, производимом или не производимом сочинениями такого-то классика, потому что у классика аудитория совсем другого возраста.

Ведь не взрослые люди, если говорить о правиле, а не об исключениях, во Франции и где бы то ни было читают стихи и романы Гюго, а подростки и в крайнем случае юноши.

Что на зрелого или перезрелого господина произведет только «историческое» впечатление, то на существо 16 лет может подействовать совершенно иначе.

С этим надо считаться. Виктор Гюго, вслед за всеми более или менее крупными звездами литературы, перешел в воспитательную библиотеку. И спор теперь сводится к тому:

— На какой полке этой библиотеки место Гюго? На передней или на последней?

На этот счет я не знаю, что будет лет через двадцать, но мне кажется, что теперь, сегодня, место ему на передней полке, на одной из самых передних.

Конечно, так называемых «полезных сведений» из сочинений Гюго вы не добудете и жизни по ним не узнаете. Подойти к Гюго с такими запросами — значило бы остаться при пустых руках.

У него один роман называется «Труженики моря» — заглавие, которое заставляет ожидать бытовых картин из печальной жизни люда, кормящегося от даров океана. Но Гюго под этим заглавием рассказывает совершенно невероятную историю о том, как один человек отвоевал у моря затонувшее судно. Этого никогда не было, читатель никогда в такое положение сам не попадет... И слово в слово то же можно повторить о почти всех других романах Гюго: небылицы, рассказанные виртуозно и с увлечением, но глубоко невероятные.

Не с этой стороны следует искать воспитательное значение Виктора Гюго.

Оно — не в фактах, а в тоне.

Школьные учителя пускают обыкновенно в ход так называемые «нотации», которые всегда терпят непременно фиаско именно потому, что «нотация» школьного учителя лишена мнемонического средства. Она скучна.

Сочинения Гюго — это те же «нотации», наставительные речи на разные отвлеченные темы. Но эти нотации составлены по-чародейски: они западают в память и в душу, и никогда нельзя их забыть.

А запомнить нотации Гюго — значит прослушать полный и вдохновенный курс гражданского воспитания.

Нет писателя, который больше Гюго был бы способен влюбить читателя в справедливость, поселить в нем большую ненависть к подлости.

*Altalena*

*Одесские новости. 13.02.1902*



## **Вскользь**

Алкивиад взял свою старую, хорошо всем Афинам известную собаку и отрубил у нее хвост.

Собака с отрубленным хвостом получила совсем особый интерес и сделалась новинкой.

Если бы Алкивиад мог вместо того приделать своей собаке рога, он достиг бы той же цели.

Кто желает удивить весь мир смелостью своего новаторства, тому достаточно взять самую старую вещь и только отрезать ей хвост. Или пришить рога.

Сойдет за новую. Люди будут дивиться: одни будут насмеяться и даже злобствовать, доказывая, что не быть из этого добру; другие, напротив, будут «приветствовать» и ликовать.

И первые, и вторые одинаково поверят, что перед ними нечто новое, никогда не бывалое... а это будет старая, всему городу известная собака.

Сколько толков, вероятно, вызвало во Франции назначение дамы секретарем посольства.

Я отсюда мысленно слышу голоса сторонников и противников.

Последние стараются, вероятно, сказать что-нибудь этокое ядовитое и меткое, вроде:

— Вот уж поставит она в канцелярии посольства колыбель и туалетный столик!

А первые, напротив, предсказывают:

— Теперь пойдет уж музыка не та! Смягчающее и облагораживающее влияние женщины, внесенное в дипломатию...

Положим, секретарь посольства еще не дипломат или, во всяком случае, «же бы бардзо дипломат, то не, — але так»<sup>1</sup>. Но публика в этом первом шаге справедливо предвидит последний, когда женщина будет посланницей, а муж ее будет служить для украшения балов при посольстве.

И это всем заранее кажется большой, небывалой новостью.

Почему? Того не откроет даже г-н Демчинский, изобретатель погоды.

Меньше всех должны были бы тревожиться сами дипломаты, потому что им хорошо известно, где здесь зарыта Алкивиадова собака.

Им следовало бы успокоить публику, напомнив ей, что женщина в роли заправского дипломата — это еще из эпохи реформ царя Гороха.

С тех пор не было столетия и не было страны, где бы женщина ни разу не играла роли международного дипломата.

Речь идет не о «женах своих мужей», которые веди и ведут посольские дела за супругов, — это явление слишком известное, но и слишком закулисное.

Но кому неизвестны, по крайней мере в форме анекдотов, исторические случаи, когда женщинам давались ответственные дипломатические поручения? Самым официальным и даже

---

<sup>1</sup> Не то чтобы очень дипломат — а так (пол.).

нисколько не тайным образом. Только без громогласного опубликования в правительственных газетах.

Вся новизна теперешнего случая — в этом опубликовании.

Когда-нибудь Франция даст женщинам избирательные права. И тогда поднимется большая кутерьма «обмена мнений», потому что женщина в политической роли покажется даже французам новинкой.

Быть избирателем — не великая штука. Ведь иногда избирательная агитация ведется так: богатый кандидат вручает каждому из мужиков-избирателей по одному сапогу и говорит:

— Если меня выберут в парламент, получите второй сапог.

Избиратель не толькоотирует за этого кандидата, но упрасшивает всех своих родных и знакомых подавать голоса за то же лицо.

Кто поддержал в нем это решение глубокой государственной мудрости? Конечно, жена, потому что мужик обо всем советуется с бабой.

А как только введут во Франции женское избирательное право, найдутся тысячи, которые не узнают Алкивиадовой собаки и завопят:

— Разве у женщины есть политическая мудрость?

Наконец, будет день, когда французы выберут президентом республики — женщину. Тогда «обмен мнений» достигнет вавилонских размеров.

И опять люди не опознают старой старины и не вспомнят, что сотни женщин уже сидели на могущественных тронах и вели дела не хуже мужчин.

Много требуют люди передового образа мыслей, и во всех этих требованиях люди заднего хода пугаются «рискованной новизны».

А на деле — как сказал у Крылова дуб свинье:

*Когда бы вверх могла поднять ты рыло,  
Тебе бы видно было,  
Что эти желуди давно на мне растут  
И что повесила их тут  
Еще блаженной памяти эпоха  
Царя Гороха.*

**Altalena**

*Одесские новости. 14.02.1902*



## Вскользь

У меня был на днях интересный разговор с одним господином. Этот господин небезызвестен в качестве столичного литератора — напечатал несколько книжек и писал фельетоны в одной усопшей газете.

Разговор начался издалека. Мы прочли в газете историю о том, как один папаша продал свою дочку в «цветочный домик» — и по этому поводу я выразился:

— Подлец.

Мой знакомый ответил:

— Я не думаю, чтобы это был непременно подлец. И вообще подлецов не бывает.

— Позвольте, — сказал я, — подлецов очень мало, согласен, меньше, чем люди полагают, но в виде исключений они имеются. Это — одно из исключений.

— Видите ли, — ответил мой знакомый, — есть категория поступков, которые мы называем подлостью, но переносить квалификацию поступка на лицо, совершившее его, и окрещивать его подлецом — это просто следствие несовершенства человеческой пронципальности и логики. Хотите пример?

— Хочу.



— Ну, так возьмите меня.

Я — не подлец. Я очень порядочный человек. У меня принципы порядочного человека и совесть еще брезгливее этих принципов.

Например, мои принципы часто разрешают мне ложь, но моя совесть восстает против этого — и почти всегда побеждает. Прибавьте к этому еще очень доброе сердце, отсутствие эгоизма, учтивость... что хотите. Словом, я — удивительно хороший человек.

И вот слушайте, что со мной было года четыре тому назад, в Петербурге.

Я тогда писал ежедневно и старался излагать всякие очень хорошие идеи и, когда замечал более или менее интересного человека, поступавшего против моих идей, то подвергал его свирепой разделке под орех.



Дело было зимой.

Получаю я по почте толстое письмо. Открываю: выпадает рукопись. Я, конечно, морщусь: рукопись — это неприятно.

При рукописи письмо — самого обыкновенного в этих случаях содержания:

«Милостивый государь... тон ваших статей... отзывчивость... похлопотать о напечатании прилагаемой статьи... совершенно безвыходное положение... лишился уроков... отказано от квари-тиры... не являюсь лично за неимением пальто и калош...

Мой адрес: Чертовы Кулички, д. 18, кв. 142...»

Я был тогда случайно в таком настроении, что это заурядное письмо навело меня на разные думы.

Прежде всего я просмотрел статью. Она была вроде «роли идеализма в сочинениях такого-то»... или, кажется, иначе — «Лошадные и безлошадные в Орловском уезде» — не помню.

Статья скучноватая, но наша газета была вообще скучновата. Если бы эта статья появилась в нашей газете, никто бы не удивлялся выбору редакции и никто не похвалил бы редакцию за этот выбор.

А вы, голубчик, знаете, как приходится обращаться в газетных редакциях с произведениями неизвестных авторов. Если первые две страницы чем-либо не заинтригуют секретаря — статья идет в корзину. И вы также знаете, как трудно заинтриговать этого секретаря, вкус которого так уже притуплен массой прочтенной скверной бумаги.

Присланная мне статья «О роли безлошадных» не могла бы никого заинтересовать. Следовательно, мне предстояло похлопотать о ней перед секретарем и редактором.

Я взял статью, принес ее секретарю и сказал:

— Это — очень приличная и разумная статья. Я вам буду весьма обязан, если вы ее скоро просмотрите и пустите. Автор в ужасно бедственном положении.

Должен покаяться, что я это сделал не в тот же день, а дня через три. Почему?

Тысяча причин, мелких причин, но тысяча.

Во-первых, страшно неприятно рекомендовать кому-нибудь что-нибудь. Для меня это — пытка.

Во-вторых, я обыкновенно не ходил в редакцию. Надо было пойти туда до 2 часов, то есть пока там сидит секретарь — у меня как раз утром должна была быть одна особа, и потом

пришлось ее провожать. Мне как-то не представлялось, чтобы ради голодающего где-то на Чертовых Куличках человека я должен был пропустить свидание, которого добивался очень долго. Ведь это тоже не резон — заставить даму прийти к вам и не оказаться дома или же потом не захотеть ее проводить.

Пойти после обеда к секретарю на дом — мне не хотелось. Ужасно не хотелось.

На следующий день выдался табель. Потом еще что-то.

Но, словом, я наконец сдал эту историю секретарю и пошел домой.



Секретарь понял меня так, как я сам себя понимал: то есть для других статей у него срок — две недели, а эту он просмотрит в течение одной недели. Да потом не сразу же и найдется в газете место для целого нижнего фельетона.

Между тем еще через три дня я получаю письмо такого тона:

«Удивляюсь, что моя статья не только еще не напечатана, но даже от вас не получил ответа. Странно, что вы, печатно с таким жаром говорящий о любви к ближнему, на деле...» и т. д.

«P.S. Извините меня за тон письма, но, право, мое положение извиняет его».

Вы, прочтя это, сказали бы — с вашей склонностью к эпиграммам:

— Нахал.

А я ничего не сказал и стал обдумывать.

Я нисколько не скрывал от себя, что я должен был поступить иначе. Я должен был сдать статью сейчас же. Я должен был настать на секретаря так, чтобы он мне поклялся прочесть ее до завтра, должен был прямо упросить его отнестись к этой статье с резким предпочтением и втиснуть ее в газету как можно скорее. Тем более что ведь эта статья была ничем не хуже всяких других, помещаемых постоянными сотрудниками.

Добиться всего этого стоило бы мне у секретаря ровно 10 минут разговора. Он у нас был славный парень.

Но мне *не хотелось* так настойчиво просить его. Так не хотелось, что это было бы для меня тем родом пытки, который по-русски образно называют «баня». Я этого, понимаете ли, *не мог*, не мог и не мог — я и сейчас чувствую, что не мог.

И также я не скрывал от себя, что, по крайней мере, следовало бы ответить автору. Городское письмо стоит в Питере пятачок.

Но... у меня дома никогда нет марок. Я посылаю купить марку, когда есть что-нибудь *нужное*. Тут у меня тоже мелькала мысль, что полагалось бы ответить автору, но... лень было писать, посылать за маркой, отыскивать письмо, где был обозначен адрес, заклеивать, потом опять посылать к почтовому ящику...

Я вполне сознаю, что все эти *не хотелось* и *лень было* не заслуживают, в смысле оправдания, даже серьезного плевка. Но я говорю вам не о логике, а о своей душе, и говорю вам, что в моей душе все это было сильнее сочувствия к интеллигенту без калош — и задавило сочувствие.

Но на это письмо я сейчас же ответил. Я написал, что статья сдана, торопить редакцию я не имею права, а ему, автору, посылаю мою рукопись с просьбой переписать и прилагаю за это 10 рублей.

У него, судя по статье и письмам, был непереваримо скверный и неразборчивый почерк. И моя рукопись была маленькая, и мне ее совершенно не нужно было переписывать.

Я отправил это письмо и сейчас же пошел в редакцию.

Я спросил секретаря:

— Ну что, ту статью — просмотрели?

Он ответил:

— Нет, не успел еще, знаете... На днях.

Я понимал, что здесь мне полагалось бы сказать:

— Нет, уж вы, пожалуйста, ради меня... (и т. д.)

Но я предвидел, что он ответит:

— Голубчик, да ведь у меня столько работы и такая масса очередных статей...

На это не следовало обращать внимания, но я *не мог*. То есть физически я мог, потому что все это очень просто, но морально я *не мог*, потому что у каждого человека есть свои рамки.

Статья валялась долго — потом ее прочли и вернули мне. Я не сумел принудить себя настоять, чтобы ее напечатали, а, повторяю, напечатать ее, с точки зрения достоинств, можно было.

Но уже раньше автор успел побывать у меня, в чужом пальто и без калош, принес мне переписанную рукопись, свою благодарность и свои извинения.

Поэтому, отсылая статью ему обратно, я уже чувствовал свою совесть налегке, сознавая, что я все-таки кое-что да сделал для него.



Через две недели опять письмо.

Деньгам у него совершенно пришел конец. Он хотел уехать к себе на родину в провинцию, но для этого нужно было 25 рублей. И он просил их у меня с тем, чтобы потом заработать и прислать.

Письмо кончалось так:

«Извините меня, ради Бога, за эту назойливость. Но я здесь никого близко не знаю; простите же, если моя мысль в нужде обращается к единственному лицу, на которое я могу надеяться. Зайти к вам я не решусь: нахальства не хватит. Я буду прохаживаться с 3 до 4 часов по противоположному тротуару...»

Я не увидел в этом письме никакой назойливости. Я сам жил в свое время впроголодь на чужбине и понимаю это дело. И на следующий день я, несомненно, дал бы ему — не 25 рублей, которых у меня не было, а рублей 15, потому что вообще никогда не жалею своих денег и еще потому, что для меня приятней отдать самые необходимые мне деньги — лишь бы не пришлось за кого-нибудь хлопотать.

Но с утра я вышел из дому и около 1 часа встретился с приятелем, которого регулярно видел каждый день. Мы с ним погуляли, а потом я сказал:

— Теперь мне пора домой. Меня ждут.

— Ну вот еще! Пообедаем вместе.

Я регулярно видел его каждый день, но мне почему-то ужасно захотелось пообедать с ним.

— Хорошо, только пообедаем наскоро.

— О! По телеграфу.

Мы, конечно, засиделись долго, и когда пробило 3 часа — ели только рыбу.

Я сказал:

— Мне пора.

Он ответил:

— Перестань. Твой тип подождет.

— Он ждет на улице.

— Он одумается, зайдет к тебе и подождет тебя там.

Я ни на что не был нужен этому приятелю, он ни на что не был нужен мне. Тот человек, «прохаживавшийся по улице», ждал от меня спасения.

Я остался дообедывать с приятелем и не пошел туда.

Я рассказал приятелю всю историю, и он заметил:

— Наплевать! Он подождет или придет еще раз.

Мой приятель — врач. Когда была холера, он держал себя героем. И еще студентом он, голодая сам, содержал семью. Мой приятель — на редкость хороший человек. И он очень легко и очень естественно сказал:

— Наплевать.

Когда я вернулся домой, на противоположном тротуаре никого не было.

А через два дня я получил письмо без марки, где стояло это самое слово: «Подлец».

Я и этого с его стороны не назову нахальством. Это просто несправедливость. Он не прав.

Я, конечно, не тем себя оправдываю, что вовсе не *обязан* был ни помогать ему вторично, ни даже являться на randevу, которое он назначил мне без моего спроса.

Это все резоны для логики, но не для моей совести. Моя совесть знает, что я *считал* себя обязанным и *сознавал*, что было бы нехорошим делом — не прийти к человеку, который зимой ждет меня на тротуаре. И я не пришел потому только, что у меня явился пустейший, грошовый каприз — посидеть с совершенно неинтересным приятелем.

По-моему, это — подлость. Но я не подлец, это знаем я, вы и все, кто со мной знаком.

Я не подлец. Я способен жертвовать многим и, может быть, даже собой, если меня растормошить.

Он меня, очевидно, не растормошил.

Мы заговорили с вами об отце, продавшем свою дочь, а я запел совсем из другой оперы. Но это не важно.

Я просто хотел пояснить вам, почему я не признаю подлецов. Я показал вам человека, который имел большое основание счесть подлецом меня, потому что я действительно совершил над ним несколько маленьких и одну большую подлость, а на самом деле я все-таки не подлец.

И я думаю, что подлецов очень мало. Есть много людей, которые делают подлости, иногда под влиянием нужды, иногда —

вот как и в этом случае — просто с бухты-барахты, но в душе и по сути своей все мы более или менее порядочные люди. Comprendre c'est pardonner<sup>1</sup>.

Это — мое правило, и я делаю из него только одно исключение:

Предательство.

*Altalena*

*Одесские новости. 17.02.1902*



## **Вскользь**

Г-н Суворин уверял недавно почтеннейшую публику, будто юбилей Гоголя доказывает, как мы шагнули вперед за эти пятьдесят лет.

Цыплят по осени считают. Мы ведь еще не отпраздновали гоголевского дня, так что будет ли торжество удачно или нет — об этом пока ничего не известно.

По этому поводу мы, однако, сделаем несколько простодушных замечаний.

У г-на Суворина есть свой театр. Поэтому он должен знать толк в театральном деле.

И вот допустим на минуту, что гоголевская комедия «Ревизор» только теперь написана и что автор ее стучится в кабинет г-на Суворина. Допустим далее, что А. С. Суворин очень вежливо принимает автора, прочитывает пьесу от первой строки до последней и остается, конечно, в восторге.

Допустив все это, мы, тем не менее, должны будем предположить, что ответ А. С. Суворина автору будет такой:

— Ваша пьеса очень хороша, но поставить ее невозможно. Я удивляюсь столько же вашему таланту, сколько и вашей наивности, если вы предположили, будто можно писать такие пьесы и мечтать об их постановке.

Так или не так?

Предположим даже больше. Предположим, что «Ревизор» написан Гоголем именно тогда, когда был написан, но рукопись затерялась и нашлась только теперь. И что нашедший немедленно принес ее к А. С. Суворину.

---

<sup>1</sup> Понять — значит простить (фр.).

Г-н Суворин, несомненно, был бы в восторге. Он сразу оценил бы все и бытовые, и вечные достоинства комедии. Он написал бы о ней несколько «маленьких писем» за номерами MDCCLX — MDCCLXV. И вообще отнесся бы к драгоценной новинке так, как должен отнестись просвещенный любитель русской словесности.

Но если бы г-ну Суворину предложили:

— Попробуйте поставить эту комедию!

Он посмотрел бы на вас и тихо, но вразумительно ответил:

— Вы что, с ума сошли или с луны упали?

А между тем во время оно никто с луны не падал и с ума не сходил, и «Ревизор» все-таки был поставлен.

Да еще с каким триумфом ставился? Вы могли прочесть об этом во вчерашней газете. В Ростове-на-Дону тамошний городничий после первого акта побегал на сцену и приказал «играть что-нибудь другое», но был отбит с уроном и исчез из театра в сопровождении всех своих держиморд. И еще в ответ на свою жалобу получил из Екатеринослава нахлобучку, а скоро и совсем был удален из Ростова.

*Дела гавно минувших дней,  
Преданья старины глубокой...*

Если сам г-н Суворин почему-нибудь задумал переделать эту историйку на нравы более поздних эпох, даже и он, великий оптимист земли русской, сильно изменил бы конец вышеизложенного приключения...

Н-да.

Блажен, кто верует, — тепло ему на свете.



Господа, сегодня вечером у итальянцев идут две прелестные оперы вместе, и хотя состав не вполне перворазрядный, вы все-таки подите в Городской театр.

Вы проведете эти два-три часа довольно приятно. Вы слушаете г-жу д'Арнейро, г-на Джиральдони, интермеццо в прекрасном исполнении оркестра. И в то же время поможете нескольким недостаточным ученикам Ришельевской гимназии внести плату за премудрость.

Бывают минуты, когда я оглядываюсь на свое ученическое время и уже смутно-смутно припоминаю его, и оно мне пред-

ставляется в виде каких-то серых коридоров с моей серой тоскливой фигуркой где-нибудь в углу или в карцере. И невольно шепчется от наплыва таких воспоминаний:

— Господи, помилуй...

Я когда-нибудь расскажу вам эти воспоминания, а сегодня ограничусь только маленькой притчей совсем из другой области.

Один каплун узнал из достоверного источника, что его должны скоро изжарить. Он пошел поделиться этим горем со знакомым цыпленком и, между прочим, выразился так:

— Хоть бы прожарили-то меня как следует!

Цыпленок удивился:

— Мне кажется, *cher oncle*<sup>1</sup>, — сказал он, — что чем меньше вас будут держать на огне, тем лучше для вас.

— Ты еще цыпленок, — ответил ему каплун. — Если меня не дожарят, то люди не захотят меня есть. И тогда не лежать мне на чистенькой тарелочке и не нюхать вкусного хрену, а выбросят меня на черный двор собакам, и буду я там валяться в сору, который скверно пахнет... Понимаешь?

И каплун назидательно заключил:

— Когда тебя жарят, оно тяжело. Но если потом придется сожалеть о том, что тебя не дожарили, — это будет еще тяжелее.

Что делать — в жизни среднего человека премудрость так же необходима, как вертел для каплуна.

Помогите же юношам доучиться.



Из дневника одесского журналиста:

«19 февраля.

Эта дата напоминает мне, что через две с половиной недели — весна и можно будет наконец снять калоши. Слава Богу, что в феврале так мало дней.

Калош я терпеть не могу. Во-первых, лишняя трата денег. Во-вторых, утомительно ходить. В-третьих, калоши, не давая замараться подошве, сами в то же время пачкают носок красноватой пылью.

Куда бы лучше иметь собственную карету. Разъезжаешь себе туда и обратно, и никаких тебе калош не надобно.

---

<sup>1</sup> Дорогой дядя (*фр.*).



Впрочем, в хорошую погоду можно примириться и с отсутствием кареты. Я ужасно не люблю слякоти и люблю хорошую погоду.

Стоишь тогда где-нибудь на бульваре и любишься. Солнце желтенькое, небо голубенькое, море зеленоватое, деревья тоже, на воде пароходики и лодочки, дальше — волнорез и маяк, а на краю тянется берег лимана.

Удивительно хорошая вещь — приятная погода».

**Altalena**

*Одесские новости. 19.02.1902*



## **Вскользь**

Действительный статский советник Зброжек, предложивший не учреждать гидротехнических лабораторий, был так потрясен возражениями своих оппонентов, что тут же, в заседании съезда деятелей по водяным путям, скоропостижно скончался.

Этот печальный случай очень характерен для нашего климата.

Нельзя ведь предположить, чтобы покойный был так глубоко заинтересован вопросом:

«Возбуждать или не возбуждать ходатайства об учреждении гидротехнических лабораторий при высших учебных заведениях и округах министерства путей сообщения?»

Несомненно, вопрос этот представлялся покойному действительному статскому советнику очень важным, но не настолько, чтобы нежелательное решение могло убить его.

Ф. Г. Зброжек умер не от гидротехники, а от критики.

Факт этой смерти — очень печальный факт, но общее явление, на которое он указывает, еще печальнее.

Я подозреваю, что очень многие не только из действительных статских советников, но и чином или двумя пониже, начали творения одного одесского фельетониста, безусого сверхчеловека и декадента. Потому что все они решительно не выносят критики.

В то время как люди нечиновные вполне склонны претерпевать критику не только нелитературную, но даже непечатную, лица чиновников питают отвращение к самой даже литературной критике.

Критика неприятна, это естественно, в особенности когда вы сознаете, что она и сурова, и справедлива в одно и то же время. И еще неприятнее, когда многочисленное собрание при вас же шумно рукоплещет вашему противнику.

Этот последний обычай даже довольно глуп и совершенно неуместен, особенно в прениях практического характера. Но так как это все-таки обычай цепкий и даже в Европе крепкий, то с ним надо примириться. Тем более что ведь, кажется, так легко примириться: неприятность самая маленькая, пустячная, мимолетная. И, переживая ее, можно ведь в утешение напомнить себе столько примеров великих людей, бывавших в точно таком же положении, что в конце концов начнешь сознавать себя вроде доктора Штокмана.

И вот оказывается, однако, что не для всех это так легко. Человека раскритиковали — и он ни за что ни про что повалился мертвым.

По всей вероятности, у покойного сердце давно было не в порядке. Но в том, что последний толчок этому больному сердцу был нанесен именно критикой, я нисколько не сомневаюсь.

Это — исключительно яркий, но не первый пример критикофобии. Каждый из нас может указать с десятков людей, не переносящих критики. И всего больше то, что большинство не терпит ее вовсе не из нарочитого самодурства, а просто по глубокому, непобедимому органическому отвращению.

Чтобы не ходить далеко, вспомним, что и у нас в Одессе есть энергичный, умный, во всех отношениях чуть ли не образцовый городской деятель, который именно из-за критики несколько раз уже порывался подать в отставку.

Ему, конечно, нечего «бояться» критики, хотя бы уж потому, что победителя не судят. Он и не боится, он просто ее не выносит, как не выносят некоторые визга грифеля на аспидной доске.

— Это для меня пытка, — выразился он однажды по поводу такой критики.

Но этого деятеля всегда, к счастью, удается успокоить, и он остается на своем посту все с тою же энергией и теми же добрыми целями.

Бывает и иначе.

Явится на сцену человек, обласкает и ободрит всех и вся и начнет жить в мире и согласии с чадами и домочадцами. Но вдруг случится маленький, самый пустячный казус, в котором

чада и домочадцы не могут стать на его сторону. Всему казусу этому — полсантима цена, можно было бы тихо и просто исправить ошибку, ведь она в фальшь не ставится, и снова зажить со всеми любовно и доверчиво. Но тут-то и проявляется органическая неспособность к перенесению даже одного мгновения критики. Отношения сразу портятся, на бедных чад и домочадцев уже смотрят исподлобья, и прежнее взаимное доверие превращается в глухую враждебность...

Все это очень печально и приводит к нехорошим последствиям.

Но поделаться ничего нельзя. Те, кто не умеют переносить критики, должны будут выучиться переносить ее. Потому что люди, которым Бог дал язык и мозги, никогда не откажутся от своего права критики, и об этом нечего и мечтать.

Предоставляю г-ну Рудецкому, со свойственной ему поворотливостью умственных клепок, уличить меня тут же в противоречии с самим собою.



С некоторых пор моя прислуга стала приносить мне газету чуть ли не около полудня.

— Отчего так поздно?

— Хома только что принес.

Это меня удивляло, и было неудобно. Но у Хома в последнее время завелась такая осанка, что беспокоить его по пустякам я, конечно, не решился.

Дом, где я живу, находится в Шарлатанском переулке. Это немножко далеко от нашей редакции, так что я этой причине приписал позднюю доставку мне газеты.

Однако вчера спрашиваю в конторе у экспедитора, он и руками, и ногами:

— Как так? По-прежнему доставляется в 8 часов. Мы разносчика не меняли.

Я ушел и стал прогуливаться по Дерibasовской. Дошел до Либмана, вдруг гляжу, стоит Хома.

Я, естественно, скинул шапку и поклонился. Хома совершенно приветливо кивнул мне головой.

Тогда я решился.

— Что это, — заговорил я, стараясь не выказывать робости, — что это, Хома, мне стали так поздно приносить газету? Уж такие эти разносчики скверные!..

Хома ответил:

— Нечего вам винить без всякого толку разносчиков. Они люди честные, свое дело сполняют, а не в свое дело носа не суют. Газету вам приносят в 8 часов.

Я поспешил засмеяться:

— Ага, так это прислуга так тихо торопится...

— Опять и это глупо — не расчухавши дела, клепать на прислугу. Газету забираю я. У меня утро теперь свободное, так я сначала сам газету просматриваю — чи нет там чего-нибудь такого. Коли нет ничего такого, несу вам. Найду что-нибудь такое — не допущу.

Тогда я скинул шапку и сказал:

— Ага. До свиданья, Хома.

И Хома ответил:

— Идите с Богом.

*Altalena*

*Одесские новости. 20.02.1902*



## **Вскользь**

С гоголевским праздником, господа.

Должен сознаться, что по мере приближения к этому дню мною все больше и больше овладевало радостное суворинское расположение духа — и, наконец, сегодня совершенно меня охватило.

Я ликую. Правда, у нас в Одессе это немножко трудно, потому что я, к сожалению, ни в каком училище в настоящую минуту не учусь. А кроме школ, кто же еще празднует в Одессе память Гоголя?

Юбилейного спектакля не будет. Общество любителей науки и литературы забыло спохватиться устроить торжественное заседание; Литературно-художественное общество устроило бы что-нибудь — да вольно ж было пятидесятилетию выпасть на такой неудобный день.

Словом, нам с вами, читатель, предоставляется праздновать гоголевский день платонически. Разве что малороссы в Новом театре поставят «Вия» или «Сорочинскую ярмарку»...

Тем не менее я ликую и вас приглашаю ликовать.

Ибо тот факт, что Гоголя так зычно поминают по поводу приключившейся ему полвека тому назад смерти, — несказанно отраден.

Вдумайтесь хотя бы в то, что главную роль в чествовании играют разного рода училища и что многое множество педагогов будут сегодня широко вещать о великом значении «Мертвых душ».

В «Мертвых душах» рассказывается об учителе Чичикова, который терпеть не мог смеющихся мальчиков и предпочитал хотя бы и глупых, но смиренных и даже заунывных...

Очевидно, теперь таких педагогов уже нет.

И еще в этих «Мертвых душах» рассказывается, как в конце концов учитель Чичикова впал в нищету и как тогда ему помогли вскладчину именно те выросшие мальчишки, которых он в детстве значительно драл за резвость. А Чичиков, тот самый Павлуша, который когда-то был образцом смиренного и почтительного поведения, — не дал ни гроша.

Педагоги, прославляя сегодня «Мертвые души», хотят показать, вероятно, что теперь осмеянного Гоголем явления также больше нет.

Это — крохотный, незначительный пример, но он нам объяснит, почему я ликую и вас зову ликовать.

В факте торжественных поминок Гоголя я усматриваю неопровержимо, что все осмеянное Гоголем уже давно исчезло из жизни. И конечно, все им воспетое до сих пор процветает и благоденствует.

Сам Чичиков, это идеальное существо с душой мерзавца и званием порядочного человека, — исчез. Теперь у каждого недодая на лице написано «негодяй»...

Манилова тоже нет. Нет этого помещика, у которого под носом мужики голодают, а он в это время мечтает о том, как бы выкрасить весь мир в розовую краску.

Сквозник-Дмухановский тоже, конечно, стал мифом. Относительно этого никто даже и спорить не будет — особенно в печати.

Наоборот, все, что Гоголь воспел, что заставил нас полюбить, — это все, по несомненному смыслу сегодняшнего праздника, не только по сей день украшает наше бытие и нашу землю, но даже развивается и совершенствуется.

Гоголь, положим, редко что «воспевал», но все-таки...

Он, например, изобразил такими любовными штрихами казацкое «лыцарство», защитников воли и православной веры, заступников за сирых и угнетенных...

А в общем меня очень интересует вопрос, почему, собственно, празднуют годовщину *смерти* великого человека.

Бывают случаи, когда этих праздников по случаю смерти ничем иным себе не истолкуешь, как разве сознанием, что *он*, слава Тебе, Господи, пятьдесят лет тому назад умер, лежит в земле крепко и никого более не укусит.



Оказывается, что г-н Знакомый все еще продолжает писать.

И ничего, представьте. Не унывает. Можно даже подметить, что он как будто бы вполне сам собою доволен.

А будучи сам доволен, старается, конечно, угодить и другим.

Он, например, пишет:

«На третьей неделе поста в одесском Новом театре состоятся четыре спектакля труппы петербургского Нового театра Л. Б. Яворской. Разумеется, оба театра имеют только общее название — не больше. Петербургский Новый театр, основанный госпожою Яворской, это — роскошная бомбоньерка по художественной своей отделке...»

(А вы там были?)

Дальше:

«Князь В. В. Барятинский (муж госпожи Яворской), прибывший вчера специально в Одессу для снятия театра, должен был скрепя сердце остановиться на Новом театре... Вероятно, в Америке, куда г-жа Яворская собирается после турне по лону России, она будет играть в лучших театрах...»

Я с нетерпением жду приезда госпожи Яворской, и как только г-н Знакомый прибежит с криком:

— Приехали!

Я сейчас же помчусь в Новый театр посмотреть и рукоплескать. Из этого можно заключить, что я против госпожи Яворской совсем ничего не имею.

Поэтому она смело может принять от меня добрый совет.

Пусть она не поручает этого рода дела г-ну Знакомому. Отчего бы ей не выбрать кого-нибудь подаровитей? Например, того анонима, который пишет в стихах объявления о папиросах «Руслан» на первой странице?

Он и для госпожи Яворской может написать в таком же роде.

**Altalena**

*Одесские новости. 21.02.1902*



## Вскользь

В том, что готовится сегодня вечером в Литературно-артистическом обществе, самым главным элементом будет вовсе не сам раут-маскарад.

Конечно, и раут удастся на славу — в этом мы не сомневаемся, раз за дело взялись наши художники.

Господа Нилус и Коренев, должно быть, устроят из зала и гостиных клуба нечто оригинально-прелестное. А г-н Заузе, который взял на себя декорирование растениями, подарит нам, вероятно, еще один из тех пейзажей, которые так пленительно удаются ему на полотне.

За изящество дамских нарядов заранее ручаются и художественные премии, предназначающиеся победительницам, и собственное благородное соревнование самих прелестных масок на почве вкуса. А за непринужденную и шумную веселость нам порукой радушие хозяев «Литературки», хорошо известное публике.

Словом, рауту мы предсказываем полный и красивый успех. Но все-таки главное в сегодняшнем вечере — не сам бал.

Главное — это подсчет симпатий, который Литературно-артистическое общество произведет сегодня вечером. Оно получит ответ на важный вопрос:

— Успела ли уже одесская интеллигентная публика полюбить наше Литературно-артистическое общество?

Этот вопрос теперь не только уместен, но и прямо необходим, потому что именно в последнем сезоне Литературно-артистический клуб после долгой спячки встрепенулся и ожил.

Надо решить: удачно ли он ожил? Вовремя ли встрепенулся?

Ответ на это даст публика. Черный шар — ваше отсутствие. Белый шар — ваше присутствие.

Я советую вам положить белый.

Много оживления успело внести Литературно-артистическое общество даже за такой крохотный срок в одесскую традиционную скучищу.

Понедельники для любителей музыки, четверги для людей умственного настроения, субботы для тех лиц, которые любят соединять литературно-вокально-музыкальное *utile*<sup>1</sup> с танцевальным *dulci*<sup>2</sup>.

Всеим этим кружок сразу сумел заинтересовать даже нашу боязливую публику — и не одному одесситу, не знавшему, куда девать по вечерам свою бедную головушку, подал руку спасения от выпивок и банчка.

Сегодняшний подсчет ваших симпатий, по справедливости, должен принести блестящие данные. Потому что нынешняя масленица может похвалиться, пожалуй, более пышными балами, но не более симпатичными.



Не пойму я только, отчего бы это могла происходить некоторая вялость масленичного веселья в этом году сравнительно с прошлыми? На балах не столько оживления, и танцоры чаще спотыкаются.

Что, погода скверная? Это — в порядке вещей: в феврале всегда дурацкая погода.

Остальное все в порядке: в театрах представляют, в газетах пишут, на Дерибасовской гуляют, балов много...

*Fatalità!*<sup>3</sup> Карнавал вымирает. И никак этому вымиранию причины не подыщешь.

Я понимаю, если где-нибудь в Италии карнавальные торжества с каждым годом бледнеют. Там населению с каждым годом все пуще не до веселья — каждый год приносит новые и новые неприятности — голодовки, безработицу, неурядицы.

Но ведь то — Италия. А у нас, слава Богу, война с Китаем кончена, двойственный союз обстоит чудесно, и даже на англо-японское сожительство можно смело обращать ноль внимания и фунт презрения.

Стыдно хандрить, господа одесситы. Вам бы теперь именно, пользуясь масленицей, и потанцевать, поинтриговать, поухаживать — обменяться десятком-другим летучих писем и обеспечить себя дамами сердца вплоть до Рождества...

<sup>1</sup> Полезное (*лат.*).

<sup>2</sup> Приятное (*лат.*).

<sup>3</sup> Фатально! (*итал.*).



Вспомните ваше студенческое время. И воспользуйтесь этим воспоминанием для того, чтобы спеть:

— Ergo bibamus!<sup>1</sup>



«Тоска» с г-жой Дарклэ прошла прекрасно. Я очень рад за г-жу Дарклэ. И также рад за одесскую публику. Но...

Но приходится повторять со вздохом, что нет Соловцова.

Если бы был Соловцов, г-жу Дарклэ *теперь* не выпустили бы в «Тоске».

Одесситы потеряли бы тогда случай услышать в этой партии ту певицу, которую избрал для нее сам композитор.

Но вместе с тем Одесса не рисковала бы тогда прослыть городом не вполне деликатным и не вполне тактичным.

Это очень милая заботливость:

— Раз уж Дарклэ в Одессе, грех было бы не дать публике послушать ее в «Тоске»!

Очень трогательная заботливость.

Странно только, отчего эта заботливость не проявилась раньше. Тогда, может быть, г-же Фострем не пришлось бы потерять даром или даже хуже, чем даром, столько драгоценного времени, которое она с успехом могла бы использовать в местечке Мяссады.

Чудесное качество — заботливость, но тактичность и вежливость — тоже не лишние качества.

A bon entendeur peu de paroles<sup>2</sup>.

**Altalena**

*Одесские новости. 22.02.1902*



## **Вскользь**

Я заметил, что как только тронешь пальцем г-на Насекомого, он сейчас же заговорит непременно о гоголевском Фемистоклюсе и о том, что Фемистоклюсу необходимо почаще утирать носик.

Положительно — мания утирания.

Что же — я против этого ничего не имею.

<sup>1</sup> А посему — выпьем! (*лат.*).

<sup>2</sup> Умный и без лишних слов поймет (*фр.*).

И даже если г-н Насекомый захочет вытирать мне, кроме того, стекла, посуду, калоши, то я готов принять его в услужение хоть завтра же.

Скупиться относительно жалованья не буду, так как по тону статей г-на Насекомого я уже давно успел оценить его способности в этом отношении.

Приходите же, г-н Насекомый, условимся. Если утром, можете и с парадного хода...

Кстати, г-н Знакомый. Раз уж мы с вами беседуем, то скажите: прочли ли вы о том, что из обвинительного акта по делу о пожаре в Пассаже совершенно исключено подозрение против г-на Р.?

Что скажете по этому поводу?

Я по этому поводу расскажу вам восточную сказку.



В городе Багдаде, только не во времена халифа Гарун-аль-Рашида, жил некий почтенный человек, которого сограждане называли просто Хаджи-Сплетник.

В то время в Багдаде была довольно популярна одна публичная баня, вход в которую был собственно бесплатный, — только за хранение платья взималось по несколько пиастров.

Хаджи-Сплетник состоял банщиком при этом учреждении и каждый день утирал досуха спины посетителям — занятие, которое ему очень нравилось.

Кроме того, на обязанности Хаджи-Сплетника лежало также — занимать омываемых интересными разговорами.

Но тут уж ничего нельзя было поделывать. Утирал Хаджи-Сплетник очень хорошо, но разговаривал так скверно, что у гостей желудки расстраивались от его разговоров.

Содержатель бани стал замечать, что публика начинает позевывать. И в одно прекрасное утро сказал Хаджи-Сплетнику:

— Эй ты, борода! Если не умеешь рассказывать занимательно, то забирай свои подтяжки и уходи домой.

Хаджи-Сплетник струсил и обещал хозяину приналечь и поусердствовать.

В тот же вечер разнесся слух, что сгорела лавка купца Селима, торговавшего ватой и подвесниками.

В бане, конечно, усердно обсуждали это событие.

— Правоверные, — раздался вдруг голос Хаджи-Сплетника, — а знаете ли вы, от чего произошел пожар?

— Нет, — сказали правоверные.

— От того, — заявил Хаджи-Сплетник, — что Селим сам поджег свою лавку.

— О?! — сказали недоверчиво правоверные.

— Никакого сомнения. Во-первых, накануне пожара я сам был у Селима в лавке и, разговаривая с продавцом, нюхал, по моему обыкновению, воздух. Я уже тогда почувствовал, что в лавке пахло пироксилином и терпентином.

— Мм... — покачали головами правоверные.

— Да вы не спорьте! — распинался Хаджи-Сплетник. — Я вам представляю еще одно доказательство. Вчера ночью я сидел в кофейне, что против лавки Селима; вдруг вижу, что из лавки что-то вывозят. Я, конечно, сейчас же выскочил посмотреть. Гляжу — тащат два больших ночных кресла с удобствами. Не значит ли это, что Селим нарочно увез из своей лавки наиболее дорогие вещи?

— Н-да, — мялись правоверные, все еще не убежденные.

— А вы вот что примите во внимание, — заволновался Хаджи-Сплетник, — ведь Селим не может не быть поджигателем. Он из такой семьи. У него и жена такая — она тоже горела, и тетка такая, и сам он должен быть такой же.

— Алла! — зашумели правоверные перед этим неопровержимым доказательством.

Открытие банщика так потрясло их, что они опрометью бросились одеваться, желая поскорее сообщить имя виновного своим друзьям и знакомым. В бане остались только хозяин и Хаджи-Сплетник.

Хаджи-Сплетник скромно посмотрел в глаза содержателю бани.

Содержатель хлопнул его по животу:

— Одобряю. Уважил хозяина. На, лови полпиастра на кофе.

Хаджи-Сплетник поцеловал хозяина в плечико и пролетал:

— Для вашего степенства я и не так еще наврать могу.

**Altalena**

*Одесские новости. 24.02.1902*



## Вскользь

Я получил от г-на Линецкого из Елисаветграда интересное письмо, которое привожу целиком.

«Милостивый государь!

Прочитав вашу статью о подлецах, я позволю себе сказать, что не могу согласиться с вашим мнением, будто отец, продавший свою дочь в «цветочный домик», — *подлец*.

На мой взгляд, подлецов совсем нет, как полагает и ваш друг, — или мы все без исключения подлецы.

Это крайности, не правда ли? Но, к сожалению, в этом вопросе середины нет и быть не может.

Эти крайности находятся в зависимости от того, каким светом освещен тот или другой факт, то есть от свойства наших духовных очков, через которые мы смотрим на вещи.

Скажите, пожалуйста, неужели вы допускаете, что отец, продавший свою дочь в «цветочный домик», — подлец, а *мы*, имеющие санкционированных домиков таких в каждом городе больше, чем гимназий, — честные люди?

Согласен, что случай этот — с отцом, продавшим свою дочь, — конечно, весьма печальный случай, хотя и единичный, но почему он вызывает краску стыда на нашем лице и мы как будто жалеем эту несчастную дочь?

Почему мы не краснеем за сотни, тысячи и десятки тысяч подобных несчастных дочерей, которых мы не только не жалеем, но преследуем, выставяем на позор и клеймим волчьим билетом?

Отец, продавший свою дочь, искал денег, которые *он* получил за нее; что же *нас* побуждает отдавать этих несчастных дочерей в кабалу разным хозяикам «домиков», откуда почти нет возврата?

Если хотите, я даже понимаю рассуждения этого отца, который думает, что он имеет право так распоряжаться своей дочерью, которую он, может быть, выкормил и вырастил, но не понимаю, какое *мы* на них имеем право, что *мы* для них сделали?

Если не считать того, что сами толкнули их на этот позорный путь, а по привитии им всех наших пороков и болезней позволяем им бесплатно хиреть в наших больницах, в которых

они часто служат материалом для клиник и анатомических кабинетов, откуда они уже получают проходную прямо на кладбище.

Надеюсь, вы понимаете, что не оправдать поступок отца я хочу — нет, от этого я, конечно, далек, — я просто оспариваю право фарисейского нашего общества, на совести которого, может быть, не одна такая жертва, — бросать камни в этого блудного отца».

Всякие комментарии только испортили бы это прекрасное письмо.

*Altalena*

*Одесские новости. 26.02.1902*



## **Вскользь**

### **ПИТЕРСКИЕ НЕОФИТЫ**

Одна московская газета сообщает, что г-н Мережковский собирается покинуть литературу — для религии.

Неизвестно, чем бы это бедная литература могла мешать религии, так чтобы нельзя было посвятить себя второй, не бросив окончательно первой. Даже апостолы писали.

Но это не важно.

Важно то, что в Петербурге теперь, очевидно, проявляется новое течение — мода на богословие. К этому течению, отчасти великосветскому, и примкнул г-н Мережковский.

Люди, судящие со стороны, думают, вероятно, что это явление знаменует победу веры над равнодушием, — и так как вера всегда лучше равнодушия, считают это явление утешительным симптомом.

Тем более что г-н Мережковский до сих пор поклонялся идеалам, ничего общего с религией не имевшим. И в двух своих романах даже изобразил борьбу язычества с христианством таким манером, что, если в «Московских ведомостях» не появилось исследования под заглавием: «Чему же сочувствует сам г-н Мережковский?!» — то исключительно по недосмотру редакции.

Привести вновь на свое лоно такого непоседливого сына — это действительно было бы для религии приятным событием.

Но... «сумлеваюсь, штоп», как сказал князь Трубецкой по другому поводу — и был прав.

Я, впрочем, даже не «сумлеваюсь», а прямо не верю.

Не верю в это неожиданное рвение к вере и не верю в то, чтобы для истинной религии все эти господа из нового «течения» были ценным приобретением.

Я думаю, что это «течение» пройдет мимо истинной религии, не коснувшись ее — не придав и не отняв ничего.

Я не позволил бы себе обвинить кого-нибудь в притворстве или неискренности. От этой мысли я бесконечно далек.

Но думаю и убежден, что все это — спорт.

Мы ведь знаем этих людей, ныне примкнувших к «течению». Мы больше десяти лет следим за работой их духа и успели ясно убедиться, что они так же холодны и сухи, как и мы, грешные.

Холодом и сухостью верить в Бога нельзя, милостивые государи из Петербурга.

Религиозное чувство — это врожденный дар, такой же, как музыкальный слух. В крайнем случае — это нечто бережно и старательно развитое с детства.

Откуда же оно у вас? Мы с вами знакомы. Вы всегда были самыми головными из головных людей даже в ту минуту, когда писали стихи, и тогда никакого истинного чувства мы в вас не заметили.

Позвольте же усомниться, чтобы теперь у вас вдруг объявилось чувство, да еще такого высшего порядка, как религиозное.

Мы вас знаем! Когда вы «рисовали» чувствительные или страшные образы, вы ни на одну минуту не увлекались игрой фантазии, — вы увлекались процессом писания. Вы — облагороженные Петрушки; вас занимало:

— Как это из пера и чернил выходят подчас такие вещи, что их и сам черт не разберет?

И когда, еще очень недавно, вы выпорхнули на сцену с трактатом относительно того, является ли писатель такой-то христианином или нет, то вас, позвольте быть уверенным, занимала не защита веры, а логический акробатизм.

То же и теперь.

Вы ударяетесь в богословие не потому, что вера вас жжет и вы хотите выяснить ее, а потому, что вам интересно поспорить, посиллогизировать на такую тему, которой интеллигентные люди уже давно не касались.

Вы взяли религию, потому что она для интеллигенции представляет нечто новое. Если бы было что-нибудь еще новее — вы бы взяли то. Я не отрицаю вовсе вашей искренности в поисках новизны. Но отрицаю вашу веру.

Я в этом отношении так же холоден и сух, как эти петербургские модники. Но мне бы хотелось, чтобы каждое существующее на земле убеждение развивалось по своим законам через работу своих истинных сторонников.

И жаль, если оно принимает за истинных сторонников — таких спортсменов, которые с холодом и безразличием в душе приходят в его храм исключительно за тем, чтобы логически и казуистически расследовать — выдержано ли здание в своем стиле, к какому веку относятся такие-то позднейшие фрески и что за дерево пошло на алтари.

Церковь смело и строго может сказать этим людям:

— Кто произносит имя Божие без веры, тот произносит его всуе. Ваше богословие есть суесловие.

И потом, переменяв строгий тон на родительски сокрушенный, церковь могла бы прибавить:

— Дела-то у вас, бедных, нет... собственной святыни нет... оттого вы и превратили чуждую святыню в спорт.

**Altalena**

*Одесские новости. 1.03.1902*



## **Вскользь**

Предстоит театральное оживление.

Газета «Отдельный кабинет» почувствовала это — и «двинула» к г-ну Баттистини одного из confrerov<sup>1</sup> г-на Знакомого.

Конфрер г-на Знакомого пошел, увидел и захлебнулся от восторга до полного «утонутия».

Это видно по стилю.

Например:

«У г-на Баттистини прекрасная артистичная внешность, и он немного говорит по-русски».

В мировой литературе, положим, существует для этой фразы прецедент:

<sup>1</sup> Собрат, коллега (от *фр.* confrère).

— Шел дождь и два студента: один в калошах, другой в университете.

А также:

— В огороде бузина, а в Киеве дядька.

Но, имея дело с утопленником, нельзя же требовать особенной связности в мыслях.

Гораздо интереснее проследить, как слова и суждения неутопшего человека, г-на Баттистини, преломляются в призме памяти человека утопшего.

Это любопытно даже с научной точки зрения.

К сожалению, мы стенографически не знаем, что именно сказал г-н Баттистини о русской опере.

Но утопший конфрер, «преломив», изобразил слова великого баритона в таком виде:

— Меня поражает разносторонность таланта Чайковского. Музыка же Глинки имеет особый характер.

Это изумительно.

Быть итальянцем и так глубоко знать русскую музыку!

Дай Бог г-ну Баттистини многие лета — но, ей-богу, если бы меня так «изложили», то я, вероятно, и сам бы утопился.

Вообще, предвидя в этом месяце и в апреле много театральных праздников, я душевно радуюсь за газету «Отдельный кабинет».

Вот где будут перлы!

Киевская драма в Городском театре, гастролы Савиной, Яворской и др., потом киевское товарищество в Русском театре...

То-то пожива для наших старых и добрых друзей, театральных рецензентов Ефа и Кфа.

Вы уже успели забыть их? Надо вам напомнить.

Г-н Еф — это тот самый, который написал, что в «Докторе Штокмане» разбирается вопрос о морских купаньях.

А г-н Кф — это противоположность г-на Ефа.

Г-н Еф, как вы можете судить по «Штокману», очень проницателен.

Г-н Кф — наоборот.

Г-н Еф — оригинален.

Г-н Кф — наоборот.

Г-н Еф — краток.

Г-н Кф — наоборот.

Г-н Еф всегда неожиданно интересен.



Г-н Кф — наоборот.

В общем, г-н Еф стоит г-на Кфа, г-н Кф стоит г-на Ефа, — и я с нетерпением жду момента, когда их начнут наконец поочередно показывать за пятачок на театральных задворках «Отдельного кабинета».

**Altalena**

*Одесские новости. 2.03.1902*



## **Вскользь**

Коклэн-старший задумал содействовать сближению Франции с Германией и поехал в Берлин играть «Сирано де Берже-рака».

Но из этой доброй попытки ничего путного не вышло.

Даже для самого артиста она имела последствием огорчения административного характера.

Начать с того, что сейчас же после спектакля к Коклэну-старшему явился околоточный und sprach<sup>1</sup>:

— Требуют.

Бедный Коклэн-старший отстегнул себе нос, натянул фрак и пошел за околоточным.

Явился — выслушал следующее:

— С 1878 года мы не видали ни одной настоящей французской пьесы. И только сегодня мы, благодаря вам, снова имели удовольствие смотреть драму, которая доказала нам, что Франция с тех пор успела и в области драматического творчества создать нечто великое. Этот «Сирано» действительно замечательное произведение, и нас оно сильно заинтересовало. Четвертый и пятый акт напомнили нам Шекспира.

Несчастный артист, растерявшийся от такой неожиданно обрушившейся на него беды, мог только пробормотать в ответ:

— Так точно... каждый раз, когда я играю... имею честь играть в этой пьесе, я сам прихожу к тому же сравнению...

И был отпущен. Но надежда пойти домой и отдохнуть от пережитого потрясения не оправдалась.

Тот же околоточный повел Коклэна-старшего к его сиятельству г-ну директору императорских театров.

— Садитесь, — сказал граф артисту.

<sup>1</sup> И сказал (нем.).

Коклэн-старший сел.

Граф уставился ему прямо в глаза и, отчеканивая каждое слово, заявил:

— Заметьте, что в наших устах нет высшей похвалы для драматического произведения, как сопоставление его с шекспировскими драмами.

— Шекспир должен быть очень польщен этим обстоятельством, — пролепетал Коклэн-старший, усиленно потея.

— И Ростан, — продолжал граф еще настойчивее, — тоже должен считать себя весьма польщенным, удостоившись такой похвалы.

— О! Ваше сиятельство, — прошептал Коклэн-старший, — Ростан будет считать себя весьма польщенным — это несомненно, уж соблаговолите поверить мне...

Тогда граф произнес:

— Ступайте.

И Коклэн-старший поехал домой принимать хинин.

Это, несомненно, очень мило, что мерилом похвалы избран именно Шекспир.

Потому что ведь можно было избрать Эрнста фон Вильденбруха. Или даже одесских драматургов Митяя Гольдштейна и г-на Писаревского. И никто бы этому не удивлялся.

— Вкус, батюшка, отменная манера!

Редкостный вкус, изумительно тонкое чутье.

Я уж и не говорю о том, что «Сирано» обозван «великим» произведением.

Хотя и это красиво. У кого другого повернулся бы язык отколоть такую вещь? А тут взяли да назначили:

— Великое.

И готово. Точно медаль пожаловали.

Но самое поразительное вот что.

Сколько нужно было проницательности для того, чтобы в «Сирано» изловить сходство с драмами Шекспира.

Ведь на наш близорукий взгляд — между Ростаном и Шекспиром пропасть.

У одного сто сторон и сто языков — у другого одна и один.

У одного жизнь — у другого сюжет.

У одного — на всю драму единственный живой человек, а все остальные — бледные маски; у другого даже мимолетно пропадающие лица каждой драмы живут...

На то мы и профаны.

Око, прозирающее в корень, не смотрит на все эти наружные различия. В глубокой глубине находит оно то зерно, которое делает Ростана похожим на Шекспира и Митяя Гольдштейна на Софокла...

**Altalena**

*Одесские новости. 3.03.1902*



## **Вскользь**

Идея обществ св. Магдалины очень гуманна и благородна. Думаю даже, хотя не все разделяют мнение, которое я сейчас выскажу, что общества св. Магдалины бесспорно полезны.

Кто знакомился с обитательницами веселых домов ближе, чем по предмету их специальности, тот знает, что в их среде встречаются женщины, которым мучительно хочется уйти от этой жизни.

Общества св. Магдалины помогают этим недовольным.

Поэтому — раз есть уверенность, что такое общество поставлено хорошо и правильно, — люди должны сочувствовать и содействовать ему.

Но при этом нельзя не жалеть, что нет параллельно с этими обществами других обществ св. Магдалины, гораздо более важных и необходимых.

Мне бы стоило самой маленькой стычки с моей ленью — достать полицейское число проституток в Одессе и сравнить его с теми двумя десятками, которые спаслись в убежище здешнего общества.

Но этого не нужно. Цифры не все доказывают. И здешнее общество, наконец, существует только с недавнего времени.

Но ведь а priori<sup>1</sup> видно, что это общество логически не может считаться учрежденным «для борьбы» с проституцией.

Изобретатель острога, вероятно, рассуждал так:

— Чем больше воров я посажу сюда, тем меньше их будет оставаться на свободе. И наконец, когда я переловлю и запру всех воров, кражи совсем прекратятся.

Но это было в незапамятные времена.

Теперь так не рассуждают.

Общества св. Магдалины прекрасно понимают, что им, к сожалению, никогда не отвоевать у веселого дома даже одной десятой части его жертв.

<sup>1</sup> Здесь: изначально (*лат.*).

Общества св. Магдалины — это гостеприимные подворья для приплывших к берегу, но не спасательная станция с лодкой для помощи тем, которые утопают в открытом море.

Это — забота об экс-проститутках, а не о проститутках.

И это не только в России. Везде и всегда добрые люди надумывают печься об этих живых клоаках человечества только с того момента, когда они выходят уже в отставку из одного звания.

И, по-моему, это дважды нехорошо.

Во-первых, нехорошо потому, что забота о проститутках во много раз важнее и нужнее попечения об экс-проститутках.

Из двух благ надо выбирать большее. Всегда важнее печься о тысячах людей, чем о десятках.

Во-вторых, нехорошо потому, что такое забвение проститутки происходит из ходячего гадливого отношения к проституткам.

А это ходячее гадливое отношение само, если вдуматься и понять, есть нечто заслуживающее нашей гадливости.

Обдумайте эту картину:

Есть невероятно огромное зло — проституция. Все признают, что она — зло. Английские старые девы хлопочут просто о том, чтобы проституцию — хлоп! — запретили. Но эти барышни не понимают, что проституцию можно будет «запретить» только тогда, когда будет «запрещено» и пребывание в старых девах. Потому что проституция и обилие старых дев — два конца одной и той же палки, два зла совершенно одинакового порядка и размера.

Но лондонские старые барышни все-таки поступают умнее, чем остальное человечество. Они, по крайней мере, проповедуют борьбу с проституцией.

А человечество заботится только о том, чтобы упрятать ее подальше.

Лупанарии загоняются на Болгарскую улицу, потом их загонят еще более dahin<sup>1</sup>, в обществе стараются не говорить об этих предметах, и тогда на Шипке все спокойно.

То есть сифилис понемногу превращается в обязательный предмет обучения, а тысячи молодых и красивых и, следовательно, лучших девушек гибнут в черных притонах, затопленные презрением всего человечества.

Мне очень жалко сифилитиков, но гораздо больше мне жаль этих женщин.

---

<sup>1</sup> Здесь: далеко (нем.).

В чем их вина?

Я ее не вижу.

С одной стороны, часть мужчин не могут жениться, а кровь их требует своей пищи. Значит, является спрос.

С другой стороны, голод не тетка. Значит, является предложение.

Вы вдумайтесь, какого рода предложение.

Из-за голода люди идут на убийство, на грабеж, на воровство.

А что делают эти девушки?

Они продают вам то, что им одним принадлежит, — свое тело.

Они распоряжаются своим телом, потому что человек имеет право распоряжаться своим телом.

Если общественное мнение в наши дни уже не клеймит самоубийцу, оно не должно клеймить и гетеру.

Это ясно, как день Божий, это уже даже не логика, а просто арифметика...

Но логика и арифметика ни для кого на свете не обязательны.

— Вы признали, что проституция — зло? Значит, и проститутка — дочь адова.

Это — рассуждение обыкновенного порядочного человека. То есть: ежели голод — зло, то каждый голодный — мерзавец. Или еще лучше: если война — зло, то всякий солдат — негодяй.

Нет меры для всей бездонной глупости и несправедливости этого предрассудка, и только его невытравимое упорство может сравниться с его несправедливостью и глупостью.

Благоустройство проституции есть одна из самых первых нужд человечества.

Но главное и самое громоздкое препятствие для переустройства проституции заключается в предрассудке, называемом гетеру — «падшей».

И кто, не довольствуясь мечтами розового света, хочет серьезно позаботиться о разумном лечении этой колоссальной язвы, тот должен начать с главного врага. С предрассудка.

И отвоевать для женщины, продающей свое тело, право на людское уважение к ее душе, к ее страданиям, к ее общественной функции... скажу прямо: к ее ремеслу.

**Altalena**

*Одесские новости. 5.03.1902*



## Вскользь

Если не ошибаюсь, так раз уже изобретался аппарат для упразднения телефонных барышень, — но все неудачно.

Теперь попытка в том же роде сделана одним из одесских врачей, — и, легко может быть, сделана удачно.

Может случиться и обратное, но тогда после доктора Прейсмана явится другой изобретатель, за ним третий и так до результата.

Результат же будет тот, что аппарат рано или поздно будет действительно изобретен и пущен в ход.

Абонент у себя дома сможет соединять свой телефон с каким угодно номером.

Телефонные барышни будут упразднены.

С лица земли исчезнут мало-помалу эти и без того невидимые создания, вся жизнь которых, с нашей точки зрения, должна состоять из трех слов.

Экономист sentimentalного направления мог бы «воскликнуть» по этому поводу:

— Вот до чего доводит специализация в разделении труда! Человеческое существо принуждается не произносить ничего, кроме трех, одних и тех же, слов.

Это действительно куда хуже выделки булавочных головок.

Бедные барышни...

Я думаю, впрочем, что им не так уж трудно приходится при разговорах с посторонними лицами, несмотря на то, что их губки привыкли произносить только три слова.

Например, вообразите себе темную аллею парка. На скамейке под акацией сидит телефонная барышня, а с ней рядом кавалер.

Кавалер вздыхает и томно шепчет:

— Анна Петровна.

Барышня отзывается:

— Станция.

— Анна Петровна, я давно хотел вам сказать это... но не решался... а теперь, если бы вы позволили...

Барышня отзывается:

— Готово.

— Анна Петровна, я вас люблю, и если ваше сердце свободно...

Барышня отзывается:

— Занято...

Но я, впрочем, не с этой точки зрения начал говорить о телефонных барышнях.

Я хотел только указать на то, что рано или поздно телефонная барышня выйдет из надобности.

Исчезнет должность, на которую теперь попадает некоторое число искательниц хлеба.

Меня это интересует не с точки зрения женского труда, но в качестве общечеловеческого симптома или *memento*<sup>1</sup>.

Формула этого *memento* стара и всем известна:

— Техника вытесняет человека.

Наш пример — очень маленький пример, потому что телефонных барышень очень мало сравнительно с труженицами других профессий.

Но и телефонной барышне нужно что-нибудь ежедневно проглатывать.

Если изобретение доктора Прейсмана годится, то она скоро лишится возможности удовлетворять этой нужде.

Если изобретение доктора Прейсмана не годится, то через несколько лет изобретут такое, которое будет годиться.

**Altalena**

*Одесские новости. 7.03.1902*



## **Вскользь**

И опять я должен с отрадой заметить, что сознание собственного достоинства все больше и больше укореняется в подвальной каморке у подворотни.

В этом помещении сознанием собственного достоинства занимаются уже не одни мужья, но и жинки.

Жинки из подворотного подвального этажа могли бы в этом отношении послужить живым укором нашим женам из более шикарных этажей.

У нас, людей с галстуками, всегда наблюдается так, что семейная жизнь принуждает человека умерить в себе форс.

Я, например, каждое утро, уходя на службу, ворчу при жене:

<sup>1</sup> Напоминание; букв.: «помни» (*лат.*).

— Черт знает что. Главный бухгалтер и 75 рублей. Не столько беда, что мало, сколько то, что обидно. Вот возьму да заявлю сегодня шефу: или сто двадцать, или прощайте!

А жена говорит:

— Дурень.

Что же я могу ей ответить? Я убавляю форс и иду в контору. В подворотне совсем не то.

В подворотне воскрешены древнеримские времена, когда супруги ободряли мужей на всякие смелые подвиги.

— Redi victor!<sup>1</sup>

Это наглядно демонстрировалось третьего дня в камере г-на Фабрицкого.

Несколько ребятишек играли во дворе того самого дома, где жили и обитали купно со своими родителями или же лицами, таковых заступающими.

Не установлено в точности, во что они играли.

Может быть, играли в «дыр-дыра» — и, выбрасывая дырдыральную палочку в подъезд, попали как-нибудь нечаянно в окошко дворницкой.

Или, вернее всего, играли в солдатiki. Выстроились в шеренгу и двинулись, напевая:

*У турецкого царя  
Нет ни пушки, ни ружья,  
Ни матроса, ни солдата,  
Ни на море корабля!*

На шум появился Хома и, увидев шествие, конечно, сейчас же налетел.

Нагрязнул и тут же высказал такой взгляд, что один из участников беспорядка — вовсе не сын своего отца, а сын проезжего молодца.

Участнику беспорядка было только восемь лет, но это был истый одессит. Удивительно развитой мальчик. Он обиделся за свою маму и ответил Хоме:

— Сам ты такой.

Тогда Хома нагрязнул уже специально на этого юношу.

Тут-то и подросла жинка Хома.

В заботе о его достоинстве она поняла, что Хоме, призванному к исполнению более солидных обязанностей, неприлично марать руки о восьмилетнего мальчика.

---

<sup>1</sup> Возвращайся с победой! (лат.).



На основании каких-то соображений и «поступила» с мальчиком собственноручно.

И была права.

Жаль, что мальчик по этому поводу потерял сознание. Он, таким образом, пропустил мимо ушей очень поучительную фразу Хоминой жинки:

— Разве ты не знаешь, что дворника нельзя трогать. Sacrebleu!<sup>1</sup> Не знать таких вещей!



Субботы в нашей милой «Литературке» обещают стать гвоздями весеннего сезона.

В нише большого зала помещена уютная маленькая сцена.

Репертуар намечен покамест уже готовый — небольшие вещицы из редко или никогда не идущих на подмостках обыкновенных театров.

Золя, де Мюссе, Коппе, Майков — все имена, еще почти невиданные на афишах.

Г-н Супруненко берет на себя оперу и на днях покажет нам первый опыт русско-китайского стиля.

И в перспективе — когда будет накоплен и разрешен подходящий материал — первый Uberbrettl в России.

Словом, от суббот мы ждем многого — начиная хоть бы с ближайшей «гоголевской».

Но субботы субботами, а теплого внимания заслуживает и сегодняшняя пятница.

Г-жа Черткова уже выступила в Литературно-артистическом клубе и имела шумный успех, который предсказываем ей и на сегодня.

Из ее партнеров — скрипка г-на Мироненко достаточно знакома публике. А о г-не Супруненко нечего и говорить.

Я очень люблю его голос, но еще больше люблю его манеру петь, эту его милую бодрость и живость, которая так и искрится, когда он выводит:

— Влюблен я, дева красота!..

Когда я слушаю г-на Супруненко, меня как-то всего разбирает по всем суставчикам «весенним настроением», и я аплодирую не только от восхищения, но и просто потому, что руки зудят похлопать в ладоши.

**Altalena**

*Одесские новости. 8.03.1902*

<sup>1</sup> Черт возьми! (фр.).



## Русский театр

Третьего дня г-н Баттистини выступил в партии Валентина в «Фаусте» и показал, что может сделать из небольшой, эпизодической роли певец, в котором «каждый вершок артист». Все, начиная от бесподобного пения и кончая художественным, исторически верным костюмом старонемецкого ландскнехта, было у него поистине выше всяких похвал.

Удивительный талант г-на Баттистини, как нам кажется, лучше всего может быть оценен при исполнении им таких запетых арий, как «Бог всемогущий», и таких заигранных ролей, как роль Валентина. Ни одно слово, ни один звук не пропадает у него даром; все приобретает особый смысл сообразно с намерением художника-артиста, и в результате получается, что ария, давным-давно приевшаяся, слушается как нечто живое, свежее и замечательное, а действующее лицо, казавшееся раньше обыкновенной мелодраматической марионеткой, вдруг приобретает черты живого человека, и вместо ходульного оперного «брата Валентина» перед зрителем предстает немецкий ландскнехт, рыцарь-бюргер с его солдатской порывистостью, благородством и чисто немецкой чувствительностью.

Кульминационного пункта игра г-на Баттистини достигла в сцене смерти, проведенной артистом с таким потрясающим реализмом, какой и в драме нам редко приходилось видеть. Г-н Константино в вокальном отношении хорошо исполнил заглавную роль и в каватине второго действия показал отличную школу и приятное *mezza-voce*<sup>1</sup>, но пел все время холодно, не увлекаясь сам и не увлекая других. Играл он по установившемуся шаблону, а наружностью и манерами очень отдаленно напоминал «все познавшего» Фауста. Остальные исполнители — те же, что пели у г-на Кастеллано несколько месяцев тому назад в этой же опере.

**А.**

*Одесские новости. 11.03.1902*

---

<sup>1</sup> Букв.: «вполголоса» (итал.).



## Вскользь

А вывод из всего этого?

Я говорю о «Детях Ванюшина».

Вы, конечно, заметили, что эта пьеса написана как-то не понынешнему, потому что без претензий, без внешних признаков расчета на модные эффекты и на столь ходкое теперь «настроение».

Тем не менее эта драма должна создавать настроение. И в этом вы уже, вероятно, убедились, если только исполнение было на той высоте, какой мы вправе ожидать от наших милых гостей.

Главный элемент «настроения» — это воспоминание.

Известное сценическое положение отзывается у вас в душе воспоминанием, что и вы когда-то переживали то же состояние, те же чувства, ту же печаль.

И вся душа, как скрипка, разом «настраивается» в том же тоне, каким она звучала в то время, когда переживала эмоции, рисующиеся теперь на сцене.

Какая же пьеса может напомнить человеку больше, чем напомнят «Дети Ванюшина»?

Мелодрам не бывает в жизни. Трагедия не про нас написана. Веселой комедии мы тоже не переживали. И даже обыкновенная любовная драма не всем из нас знакома, потому что многие, уча и давая уроки с раннего отрочества, так и не успели с нею столкнуться.

Но то, что рассказано в «Детях Ванюшина», было со всеми нами.

Даже чеховская скука не так хорошо знакома нам, как этот мучительный скрип разрушающегося домашнего очага.

Все мы знаем запах этой терпкой атмосферы. Все мы помним вкус этих слез.

Из всех горестей *эта* была самая ядовитая. Из всех драм *эта* драма — самая горькая.

Потому что в ней есть вражда и нет естественной основы вражды — нет ненависти. Есть, напротив, живучая, невытравимая любовь своего к своему.

Именно в силу этой любви всякая шероховатость чувствуется сильнее, а благодаря постоянной жизни вместе — шерохо-

ватости накапливаются, никогда не забываются и в конце концов загромождают жизнь.

И в конце концов получается то, что вы любезно пропустите мимо ушей неприятную выходку совершенно постороннего, даже нелюбимого человека, но жене, но сестре или дочери непременно и злорадно, с упоением проголодавшегося по бешенству человека устроите мерзкую сцену.

За что? За то, что вы их любите.

Это не парадокс. Именно за то, что вы любите их.

Вы их любите, и вам хочется, чтобы они были по-вашему; вы видите, что они чем-то недовольны, и вам кажется, что средство удовлетворения в ваших руках.

Но когда вы предлагаете это средство — вас отстраняют. Во-первых, потому, что бывают разные характеры. То, что удовлетворяет вас, может не удовлетворять близкого вам человека. Во-вторых, и против вас накопилось то же раздражение, которое говорит в вас...

Будь на месте любви, все еще связующей семью, простое равнодушие, мы не так заботились бы друг о друге, не огорчались бы так взаимным непониманием и не озлоблялись бы.

Страшно, невероятно озлоблена современная семья.

Озлобление, основанное на ненависти, естественно. Озлобление, построенное на любви, до гадости противоестественно.

Вот как дошли мы до того ужаса, что семья, идеал естественного союза, заплыла противоестественными элементами...

Вывод из всего этого?

Я не знаю. Или, вернее, подозреваю, но боюсь этого вывода.

Потому что больно было бы окончательно поверить в близкое крушение уголка жизни, который всегда считался лучшим, самым теплым, уютным и мягким...

Наши дни подготавливают расцвет индивидуализма. В этом расцвете будет много радости для здорового человека.

Но будет много и скорби, много дорогих могил и утрат. И перед одною из них, кажется, мы теперь и стоим.



Потомственный дворянин г-н Бодиско побил свою горничную, которая у него украла вещей на сумму 150 р., и был за это приговорен к десяти дням ареста.

Фельетонист одной из одесских газет выразил по поводу этого приговора свое тихое и скромное удовольствие, к которому мы все присоединились.

Г-н Бодиско грянул тогда письмом в редакцию этой газеты.

В письме он заявил, что бить — бил.

Не только бил, но и здорово бил, потому что бить умеет.

И не только умеет, но и будет бить всякого, кто еще осмелится его оскорбить.

Это — суть письма. Суть, как видите, очень интересная. Но некоторые детали тоже не лишены интереса.

Начать хотя бы с описания г-ном Бодиско собственного кулака. Прекрасное и художественное описание.

Я не сомневаюсь, что редакция этой газеты, заинтересованная явлением, уже послала к г-ну Бодиско фотографа, и портрет потомственного дворянина будет красоваться в ближайшем воскресном полулисте.

Или, по крайней мере, изображение кулака в качестве самой интересной детали портрета.

Замечательно и следующее рассуждение письма:

— Вы, очевидно, сочувствуете моей горничной.

Г-н Бодиско ошибается, если полагает, будто задевший его фельетонист сочувствует тому, что горничная обокрала хозяина.

Кража есть кража, а самоуправство есть самоуправство, особенно над женщиной.

Если бы вместо развития своих кулаков г-н Бодиско вовремя занялся развитием других статей своей персоны, ему не надо было бы разъяснять таких простых вещей...

И тогда, даже написав такое письмо, г-н Бодиско не подписался бы под ним «потомственным» — просто из любезности к собственным предкам.

Ибо *de mortuis aut bene, aut nihil*<sup>1</sup>.

Меня теперь занимает один только вопрос: как же мне теперь ходить по улицам Одессы?

Того и гляди налетит г-н Бодиско и «будет бить».

Я решил так:

Ходить больше не стану. Буду ездить на дрожках.

**Altalena**

*Одесские новости. 14.03.1902*

---

<sup>1</sup> О мертвых или хорошо, или ничего (*лат.*).



## Вскользь

Сегодняшний бенефис госпожи Пасхаловой только отчасти является для нас прощальным.

Это — последний вечер ее в завершающей теперь свой честный и прекрасный путь труппе Соловцова. Но с самой г-жой Пасхаловой мы расстаемся ненадолго.

Она снова займет свое место драматической премьерши нашего Городского театра в начале сентября, когда приедет труппа Дюковой.

Кстати. Одна из газет чернилами своего фундаментально-фельетониста пустила в обращение слух, будто непоступление госпожи Пасхаловой в новое киевское товарищество было вызвано «недоразумениями с одним из участников» этого товарищества.

Дескать, и М. М. Глебова хотела, и А. А. Пасхалова желала, но «один из» не пожелал, и так оно и сделалось.

Скорбя об упадке семейного начала в наше время, я всегда радуюсь при виде любви, с которой онный фельетонист всегда занимается чужими семейными делами.

Но в этом случае он оказался плохо осведомленным. Никакой «один из» не был тут замешан.

Никакой «один из» никогда не брал под сомнение того, что г-жа Пасхалова талантливая и желанная артистка.

Решительно не пойму, где на этой почве место для «недоразумений», о которых оповестил публику господин фельетонист.

Просто-напросто не сошлись условиями. И то даже не материальной, а чисто художественной стороной этих условий.

Товарищество стремится усилить влияние режиссера, следуя новейшему течению, и оно совершенно право.

Артист больше всего заботится о своей неприкосновенной индивидуальности, и он тоже совершенно прав.

На этой почве только и произошло несогласие.

О tempora, о mores<sup>1</sup>... Даже если бы в избе и было сорно, зачем же все-таки выносить сор на улицу? Непохвально, особенно если изба только еще строится.

Тем более непохвально, когда сору вовсе нет и в помине.

---

<sup>1</sup> О времена, о нравы (лат.).



Но речь о бенефициантке.

Из всех артисток, которых я знаю, по г-же Пасхаловой труднее всего определить:

— Чем она берет?

Что она «берет», это не нуждается в доказательствах. Но как бы определить, чем она задевает за душу, в чем ее сила?

Это, как я только что сказал, очень трудно. Потому что секрет госпожи Пасхаловой, если можно так выразиться, помещен не снаружи, а внутри ее дарования.

Недавно я читал упрек г-же Пасхаловой «за жест» и «позировку».

Мнение это настолько странно, что я даже не знал бы, как взяться его оспаривать.

Ведь совершенно напротив: игра госпожи Пасхаловой по сравнению с другими, даже меньшего таланта артистками явственно отличается именно отсутствием арсенала жестов и поз.

За эту белизну исполнения г-жу Пасхалову даже упрекают, а человек взял да открыл в ней пестроту жестов и позировки.

Господи! Сколько я помню г-жу Пасхалову — с дебюта в «Бесприданнице», — она до сих пор все так же подает руку, не сгибая локтя, все под тем же углом опускает голову в печальные минуты и чуть ли не тем же тоном говорит печальные слова.

Секрет Пасхаловой, ее фокус находится где-то в глубине, под этими немногочисленными внешними приемами.

Есть актрисы, которых с художественной стороны можно сравнить с живописными картинами. Они полны красок.

Г-жа Пасхалова, с этой точки зрения, должна быть названа скульптурной артисткой.

У нее нет палитры: у нее чистый, белый мрамор, к которому она не прикасается ни одной кистью. Сама форма этого мрамора, его изгибы и контуры создают ту простую и благородную игру света и тени, которая так обаятельна в хороших изваяниях.

И чтобы открыть «секрет» Пасхаловой, мы должны были бы определить материал, из которого она лепит, найти имя ее мрамору.

Я за это не берусь.

Но мне кажется, что я довольно ясно различаю в этом неуловимом аккорде некоторые элементы.

Прежде всего — неудовлетворенность.

Хочется столько, мечта так колоссально сильна, а жизнь дает все такую мелочь и слякоть... Эта универсальная, никому в наше время не чуждая мука явственнее всего звучит в каждом слове Пасхаловой.

Уже в ответ ей слышатся в общем аккорде ноты порыва, томления, меланхолии, мечтательности, глубокой и задумчивой ласки — и еще, и еще что-то, чего я не сумел бы назвать.

Но из всего этого получается тот тихий, «сумный», «вечерний» тон, который один одесский журналист недавно удачно определил словом «надломленный». Тот чарующий тон, за который мы так любим Пасхалову.

Потому что в этом тоне — отголосок нашего современного сердца, первая из благородных струн которого тоже называется «неудовлетворенность».

*Altalena*

*Одесские новости. 15.03.1902*



## **Вскользь**

Худшей стороной тюремного заключения всегда было тюремное безделье.

Оно не только усиливало тяжесть наказания до нежелательного предела, но и развращало.

Организации тюремного труда можно сердечно порадоваться.

Но эта организация — очень трудное и щекотливое дело именно потому, что здесь входят в соприкосновение два таких важных понятия:

«Наказание» и «труд».

Во что бы то ни стало необходимо избежать того, чтобы эти понятия смешались между собой.

Труд никогда не должен ни быть, ни казаться наказанием. Труд должен быть любимым состоянием человека. И особенно следует об этом заботиться государству, потому что человек, любящий трудиться, есть, покуда он трудится, лучший страж порядка.



Сделать труд орудием кары — значило бы пустить в обращение такой вывод:

— Труд — позор и мука.

В настоящее время уже осознано, что тюрьма, по крайней мере в идеале, должна оказывать сильное воспитательное влияние на заключенных. Но если это еще пока несбыточно, то уж совершенно неоспоримо, что тюрьма не должна наталкивать на превратные выводы.

Вот почему так важно следить, чтобы организация тюремных работ не придала труду характера кары.

Как же это допустить?

Простейший, но неосновательный ответ гласил бы:

— Сделайте труд в тюрьме возможным, но не обязательным. Кто захочет, пусть трудится; кто не захочет, пусть сидит без дела.

Мне кажется это мнение неосновательным потому, что оно не соответствует воспитательным задачам тюрьмы.

В тюрьму попадают много испорченных людей — испорченных в том смысле, что они отвыкли или не привыкли трудиться.

Я произношу здесь слово «испорченные» вовсе не в тоне укора, а с сожалением. Неумение трудиться — это не вина, а хворь. Есть ведь очень хорошие люди, которые томятся от праздности, понимают, что их томление — от праздности, имеют возможность найти себе занятие, а все-таки не умеют взяться за труд.

Люди этого недуга и в тюрьме не сумеют работать. Или будут работать по-дилетантски, порывами, когда очень уж утомит безделье, и через день будут снова бросать. Это будет еще хуже полной праздности, потому что вызовет несправедливое разочарование в приятности труда.

Тюремный труд должен быть обязательным.

Но, сознавая это, необходимо, тем не менее, настаивать, чтобы слова «обязательный», «принудительный» не применялись к тюремному труду.

Могут возразить:

— К чему же эти разговоры из-за названия? «Тюремный труд должен быть обязательным» и в то же время ни за что не должен называться обязательным, — что это значит?

Это вовсе не спор из-за слов, а из-за принципа всей постановки дела.

— Тюремный труд должен быть так же неизбежен, так же естественно необходим, как труд на свободе. Свободному человеку необходимо трудиться для своего пропитания. *Пусть заключенный тоже зарабатывает свое пропитание.*

Эта точка зрения новых итальянских криминалистов кажется мне самой правильной.

Безработная тюрьма приучает к тунеядству. Потому что, хотя кормят в тюрьме незavidно и хотя безделье тягостно, в то же время в этом безделье, как в алкоголе, есть своя привлекательная, заражающая сторона.

Такая тюрьма, где труд является обязательным и принудительным (напр. каторга), тоже опасна в смысле приучения к тунеядству. Потому что каторжник считается казенно-коштным. Государство его кормит, не требуя от него платы. А его труд — это что-то постороннее, это — элемент наказания.

Если он откажется трудиться, то у него пищи не отнимут, а только еще строже накажут.

Тюрьма с принудительным трудом не только не обучает человека предпочитать честный труд нечестной жизни, но и наводит его на неправильные понятия о значении труда вообще.

Но вообразим себе тюрьму в духе итальянских криминалистов — тюрьму, куда человек, укравший или убивший, входит с сознанием:

— Здесь я должен буду зарабатывать себе на хлеб и на платье.

Вообразите, что в этой тюрьме допущено возможно широкое разнообразие ремесел и занятий.

Перед заключенным будет выбор, и он получит возможность избрать ту работу, которая ему, по крайней мере, наименее противна.

Он будет работать правильно и усердно, без порывов, без периодов безделья, потому что от труда будет зависеть его завтрашний обед: точь-в-точь как в свободной жизни.

И в то же время труд не будет носить характера наказания, потому что нет ничего естественнее, как зарабатывать себе на хлеб и на платье.

Могут возникнуть вопросы:

— Какого рода хлеб? Какое платье? Один способнее и работает больше — значит, его кормить лучше и лучше одевать? А до какой степени продолжать это улучшение пищи и одежды? Если заключенный выработает достаточно для шампанского и для шелка, дать ему шампанское и шелковое платье?

Я бы, положим, дал, потому что нахожу, что цель тюрьмы не есть лишение человека разных удобств, а просто и исключительно временное ограждение его от общества и общества от него.

Но это все — частности, гораздо менее важные, чем главный принцип. И, не колебля принципа, эти частности могут быть решены совершенно обратно тому, что я сказал двумя строками выше.

Сам же принцип, по-моему, рано или поздно восторжествует. И человек, если уж ему не посчастливилось и он попал в тюрьму, научится там, по крайней мере, смотреть на себя не как на дармоеда, а привыкнет к здоровому трудовому куску хлеба.

**Altalena**

*Одесские новости. 16.03.1902*



## **Вскользь**

Итак, вот я и познакомился с г-жой Яворской и спешу поделиться с читателями своей скромной резолюцией:

— Одобряю.

Не могу положительно понять, на кого это г-жа Яворская в одной киевской беседе намекала, что ее будто бы иные величают бездарностью.

Думаю, что относительно даровитости госпожи Яворской не может быть спора. Возможны разные мнения о размерах таланта, но отрицать в этой артистке дарование значило бы исключить себя самого из списка зрячих людей.

Вот в размере таланта все дело, и на вопросе об этом размере и основан весь тот своеобразный «процесс Л. Б. Яворской», который уже несколько лет занимает публику и печать в России.

Это — какая-то шумная тяжба из-за артистического капитала. Одна сторона кричит:

— У меня этого капитала миллионы!

Другая сторона вопит:

— Неправда! У вас его — ломаный грош.

Рискну и я высказаться по поводу этого процесса. И при этом прошу верить, что выскажусь любя, так как я уже самым искренним образом записался в число почитателей таланта госпожи Яворской.

Капитала у госпожи Яворской, бесспорно и даже без всяких разговоров, во много раз больше, чем на ломаный грош.

Но и г-жа Яворская неправа.

Я называю саму г-жу Яворскую, а не ее хвалителей, потому что артистка сама в нескольких напечатанных беседах очень смело высказала чрезвычайно лестные мнения о собственном таланте.

— Никто меня не называл посредственностью. Одни находили меня гениальной, другие — вконец бездарной. Значит, или я вовсе бездарна, или...

Вот тут-то и надо сказать:

— Nie pozwalam!<sup>1</sup>

Это — софизм. Судите нас, как хотите, г-жа Яворская, но у вас нет ни одного из 333 оснований, дающих право на признание гениальности.

К чему употреблять такие обидные слова, как «посредственность». Мы вовсе не желаем этого слова, мы ни за что не назовем вас «заурядной» или «дюжинной».

Но мы в вашем лице просто и простодушно поблагодарим за доставленное удовольствие обыкновенную хорошую и интересную артистку.

Мне было бы неприятно, если бы читатели подумали, будто я говорю все это с ехидным расчетом ужалить. Вы гордитесь, что о вас у всех крайние мнения — нате ж вам, прочтите под добродушным снисходительным видом ядовитое признание за вами обыкновенного местечка в среднем ярусе.

Это не так. Я повторяю, что говорю любя. Я не хочу жалить талант — я хочу, напротив, чтобы талант развивался в холе, в атмосфере общей любви.

Без всякого предубеждения — никто не станет отрицать, что г-жу Яворскую окружает и ей предшествует большая реклама.

Наше телеграфное агентство ленится передавать содержание даже самых интересных правительственных сообщений, напечатанных в официальном органе.

А о предстоящих турне госпожи Яворской, небось, сообщает.

Ведь это, если вдуматься, — колоссально!

Или возьмите то, что г-жа Яворская сначала собирается в Америку постом, а потом после поста, а затем вдруг на после

---

<sup>1</sup> Не позволим (пол.).

поста объявлена поездка в Москву, а Америка, вероятно, откладывается на будущий год... И обо всем этом трещат почти все газеты.

Это не реклама?

Когда эквилибристка танцует на проволоке, я всегда смотрю на ее подошвы. Иногда на подошвах есть желобки, иногда нет.

В обоих случаях эквилибристка может быть одинаково ловка и изящна. Но в первом случае она менее смела и самоуверенна, во втором — более.

Эквилибристка без желобков *искуснее* эквилибристки с желобками.

Реклама — это желобок на подошве. Это — нечто постороннее искусству, употребляемое для того, чтобы искусству легче было показать свою красоту. Реклама — это румяна и белила на лице женщины.

Я считаю притирания совершенно безразличными со стороны нравственности и этики, но со стороны эстетической предпочитаю ненакрашенную женщину.

Реклама стоит в стороне от искусства, но она подрывает его кредит. Мы принуждены судить:

— Слабо же вы верите в свой талант, если прибегаете к побочным средствам...

И, кроме того, реклама иногда возбуждает ожидания, которые не всем дано оправдать.

Допустим, что я упал бы с луны, прочитал телеграмму о том, что г-жа Яворская собирается гастролировать в Америке — и, прочтя это, сейчас же попал бы в Новый театр.

Что приказали бы вы мне сделать, как не разочароваться самым обидным образом?

Ведь это же напрасно: для Америки в г-же Яворской нет ничего интересного. Не говоря обо всем прочем, даже то, что ее отличает от других русских актрис — некоторая пикантная *modernité*<sup>1</sup> ее манеры, — и та ведь именно за границей изобретена и пущена в ход.

Хорошо, что я не упал с луны, а, наоборот, знал, где зимуют раки, и пошел слушать г-жу Яворскую, вооруженный этим знанием. Оттого я и остался удовлетворен и доволен.

---

<sup>1</sup> Современность (*фр.*).

Та самая долька *modernité*, которой в Америке даже не заметили бы, у нас, напротив, придает исполнению госпожи Яворской интересный, чуть-чуть экзотический оттенок. Ее сценическая внешность у нас — тоже производит оригинальное, «декадентское» впечатление. И — наконец и, во-первых — таланта, интеллигентности и такта у госпожи Яворской вполне достаточно для того, чтобы с известным успехом выступать во всевозможных городах Российской империи.

А в Америку все-таки ездить не стоит.

**Altalena**

*Одесские новости. 17.03.1902*



## **Вскользь**

В Риме лавочки вдруг позакрывали свои лавки на целый день в виде протеста против «злоупотреблений потребительных обществ».

Удивительно подходящее выражение в этом случае:

— Злоупотребление.

Я эти злоупотребления хорошо помню, особенно те, которыми славится магазин одного потребительного общества.

В этом возмутительном складе есть решительно все.

Шоколад, седла и акварельные краски.

Зайдете вы купить шляпу «Borsellino» в шляпочный магазин: с вас запросят десять лир и уступят за семь.

Ваш знакомый пойдет в магазин общества и купит точно такой же «борселлино» за шесть лир — сразу и без торга.

Если вы заказали себе платье в *Unione*<sup>1</sup>, вам уже за весь сезон другого не понадобится — разве что у вас такие замашки или лишние деньги.

Ясно, что все, кто в Бога верует и при этом не слишком далеко живет, валят валом в магазин потребительного общества.

Различным частным торговцам убыток. И они символически предсказывают сами себе свою будущность, закрывая лавочки на целый день.

Их тоже жаль.

---

<sup>1</sup> Здесь: союз потребительских обществ (*итал.*).

Скромный и порядочный горожанин получил от родителя какой-нибудь башмачный *negozio*<sup>1</sup>, основанный еще прадедом. Он сидит у кассы, торгует по-божески и даже избегает гнилого товара.

И вот начинают появляться странные признаки.

— Почем эта пара?

— Это козловые: 18 лир, меньше нельзя.

— А крайняя цена?

— 16 лир.

— Мой брат купил точно такие же в *Unione* за 15.

— Что ж... Пусть синьор тоже обратится в *Unione*.

Синьор следует этому совету, остается доволен и повторяет тот же совет десятку своих знакомых.

Наш бедный горожанин сидит у своей кассы и печально соображает, что дело выходит табак.

Вечером он сидит в кругу приятелей за стаканом вина в трагтории у соры<sup>2</sup> Туты и недоумевает:

— Все эти общества, по-моему, просто подлость, а спроси у них, так ответят, что это для пользы потребителей. Да позвольте: разве я не потребитель? Я продаю башмаки, это правда. Но ведь моей семье нужно кое-что и кроме башмаков. Я беру из лавки десять пар ботинок ежегодно — и конец. Но хлеб, мясо, вино, соль, кофе, керосин, свечи, платье, книги для детей — все это я покупаю, на это все я трачу деньги не десять раз в год, а двадцать раз в день! Кто же больше меня потребитель? А если эта *Unione* разоряет меня, потребителя, то ясно, как свет солнечный, что оно не на пользу, а во вред потребителям. Верно я говорю?

Извольте возразить ему:

— *Unione* вовсе не разоряет вас как потребителя. Напротив, она дает нам, как потребителям, возможность покупать вино дешевле, чем у вашего соседа-*vinaiolo*<sup>3</sup>.

— Но ведь у меня покупателей стало меньше, у меня денег стало меньше — как же так не разоряет?!

— Это другое дело. *Unione* приносит всем пользу как потребителю, а разоряет вас как купца.

Если это будет после второго стакана, он бросится на вас с ножом за такую философию, и будет прав.

<sup>1</sup> Магази́н (*итал.*).

<sup>2</sup> Госпожа (от *итал. signora*).

<sup>3</sup> Виноторговец (*рим. диалект*).

Он, бедный, прав, и Unione права; при этом правота Unione есть для нас нечто радостное, а правота усыхающего лавочника — нечто весьма и весьма печальное.

Жаль его за то, что он прав. Если бы он был неправ, можно было бы обругать его и позлорадствовать его убыткам — и это было бы легче, чем сострадать.



Где-то гимназисты собрали около ста рублей и внесли плату за право учения нескольких бедных товарищей, которым грозило увольнение.

Это бывает нередко. Я тоже знаю несколько случаев, когда дети в складчину выручали безденежного соученика.

И могу сказать с уверенностью, что там, где случаи увольнения за невзнос платы не слишком часты, там гимназисты никогда и ни за что не допустят, чтобы их товарищ окончательно ушел из гимназии в наказание за бедность своих родителей.

Бывает и больше. Только недавно ученики одной здешней гимназии выхлопотали собственными усилиями и средствами благотворительный спектакль в Городском театре и на эти деньги отправили одного товарища лечиться за границу.

Это доказывает, что чувство товарищеского долга не только существует в отроческой среде, но даже проявляется в самых различных формах.

Мне кажется, что при наличности таких условий этому чувству, даже в воспитательных видах, следует оказать рациональную поддержку.

Теперь много спорят о пользе или вреде сберегательных марок в школе.

Научат ли они ребенка рассудительно ценить деньги или создадут в нем жадность?

Я думаю, что все страхи исчезли бы, если бы мы решились обратить детские сбережения в классный фонд для помощи недостаточным товарищам при болезни или увольнении.

Такой фонд мог бы, постепенно нарастая, переходить вместе со своими собственниками из класса в класс или, если бы это показалось неудобным, мог бы ликвидироваться и возвращаться участникам в конце каждого учебного года.

Это частности. Важно в этом проекте было бы то, чтобы дети сами принимали деятельное участие в распоряжении этим фондом.



Тогда они действительно привыкли бы разумно обращаться с деньгами, и в то же время не было бы опасности приучить их с малых лет к скопидомству.

И, кроме того, полезно было бы с детства привыкать к честному обращению с общественными деньгами, потому что много школьников попадают потом в кассиры, и тогда...

Sapienti sat<sup>1</sup>.

**Altalena**

*Одесские новости. 19.03.1902*



## **Вскользь**

В газетах напечатано такое объявление:

«Художнику требуется натурщица. Позировать в платье».

Следует адрес — адрес почтенный: адрес очень талантливого и признанного талантливым художника.

Это любопытно.

Я полагаю, что у всякого художника, особенно у художника известного, не может быть недостатка в оригиналах дамского пола.

Профессиональные натурщицы или просто дамы — кому же не лестно позировать для даровитой кисти?

Тем более в платье.

Это тоже интересная частность.

Добро бы художнику понадобилось идеальное тело. Такое найти нелегко — и тут, само собой, надо вызывать Фрин через газету.

Но здесь сказано: «Позировать в платье». Значит, художнику нужно только красивое личико.

Очень характерно для нашего времени, что даже известным художникам, у которых под руками должно быть большое предложение в этом роде, приходится разыскивать красивое личико через газету.

Днем с огнем.

Я вижу в этом объявлении новый намек на то, как убывала теперь человеческая красота в цивилизованном мире.

Эта убывь — вовсе не игривый и не легкомысленный сюжет. Она стоила бы не только невесомого фельетона в газете, но и серьезных трактатов.

<sup>1</sup> Умному достаточно (*лат.*).

Мы привыкли смотреть на человеческую *красоту* как на что-то вроде *украшения*, без которого человек, будь он только здоров телом и головою, смело может обойтись.

Обойтись-то можно. Бывает, что люди «смело» обходятся без горячей пищи в течение очень неопределенного промежутка времени.

Но, тем не менее, горячая пища есть не роскошь, а необходимость.

Человеческая красота есть тоже необходимость, а не «украшение». Совершенно нормальный человек был бы непременно очень красивым человеком, потому что у него каждая часть тела имела бы именно ту форму и ту пропорциональную величину, которые ей определила природа.

Только вырождение, которое с незапамятных времен сопровождает прогресс и исчезнет лишь тогда, когда этот прогресс наконец завоюет свою вершину, — только вырождение человечества создает то, что для нас красивое лицо и тело являются приятными исключениями.

По-настоящему некрасивые лицо и тело должны бы быть редкими и неприятными исключениями.

Но, черт возьми, ведь даже эти красивые исключения из всемирного безобразия стали попадаться возмутительно редко!

Я, конечно, не жил раньше того дня, когда родился. Не могу свидетельствовать о том, что было до меня.

Но не могу же я не верить литературе, особенно роману.

Были десятки писателей, достаточно самоуверенных и смелых, чтобы заявить во всеуслышание:

— Господа! Я открыл, что красивых женщин нет.

И раз никто из самых талантливых и наблюдательных не сказал этого, я слишком их уважаю, чтобы сомневаться.

Очевидно, в их время еще были такие красавицы, какие у них описаны. Встречались очень редко, но не слишком редко — потому что в каждом романе их по одной, а романов много.

Где же они теперь?

Я опять-таки не говорю о красивом теле, ибо это совсем уже пропащее дело.

Пройдитесь по Дерibasовской улице, опустив глаза, и смотрите внимательно дамам на ботинки.

Посчитайте, сколько из них ставят носки параллельно и сколько врозь.

Параллельные носки — значит, неправильная нога. Носки врозь — значит, нога правильная.

Вторых окажется пять — на сто первых.

И, проходя мимо этих пяти, подымайте глаза — и увидите, что у двух из них талия слишком длинна, у двух слишком коротка, у пятой непременно будет какое-нибудь другое schwach<sup>1</sup>.

Поэтому стройное тело мы оставим в покое и будем искать только красивое личико.

Или лучше не будем искать, потому что все равно не найдем.

Смазливые будут. Но в романах, которые написаны прежде и которым я верю, говорилось не о смазливых.

В этих романах меня всегда прельщали даже не черты лица героини, потому что черты лица и теперь можно встретить, с небольшой натяжкой, удовлетворительные.

Меня прельщали цвет лица и кожа.

Белая или смуглая, все равно. Но скажите, ради Бога, где же теперь эта матовая, совершенно гладкая, нежная, эмалевая без глянца кожа дамского личика, где ровные, незаметные переходы от румянца щеки к бледности виска, где все то, о чем так заманчиво написано в этих романах?

Если вы, мой читатель, женились недавно и притом по любви, присмотритесь за завтраком (надо, чтобы было солнце) к вашей супруге.

Она очень мила, я не спорю.

Но разве у нее чистая кожа? На лбу, на носу, на подбородке нет у нее множества мельчайших, но все-таки безобразных дырочек, прыщиков, трещинок, невытравленных веснушек, всяких пятнышек разной величины и разбросанных как попало?

Разве румянец у нее не лежит неровной, пестровой кляксой?

Разве ее губки — это те «свежие», «сочные» губки, о которых написано в романах? Я думаю, напротив, что на ее губах вы насчитаете много хронических ссадинок, морщинок, ссохшихся точек...

Я, впрочем, не отрицаю, что ваша супруга — прелесть. Я только думаю, что она — не то.

Она приблизительно красива.

---

<sup>1</sup> Здесь: слабое место (нем.).

Вероятно, потому, что в наши дни женщина только приблизительно красива, люди стали теперь влюбляться тоже приблизительно.

То есть не так, чтобы совсем быть равнодушным, но и не так, чтобы уж очень:

— Если я когда-нибудь и застрелюсь, — то не из-за тебя...

Недаром доктор Чиж считает любовь пустячной эмоцией. Ведь он тоже не жил на свете раньше того дня, когда родился, и тоже наблюдал любовь в наши дни.



Я заговорил о человеческой красоте, а свел на красоту женщины, потому что на красоту мужчины давно уже все махнули рукой.

Где ему? Он теперь даже одеться любит незаметнее — во все черное или во все серое.

Если бы еще женщины не подражали художнице-природе, одеваясь в разные цвета, наши тусклые улицы потускнели бы вконец.

Есть спор о том, кто красивей: идеальный мужчина или идеальная женщина.

Я думаю, что «оба лучше».

Но для настоящего времени этот спор лишен совершенно смысла, потому что теперь, как женщины ни плохи, а мужчины еще хуже.

Мужчин сносной наружности, верно, раза в три меньше, чем хорошеньких женщин.

Любопытно, как это отражается на отношениях и характере мужчин и женщин.

Так как у первых все-таки больший выбор, они требовательнее и разборчивее.

Женщины поневоле нетребовательны и неразборчивы.

Я вспоминаю по этому поводу один разговор.

Спорили дама и мой приятель, господин нахмуренного образа мыслей.

Он утверждал:

— В любви женщины больше животности, чем в любви мужчины.

Она утверждала:

— В любви мужчины больше животности, а в любви женщины ее почти совсем нет.

Он спросил:

— Чем вы это докажете?

— А тем, что мужчина почти никогда не влюбится в дурнушку. А посмотрите, во сколько некрасивых мужчин влюблены женщины за их внутренние достоинства!

— Что же из этого следует?

— Следует, что вы ищете в любви физической красоты, а мы духовной. В ком больше животности?

— В вас, — ответил мой приятель.

— Как так?

— Очень просто. В духовные качества нельзя влюбиться. Можно за них *любить*, но не *влюбиться*, то есть не почувствовать любовное влечение к человеку. Физическое влечение возможно только к физической стороне человека. Нельзя желать поцеловать чье-нибудь благородство.

— Ну-с?

— Для того, чтобы вызвать это влечение в нас, мужчинах, необходимы все-таки эстетические данные. Женщина все-таки должна быть недурна собою. А для того, чтобы зародить такое же влечение в женщине, никакой эстетики не надо. Просто достаточно привлечь к себе ее внимание — внутренними ли качествами, талантом ли, выдающимся ли положением в обществе. Остальное придет само собой. Как только внимание женщины почему-либо сконцентрировано на данном мужчине, физическое влечение в ней само заговорит, хотя бы этот мужчина с физической стороны был хуже крапивы, просто от наличия и близости существа другого пола.

— Это клевета!

— Это правда. Наша чувственность руководствуется эстетическими требованиями; ваша чувственность ничем не руководствуется, а возникает исключительно потому, что ваше внимание сумел на себе сосредоточить какой-нибудь, даже физически плюгавый, господин мужского пола. Духовные качества не могут вызвать *физического* аппетита. Значит, в вас он является без всякого внешнего оправдания, без всяких оговорок и требований, в своей непосредственной животности.

Интересно было бы знать, что думают по этому поводу моя читательница и мой читатель...

**Altalena**

*Одесские новости. 21.03.1902*



## Вскользь

Г-н Дорошевич на днях жестоко распустил Лигу мира, которая для своего конгресса не нашла лучшего места, чем Монте-Карло.

Действительно, неловко.

Во Вжесне, в Берлине — и то было бы приличнее.

Но это еще с полбеда.

В конце концов, не место красит.

Мы теперь уже не можем и не должны слепо верить в правило:

— Блажен тот, кто не входит в среду нечестивых.

Можно жить в Гоморре, особенно временно, и оставаться порядочным человеком. Можно подавать руку налево и направо, а проходить все-таки вперед.

Где бы ни заседал Конгресс мира, он не был бы смешон, если бы эта Лига мира не была немножко смехотворной сама по себе.

Она немножко смехотворна сама по себе, как это ни грустно.

Смешно видеть синицу, хвалящуюся сжечь море, — не потому, что мысль сжечь море смешна, а потому, что синица слишком мала ростом перед морем.

Война и вооруженный нейтралитет — это целый океан, а Лига мира, хвалящаяся, что сожжет его, — это синица или еще того меньше.

Во-первых, количественный состав Лиги мира вовсе не соответствует ее назначению.

Во-вторых, и главным образом, качественный состав ее тоже очень скромн.

Если не ошибаюсь, кроме госпожи Берты Зутнер — все мало кому знакомые имена.

Очень может быть, что это — препочтенные лица.

Но Лига мира — не то, что общество взаимного кредита.

Для дела мира, для союза, желающего уничтожить возможность войны, необходимы люди с политическим весом и притом из разных стран и в импонирующем количестве.

Когда этого нет, волей-неволей Лига мира производит впечатление «покушения с негодными средствами».

Политический вес...

Гастон Мосх — очень старательный господин. Теодор Монета — прекраснейшей души господин. Яков Новиков из Одессы, хотя г-н Дорошевич и его распушил, все-таки очень способный и неглупый господин.

Но в смысле политического веса все эти лица совершенно невесома.

Лига мира борется с войной гомеопатическими средствами. Неспроста, а роковым образом написалось у меня это слово: «Гомеопатия».

Нордау отметил, что гомеопатия, водолечение Кнейпа и вегетарианство идут всегда рука об руку.

— Если вы видите приличного господина, шляющегося босиком по траве, будьте уверены, что он гомеопат и питается без убоя, — говорит Нордау.

И так как над гомеопатией, вегетарианством и водолечением принято обыкновенно смеяться, то вообразите, как дискредитирует каждое из этих течений человек, уличенный сразу в поклонениях всем трем.

Мне кажется, что к этой триаде Нордау можно присоединить еще два элемента:

— Вечный мир и язык эсперанто.

Я, по крайней мере, всегда это наблюдаю. У меня было много знакомых, которые лечились водой и невесомыми лекарствами, сочувствовали беззубойному питанию — и непременно оказывались «друзьями вечного мира» и эсперантизма.

С заправилами лиги я лично не знаком, но знаю, что Гастон Мосх — эсперантист. Это подозрительное совпадение: я почти уверен, что он хоть в душе да гомеопат и вегетарианец...

Сохрани меня Бог, смеяться над вегетарианством.

Я, напротив, думаю, что беззубойное питание — великая и серьезная задача будущего.

Над гомеопатией я тоже не посмел бы издеваться, хотя бы уж потому, что решительно ее не понимаю.

Водолечение — прекрасная и полезная вещь.

Эсперанто — прекрасный и полезный язык (*tre bona kaj, utila lingvo*), только немножко деревянный — но ведь не стихи же на нем писать.

И наконец, вечный мир есть такая мечта, к которой ни я, ни кто другой из нас не может быть равнодушен.

А вот подите же: активные сторонники этих пяти великих или крупных знамен всегда производят такое комическое впечатление — порознь и особенно в сплаве, — что даже значи-

тельно вредят распространению и принятию всерьез своей доктрины.

Я не сумел бы найти все причины этого комизма: я просто констатирую его — и констатирую, что он отталкивает многих от хорошей идеи.

И благодаря этому комизму самый расположенный к миру человек не простит Лиге мира такого пустяка, как место, где она собралась на конгресс.

Сама лига всем представляется такой маловажной, что одна географическая ошибка перевешивает все ее положительные качества.

Не будем печалиться об этом.

Вспомним только, что всякий зародыш комичен, что величайшие движения нашего времени зародились среди общего хохота, — и будем надеяться.

Покамест и мы можем посмеяться над тем, что кажется смешно, потому что смех — не грех.

Но будем помнить, что еще не пришла, по выражению Писания, «полнота времени» и что она может во всякую минуту прийти.

Когда придет для него «полнота времени», смех оборвется, и великое дело найдет под своим знаменем великую качеством и количеством массу беззаветных защитников.

*Altalena*

*Одесские новости. 22.03.1902*



## **Вскользь**

Я — скромный и маленький человек, но в Божией записной книжке и против моего имени записан подвиг.

Это было очень давно.

Я не скажу вам, сколько именно лет назад это было, потому что открывать свой возраст всегда невыгодно.

Но я дам вам понять степень давности этой эпохи другим путем.

Дело в том, что еще до того, как я стал журналистом, я собирався быть великим художником.

Но еще прежде, чем возмечтать о живописи, я уже успел пережить увлечение карьерой оперного певца. Я был в хоре дискантом и ожидал в будущем баритона.



Меня даже одобрили. Прошка, регент нашего хора, говорил мне часто:

— Будешь второй Тартаков. Тартаков тоже учился в нашей гимназии, и его тоже выкинули.

Меня, положим, не успели «выкинуть» из этой гимназии, и потому, верно, я так-таки не дождался баритона и не стал вторым Тартаковым.

Но мой подвиг относится к тем временам, когда я еще и об оперной славе не мечтал.

В ту эпоху я только-только перестал грезить о карьере трубочиста, которая так прельщала мои первые детские вкусы своим вольным оттенком:

— Где хочешь чистить трубы, там и чистишь!..

Я только что успел в это время разубедиться в осуществимости этой грезы и перенес свои мечты в другую область.

Я тогда мечтал завоевать Змеиные острова на Черном море и устроить на них государство, о котором как-нибудь расскажу вам подробно.

Естественно, что в то время я проводил часы на Ланжероне и глядел в ту сторону, где должны лежать Змеиные острова.

Однажды вечером, возвращаясь через дачу Прокудина домой, я наткнулся на подвиг.

Я шел по темной аллее и увидел такую сцену: полная и высокая дама тащила за ухо мальчика лет шести и повторяла ему:

— А вот мы сейчас попробуем свежую плеточку.

А мальчик не своим голосом, задыхаясь, говорил:

— Mamочка, позволь, я тебе объясню, позволь, я скоро объясню, я больше не буду, мамочка...

А дама тащила его к террасе и повторяла с удовольствием.

— Свеженькую пле-о-оточку.

Я шел позади этой группы и чуть не одурел от бешенства.

Я тогда был игроком. Я играл порядочно в «тепки», недурно в «ушки» и очень хорошо в перышки. Несколько стальных перышек было у меня в кармане и в ту минуту.

Я вытащил их и не то на ощупь, не то чутьем выбрал из них одно «рисовальное» — узенькое и почти совсем не ржавое.

Было темно.

Я подскочил к высокой даме и на ходу всадил ей сквозь летний балахон это перышко в тот пункт, который приходился на высоте моих тогдашних плеч.

И пустился спуртом. Никогда я не слышал, чтобы люди так отчаянно вопили. И никогда я не чувствовал себя так приятно.

Мальчик, я думаю, получил в тот вечер после того, как у мамы вынули занозу, такую порцию плетей, что небу стало жарко.

Но я, тем не менее, считаю это перышко своим подвигом.

До сих пор считаю, потому что до сих пор понимаю и легко могу воскресить в себе то головокружительное чувство остервенения, которое охватило меня тогда.

Я потому и вспомнил этот случай, что опять пережил припадок того же бешенства, читая в газетах изложение одного случая.

Деревенский мальчик нашалил. Боясь побоев отца, он три дня без пищи прятался в холодном срубе и спал прямо на снегу.

На третий день отец его изловил и повел домой учить. Но мальчик домой не пошел, а вместо того свалился на улице без чувств.

Оказалось, что у него обе ноги уже в гангрене...

Бог с ними. Не будем ковырять своей желчи описаниями таких мерзостей.

Меня только интересует, почему законодательства самых цивилизованных государств относятся так милостиво к одному из самых гнусных преступлений — к истязанию детей.

Эти общества должны были бы попутно долбить в голову публике, что побои над ребенком — это не только преступление, это — гадость, которую надо уничтожить, не разбирая средств. И если бы закон признал личность ребенка неприкосновенной, всякий донос на посягательство против этой неприкосновенности был бы святым долгом...

В побоях над детьми, особенно в излюбленной папашами «порке», кроме всего прочего, есть еще одна особенно гнусная и отвратительная сторона. Я выше упомянул о садизме — о чувственном мучительстве.

Плеть и жестокость подают друг другу руку и облизываются друг с другом.

Говорить об этом подробнее — противно.

И еще противнее говорить о том, как это сладострастие истязующего взрослого отражается в душе истязаемого ребенка.

Есть целая дьявольская цепь представлений, впечатлений, ассоциаций, которая делает из ребенка, привыкшего к порке, маньяка ранней и болезненно гадкой чувственности.

Это доходит до невероятных размеров.

Маленькие, прямо шестилетние мальчуганы каким-то неуловимым путем разворачиваются в душе еще раньше, чем даже узнают, что их, собственно, не аист принес.

У детей мир фантазии занимает важное место. У *этих* детей мир фантазии густо раскрашен двумя красками: чувственности и мучительства.

Четыре или пять человек с поразительным совпадением подробностей передавали мне содержание своих невинных грез в то блаженное время, когда родители показывали на них свое «право умеренного наказания».

Это что-то ужасное. Один мечтал о гареме маленьких девочек, с которыми он будет плавать наперегонки в большом теплом бассейне, а ту, которая всех перегонит, он будет бить ладонью и прутьями на разные лады.

У другого была взрослая тетка, которая ему очень нравилась. И он все мечтал о том, как он летом будет гостить у нее в деревне, будет приходить к ней каждую ночь и стегать розгами.

Третий в семилетнем возрасте завел на этой почве «роман» с шестилетней девочкой...

— Брр! — скажете вы, но я думаю, что могу вам ручаться за правдивость этих фактов.

Да, наконец, прочтите в Confessions<sup>1</sup> Руссо историю о том, как он принял первую punition d'enfants<sup>2</sup> из ручек молодой гувернантки...

Баста. В побоях над детьми нет «умеренной» и «неумеренной» степени: это — сплошная смрадная мерзость, которую надо каленым железом вытравить из сознания народов, именующих себя культурными.

**Altalena**

*Одесские новости. 24.03.1902*



## **Вскользь**

Опять, и в последний раз, о тоске жизни.

В последний раз, потому что в конце концов эта боль — слишком священная боль, чтобы можно было еще трепать имя ее на газетной бумаге.

<sup>1</sup> «Исповедь» (фр.).

<sup>2</sup> Детское наказание (фр.).

Я бы и не возвратился больше к этой теме, если бы не лежало у меня на столе несколько писем от разных неудовлетворенных особ, которым я обещал написать ответ по городской почте — и так-таки не сподобился.

В скромной уверенности, что этим неудовлетворенным особам нужен не мой автограф, позволяю себе ответить им через газету.

Одна из них — и именно это письмо окончательно dokonало мое большое терпение — дошла в тоске до геркулесовых столбов: она спрашивает, что ей читать.

На такой вопрос трудно серьезно ответить. Мало ли что можно читать? Даже исключая беллетристику — если бы только была охота читать, то можно было бы читать книжки до гроба, да и в гроб унести с собой порядочную библиотеку.

Не в книгах счастье, барышня.

Ницше сказал:

— Еще одно столетие читающего народа — и сам разум протухнет.

Ницше сказал очень хорошо.

Я уже как-то доставил себе удовольствие изложить на этих столбцах взгляд одного из моих молодых приятелей.

Он рассуждал так:

— Мне двадцать лет. В этом возрасте человек всегда знает, что именно его интересует, — особенно такой умный человек, как я. Обо всем, что меня интересует, я или уже успел поразмыслить, или теперь размышляю. На что же мне читать? Если книга написана по вопросу, который меня интересует, то для меня важно не то, что думает на этот счет автор, а то, что думаю на этот счет я. А если вопрос меня не интересует, так я и подавно не желаю читать.

Может быть, вы спросите, разделяю ли я взгляд этого приятеля.

Смотря. Все на свете относительно.

Позвольте, барышня, отделаться вместо ответа — сказочкой.

— О девочке-поганочке и трех толстых книгах.

Жила-была девочка-поганочка, ростом малая, грудь впалая, плечики узкие, ножки куцые. И волосики у нее на головке были прочно зализаны и на темечке закручены плотным узелочком.

Строгий был нрав у девочки-поганочки. Она всегда говорила:

— Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать! — как сказал Некрасов.

И когда ей однажды заметили, что это сказал Пушкин, — с глаз прогнала долой.

Когда шла она по улице — никто, бывало, не заглянет ей под черную соломенную шляпку. Вероятно, не осмеливались.

В прежние времена девицы таких строгих взглядов затворялись от мира в келью.

Девочка-поганочка в келью пойти не могла, ибо сознавала на себе долг перед человечеством.

И потому затворилась иначе.

Она купила три толстые книги. На первой было написано: том первый. На второй: том второй. На третьей: том третий.

Она поставила том первый углом с томом вторым, замкнула свободную сторону томом третьим, а сама вошла в середину. И так зажила.

Это вовсе не отрезало ее от внешнего мира. Она откликлась.

Когда, бывало, извне спросят у нее:

— Что теперь, утро или вечер, девочка-поганочка?

Она смотрела на часики и безошибочно отвечала:

— Вечер.

Ибо соображала:

— Я завожу часики по утрам — и не заводила их уже почти два раза двенадцать часов.

Когда по часам оказывался вечер, девочка-поганочка засыпала. Утром она просыпалась, слюной умывалась, заводила часики и принималась почитать том первый.

У нее был карандашик, и она делала карандашиком на полях заметки, вроде:

— Совершенно верно.

Прочитавши том первый, она взялась за том второй. Покончив с томом вторым, она углубилась в том третий.

Когда же том третий был дочитан до конца, девочка-поганочка оказалась необычайно умной.

Она все знала.

Издали приходили к ней поклонники и извне докладывали ей о разных явлениях этой жизни, прося объяснить и определить их.

Девочка-поганочка из-за своих трех толстых книжек, не задумываясь, объясняла и определяла, потому что она теперь могла объяснить и определить всякое явление.

И была этим очень довольна.

Но... прошел год.

Девочка-поганочка была уже не так довольна.

Прошел еще год.

Девочке-поганочке стало как будто нудно.

Прошел еще год.

Девочке-поганочке стало совсем тошно.

Темной ночью, когда никто не мог ее видеть, подняла она правую ножку ихватила ею в самый центр тома первого.

Том первый повалился, и девочка-поганочка вышла из-за своей ограды.

Было темно. У девочки-поганочки за тремя толстыми книжками всегда горела керосиновая лампа. Так что было всегда светло.

На небе светились яркие гвоздики, и она мигом поняла, что это были звезды.

Они светили куда тусклее лампы, но девочке-поганочке они понравились.

Они так игриво мигали, а керосиновая лампа никогда не мигала, а если и мигала, то девочка-поганочка сейчас же подстригала ей фитиль.

Но особенно понравилась девочке-поганочке одна из звезд, хотя эта звезда и не мигала.

Она светилась ровно, но ее свет был голубоватый, а керосиновая лампа давала желтоватое освещение.

Свет этой звезды был так мягок и вкрадчив, что девочка-поганочка вдруг почувствовала его у себя в сердце.

И тут она совершенно потеряла всякую рассудительность.

Она, неожиданно для самой себя, вдруг расплакалась, сложила ручки и прошептала, подняв лицо к небу:

— Вы столько лет висите над землей, голубенькая звезда, вы должны все знать. Я тоже все знаю, я все умею определить и объяснить. Только себя самой я не умею ни объяснить, ни определить. Оттого я и грущу. Объясните, определите меня вы, голубенькая звезда!

Звезда ясно и любезно посмотрела ей в лицо и определила:

— Грош тебе цена.

Вот, видите ли, барышня, взгляды моего приятеля на чтение нравятся мне потому, что я горше всего не люблю девочки-поганочки — без различия пола, чина и возраста.

И еще мне нравятся взгляды моего приятеля потому, что он интересуется не тем, что думает другой, а тем, что думает он сам.

И об этом, собственно, я и хотел писать сегодня.

Я заявлял уже, что лекарства от неудовлетворенности знать не знаю и ведасть не ведаю, что нашу теперешнюю жизнь считаю поддельной жизнью и все ее развлечения — от идеалов, порывов и трех толстых книжек вплоть до романов и флирта — тоже считаю поддельными.

Потому что никому никогда эти развлечения не дают прочного удовлетворения.

При этом мнении я благополучно остаюсь.

Но и поддельной жизнью можно пользоваться на разные лады.

Когда вы купаетесь в чистой воде, можно и даже приятно посидеть в ней тихо и без движения.

Но если вы попали в полосу сора и водорослей — болтайте и барахтайтесь, чтобы водоросли вас не опутали.

Мы плывем через полосу сорной воды. Мы должны в ней барахтаться и болтать руками и ногами, не переставая ни на миг.

Неудовлетворенные особы, от которых у меня лежат письма, не делают этого.

Все они ясно чувствуют, что вода их жизни не есть хорошая и свежая вода, а есть нечистая и мутная водица.

Но они смирно и благонаравно сидят в этой водице и только жалобно попискивают.

Им бы хотелось уехать туда-то и туда-то, но для этого пришлось бы крупно повздорить с родными. Вот они и не едут.

Им полюбился мужчина, но выйти за него замуж по таким-то причинам невозможно.

Вот они за него и не выходят.

Странно устроены эти барышни.

Если им понадобится веер — они понимают, что за веер придется пожертвовать деньгами.

Но когда им хочется жизни, счастья — они жизнь и счастье хотят получить бесплатно.

Они, видите, ничуть не намерены жертвовать добрым миром с папашей и мамашей или своей репутацией.

Причем той барышне, которая не может выйти замуж за свой предмет, не приходит даже в голову, что есть другой выход.

Небо! Какие наивные барышни проживают у этих берегов...

Если вы хотите жизни, платите за нее.

Платите дорого, ибо что дешево, то гнило.

Надо искать приключений. На ловца и зверь побежит.

Только помните, что приключение — это не то, что встретила нового студента и он вас проводил до ворот.

Приключение — это полный духовный переезд со старой квартиры на новую.

Меняйте ваши «квартиры». Рвите ваши привычки, бросайте ваши насиженные углы.

Не отступайте перед решительным и решающим шагом, хотя бы поводом к нему и был «пустяк», «каприз», «прихоть».

Нет на свете пустяков.

Лев Толстой сказал:

— Самое важное дело — это то, которое у тебя в данную минуту под руками.

Право на себя — пусть будет вашим девизом; ваше желание — пусть будет вашей путеводной звездой:

*Куда вас оно ни бросило: к любви,  
К безделью, к знанию, к искусству, с камнем в воду —  
Или на тот же путь служения народу!..*

И тогда вы будете каждую минуту трепетать, волноваться, желать, чего-нибудь опасаться, чем-нибудь рисковать, кого-нибудь ненавидеть — и главное, вы не будете знать, как знаете теперь, что с вами приключится завтра, послезавтра и через неделю.

Но... вам тогда трудно будет ладить с папашей и репутацией.

Я это знаю. И не думайте, что я даю вам какие бы то ни было советы.

Я никогда не даю таких советов, которым никто не следует.

И все, что я теперь написал, написано затем только, чтобы вы успокоились и не мечтали о золотых яблоках.

Золотые яблоки надо или украсть, или купить за дорогие деньги.

Мы с вами — слишком боязливы и слишком скупы.

**Altalena**

*Одесские новости. 25.03.1902*





## Вскользь

Вы смотрели вчера Жанну Гадинг?

Недавно один пожилой господин печально говорил мне:

— В свое время бывал и я влюблен, и меня тоже любили. Но ведь я тогда мечтал о праве поцеловать у *нее* ручку, точно о великом, почти недостижимом счастье. А теперь? Что же это такое?

В немногих словах пожилого господина была бездна грусти и негодования. Я понял суть этого негодования.

Оно не было негодованием моралиста, которое всегда оставляет слушателя совершенно равнодушным.

Это была скорбная боль седого человека, который когда-то считал девичью ласку святыней — и видит, что теперь она стала дешевой, захватанной игрушкой.

Это всегда тяжело — когда святыней вашего невосвратного времени потом начинают играть в мячик.

— Что же это такое? — спросил пожилой господин чуть ли не дрожащим голосом.

Что это такое? Роман Прево, а значит и переделанная из него пьеса, совсем не дают полного ответа на вопрос.

Роман Прево — это очень посредственное толкование к очень удачному заглавию.

Не знаю, выдумал ли Марсель Прево слово *demi-vierge*<sup>1</sup> или оно существовало раньше, но только это слово удивительно метко.

А роман — наоборот.

Во-первых, в нем и на сотую долю не отражена та тонкая виртуозность ухаживания, которая неотделима от «демивьержизма».

Мужчины у Марселя Прево вышли порядочными холуями в этом деле.

Я не помню имен, но перечитайте ту страницу, где главный лев романа старается завоевать абсолютно наивную, да еще пятнадцатилетнюю в придачу барышню, только что из терема, таким манером:

---

<sup>1</sup> Полудева (*фр.*).

Dans mes rêves, il n'y a rien de tous que je n'effleure avec mes lèvres!<sup>1</sup>

Не думаю, чтобы парижане действительно были такими сапожниками. Просто, верно, Прево сплеховал.

Плоховаты тоже и те идеи, которые у него высказывает резонер, положительный тип этого романа.

— Чтобы искоренить *demi-vierge*, надо вернуться к воспитанию девиц в монастырях.

Добрый совет. Если бы я был хорошо знаком с Прево — следовало бы ему ответить:

— *Mon bon petit Prévost, il est mieux d'être demi-vierge tête-à-tête que de l'être toute seule*<sup>2</sup>.

Женские типы в этом романе более живы, но в них есть один пробел.

*Les demi-vierges* у Прево очень стары. Младшей из них, кажется, шестнадцать или даже семнадцать лет.

Здесь уж, верно, виноват не Прево. Это, быть может, особенность Парижа.

Французы, на наш «северный» взгляд, очень буржуазный народ.

Там еще строго следят за дочкой, особенно пока она не начнет выезжать на балы.

Поэтому там всякого рода активность начинается несколько позже, чем у нас.

У нас на этот счет вольнее. Всегда было вольнее, а в последнее время особенно. Одесские матери примиряются даже с тем, что дочка бывает с визитами у одиноких молодых людей.

Воля и доверие — прекрасные вещи. Но беда в том, что они обе — вещи новые.

Как бы новые башмаки ни были хороши, они жмут. С этим надо примириться, потому что новые башмаки все-таки лучше старых.

Русская семейная свобода женщины и девушки — прекрасная вещь, одна из лучших гордостей нашего отечества. Надо мириться с ее временными, мимолетными неудобствами.

Одно из этих неудобств — то, что у нас встречаются *demi-vierges* более нежного возраста, чем в Париже.

---

<sup>1</sup> Мне снится только то, к чему я прикасаюсь губами (*фр.*).

<sup>2</sup> Мой добрый маленький Прево, уж лучше быть полудевой, чем совсем одинокой (*фр.*).

В прошлом году я уже привел в фельетоне один девический афоризм, который считаю крайне типичным:

— Когда я выйду замуж, буду принадлежать мужу от прически до носка; *до* замужества — принадлежу всякому, кто мне нравится, от прически до кушака.

Это *profession de foi*<sup>1</sup> было изображено в письме, которое мне предательски показал адресат, — а автору письма было ровно 14 лет, и это была девочка из скромного семейства, ученица 5-го класса, ни физически, ни умственно не более развитая, чем десятки ее подруг.

Тренировка начинается рано.

Благодаря ей получается что-то совсем не похожее на то, чем были влюбленные парочки в прежнее время.

В прежнее время была прелесть опасности. Всякую минуту — вы читали в романах? — у него или у нее могла «закружиться голова» — и выходил беспорядок.

Теперь головокружение упразднено — при помощи тренировки.

Вам позволено все «до кушака» — если это в темной аллее парка или на даче, на берегу. Если же это у вас в комнате, то могут позволить и еще больше.

Но пусть только не вздумает у вас «закружиться голова»: из волос высккивает шпилька и вас осторожно, но больно укалывают — с расчетом не повредить, но образумить.

Оцените это хладнокровие.

Тут нет места забвению. Нет даже места темпераменту. Это — апофеоз холодноватой погони за ощущениями.

В этом явлении есть, несомненно, одна — с точки зрения морали — похвальная сторона.

*Demi-vierge*, выйдя замуж, очень легко может оказаться верной женой.

В этом не будет ничего удивительного, раз темперамент удален.

И еще с многих других точек зрения этой системе полагалась бы медаль.

Например, с точки зрения безопасности. Любовь была пожаром — ее сделали фейерверком. Пожар опасен, а фейерверк — ничуть.

Или с точки зрения ригоризма. Ригористы всегда жаловались на то, что любви отведено в экономии женских сил

---

<sup>1</sup> Жизненное кредо (*фр.*).

чересчур видное место и не остается пороха для других, менее индивидуальных функций.

Извольте. Любовь, потерявши свою опасность, уже перестала поглощать все внимание девушки. Девушка теперь отлично понимает, что флирт — это «так себе», а настоящее дело — не то.

Demi-vierge бывает очень старательной ученицей и очень искренно начитанной барышней.

Но есть одна точка зрения, с которой феномен demi-vierge безусловно печален, и эта точка зрения — главная и высшая.

Нравственные правила тут ни при чем — я вообще не понимаю, как можно пристегивать большое слово «нравственность» к любовным делишкам.

Нет, точка зрения, о которой я говорю, — общественно-гигиеническая.

Человеческое тело измельчало во всем — и измельчание отзывается на чувстве любви.

Оно тоже выдохлось. Оно разлагается.

Из него исчезает темперамент — исчезает то увлечение, то «головокружение», тот экстаз, который облагораживал и освящал животную сторону страсти.

Этот экстаз стал чем-то нежелательным.

Ведь demi-vierge вовсе не такова, чтобы отказывать своему возлюбленному в обладании ею — из трусости или расчета.

Это ее просто не влечет. Это ее прямо отгалкивает. Ей, не боящейся никаких утонченных вольностей, противна здоровая и естественная цель любви.

Это — болезненная, вредная аберрация инстинкта. У такой матери не будет здоровых детей.

Я не мог бы принудить себя «обрушиться» на феномен demi-vierge с большими нападками и бичеваниями, потому что —

*Я — сын моей поры. Она развратна,  
В ней грязный прах примешан к хрусталу:  
Я — сын ее, и в ней люблю все пятна,  
Весь яг ее люблю.*

Но нельзя не видеть, что это явление — при всей его внешней вылощенности — есть одна из самых сальных клякс, вылитых на цивилизованное человечество из того ящика Пандоры, который называется «вырождение».

**Altalena**

*Одесские новости. 27.03.1902*



## Вскользь

С большим удовольствием прочитал ответ г-на Дмитриева на статьи г-на Южанина об одесском водопроводе.

У меня (я разделяю в этом случае симпатии большой публики) слабость к г-ну Дмитриеву.

Мне кажется, что раз в человеке налицо, во-первых — энергия, во-вторых — толковость, в-третьих — добрая охота послужить городу, то совершенно неразумно придирааться к нему за мелкие неаккуратности.

Честное слово, господа хорошие, лучше делать даже одно дело на десять ошибок, чем безошибочно сидеть на стуле и принимать прошения.

Но с одной особенностью г-на Дмитриева даже я, почитатель, никак не могу примириться.

Это — даже не его мимозное отношение ко всякой критике. Что же делать: если вам кушанье неприятно, нельзя сделать так, чтобы оно вам нравилось.

Но нужно самообладание.

Вам подали нелюбимое блюдо — позовите спокойно и степенно «человека» и скажите ему обыкновенным разговорным тоном среднего регистра:

— Уберите, пожалуйста.

(Не забудьте слова «пожалуйста».)

Нехорошо, когда вместо такого образа действий вы нервно выскакиваете из-за стола, топчете ботинками и волнуетесь:

— Это пытка! Это мучение! Как можно подавать мне такое кушанье! Мне неприлично его есть по моему служебному и общественному положению!

Нехорошо так раздражаться, потому что зрители могут сделать два подобных вывода.

Во-первых, какой же он, собственно, мужчина, если тратит столько темперамента из-за Бог знает чего — из-за одной пары котлет?

Во-вторых: а верно, все-таки уж не такой пустяк это блюдо, а действительно серьезная и опасная вещь, раз оно вас так волнует.

Раздражение всегда роняет вас и ободряет вашего противника.

Прочел бы г-н Дмитриев статьи г-на Южанина, собрал бы те же самые цифры, которые собрал теперь, и написал бы их на бумаге против цифр г-на Южанина с тем выводом, что г-н Южанин вполне ошибся. И было бы достаточно.

Г-ну Дмитриеву этого мало. Нет, г-н Южанин не просто ошибся: он *нарочно* ошибся. Он и вовсе не г-н Южанин, а г-н Зельдис. Он и вообще такой-сякой: он в глаза расхваливал служащих по водопроводному счетоводству, а написать написал совсем обратное.

Ах, г-н Дмитриев — да хотя бы оно и так было? Хоть бы тут и был злой умысел? Что вам до этого? Что за охота нагибаться и подбирать эти мелочи? Точно не было бы красивее ограничиться сухим ответом цифрами на цифры, без всякой психологии...

Раздраженный человек не любит сознаваться в своем раздражении. Он даже, собственно, вовсе не сердит. Он даже очень благодарен:

«Заканчивая настоящее свое сообщение, я не могу не выразить г-ну Зельдису своей признательности за то, что он доставил мне случай заняться работой, для меня в высшей степени интересной, но в то же время считаю своим долгом предупредить о том, что в дальнейшую с ним переписку я вступать не намерен как за отсутствием для того времени, так и в уважение к своему служебному и общественному положению».

Очень хорошо сказано.

Я знаком с г-ном Дмитриевым только по сведениям о его выдающейся общественной деятельности; лично же его я не имею чести знать. И потому не имею удовольствия иметь даже малейший намек на отдаленнейшее понятие об «общественном положении» г-на Дмитриева.

Его «служебное положение» — другое дело: оно мне, конечно, известно и пользуется всяким почтением с нашей стороны — нас, газетчиков.

Так что если бы кто-нибудь из нас попал в управу, он постарался бы держать себя так, как полагается члену управы.

Жаль вот, что г-н Дмитриев, явившись на газетное поприще, не постарался усвоить себе устав этого монастыря.

А ведь это бы не помешало. Если вы так цените вашу арену, относитесь с уважением и к нашей. Потому что на ней работают и работали много хороших людей, способных и полезных.

Упасть с небес на газетную страницу и начать с раскрытия чужого псевдонима — это то же, что прийти в чужую гостиную и усесться, не сняв калош.

Не грех, не преступление, разумеется, — но... так не делают.

Надо, с одной стороны, знать себе цену настолько, чтобы не снисходить до раздражения и психологии. А с другой стороны, надо знать цену и печати и не думать, будто ответ на ее замечания с высот вашего «общественного» и служебного положения есть исключительная милость, которой она, печать, вообще недостойна, и помнить также, что в каждом монастыре есть свой устав.

Засим мы сердечно желаем г-ну Дмитриеву долгого благодеяния на посту, который он занимает, несомненно с честью для себя и с пользой для города.

**Altalena**

*Одесские новости. 30.03.1902*



## **Вскользь**

Я получил такое письмо:

«Милостивый государь!

Несмотря на то, что в вашем фельетоне о "тоске жизни" вы заявляете, что в последний раз касались этого вопроса, беру на себя смелость навязать вам еще и свое послание.

Если для вас не затруднительно, то прочтите эти строки, которые, быть может, написаны не так литературно, зато написаны лицом, изведавшим эту "священную боль", как вы ее называете, в полном смысле этого слова. Я не стану спрашивать, подобно той неудовлетворенной особе, о которой вы упоминаете, что читать? Я вполне соглашаюсь с вашим рассказом о "Девочке-поганочке". Но коснусь второй части вашей заметки.

Не знаю, могут ли дать прочное или вообще какое-нибудь удовлетворение — идеалы, порывы, толстые книги, романы или флирт, но знаю, что никакое барахтанье, никакое сопротивление житейской тине не в состоянии дать спокойной минуты и заглушить "священную боль". Я в своей, хотя и не долгой жизни, не изведала никогда тихого, спокойного купанья. Я прямо попала в мутную и нечистую водицу. Что ж, вы думаете, я не сопротивлялась, вы думаете, что я "смирно и благонравно сидела в этой водице и только попискивала"?

Нет, тысячу раз нет! Я понимала, что за хорошую вещь нужно платить дорогой ценой, что нужно жертвовать одним, чтобы

приобрести другое, более желанное. Я понимала, что жизнь и счастье — это такие две вещи, которых бесплатно получать нельзя. Я "свершила духовный переезд со старой квартиры на новую", я "рвала свои привычки", я "бросала свои насиженные места", "мое желание служило мне путеводной звездой", "право на себя было моим девизом", но, вы думаете, я нашла удовлетворение? Нет, не нашла. Я многим пожертвовала, не было для меня слишком дорогой цены, но "священная боль" так же теперь томит меня, как томила и раньше.

"Золотые яблоки" нельзя украсть или купить, хотя бы за самую дорогую цену, потому что в мире купли, продажи и наживы... их нет.

П.»



В Литературно-артистическом обществе теперь вместо прежней эстрады — маленькая изящная сцена.

На этой сцене — еще более изящные маленькие декорации.

За все это надо сказать спасибо таланту и рвению Вл. Заузе, который волшебным образом победил законы непроницаемости, вмести в таком маленьком пространстве такую массу вкуса.

Особенно удался ему пока китайский павильон для оперы Кюи «Сын мандарина», шедшей там в среду с полным успехом.

Эта опера — хорошенькое юношеское произведение талантливой композитора, богатое прелестными музыкальными страничками.

Этот павильон — игрушка ювелирной отделки, с китайским пейзажем, просвечивающим из-за бамбуковой, вышитой бисером дверной шторы.

В пятницу состоялся первый драматический вечер под режиссерством г-на Алексомати.

Собственно, по поводу драматических вечеров в обществе я и хочу сказать два слова.

На ближайшие пятницы намечены «Елка» Вл. Немировича-Данченко, «Которая из двух» (с участием г-на Ридаля), затем «Кремонский скрипач» Франсуа Коппе и, пока в виде *prim desiderium*<sup>1</sup>, «Три смерти» Майкова.

Это, конечно, хороший подбор. Он отчасти даже удовлетворяет тому требованию, которое особенно важно для непрофессиональных сцен, если они хотят серьезно заинтересовать

<sup>1</sup> Благого пожелания (*лам*).



публику: в этом неполном перечне есть такие заглавия, которые редко или почти никогда не появляются на афишах.

Но это еще не то, что нужно. Такие капитальные — при большом размере — вещи, как «Три смерти», могут служить только краеугольными камнями. Постройку надо возвести из иного материала.

Для того чтобы сцена Литературно-артистического клуба получила действительно свой оригинальный оттенок и свою собственную ценность, необходимо содействие литераторов — членов клуба.

После художника Заузе пусть потрудятся писатели, как Ал. М. Федоров, И. А. Бунин, другие — все, кто чувствуют себя в силах написать хотя бы крошечную драматическую картинку прозой и стихами, лишь бы интересную и изящную.

Долго ли написать такую вещь? Если умело попросить, можно будет получить по драгоценной новинке в этом роде и от других писателей, не живущих в Одессе.

Думаю, что этим стоит усердно заняться. Это заденет публику, вызовет в ней новый интерес, поставит ее в положение самостоятельного судьи.

А с другой стороны, кто знает... ведь мечтать обо всем позволено... ведь бывают случаи, что такие сцены, с группированными вокруг них кружками писателей, создавали новую оригинальную колею.

**Altalena**

*Одесские новости. 31.03.1902*



## **Вскользь**

Великопостный театральный сезон закончился.

В течение этого месяца я очень редко бывал в театре.

Но, тем не менее, в общем итоге — март месяц в драматическом отношении доставил мне много удовольствия.

Ибо я внимательно следил за всеми спектаклями, как в Русском, так и в Городском театре — по отчетам одной здешней газеты.

Благосклонный читатель, надеюсь, вспомнит, как я предвкушал это удовольствие в одном из фельетонов перед самым началом великопостного сезона.

Как я радовался тому, что скоро-скоро мы с вами опять станем читать рецензии г-на Ефа.

И г-на Кфа.

Но первые дни принесли мне некоторое разочарование.

В той газете вдруг, как по мановению волшебной палочки, не оказалось больше и следа г-на Ефа.

Ни г-на Кфа.

Оба исчезли моментально после того, как ваш и их покорнейший слуга печатно выразил свое перед ними восхищение.

Я огорчился, но не мог не почувствовать уважения к газете, которая так самостоятельно и независимо при выборе сотрудников относится к чужому мнению.

Это очень мило. Пусть газета продолжает в этом духе. Тем более что она ведь от этого ничего не теряет.

Ибо она сейчас же нашла заместителей г-ну Ефу.

И г-ну Кфу.

Вместо них рецензии стали писать господа «-р» и «Знак».

Очень удачная замена.

Второй писал маловато, так что я не успел к нему присмотреться.

Но первым, г-ном «-ром», я зачитывался.

И знаете, что я подметил?

Он изумительно напоминает г-на Ефа.

Совершенно тот же неподражаемый стиль.

Абсолютно то же прозрение в корни вещей — корни всегда самого неожиданного свойства.

Та же, наконец, свежесть, та же непосредственность человека, упавшего с луны.

Упавшего — и при этом несколько зашибшего затылок.

И с такими данными — в первый раз в жизни попавшего в театр.

Иногда это сходство доводило меня до галлюцинаций.

Например, однажды я прочел у г-на «-ра», что г-н Неделин удачно справился «с ролью Полынцева, врача и человека, у которого всегда есть обязательный визит, но это не мешает ему влюбиться в Наташу и сделать ей смешное предложение».

Прочтя эту фразу, я вдруг до болезненности ярко представил себе именно г-на Ефа и именно в тот момент, когда он пал с луны.

Та же галлюцинация повторилась и третьего дня, когда я прочел у г-на «-ра», что исполнение одной роли г-жой Ведницкой было «особенно удачно в тех местах, где требуется мимика»:

«Благодаря своим выразительным глазам, артистка достигает большого успеха».

Мудрено ли было тут почувствовать себя прямо в обществе г-на Ефа, когда — честное слово — сам г-н Еф не написал бы лучше?!

Кстати, г-н Еф выступил в марте на газетной арене, но только один раз.

В подвальном этаже той газеты появилась его статья о Глебе Успенском.

Я бы очень хотел процитировать многое из этой статьи, но сегодня у меня мало места.

Поэтому я приведу только то (и не все), что имеет отношение к главному качеству г-на Ефа — к его очаровательной непосредственности, его способности так мило рассказывать все, что на ум взбредет:

«Одни говорят, что между Успенским и Щедриным много общего, а другие, что Успенскому не хватало „проницательности“ для более точного определения его таланта».

Полное собрание сочинений г-на Ефа тому, кто растолкует мне, о чем тут речь.

«Г. И. Успенский является бытописателем переходного времени, которое, как известно, продолжается и по сей день».

Не знаю, как вы, но я за это «как известно» был готов поцеловать г-на Ефа.

«Тургенев ставит Успенскому в упрек, что ему недоставало „выдумки“, то есть что ему не хватало воображения для развития фабулы, но это можно отнести только к форме, а само содержание произведений Г. И. всегда оставалось на известной высоте».

Если Г. И. на том свете прочтет эти строки, он будет польщен еще больше госпожи Велизарий.

«Своим умением жить с народом и понимать его Успенский сделал себе имя.

Он не лишен был и юмористического дарования.

Заслуга Г. И. Успенского заключается в подробном изучении и печатной характеристике народного быта».

Ибо, несомненно, бывают и непечатные характеристики.

Иногда они даже очень напрашиваются, сами лезут на язык.

Переменим поэтому материю, тем более что необходимо уделить еще один миг теплого внимания и г-ну Знакомому.

Г-н Знакомый решительно меня огорчает.

Сколько раз я его добром убеждал — не писать больше о театре.

А он пишет.

Г-н Степанов, играя в фарсе, рискнул пустить отсебятину такого рода:

— Не бойтесь, дебютируйте смело, вас все будут хвалить — и «молодые театралы», и «знакомые незнакомцы».

И больше ничего.

Положим, лучше было бы и без этого.

Но ведь то был пустой фарс.

И ведь г-н Степанов ничего обидного не сказал.

И неужели нельзя простить маленькой шутки хорошему и серьезному артисту?

Мы только вспомнили, что г-н Степанов зато прекрасно играет Флаксмана и Ванюшина — и простили.

А г-н Знакомый вспомнил только то, что г-н Степанов когда-то начинал свою карьеру в оперетке. Вот, мол, откуда у него эти манеры!

Что ж, в оперетке начинали Савина, Иванов-Козельский, Неделин — и разве это им повредило?

А г-н Знакомый в оперетке никогда не играл — и разве это ему помогло?

Очень рассердился г-н Знакомый за то, что его имя прознесли на сцене.

Я решительно не понимаю г-на Знакомого.

Перевернешься — бьет, недовернешься — бьет.

Назовешь его г-ном Насекомым — он обидится.

Назвали его г-ном Знакомым — он тоже обиделся.

После этого я уж не знаю, как его называть.

Пусть придумывает его конфрер<sup>1</sup> г-н Еф, — я же для г-на Знакомого не могу больше изобрести никакой «печатной характеристики» — и умолкаю.

*Altalena*

*Одесские новости. 7.04.1902*



## **Вскользь**

### **РЫЖИЕ**

Меня тоже несколько раз уже бранили в печати и два раза в собрании, но, пока за мной оставалось право возражать и защищаться, я от этой брани не чувствовал ни раздражения, ни обиды.

Может быть, это не к чести моей, но я, по большей части, отношусь к брани по моему адресу только объективно, интересуясь больше всего тем, остроумна ли она.

Поэтому меня очень удивило, когда я стороной узнал, что другие серьезно и глубоко обижаются за мою брань.

<sup>1</sup> Собрат, коллега (от *фр.* confrère).

Один пожилой журналист, над которым я часто издеваюсь, оказывается, принимает мои насмешки очень близко к сердцу.

Я без обиняков могу заявить, что мне это неприятно.

Иногда бывает, что я хочу своими строками доставить тому, о ком пишу, несколько неприятных минут.

Я говорю себе:

— Дай-ка я хоть своей желчью отмщу ему за его гадкие поступки.

Но здесь — не то.

Я не знаю за этим журналистом никаких гадких поступков.

Я знаю за ним только литературные неловкости разной величины — мелкие и крупные.

Но за это еще нельзя желать зла и мести человеку.

Я полагал по простоте моей души, что и он это понимает.

Что и он, как бы ни были резки мои выходки, сознает, читая их:

— Все это острословие — не от злобы против меня, а так, для смеху.

Тогда и отвечать надо было без злобы и со смехом.

Так оно и было, собственно. Я придумал для этого журналиста смешное прозвище, а он тоже окрестил меня Фемистоклюсом.

И я находил, что это — очень остроумное прозвище, улыбался, читая ответ, и имел тему для ближайшего номера.

Я был очень доволен и полагал, что и мой «противник» очень доволен.

Оказывается, нет. Его возмущают мои нападки.

И я повторяю, что очень сожалею об этом. Глубоко и искренне сожалею.

Поверьте мне, что сожалею.

Но только не думайте, что я из-за этого сожаления перестану издеваться над вами или буду осторожнее и мягче в своих выстрелах.

Я не перестану и не буду мягче.

Как только придет охота, я опять придерусь к какой-нибудь вашей неловкости, опять назову вас тем же курьезным прозвищем и опять постараюсь наговорить по вашему адресу как можно больше колкостей.

Я уже тогда буду знать, что вас это все (непонятным для меня образом) огорчит и заденет очень глубоко, и мне будет неприятно сознавать, что я причиняю вам боль. А все-таки я причину вам ее.

И не один раз.

Почему?

Я могу объяснить вам это и для объяснения сошлюсь на такие явления, которые должны быть и вам хорошо известны.

Скажите, господин журналист, какую роль, по-вашему, играем мы с вами на белом свете?

Вы пишете по столбцу в день с аккуратностью, которая для машины — долг, а для человека — заслуга.

Я не читал ваших фельетонов. Но ведь вы «откликаетесь». Вы, несомненно, то-то советуете, того-то не советуете. Каждый день — *каждый день* вы даете, вероятно, разные советы публике.

Я делаю то же самое. Я пишу фельетоны недавно, но уже успел надавать публике много советов.

Я хлопотал, чтобы она уважала проституток, не смеялась над самоубийцами, не читала критических статей, вообще читала не меньше и не больше, чем следует, жила бы посмелее и громче.

Я настаивал, что не надо ездить учиться в немецкие университеты, что нехорошо воспитывать отдельно девочек от мальчиков и что телесное наказание над детьми есть нетерпимая мерзость.

И вот, когда я написал про все эти вещи, столкнулся я с одним господином, который мне сказал, приятно улыбаясь:

— А я вчера вспоминал ваш фельетон о телесном наказании.

— По какому поводу?

— Порол сынишку. Что вы думаете? Сегодня как шелковый. Поймите меня хорошо, господин журналист.

Тот господин сказал мне это без всякой злобы, а так, с милой улыбкой человека, который безобидно шутит.

Я понимаю, что не все могут быть согласны с моими доводами.

Но, черт возьми, ведь я ругался! Ведь я написал, что порка детей есть мерзость и подлость!

Ведь, если бы я только что сказал это самое вслух, тот же господин постеснялся бы так-таки прямо заявить мне:

— Я сделал вчера именно то, что вы изволите называть мерзостью.

Или заявил бы это вызывающим тоном, каким отвечают на дерзкие нападки.

Тут этого тона не было. Был тон легкой шутки — тот тон, которым говорят о пустяках.

Я писал о побоях над детьми с увлечением бешенства, а для него эта статья — пустяк, который его даже не раздражает.

Его, не согласного с моими доводами!

Вообразите же, как действуют наши с вами писания, господин журналист, на наших «единомышленников».

На наших «единомышленников», которые, прочитав с сочувствием наши страстные призывы к новой жизни и новым вкусам, отправляются по своим делам.

Или, всей душою согласившись с нами, что нравственность не имеет никакого отношения к половому вопросу, в тот же день решают больше не принимать даму такую-то, потому что ее уличили в шумном поведении...

Кто нас с вами слушает, господин журналист?

Кто принимает к сведению те советы, которые мы с вами расточаем перед человечеством изо дня в день?

Щедрин слишком слабо сказал: писатель пописывает, читатель почитывает. К нам с вами, господин журналист, надо применить другой афоризм.

Знаете какой?

— Собака брешет — ветер уносит.

И мы все-таки брешем. Мы бодро и весело продолжаем лаять перед публикой свои советы и поучения.

Следует им публика?

Нет.

Читает их публика?

Да.

И в этом — все дело.

Когда умирает газетчик, господа вроде вас пишут о нем, будто он трудился для пользы народной.

Это — ложь.

Мы трудимся для потехи господина читателя.

Для его поэтической, или серьезной, или сентиментальной, или прямо смехотворной потехи.

Мы с вами, господин журналист, — клоуны, «рыжие».

Когда читателю скучно, он кричит:

— Рыжий, на помощь!

И вы ему «откликаетесь», а я говорю ему возвышенным штилем о том, как грустно жить.

И потом наши с вами фельетоны аккуратно режут квадратиками и вешают на особый гвоздик в клозете.

Всю эту гадость я не во всякую минуту сознаю.

Я целыми неделями иногда живу под тем впечатлением, что я действительно дело делаю, или просто иногда как-то вовсе упускаю из виду, что я — газетчик.

Но в мои скверные минуты я вспоминаю, что я такое.

Я вижу ясно, что я — «рыжий», что стою я в дурацких широких штанах и в колпаке посреди арены, что публика на меня смотрит, а рядом со мною стоите вы и еще несколько созданий в этом роде, одетые так же, как и я.

И тогда я делаю то самое, что делают все клоуны.

Я даю другому «рыжему» в ухо.

Так как из всех моих коллег по колпаку вы чаще всего попадаетесь мне под руку — вам и достается чаще других.

Но ведь затрешины «рыжего» — фиктивные затрешины!

Отчего же вы за них сердитесь?..

А впрочем...

Может быть, вы и правы, что сердитесь.

Эти затрешины — не совсем уж фиктивные.

Ибо я вспоминаю, что и на свои выходы против вас просадил я много желчи.

Злобы у меня против вас не было, а желчь лилась...

Видите ли, старый коллега, — это все потому, что во мне много желчи.

Ее много, и каждый новый день еще умножает ее.

Потому что...

Но вы меня понимаете.

И скажите мне, ради Бога — будьте вы сами моим судьей — куда же мне вылить эту желчь?

О, мой бедный старый конферер, если бы я мог изливать ее по назначению, верьте, я забыл бы совсем о вашем существовании.

Но я не могу.

Что же мне делать с моей желчью? Подавиться ею? Захлебнуться ею?

Я набираю полную пригоршню этой жидкости и обливаю вас, и мне становится легче.

Я не хочу лишиться себя этого облегчения.

Ждите же спокойно и хладнокровно моей клоунской затрешины — и, если она окажется тяжелой, успокойтесь той мыслью, что мы с вами оба «рыжие» и что обоих горькая судьба заставляет ломать дураков... перед публикой.

И ответьте мне — то есть не мне, а горькой судьбе моей — тем же рефреном:

— Ветер уносит!

*Altalena*

*Одесские новости. 9.04.1902*





## Вскользь

Скоро мы опять услышим г-на Апостолу — в концерте, который он на прощание намерен подарить Одессе.

Той Одессе, которой он — г-н Апостолу — по невежеству ее, так сильно, долго и упорно нравится.

Что прикажете делать: провинция-с.

Вот Петербург — это не провинция.

Там г-н Апостолу не особенно понравился.

— Голос ничего, — решили петербуржцы.

*Сказать не ложно,*

*Его без скуки слушать можно.*

Но не больше.

Да. То ли дело г-н Массимо Массими!

Вот это был певец! Когда он выводил свои ноты, петербуржцы таяли до того, что под креслами становилось мокро.

Мы же — провинция — этого самого Массими, грешным делом, осvistали.

Не оценили мы и г-на Константино.

В Петербурге он «замещал» Мазини.

Мазини был в то время занят — взяли да пригласили г-на Константино.

— Пусть попоет за Мазини. Разве публика заметит?

И публика не заметила.

— Константино? Откуда? А, за Мазини. Ну что ж, браво, очень хорошо.

И сошло.

А у нас — в провинции — оказалось, что г-н Каstellано привез Барриентос и Баттистини со слабым антуражем, среди которого были, однако, и сносные голоса.

Например — г-н Константино.

Вот что значит: захолустье. Ничего мы с вами не понимаем.

Петербург — вот гнездо настоящих ценителей искусства.

Г-н Джиральдони там понравился.

Написали о нем, что, по голосу, это «антипод Баттистини: насколько последний нежен, настолько г-н Джиральдони тверд и мужествен».

Видите? Мы должны быть очень польщены: нашего Джиральдони сравнивают с Баттистини.

Мы-то сами вовек бы до этого не додумались.

Ибо мы полагали, что г-н Джиральдони — очень эффектный певец с очень хорошим голосом, а Баттистини — феномен, исключительная величина.

Поэтому (полагали мы) г-н Джиральдони не может быть «антиподом» Баттистини уже потому, что он и Баттистини сравнению просто не подлежат.

Как Пушкин и г-н Бальмонт.

Г-н Бальмонт достоин всяческого одобрения.

Но сказать о нем, что это — «антипод Пушкина», значило бы не иметь своего аршина в искусстве...

Так мы до сих пор полагали, но теперь, конечно, так полагать перестанем.

Нельзя же не верить вкусу петербуржцев.

Хотя — не посягая на престиж их вкуса — я подозреваю, что у них там все как-то иначе, не по-нашему.

У нас верх где? Сверху.

А низ? Снизу.

У них, очевидно, что-то не так.

Г-н Наваррини им понравился, но голос его оказался «на верхних нотах послабее».

Это немножко странно.

Я помню, что у нас г-н Наваррини пел Томского.

И в песенке «Если б милые девицы» вытягивал одну очень высокую ноту, которой я не умею назвать, но которую Одесса помнит.

Потому что это была нота удивительной чистоты, красоты и силы.

Не верилось, что это *бас* так берет такую высокую ноту.

Вот почему я думаю, что у петербуржцев «верх» и «верхние ноты» находятся не там, где у нас.

Надо вообще допустить гипотезу, что в музыкальном отношении петербуржцы — сравнительно с нами — поставлены несколько вверх дном.

Эта гипотеза уяснит нам, отчего, например, «Тоска» в Петербурге не понравилась.

Оттого, что понравилась «Забава Путятишна».

Создание того самого г-на Иванова, который разругал «Тоску» в «Новом времени».

Это меня приводит в столь веселое настроение, что вы простите мне нижеследующий хромой каламбур:

— Да, *забава* и *тоска* несовместимы.

Кому нравится одно, тому другое не может понравиться. Это ясно, как божий день.

Однако пусть одессит не тужит.

Когда-нибудь и у нас повыгоняют итальянцев и введут российскую оперу с российскими певцами.

Причем господу Собинов и Шаляпин останутся в столице — а к нам приедут господу Ошустович и Власов.

Вот когда мы разоведемся.

Какой-нибудь десяток лет — и мы станем неизвестными, как вывернутая перчатка.

Пуччини напишет новую оперу — а мы ее разругаем.

А затем г-н Сидоров напишет оперу «Тушинский вор» на либретто г-на Павла Петрова — и мы будем аплодировать.

Госпожу Делли-Аббати тогда на порог театра не пустим.

Чересчур резкий голос.

То ли дело m-lle Корецкая!

А когда приедет г-н Наваррини — то мы к его голосу отнесем-ся снисходительно, а по игре (помните «игру» г-на Наваррини?) сравним его с Шаляпиным и скажем: «антипод»...

**Altalena**

*Одесские новости. 11.04.1902*



## **Вскользь**

Когда я прохожу мимо котловины в правой части парка, мимо той, что называется «Черным морем», мне всегда становится грустно.

Над этим местом такая туча детских воспоминаний.

Здесь я во дни оны «гулялся» с товарищами в «гилки».

Я хорошо «гиллил». Я украл из прачечной старый рубль, расколол его и обратил в «гилку»; мяч мне подарили в день рождения — черный, «литой», — и мне удавалось иногда загнать его «аж» в «Азовское море».

И в «серединки» там игралось хорошо. «Вшкварит» тебе, бывало, добрый приятель так, что очумеешь.

Было раздолье.

Зимою там устраивали каток — и с этой стороны туча детских воспоминаний окрашивается розоватым романтическим оттенком.

Но старое уходит.

Приволье матушки-природы вянет от прикосновения жадного или глупого человека.

Началось это с жадного.

Жадный выстроил поперек «Черного моря» русские горки.

Потеснело «Черное море».

Негде стало даже в «сало» сыграть. О «гилках» нечего было уж и думать.

И без того, катясь с горки на горку, благим матом визжали проклятые барышни: что ж бы они запели, если бы которой-нибудь «вшкварили» нечаянно «литым» мячом?

В «Черном море» стало скучно.

Потом жадный человек прогорел и убрал русские горки. Но ему на смену пришел глупый человек.

Всю середину «Черного моря» заняли дохлым газоном.

Летом, если присмотреться, этот газон кажется почти зеленым.

Но зато «Черное море» совсем онемело и позабыло веселый, живительный щебет детских голосов.

Мне даже кажется, что прежде оно было гораздо глубже.

«Черное море» мелеет.

И теперь его хотят окончательно добить.

Общество поощрения скуки, благословясь, решило взяться за это дело.

Оно там устроит детские развлечения.

Под своим собственным наблюдением.

Для какой-то цели уже назначен от общества специальный член.

Г-н, который, положим, немного швах насчет понимания детской души или умения заслужить со стороны детей доверие и уважение.

Но зато — порядок. Это — виртуоз порядка.

Теперь этот г-н будет развлекать детей в «Черном море».

В добрый час.

Мальчикам пришьют на мягкие части тела белые билетки с надписью «можно».

Только в эти билетки и будет разрешено «жарить» мячами.

За удар в другое место виновный будет заноситься в штраф-книгу.

Развлечения будут распределены так.

В восемь часов утра — переключка. Не явившиеся накануне представляют свидетельства от врача.

От четверти девятого до четверти десятого — «гилки».

Следующий час — «дыр-дыра».

Следующий — «серединки».

Завтрак.

Полчаса на чехарду.

Час на шагистику.

Размахивать руками, бегать и потеть воспрещается.

Словом, отныне в «Черном море»

*«Пойдет такой поряжок,  
Что хоть кати шаром».*

Именно — хоть шаром покати.

Этот успех мы смело предсказываем обществу поощрения скуки.

Ибо главное достоинство всех этих обществ содействия производству птичьего молока — то, что у них никогда не оказывается под рукой ни одного объекта для применения «содействия».

Слава Богу и за то, что бодливой корове Он рог не дает...

И только очень жаль, что хорошие начинания подчас сводятся на нет из-за неумения выбрать подходящего человека.

**Altalena**

*Одесские новости. 12.04.1902*



## **Вскользь**

Подходит радостная неделя. И ввиду того, что простонародье у нас решительно ни в чем, кроме разумных развлечений, не испытывает недостатка, на Куликовом поле будут устроены для простонародья разумные развлечения.

Как то: перекидки, стрельба в цель, музей с гориллой, уносящей голую барышню, и зверинец.

Нашелся было человек, который хотел присоединить к этому традиционному перечню еще и опыт народного театра.

Этот мечтатель — г-н Выбодовский — выхлопотал необходимое разрешение и затем «вошел» в управу с ходатайством об отводе участка земли на Куликовом поле за 300 рублей.

В прошлом году этот самый участок был сдан под зверинец тоже за 300 рублей.

Но управа приняла во внимание, что театр — не зверинец, театру и честь особая, и запросила с г-на Выбодовского 500 рублей.

Ввиду какого-то события народный театр и лопнул, не дожив до собственного рождения.

Этот факт хорош сам по себе. Но я привел его с побочной целью.

Я хочу обратить внимание читателя на то, что во вкусах горожан и городских заправил не всегда наблюдается совпадение.

Если заправилам зверинец нравится больше театра, значит ли это, что и горожане такого же мнения?

Вовсе нет.

Заправилам любо одно, горожанам другое.

Горожане не могут ручаться за вкусы и чувство заправил, потому что не они, горожане, а только маленькая горсть из их среды выбирает отцов города.

Но и заправила не могут и никем не уполномочены ручаться за вкусы и чувства горожан.

Только очень легковерные люди могут не понимать этого.



### ЧУЖИЕ СТИХИ

Прислано г-ном Н. В. Б.

*Если в душу мгновеньями горя  
налетают тяжелые сны,  
на утес у холодного моря  
ухожу я искать тишины.  
Ветер мчит и бушует, и гонит,  
и гудит над равниной морской,  
и душа моя плачет и стонет,  
оттого что мне дорог покой.  
И, оставив холодное море,  
где волна догоняет волну,  
в чьем-то темном и ласковом взоре  
нахожу я тогда тишину.  
Этот цвет миротворицы-ночи  
глядит душу — как женской рукой...  
Я люблю чьи-то черные очи,  
оттого что мне дорог покой.*



Прислано г-жой Юлией Кадминой.

### I

*Ты не плачь, а скажи мне, как гругу,  
отчего тебя мучит печаль?  
Отчего устремлен так тоскливо  
взор твой в жизни туманную даль?  
Что за горе тебя поразило,  
что не веришь ты в правду и свет  
и на планы мои так уныло,  
так тоскливо все шепчешь ты: «Нет»?*

— В моем сердце глубокая рана,  
с каждым днем она горше болит;  
она точит мой век без пощады —  
и она за меня говорит.  
И от слез пред глазами моими  
растлаεται вечный туман,  
гаснет радости свет перед ними  
и нельзя залечить моих ран...

## II

Не говорите мне, что где-то есть веселье,  
и звон гитар, и песни, и вино —  
веселый чаг полночного похмелья  
не для меня. Мне счастья не дано.  
Не говорите мне, что сердцу нужно сердце:  
больной любви давно мое полно —  
но лишь мое... а то — другое — бьется  
не для меня. Мне счастья не дано.

## III

(На обороте портрета):

...Не вспоминай ты обо мне,  
когда веселья дни были  
пред памятью твоей проходят чередой:  
пусть будут связаны воспоминанья злые  
с моей истерзанной душой.  
Шепча слова любви и упоенья,  
Христом молю, меня не помяни;  
но лучше в час кипящей жажды мщенья  
ты память обо мне навеки прокляни.



Но вы совершенно справедливо можете спросить меня, почему я, собственно, заполняю фельетон чужими стихами.

Резонный вопрос, который заслуживает толкового ответа.

Когда у меня в фельетоне появляются чужие стихи, это значит, что мне необходимо победить искушение.

Искушение — поговорить об интересных предметах, не имеющих никакого отношения к чужим стихам.

Чужие стихи — это вроде многоточия...

**Altalena**

Одесские новости. 13.04.1902

  
*Studentesca*<sup>1</sup>**ИЗ ЖИЗНИ РИМСКИХ СТУДЕНТОВ**

Накануне Светлого Воскресенья, в семь часов вечера, я в большой тоске пробирался на улицу Montebello, № 48.

Тоска отягчалась унижением. Мои товарищи по квартире на Пасху разъехались по родным: Роберто и Лелло в Сицилию, Джино в Абруцци.

Я остался в Риме. Роберто приглашал меня с собой — но у меня не было денег даже на то, чтобы расплатиться с нашей общей горничной Линой.

Оттого я и чувствовал себя униженным. По нашим взаимным расчетам заплатить Лине двадцать франков должен был именно я. А у меня не было двух сольдо.

В тот день, накануне Светлого Воскресенья, я обошел пол-Рима и нигде не достал двадцать франков. Некоторые мне предлагали пять. Но мне было стыдно принять пять лир, точно я нищий.

И я шел на Via Montebello, № 48 с тем, чтобы сказать дождавшейся Лине, что ее денег нет.

Я шел и злился на день своего рождения, на моих трех приятелей и на всю эту вздорную затею — поселиться вчетвером на собственной квартире.

— Это будет рай! — вопил Роберто, когда мы ее только проектировали.

Я до сих пор не могу разобраться, был ли то ад или рай.

Мы сняли этот appartamento<sup>2</sup> у старушки, которая сама жила в другом доме, с контрактом на год. Мы прожили там полтора месяца. И то хозяйка была еще рада, что удалось нас выжить без убытку — хотя для пополнения платы за эти шесть недель за ней остались наша посуда и наше столовое белье.

И, кроме того, хозяйка прислала к нам брата своей дворничихи, которому не в чем было прилично явиться к призыву, и я ему отдал свои старые брюки и туфли-скороходы, а Роберто — жилетку.

Бедная хозяйка.

---

<sup>1</sup> Студенты, студенчество (*итал.*).

<sup>2</sup> Квартира (*итал.*).



Последние две недели она каждый день с утра звонила у нашей двери и спрашивала:

— Синьор Роберто дома?

— Нет, ушел. Он вернется вечером.

Она садилась на софу в «комнате молчания» и ждала. В два часа она посылала Лину за ветчиной, подкреплялась и опять ждала.

В шесть часов как буря влетал Роберто и начинал трещать — потому что у него была вообще система зажимать собеседнику рот своим многоречием, и в этом случае его система была хороша:

— Ах, вы опять тут. Вы за деньгами? Сегодня их на почте не было; но я, вероятно, получу их завтра. Будьте спокойны, идите домой, идите, синьора, а то вы нам мешаєте: вот он должен написать корреспонденцию, а мне нужно составить экстренно речь для одного депутата к завтрашнему заседанию палаты; это очень важно и для вас, синьора, потому что если он не произнесет этой речи, то палата повысит квартирный налог, — идите домой, синьора.

Синьора шла домой и утром возвращалась.

Когда ей объявили, что мы, несмотря на контракт, выбираемся в первый день Пасхи, она даже не протестовала, а только вздохнула и сказала мне с типичной наивностью римской квартирной хозяйки:

— Вы пишете в газету. Нельзя ли поместить такую статью, что у меня отдается внаем квартира?

Я даже обиделся, но Джино понял эту китайскую грамоту и обещал бедной старушенции поместить объявление.

С этого дня началось непрерывное татарское нашествие на наш несчастный рай.

Приходили колбасники, булочники, зеленщики, виноторговцы, бакалейщики — все обитатели Via Montebello, причастные к торговле, потому что всем им мы задолжали.

Все ворчали, грозили и, уходя, щипали Лину, потому что Лина, самоотверженно защищая нас, всегда выскакивала вперед.

Особенно, если кредитор был из себя недурен.

Эпопея нашего общежития заканчивалась под аккомпанемент целой метели дрязг.

Кредиторы болтали про нас одно, кумушки улицы — другое, и даже в университете, который, слава Богу, был на час пути

от нашей улицы, коллеги стали к нам относиться как-то странно: с уважением, но подальше.

А все-таки у нас было хорошо.

Каждый вечер мы, хотя в долг, но вкусно и шумно обедали — ели чудесные макароны, соус из печенки с луком, пили много хорошего вина — вчетвером или с гостями, и Лина, всегда веселая и бойкая, была тут же и вносила смягчающую ноту в наше веселье и скверное, но свежее контральто в наши хоровые песни.

Лина была типом горничной, миловидная, полненькая, молоденькая, живая, с карими глазами и розовыми щечками.

Когда Дзину, жившую у нас на правах «товарища», пришлось выселить по настоянию невест Роберто и Джино, тогда Роберто где-то разыскал эту Лину, сказал ей наши условия и спросил:

— А ночевать где будете?

Лина засмеялась и ответила:

— На квартире. Я никого не боюсь.

Потом, когда уже все это ушло в область воспоминаний, Роберто уверял меня, что Лина «принадлежала» только ему, а Джино клялся мне, что Лина «принадлежала» только ему.

Лина же успела «принадлежать» и тому, и другому, потому что у нее вообще было очень доброе сердце.

Лелло тосковал и болел по Дзине, в которую влюбился тайком от брата ребяческой любовью, и потому относился к Лине равнодушно.

А я был с ней корректен, потому что блага общего пользования — не в моем вкусе, и еще потому, что в Италии я считал долгом разыгрывать холодного северного человека.

Может быть, оттого Лина привязалась ко мне больше, чем к другим; кроме того, я и обращался с нею иначе. Мои приятели исповедовали тоже демократические взгляды, но это не мешало им говорить Лине «ты». Русский демократизм утонченной западного. Я говорил Лине, как барышне, в третьем лице, и это ей льстило.

Почему бы то ни было, она ко мне привязалась. Под конец Роберто надоел ей своей удивительной, шумной, головокружительной, многоэтажной пустотой, а Джино своей противной, прилизанной сдержанностью небогатого графского сына из захолустья, который корчит декадента и человека высшего

света. И, когда они уезжали, не заплатив ей за прожитые у нас три недели, она повторяла:

— Если сор<sup>1</sup> Фладимиро ручается, что мне будет отдано все, тогда я спокойна.

И вот теперь я шел сообщить ей — накануне Светлого Воскресенья, — что денег не нашлось. Мне было ужасно тяжело.

И завтра в полдень предстояло очистить квартиру.

Я стукнул скобкой в дверь, Лина мне отперла; я снял летнее пальто, повесил его в углу и сказал Лине моим самым серьезным тоном:

— Линетта, мне очень жаль, но я не мог достать ни одной лиры. И завтра тоже не достану.

— Что же я буду делать? — спросила Лина раздраженно.

— Я не знаю. У меня нет совсем ничего, ни сантима. Мне даже некуда будет перебраться завтра.

Она ушла в кухню, а я — в «комнату молчания». Бедный храм наук и искусства казался теперь таким неуютным, когда причудливая — вкус Роберто — драпировка была уже снята со стен, портреты спрятаны, ладан — вкус Роберто — не курился больше на маленькой подставке, и ни одной не осталось из четырех кип бумаги, на которой Роберто писал свою тридцатую драму, Джино — свои стихи, Лелло — греческие вокабулы и я — корреспонденции...

Я лег поясницей на подоконник, перегнулся назад, закинул руки за голову и уставился в сизое вечернее небо.

Если я пишу два слова: «небо Италии», то для вас это — избитая формула, а для меня — что-то вроде имени далекой любовницы. Мне от этих двух слов становится так хорошо и так грустно, что иногда сил человеческих не хватает выдержать без стоны эту сладость и эту печаль.

Я бы хотел уметь молиться и знать, кому помолиться о том, чтобы все, сколько может быть на земле счастья и довольства, снизошло на эту чудную страну за ее красоту, за райские ласки, которыми прелесть ее дарит нас, иноземцев, лишенных рая...

Лина неслышно подошла ко мне и положила мне руку на жилет.

— Тосковать все-таки нечего, сор Фладимиро, — сказала она громко и живо, — теперь мы поужинаем, а завтра посмотрим, может быть, вы что-нибудь заложите.

---

<sup>1</sup> Господин (от *ital. signór*).

— У меня был только бинокль, я его заложил третьего дня: мне дали два франка и вычли шесть сантимов на проценты вперед... А как мы поужинаем, когда не на что купить макароны и все прочее?

— Ничего, я возьму еще раз в долг.

— Колбасник опять будет вас щипать.

— Это пустяки — пощиплет, а все-таки даст в долг. Вот что главное. А вина хватит?

— Идите, Линетта, — сказал я, повеселев, — славная вы девушка.

Оставшись один, я опять уставился в сверкавшее небо и сильно задумался о том, что бы — по совету Лины — «заложить».

У меня в то милое время не было даже черных часов.

У меня было шесть воротничков и рукавчиков, перламутровые запонки и серый пиджачок.

Я мечтал обмундироваться. Но мои корреспонденции печатались пятая через десятую, а то, что я выручал за них, исчезало без следа, потому что наше общежитие «ужасно» поглощало деньги.

В сером пиджачке неловко было ходить в гости, так что недели за три до Пасхи я отдал его красильщику вычернить. Целую неделю и дома, и в университете щеголял в летнем пальто.

Как раз в это время Роберто и Джино выселили Дзину. Нужно было третье лицо, чтобы известить об этом мамашу невесты, тоже провинциальную графиню. Лелло наотрез отказался путаться в это дело. Тогда пошел я, просидел у графини битый час, беседовал с ее дочками и не снял пальто, несмотря на просьбы...

— *Веселые годы,  
Прекрасные дни, —  
Как вешние воды  
Промчались они...*

Это запела возвратившаяся Лина, то есть запела не совсем это, но нечто похожее :

— *O che tempi felici,  
O che belli momenti —  
Mo mme vénneno a mmenti,  
Ma nun tòrnano chiù!..*

И потому я не буду досказывать вам, как мы ужинали в этот пасхальный вечер вдвоем с Линеттой и какие песни мы пели, и что она мне рассказывала о своей жизни, и каким путем я на следующий день достал деньги, и тому подобное.

Многое сам я уже не отчетливо помню, а многое совсем не интересно, и я не сумел бы рассказать так, чтобы заинтересовать вас.

Я только хотел напомнить себе и, если властен, вам о прекрасных годах, о веселых днях, которые больше не вернуться; повеять на себя и, если могу, на вас смолистым запахом молодости. Я хотел напомнить ее себе в этот праздник прощения (я не христианин, но я люблю этот праздник прощения) для того, чтобы сердечно простить моей прошлой и будущей жизни все ее скорби — за эти несколько веселых лет, прекрасных дней, которые больше не вернуться...

**Altalena**

*Одесские новости. 14.04.1902*



## **Вскользь**

Сегодня мы услышим былины г-на Рябинина.

Много уже мы с вами приняли внутрь хмурой литературы нашего времени, целиком посвященной изображению того, как утонченно может человек хандрить на разные лады.

После этого, если вы способны чувствовать поэзию, будет так приятно подышать совсем иным ветром.

Пережить, хотя бы только в виде смутного впечатления, ту славную, могучую старину.

Тогда повсюду шумели густые леса, и оттого божий воздух был чище и реки были шире, глубже, прозрачнее.

Тогда напролом сквозь чащу, наперерез ковыльной степи, по неразборчивым тропинам шли гулким шагом рослые мохнатые кони.

В седлах сидели богатыри — люди, всем богатые — и мышцами, и кровью, и мужественной красотой, и доброю, и вежеством, и честью, и отвагой.

Когда нужно было драться, они дрались. Ни один из них не спрашивал:

— Да что же из этого выйдет? Плетью обуха не перешибешь.

Ни один не вспоминал:

— Жена... дети...

Они осеняли широкую грудь крестом и двигали коня на черную татарскую рать.

Если бы кто-нибудь им рассказал, какие у них будут potomки!

Когда они, старые богатыри, уезжали из родной избы, отец говорил им на прощанье:

— Защищай обиженных, стой грудью за красное солнышко и за веру истинную.

Если бы старые богатыри знали, что их поздние правнуки, выпуская сыновей на толкучий рынок жизни, станут учить их так:

— Твоя хата с краю. А плюнут тебе в глаза — скажи «божья роса». А дадут тебе в ухо — падай на брюхо. Ибо я, твой родитель, хоть бы тебя тут у меня на глазах убили, заступаться не стану. Моя хата тоже с краю.

Но старые богатыри не предчувствовали такого позора, и широкая, важная душевная их ясность ничем не была отравлена.

Оттого чуткому человеку становится так прохладно и привольно под мерное течение былинного стиха. словно далеко на дачу выезжаешь из нашей постылой жизни.

Не то чтобы в былинное время на свете не было горя.

Было его достаточно. Столько же, сколько и теперь.

Вовсе не в том красота и здоровье жизни, чтобы горя не было.

Истинная жизнь — это и есть смелая рукопашная битва с горем.

Но в то время битва с горем была богатырским, могучим единоборством.

В наше время битва с горем стала дракою между кухарками, уцепившимися друг дружке грязными ногтями в грязные волосы.

Нам, играющим засаленной колодой в дурачка по грошу ставка, любо должно быть послушать о том, как богатые люди в старину ставили на карту собственную голову.

Чуткого человека былина если не подбодрит, то хоть позавидовать заставит.

И то хорошо, потому что зависть — вовсе не такое зловерное и позорное чувство, каким его записали у себя в прописях учителя каллиграфии.

Зависть — прекрасное, благородное чувство.

Власть позавидовать временам богатырского единоборства — значит уже глубоко почувствовать отвращение к нашей мизерности.

Это значит устыдиться нашей жалкой малости перед картиной, где нет ни одной, даже чуть намеченной фигуры, которая не была бы фигурой великана.

Потому что в былине все великаны. Даже те, которых она только на мгновение выдвигает на сцену и потом забывает о них навсегда, — и те великаны.

Есть такой забытый герой в былине об Илье Муромце.

Вы эту былину знаете, но вряд ли сообразите, о ком я говорю.

Вы забыли об этом мимолетном образе.

А ведь Илья Муромец сидел сиднем 33 года — и сидел бы он на печи до сегодня и во веки веков, если бы не тот, о ком я говорю.

Нежданно-негаданно, откуда — неведомо, пришел калика переходжий, которому былина забыла даже дать имя.

Пришел он к Илье, научил его, как достать себе коня и меч, и ушел.

И о калике больше ни одним словом не обмолвилась былина, не вспоминает его Илья, и мы с вами его забыли.

А ведь этот безымянный бродяга — герой и великан.

По русским степям кочевали злые татары, в лесной пуще лежал на несокрушимом дубу Соловей-разбойник, — и жилось им привольно только потому, что Илья Муромец не двигался с места, сиднем сидел на печи и не мог шевельнуть сонною рукою.

Этот калика разведаль, где таится Илья Муромец, освободитель русской земли, пошел к нему и научил его.

Сколько чащ и сколько топких болот должен был пройти этот забытый калика в своих поисках, сколько бурь его трепало, сколько вихрей опрокидывало его, сколько морозу и голоду натерпелся он на своем пути!

А разве татары не гнались за ним? Никто больше татар не мог бояться пробуждения Ильи Муромца.

Верно, и татары ловили, били и мучили этого бродягу, и Соловей-разбойник у себя на дубу, заслышав о неугомонном калике, беспокойно шевелил кистенем, оглушал бешеным свистом облака на небе и рычал:

— Попадешься ты мне в руки...

А калика не попался.

Он ушел из татарского каменного плена, уцелел под татарской пыткой, залечил глубокие раны, обошел Соловья, переплыл реки, переполз чащи, забутил топи и дошел.

— Эй, Илья, — сказал он тогда, — берись за дело.

И ушел, и даже стакана воды не допил.

Его задача была свершена.

Это был великан из великанов, этот скиталец, о котором былина едва вспоминает, да и вспоминает-то затем, чтобы снова сейчас же забыть.

*Altalena*

*Одесские новости. 17.04.1902*



## *Городской театр*

Поставленная третьего дня опера «Руслан и Людмила» не нашла себе вполне достойных исполнителей в лице артистов труппы г-на Бородая.

Лучше всех была знакомая уже нашей публике г-жа Боброва в роли Людмилы. Правда, ее красивое лирическое сопрано, как нам показалось, несколько потускнело, но поет она по-прежнему музыкально и свободно, несмотря на высокую тесситуру, и справляется с колоратурными трудностями довольно удачно, насколько, разумеется, ей позволяет недостаточно тщательная обработка голоса.

Г-н Петров, дебютировавший в роли Руслана, обнаружил мягкий лирический баритон красивого тембра, жидковатый и малозвучный в нижнем регистре, но широко звучащий в середине, в целом, однако, слишком слабый для такой солидной партии, какова партия Руслана. Поет и держится артист прилично, хотя дальше посредственного в этом отношении не идет.

Оба тенора — господы Брайнин и Арцимович — обладают приятными и свежими лирическими голосами. Первый довольно красиво спел партию Баяна, а второй не без труда, благода-



ря своему короткому дыханию, одолел длинную, утомительную балладу Фина.

Финал. Комическая роль Фарлафа была поручена г-ну Лосскому, артисту, по-видимому, очень еще молодому, а между тем она сама по себе представляет такие трудности, требует от певца такой необычайной подвижности голоса, что редко можно найти даже опытных артистов, которым она была бы под силу. Не удивительно поэтому, что сцена Фарлафа с Наиной и особенно финальное, бешеное по темпу рондо-буфф прошли слабо.

Госпожи Новоспаская и Ковалькова недурно справились с партиями Гориславы и Ратмира, но решительный отзыв об артистках мы откладываем до того времени, когда они выступят в более ответственных ролях.

Оркестр шел хорошо, хотя дирижеру (г-ну Палицину) должно быть поставлено в упрек отсутствие энергии в его манере вести оркестр: вступления он дает вяло, и то обстоятельство, что военный оркестр в последнем действии до смешного расходился со струнным, должно быть отнесено именно на счет флегматичности дирижера.

Большой успех имел балет, в особенности г-жа Ланге, действительно очень грациозная и изящная prima ballerina.

**А.**

*Одесские новости. 18.04.1902*



## ***Городской театр***

«Мазепа», как известно, написан Чайковским в симфоническом стиле, и потому значительная, если не преимущественная, роль в этой опере выпала на долю оркестра и хора, то есть именно тех двух элементов, которые составляют силу гостящей в настоящее время у нас оперы.

Действительно, как по сравнительно высокому качеству голосов, так и по стройности исполнения хор, поющий теперь на городской сцене, несравненно выше нашего доморощенного, несмотря на то, что г-н Бородай привез только часть своих хористов. Все хоровые номера в «Мазепе» были исполнены отлично, особенно финал 1-й картины и вся вторая картина первого действия.

Очень хорошо шел оркестр, руководимый опытной рукой г-на Палицина, дирижировавшего на этот раз гораздо энергичнее, чем накануне. Симфоническая картина полтавского боя сыграна была широко, мощно и с сохранением детальных оттенков. Если в исполнении оркестра замечались местами погрешности, то это должно быть отнесено на счет музыкантов нашего оркестра, мало знакомых с партитурой «Мазепы».

Из солистов нам более всех понравились г-жа Брун — Мария и г-н Петров — Кочубей. Приятный, небольшой, слегка резковатый в верхнем регистре голос первой звучал очень хорошо, а сцена сумасшествия и знаменитая колыбельная песня были переданы артисткой с неподдельной искренностью, причем здесь г-жа Брун имела возможность щегольнуть на редкость выработанным *piano*, одинаково хорошо звучащим во всех регистрах. Не менее хорош был и г-н Петров. Ласкающий тембр его голоса как нельзя более подходит к партии Кочубея, не требующей особой силы голосовых средств. Наиболее удалось артисту лирические места и в особенности — лучшая сцена во всей опере — сцена в темнице и молитва перед казнью, исполнение которых, по нашему мнению, мало оставляло желать лучшего.

Слабее был г-н Шевелев в роли Мазепы. Правда, роль эта либреттистами мало разработана и отдает ходульной мелодрамой, а потому мы несколько не удивляемся, что г-ну Шевелеву почти ничего не удалось из нее сделать в драматическом отношении; гораздо хуже то, что г-н Шевелев, несмотря на богатый голосовой материал, которым он обладает, не вполне был удовлетворителен и со стороны вокальной, главным образом вследствие недостаточной обработки своего красивого баритона, очень высокого, хотя несколько сдавленно звучащего в верхнем регистре. Жаль будет, если г-н Шевелев так и оставит свой голос: здесь есть над чем поработать.

Из остальных исполнителей выделялись г-н Секарь-Рожанский, очень эффектный Андрей, и г-н Брайнин, отлично исполнивший эпизодическую роль пьяного казака. Очень недурна была г-жа Томская в довольно скучной роли жены Кочубея, а г-н Гагаенко оказался вполне приличным Орликом.

**А.**



## *Городской театр*

Г-н Шаляпин уже выступал в первый свой приезд к нам в роли Мефистофеля, и тогда же на столбцах нашей газеты его игра и пение были подробно разобраны, поэтому в настоящее время нам остается только указать на те изменения, какие за это время произошли в голосе и игре ставшего теперь знаменитым артиста.

Голос его — все тот же мягкий, высокий бас, гибкий и подвижный от природы, но недостаточно детально отшлифованный. Будь г-н Шаляпин обыкновенным артистом, мы бы сказали, что поет он совсем хорошо, так как и в настоящее время он далеко превосходит в этом отношении своих партнеров; но к артисту с такой репутацией должны быть предъявлены более строгие требования, и вот этим-то требованиям он не всегда удовлетворяет: его пение по-прежнему остается далеко позади игры. Кроме того, артист, по-видимому, не заботится в достаточной степени о сохранении своего голоса, и это очень опасно. Такие нежные басы — материал чрезвычайно хрупкий, с ним надо особенно осторожно обращаться. Лучше всего в вокальном отношении прошли у г-на Шаляпина вторая картина первого акта и все второе действие. Песнь о золотом тельце спета была блестяще и с редким подъемом.

Гораздо менее удалась артисту серенада: недостаток низких нот сильно давал себя здесь чувствовать. Игра г-на Шаляпина, конечно, поражает человека, привыкшего чуть не с детства к выработавшемуся годами оперному типу Мефистофеля, ничего общего, между прочим, не имеющему с великим созданием Гете, но если отрешиться от привычки к установившемуся шаблону, то нельзя не сознаться, что результаты, которых достигает г-н Шаляпин, громадны.

В настоящее время артист отодвинул комический элемент роли, доминировавший у него прежде, на второй план, более интенсивно оттенив ее серьезную, мрачную сторону. Этим определяются те изменения, которым подверглась роль Мефистофеля в теперешней интерпретации г-на Шаляпина. В настоящее время Мефистофель г-на Шаляпина — гордый дух ненависти и сарказма, апостол зла, преисполненный желчью и в то же время

страданием, творящий зло ради его самого. Все средства — великолепная мимика, движения, интонация, грим — применяются артистом для воплощения его идеи, и если стать на точку зрения г-на Шаляпина, то надо сказать, что воплощение получается необыкновенно полное. Какая страшная сила насмешки звучит в его голосе, когда Мефистофель говорит с Фаустом! Слова обращения: «господин доктор Фауст» — производят в его устах впечатление удара хлыста. А сцена обольщения Марты! Здесь Мефистофель не тот шутник, которого мы привыкли видеть в этом месте; в его словах столько ненависти и презрения, что всякая охота смеяться пропадает.

Не менее хорош г-н Шаляпин и в сцене с Маргаритой в третьем действии. Да вообще, если проследить исполнение артистом всей роли от начала до конца, то нельзя найти ни одного места, которое бы дисгармонировало с общим планом его замысла.

К сожалению, антураж г-на Шаляпина был не из важных.

В заглавной роли дебютировал г-н Махин, обладающий слишком небольшим голоском, чтобы удачно справиться с трудностями этой партии, да еще в нашем громадном театре. Правда, голос артиста красив и мягок по звуку, но только в медиуме; низкие же ноты слабы, а верхние отличаются сдавленным горловым характером. Поет г-н Махин музыкально и обладает недурным фальцетом.

Г-жа Боброва была вчера не в голосе, пела вяло и все время детонировала, особенно во втором действии. Г-жа Ковелькова — только приличный Зибель, не более, ибо хотя ее голос и свеж, но жидковат, а уменьше петь у нее довольно примитивное. Г-н Шевелев исполнением роли Валентина подтвердил уже высказанное нами о нем мнение как о певце с прекрасным голосом и недостаточной школой. В трио перед дуэлью он так форсировал звук, что положительно портил ансамбль, заглушая своих партнеров.

Поставлена опера хорошо. Костюмы свежи и стильны, а не набраны с бору да с сосенки, как в нашей городской опере. Оркестры струнный и военный, знающие Фауста чуть не наизусть, шли довольно хорошо.

**А.**

*Одесские новости. 20.04.1902*



## Вскользь

В газете написано:

«Восемнадцатилетняя Мария Радвилевич, которую судьба привела в притон разврата, в четверг, в 12 часов ночи, приняла, с целью лишить себя жизни, йодоформ».

Ниже пятью строками:

«Из дома терпимости, по Михайловской улице, в доме № 53, доставлена с признаками отравления нашатырным спиртом в еврейскую больницу Наталия Терещенко 19 лет».

Пикантно, я думаю, жилось в этом доме № 53.

Время теперь вообще плохое:

— «Делов» мало.

Хозяйки домов № 53 тоже чувствуют застой и тоскливо вспоминают:

— Прежде, бывало, придет важный гость и поставит угощение. А теперь что? Приходит студент и ставит в угол мокрый зонтик...

Фраза с натуры. Юмор Болгарской улицы.

В такое время девушкам этого дома приходится, вероятно, еще солонее обыкновенного.

Хозяйка притона дает им и харчи и заведует их гардеробом. За все это, конечно, она насчитывает втридорога.

Девушка всегда у нее же в долгу.

В плохой год счета хозяйки, само собою, вырастают до гомерических размеров.

— Шутка ли? — ворчит она. — Все так вздорожало...

И записывает на этом основании:

— Прачке за шесть носовых платков — 30 коп.

Это на Михайловской-то улице, где вам живого человека накрахмалят за гривенник.

В то же время «повинность» становится тягостней.

Хозяйка не дает отдыха, заставляет сидеть еще черт знает сколько времени после того, как «зало» опустело: авось заглянет еще кто-нибудь.

А когда уж действительно до смерти надоеет такая жизнь — уйти нельзя. Хозяйка говорит:

— А долг? Ты мне еще 16 рублей 40 коп. должна. Заплати, потом уйдешь.

Ведь девушки ничего не знают.

Они верят, что хозяйка может удержать их силой, прямо запереть.

Или, если им даже известно, что и за насилие над ними можно подать к мировому, то уж относительно того, что хозяйка может собственной властью конфисковать за долг их «вещи», им и не снилось сомневаться.

Эти «вещи» состоят из скудного белья, цветного балахона и портрета «первого предмета» в рамке из ракушек.

Если бы девушка и знала наверное, что хозяйка не имеет права удерживать ее скарба, хозяйка все-таки удержала бы этот скарб, а девушке за протест дворник дома № 53 еще и побил бы физиономию.

Ибо каким его кунштштукам ни обучай, в какие персоны его не производи, а на чай он все-таки получит с хозяйки, а не с девушки.

Да, положение любопытное.

Жаль, что в домах № 53, вероятно, не осведомлены о том, что на свете имеется общество св.Магдалины.

Иначе, несомненно, девушки перестали бы травиться йодоформом, который к тому же вовсе не для этого употребления выдуман, а стали бы просто-напросто переходить в приют общества и там — раз, два, три! — поправляться...



И еще в газете написано:

«Из Марселя сообщают, что кукуруза, прибывшая туда в последнее время из *Одессы*, оказалась настолько сырой и плохого качества, что покупатели отказываются принять ее. Потери одесских экспортеров на этих отправлениях достигают крупных размеров».

Вот тоже беда, не хуже в своем роде, чем предыдущая.

Экспортерам поделом: ведали то, что творили. Давай им Бог почаше такие нахлобучки.

Но тут не в экспортерах дело, а в репутации нашего города.

За границей даже кельнера знают:

— Одесса? Это, говорят, почти совсем европейский город. Там даже городовые в белых перчатках. Только жители-то ein wenig<sup>1</sup> мошенники.

И по всей России наша Одесса тоже слывет:

— Жулик-город.

<sup>1</sup> Малость (нем.).

Северяне называют нас не «одесситами», а «одессистами», точно будто слово «Одесса» означает какое-то ремесло...

Это «одессист» звучит почти как «аферист».

Я говорю об этом легко и с легким сердцем, потому что, в конце концов, мы привыкли.

Но если есть в нашем городском неблагоустройстве сторона, особенно заслуживающая и гнева, и слез, то вот она.

Мало нам и слыть, и быть городом-торгашом, вот мы еще и город-мошенник.

Оттого что каким-то субъектам здесь или на Днестре не хватает денег на игру в винт и в «шестьдесят шесть» или на покупку собственного дома, они спокойно позорят по всему свету имя нашего города и подрывают кредит нашего отечества.

Если бы я был практически знаком с этим делом, я бы серьезно занялся изобретением методов надзора за этими фальшивомонетчиками хлебного зерна.

Но я, во-первых, в экспортной процедуре — полный профан, а во-вторых, думаю, что в нашем отечестве надзора вообще достаточно, и если при всем том добрые люди превращают хлеб в камень, значит, и моя изобретательность ни к чему бы не привела.

Нет такого закона, которого мошенник не обошел бы.

Я в качестве непрактического человека предпочитаю разрубить гордиев узел.

Я мечтаю о полной гибели одесского торгашества.

Я умоляю небеса о том, чтобы днепровские гирла<sup>1</sup> не мелели, чтобы Азовское море стало глубже, чтобы Херсон соединили прямыми рельсами с центром империи, чтобы по Черноморскому побережью возникло еще с десятков богатых торговых портов.

Пусть отобьют у Одессы эту шельмующую привилегию — служить исключительно базарной площадью для свалки товаров и для взаимного надувательства.

Баста, наторговали. Город разросся, украсился, пора и о душе подумать.

Я мечтаю о том, как, за естественным ослаблением торгашества, центр тяжести нашего богатства перейдет отчасти на фабричную Пересыпь и главным образом на лиманы и фонтаны.

Из города, живущего нечистой торговлей, стать городом-врачом — это завидное повышение.

---

<sup>1</sup> Устья (укр.).

И Бог даст, тогда повысится и культурный уровень города.

Ибо теперь у нас белые перчатки только прикрывают кривые «загребущие» пальцы. Приезжие люди со второго взгляда сквозь внешний лоск (и тот не Бог весть какой) распознают подкладку одессита и находят его — извините за терпкую правду — несимпатичным и неинтеллигентным.

Сто лет гешефтмахерства не проходят даром.

**Altalena**

*Одесские новости. 20.04.1902*



## **Городской театр**

«Тангейзер» прошел третьего дня у наших киевских гостей гораздо лучше, чем можно было предполагать. Исполнявший заглавную роль г-н Секарь-Рожанский благодаря красивому, сочному голосу и приятной манере петь производил хорошее впечатление и был бы совсем удовлетворительным Тангейзером, если бы в некоторых местах не давала себя чувствовать сравнительная слабость его голоса, как, например, в финале первого действия и в последнем призыве к Венере в третьем акте. Очень мила была г-жа Брун в роли Елизаветы. Обладая хорошо выработанным дыханием, артистка победоносно вышла из затруднений, представляемых бесконечными вагнеровскими вокальными фразами, а ее нежный и ясный голос вполне подходит к изображаемому типу «святой» Елизаветы. Хорош был и г-н Петров — Вольфрам, со вкусом исполнивший обе свои знаменитые арии: в состязании певцов и «звезду вечернюю». Но артисту следует избавиться от неприятной и нехудожественной манеры стрелять нотами. Правда, это с ним случается довольно редко, но все же случается. Держался г-н Петров на сцене просто и благородно. Нельзя только похвалить его костюм во втором действии, грубые, кричащие цвета которого резали глаза. Г-н Брайнин отлично спел свою песенку в состязании певцов. Хуже других были оба баса господ Тассин-Лангтрах и Гагаенко-Битерольф. Голос г-на Тассина недурен только в середине, слаб внизу, жидковат и сильно тремолирует на верхних нотах. Хорошей школы певец тоже не высказал. Г-н Гагаенко исполнил свою песнь грубо и без всяких оттенков, обнаружив при этом плохо поставленный,



хотя и большой голос. Недурна была г-жа Новоспасская в роли Венеры, хотя ничего интересного из этой партии сделать ей не удалось. Г-жа Менцер — удовлетворительный пастушок. Оркестр шел стройно и проявил даже некоторый шик в исполнении увертюры. Хоры почему-то пели хуже обыкновенного.

А.

*Одесские новости. 21.04.1902*



## **Вскользь**

— Вы помолодили вашей лекцией даже стариков, — было сказано П. И. Вейнбергу за ужином в Литературно-артистическом клубе.

Действительно, лекция г-на Вейнберга о Викторе Гюго, великане, пылавшем одним пламенем от ранней юности до седин, дышала торжествующей бодростью и подействовала на слушателей как настоящий душ из эликсира юности.

В г-не Вейнберге столько теплой уверенности в том, что будущее не испортит, а исправит, не погубит, а создаст.

И так приятно видеть этого старого полковника от литературы, окруженного уважением и любовью другого поколения.

Помолодить стариков — это не трудно. Старики сами во всякую минуту хотели бы помолодеть.

Такие люди, как г-н Вейнберг, способны на большие чудеса — они молодят даже молодых.

Право. Потому что молодые теперь маловерны и не блещут бодростью.

Не их вина в этом. Мировая литература так усердно учит пессимизму, что надо же было наконец когда-нибудь и молодежи усвоить себе эти уроки.

Но от того не легче, что маловерие молодых возникло не по их собственной, а по чужой вине.

Это маловерие все-таки есть горькая беда. И особенно больно чувствуем это мы, молодые люди из печатного цеха.

Сам род нашей деятельности таков, что без веры в серьезную, добрую цель нашей работы — нет смысла работать.

А веры в серьезную, добрую цель работы — нет.

Мы сознаем и чувствуем, что если стоит жить на земле, то только ради дела.

А мы живем ради слова.

И вот у нас возникает сомнение, есть ли слово то же, что и дело. Есть ли наше искреннее, сердечное слово — полезное дело или только пустой звук, идущий на потребу времяпровождения.

Наша публика поддерживает в нас это сомнение и понемногу доводит его до степени полной уверенности в том, что слово есть болтовня и больше ничего.

Потому что эта публика...

В наших писаниях она берет на веру только городские происшествия, да и те не всегда.

Случаи доверия с ее стороны так редки, но зато как часто оскорбляет она нас, как она туга на доказательства сочувствия к нам даже тогда, когда простая благодарность этого требует.

И махнешь рукой на все эти мечтания, и сухо говоришь самому себе:

— Лямка.

И вдруг встречаешь на своем пути седого человека и видишь, что все его за что-то любят и ласкают.

— Что он такое сделал? — спрашиваешь.

— Писал.

— И больше ничего?

— Ничего.

Два вопроса и два ответа, но этого достаточно.

Становится легче.

Видишь, что и за слово люди могут быть благодарны человеку.

Люди скупы, они даром не благодарят.

Значит, слово есть дело.

Только тождество это станет очевидным позже, когда можно будет подвести итоги нашим заслугам и промахам.

Будем же терпеливо трудиться и ждать.

В этой решимости трудиться и ждать заключается возрождение молодости для маловерного, который трудился, но ничего не ждал...



Оживление русской жизни, ярко проявившееся в последние годы, отразилось сейчас же на градуснике искусства.

Вся Россия уже повторяет с восторгом несколько новых имен из самых разнообразных областей художества: живописцев, ваятелей, артистов, беллетристов, драматургов.

А кто знает, сколько их еще назревает и спеет по захолюстьям, под животворным влиянием свежего ветерка, потянувшего по русской равнине.

*От Урала до Алтая,  
От Амура до Днепра?*

Когда-нибудь, может быть, и завтра, и они, теперь безвестные, выкрикнут неожиданно свои имена на всю Россию, и Россия подхватит и их и запишет в свои почетные свитки.

Та или другая из этих новых звезд, пожалуй, еще не дождалась окончательного определения своей величины.

Иную считают за нечто большее, чем она, быть может, окажется на деле.

Иную — наоборот.

Но это все отстоится и выяснится. И дело вовсе не в том, чтобы сразу же выставить верные отметки каждому из новопришедших.

Главное — это встретить каждого из новопришедших ласкою, приветом и ободрением.

Наша публика поняла это и оказала такой именно прием той из новых искр, внезапно высыпавших на бледный наш горизонт, которая больше всех других, кажется, может рассчитывать на то, что уже принятая Россией высокая оценка ее не будет изменена.

Добро пожаловать г-ну Шаляпину! Если бы в русской опере такие дарования встречались хоть немного чаще, мы не только не отстаивали бы итальянской оперы для Одессы, мы пропагандировали бы русскую оперу для Милана!

Мне удалось видеть и слышать г-на Шаляпина только однажды, несколько лет тому назад, когда слава едва успела позолотить его молодое имя.

И именно в той партии Мефистофеля в «Фаусте», в которой он выступил теперь перед нашей публикой.

Я до сих пор могу по желанию воскресить в себе ощущение того восторга, в который привела меня гармоническая красота этого исполнения.

Так тонко, так ярко и так интеллигентно играл из наших последних знакомцев-певцов только разве баритон Менотти Дельфино.

Артист, который при такой игре еще и поет, — это поистине редкий и дорогой артист, которым русская сцена может гордиться.

Тем более что, даря искусству таких художников, Россия двигает вперед давно поставленную западными школами задачу. Эта задача — приближение оперы к жизни, к естественности, к драме.

Такое приближение не может быть достигнуто путем фокуса — подделки музыкальной фразы под обыкновенный говор.

Подделка, которая *à la longue*<sup>1</sup> сводится к тому, чтобы музыка стала непохожей на музыку.

И которой всегда все-таки избегают и избегать будут истинные таланты новой школы.

Но это приближение, наряду с усовершенствованиями, зависящими от таланта и такта композитора, будет достигнуто благодаря приходу на сцену оперы таких артистов, как г-н Шаляпин.

Мы приветствуем г-на Шаляпина не только в качестве одного из передовых гонцов новой рати, твердо ставшей на поле всего русского искусства, без различия полков, но и в частности как представителя истинного оперного художества.

**Altalena**

*Одесские новости. 21.04.1902*



## **Городской театр**

Роль мельника в «Русалке» — одна из самых благодарных басовых ролей в русском оперном репертуаре. Вот почему всякий мало-мальски хороший артист производит в ней сильное впечатление: и г-н Серебряков, и г-н Антоновский, не говоря уже о Мельникове, были здесь превосходны. Легко поэтому понять, как хорош был третьего дня в роли мельника г-н Шаляпин, замечательный драматический талант которого признан теперь уже всеми. Сочетание стихов Пушкина с музыкой Даргомыжского дает столько материала для применения всех способностей г-на Шаляпина, что создаваемый им образ по экспрессии и типичности не оставляет желать ничего лучшего. Безысходное горе старика-отца в первом действии, сумасшедший бред его в третьем — производят долго незабываемое впечатление. Особенно хорошо были переданы проблески сознания у сумасшедшего мельника. Трудно судить, конечно, не будучи специалистом, верно ли переданы эти моменты с точки зрения клини-

<sup>1</sup> В конечном счете (*фр.*).

ческой, но для обыкновенного зрителя игра г-на Шаляпина казалась воплощением самой правды. Внешний облик мельника в исполнении г-на Шаляпина и художественен, и реален. Нам не случалось вообще видеть более тщательного и добросовестного отношения к внешности изображаемых лиц, чем у этого замечательного артиста. Дикция и экспрессивность пения у г-на Шаляпина были превосходны, но интонация не везде чиста. Остальные исполнители — довольно слабы. Г-жа Новоспасская со своим не особенно красивым и неровным голосом была только-только удовлетворительна, точно так же, как и г-жа Ковалькова, жидковатое контральто которой очень слабо звучало. Недурно у нее прошла ария с хором во втором действии «Нет, не к добру» и гораздо хуже вся сцена первой картины третьего акта, исполненная без всякого выражения. Недурно сравнительно спела г-жа Горина свою песенку. Что касается г-на Арцимовича, то хотя голос его довольно приятного тембра, но так слаб, что вряд ли хорошо слышен дальше первых рядов кресел; к тому же артист заметно похрипывал. Не удивительно поэтому, что успеха он не имел даже после любимой публикой арии «Невольно к этим грустным берегам», хотя спел ее довольно музыкально. Сват — г-н Гаврилов — недурно держался на сцене; о голосе его сказать нечего, ибо такового у него почти нет. Балет хорош. Оркестр же фальшивил на славу, живо напомнив нам знаменитую «банду» труппы г-на Каstellано.

А.

*Одесские новости. 21.04.1902*

## *Городской театр*

Трудно понять, зачем г-ну Бородаю понадобилось ставить «Пророка», не имея для этого подходящих сил в своей труппе. Признаться, такой томящей скуки, как третьего дня, нам давно не приходилось испытывать. Еще хорошо, что щедрые купюры значительно сократили спектакль; этим антреприза доказала по крайней мере, что интересы одесской публики все же близки ее сердцу. В самом деле, из участвовавших в «Пророке» артистов — лучшие по своим голосовым данным не подходят к ролям, а те, голоса которых позволили бы справиться с их партиями, поют более или менее скверно. Г-н Секарь-Рожанский — артист,

достоинства которого всегда нами признавались, но выступать ему в партии Иоанна Лейденского — это значит окончательно портить свой голос, а с ним вместе и артистическую репутацию. Жаль было слушать этого хорошего певца, как он надрывался, желая во что бы то ни стало быть на высоте своей задачи. И такое самоистязание с небольшими передышками продолжалось в течение почти всего вечера. Игры г-н Секарь-Рожанский особенной не проявил, да и не до игры ему, правду сказать, было. Лучше провела свою партию г-жа Томская, вероятно, впрочем, потому, что пела ее в несколько «ампутированном» виде. Артистка эта приобрела, как говорят, репутацию будущей звезды. На это мы, откровенно говоря, не особенно надеемся. Певица она недурная, со среднего качества голосом, неглубоким внизу и довольно жидким в верхнем регистре. Партия матери Иоанна для нее чересчур сильна, хотя артистка производила все-таки хорошее впечатление, главным образом благодаря осмысленной игре. Г-жа Боброва — с внешней стороны удовлетворительная Берта, не была таковой в отношении пения. Ей во что бы то ни стало нужно избавиться от вечного детонирования — с таким недостатком трудно быть хорошей певицей. Три неразлучных анабаптиста (господа Гагаенко, Брайнин и Акимов) очень дружно фальшивили и плохо к тому же знали партию, хотя на вид были мрачны и страшны, как подобает заговорщикам. Хоры пели «ни шатко ни валко», а оркестр под управлением г-на Купера играл уверенно, хотя и бесцветно.

**А.**

*Одесские новости. 23.04.1902*



## **Вскользь**

### **БОТАНИКА**

Очень хорошо, что у нас сегодня праздник роз. Повеселиться можно, особенно нам.

Бывают лавки с большим выбором и с малым. У нас лавочка с малым выбором.

Для нас праздник роз — во-первых, большое событие, достойное всяческого барабанного боя.

Кроме того, приятно еще будет нам показать единойды в году, что и у нас в одном из боковых карманов хранится некоторый паек отваги.

Именно: проедет мимо в коляске господин принципал нашей банкирской конторы с женой и тремя деточками, а мы, стоя с боку припеку на тротуаре, ловко попадем букетом в нос самому младшему деточке.

Тем более что год урожайный, а цветы — это поэзия того же языка природы, на котором хлебные колосья играют роль прозы. Не грех повеселиться.

Мы, положим, этих колосьев не сеяли, но все-таки приятно.

*... Хорошо на родине моей,  
хорошо... Богаты и красивы,  
колосятся радостные нивы  
вдоль ее смеющихся полей...*

Когда вообразишь себе эту картину, хочется уметь молиться и сказать Господу Богу:

— Спасибо! В добрый час и в счастливое знамение! Чем хочет воля твоя, тем карай эту землю, только той кары больше не посылай, которой ты даже фараона не можешь поразить, — не посылай голода.

*... Я помню времена  
Твоего державного проклятья.  
На полях измученные братья  
не нашли желанного зерна, —  
и тогда судьба их победила  
и над миром саван пронесла,  
и болезнь по селам проходила  
и тела бросала на тела...  
— Да не повторится!  
Ибо... голод —  
князь греха, ужасный адский молот,  
что кует нечестие и зло.  
Если мать на детские моления  
облегчить их муки не вольна, —  
не ищи такого преступления,  
пред которым дрогнула б она...  
— Да не повторится!*

Чтобы урожайный год был началом долгого ряда золотистых урожаев, чтобы земля весело стонала от тяжести полновесных зерен, как добрая мать радостно кряхтит, подымая на руки уже тяжелого ребенка.

Может быть, тогда многое уладится, а остальному сам собою расчислится путь к примирению.

Может быть, наступит наконец это примирение: добрый простит, и злой устыдится, и дитя малое поведет льва с ягненком пасться на лугу.

Как теперь мы празднуем праздник роз, так тогда мы отпразднуем праздник пальм. Только тот праздник будет гораздо великолепнее нашего праздника роз и вообще всех праздников, какие бывали когда-либо на земле.

Еще бы!

*Я по земле пройду тогда свободный  
и не найду ни женщины голодной,  
ни старика с протянутой рукой, —  
и вся земля сойдется в братском пире  
за стол любви, — о, не бывало в мире  
еще великой радости такой!*

Я не знаю, верите ли вы в близость того праздника пальмовых ветвей. Скорее нет.

Но верьте, что мы, говорящие с вами печатными буквами, проповедуем вам именно это примирение добрых со злыми и будем его проповедовать до того момента, пока не оборвется последний нерв терпения в нашей совести.

Ну, а пока, делать нечего, пошвыряемся розовыми букетиками.

**Altalena**

*Одесские новости. 9.06.1902*



## **Вскользь**

Многие владельцы лавок решили совсем не торговать по воскресеньям.

И оказывается, что на Полицейской улице это решение осталось невыполненным.

Кто-то начал торговать первый, а за ним пошли и другие.

Приказчики остались на этот раз без отдыха.

Хорошо ли это? Нет.

Стоит ли за это разбранить владельцев лавок? Очень стоит.

И я охотно сделал бы это. Собрал бы все злые слова, какие знаю, и запустил бы ими в этих господ.

Ведь им все подделом. Ведь действительно нет более мерзкого дела, как тормозить, из трусости или скупости, то самое, чему уже выразил сочувствие.

Очень и очень охотно поругал бы я владельцев лавок на Полицейской улице.



Мог бы даже и от себя прибавить некоторые дополнительные сведения.

Один знакомый сообщил мне, например, что на днях, войдя в лавку г-на Фельдмана по этой самой улице, он застал такую картину:

Покупателей ни одного, а приказчики все на ногах.

— Отчего не сидите?

— Запрещено.

— Так все время и стоите навытяжку?

— Переминаемся с ноги на ногу.

А в углу за дверью один вольнодумец присел-таки на краешке стула. Но сейчас же услышал шаги хозяина и встал.

Охотно распространился бы я об этом и тоже не пожалел бы злых словес, потому что и это дело — хотя, может быть, весьма обыденное — есть тоже очень и очень нехорошее дело, достойное всякого оплевания.

Но подумал и решил не распространяться.

Ибо допустим, что я уже распространился и что всем торговцам Полицейской улицы досталось от меня так, что они даже головы от стыда повесили.

Ну, а что дальше?

Стыд глаза не выест. Ради одного стыда никто не откажется от воскресного барыша.

Постыдятся и все-таки откроют лавочку.

И останется у меня только то утешение, что всласть выбранился и доставил жадным людям несколько минут неприятного и оскорбительного чтения.

А если это все, то стоит ли из-за этого хлопотать?

В конце концов, все эти лавочники с их воскресными аппетитами — это такая мелочь.

Разве они — самостоятельное зло? Они даже вовсе не зло.

Они — просто осадок зла, пыль зла, и мы с вами на каждом углу нашей дороги наталкиваемся на куда большие проявления этого зла.

С какой же стати обрушиваться именно на этих букашек?

Греть всеми моими молниями исключительно против этого сора есть занятие недостойное и гадкое.

Лучше уж просто замолчать.

Извольте же, сидя на таком сквозняке, ежедневно «беседовать с читателем»...

**Altalena**

*Одесские новости. 12.06.1902*



## Вскользь

Теперь, вероятно, подымутся большие разговоры о воспитательном влиянии школы.

Очень приятно слышать, что по этому вопросу господин московский попечитель запросил мнение тамошнего педагогического общества.

Вопрос поставлен так:

— Какими путями при наличных условиях практики поднять дело религиозно-нравственного воспитания в средних учебных заведениях?

Может быть, не так трудно предугадать — в общих чертах — ответ почтенного общества.

Дело в том, что всем известно, какая это трудная задача — воспитание в школе.

Никто уже не спорит против того, что воспитание есть не ремесло, но искусство.

Искусство же требует отдельной работы мастера-художника над каждым из объектов.

Следовательно, необходимы два условия:

Во-первых, педагог-художник.

Во-вторых, индивидуальное воспитание.

Но второе условие не может быть соблюдено в школе.

Школа принуждена воспитывать так же, как она обучает, то есть сразу огулом — коллективно.

Вот почему доброе воспитательное влияние школы есть прелестная мечта, которой еще не осуществили даже самые передовые страны Западной Европы.

Но там уже давно пришли к выводу, что, раз второе условие истинного воспитания совершенно неприменимо в школе, то лучше оставить всякие попытки в этом направлении.

Ибо опыт доказал, что самая строгая дисциплина ведет вовсе не к духовному перерождению ребенка, а просто к развитию в нем тех нехороших способностей, которыми достигается ловкий обход этой самой дисциплины.

И в Европе теперь все надежды возложены на первое условие истинного воспитания.

Это условие — педагог не ремесленник, а художник — вполне применимо и в школе.

И воспитательное влияние такого настоящего педагога будет заключаться не в том, что у него за непочтительное выражение дети будут стоять в углу.

А в том, что дети его полюбят, а потому полюбят и его идеалы.

И, видя в нем постоянную честность, справедливость и гуманность, на его примере сами воспитаются в этом же духе.

Короче, ответ Московского педагогического общества будет, вероятно, развитием давно всем известной истины:

— Воспитательное влияние школы зиждется только на добром примере самого воспитателя.

Роль школы очень велика, но несправедливо было бы видеть в школе верное лекарство от всех недугов.

Не надо забывать, что школа — только уголок жизни.

Не только школа, не только семья, вся жизнь воспитывает.

Внутренняя жизнь ребенка очень импульсивна. Как знать, что глубже врежется в его впечатлительность: добрые ли поучения матери — или случайное, вразрез идущее с ними, мимолетно подмеченное явление жизни?

Мать все время говорит: не бей других детей, и ребенок не бьет других детей.

Но вот в саду какой-то чужой мальчишка особенно ловко лукнул камнем в другого — и пропали все мамины поучения перед упрямым детским инстинктом подражания.

Семья и школа, конечно, не смущаясь этим, должны делать свое дело, но не следует ждать от их влияния полных результатов.

Даже лучшие семена, посеянные семьей и школой, жизнь может потом затоптать и отравить.

И потому жизнь гораздо более школы заслуживает внимания, исправления и преобразований.

В частности, о религиозном воспитании — вопрос еще сложнее.

Религиозное чувство не есть нечто насаждаемое извне: оно бывает врожденным точно так же, как поэтическое или музыкальное чувство.

Когда душа человека лишена этой струны, никакие усилия не заставят ее звучать: самое большее — можно будет выработать в нем холодную обрядность.

И точно так же, если струна эта есть, доводы рассудка могут принудить ее замолчать, могут оборвать ее, но никогда не искоренят ее следов.

У человека с религиозным чувством, потерявшего веру, в душе навсегда остается болезненное пустое местечко.

Я наблюдал это явление на одном очень любопытном субъекте.

Я когда-то уже писал о нем, еще в одной из заграничных корреспонденций.

Зовут его Селла, ему теперь должно быть 23 года.

Его *curriculum vitae*<sup>1</sup> таково:

В 1898 году редактировал в Турине какую-то газету.

В Женеве напечатал книжку по статистике, для которой покойный Ньюма Дроз прислал хвалебное предисловие.

И в то же время изучал политическую экономию под руководством и по руководству профессора Панталеони, система которого страшно пересыпана цифрами и формулами.

В 1900 году вернулся в Италию и напечатал несколько статей по политической экономике и статистике в специальных журналах.

И по всей этой склонности к математическому рационализму, и по крайним материалистическим убеждениям, и по ясной откровенности речей в нем виден был неверующий человек.

И, тем не менее, из-под его пера вышло однажды длинное стихотворение в старомодных терминах, начинавшееся такими строками:

— Прими меня, о Господи, в Твое подданство, ибо слишком тяжела пустота души моей без Твоего Имени...

Религиозное чувство, раз оно живет в данном человеке, неистребимо.

Но неистребимое всегда нерукотворно.

Это надо помнить при таком ответственном деле, как постановка религиозного воспитания в школе.

Чуткий педагог-законоучитель не будет рассыпать жемчуга перед теми, которые лишены от природы возможности украсить себя им, но в то же время отличит в других зародыши религиозного чувства и даст им направление и содержание.

**Altalena**

*Одесские новости. 14.06.1902*

---

<sup>1</sup> Биография (*лат.*).



## Вскользь

Новая общественная библиотека с весьма почтенными именами во главе правления.

Это будет уже, если не ошибаюсь, четвертое серьезное учреждение общественного чтения в Одессе.

Считаю, во-первых, городскую публичную библиотеку.

Хотя в ее каталоге против «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и стоит штемпель «Не выдается», тем не менее у симпатичного белого домика на Биржевой площади есть крупные заслуги в деле просвещения Одессы.

Затем считаю «старинную» богатую библиотеку Бортневского.

Затем библиотеку Общества приказчиков-евреев — довольно богатую, а главное, чуть ли не самую благоустроенную на юге России.

Проектируемая теперь библиотека, таким образом, явится четвертой из крупных — если я только не пропустил еще какой-нибудь.

Это, конечно, прекрасное дело; я именно потому и не собираюсь его «приветствовать», что большая польза таких предприятий понятна каждому без всяких «приветствий».

Я сегодня интересуюсь другой стороной явления.

Я задаю себе вопрос:

— Что будут делать при дальнейшем распространении общественных библиотек книгоиздатели, книгопродавцы, а за ними сами авторы?

Выходит почти так, что все эти люди положат зубы на полку.

Ибо ясно как дважды два четыре, что человек, который может достать книгу для прочтения в библиотеке, сам уже этой книги не купит.

И посему, чем больше будет библиотек, чем больше народу будет ими пользоваться, тем меньше будет становиться индивидуальный сбыт книги, то есть продажа ее частным лицам.

И книгу, которую прежде купили бы в данном городе, допустим, 1000 лиц, тогда купят только 10 библиотек.

То есть книгопродавцы обанкротятся и не дадут ни копейки книгоиздателям.

Книгоиздатели прогорят и не заплатят ни гроша авторам.

Авторы поумирают с голода.

Некому будет писать.

Просвещение прекратится.

Так, роковым образом, чрезмерное распространение просвещения приведет его к краху.

Диалектическим путем оно при собственном развитии выделит из себя свой антитезис, который в конце концов в один прекрасный день окажется сильнее своего тезиса и сделает таковому крышку.

Вам не страшно?

Мне — нет.

О том, что будет через сто лет, я не забочусь.

Тогдашнее время само себя оправдает.

Ежели тогда ни у кого своих книг не будет, а все будут читать в библиотеках, — это, вероятно, будет очень хорошо.

А если, наоборот, у всех будут свои книги, — это, несомненно, будет тоже хорошо.

Вообще, будущее для нас в эту минуту не столь важно, как настоящее.

В настоящем же мы видим нечто другое.

Видим, с одной стороны, что прежде библиотек было мало, а теперь их гораздо больше.

И видим, с другой стороны, что никогда русские книги не раскупались в стольких изданиях, как теперь.

Как будто противоречие? Факты опровергают логику?

Логика говорит, что с ростом библиотек убывает индивидуальная продажа книг.

Факты настаивают, что и библиотеки плодятся, размножаются и процветают, и книги продаются гораздо шибче и обильнее, чем прежде.

Примирение же логики с фактами лежит в одном маленьком указании, которое, собственно, не старо, но весьма полезно и требует частого и огромного повторения, дабы мы не забывали.

Нет библиотеки, нет книги — есть только просвещение.

Библиотека не растет и книга не размножается: это просто крепнет просвещение.

Это оно крепнет, разливает свою силу все шире и глубже и вызывает к жизни отдельную книгу и целое книгохранилище.

И то и другое только служит просвещению, а просвещение не допускает раздоров и соперничества между своими слугами.

Если везет отдельной книге, это не значит, что книгохранилище должно захиреть.

И наоборот.

Слава Богу, места хватит.

Есть поле и для отдельной книги, будет поле и для библиотеки.

Потому что простор на земле очень велик, и весь он, рано или поздно, будет завоеван просвещением.

Не будет уголка на земле, куда бы оно ни проникло. Это только вопрос времени и, кроме того, энергии служителей просвещения.

Времени много и энергии тоже много.

Просвещение — это та самая любовь, о которой сказано в «Песне песней» царя Соломона:

*Пусть потоком хлынут реки —  
не зальет ее волна,  
и за золото вовеки  
не прогаст себя она...*

**Altalena**

*Одесские новости. 15.06.1902*



## **Вскользь**

Приспас и Джини — отчим и пасынок.

Проклятое, роковое положение.

Вы можете быть лучшим из мужчин или лучшей из женщин, но вам трудно придется в роли отчима или мачехи.

Вы даже искренне полюбите пасынка, вы будете с ним обращаться точь-в-точь, как с родным ребенком, но это не может.

Вы рассердитесь на пасынка точно так же, как рассердились бы на своего ребенка, но люди скажут:

— Да... Ну что ж, чужое — не свое.

Побьете вы пасынка совершенно тою же рукой, которой вы при случае дерете и собственного ребенка; и то мерзость, и это мерзость, но люди найдут разницу и скажут:

— Само собою, отчим...

Скажут без всякой злобы, просто как общеизвестный факт, — и это-то еще хуже.

Потому что это значит:

— Да мы нисколько не удивлены, мы ничего другого от тебя не ждали, и будь ты хоть семи пядей во лбу, все-таки ты будешь скверным отчимом: ведь это закон природы, что отчим должен быть нехорош.

При таком отношении решительно ничто не может вас спасти.

Как бы вы ни поступали, люди истолкуют дурно.

Закормите пасынка леденцами, завалите падчерицу нарядами — люди скажут:

— Показаться хочет. Маскирует свою нелюбовь.

В тайне эти толки не останутся.

Прежде всего, о них узнает пасынок — и начнет на вас коситься.

Потом узнаете вы; вам станет обидно, что без вашей вины лучшие ваши чувства перетолковываются в нехорошую сторону — и вы тоже начнете коситься на пасынка.

И действительно выйдет, как люди говорили, что насколько бы вы ни были гуманны, а все-таки окажетесь скверным отчимом.

Предрассудки не тем только нехороши, что они несправедливо хулят доброе.

Они тем нехороши и за то надо их безжалостно преследовать, что их влияние действительно портит доброе и делает его злым.

Но, собственно, хотел я говорить не об этом.

Я хочу указать на то, что люди, вынужденные семейным положением жить вместе, почти всегда становятся придирчивы друг к другу.

Даже когда их связывает любовь, — и тогда, с одной стороны, развивается правда, привычка приспособляться, но, с другой стороны, в то же время растет раздражительность.

Которая сторона проявляет больше влияния в совместной жизни — судить не берусь.

Вернее всего, что в добрые минуты — приспособительная, а в злые минуты — раздражительная.

Если это так, то вопрос в том, каких минут меньшинство...

Совместная жизнь — очень горячий материал.

Говорят, лучшее средство поссориться с другом — это поселиться с ним в одной комнате.

Самая безразличная черта характера, даже простая внешняя особенность, какой-нибудь жест, который вам прежде даже



нравился, — при совместной жизни сначала надоедает, потом начинает раздражать, потом злить, потом бесить, потом выводить из себя.

И это еще при сознании, что с другом во всякую минуту можно расселиться по разным квартирам.

Но при семейной совместной жизни этого сознания нет, а есть обратное сознание неразрывности.

Поэтому часто семейные неурядицы и раздоры особеннольны.

Дуешься и думаешь:

— И это век терпеть?

Особенно стали часты такие семейные осложнения в наше нервное время.

Оттого и написались и имели такой болезненный успех «Дети Ванюшина».

И я полагаю, что теперь больше, чем когда-либо, следует позаботиться о том, чтобы рамки семейного союза сдерживали, соединяли, но не теснили.

Эти рамки должны производить впечатление перил, а не решеток.

И перила эти надо сработать тонко, чутко, вдумчиво и деликатно.

Необходимо удалить из них все жесткое и угловатое.

И при этом раньше всего надо всмотреться в право родителей над детьми.

Очень спутанный вопрос, в котором и большие умы до сих пор не разобрались.

Но ясно все-таки, что это — права неоспоримые: именно потому, что они прямо вытекают из обязанностей.

Вообще всякое право иначе и немислимо, и несправедливо, как только в качестве атрибута обязанности.

Бросив в жизнь ребенка, мы обязаны заботиться о нем; а чтобы иметь возможность заботиться, нам необходимы известные права над ним.

Но в какой мере?

Ведь тут возникает целая вереница вопросов.

Прежде всего — сколько голов, столько умов.

У всякого родителя могут быть свои взгляды.

Родитель может считать науку вредным баловством.

И не допустить вредного баловства.

Вправе ли он? «Собственно» да, потому что ответственность за ребенка не на нас с вами, а на нем.

Западная Европа отвечает на это сомнение законом обучения, то есть отклоняет усмотрение родителя.

Но ведь и кроме науки есть еще много вредного баловства на свете.

Возьмите хотя бы наболевший пунктик о внутреннем призвании.

Родитель отдает мальчика в лавку, а мальчику хотелось бы в ремесленники.

Родитель говорит:

— Я или не я за него ответствен? А я верю, что приказчиком ему легче будет житься, чем мастеровым.

И мы, «собственно», должны признать его в своем праве, но в то же время он, «собственно», и ничуть не в своем праве, потому что не следует препятствовать призванию.

Из десяти человек, имеющих какое-нибудь призвание, девять вам расскажут, что родители в свое время упрямо толкали их по другому пути.

И из этих девяти пятеро действительно окажутся на другом пути; то есть родились художниками, а стали земскими врачами.

От этого страдает дело и страдают они... а родители, «собственно», были в своем праве, ибо на них лежала ответственность, и потому нельзя было им отказать в известном праве «направлять».

Но это все фундаментальные стороны вопроса. Взглянем и на мелочи.

Родитель находит, что малому лет пятнадцати нечего еще кушать, а потому — имея средства — не дает сыну денег. И он, «собственно», в своем праве.

Но ведь он может решить и то, что в 15 лет еще рано франтить. Это бывает. Решит и скажет портному:

— Вы ему шейте блузу пошире да подлиннее, не жалейте сукна, а сукна возьмите вон того, что потемнее.

Родитель опять-таки в своем праве.

Но когда потом сын окажется завистлив и мешковат, а по непривычке к деньгам жаден, несамостоятелен и — Боже упаси — вороват (юные шулера все отсюда ведут свое происхождение), — тогда первому от того убыток будет родителю, а затем и всему обществу.

Так что, «собственно», есть и неудобства...

Все дело в том, что для произведения потомства требуется один талант, а для применения родительской власти — совершенно другой.

И нет такого закона, чтобы эти таланты обязательно совмещались в одном лице.

*...чтоб иметь детей,  
Кому ума негоставало?*

Но без ума орудовать родительскими правами — опасно.  
Изо всего этого один вывод:

Родительские права неоспоримы, но мера им — минимум.

Общество не должно допускать, чтобы судьба подрастающего человека зависела от произвола и вдохновения случайного человека, обладающего талантом рожать детей.

В крупном и в мелком, — от свободы призвания до последних частных, общество должно гарантировать подрастающие поколения от вспышек родительского самоуправства.

Эта опека не уничтожит, а поддержит семью.

Эта опека очистит и оздоровит больную почву, на которой расцветают такие *fleurs du mal*<sup>1</sup>, как недавнее преступление Александра Кара в столице и Ивана Джини у нас.

**Altalena**

*Одесские новости. 16.06.1902*



## **Вскользь**

Это идея: добиться входа в публичный сад через судебного пристава.

В Петербурге одного купца сторож не впустил в сад «Аквариум» по той причине, что на купце был сверху картуз, а снизу высокие сапоги.

Сторож нашел, что это не элегантно.

Купец подал в суд и, несомненно, попадет-таки в сад «Аквариум». Это будет прекрасный прецедент.

Я помню много случаев такого рода.

На железной дороге мужичок — очень чистенький, впрочем, но одетый по-крестьянски — раскошелился как-то на билет первого класса.

Как это случилось — непонятно.

Возможно, что мужичок был в ударе и хотел кутнуть во всю ивановскую.

<sup>1</sup> Цветы зла (фр.).

Возможно, что это был еще не оторвавшийся от мужицкого звания зародыш горьковского героя — и решил разориться. — Злитесь, а я с вами рядом поеду, и слова не посмеете сказать: я в своем праве.

А может быть, просто по малограмотности сообразил, что чем дороже заплатишь, тем вернее или скорее доведут.

Это было бы, конечно, наивно; но если мужичок рассчитывал на свое право, то это было тоже наивно.

Кондуктор первого класса позвал начальника поезда, и мужичка — несмотря на заступничество двух проезжих офицеров — перевели в вагон даже не второго, а третьего класса.

Впрочем, нет оснований ходить за примерами на железную дорогу.

Нам достаточно выглянуть из ворот пассажа на Дерibasовскую.

Мы увидим тогда одесский городской «сад», куда, не знаю, как теперь, а в недавнее время сторожа не пускали не элегантно одетых людей.

И я не берусь держать пари, что в партер Городского театра не впустят, по платному билету, человека в красной рубаше и больших сапогах, хотя бы все его одеяние было очень чисто и сапоги ничуть не пахли салом.

Во всяком случае, если бы такой субъект сел во втором ряду кресел, особенно в оперный день, то его бы вывели.

Не нравятся мне все эти попытки установить для обывателя форму.

Если бы я был сторожем, то — скрепя сердце — не пропустил бы в чистые места грязных людей.

Это имело бы гигиенически воспитательное влияние:

— Поди умойся, почисти себя щеткой да заштопай дырки, а потом милости просим.

И вместе с тем принцип не нарушался бы.

Не только принцип, но и закон. Потому что я сильно сомневаюсь, чтобы город или даже частный владелец имел по закону право не пропускать в публичные места лиц, одетых чисто и в дозволенный полицейскими правилами наряд.

У меня есть данные полагать, что закон в таких случаях не на стороне г-на собственника.

В Финляндии было несколько случаев отказа со стороны домовладельцев сдавать квартиры внаймы некоторым лицам.

На это последовало разъяснение, что дискреционные права домовладельца так далеко не распространяются.

С объективной точки зрения мы не можем не согласиться с этим разъяснением.

Если квартиронаниматель исправно платит и если, конечно, его присутствие не угрожает доброму порядку и благополучию данной местности, за домовладельцем нельзя признать права на разборчивость.



Вернемся, впрочем, к мужицкому наряду.

Если домовладелец не имеет права чрезмерно привередничать над людьми, которые будут жить у него под боком целыми годами, то брезгливость содержателей общественных мест, куда человек приходит на несколько часов, уже совсем ни на чем не основана.

Очень легко было бы положить законный конец этой разборчивости приворотных сторожей.

Но...

Дело вовсе не в сторожах.

Прогресс не всегда заключается в воздействии на сторожей.

Сторож сам в картузе и сапогах. Он не потому гонит прочь картузников, что их присутствие неприятно ему самому.

Он гонит:

— Чтобы господа не обижались.

И вот с господ-то надо и начать, потому что господа действительно обижаются.

Мы настолько мелки душой, что общество самого чистого и милого человека, если он только чуть-чуть ниже нашего круга, уже нам докучно.

Это в нас с детства.

Я помню из своих детских лет приятную иллюстрацию.

Тогда «на гимнастику» — то есть в гимнастический сад по дороге к Ланжерону — пускали только учеников средних учебных заведений.

Маленькие гимназисты, реалисты и коммерсанты очень строго поддерживали неприкосновенность этой привилегии. Однажды изловили какого-то ученика городского училища, забравшегося за ограду, и немедленно приняли физические меры к его устранению.

И когда город разрешил посещение «гимнастики» всем детям без различия форм, гимназисты, реалисты и коммерсанты были очень недовольны.

«Гимнастика» потеряла для них большую часть своей прелести.

Долгое время они в играх партиями резко сторонились плебеев и не допускали их в свою среду.

Таковы дети. Родители, само собой, должны быть еще хуже.

Но детям многое простительно, а мы — сказал бы Крылов — «уж не щенята».

Ведь это, в конце концов, глупо.

Мы ничего не выиграем в тот день, когда все люди до одного облачатся в черные пиджаки с жилетами и наденут на голову котелки.

Я с ужасом думаю иногда:

— Как ужасны были бы наши улицы, если бы не женские наряды!

Благодаря тому, что мужчины одеваются однообразно и бесцветно, современная толпа утомительно сера и монотонна.

Только женщины вносят в нее яркие пятна.

Если бы еще и дамы одевались так же «строга», как мы — под цвет уличной пыли, — это было бы просто невыносимо.

Я надеюсь, что серая мода пройдет и мужские портные тоже когда-нибудь вспомнят, что есть красивые цвета и кроме белого и черного.

А пока надо радоваться, что еще попадают на улицах мужчины в цветных рубахах. Кстати, глазам легче.

Но это не так еще важно.

Хуже всего то, что «одежный ценз» не оправдывается ни гигиеной, ни удобством, ни даже требованиями вежливости. И, значит, он всецело держится на бессмысленном произволе нашего пустопорожного общества.

Такой произвол опасен и тем, что подчиняет себе даже и не пустопорожную среду.

Возьмите наш Литературно-артистический клуб. Уж такому учреждению, кажется, неловко заботиться о пустяках.

Меня всегда немного раздражала одна строчка в объявлениях о субботних вечерах клуба: «Господ мужчин просят быть в черных сюртуках».

Что за насилие?

Не говоря уже о том, что у человека может не иметься сюртука, — вообразите себе такой случай, что сюртук или фрак вам вообще не к лицу и портит вашу фигуру, приспособленную для более легкомысленных одеяний.

А вам на вечере надо танцевать с дамой, на которую у вас виды.

И вас вынуждают появиться перед нею именно в том костюме, который вас безобразит...

А впустили бы в Литературный клуб на субботний вечер г-на Горького?

Ведь он не расстается с цветной рубахой. Если его впустить — несправедливость.

Всякий другой господин в цветной рубахе будет вправе за протестовать:

— С какой стати? Г-н Горький талантливый писатель, но этого мало. Ведь тут не писательский вечер, а танцевальный. Добро бы он был хорошим танцором — другое дело...

Ясно, как Божий день, что не видать г-ну Горькому субботних вечеров в нашей «Литературке».

Но, с другой стороны, я прекрасно знаю, что если отменить сюртук, «чистая публика» останется недовольна.

— Наберутся всякие голодранцы, и будет клуб мелких приказчиков, — поморщились бы они при такой перспективе.

Что сторож! Мы, чистая публика, хуже сторожа.

**Altalena**

*Одесские новости. 20.06.1902*



## **Вскользь**

По Николаевскому бульвару шел господин чистейшего провинциального типа с ног до головы.

Гулял и смаковал Одессу.

Навстречу ему двигались изящные барышни; он оглядывал их наряды и с удовольствием обдумывал вопрос:

— Из какой это материи, и сколько это стоит?

Покосился на Лондонскую гостиницу и тоже сказал себе:

— Тут, вероятно, дорого.

И вчуже почувствовал при этом некоторую приятную гордость.

Прокатился вниз и вверх по подъемной дороге, заплатив пять копеек и пощупав мимоходом, из чего сделан турникет.

Прибыв же наверх, нашел, что изучение бульвара закончено и теперь можно закутить.

Почему и занял место у столика вблизи оркестра, подозвал человека и заказал кружку пива и пару сосисок.

Человек пристально посмотрел на него. А господин носил на себе отпечаток провинции с головы до каблучков.

Человек усмотрел это и сказал:

— Только вы пересядьте за другой столик, подальше от музыки.

— Почему?

— Тут у нас места для порядочных людей.

Господин уверяет, что страшно был при этом возмущен.

Ему хотелось броситься на человека и избить его так, чтобы в другой раз уж не смел грубить.

А потом позвать г-на Гоппенфельда и его тоже распечь.

Но, знаете ли, связываться не хотелось...

Так что дело, собственно, осталось без последствий.

Господин даже пересел подальше от музыки и при этой операции сказал человеку:

— Однако у вас, в Одессе!..

Сей пример учит, что в деле «одежного ценза», о котором мы вчера говорили, нельзя все-таки валить вину только на публику.

Главное зло, конечно, эта публика. Но и «сторож» тоже не промах.

Мы вполне допускаем, что он всего менее ответствен; что он, собственно, только «стрелочник», к которому особенно придираться нельзя, — бедный человек, исполняющий за малую плату все, что ему велят.

Но согласитесь, что и бедный человек не должен класть ноги на стол.

А то эти здоровенные ноги заняли уж слишком много места на нашем столе.

Вот вам случай с г-ном П. — тоже очень кроткого темперамента господином.

Он провожал барышню на дачу Халайджогло. Было это ночью.

За такое поведение сторож устроил г-ну П. сцену, о которой подробно говорится в письме в редакцию третьего дня.



Разве это не чересчур?

Это — уже прямое посягательство на основы одесской жизни, ибо летом в Одессе нет темного закоулка, где бы не было молодого человека с барышней.

Когда я жил далеко от Одессы, она мне всегда представлялась в виде ночной декорации с двумя младенцами обоего пола в нежной позе на скамье.

Она, смущенно глядя на оборку своей коротенькой юбочки, шепчет:

— Вы уже любили, Кока?

Он говорит дискантом:

— Никого, кроме одной.

— Кто она такая?

— Я вам скажу на ухо...

И запах акации.

А сторож Отрадной улицы хочет искоренить эту одесскую традицию?

Ну, это уж, брат, шалишь.

Я — Боже упаси — не беру под сомнение могущества одесских сторожей, но уж это — шалишь.



«И запах акации»...

Страшно я, господа, соскучился по этому запаху.

Несколько лет подряд я уезжал из Одессы в ноябре и возвращался в августе, так что акация цвела и отцветала без меня.

Этот запах положительно мне снился.

Подходил май — и мне не хотелось и смотреть на другие цветы, хотя они пахли гораздо лучше акации.

В их запахе не было того аккомпанемента воспоминаний, которым для человека из наших краев пропитан аромат акации.

Ведь мы под акациями воспитались.

Мы в детстве с таким нетерпением ждали мая, чтобы скинуть изношенные серые блузы и надеть чистенькую белую парусину.

И в то же время вместе с нами акации одевались в белое.

В мае мы перебирались на дачу, а там в окно спальни лопилась густая пахучая ветвь акации.

В мае мы устраивали пикник под акациями и во время пикника завязывали роман, нарывая для барышни акацию с самых дальних ветвей.

И потом эту же барышню водили вечером гулять, опять-таки под акациями.

Когда живешь далеко, все это кажется еще красивее, чем на самом деле.

Потому в течение этих нескольких лет, как только подходил май, мне начинала представляться какая-то совсем уж феерическая картина:

— У нас теперь ярко светит луна; пятна цветов на зелени вдоль улиц сверкают, как серебро, так что глазам больно, а аромат такой, что на море за маяком слышно, и люди пьянеют от сладкого запаха...

Честное слово, я ни по чему и ни по кому не скучал так, как по акациям.

И в этом году, водворившись наконец оседло в Одессе, я ждал мая прямо с лихорадочным нетерпением.

У меня заранее кружилась голова, когда я представлял себе, что скоро-скоро окунусь в поток этого милого аромата, которого столько лет уже не слышал...

Сдвину шляпу на затылок и пойду бродить по улицам, по парку, всюду, где только цветет это благословенное дерево...

Славный месяц май, господа, жаль только, что акация так недолго цветет.

*Altalena*

*Одесские новости. 21.06.1902*



## ***Месть и правосудие***

В газетах напечатано:

«В настоящее время вырабатываются новые правила для одиночного заключения в тюрьмах. Предполагается прежде всего в такие камеры помещать подследственных арестантов в возрасте старше 17 лет; затем одиночные камеры будут отводиться для отбывающих кратчайшие сроки и осужденных в первый раз (в возрасте от 17 до 25 лет), а также для арестантов, оказывающих своим исключительно дурным поведением вредное влияние на окружающих. Лица, для которых одиночное заключение пагубно отзывается на здоровье, по освидетельствовании тюремным врачом будут переводиться в общие камеры. Во всяком случае, одиночное заключение предполагается ограничить сроком в полтора года максимально».

В добрый час. Давно можно было это предвидеть.

Одинокое заключение слишком не похоже на всю русскую карательную систему. Оно неуклюже врезается в эту систему каким-то неподходящим, чужеродным клином.

Оно дает скрипучий диссонанс с этой русской системой. Долго такого диссонанса здоровые уши не могли бы вынести.

Вот почему можно не только надеяться, но прямо быть уверенными, что слух, выше здесь перепечатанный, оправдывается и занесенная с запада «утонченность» будет доведена до минимума.

С тем, несомненно, чтобы рано или поздно совершенно исчезнуть со страниц русского свода закона.

Тут возможен презрительный и колкий вопрос:

— А электрическое освещение вы тоже отрицаете?

— Почему мне его отрицать?

— Оно ведь тоже западная выдумка. Раз уж вы такой сторонник самобытности...

Я вовсе не «такой» сторонник самобытности.

Я люблю самобытность в тех случаях, когда нахожу ее влияние полезным, и не люблю ее в тех случаях, когда считаю это влияние вредным.

Когда русская самобытность заключается в лучине, а западная поправка в вольтовой дуге, тогда я против самобытности.

Ибо тогда поправка лучше самобытности.

В настоящем случае наоборот: самобытность русской карательной системы лучше заморской поправки — одиночного заключения.

И потому я и отстаиваю неприкосновенность самобытной системы.

Вообще — скажу в виде отступления — слишком много и некстати у нас ссылаются на пример запада.

Пример запада может служить для изучения законов общественного развития, но не для подражания.

Есть такая категория западников, от которых то и дело слышишь:

— Следовало бы возобновить у нас смертную казнь за уголовные преступления. В самых цивилизованных государствах эта «мера» сохранена. Соединенные Штаты, Англия, Франция, Германия...

— Отчего стесняются допускать телесное наказание в школах? В лучших английских колледжах учеников секут. И сами ученики стоят за эту «меру», и я предпочитаю ее всякой другой.

Этак можно пойти далеко.

Можно предложить запретить и у нас розничную продажу газет, как в цивилизованной Австрии.

Можно обязать и нас не играть позже 10 часов на фортепиано, как в культурной Швейцарии.

Можно (и это отчасти сделано) закрыть нам доступ на железнодорожный перрон, когда уезжают наши близкие, потому что так на западе.

Можно и еще больше.

Можно вспомнить, что во Франции и в Италии бывают случаи, когда президент суда обзовет бранным словом не только подсудимого, но и адвоката. В России этого, кажется, не замечается. Не ввести ли?

И кстати — так как речь идет о тюремном вопросе — не устроить ли в тюремных карцерах полов с каменными бугорками, чтобы наказанному больно было лежать? Это практикуется в Швейцарии.

Да, кстати, можно было бы заодно и ввести обязательное молчание для каторжников и для тех арестантов тюрьмы, которые не осуждены к одиночному заключению. Ведь это правило красуется в уголовных кодексах некоторых весьма культурных стран.

Много дряни на западе. Всей мы к себе вовек не перетаскаем. Лучше уж не брать ее вовсе, а брать то с запада, что светло и шумно.



Во время оно правосудие понимали просто.

— Ты ударил? Так и тебя надо ударить. Ибо ты причинил другому боль; значит, необходимо, чтобы и ты испытал ту же боль.

Такое правосудие, на упрощенный взгляд времени оно, представляло две стороны: нравственную и выгодную.

Нравственным казалось то, что человеку воздается злом за зло. Это выходило очень симметрично и производило впечатление отвлеченной справедливости.

Выгодным же предполагалось то, что преступник испытает боль и в другой раз не погрешит. И другим тоже будет неповадно.

Мало-помалу этот взгляд покоробился с обеих сторон.

Со стороны выгоды прояснились некоторые подробности психологии преступника в момент преступления.

Выяснилось, что не всякий преступник в момент преступления говорит себе:

— Ой, попадусь!

Напротив, оказалось, что большинство преступников в момент преступления говорят себе:

— Авось *не* попадусь!

Другая же часть преступников совсем и не думают на эту тему, а думают вот о чем:

— Кушать хочу...

А третья часть совсем ничего не думает и не чувствует в момент преступления.

Таким образом, спасительное, удерживающее влияние страха кары становится как будто мифом, а если и остается маленький процентик лиц, действительно воздержавшихся от преступления из боязни наказания, то и эта малая выгода парализуется большим злом.

Парализуется именно тем, что такое правосудие по системе «боль за боль» — озлобляет.

Из ста человек угроза кары остановит (допустим) пятерых, и они не совершат преступления, но остальные 95 совершат его, понесут наказание и выйдут вдвое свирепее. Это не выгода, это убыток.

Нравственную же сторону этого взгляда на правосудие подорвало то открытие, что такое правосудие есть, собственно, организованная, предумышленная, холодная, расчетливая месть.

Мсть можно оправдать как вспышку, но как организованная, предумышленная, холодная, расчетливая система — она безнравственна.

И вот старый взгляд на правосудие рухнул.

Появилась новая проповедь.

Людям объяснили, что преступник прежде всего или болен, или несчастен.

Значит, не карать его нужно, а лечить тело и душу и кротостью успокаивать накопившееся в нем раздражение.

Тюрьма не должна быть местом, где воздают болью за боль.

Тюрьма должна просто защищать общество от больного или раздраженного человека.

И в то же время защищать этого больного или раздраженного человека от общества, чтобы болезнь его смягчилась, раз-

дражение улеглось и чтобы таким образом он снова приспособился для корректной жизни в среде этого общества.

Позже на этом новом взгляде появились новые наслоения.

Стали, между прочим, указывать на то, что из двух категорий преступного человека — «больных» и «несчастливых» — в первой бывают совершенно неизлечимые субъекты.

И потому их нужно удалять от общества навсегда.

Но и тут — даже заново проповедуя смертную казнь для одержимых «врожденной преступностью» — и тут никто не посягнул на основной принцип нового понимания кары:

— Что тюрьма не есть место мучений, а есть место защиты общества от антисоциальной личности и антисоциальной личности от общества.

Поэтому в тюрьме преступник не должен подвергаться ни жестокостям, ни лишениям, ни стеснению — по возможности — законной свободы.

Ведь он попал в тюрьму именно оттого, что не сумел разумно пользоваться этой законной свободой. Значит, надо научить его этому разумному пользованию. А как же вы приучите его к свободе, если отнимете ее у него?

Господа, склонные к легким каламбурам, могут возразить:

— Да ведь лучшая тюрьма, раз только вас из нее не выпускают, есть уже лишение свободы?

Конечно. Это неизбежно, хотя и это примет другую окраску, когда тюремные замки будут заменены тюремными колониями.

Но и внутри тюремного замка можно установить две системы.

Можно приковать преступника к тачке.

И можно пустить его ходить по двору и работать свою работу.

Какая из этих двух есть система мести и какая есть система истинного правосудия, — это само собой понятно и уже не допускает легких каламбуров.



А теперь позвольте узнать: к какой системе относится одиночное заключение?

Интересно было бы послушать аргументацию в доказательство его воспитательного влияния.

Ибо мне представляется, что с воспитательной стороны одиночное заключение есть колоссальный абсурд.

Человек упал с лошади. Это значит, что он еще не умеет ездить верхом.

И вот его забирают в такое место, где он не видит ни одной лошади.

Для чего?

А для того, чтобы он выучился ездить верхом.

Что же, выучится он?

Нет.

То же самое с одиночным заключением.

Ты совершил преступление: значит, ты не в состоянии корректно жить в среде людей.

И вот мы тебя забираем прочь от людей и в течение долгого времени не дадим тебе видеться и говорить с людьми.

Для чего?

А для того, чтобы ты выучился жить с людьми.

Что же, выучится?

Нет.

Иначе надо поступать. Если человек не умеет ездить верхом, надо дать ему возможность упражняться. Тогда он выучится.

Только нужно устлать твердый грунт сеном, чтобы при падении с лошади не вышло несчастья.

И точно так же, если человек не умеет жить, как надо, с людьми, то дайте ему возможность напрактиковаться в этой науке. Не отделяйте его от ближних — товарищей по несчастью.

А тюремные стены сыграют роль мягкого сена на твердом грунте...

Для чего же понадобилось одиночное заключение?

Одиночное заключение есть орудие старой системы. Орудие кары, понимаемой как месть, как воздаяние болью за боль.

И это очень умная месть, очень утонченная боль.

Пытку можно вынести, из-под плетей и шпицрутенов можно выйти живым, но в *настоящем, полном* одиночном заключении человек должен сойти с ума.

И если сравнительно так редки случаи сумасшествия, то именно потому, что *настоящего, полного* одиночного заключения не бывает почти нигде и никогда.

Даже с точки зрения тюремщика слишком уж нечеловечески свирепа эта медленная казнь.

Слава Богу, здесь, в России, у одиночного заключения нет таких страстных апологетов, какие встречаются за границей.

Здесь эту «меру» отстаивают только отчасти.

— Конечно, в качестве наказания одиночное заключение и жестоко, и неразумно. Но чем вы его замените для изолирования подсудимых?

— Позвольте, да зачем вам изолировать подсудимых?

Такой вопрос считается наивным, и на него вам отвечают с улыбкой:

— А затем-с, чтобы подсудимые не могли сговориться между собой и тем затруднить дорогу выяснению истины-с...

На это можно многое ответить. Хотя бы то, что, по законам всех культурных стран, подсудимый *имеет право* отказываться от дачи показаний, *имеет право* доказывать (*заведомо облыжно*) свою невиновность и адвокат *имеет право* искусными речами выгораживать своего заведомо виновного клиента, то есть затруднить выяснение истины.

С подсудимого не берут присяги. Значит, от него не требуют:

— Говори о себе правду.

А если он *имеет право* выгораживать себя ложью, имеет право сговориться относительно этой лжи со своим адвокатом, то по какой же логике ему должно быть запрещено столковаться о том же предмете с другим подсудимым?

Но не это возражение самое важное.

Нет, я даже допущу (хотя и не думаю этого), что одиночное заключение подсудимых помогает выяснению истины. Что же из этого?

Есть средства, которые, как думают, содействуют выяснению истины еще больше.

Можно вздернуть допрашиваемого на дыбу.

Можно ломать ему пальцы или сжимать голову железным обручем.

Можно жечь ему пятки.

Тогда он еще скорее и полнее покажет всю правду.

Но ведь на эти средства мы не согласимся, потому что есть пункты, которые для нас дороже выяснения судебной истины.

Мы допрашиваем, мы хотим знать правду, но только не ценою пытки.

Значит, и не ценою одиночного заключения.





В настоящее время готовится, можно считать, почти полная отмена одиночного заключения как меры уголовного наказания.

Одиночное заключение для подсудимых, судя по слуху, перепечатанное в начале этой статьи, еще сохраняется, но мы верим, что это только первый (и небольшой) шаг к полному искоренению одиночного заключения в России.

Я всегда с удовольствием думаю о том, что русская карательная система стоит на хорошей дороге.

Я не закрываю глаза на телесное наказание. Я просто рассчитываю вместе с вами, что его скоро не будет.

И только напомним, что и оно не русская выдумка: всем известно, что до татарского ига этой «меры» не было в русском кодексе. Она занесена с востока точно так же, как одиночное заключение с запада.

Я не закрываю глаз и на то, что и в русской тюрьме, и русской каторге есть много больших недостатков.

Но эти недостатки можно устранить — во многих местах они уже устранены, потому что не являются органическими свойствами русского пенитенциарного учреждения.

Органическим же является, напротив, *драгоценный принцип совместной жизни и работы*, который вносит образ и подобие человеческой жизни в сибирские рудники.

«Записки из мертвого дома» ужасны. Но если бы появились записки человека, прошедшего двадцать лет в одиночном заключении какой-нибудь итальянской тюрьмы, где пять лет подряд он никого не видел, а в остальные пятнадцать лет видел, но не смел разговаривать, — это было бы еще ужаснее.

В том-то и дело, что такие записки не появляются.

В «мертвом доме» хоть было что описывать. В одиночном заключении нечего описывать, потому что это — могила.

**Altalena**

*Одесские новости. 23.06.1902*



## Вскользь

### PATRES CONSCRIPTI<sup>1</sup>

Если бы я сегодня был в парадоксальном настроении, то не преминул бы выпустить на свет божий такую истину:

— Во всяком споре правее тот, кто в данном деле ничего не понимает.

Но я сегодня совсем не в парадоксальном настроении, а, напротив, собираюсь высказать очень скромные и всем давно известные вещи.

И притом в самой скромной и смиренной форме — для того, чтобы не слишком уж на меня рассердились те, кому следует.

Поэтому вышеизложенный парадокс сведется к тому, что в спорах о каком-нибудь вопросе — в данном случае об одесском городском самоуправлении — не всегда возбраняется принимать участие профанам.

Это зависит.

Если, например, речь идет о том, каким материалом мостить улицы или кому отдать электрическую концессию, — тогда нужны специалисты.

Но теперь, мне кажется, есть удобный случай заговорить уже не о частностях, а вообще.

Теперь можно спросить:

— Как нам ценить орган нашего городского самоуправления?

— В какую сумму определить совокупность благ, которые он нам приносит?

— Любить нам его или не любить, благодарить или порицать?

При такой постановке вопроса участие специалистов мне кажется неудобным.

Специалисты — представители органа самоуправления — выставляют тысячи мелких доводов и поводов.

Специалисты-критики примут все эти мелкие доводы и поводы во внимание.

И получится не то. Потому что при общем обзоре не следует принимать во внимание мелочей.

---

<sup>1</sup> «Избранные отцы» (лат.) — обращение к римскому сенату.

А так как специалист, по всем своим привычкам, не может не принимать во внимание мелочей, то здесь, в данном случае, судьями должны быть профаны.

Причем специалисты даже не будут вызваны в качестве экспертов для дачи показаний.

И вот почему.

Допустим, что профаны собираются высказать подсудимому органу свое порицание.

Специалисты тогда, конечно, предъявят много смягчающих вину обстоятельств, вроде всякого рода неимений, невозможностей, «условий, в которых...» и так далее.

И что же из этого?

Если бы профаны предполагали подвергнуть орган какой-нибудь каре, тогда эти показания экспертов имели бы значение. Под их влиянием кара была бы смягчена.

Но тут речь идет не о каре, а просто об оценке:

— Много ли городу пользы от органа городского самоуправления?

И я решительно не понимаю, какое отношение к этому делу могли бы иметь всякие указания на всяческие неимения, невозможности и «условия, в которых...».

Если антрепренер привезет нам скверного певца, мы обидимся и не станем входить в рассмотрение свидетельских показаний.

И ежели нам скажут:

— Но не забудьте, что этот певец учился за медные деньги, перенес много тяжелых болезней и потерял в раннем возрасте папу и маму...

Мы ответим:

— Бедный молодой человек! Раз он так несчастен, то мы уж — так и быть — не закидаем его гнилыми яблоками. Но шить ему мы будем, потому что он все-таки скверно поет.

Что и требовалось доказать.



Я — профан в городских вопросах.

Когда в газете пишут о скотобойнях или в этом роде, я всегда добросовестно прочитываю все от заглавия до подписи.

Но, читая, никак не могу вникнуть.

И, прочитав, ничего ровно не помню.

Но притом я коренной житель града сего и, значит, во-первых, терплю неудобства от всех его несовершенств.

А во-вторых — очень привязан к городу.

Следовательно, я отчасти вправе считать себя одним из тех именно заинтересованных профанов, которым принадлежит в этом деле право суда.

И сужу, не принимая во внимание никаких «условий, в которых» и не стесняя себя никакими симпатиями или почтениями к предвзятым принципам и отдельным личностям.

Ибо самая почтенная личность, достойная всякой похвалы в роли частного джентльмена, может совершенно не подходить к роли джентльмена общественного.

А предвзятый принцип, если он сам по себе хорош, не страдает от того, что одно из его проявлений дало течь.



Если бы я мог устроить так, чтобы наш город приснился мне в большом хорошем сне, то я знаю, в каком виде он бы мне приснился.

Дело в том, что, так как Одесса, будто назло, никогда мне не снится, я часто сам рисую себе ее такой, какой желал бы ее видеть — по крайней мере, во сне.

Я постараюсь описать вам эту картину.

Прежде всего, внешность.

Одесситы ведь уверены, что Одесса — очень красивый, «европейский» город.

В этом очень большая доля заблуждения.

На Европу наш город похож только потому, что большие русские города — и то не все — меньше Одессы похожи на Европу.

Это еще очень мало.

А в ряду хороших европейских городов Одесса может смело и твердо рассчитывать на последнее место.

Европеец может влюбиться в своеобразие Москвы или в природную красоту Киева, может остаться в восторге от «достопримечательностей» и окрестностей Петербурга.

Но в Одессе ему скучно, потому что все наши «достопримечательности» он видел уже в большем и лучшем виде за границей, а «благоустройство», которым мы гордимся перед другими русскими городами, тоже очень микроскопично перед благо-

устройством порядочных городов на западе, — и потом мы с вами вообще знаем, каково это одесское благоустройство.

А есть у нас действительно хороший климат, море и лиманы, но всем этим богатством мы не воспользовались, и у нас нет общедоступных дач, нет порядочных купален, почти нет приморских гуляний и лиманы запущены.

И вот это все, конечно, в моей мысленной картине представляется иным: улицы хорошо застроены, хорошо вымощены, хорошо освещены, связаны приличным трамваем; масса тенистых бульваров — на Ланжероне, на Пересыпи, на дачах; европейские «пляжи» для купаний в разных местах морского берега и на лиманах с удобными и красивыми постройками; дачные городки, достойные порядочного курорта, на фонтанах и лиманах...

Одним словом — настоящий, действительно хорошо построенный и хорошо устроенный европейский город.

Внутренние качества в этой картине еще заманчивее внешних.

Вообразите себе Одессу с разными специальными институтами, с высшими женскими курсами, с образцовыми театрами, с собственными журналами, с музеями, галереями, деятельными научными, литературными, художественными обществами; вообразите солидную организацию общественной благотворительности, городские и дачные квартиры, санатории и купальни для бедного населения, своего и приезжего, и много всяких тому подобных приятных вещей.

И в результате вышеперечисленного — видное и почетное положение нашего города в России и вообще в Европе. С материальной стороны — большой приток людей и капиталов отовсюду к нашим промышленным предприятиям, курортам, школам; с духовной стороны — высокое самостоятельное место в научном, литературном, художественном движении двадцатого века.

Так я себе рисую Одессу. То есть — такую бы хотелось мне ее видеть.

И самый добрый человек согласится, что, оглядываясь вокруг себя, я не могу не видеть Одессу вовсе не такую, какую бы мне хотелось ее видеть, а, напротив, очень обидно не похожей на такую, какую бы мне хотелось ее видеть.

И вот вина за это нехорошее явление лежит на разных других обстоятельствах, о которых я частью вовсе не буду говорить, частью, может быть, поговорю в другой раз.

Но на органе городского самоуправления лежит, по-моему, самая большая часть вины за то, что город так не похож на то, чем он должен и может быть.



Я от вас, милостивые государи, требую не успеха, а деятельности.

Если бы вас преследовала неудача, если бы вы попадали впросак, — мы бы не сердились.

Потому что времени много, и при энергии можно исправить любую ошибку.

Но вы не делаете никаких ошибок.

Вас не преследует неудача, и вы не попадете впросак.

Вы просто бездействуете.

Вы можете опровергнуть это, показав мне протоколы тысяча одного заседания.

Но я уже имел честь предупредить, что мы, профаны, не принимаем свидетельских показаний от специалистов.

Для нас вовсе не тайна, что у вас есть протоколы.

Мы знаем, что вы много говорили и много записывали.

Только мы находим, что вы не о том говорили и не то записывали, что надо было.

И находим, что, кроме разговоров и записывания, с вашей стороны, милостивые государи, ожидалось еще дело.

Мы его не видели. Мы, простые смертные, ходим без очков или крепим на глазах пенсне, но микроскопов при себе не носим — и дел ваших не видим.

Периоды сладостного отдыха вполне допустимы после периода доброй работы.

Но и тогда есть им срок.

Я не знаю точно, сколько лет тянется ваш отдых, но знаю, что он бесконечно дольше самого долгого срока.

Уезжаешь из Одессы и в вагоне читаешь на прощание здешние газеты.

Они пишут:

— Произвол дирекции трамвая становится невыносимым...

— Потребность населения в русской драме нельзя не считать уже совершенно назревшей...

— Необходимость создать городской ломбард ясна сама по себе...

— Благоустройство окраин отныне является неотложной нуждой...

Проходит год. Возвращаешься в Одессу и, подъезжая, думаешь:

— Ну, теперь там, вероятно, кипит работа!

За несколько станций покупаешь газеты и при этом замечаешь, что теперь, вероятно, статьи начинаются так:

— Серьезный тон, взятый городом по отношению к дирекции трамвая, оказал свое действие...

— Нельзя не приветствовать учреждения комиссии для разработки вопроса о городском ломбарде...

— По слухам, вопрос о замощении Куличкинской улицы близится к благополучному разрешению...

— Совещание с антрепренерами о внесении русской драмы в обязательный сезон Городского театра назначено на завтра...

Разворачиваешь газету и читаешь:

— Произвол дирекции трамвая становится невыносимым...

— Благоустройство окраин отныне является неотложной нуждой...

Вы изумляетесь и спрашиваете соседа:

— Неужели дума снова провалила городской ломбард и отказала городу в русской драме и окраинам в мостовых?

— Нет.

— А что же?

— Дума вовсе не рассматривала этих вопросов.

— Позвольте! Но ведь «произвол дирекции трамвая становится невыносимым»!

— Пустяки. Из невыносимого легко сделать сносное: надо только научиться терпеть.

— Но ведь замощение Пересыпи «является неотложной нуждой»!

— И это пустяк. Неотложное весьма легко может быть превращено в отложимое: для этого надо только его отложить.

— Чем же тогда занималась дума?

— А так... Домовладелец Голомозенко захватил три сажени городской земли: обсудили и отстояли городскую землю.

И опять вы уезжаете из Одессы.

И опять проходит год.

И опять вы возвращаетесь и опять читаете в газетах:

— Необходимость создать городской ломбард ясна сама по себе...

— Потребность населения в русской драме нельзя не считать уже совершенно назревшей...

И опять оказывается, что за весь год орган городского самоуправления воевал с Голомозенко и тем временем поджидал, пока «совершенно назревшее» перезреет, да то, что «ясно само по себе», станет еще яснее, да при этом выносил невыносимое и откладывал неотложное.

Это из года в год. Сколько я помню нашу думу, она воюет с Голомозенко.

Сколько я помню нашу думу — это не особенно много времени, но трижды достаточно для того, чтобы твердо и резко выдать общественному учреждению диплом бездеятельности.

Потому что, если даже подобрать те поддюжины «шагов», которые наша дума за это время — слава тебе Господи! — сделала, и распределить их на все то время, в течение которого я ее помню, то на каждый год получится крохотная дробь, а на каждую сессию — бесконечно малая величина, то есть ноль.

Да и «шаги» эти, сами по себе, так мало зависели от вашей, милостивые государи, доброй воли и инициативы, что даже вне понятий времени и пространства трудно сказать вам за них доброе слово.

Об этой самой русской драме стон стоит в одесской печати с самого дня сотворения мира.

Вы слушали и поджидали, пока назревшее перезреет.

И, ей-богу, не случись тут г-н Масленников или поленись он произнести такую славную речь о ваших, милостивые государи, театральных вкусах, — вы бы и до сих пор поджидали.

Потому что за минуту до того, как поднялся г-н Масленников, никто из вас и не подозревал, чем кончится заседание.

И потому что, узнав на следующий день о вашем решении в пользу русской драмы, мы были ужасно изумлены, а вы, милостивые государи, еще больше нас.

Это решение меньше всего исходило от вас, а выскочило у вас как-то неожиданно, вроде давно застрявшей косточки, потому что нашелся человек, который ловко хватил вас по загрбку именно так, чтобы косточка выскочила.

Или возьмите ваше отношение к упорядочению дачных местностей и курортов.

Ведь от морских купаний и лиманов зависит добрая половина будущности нашего города.



А когда вы, милостивые государи, заинтересовались украшением Малофонтанской дороги?

Печать давным-давно долбила, стучала и пела на эту тему, но вы только слушали да воевали с Голомозенко.

А когда наконец в дело вмешалась инициатива самих дачевладельцев, тогда только и вы зашевелились и сказали:

— Да, Пратер, конечно, собственно, отчего же...

Значит, опять тут не вы, а частная инициатива.

Надо, впрочем, заметить, что хотя вы, милостивые государи, и зашевелились, однако Малофонтанская дорога все еще и не начала походить на Пратер...

А теперь вы, кажется, вспоминаете о Молдаванке.

Но почему?

Потому, что жители Молдаванки поняли, что от вас им нечего ждать, и решили за свой счет осветить свои керосиновые палестины электричеством.

А много ли вашей заслуги в том, что столько лет хворавший водопровод наконец стал на ноги?

Тут вы, милостивые государи, были совершенно ни при чем.

Это дело провел на своих плечах один энергичный человек.

И любопытно, что при этом он оказался виновным в грехе «неколлегиальности», потому что, будь он «коллегиален», то есть действуй он с вашего, милостивые государи, ведома, совета и соизволения, он, этот энергичный человек, сидел бы на мели точно так же, как сидите вы.

На дирекцию трамвая мы теперь также не столько жалуемся. Она как будто чуточку исправилась и стала немного почтительнее к городу.

Я убежден, что вы думаете, будто вы этого добились.

И хотел бы я посмотреть, как третировала бы вас эта самая дирекция, если бы не подходил срок выкупа...

Странный это фокус, из года в год показываемый нам нашим органом городского самоуправления.

Все то небольшое, что этот орган делает для блага нашего города, — все это или получается у него совершенно случайно и нечаянно, или выдавливается из него такой необходимостью, которая дошла уже до степени *force majeure*<sup>1</sup>, или совершается прямо-таки помимо него и почти наперекор.

А его собственные воля и инициатива пребывают где-то в стороне — при деле Голомозенко.

---

<sup>1</sup> Непреодолимое обстоятельство (*фр.*).

Удивительный фокус!

И это называется «самоуправлением». Городское население само собой управляет. То самое городское население, которое, проживая на Болгарской улице, уже в третий раз умоляет город убрать оттуда публичные дома.

И не может добиться не только того, чтобы дома убрали, но даже того, чтобы дума рассмотрела этот вопрос и хоть бы отказала.

«Самоуправлению» некогда.

Это отмазывание до того вошло в систему, что уж даже не носит боевого характера, а проводится просто и мирно, буд-то так и надо.

Год за годом о какой-нибудь городской нужде вопиет печать и толкуют граждане, а в частных беседах толкуют даже сами гласные и управцы.

Но в программах думских сессий не появляется и намек на эту тему.

И никто этому не удивляется. Только газетчики пишут:

— Следовало бы обратить внимание и на не раз поднимающийся в местной прессе вопрос о... и т. д.

И больше ничего.

И так идет год за годом, и город выносит невыносимое и откладывает безотлагательное, пока наконец назревшее не перезреет до того, что уж от ветерка валится прямо на голову сонным отцам-радетелям нашего города.

Тогда им остается только снять свалившееся с головы, положить на стол и сказать:

— Есть!

На это они, с грехом пополам, способны.

*Altalena*

*Одесские новости. 29.06.1902*



## **Вскользь**

Новое положение о внебрачных детях гораздо лучше старого положения о незаконных детях. Оно — шаг вперед, это — несомненно.

В старом законе отражался старый предрассудок, что грех родителей — на детях.

Новое «положение», очевидно, строилось на новом принципе, что какова бы ни была вина родителей, дети за нее не ответственные.

Этот принцип, конечно, можно было бы провести полнее, чем оно сделано в новом положении.

Здесь «наказание» детей за вину родителей еще не вполне отменено, а только сильно смягчено и обставлено, так сказать, большим количеством поводов для амнистии.

Но на половинчатое преобразование надо всегда смотреть как на первую половину полной реформы.

Поэтому, если у нового «положения», ввиду его половинчатого характера, найдутся критики-пессимисты, я заранее советую вам не соглашаться с ними.

Я, собственно, хочу сегодня поговорить именно о такой частности нового «положения», к которой критика уже отнеслась, в общем, недоверчиво, когда в газетах впервые заговорили о проекте нового закона.

Я имею в виду то, что по новому «положению» незаконные дети будут называться «внебрачными».

Газеты в большинстве нашли, что дело не в имени.

— Достаточно того, — писалось тогда, — что одной категории детей безвинно дается кличка в отличие от другой, более счастливой категории. Это уже клеймо само по себе, какое бы мягкое слово вы ни подобрали для этой клички.

Газеты были, конечно, правы в том смысле, что детям ни сколько не легче от перемены клички.

Кто из вас косился, узнав, что вы «незаконный», будет на вас одинаково коситься, когда узнает, что вы только «внебрачный».

Это так.

И я даже не думаю, чтобы редакторам нового закона не пришло это в голову.

Без сомнения, редакторы прекрасно сознавали, что не в перемене клички облегчение.

И составляя закон, цель которого — облегчение, редакторы не для этой практической цели во главу поставили пункт, не имеющий никакого практически облегчительного значения.

Тем более важно появление этого пункта.

Важно как чистое знамение времени.

Слово «незаконный» в этом применении стало диссонансом.

И, очевидно, диссонанс уже звучит очень и очень резко, раз к нему отнеслись с таким вниманием законодательные сферы.

Совершенно верно указала критика, что перемена клички есть борьба со словами, но борьба со словами — не всегда пустое дело.

Иногда за словом прячется предрассудок. Иногда слово есть тот самый последний волосок, на котором висит отживший, но цепкий предрассудок.

Он висит еще над нами и кропит нас последними брызгами своего яда, но уже все ветры кидают и раскачивают его из стороны в сторону — и оттого последний его удерживающий волосок трещит и визжит, создавая диссонанс.

Вникнем в разницу между этими двумя словами. Она очень важна.

«Внебрачный» — это сухое, равнодушное констатирование факта.

«Незаконный» — это осуждение, неодобрение, порицание.

Первое слово — новое — совершенно бесцветно.

Второе — старое — носит такой оттенок, точно, произнося его, мы должны укоризненно смотреть на «обвиняемого» ребенка и приговаривать:

— Нехорошо, молодой человек...

Этот элемент укоризны и есть злобное дыхание предрассудка.

Он напоминает о том отжившем мировоззрении, по которому инстинкт продолжения рода, влекущий, согласно воле самой природы, мужчину и женщину друг к другу, считался грязным и греховным.

И все, что на почве его свободно и естественно возникало, считалось гадким и преступным и требовало искупления и очищения.

Для нас это мировоззрение отжило. Для нас природа свята и инстинкты ее святы.

И теперь, мне кажется, мы видим, что и для тех сфер, от которых зависит переработка правовых норм русской жизни, тоже отжило и потеряло свой кредит это мрачное мировоззрение старины.

Множество причин заставляют сохранить еще разницу в правах брачных и внебрачных детей.

Но уже оттенок осуждения, укоризны, неодобрения вычеркнут из этой разницы.

Факт признается естественным фактом, и уже нет речи о его незаконности.

Эта замена слова словом лишена практического значения, но принципиально она указывает на то, что победа нового духа над старым шаг за шагом распространяется повсюду.

Я не оптимист — или, скорее, выражаясь философски, я оптимист во времени, но отнюдь не в пространстве, — и заговорил я на эту тему не для ликования и псалмопевства.

Я только пользуюсь лишним случаем указать на то, что сейчас сказал и во что твердо и беззаветно верю: победа нового духа над старым шаг за шагом распространяется *повсюду*.

И мы можем надеяться.

Потому что, повторяю, половинчатое преобразование есть только половина полной реформы, а первый шаг есть только предвестник второго.

Мы взбираемся по большой лестнице и никогда не остановимся, потому что никто не властен нас остановить — и мы сами не властны остановиться.

**Altalena**

*Одесские новости. 2.07.1902*



## **Вскользь**

Г-н Прибик — очень хороший капельмейстер.

Парк на Хаджибейском лимане прелестен.

Сочетание музыки г-на Прибика с обстановкой Хаджибейского парка — великолепное сочетание.

Но зачем было взимать с меня двадцать копеек?

Протестую перед лицом всего мира.

Я плачу квартирный налог, велосипедный налог и больничный налог и не протестую, ибо это показано в законе.

Но двадцать копеек за проход через Хаджибейский парк в законе не показаны, и я как гражданин не могу не протестовать.

Я, собственно, пробовал протестовать там, на месте происшествия, но был сокращен.

Мне сказали:

— Возьмите билет, господин.

Я сказал:

— Почему?

Мне сказали:

— Сегодня концерт.

Я сказал:

— Я не для концерта приехал.

Мне сказали:

— Без билета нельзя быть в парке.

Я сказал:

— Мне надо пройти через парк.

Мне сказали:

— Без билета нельзя.

Я вздохнул, заплатил двугривенный и получил билет.

А если бы у меня не было двугривенного? Ведь на земле нет ничего невозможного.

Тогда мне пришлось бы обойти кругом парка.

Но я не знаю дороги, так что я мог бы заблудиться, попасть на Куяльник или утонуть в соляных промыслах во цвете лет...

Но и двугривенный, собственно, не спас меня от риска безвременной гибели.

Ибо, пройдя парк и выйдя в калитку, у которой тоже сидел господин и продавал билеты, я увидел там, как говорится в «Вороне» Эдгара По:

*Мрак и больше ничего.*

Собственно говоря, в небесах имелся большой кусок луны, но в эту минуту был закрыт облаками и не функционировал.

На улице, ведущей мимо дачи де Спиллер очень круто в гору, ни одного фонаря.

Я хотел вернуться назад — но там сидел господин и продавал билеты.

В этом отчаянном положении я ринулся вперед.

Облака были дырявые. На моем крутом и утесистом пути было то светло, то темно.

В светлые минуты я отирал холодный пот и вглядывался, далеко ли еще до места моего назначения.

В темные минуты я спотыкался и натыкался.

Вдруг на верхушке подъема передо мною мелькнул качающийся огонек. Кто-то шел с фонариком мне навстречу.

Я умилился. С фонариком! Совсем как в местечке Маяках, где я провел золотые годы детства...

И я бодро стал держать курс на фонарик, с расчетом, однако, не столкнуться с ним, а обойти его слева.

И когда фонарик приблизился ко мне, я сделал маневр налево и... налетел на дамский корсаж.

У фонарика была спутница!

От неожиданности я не успел вовремя отшатнуться от корсажа, так что дама вдруг закричала:

— Нахал!

А фонарик зарычал:  
— Как двину в зубы!..

Я умер от страху, собрал все силы, сделал даме кроссинг, налег на педали и сделал блестящий спурт. Ужас гнал меня, отчаяние освещало мне темную дорогу...

На счастье сквозь дырочку тучи выглянул месяц, я ориентировался и юркнул в ближайшие ворота.

А если бы ночь была безлунная?

В прошлом году на даче де Спиллер жил один гласный нашей достопочтенной думы, и тогда улица освещалась.

В этом году гласный там не живет...

Однако же, тем не менее, при всем том, несмотря на это, все-таки, может быть, достопочтенная дума обратит благосклонное внимание?

Удобный повод созвать чрезвычайную сессию, заслушать доклад и избрать комиссию, поручив ей, в возможно наискорейший промежуток времени, рассмотреть, препроводить и так далее...



Пикантное происшествие.

На перрон станции Крыжополь Подольской губернии явились три девицы-учительницы.

Они собирались в Одессу.

На том же перроне гулял со своей дамой некий г-н Сташевский, молодой человек удалого телосложения.

Он прибыл из Тульчина для участия в товарищеской пирушке.

Из последующего очевидно, что пирушка удалась на славу.

Сташевский прошел со своей дамой мимо трех девиц, осмотрел их, остался доволен и пустил вслух на весь перрон резолюцию:

— Вот так чертенята!..

Девицы молча прошли дальше.

Сташевский поравнялся с ними вторично, проверил первое впечатление и все-таки повторил:

— Какие мордашечки!

Девицы молча прошли дальше.

Сташевский сделал третий поворот и уже в полном упоении возгласил:

— Хорошенькие девчоночки!

Девицы обиделись.

Одна ответила:

— Дурак.

Другая:

— Идиот.

Третья ничего не сказала.

А Сташевский, недолго думая, оставил свою даму, поплевал себе в ладони и пошел войной на трех девиц.

Девушки пришли в ужас и крикнули:

— Что вы делаете, ведь мы женщины!

Ответ был такой:

— А, так ты женщина?

И первая из девиц получила два удара по голове.

Затем второй достался удар по голове и удар в бок.

Третья уцелела.

Девушки бросились к начальнику станции — но начальник станции отнесся к ним очень холодно и посоветовал составить протокол.

Девушки кинулись в буфет и там узнали фамилию героя.

Но при этом —

— Трудно описать, — передают они, — как здесь Сташевский обращался с нами.

Он кричал:

— Я вам разнесу ваши фотографии!

— Раскровяню ваши поганые рожи!

— Не только вслух, — вспоминают бедные девушки, — но и наедине с собою невозможно повторить той площадной брани, которую позволил себе он по нашему адресу... А в конце концов он схватил одну из нас за воротник и вытолкнул ее из буфета.

Пикантно, правда?

Когда я слышу о подвигах этого рода, я никогда не могу возмущаться против главного героя.

Хам есть хам, пьяный хам есть пьяный хам. Что вы с него возьмете?

Но публика!

На перроне было много народу — и не нашлось ни одного порядочного человека, чтобы взять на себя труд — хватить пьяницу по загривку столько раз, сколько нужно было для восстановления порядка.

Любопытно, что каждый из нас при таких сценах думает с трепетом сердца:



— Ведь то же может случиться и с моей дочерью!..

И... стоит, сложа руки.

Позвольте, господа, будьте же справедливы: отчего, спрашивается, не бить ваших дочерей, если вы не умеете заступаться?

Хам есть хам, но я только не знаю, кто хуже: хам или публика.

**Altalena**

*Одесские новости. 5.07.1902*



## **Везет — не везет**

В «Мире Божиим» переведена любопытная статья Метерлинка о судьбе.

Слову «судьба» придаются разные значения; Метерлинк берет его в самом обыденном, житейском смысле.

Но этот обыденный, житейский смысл есть в то же время самый глубокий и важный для нас.

Именно *эта* судьба есть та, с которой мы чаще всего сталкиваемся и от которой ощутительнее всего зависим.

Метерлинк берет судьбу в ее значении: «везет — не везет».

Одному человеку во всем удача.

Драгоценные камни валяются у него под ногами.

Он ленив, он пропускает мимо рук десятки удобных случаев.

Но как раз в тот момент, когда он победит наконец свою лень и протянет руку, — тут-то и подплывет самый удобный случай.

Он его схватит, зажмет в кулаке — и успех готов.

Другой и умен, и энергичен, а удачи нет.

Все хорошее ускользает, а под ногами попадают только те камни, о которые можно споткнуться.

Есть люди, вся жизнь которых отмечена одним из этих направлений судьбы: везет или не везет.

Есть люди, у которых такое направление можно проследить только в какой-нибудь ограниченной области их жизненного движения: везет по службе, не везет в карты.

Есть, наконец, люди, у которых эти направления чередуются по периодам.

До такого-то года и принципал его не любил, и секретарь придирался, и вообще не везло.

А потом вдруг повезло. Принципал умер, секретаря сменили, все стали относиться прекрасно и давать прибавки и повышения.

Или, из той же категории, еще более популярное и обыденное стечение обстоятельств.

Сели вы играть в азартную игру. Играете — и раз за разом проигрываете.

За вечер промечут раз двести или триста, а к вам только раз 25 приплывут порядочные карты.

На следующий вечер картина меняется.

Опять мечут до 300 раз — и уже только раз 25 у вас на руках остаются дрянные карты, а 275 раз вам везет.

Метерлинк спрашивает себя:

— Чем это объяснить?



Прежде всего, необходимо установить самый факт.

Есть люди, так сказать, ослепленные, даже опьяненные трезвостью и здравомыслием.

Покажите им феномен, выходящий из компетенции сегодняшней науки, — они никогда не скажут:

— Не знаем.

Они заявят:

— Такого феномена вовсе не существует. Это иллюзия, обман зрения, а не то — так просто простой обман.

Так и в этом случае.

Очень трезвый человек может найти, что феномена «везет — не везет» вовсе не существует.

Что это просто суеверие.

Один более ловок и умен — оттого ему все и удастся.

Другой глупее и мешковатее — оттого он и проваливается.

И только глупые люди уверяют:

— Не везет!

До такого-то года человеку не везло? Но это было вполне естественно, раз принципал его не любил.

Принципал сменился — и тут опять-таки вполне естественно, что новому принципалу наш человек понравился.

А понравился принципалу — не могло не повалить счастье.

Что же касается сегодняшней удачи в картах и завтрашней неудачи — это совсем уже пустые случайности.

Это так мелко, что притягивать к зеленому столику судьбу — даже невежливо...

И так далее.

Во всем этом много правды.

Но постараемся выделить эту правду и посмотрим, что останется.

Я не могу обязать вас произвести этот анализ — и потому буду говорить за себя.

Я часто вглядывался внимательно в свою жизнь и в жизнь моих соседей.

Чаще всего эти жизни бывали совершенно бесцветны: везло или не везло, нельзя было сказать, потому что вообще не наблюдалось никакого движения — было простое заколоченое сидение на месте.

Но иногда на этих жизнях ясно выделялись цветные полосы.

Полоски преимущественной удачи — и преимущественной неудачи.

И, замечая эти полосы, я прежде всего старался отделить от них все то, что было «вполне естественно».

Я отбрасывал то, что объяснялось умом и ловкостью.

Отбрасывал то, что необходимо вытекало из общественного положения человека.

Отбрасывал одиночные случайности.

Мне кажется, что я производил эти раскопки достаточно «трезво» и беспристрастно, ибо какое же у меня могло быть пристрастие к тому, чтобы непременно доказать присутствие судьбы?

Я ведь не мистик, а совсем напротив.

И вот если бы «трезвость» была права, то после этой чистки от замеченных мною полосок удачи или неудачи не должно было остаться и следа.

Если бы «так называемая» удача состояла только из «вполне естественных» элементов, то у меня, когда я отобрал все «вполне естественные» элементы, получилось бы весьма пустое место.

Но у меня пустого места не получилось.

Случай послал мне навстречу двух личностей, словно нарочно препарированных для опытов этого рода.

Одна из этих личностей не занимала никакого общественного положения. Ни она, ни ее родные и близкие, которые могли бы содействовать влиянием и протекцией.

Правда, личность эта была умна и ловка. Но ум и ловкость ее были такого рода, что совершенно не подходили к той области, в которой она действовала и искала удачи.

Там нужна была осмотрительность и расчетливость. Эта личность была стремительна и беспечна до забубенности.

Там нужен был солидный опыт — эта личность заменяла его широкой фантазией.

Если вы помните «Тараса Бульбу» — нужен был Остап, а эта личность была, как две капли воды, похожа на Андрея.

И ей — рассудку вопреки, наперекор стихиям — везло.

Жизнь бросала этого человека из угла в угол, как мячик, но мячик был закодированный, и там, где он падал, вырастали цветы.

Он столкнулся с женщиной, не успел в нее всмотреться, скоропостижно женился — и она оказалась прекрасной подругой жизни.

Он поссорился со своими шефами, бросил дело и вышел на улицу — и как раз на том перекрестке, куда он вышел, стояло новое дело, более почетное и выгодное, и манило его к себе пальцем.

Случайно, неожиданно — еще накануне сам он об этом не думал — ему пришлось бросить свои деньги на биржу. Биржа выкинула ему под ноги сторицу того, чем он рисковал.

Только в конце жизни поликратов перстень ему изменил.

Близкие, но подлые люди воспользовались его доверием и погубили его.

Но ведь это-то и было «вполне естественно»! Доверчивого человека не могли не обмануть.

Значит, выбрасывая из жизни этой личности все «вполне естественное», мы должны отбросить и эту единственную неудачу.

И останется полная постоянная удача, ни на чем не основанная, ни от чего не причинная, — чистое, голое «везет».

Другой личности не везло.

Я никогда не видал никого симпатичнее этой личности.

И внешность, и духовные качества ее располагали к себе всякого, кто подходил близко.

Даже завистников было немного, потому что достоинства этой личности были не из тех выдающихся и режущих глаза доблестей, которые вызывают зависть.

Это были простые, скромные и милые достоинства симпатичного человека.

И не везло. Жизнь тоже кидала эту личность из стороны в сторону, как мячик.

Но мячик был иначе заколдован. Где он падал, там вырастали колючки.

Люди, входившие в соприкосновение с этой личностью, призванные и желавшие создать ее счастье, — оказывались заранее связанными по рукам и ногам.

Вместо счастья они валили горести на этого человека.

Эта личность была осторожна, благоразумна, вдумчива... ничто ей не помогло.

Неудача принимала все виды и подстерегала ее даже на тех дорогах, куда она сама попадала случайно и неожиданно.

А время от времени приходила смерть и сдвигала именно тех, кто мог еще поддержать и заступиться.

*У счастливого недруги мрут,  
У несчастного друг умирает...*

И вот во всех главных случаях этих двух жизней я не вижу ничего, кроме случайностей, которых не предвидели и не могли предвидеть.

Случайность возможна раз и два; но если случайностей много и если все они носят одинаковый характер — у одного счастливый, у другого несчастный, — и если ими окрашивается вся жизнь данного человека, — тогда случайности заставляют нас подумать о правиле.

Даже в азартной игре, где все — случай, — если 275 случайностей против меня, а 25 за меня, то прямо по теории вероятностей нельзя предположить, чтобы такая неравномерная комбинация случайностей сама была случайностью.

Должно быть что-то или в нас, или вне нас, что сегодня помогает нам угадывать шансы, а завтра будет нам мешать.

Мне представляется несомненным, что феномен «везет — не везет» существует и не есть наша иллюзия или суеверие.

Это — действительное явление, давным-давно подмеченное, закрепленное во множестве легенд и пословиц и создавшее особые слова на всех языках, наречиях и жаргонах.

Нет, кажется, диалекта, на котором не было бы какого-нибудь равнозначущего понятию «везет».

«Трезвое» отношение к таким упорным и повсеместным суевериям должно заключаться не в огульном пожимании плечами, а во вдумчивом исследовании.



Раз установлен этот странный феномен, что случайности любят группироваться по однородности, то есть «счастливые» со «счастливыми», а «несчастные» с «несчастными», — становится неизбежным вопрос Метерлинка:

— В чем причина этого явления?

То есть: что такое судьба.

Прежде полагалось, что судьба есть некая верховная над нами сила или нечто исходящее от такой высшей силы.

Этот взгляд для нас, конечно, несовременен и неудобен.

Метерлинк полагает, что разгадка судьбы не вне нас, а в нас.



Ум, рассудок, так называемые мыслительные способности далеко не исчерпывают всей нашей психики.

Ум — только верхний слой ее.

Под этим словом есть глубина, где смутно копошатся разные инстинкты, настроения, влечения, не поддающиеся контролю разума, но еще доступные сознанию.

Метерлинк полагает, что *эта* глубина — еще не последняя глубина.

На движении отдаленнейших планет ученые заметили следы какого-то неведомого влияния, вызывавшего отклонения от правильной орбиты.

Они вычислили эти отклонения и остановились на гипотезе, что источником влияния должна быть некоторая новая планета, находящаяся, несомненно, там-то и там-то.

Направили трубы туда — и действительно нашли новую планету.

Есть много явлений, которые точно так же заставляют нас принять в виде единственной разумной гипотезы ту, что в психике человека должен быть еще какой-то неведомый источник влияний.

Что, кроме областей, доступных сознанию, есть еще область бессознательного. Там должны возникать те же инстинктивные влечения и настроения, что и в сознательной области, но еще только зачаточного порядка, еще недостаточно дифференцировавшиеся от чисто физиологических рефлексов — *и потому влияющие на нашу волю не через сознание, а помимо сознания, без его ведома, непосредственно.*

Подобно тому как мы производим физиологически рефлекторные акты, не давая в них отчета сознанию, бессознательная психика диктует нашей воле свои требования, не задевая сознающих центров.

То, что стоит между рефлексом и инстинктом, рефлекс высшего порядка или инстинкт низшего порядка, — это и должно составлять бессознательный слой нашей психики.

И как только мы принимаем его существование, через эту гипотезу до некоторой степени объясняется многое, что принято пока считать необъясненным.

Все категории таинственных предчувствий, телепатии, угадывания мыслей и пр. находят объяснение в этой гипотезе.

Потому что бессознательная психическая сущность должна быть одарена большой чуткостью.

Мы вообще видим, что чем выше ступень развития, на которой стоит существо, чем оно больше оторвано от стихийной природы, тем больше атрофировано в нем бессознательное чутье.

Даже дети чутьем угадывают в характере чужого человека многое, чего взрослые не замечают.

Беглец в поле прислушивается и не слышит погони. Тогда он прикладывает ухо к земле — и земля передает ему отголосок топота.

Чем ближе к земле, к стихийной природе, тем тоньше это бессознательное, непосредственное чутье.

Бессознательная психика и есть та область нашего духа, которая всего ближе связана с землею, с нашей слепой телесной сущностью. Отсюда ее чуткость.

И поэтому, когда нечто грозит нам, чего разум не предвидит, она может непосредственно, по своего рода телеграфу без проводов, учуять близкую тучу и внушить нашей воле бессознательный порыв к рефлекторной самозащите.

То же и в обратном случае, когда вблизи от черты моего пути есть нечто для меня благоприятное, но ум мой того не видит, и я прохожу мимо: тогда бессознательные слои моей психики улавливают чутьем то, что слишком тонко и неуловимо для больших глаз нашего ума, и побуждают меня бессознательно, рефлекторно свернуть в добрую сторону.

И все дело в том, насколько сильна и чутка эта бессознательная психика у каждого отдельного субъекта.

У одного больше, у другого меньше.  
В этом различии Метерлинк и видит разгадку судьбы.  
Чуткому «везет», нечуткого преследует неудача.



Думаю, что после всего сказанного точка зрения Метерлинка не потребует дальнейших пространных объяснений даже для тех, кто не прочел перевода его статьи.

Причину того, что одному человеку везет, а другому не везет, он видит в большей или меньшей бессознательной чуткости.

Это, если хотите, те же ловкость и ум — только совсем другого порядка.

Обыкновенный ум и ловкость укажут вам лучший выход из запутанного дела.

Но они не предскажут, что именно за этим лучшим выходом вас и подстерегает ваш злейший враг.

Ум же и ловкость бессознательного чутья заключаются в том, что они уловят, так сказать, запах враждебности, идущий из засады, и побудят вашу волю метнуть вас к другому выходу.

Выше я говорил о человеке, которому везло.

Я представляю себе жизнь в виде большой водной равнины, которая усеяна и подводными камнями, и цветущими островами.

Вихрь жизни гнал и трепал паруса этого человека во все стороны.

Вы думаете, что то был «благоприятный ветер»?

Ничуть. Это был просто ветер — неодоушевленное, неосмысленное и бесцельное течение воздуха.

И иногда он гнал лодку этого человека прямо на подводные камни.

Но вокруг подводных камней слышен всегда особый рокот.

Ухо человека могло бы расслышать его только вблизи, когда было бы уже слишком поздно.

Но бессознательное чутье улавливало его еще издали.

И рука человека, незаметно для него самого, делала рефлекторное движение — и руль поворачивался и менял направление лодки.

А с цветущих островов тянуло свежим ароматом зелени.

И хотя глаза человека издали еще не видели даже марева такого островка, бессознательное чутье уже слышало его



благоухание и заставляло руку направлять руль и паруса к этой неосознанной цели.

И получилось впечатление, будто ветер по своей воле спасает лодку от крушения и гонит ее к пристани.

Точно так же, как в другом случае казалось, будто ветер хочет погубить пловца и нарочно гонит его на подводные скалы.

Ветер гонит куда попало. У кого есть, глубже ума и сознания, мощная струя стихийной чуткости, тот спасется; у кого она плоха — тот налетит на рифы.

Чуткий человек похож на летучую мышь, которая летает и шарахается в полной темноте среди натянутых проволок — и никогда не заденет ни одной.

— А карты? — спросите вы.

Я в детстве часто играл в «азартную» игру для двоих под названием: «пьяница».

Мы тасовали колоду, делили ее «напополам» и начинали состязаться.

Я открывал верхнюю карту, и он открывал верхнюю карту; чья была выше, тот брал себе обе карты и увеличивал ими свою полую колоду.

Побежденным считался тот, кто терял таким образом все свои карты. Его дразнили, прыгая на одной ножке:

— *Пьяница, пьяница,  
За копейку тянется!..*

Насколько я помню, в этой игре никому никогда заметно не везло.

Да и не могло везти.

В баккара, в макао, в игре «орел и решка» есть место для участия вашей воли. Вы можете выбирать одну или другую комбинацию.

В «пьянице» выбирать нечего — это чисто механическая игра, где от вас абсолютно ничего не зависит.

Если бы нашелся досужий человек, я предложил бы ему проверить путем многих опытов, может ли в такой игре «везти» или «не везти».

Если бы — как я убежден — оказалось, что не может, что в абсолютно механической игре счастье покидает самого счастливого и неудача бросает самого несчастного игрока, так что между ними воцаряется равенство случайностей, — тогда можно было бы считать доказанным, что разгадка феномена «везет» коренится в нашей бессознательной психике.

В такой азартной игре, где возможен свободный выбор комбинаций, чуткий игрок, возбужденный азартом, бессознательно ощущает настроение банкюмета и своих соседей.

Это настроение так несложно. При хороших картах — радостное, при сомнительных — колеблющееся, при плохих — хмурое. Опытный зоркий физиономист даже сознательно и нарочно может прочесть эти впечатления.

Тем легче угадает их бессознательное чутье «счастливого» игрока — и рефлекторно побудит его сделать именно то, что для него в данную минуту всего выгоднее...



Когда обыкновенно человеку везет во всем: в картах, в острогах, в прыжках?

Когда он «в ударе».

Быть в ударе значит испытывать гармонический подъем своей жизненной энергии.

Это — такое состояние, когда ни одна мелочь вашей духовной и телесной организации не дает диссонанса общему аккорду: когда все в порядке, все цело и *цельно*, как в образцовой машине.

Тогда и стихийная бессознательная психика лучше работает и более чутко слышит и видит неслышное для уха и невидимое для глаза.

И подсказывает вам удачный ход, меткое словечко, ловкое движение.

Поэтому человек в ударе есть человек цельный, решительный, самоуверенный.

И «везет» тому человеку, который всегда целен, решителен, самоуверен.

Если бы у меня оставалось время и место, я подробно остановился бы на двух типах из «Претендентов на корону» Генрика Ибсена.

Один претендент — ярл Хокон — и умен, и опытен, и храбр, и благороден. Но он колеблется. В нем нет самоуверенности. И ему не везет.

Другой претендент — принц Скуле — далеко не так богато одарен достоинствами, как Хокон. Но он — королевской крови и *верит* без всяких сомнений в себя и свое право. Оттого он тверд и решителен — и ему во всем удача.

Перечитайте эту прекрасную драму и запомните навсегда, что успех принадлежит, судьба порабощается только цельному, решительному, самоуверенному борцу.

**Altalena**

*Одесские новости. 7.07.1902*



## **Вскользь**

Какой славный хлопец!

Пензенский гимназист семнадцати лет — в чине офицера бурской армии.

Газетное семнадцать обыкновенно означает около двадцати трех.

Но в этом случае вряд ли бурскому офицеру больше семнадцати.

Он удрал, вероятно, в прошлом или позапрошлом году.

Если бы ему тогда было больше шестнадцати или даже пятнадцати лет, он не удрал бы.

Он остался бы в Пензе и перешел бы в следующий класс с наградой.

И ему дали бы «Отроческие годы Пушкина» в роскошном переплете.

Он вместо этого удрал, доехал до Южной Африки, стал офицером и вернулся назад, а его сверстники даже еще не студенты.

Какой триумф! Сколько гимназисток влюбится в него теперь?..

Даже пензенские папаши не откажут ему в аттестации:

— Молодчина!

И господин директор разрешит принять его, по надлежащем испытании, в седьмой класс пензенской гимназии.

Словом, вся родина приветливо встретит пензенского гимназиста.

И при этой встрече он глубоко задумается и спросит себя:

— Но почему же эта родина проводила меня свистками?

Папаши все время только и делали, что «горячо сочувствовали» бурям: я взял да поехал осуществлять это самое сочувствие на деле.

Но вместо того чтобы ободрить и благословить меня на дорогу, они сначала хотели меня изловить по дороге, а когда это сорвалось, вышутили меня.

Они настаивали, что я молокосос, начитавшийся Майн Рида, Жюль Верна, Буссенара, Жаколио и Густава Эмара.

Это, положим, правда. Я тогда был молокососом и действительно начался Буссенар.

Но Буссенар все-таки писатель, а *они* чего начитались?

Теперь они забыли про Жаколио и говорят, что я — юный герой.

И я теперь ясно вижу, что все они — вредные дураки.

Дураки потому, что кланяются в ноги моей удаче.

А вредные потому, что раньше изо всех сил мешали мне достигнуть этой самой удачи, которой они теперь льстят.

И еще вдвойне вредные дураки потому, что этот урок им не впрок.

И они будут и впредь толкать своих детей на ту же линию.

И когда кто-нибудь из их сыновей опять захочет уклониться от линии и пожить в воздушных замках, они подставят ему ножку точно так же, как пытались подставить ее мне.

*Sic mundus*<sup>1</sup>, — закончит он латинской цитатой и возьмет-ся за учебник.



Кстати, о Жюле Верне.

Идеи, предчувствия и желания эпохи носятся в ее воздухе.

Их угадывает неуловимыми путями каждый чуткий человек, хотя вокруг него, может быть, они еще ничем видимым не проявились.

Во Франции — по крайней мере, издали — еще снаружи не видно, чтобы общество утомилось романом.

В России это явление бьет в глаза за тысячу верст расстояния, потому что новые русские таланты не пишут романов, а когда пишут, то неудачно, а старые таланты, хотя творят романы, но публика, делая исключение для Льва Толстого, этих произведений не замечает.

Во Франции же каждый месяц появляется новый желтый томик Calman Lévy или Hachette с романом из 300 страничек, иногда за знаменитой и всегда за популярной подписью, — и, главное, производит эффект и фурор.

Все, что в последние годы нашумело в России, — все это были коротенькие рассказы.

---

<sup>1</sup> Таков мир (*лат.*).

И все, что в то же время произвело сенсацию в Париже, имело 300 страничек: *Les vierges fortes*, *Léa*, *Le journal d'une femme de chambre*<sup>1</sup> и дальше — до разных фурорчиков мелкой пробы, всяких *La morphine* и *L'amoureuse trinité*<sup>2</sup>.

Вымирание романа, которое в России так заметно с первого взгляда, во Франции фактически еще не наступило.

Есть только симптом близкого конца — то оскудение, измельчание романа, которое резко бросается в глаза при сравнении теперешних желтых томиков с тем, что печаталось не дальше как 15–20 лет назад.

Эта хилость, предвестница смерти, вероятно, и внушает чутким людям уверенность, что роман и во Франции прикажет долго жить.

Жюль Верн находит, что желтые томики будут вытеснены газетой.

Эта фраза немножко непонятна, потому что слишком сокращена.

Обыкновенный средний читающий господин не может обойтись без беллетристики.

Газета — особенно в том виде, который она приняла на западе, — не может сама по себе заменить беллетристику.

Ни фельетон, ни самый талантливый репортаж, ни «руководящие» памфлеты не заменят ее.

Не газета заменит роман, а газета станет приютом новой беллетристики.

Нервное поколение, нетерпеливое, суетливое и вместе с тем ленивое, понимающее все с полупапеки, откажется от больших многоблюдных обедов и будет закусывать наскоро литературными бутербродами такой величины, чтобы каждый можно было проглотить чуть ли не в один прием.

Мелкий рассказ, которому должно принадлежать господство в беллетристике ближайшего будущего, не станет, конечно, ютиться в глубине толстого журнала или сборника, а поселится в газете.

Быть ли от этого добру — Бог весть.

Я думаю, впрочем, что ни добру, ни злу от того не быть, а все останется, как было.

---

<sup>1</sup> «Сильные девы»; «Лия»; «Дневник горничной» (фр.).

<sup>2</sup> «Морфий» и «Любовный треугольник» (фр.).

Беллетристов никто кнутом погонять не будет, и они смогут, если захотят, отделять свои мелкие рассказы так же старательно, как отделявали бы роман.

А что касается опасения, как бы читатель не приучился слишком легко забывать то, что прочел в эфемерной газетке...

Так ведь, откровенно говоря, господину читателю в массе и теперь наплевать на всякую литературу, и тогда будет наплевать.

**Altalena**

*Одесские новости. 7.07.1902*



## **Вскользь**

Я теперь хожу по всему городу и ищу впечатлений.

Забрел поэтому вчера в Театральный переулок и увидел знакомую милую картину.

«Хвост» у кассы.

Я скромно поместился в конце очереди и стал поджидать впечатлений.

И, знаете, в ожиданиях не обманулся.

Прежде всего я обратил внимание на маленького коммерсантика, стоявшего за решеткой довольно далеко от меня впереди.

У этого бедного мальчика на лице было написано бледными буквами:

— Я дежурю здесь с самого рассвета.

А пониже, если всмотреться, мелкими буквами можно было прочесть:

— Кушать хочу...

И как только я прочел это, коммерсантик, очевидно, не вытерпел.

Он молодецки перемахнул через решетку и помчался к ближайшей бакалейной лавочке с фруктовыми водами.



Через несколько минут он вернулся уже в менее дохлом виде и полез было обратно.

— Стоп. Куда? — остановил его некто, по платью интеллигент и даже очень интеллигент, а по имени — г-н Дз-о.

— Тут мое место, — почтительно доложил мальчик.

— Да, он тут стоял, — подтвердили соседи.

И затем произошел диспут.

Коммерсантик защищал тезис, г-н Дз-о отстаивал анти-тезис.

В виде синтеза господин интеллигент Дз-о развернулся и доблестно дал коммерсантику оплеуху.

Протокол.

Впрочем, г-н Дз-о оправдывается:

— Знаете ли, я так запальчив...

Я доволен: одно впечатление уже в кармане. Жду дальше.

Очередь шлохнула: открыли окошечко.

Так как мне билета не надо, я выхожу из хвоста и прогуливаюсь по тротуару.

Жду.

Тсс... громкий разговор. Кажется, наклеывается второе впечатление.

У выхода кассы стоит студент и жалуется миру и Риму:

— Ведь я стоял двадцатым, если не ближе! А кассир мне заявляет, что галереи ближе шестого ряда уже нет. Что же это такое, наконец?

Я очень сердоболен. Думаю, дай утешу человека соображениями общественного блага.

— Знаете, что, — говорю, — вероятно, массу билетов разослали по разным учреждениям...

— Ни по каким учреждениям билетов теперь не рассылают, кроме 55 студенческих. В кассе обязательно должны еще быть ближайшие ряды галереи!

— А вы пожалуйте, — говорят соседи.

— Да как же это сделать, когда я его имени не знаю?

— Отчего вы у него не спросили?

— Я спросил.

— А он что?

— Он не хотел назваться.

Однако при посредстве пристава имя виновника торжества выплывает наружу:

— Г-н Криментатор-младший.

На этом я успокаиваюсь. С меня довольно впечатлений. Я ухожу и, уходя, размышляю.

Виновен ли г-н Криментатор-младший? Виновен.

Но очень ли виновен?

«Так себе».

Коммерсантик, которого побил г-н Дз-о, «хотел кушать» и покушал. Г-н Криментатор-младший тоже «хочет кушать».

Я против этого ничего не имею. Пусть кушает. Я не г-н Дз-о и бить его за это не стану.

Но... всему есть мера. Нужна кое-какая стыдливость.

Предложить 6-й ряд 70-му или даже 50-му в очереди, это еще туда-сюда. Это сносно.

Это тоже доказывает неопровержимо, что господин касир «хочет кушать», но не больше.

А вот навязать 6-й ряд 20-му — это уже из другой оперы.

Это слишком откровенно.

Это значит не просто выказать аппетит, а прямо уже показать человечеству свое пищеварение...

Но — шутки в сторону — ведь это, в конце концов, бесит.

Сколько веков тянется эта история?

Можно подумать, будто отцы-радетели из театральной комиссии не догадываются, куда уходят эти недостающие билеты.

Ах! Mon Dieu<sup>1</sup>, какая наивность. Вы, может быть, и про то, как дети рождаются, тоже еще не знаете?

А если догадываются, то почему допускают?

Сто тысяч раз об этом зле гвалтом галдела печать — и во всякий час театрального сезона говорит о нем публика.

Вы только умеете обижаться на газеты за каждый упрек, а вот даже справиться с аппетитом одного маленького человечка после пятнадцати лет — не умеете.

**Altalena**

*Одесские новости. 8.07.1902*



## **Вскользь**

Третьего дня был у меня г-н Криментатор-младший и поставил мне на вид две фактические ошибки, мною допущенные в последнем фельетоне.

Во-первых, имя его не г-н Криментатор-младший, а г-н Крёмортат-младший.

<sup>1</sup> Боже мой (*фр.*).



Во-вторых, не 55 студенческих билетов, а целых 122 билета амфитеатра и, главным образом, галереи (включая и студенческие) были заранее назначены по разным учреждениям.

Относительно этих двух ошибок выражаю г-ну Кремортату свое сожаление.

Но не могу не заметить, что второй ошибки бы не было, если бы на окошечке висела бумажка с подробным счетом:

Туда-то — столько-то билетов.

Туда-то — столько-то.

Итого 122 билета.

А ниже приписать, сколько билетов имеется в кассе за вычетом этих 122 в момент открытия окошечка.

Публика бы видела, и было бы лучше.

Но...

Тот факт, почему для двадцатого в очереди уже не было билетов ближе шестого ряда галереи, остался необъясненным.

Зато г-н Кремортат объяснил много других интересных вещей.

Например: что первые 50 мест в очереди почти сплошь бывают заняты подставными лицами от барышников.

Что господам студентам принято выдавать большее количество билетов, нежели простым смертным, несмотря на имеющиеся уже 55 специально студенческих мест.

Что некоторая часть дешевых билетов, рассылаемых в разные учреждения, часто переуступается служащими в этих же учреждениях тем же барышникам.

И затем многое другое, чего я здесь не повторю.

Да и многого, я думаю, сам г-н Кремортат мне не решился доверить, несмотря на все его желание защитить свое доброе имя от многих обвинений...

Доброе имя человека мне тоже очень дорого.

Я охотно готов верить, что г-н Кремортат не виновен в той странности, что публика получает так мало билетов, а барышники так много.

Но невинность г-на Кремортата не исключает того факта, что все-таки билеты плывут к барышникам.

И если г-н Кремортат здесь ни при чем, это просто значит, что виноват кто-то другой.

Кто? Не знаю и нахожу, что вовсе не мое дело дознаваться, кто виноват.

Это — обязанность администрации театра и театральной комиссии.

И я думаю, что эти две последние инстанции сами очень заинтересованы в том, чтобы ответственность точно была установлена.

Почему?

Г-н Кремортат сказал мне с большой горечью в голосе:

— Кто дорожит своим добрым именем, тому не место в малой кассе.

Пусть театральная комиссия и театральная администрация примут во внимание, что публика считает кассира просто *их* представителем.

И поэтому для публики обе — и комиссия, и администрация — сидят в той самой малой кассе, которая так вредна для доброго имени порядочных людей.

Эта публика рассуждает очень упрощенно.

— Билеты у барышников, а кассир клянется, что он не виноват; значит...

И публика делает вывод и неприятный, и совершенно неразумный.

Я, конечно, убежден и даже уверяю всех, кто мне захочет поверить, что этот вывод нелеп.

Но в большой публике этот взгляд на тайну сию очень распространен.

Я не думаю, чтобы такая молва была особенно приятна.

Даю поэтому чистосердечный и настойчивый совет театральной комиссии и администрации театра: если им дорого доброе имя каждого из их членов, пусть они примут меры.

Кто бы ни был виноват, как бы неискоренимо ни было барышничество, но комиссия и администрация могут и должны делать так, чтобы хоть явных «чудес» не свершалось в этом несчастном Театральном переулке.

Ибо ведь бывают и прямые «чудеса».

Доходит даже до того, что барышники начинают торговлю одновременно с открытием окошечка.

До того, что 4-му (*четвертому*) в очереди не дают 2-го ряда, заявляя:

— Нет.

Утверждать, что *такие* вопиющие вещи неискоренимы, значит насмеяться над публикой.

Я не рекомендую вам насмеяться над публикой, потому что она ответит вам на насмешку совершенно несправедливыми, но очень грязными подозрениями.

Надо дорожить добрым именем, господа.

**Altalena**

*Одесские новости. 10.07.1902*



## **Вскользь**

Читаю в циркуляре по министерству народного просвещения:

«Наблюдение за поведением воспитанников средних учебных заведений вне школы поручается *лишь* тем лицам, которые принадлежат к составу педагогического совета...»

Как?! А Терентий?!

Упразднили Терентия.

Бедный Йорик... Как это вообще грустно — видеть постепенное упразднение всего того, что неразрывно вкраплено в ваши воспоминания о прошлом.

Этот Терентий... Я не могу себе представить, как это просвещение будет вдруг существовать без него.

В мое время просвещение с него начиналось и им кончалось.

Ибо, проходя в класс, еще в раздевальной я видел Терентия — он скромно и мило жался к уголочку и выглядывал, не принес ли кто-нибудь ремешков вместо ранца.

А уходя — натыкался на него за воротами, где он стоял и приговаривал:

— Застебайте шинеля... Идите в два...

Пойдешь в театр — там Терентий.

— Есть у вас разрешеньице?

— Есть.

— Можно посмотреть?

— Нате.

— Так. А у вас пуговка внизу оборвана. Вы лучше велите пришить.

И Терентий улетучивается, кротко дошептывая на прощанье:

— На галерку не ходите... Там Бог знает кто бродит, к чему нам?..

В Александровском парке опять Терентий.

Гуляешь, бывало, с Маничкой, слушаешь музыку и подбираешься к самому разговору.

Вдруг:

— Уже скоро девять часов. Пора бы домой...

Везде, во всех закоулках земного шара присутствовал в мое время этот ныне упраздненный Терентий.

Но несчастное, в конце концов, было у него существование.

Потому что главное место его нахождения, его главный, так сказать, штаб, излюбленный пункт его деятельности, его духовная родина и телесная резиденция были, знаете где?

С позволения сказать...

Ибо издревле в этом месте преимущественно гнездится школьная преступность.

Кому надо тайком покурить — бежит туда.

Кому надо справиться с подстрочником — бежит туда.

Кому надо скрыть свое незаконное присутствие в театре — бежит в антракте туда.

И оттого Терентий должен быть там. Вечно и неотступно там.

Постороннему казалось, будто Терентий бывал и в парке, и на бульваре, и в театре, и в концертах.

Какой обман зрения!

Терентий просто ходил из одного «такого» кабинета в другой.

Я уверен, что если бы вы его спросили:

— Как вам нравится Городской театр?

Он ответил бы:

— Ничего-с. Образцовое водоснабжение, и потому всегда чистый воздух. Очень удобно!

Этим чистым воздухом он продышал всю свою жизнь, мой бедный Терентий, ныне упраздненный.

И ежемесячно за такую жизнь ему платили по тридцать сребреников.

Знаменательная, символическая цифра.

И в придачу на каникулах, раз или два за лето, мы обязательно подстерегали его где-нибудь на Фонтане и устраивали ему физическую неприятность.

Так что я в конце концов, право, не знаю чего, собственно, больше было в этом ныне отмененном Терентии: злобы или горя.

Был ли он действительно грязной душонкой, как мы его считали, или просто несчастным падшим созданием мужского пола.

И куда теперь пойдет этот голодный и оборванный раб Божий без ампулы?

Вероятно, понесет в какую-нибудь аналогичную область свои дарования и свою сноровку.

И так будет перебиваться, пока не издохнет где-нибудь в больнице или в порту — этот бедный Терентий, воспитавший мое поколение...

**Altalena**

*Одесские новости. 16.07.1902*



## **Вскользь**

Г-н Знакомый (фельетонист «Одесского листка») вопрошает:

— Чего наконец хочет от меня г-н Руднянский? Никак я в толк не возьму!

И затем, по своему обыкновению, начинает излагать «клочки воспоминаний», пересыпая их сообщениями домашнего и семейного характера.

Все это по поводу того, что г-ну Руднянскому его, г-на Знакомого, поведение показалось странным.

Мне оно тоже показалось странным, как это должно быть весьма известно г-ну Знакомому, — кажется странным и теперь, после его вчерашней самозащиты.

А если г-н Знакомый не понимает почему, то я берусь это ему любезно разъяснить.

Но прежде — небольшое отступление.

Г-н Знакомый говорит:

— *Наши* учителя по энциклопедии и философии права учили нас...

Плохо они вас выучили, г-н Знакомый.

Даже в качестве литератора вы — толковее, чем в качестве юриста, а это что-нибудь да значит.

Потому вы и дали такое освещение обороту, принятому делом г-на Власопуло.

Г-н Литвицкий — поверенный г-на Руднянского — хотел значительно ограничить число свидетелей со стороны защиты, и вы возликовали:

— Ага! Руднянский боится свидетельских показаний!

И даже после того как г-н Руднянский в письме в редакцию разъяснил вам, в чем дело, вы все-таки ничего не поняли.

Позвольте мне же взять вашу руку, почтенный конфрер<sup>1</sup>, и повести вас в эти непролазные для вас юридические дебри.

Видите ли: г-н Власопуло сделал ошибку.

Ему следовало заранее дома посоветоваться с защитниками, что говорить на суде.

Без этого вышла путаница.

Г-н Власопуло заявляет:

— Я не называл имени г-на Руднянского.

А защита настаивает:

— Я докажу, что, *называя* г-на Руднянского поджигателем, г-н Власопуло имел веские доказательства для такого обвинения.

Я не знаю, кто тут сплеховал и проговорился — г-н Власопуло или его поверенные.

Но, по-моему, надо же было как-нибудь условиться и столковаться заранее дома.

Я скажу на суде:

— Не крал.

А мой адвокат:

— Украл, господа присяжные, но с голода.

А теперь вы, г-н Знакомый, войдите в положение г-на Литвицкого.

С кем ему спорить? С обвиняемым или с защитниками?

Ответ, формально, ясен.

Г-н Литвицкий обвиняет ведь не присяжных поверенных.

Значит, его долг — спорить против того, что заявляет г-н Власопуло, а не его поверенный.

Если бы г-н Власопуло сказал:

— Я его называл поджигателем, но он и есть поджигатель.

Тогда г-н Литвицкий должен бы ответить:

— Так подайте сюда свидетелей, которые докажут, что г-н Руднянский «и есть поджигатель».

Но ведь г-н Власопуло уверяет, что он имени г-на Руднянского не назвал.

Значит, г-ну Литвицкому остается только потребовать:

— Так подайте же тех свидетелей, которые укажут, что вы «не называли». Других уже не надо.

Ибо, видите ли, г-н Знакомый, свидетели защиты вызываются для выяснения истинности того, что показывает в свою пользу обвиняемый.

---

<sup>1</sup> Собрат, коллега (от *фр.* confrère).

И если обвиняемый показывает:

— Не называл.

Тогда совершенно незачем притягивать к делу свидетелей, которые должны доказать, что он «имел основания называть».

Вот почему оспаривать в этом деле юридическую правоту г-на Литвицкого есть то же, что восставать против таблицы умножения.

И то обстоятельство, что эти лишние свидетели все-таки будут вызваны, представляется, несомненно, юридической неправильностью.

Но г-н Руднянский, очевидно, заинтересован не в тонкостях юридических формальностей.

Ему нужна реабилитация.

И оттого он заявляет, что сам всегда желал самого широкого вызова свидетелей, которые должны всесторонне осветить его невиновность.

И оттого вы, г-н Знакомый, были неправы, когда били в кимвалы по поводу того, будто г-н Руднянский, боясь свидетелей, хочет от них отделаться.

Теперь понимаете?

Так перейдемте же собственно к вам и к вашему образу действий.

Я не понимаю, как вы могли не находить его «странным».

Меня он с самого начала поверг прямо даже в удивление.

Собирать слухи против лица, заподозренного в ужасном преступлении, и сваливать их в газету, посыпая перцем намеков и науськиваний, — я никогда раньше не видал журналистов в таком амплуа.

А всего милее то, что вы в одном месте вчерашнего фельетона упоминаете о «вещах, которых вы не говорили и по которым вы не производили дознания».

Подумаешь! Какой шик! А по тем «вещам», которые вы говорили о г-не Руднянском, вы будто «производили дознание»?

Позвольте вас уверить, г-н Знакомый, что вы никаких дознаний не производили.

Вы просто писали на основании непроверенных уличных сплетен.

Доказать?

Вы писали в № 283 вашей газеты от пятницы 2 ноября 1901 г.:

«Если верить сообщенным нам сведениям, г-н Руднянский и в Елисаветграде горел, горел и в доме Елисаветской...»

Если бы вы навели справки, вы узнали бы, что в доме Елисаветской в декабре 1899 года горел магазин Найера — *рядом* с магазином госпожи Бондарской, жены г-на Руднянского.

И этот магазин госпожи Бондарской был тогда не застрахован.

Вы не только этого не знали, но еще из фамилии Елисаветской сочинили город Елисаветград, а теперь говорите о дознаниях.

Это, почтенный конфрер, не дознание, а сплетня.

Но о первых ваших статьях выскажется третейский суд. Оставим их.

Что же, однако, сделать с тем, что вы писали о г-не Руднянском уже *после* вызова на суд чести? Ведь эти статьи, как и следующие, не будут подлежать разбору третейских судей.

А они, тем не менее, пикантны.

Вот хотя бы предпоследняя — ваш «отклик» на дело Власопуло.

Вы писали:

«Если есть скептики, которые продолжают утверждать, что пожар в Пассаже произошел от поджога, то и самый строгий приговор по делу Власопуло не заставит их думать иначе...

На чужой роток не накинешь платок...

А что есть люди, которые не расстались с мыслью о поджоге, — в этом убеждают те свидетели-добровольцы, которые, как мне передавали, наперерыв друг перед другом, спешат предложить свои свидетельские услуги г-ну Власопуло...»

То есть: я-то, собственно, ничего, сам я не обвиняю... Но глас народа... Так что, кто его знает, может быть... А впрочем, что же, «для меня лично» вопрос не существует, я молчу...

Но дальнейшее лучше всего:

«На мой взгляд, г-ну Руднянскому не следовало затевать нового процесса ради „реабилитации своей чести“. *Впрочем, быть может, имеются другие, более существенные причины, заставляющие его возбудить дело*».

Для меня лично подчеркнутая фраза совершенно непонятна. Я решительно не соображаю, на какие «причины» г-н Знакомый намекает.

Понимаю только, что здесь на что-то намекается.

У меня есть предрассудок считать всякие намеки вообще делом неопрятным, а в этих обстоятельствах — особенно...

Нет, вы вдумайтесь в это дело, господин читатель.



Все обвинители Руднянского как-никак действовали исподтишка — кроме г-на Знакомого.

Г-н Знакомый перенес это обвинение в газету и сделал его громогласным.

Г-н Знакомый раздул это обвинение и разнес его повсеместно.

Он опозорил Руднянского на весь юг, если не на всю Россию.

Он приклеил к имени Руднянского кличку «поджигатель», когда еще не было ни следствия, ничего, кроме сплетни.

И теперь, когда следствие против Руднянского уже прекращено, когда он привлекает своих обвинителей к суду, ведь эта кличка все-таки висит еще на нем.

Ведь еще все-таки на улице он встречается людей, которые указывают на него и шепчут:

— Это Руднянский, в пользу которого сгорела девочка Янина Гаккенберг.

Где доказательства? Кто это установил?

Пустяки. Толпе не нужно доказательств. С нее достаточно сплетни.

А сплетню раздул и расписал г-н Знакомый.

И Руднянский мог бы жестоко отомстить своему худшему обидчику.

Если бы он подал на г-на Знакомого в окружной суд за «клевету в печати», то г-н Знакомый с математической верностью попал бы в тюрьму.

Я, конечно, не говорю, чтобы это было позорно. Думаю, однако, что это неприятно.

Г-н Руднянский, при всем желании реабилитации, не пожелал сажать г-на Знакомого за решетку.

И всем очень понравилось, когда этому своему главному обидчику г-н Руднянский сказал:

— Я могу запереть вас. Но мне вовсе не нужно мстить вам; я хочу только восстановления своего доброго имени. Предлагаю вам третейский суд вместо суда коронного.

Только на одного человека эта культурность г-на Руднянского не произвела должного впечатления — на самого г-на Знакомого.

После вызова, как и до вызова, он, не стесняясь, продолжает свои кивки и намеки по адресу человека, которого так громогласно и беспричинно обесславил и опозорил.

И когда за все это его образ действий называют «странным» (Боже мой! Только «странным»!), г-н Знакомый обижается и спрашивает:

— Чего же от меня наконец хотят?..

Я обещал ответить на этот вопрос и отвечаю.

От вас, г-н Знакомый, хотят, чтобы вы, раз вам оказана и вами принята честь вызова на третейский суд, вели себя джентльменом, а не...

Pardon. Чуть было не сказал.

И напрасно вы ни к селу ни к городу клянетесь:

«Г-на Власопуло я впервые имел случай видеть у себя и беседовать с ним уже после возбуждения г-ном Руднянским дела против него и меня...»

Кто вас спрашивал?

Вы, кажется, думаете, будто вас подозревают в уговоре с г-ном Власопуло?

Не смешите народа.

Г-н Власопуло — человек деловой. Если бы ему понадобился газетный защитник, он поискал бы кого-нибудь посильнее вас.

Я твердо верю, что вы ни с кем не уговорились.

На вас никто не влиял.

Вы распустили сплетню и до сих пор продолжаете ее поддерживать — по собственному вашему расположению и влечению.

*Altalena*

*Одесские новости. 17.07.1902*



## **Вскользь**

Молодой человек г-н Г-к служит у адвоката.

В каком чине — не знаю.

Вероятно, писцом: сужу об этом по наружности г-на Г-ка.

Только подлая чернильная работа может довести живого человека до такого чахлого вида.

Г-н Г-к получает 20 рублей в месяц.

Таким образом, его семья, понятно, живет припеваючи.

Но третьего дня вдруг случилось нечто, грозящее оборвать это припевание.

Адвокат поручил Г-ку отнести куда-то 100 рублей.

Г-н Г-к потерял пакет на улице.

Адвокат заявил ему, что будет вычитать по 10 рублей в месяц.

20 рублей минус 10 рублей составит 10 руб.

В месяц.

На эти деньги семья г-на Г-ка уже не будет иметь возможности жить припеваючи.

Ей придется жить, прищелкивая зубами, в течение 10 месяцев.

Г-н Г-к так ярко рисует себе предстоящий ему теперь жизненный этап, что слезы при этой мысли выступают у него на утомленных глазах, но не капают с них, потому что застревают в бороздах изможденного лица.

Я, однако, надеюсь, что это все не так еще страшно.

Г-н адвокат, несомненно, только стгоряча пригрозил двадцатирублевому человеку десятирублевым вычетом.

Вполне законное раздражение, вероятно, уже улеглось, и десятирублевый вычет сам собой, без сомнения, успел уже улетучиться из намерений господина адвоката.

А потерю, может быть, подобрал добрый человек, который снесет ее в полицию?

Снесите ее в полицию, добрый человек.

Может быть, эти деньги пригодились бы и вам, потому что бывали примеры, как на несчастье голодных людей строили свое счастье другие люди.

А вы все-таки снесите эти деньги в полицию.

Потому что теперь г-н Г-к, вероятно, выплакал уже свои слезы и сидит в тупом отчаянии в углу своей убогой комнаты.

А вокруг да около бродит, стараясь не зашуметь, старая мать или молоденькая сестра — обе тоже бледные и чахлые.

Им бы хотелось подойти и утешить, да не смеют.

Страшно теперь, должно быть, в этой комнате, добрый человек.

Но когда г-н Г-к узнает, что вы принесли деньги в полицию, все в комнатке сразу посветлеет.

Г-н Г-к засмеется, мать или сестра радостно заплачет, и все благословят ваше имя.

И г-н Г-к с новой бодростью побежит на свою прибыльную работу, 20 р. в месяц, с которых его семья живет припеваючи.

**Altalena**

*Одесские новости. 18.07.1902*



## Вскользь

Доктор Жбанков высказывается по поводу «Записок врача».

Кстати: мне не случилось еще «побеседовать с читателем» о г-не Вересаеве.

Как-то не вышло, хотя определенное мнение о нем составилось у меня сразу после чтения его книги.

Вот оно — вкратце, потому что теперь уже поздно говорить подробно по этому предмету.

Мне кажется, что книга г-на Вересаева озаглавлена несколько неверно.

Это — не «Записки врача», а «Записки *одного* врача».

Книга вызвала так много злобы и споров не только потому, что автор указал на действительные несовершенства и несправедливости в постановке врачебного искусства.

С этим легче бы примирились даже самые пристрастные врачи.

Но г-н Вересаев подкопался своей гамлетической вдумчивостью под самые естественные и неизбежные моменты врачевания.

Его захватили вопросы такого рода:

— Чтобы научиться спасать людей удачными операциями, часто приходится произвести сначала несколько неудачных операций... Не следует ли из этого, что мы не имеем права делать хирургические операции?

Это уже именно не вопрос врача, а вопрос «одного врача».

Среднему врачу так же, как и нам с вами, ясно, что одна первая неудачная операция вполне покрывается дальнейшими, успешными и спасительными.

Но г-н Вересаев — человек слишком впечатлительный и деликатный.

Такие люди обыкновенно привержены какой-нибудь собственного изделия абсолютной этике.

Абсолютной этикой, как известно, никак невозможно оправдать принесение в жертву одного невинного ради счастья многих.

Оттого такие люди горше всего ненавидят формулу: «цель оправдывает средства» — и очень искренне считают ее выражением иезуитской морали.

Как написано в учебниках.

За всякую мелочь эти люди цепляются и мучительно страдают от того, что пожарный обоз, скача во весь опор на пожар, раздавил по дороге дворняжку.

Г-н Вересаев хороший публицист и, вероятно, редко прекрасный человек, но совсем не рожден врачом.

В его книге много публицистических страниц, которыми действительно заклеены некоторые явления, требующие большой починки.

Но добрая половина книги — именно та, которая вызвала главную бурю, — не имеет ни отношения к публицистике, ни права называться «Записками врача».

Это — автобиографический очерк, психологический этюд, рассказ *одного* чувствительного и деликатного господина, именно В. Вересаева, о том, как он наперекор стихиям попал не на свой факультет и какие впечатления там получил.

Действительные недостатки, отмеченные г-ном Вересаевым, можно будет исправить.

Все же остальное есть только сенсации прекрасного, чувствительного и — pardon — наивного г-на, которому кажется, будто в XX столетии для честного работающего человека нет более важных вопросов, чем:

— А имею ли я нравственное право?..

Такие люди не по сезону. Особенно — не практики. А уж меньше всего подходят они к роли врача.



Доктор Жбанков выделяет публицистическую часть «Записок» из чисто психологической — и в этом публицистическом направлении развивает и дополняет начатое г-ном Вересаевым.

Доктор Жбанков восстает против многих отхожих промыслов, к которым, к сожалению, сплошь и рядом прибегают врачи.

Он указывает, например, на североамериканского врача, который не гнушается руководить электрической казнью.

На щекотливую задачу эскулапа, приглашенного к арестанту для выяснения вопроса:

— Вынесет или не вынесет он столько-то плетей?

Это — положение, при котором врач, отвечая по совести «вынесет», тем самым дает разрешение:

— Можете пороть.

А иногда еще и обязывается стоять у скамьи, держать исправляемого за руку и по пульсу определять, в какой момент исправление, во избежание недоразумений, должно прекратиться...

Особенно же много и горячо говорит доктор Жбанков о роли врачей в темном деле вытравления плода у женщин.

Эта статья лишний раз подтверждает ту всем известную тайну, что врачей, служащих упрощенному «мальтузианству», есть неизмеримо больше того числа, которое записано в уголовной статистике.

Доктор Жбанков, конечно, громит без пощады это преступление.

И вот мне хотелось бы тоже высказаться по этому поводу.



У Гл. Успенского есть прелестный рассказ в мопассановском духе. Называется он, кажется, «Задача».

У бедного чиновника была хорошенькая жена.

Небеса благословили эту чету обильным потомством.

А жалованья было мало.

Бедный чиновник долго терпел, но после пятого ребенка дал себе зарок:

— Баста.

И Успенский рассказывает, как этот чиновник объясняется с женой — и жена со вздохом соглашается.

И как он на ночь устраивается отдельно у себя в кабинете на кожаном диване.

И как ему не спится:

— Клопы кусают.

И как он ворочается и наконец не выдерживает характера.

И по прошествии установленного времени опять зовет приятеля на крестины...

Мальтуса я не читал и не прочту.

Но знаю по лекциям, по биографиям и по всему прочему, что теперешние «мальтузианцы» извратили его учение.

Мальтус проповедовал не применение «средств», а «нравственное» воздержание.

И существует ходячая фраза:

— Из нравственного воздержания Мальтуса «мальтузианцы» выкроили для себя безнравственное воздержание.

От этой фразы меня всегда коробит.

О нынешних «мальтузианцах», об их нравственности или безнравственности — после.

Но называть то, что предлагал Мальтус, «нравственным» — это уж обидно.

Воздержание от естественного влечения — разве это «нравственность»? Это по-русски извращенность.

Проповедовать и без того горемычному человеку:

— Откажись от последних радостей!

Разве это нравственно? Это — гнусно.

Я, конечно, не думаю оценивать экономическое учение Мальтуса и придуманный им социальный паллиатив — такой субъективной оценкой, как «гнусно».

Этим словом я только возражаю на мнение, будто бы то, что Мальтус предложил человечеству, было «нравственно».

В далекие дни зеленой и пылкой наивности я изобрел однажды стихотворение, из которого приведу здесь одну часть:

*...Но услыша злые речи:  
«Страсть земная нечиста!  
Козни ада — эти плечи,  
Эти алые уста!»*

*О, услыша речи эти,  
Выходи на лютый бой:  
Злейший враг людской на свете  
В ту минуту пред тобой.*

*Бей, не зная сожаленья!  
Эта проповедь — змея:  
Только в праве наслажденья —  
Оправданье бытия.*

*Бей! В бою ожесточенном  
Это право защиты,  
Оттого что без него нам  
Нет ни свету, ни пути...*

Не поручусь, конечно, чтобы я и теперь стоял вполне на этой точке зрения.

Но и до сих пор я думаю и, наверное, умру с этой верой, что «только в праве наслажденья — оправданье бытия».

Ибо решительно не вижу, что же другое удерживает нас от пули в лоб, если не вера, что мы лично или наши потомки

в конце концов получим в балансе жизни перевес приятных минут над неприятными?

Один субъект хлопочет о том, чтобы добиться этого перевеса еще для себя.

Другой субъект мечтает о том же для всего человечества.

Мы, средние люди, — особенно те, которые заняты каким-нибудь общественным ремеслом, вроде газетного, — иногда чувствуем себя в шкуре первого субъекта, а иногда в настроении второго.

Но и в том, и в другом настроении я не в силах без ненависти и негодования подойти к проповеди аскетизма или «нравственного» воздержания.

Она мне кажется символическим посягательством на лучшие завоевания прогрессивного духа.

— Тсс, — говорите вы, г-н читатель, — успокойте ваши нервы. На что, собственно, столько доводов? Это все давно известно. Кто теперь проповедует бедным «нравственное» воздержание? Даже Толстой совсем не то и не в том смысле говорит...

Хорошо. Посмотрим, есть ли теперь люди современного миросозерцания, которые бы рекомендовали бедным «нравственное» воздержание.



Возьмите этого самого доктора Жбанкова.

Доктор Жбанков известен всем интеллигентным людям на Руси. Это человек передовой и очень гуманный.

И он в статье, о которой я говорю, против искусственных средств от материнства.

Как человек развитый, обсуждая жизнь с высокой точки зрения своего просвещенного ума, он понимает, что увеличение населения есть, безусловно, социальное благо, противодействовать которому преступно.

Значит, он и «нравственного» воздержания, очевидно, не рекомендует, — напротив, он, вероятно, не хуже Эмиля Золя готов воскурить все фимиамы божееству *Fècondité*<sup>1</sup>.

Но общие интересы человечества, господствующие на вершинах мысли, очень слабо ощущаются в низменностях людской нужды.

---

<sup>1</sup> Плодородия (*фр.*).



Вообразите же этого самого доктора Жбанкова в темном подвале, где живет нищета.

— Я живу впроголодь, — говорит нищета доктору Жбанкову, — если у меня будут дети, нам всем придется еще хуже.

Другой бы ответил:

— А ты работай, не ленись.

Но доктор Жбанков так не ответит, ибо ему известно, что работа есть самый неблагодарный способ к достижению благосостояния.

Поэтому он ответит нищете:

— Авось твои дела поправятся.

— Рядом со мною, — сухо отзывается нищета, — сто подвалов. Я живу здесь сто лет и не видела, чтобы кому-нибудь из моих соседей повезло. Отчего же мне повезет? Я не имею права родить детей. Я погубила бы этим и себя, и самих детей.

Что остается ответить доктору Жбанкову?

«Средств», во всяком случае, он не присоветует.

Значит?

Угадайте сами, что *принужден будет* ответить доктор Жбанков...

Да это только один пример, а таких комбинаций много.

Доктор Жбанков возмущенно рассказывает, как кто-то где-то предложил проделывать что-то такое над чахоточными, чтобы они не могли иметь потомства.

Значит ли это, что доктор Жбанков согласен дать им разрешение:

— Чахоточные, плодитесь и размножайтесь и населяйте землю?

Не думаю.

Но в то же время доктор Жбанков безусловно против «средств» и против проделывания над кем бы то ни было «чего-то такого».

Значит?

Тысячи есть таких положений. И если доктора Жбанкова столкнуть с ними лицом к лицу, ярко, выпукло осветить и прямо поставить вопрос, — ему — этому — на всю Россию гуманному человеку — не остается ответить ничего другого, кроме:

— Воздержание...

То есть сказать нищете:

— Так как ты не доедаешь, то ты уж заодно «не долюби».

Или чахоточному:

— Ты ведь, голубчик, и так все равно что полчеловека... Так сократись уже, кстати, прямо до четверти человека...

**Altalena**

*Одесские новости. 21.07.1902*



## **Вскользь**

Вчера в одном иллюстрированном журнале я видел рисунок из французской современности.

Шествует по улице Коппе, бритый и толстый, а с ним рядом несколько монахинь и господ в цилиндрах.

Идут и, очевидно, кричат:

— *Vive la liberté et les soeurs!*<sup>1</sup>

Странные комбинации звуков бывают на свете.

Можно ничего не иметь против этих бедных *soeurs*.

Если угодно, эти бедные *soeurs* даже не являются прямым отрицанием *liberté*.

Согласен даже допустить, что *soeurs* и *liberté* могут существовать одновременно, не особенно мешая друг другу.

Но отнюдь не рядом.

*Sœurs* в одном углу, а *liberté* где-нибудь совершенно в стороне от них.

Чтобы не мозолить взаимно глаз.

И вдруг их поместили больше, чем рядом: их втиснули в одну и ту же строчку, их слили воедино.

На рисунке можно заметить, что у монахинь лица кислотоватые.

Вероятно — от того самого.

*Liberté* на рисунке самолично не изображена, но если бы была изображена, то и у нее, вероятно, было бы лицо если не кислое, то брезгливое...

Однако хоть комбинация звуков и странная, а обстоятельства таковы, что многим невольно приходит в голову:

— Тут, собственно, принцип свободы как будто на стороне монахинь?

И действительно.

Кто за свободу обучения? Монахини (или их защитники)?

---

<sup>1</sup> Да здравствуют свобода и сестры-монахини! (*фр.*)

Кто за правительственный контроль? Передовые демократические партии.

Как тут не заключить, что в этом деле свободолюбивые партии ощипали богиню Свободу в пользу своих дел-делишек?

Это очень интересный случай.

Мне он кажется весьма важным для выяснения разницы между двумя понятиями: последовательность и прямолинейность.

Ведь в самом деле, если уж признавать право свободы ассоциаций, то почему исключать ассоциации религиозные?

Разве это не пощечина сразу трем китам: свободе ассоциаций, свободе совести и принципу всеобщего равенства перед законом.

Это, несомненно, логика.

Но... это логика прямой линии.

Логика была бы слишком дешевой вещью, будь она так же проста, как прямая линия.

Путь истинной логики есть линия очень сложная и очень извилистая.

Что такое свобода «сестер» (или их защитников)?

Это — свобода школьной пропаганды клерикализма.

А пропаганда клерикализма направлена к конечной цели — торжеству клерикализма.

А торжество клерикализма означает падение свободы совести, свободы слова, свободы ассоциаций — свободы вообще.

Это — не загадывание вперед, не чтение в сокровенных мыслях, а открытая и четкая программа клерикализма.

Его газеты ясно проповедают подчинение светских властей главе церкви.

И в то же время этот глава ежегодно издает Index<sup>1</sup> «запрещенных» книг, то есть таких книг, которые он, глава, искоренил бы, если бы руки были подлиннее.

Клерикализм никогда не скрывал того, что он враждебен принципу свободы.

И вот прямолинейность говорит:

— Во имя принципа свободы дайте оружие в руки врагам свободы.

Но настоящая, не слепая последовательность скажет:

---

<sup>1</sup>Список, перечень (лат.).

— Во имя свободы, не давайте ее врагам в руки пушек, которыми они хотят погубить свободу.

Доктринер может ответить:

— Тогда уж, кстати, запретите клерикалам и печатать свои книги? Этак вы далеко зайдете!

Зачем же? Не надо далеко заходить.

Надо знать меру и понимать время.

Все хорошо в меру — и надо уметь почуять меру.

Школьная пропаганда более опасна, а клерикальная печать менее опасна. Оттого школу урезают, а печать — нет.

Французская республика теперь достаточно сильна, чтобы допустить своих врагов вооружиться ножами, но не пушками.

Когда республика еще усилится, тогда можно будет разрешить врагу и пушки.

Всему свое время и своя мера.

Недостаточно зазубрить одно правило и твердить его всю жизнь без ошибок и пропусков.

Надо чуять меру, понимать время, видеть сто сторон дела сразу и уметь выбирать из них главную — и вести лодку по всем тысячам путей к раз намеченной цели.

*Altalena*

*Одесские новости. 26.07.1902*



## *Pro domo mea*<sup>1</sup>

Я получил письмецо неодобрительного содержания.

Оно гласит так:

«Милостивый государь!

Не будучи с вами знакома, позволяю себе, однако... и т. д.

Отчего вы уделяете столько внимания щекотливым темам?

Сначала я была уверена, что вы их касаетесь только тогда, когда это необходимо для выяснения какой-нибудь общественной несправедливости.

Но мало-помалу оказалось, что вы подчас затрагиваете эти темы без всякого публицистического повода и как будто бы из чистой любви к искусству.

Всякому предмету надо уделять не больше места, чем сколько он заслуживает по своему общественному значению.

<sup>1</sup> В защиту моих взглядов, моих принципов; букв.: «в защиту моего дома» (лат.).

А мне кажется, что эта чувственная сторона жизни вовсе не играет такой выдающейся роли.

Мне двадцать два года, у меня много знакомых, и уверяю вас, что ни у себя, ни у других я не заметила никакого особого интереса к явлениям этого рода.

Вы, напротив, слишком часто проявляете такой интерес независимо от каких бы то ни было общественных выводов, что иногда производит на людей, не страдающих эротоманией, тяжелое впечатление.

Недавно же вы заявили, что „только в праве наслаждения — оправданье бытия“.

Это совсем уже странно. Спорить с вами я, конечно, не буду, но не могу не высказать вам, как это жаль, что вы стоите на такой ложной дороге и в XX веке смотрите на вещи так узко и грубо.

Извините за правду, которую я позволила себе выразить только из искреннего доброжелательства.

А. З.»



Г-жа А. З. прекрасно, по-моему, пишет.

Во всех других женских посланиях к журналистам, которые попадали мне в руки, почти всегда чувствовалось что-нибудь «этакое».

Или большая развязность.

Или притязания на остроумие, на высокий штиль, на красивые фразы — и все это чисто по-женски, то есть ничуть не свежо и весьма избито.

А в придачу малограмотно.

Я помню только одно хорошее, задушевное, простое и гордое письмо от девушки, но оно, к сожалению, было уж совсем безграмотно.

Г-жа А. З. пишет кратко, ясно, вежливо, просто и без ошибок.

Говорю вам по совести, что получить такое письмо — очень приятно, хотя в нем и выражено мне порицание.

Это — весьма неприятное порицание.

Я буду против него защищаться.

Но прежде я обращаю внимание читателя на одно обстоятельство.

Действительно, ровно неделю назад был напечатан мой фельетон, где значилось, что «только в праве наслажденья — оправданье бытия».

Но... Как бы вам это объяснить?

Трудно говорить о таких вещах с людьми, не причастными к печати.

Видите ли: если бы вы написали что-нибудь и на другой день это появилось бы в газете или книге, вы, без сомнения, с большим любопытством стали бы всматриваться в печатные строчки.

Вы бы испытывали странное чувство:

— Не то мое, не то не мое...

Печатное одеяние, как это ни странно, придало бы вашему слову какой-то новый оттенок, для вас самих чуждый.

Это не я один заметил.

В посмертных бумагах Надсона есть такой отрывок — я его цитирую кое-как, на память:

*...Бездушные, ровные строки, словно узор, ласкающий глаз... Бедные мысли, как вы стали галеки, в этом новом уборе, от сердца, создавшего вас!*

Я это испытываю очень часто.

Пишу, пишу и уверен, что написал одно.

Смотрю поутру в газету — совсем другое.

И мое, и не мое.

Мне казалось, что я написал и гораздо выпуклее, и гораздо пространнее.

Оказывается — мне это только так казалось...

И вот, когда я писал тот самый фельетон, мне казалось, что я точно выяснил, как я понимаю слово «наслаждение».

Что я понимаю его довольно широко и что беру его как право каждого человека на всю полную и многозвучную гамму счастья, какую только можно извлечь из тугих клавиш жизни.

В этой гамме — «наслаждение» в том узком смысле, в каком поняла г-жа А. З., есть не больше, чем одна из нот.

Мне казалось, что я это выяснил...

И, чтобы окончательно исчерпать эпизод, я закончу цитатой из Пушкина:

*Пойми меня, мой груг Елена,  
И мудрой повести поверь...*



Г-жа А. З. пишет, что сначала я брался за «такие» темы только тогда, когда имелась в виду общественная подкладка вопроса.

Это правда: было и так.

Затем г-жа А. З. пишет, что мало-помалу я стал обнаруживать склонность к таким темам *an sich*<sup>1</sup>, «без всякого публицистического повода».

Это тоже правда.

Я могу отстаивать свободу инстинкта для того, чтобы от нее перейти к заступничеству за известный класс человеческих существ, но могу воскурить фимиам этой свободе инстинкта и без такой цели.

Просто ради нее же самой.

Но не из «любви к искусству» я это делаю.

Я прекрасно понимаю, что г-жа А. З. подразумевает под «любовью к искусству».

Это вежливое выражение значит:

— Вы любите помасленничать, пощекотать чувственность читателя.

Это неправда.

В своей гордыне я думаю, что у меня есть другие средства привлекать к моим словам, когда я этого хочу, внимание той группы читателей, которая для меня важна, — средства менее дешевые, нежели щекотание спинного мозга.

Если бы я так не думал, то незачем было бы писать.

Не для этой «любви к искусству» дорожу я «такими» темами.

Я дорожу и буду ими дорожить потому, что принадлежу к поклонникам здоровой, полнокровной, открытой и смелой жизни.

За всяким прославлением этой жизни, за всяким протестом против рабства ее инстинктов я признаю большое освободительное публицистическое значение.



Я всегда люблюсь отношением почтенных людей к «Декамерону».

Сказать, что это пустая книга, они не хотят: неловко.

И вот они ходят вокруг да около и отрывисто выражают обрывки мыслей:

---

<sup>1</sup> Здесь: самим по себе (*нем.*).

— Тут, видите ли, вложен протест против средневекового монашества, которое, подавляя... (И т. д.)

И, в конце концов, провозглашается, что Боккаччо вовсе не так уж неприличен, что «таких» новелл у него, собственно, очень мало и что главное значение его для современности совсем не в этих рассказах, а именно в остальных, более приспособленных для некурящего читателя.

Это — виноват — все ерунда.

Если бы суть Декамерона была в осмеянии средневекового монашества, то для нас эта книга не имела бы никакого интереса.

Потому что теперь нет средневековых монахов.

И для Боккаччо эти монахи были важны не сами по себе, а как представители и защитники старого порядка.

Время было черное.

Появление на свет считалось первородным грехом человека.

И с этого первого греховного шага своего на земле он только и продолжал, что грешить.

Веселье было грехом.

Наука и песня были прокляты.

Любовь была запрещена, и на брак смотрели как на особое разрешение предаться греху, ввиду безотлагательной необходимости.

Режим того времени гласил:

— Жизнь преступна.

Эту истину провозглашала римская курия, и патеры повторяли ее по всем закоулкам мира и шпионили, чтобы никто не противоречил.

И для того чтобы возродить прогресс, надо было прежде всего опрокинуть саму основу средневекового режима.

Прокричать во всеуслышание, что патеры солгали, что жизнь не преступна — жизнь божественна!

Боккаччо — сатира на монахов?

Да для кого же было тогда тайной, что патеры первые не исполняют того, что проповедают!

Хорош был бы гуманист, пророк Ренессанса, который стал бы стыдить монахов:

— Не ешьте скоромного, братья, ибо грех...

Боккаччо не того хотел. Он хотел крикнуть и крикнул:

— Ешьте скоромное, кушайте на здоровье, пойте, пляшите и любите, ибо это не грех, а ваше право!



И для того Боккаччо написал свои «такие» новеллы.

Люди их читали и видели, что смелый человек смело, весело, со здоровым жизнерадостным хохотом говорил о том, что проповедники постничества держали под черным покрывалом греховности.

И люди вдруг прозрели и вспомнили, что то же самое давно уже им нашептывал невидимый дух времени — только его шепот был невнятен, а слова Боккаччо — громки и красивы.

И у людей грудь расширилась, и громче забилося сердце, и Боккаччо своими «такими» сказками и шутками научил их любить ту самую *жизнь*, которую патеры приказали ненавидеть.

Люди возлюбили жизнь, оглянулись вокруг и увидели, что за темная сила стоит у них поперек дороги, не давая им свободно исповедовать религию жизни.

Тогда они возненавидели эту силу, ринулись на нее, и она затрещала и обвалилась.

В наше время, конечно, другое дело.

Теперь на одной проповеди «права жизни» уже не построишь системы общественного протеста.

Жизнь усложнилась и дифференцировалась. Силы борцов прогресса должны распределяться по разным направлениям.

Постничество уже не играет теперь роли главного и единственного ярма, как в доброе старое время.

Но разве оно исчезло?

По тысячам углов и закут, под самыми разнообразными масками ханжества, лицемерия, лжеморали притаился старый дух, враг жизни, и сыплет по-прежнему свою отраву.

Разница только та, что прежде он один отравлял весь воздух, а теперь отравляет только одну десятую часть.

Ибо для остальных девяти десятых есть уже другие, новые источники ада и зла, которых прежде не было.

Но и десятая доля — этого тоже довольно.

Много горя и крови человеческой льется и теперь еще к подножию предрассудка, шипящего:

— Жизнь греховна.

Я вижу след его когтей на многих тяжелых ранах человечества.

Не все эти раны им нанесены, но ко всем им он приложил свою грязную лапу.

Протест против него теперь не может иметь того всеобъемлющего значения, что в старину, но он все еще важен и дорог.

И если для нас в Декамероне сохранился какой-нибудь современный интерес, то именно только в «таких» новеллах.

Все остальное — сатира против сил, которые теперь уже мертвы.

Только дух постничества еще жив, только он еще запрещает нам подходить ко многим лучшим деревьям жизненного сада и даже говорить о них.

И только «такие» новеллы Боккаччо, смело и весело вводя нас в запрещенную область и восстанавливая тем нас против живучего предрассудка, сохраняют до сего дня все свое освободительное значение.

Лишь бы не было того неприятного, фальшиво-торжественного тона или того старческого слюноточивого смакования, что в таких темах проявляют современные французские беллетристы; лишь бы речь автора была так же здорова, весела, жизнерадостна и естественна, как у Боккаччо, — я готов приветствовать каждую новую строчку в этом направлении не как пустую забаву, а как крупицу важной общественной проповеди...

В одном г-жа А. З. права.

Я уделяю слишком много места «этому» вопросу.

Я сам признаю, что далеко не в одном духе постничества коренится все зло нашего времени. Что этот дух дает только десятую долю всего яда, имеющегося в обращении на земле.

Отчего же я столько говорю об этом зле и так мало о других, иногда еще более насущных?

Это — упрек правильный.

Правильный — но несправедливый.

Ибо, видите ли, г-жа А. З., кроме вещей желательных, бывают еще иногда вещи невозможные. А вы этого не знали?

*Altalena*

*Одесские новости. 28.07.1902*



## **Вскользь**

Сыночек мой часто вслух мечтает:

— Вырасту большой, буду писать фельетоны в газете.

Глупый это мальчик, доложу я вам.

Не понимает, что гораздо приятнее служить в банкирской конторе.

Ибо ремесло не должно захватывать всей жизни человека.

Не должно распространяться на всякий час и на всякое место.

Служба в банкирской конторе удовлетворяет этому условию.

Бухгалтер работает много — но, выйдя наконец из конторы, он перестает быть бухгалтером и становится человеком.

В конторе с ним говорили о балансе, но в обществе с ним говорят о театрах, о погоде и даже допускают к участию в сплетнях.

Газетчик — не то.

Человек печатный принужден терпеть то, чего не знает человек, так сказать, непечатный: полное исчезновение личности в ремесле.

В обществе, на гулянье, в концерте — с нами говорят не как с людьми, а как с газетчиками.

Нам не скажут просто:

— Ах, какую я видела сцену на улице!

Нет-с, нам говорят:

— Кстати, это вам может послужить сюжетом для фельетончика: я видела интересную сцену на улице...

Нам, понимаете, не принято «рассказывать»: нам «дают темы».

Иногда разозлишься, запротестуешь, даже грубо:

— С какой стати вы вздумали, что я не найду ничего интереснее той сцены, которую вы подсмотрели?

— Ах, оставьте! Да ведь вам, журналистам, так необходимы впечатления — ведь вы всюду ищете впечатлений...

Эти люди убеждены, что у вас в кармане всегда есть записная книжка, куда вы заносите всякую чепуху, какая ни выскокит «из-за ограды зубов их».

И когда их уверяешь, что они, во-первых, ничего путного ни выдумать, ни сообщить не могут, а во-вторых, что и книжечки-то записной у вас вовсе нету, — не верят.

— Как можно!

Эти люди убеждены, что мы ходим по миру, принимая из каждого окошка подачку впечатлениями.

— С вами осторожно: вы еще, того и гляди, в газете опишете! — шутят они.

Они считают, будто мы ни на минуту не выходим из отправления должностных обязанностей.

Сидит у них в гостях доктор — и они ничуть не боятся, что он вдруг накинется и поставит клизму.

И с инженером и судьей они говорят запросто и знают, что в их доме первый не станет подводить мин, а второй никого не закатает на три месяца.

К нам — совершенно другое отношение.

Нам дают темы, предлагают сюжеты, морочат всячески и, наконец, когда иссякает предмет разговора и воцаряется молчание — «дурак родился», — прерывают его вопросом по нашему адресу:

— Что на завтра написали?

Сына я, конечно, до этой карьеры не допущу. Убью негодяя своими руками.

Но я-то сам? Неужели терпеть?

Я бы хотел убедить всех без исключения дам и господ, с которыми имею честь лично встречаться, в трех вещах.

Во-первых — я журналист только тогда, когда пишу. При них же я никогда не пишу. Значит, при них я частный человек.

Во-вторых — есть мудрая пословица:

— Пока не бьют, не подставляй физиономии.

Я ведь у вас «тем» не прошу — зачем же вы мне их даете?

В-третьих — не думайте, будто вы можете мне сообщить что-либо интересное или будто в вас самих есть что-нибудь такое, что можно описать.

Честное слово — не можете, и нету!

**Altalena**

*Одесские новости. 28.07.1902*



## **Вскользь**

Паки и паки.

Опять я поехал на Хаджибейский лиман.

Опять мне надо было пройти через парк — и опять меня заставили купить билет.

Я — поклонник г-на Прибика, но я приехал на лиман по делу и вовсе не собирался слушать очаровательную игру городского оркестра.

И когда, заплатив за билет, я прошел через парк и вышел в калитку против дачи де Спиллер, я опять увидел, что крутая узенькая улица была погружена во тьму непросвещенную.

И опять я поплелся на ощупь сквозь этот мрак.

И опять усмотрел вверху встречный огонь, направлявшийся ко мне.

Это был господин с папиросой в зубах: я видел часть лица и шляпу.

Но у господина торчал под мышкой зонтик, которого я не видел.

И поэтому, сворачивая влево, я ударился лбом о ручку зонтика и могу вас уверить, что ручка была шишковатая, из твердого дерева.

Словом, точь-в-точь повторилось мое первое путешествие в эту прелестную страну — со всеми приключениями.

А ведь я, раб Божий такой-то, после первого путешествия скромно изложил в этой самой газете и то, как с меня безвинно взяли деньги за билет, и то, как я едва не погиб от столкновения в темноте с парочкой, шедшей мне навстречу.

И ничего. Я написал-с, а они ничего-с.

Меня это, конечно, не удивляет.

Но это, если хотите, очень интересно.

Рассмотрите, например, вопрос так: а почему же, собственно, «ничего-с»?

Разве я солгал? Нет.

Деньги за вход на концерт брали с тех, кто не шел на концерт, — это факт, и это обидело не меня одного, а много народа.

И на крутой улице действительно темно: этого я тоже не выдумал.

И не выдумал я и того, что в прошлом году, когда на даче де Спиллер жил гласный Дынин, улица освещалась: значит, осветить ее можно.

Все правда!

И разве отсюда не ясен вывод, что указанное следовало бы исправить: на улице повесить три фонаря, а насчет билетов завести другой порядок?

По-моему, очень ясен.

Ведь если вам скажут:

— У вас пуговка отскочила.

То вы поступите так: прежде всего рассмотрите — не ложно ли это известие.

Далее взвесите, не лучше ли для вас без пуговки, чем с пуговкой.

И если известие не ложно и если для вас лучше с пуговкой, то вы еще сообразите:

— Есть ли возможность восстановить пуговку?

Буде обнаружится возможность, вы пойдете домой и пришьете пуговку.

А если не пришьете, то вы — человек неопрятный...

Вы войдите в сладость положения газетчика.

Он говорит, говорит, говорит.

Бывает, конечно, что он и ошибется; бывает, что и соврет.

Но чаще всего бывает именно, как с пуговкой.

И то, что он сообщает, верно.

И то, что он сообщает, заслуживает исправления.

И это исправление возможно.

А они молчат. Даже не откликнутся, даже не кашлянут.

Точно будто газетчик соврал или напелл невозможное.

Но при этом — Боже упаси! — никакой злонамеренности.

Молчанием вовсе не хотят насолить нам.

О, эти добрые и приятные господа весьма далеки от таких мыслей.

Им ничуть не хочется отнестись к замечанию газетчика презрительно: им вообще не приходит в голову как бы то ни было отнестись к его замечанию.

Оно к ним не относится, и они к нему не относятся.

Им на все это просто искреннейшим образом наплевать — этим добрым папашам града сего.

*Altalena*

*Одесские новости. 30.07.1902*



## **Вскользь**

Все местные «посетители Аркадии» прислали мне письмо на очень хорошей бумаге, жалуясь на г-на Давингофа.

Обвиняют они аркадийского маэстро по двум статьям.

С одной стороны — его дирижерскую манеру признают оскорбительной «для музыки и публики».

С другой — в том факте, что на Дерibasовской выставлены портреты г-на Давингофа в разных позах с надписями, представляющими неудачное покушение на остроумие, видят рекламу.

И в заключение выражают «надежду, что я не оставляю своим особым вниманием...»

Конечно, не оставляю.

Но в свою очередь тоже «выражаю надежду», что господа авторы письма соблаговолят выслушать меня «с особым вниманием».

Недавно был такой случай.

Некто — лицо, гораздо более г-на Давингофа причастное к искусству, — сел в Одессе на пароход по билету первого класса.

Так как было жарко, этот господин снял с себя пиджак и остался в цветной сорочке и в поясе.

В таком виде он вошел в общую каюту.

В Европе это можно.

В Одессе дамы и барышни сконфузились, а мужчины возмутились.

Общественный, так сказать, протест-с.

Это было недавно.

И вот перед нами новая попытка общественного протеста — против г-на Давингофа.

Я, нижеподписавшийся, позволяю себе на оба протеста ответить скромной резолюцией:

— Знал, что Одесса — провинция, но не знал, что она — захолустье.

Понимаете ли: shocking<sup>1</sup>!

Г-н Давингоф — shocking и г-н без пиджака — shocking.

Г-н Давингоф оскорбляет музыку, а господин без пиджака оскорбляет нравственность... Ужасно!

Будто мы с вами не знаем, в какой цене летом музыка и какой курс, и летом, и зимой, стоит здесь на нравственности.

«Оскорбление музыки»...

Кто такая музыка? Где она? Кто из вас имеет о ней понятие?

У содержателя одного дачного бульвара под Одессой спросили:

— Отчего бы вам не завести хорошего оркестра?

Он ответил:

— Помилуйте! Да разве наша летняя публика пойдет на хороший оркестр? У нее барабанные уши. Ей не то нужно.

Вы слышали имя г-на Прибика?

Хороший дирижер.

Музыкальный, даровитый, интеллигентный.

Портретов его на Дерибасовской нет.

Когда дирижирует, держит себя совершенно спокойно и волчком не вертится.

---

<sup>1</sup> Возмутительно, скандально (англ.).

Репертуар — благороднейший.

Обстановка — Хаджибейский парк, чудный уголок в полном смысле слова, лучше Аркадии в своем роде.

Что ж, ездили вы туда по воскресеньям слушать г-на Прибика?

Отнюдь.

Я сам видел: пусто. Дачники, городовые, лебеди и г-н Прибик.

А потом вы «протестуете».

Музыка оскорблена!

Если бы вы хотели заступиться за музыку, стоило только поддержать городские концерты на Хаджибейском лимане.

А вы... вы подписываетесь: «Посетители *Аркадии*».

Туда вам и дорога, милостивые государи. Я только не понимаю, из-за чего вы волнуетесь.

Музыка тут ни при чем. Это просто оркестр.

Оркестр, который благополучно и приятно исполняет хорошенькие мелодии.

И над ним маэстро, который дирижирует так, что вам становится весело.

Я не понимаю, чего *вам* еще хочется.

Музыки?

Да, музыка тут и не ночевала. Но с *вами* она тоже не ночевала.

Нечего фантазировать: вы туда поехали не за музыкой, а за развлечением. Вас развлекли, а вы еще обижаетесь... «за музыку».

Счастливица! Какие у нее защитники.

Хорошие защитники. Такие же точно, как у нравственности.

Ведь эта добродетель тоже уютно устроилась в Одессе.

У нее тут великолепная должность.

Знаете, как называется лучший род должности?

— Синекура.

Полная лафа: не иметь ровно никаких занятий и получать жалованье.

Именно этот важный пост мы и отвели нравственности.

Видит Бог, и Небо свидетель, что в Одессе она проживает без всякого дела.

А жалованье получает! В виде фимиама.

И кто только не кадит ей фимиама!



Я твердо помню, что даже г-н литератор Финн как-то возмутился, зачем в витринах у фотографов выставлены карточки дам с декольте.

Факт!

Ни для кого не тайна, что в России нет города, более... пикантного в нравственном отношении, чем Одесса.

А снимите пиджак — возмутятся.

И то же с «рекламой».

Вы ненавидите рекламу.

Побывавши в бане и найдя на самой верхней полке объявление зубодера Электроберта Пятакова, вы обижаетесь и пишете донос в редакцию.

Вы очень зорко следите за тем, чтобы никто себя не рекламировал больше, чем следует: ни врач, ни художник, ни актер, ни писатель, ни школа, ни газета, ни лавка.

Вы-то сами, собственно, часто не заинтересованы материально и несколько не страдаете от чужой рекламы, но все-таки следите. По добровольческому инстинкту. «Так».

А куда вы несете свои деньги и свою поддержку?

Кто уехал от вас более довольным: госпожи Вяльцева и Яворская или г-жа Комиссаржевская и Густаво Сальвини?

На ваших глазах и благодаря вашей опоре расцветает именно то, что себя рекламирует. На ваших глазах и по вашему равнодушию хиреет и гибнет то, что себя не рекламирует.

За спиной Электроберта Пятакова стоят сотни голодной молодежи с такими же дипломами и не с худшими познаниями, чем у него.

Вы их разве поддерживаете?

Вы еще издеваетесь.

— Кто это?

— Так себе... голодающий «одонтолух».

Почему вы пожертвовали так много на мертворожденное убежище для инвалидов печати — и так мало и скупо даете на погорельцев?

Ай да враги рекламы!

Все это словеса.

Вам нет никакого дела ни до музыки, ни до нравственности, ни до рекламы.

Ни в том, ни в другом, ни в третьем у вас нет даже собственного критерия.

Недавно пошла мода носить летом пояса вместо жилеток. И вы стали носить, ибо пошла мода. А если бы раньше моды кто-нибудь выдумал это самое, вы бы его тоже выжили из общей каюты первого класса.

Ваши дамы и девицы носят теперь паутину вместо материи на руках и на плечах, и вы не ворчите, ибо такая пошла мода. А если бы одна из них рискнула на то же пять лет назад, вы бы ославили ее безнравственной.

И я воображаю, сколько доносов полетело бы в редакцию, если бы какой-нибудь юрист осмелился поместить на первой странице объявление о часах приема.

— Реклама! — завопила бы земля.

А врачи благополучно печатают объявления — и ничего. Врачам можно.

Какая разница между врачом и адвокатом? Неизвестно.

Почему же врачу можно, а адвокату нельзя?

Оттого, что такая мода.

Вы знаете только один критерий:

Принято и не принято.

Нет музыки, нет нравственности, нет рекламы: есть мода.

Достаточно явиться чему-нибудь непохожему на «принятое» — как вы начинаете сердиться.

Вы не разбираете: чему приписать явление? Нет ли вашей собственной вины в его возникновении?

Это все не ваше дело. Вы протестуете.

Так протестовала захолустная тетка Магды, когда узнала, что у племянницы шелковое белье.

Ей это показалось ужасным, потому что она никогда не видала шелкового белья.

Вы тоже многого не видали. Оттого вы и захолустье.

И вам кажется ужасным то, что на самом деле или только смешно, или просто любопытно, или даже совсем безразлично.

Вы «протестуете»...

Воображаю! Вы, вероятно, оглянулись вокруг себя, высматривая повод для протеста, искали-искали — и наконец нашли... летнего капельмейстера, который дирижирует так, как ему угодно.

Какие мы храбрые!

*Altalena*

*Одесские новости. 4.08.1902*



## Вскользь

На днях на Большом Фонтане начинаются гастроли г-на Орленева.

Я давно ищущая случая поговорить о г-не Владыкине.

Мне не просто хочется похвалить дельного летнего антрепренера и пожелать ему летнего же успеха.

Я считаю такие предприятия, как это, вовсе не летними, а в своем роде столь же важными для города, как и антреприза больших зимних театров.

Не говорю уж о том, что дачные спектакли не дают дачной публике совершенно ускользнуть из объятий культурности — и это большая заслуга, ибо за то, что одесская публика, не будь газет и театра, вполне могла бы в три месяца одичать до рецидива безграмотности, я вам ручаюсь головой.

Но хорошая постановка театрального дела на наших дачах — это одна из важнейших сторон того благоустройства одесских курортов, которое теперь является для нашего города вопросом жизни или смерти.

Жизни или смерти! О чем и ведомо всем, кроме господ гласных; а господам гласным неведомо потому, что их еще о том не известили циркулярно. Известите их циркулярно — ради Бога!

До г-на Владыкина на Большом Фонтане был если не балаган, то «сарай с представлениями».

Г-н Владыкин первый устроил здесь настоящий театр.

Приличная труппа, хорошие «первачи» (г-жа Велизарий в качестве премьерши проявила себя положительно прекрасной и умной артисткой) и интересные гастролеры: за эту невидаль г-на Владыкина стоит серьезно поблагодарить.

Если у него найдутся достойные подражатели для лиманов, Ланжерона и Малого Фонтана — одесские дачи наполовину потеряют свою исконную славу медвежьих углов. Это ли не перспектива?

Г-ну Орленеву мы очень рады.

Он — современнейший из русских актеров.

Его сценическая фигура — совершенно *moderne*<sup>1</sup>: нервы, нервы и нервы.

---

<sup>1</sup> Современная (*фр.*).

Жаль, что он не играет Освальда в «Призраках» Ибсена или «Лоренцаччо» Альфреда де Мюссе.

Это — две маски разной эпохи, но одного типа — орленевского типа.

Но так как мы пока, вероятно, не увидим нашего гостя ни в одной из этих двух ролей, то мы утешимся тем, что упросим г-на Орленева познакомить нас с его декламацией.

«Скотный двор» Ришпена и «Лесные пожары» — этого мы ждем с такой же уверенностью, как четверга после среды.

Говорят, г-н Орленев выступит у нас еще в роли Дмитрия Самозванца.

В драме «собственного» изделия.

Злонамеренные люди распустили слух, будто эта пьеса заимствована г-ном Орленевым у г-на Суворина.

Клевета!

Эта пьеса заимствована отовсюду. Нет такого писателя, который мог бы похвастаться, что эта пьеса нисколько у него не заимствована.

Тем интереснее будет посмотреть г-на Орленева в этой роли. Шутка ли: человек будет играть из ста драматургов сразу!



Кто победит?

Это будет отчаянный срам, если победит не одесситка.

Ко мне вчера заехала троюродная сестра.

— В чем дело?

— Скажите, правда ли, что выписали каких-то специальных красавиц откуда-то?

— Каких красавиц?

— Ах, Боже мой, будто не понимаете. К конкурсу.

— А мне как знать?

— «Сотрудники» должны все знать.

— А я не знаю. Впрочем, — прибавил я галантно, — если вы туда поедете, то затмите всяких выписанных красавиц. А вы поедете?

— Вам какое дело?

— «Сотрудники» должны все знать...

Потом, через полуоткрытую дверь, я слышал беседу троюродной сестры с моей женой.

— Ты поедешь?

— Мой лысый медведь не пустит, — печально сказала жена. — А ты?

- То есть... нельзя будет не посмотреть.
- Еще возьмешь приз.
- Ну вот! Я даже не буду принимать талонов. Так и объявлю: не принимаю талонов... Знаешь что?
- Что?
- Если бы написать на кушаке золотой декадентской вязью: «Не принимаю талонов»? Это было бы очень оригинально.
- Слишком.
- Да, я только так, пошутила. Я лучше устрою декадентскую прическу... Или лучше русскую?
- Декадентская больше пойдет. У тебя такая фигура.
- Кстати. Маруся привезла из Парижа новый способ приподнимать платье. Понимаешь, совсем невысоко, но... ужасно. Вот так, смотри.
- Гм... Это рискованно.
- А Маруся ходит так по улице, и ничего. Но я бы так не решилась... разве что для конкурса. А знаешь?
- Что?
- Это будет отчаянный срам, если первый приз возьмет не одесситка.
- У меня в кабинете сидел юноша, мечтающий попасть в этом году в один из технологических институтов.
- Что за конкурс? — спросил он у меня.
- Я сказал.
- Сколько вакансий?
- Семь.
- Предвидится много прошений?
- По обыкновению.
- Будут, верно, резать...
- Резать — не резать, а жать — пожалуй.

**Altalena**

*Одесские новости. 6.08.1902*



## **Вскользь**

Глядя на ту абракадабру, что совершается теперь во Франции, я всегда жалею о том, что у меня так мало времени.

Следовало бы засесть за работу и написать «Историю одной великой идеи».

Историю свободной мысли.

Я бы начал с картины, напоминающей первые строки Библии:

«Земля же была безвидна и пуста».

И на дне этой бездны вдруг начинается первое брожение свободной мысли.

Она появляется в виде прелестной легкокрылой бабочки.

Она порхает по белому свету, и кого она коснется крылышками, тот уже навсегда ее избранник.

Серые капюшоны встревожены.

Они бросаются толпами ловить бабочку, но бабочка не дается им в руки.

Она ловко кружится над их головами и одного из них даже окропляет пылью своих крылышек.

И он становится ее избранником.

Зовут его Джордано Бруно.

Серые капюшоны втаскивают его на костер и сжигают живьем.

Дым идет кверху и в небесах соединяется с другими дымными столбами, потому что повсюду горят костры.

Повсюду избранников свободной мысли жгут, пытаются, заточают в темницы.

Но от их крови подымается благодатный пар; легкокрылая бабочка вдыхает его, крепнет и растет.

Это уже не бабочка — это прелестное крылатое дитя.

Его звонкий голос зажигает тысячи сердец; их огонь жарче огня костров; умный немецкий священник провозглашает новую религию, построенную на свободе мысли... Впрочем, довольно скверно.

Дитя выросло. Оно уже стало сильным юношей.

В руках у него лира — и сотни поэтов и прозаиков зовут мир под знамя свободной мысли.

Юноша стал мужем, достиг полного расцвета духовной и телесной мощи. Он протянул сильную руку, разметал серые капюшоны, очистил место и поставил на нем свой престол.

И теперь...

Теперь он обжился на новом месте, пополнил и отрастил брюшко.

И когда он видит, что серые капюшоны пытаются опять заполонить Францию, он просто-напросто зовет квартального надзирателя и говорит:

— Пресеки...

Это очень внушительно, да... но это не так поэтично, как прежде.

Что же делать!

Идея подобна птице: пока за ней охотишься, она очень красива, но чтобы подать ее к столу, необходимо ощипать все ее прекрасные перья.

**Altalena**

*Одесские новости. 9.08.1902*



## **Вскользь**

Слово «панацея» — не русское слово, но понятие это — чисто российское. Даже исключительно российское.

За границей давным-давно бросили выдумывать панацеи, а в России их слышишь на каждом шагу.

За границей знают не меньше здешнего, что многое из ныне существующего требует больших исправлений.

Но там говорят:

— Мы переделаем все, и тогда все будет по-другому.

И никто не может спорить, ибо вполне понятно, что, если переделать все, то все действительно будет по-другому.

В России же думают иначе.

Зачем все переделывать? Достаточно взять одну «самую главную» кнопку и заменить ее другой — и вся машина пойдет иначе и лучше.

Задача только в том, чтобы найти «самую главную» кнопку.

И тут — головокружительный простор для фантазии.

Г-н Добротворский выдумал ветер и воду: если утилизировать российские ветры и реки, да понаделать из них электричества, да пустить это электричество во все отрасли деятельности, то крестьяне разбогатеют, мещане процветут, купцы возблагоденствуют, дворяне возродятся и на фабриках не будет пахнуть дымом.

Г-н Добротворский изложил это в двух письмах очень сжато, гладко и логично.

Ибо логика все терпит.

Нет ничего легче, как создавать такие логические построения.

Все зависит от всего; изменение одной частицы не может остаться без влияния на целое; «следовательно», почините частицу — и целое процветет и возблагоденствует.

У Гофмана где-то выведен некий брадобрей, открывший тоже панацею.

— Характер человека зависит от его цирюльника! — изрекал он.

И доказывал. Точно не помню, но в таком роде:

— Характер человека создает среда. Если к человеку все относятся как к злодею, он и станет злодеем, а если все его любят, и он всех полюбит. Когда все на вас смотрят и ждут, что вот-вот вы рассердитесь или покраснеете, вы непременно рассердитесь или покраснеете. А ждут от вас того или другого образа действий по тому впечатлению, которое вы произвели при первой встрече, то есть по выражению вашего лица. Выражение лица зависит от парикмахера: придавая разные изгибы усам, разную форму бороде и прическе, парикмахер может одному и тому же лицу придать какое угодно выражение: приветливое, утрюемое, откровенное, скрытное, дерзкое, скромное. Сообразно с этим оттенком и будут к вам относиться ближние так или иначе, влияя этим на ваш характер. Следовательно, достаточно иметь искусного парикмахера для того, чтобы стать идеальным человеком...

Нет никакого сомнения, что этот цирюльник впоследствии эмигрировал в Россию и здесь попал в гувернеры к г-ну Добротворскому, которому и передал свою систему.

Ведь вся разница между г-ном Добротворским и тем цирюльником та, что первый изобрел панацею для общественного прогресса, а второй для личного совершенствования.

Да и эту разницу легко сгладить.

Достаточно выпустить на свет Божий как можно больше искусных цирюльников.

Они будут причесывать всех людей по-хорошему, все люди станут добрыми и, несомненно, станут помогать друг другу.

И не будет бедных, ибо, как только человек обеднеет, цирюльник сделает ему умоляющую прическу, человек войдет, и сейчас же будет оказано ему денежное в соответствующем размере воспособление.

И будет разрешен социальный вопрос.

Мой школьный преподаватель чистописания тоже рассуждал в этом роде.

— Избегайте клякс! — говорил он. — Кто приучит себя писать чисто и четко, тот и в жизни будет аккуратен и чистоплотен не только телом, но и душою...

Вот было бы чудесно, ежели бы все люди писали четко и чисто!



Я думаю, что нет такого ремесла, представитель которого, если не дурак, не мог бы усмотреть в нем панацею.

Даже ростовщик имеет право мечтать:

— Если бы можно было взимать по сорок на сто и если бы эти мерзавцы аккуратно платили, я бы разбогател, а если бы я разбогател, то мог бы открыть монопольный банк мелиоративного кредита с умеренными процентами, и у меня брали бы помещики и крестьяне, и сельское хозяйство процвело бы, а я — тоже...

Злят меня всегда такие господа Добротворские.

Предложил бы изловить ветер и запрудить реки: *très bien*<sup>1</sup>, прекрасное дело, придуманное еще тогда, когда и праотцев г-на Добротворского не было на свете.

Но ему этого мало: они, г-н Добротворский, желают одним щелчком спасти, как есть, все отечество.

Следовало бы в этих случаях ограничиваться словом:

— Блажь.

И проходить дальше, но злость не дает. Двойная злость.

Горько, с одной стороны, то, что ведь ясно понимаешь, откуда это взялась такая разница — почему за границей дело делают, а в России выдумывают панацеи.

А с другой стороны, обидно, что сии последние так распространены по лицу земли русской и сбивают с толку столько россиян.

Ведь панацеи в страшном ходу.

Они и в печати (один М. О. Меньшиков ежегодно выпускает их мало-мало по пятку), они еще больше в изустной передаче.

В каждой щели имеется умник, который из собственного духа знает, что нужно России.

Их тысячи, и вот их формула:

— Для того, чтобы все пошло как следует, достаточно...

И люди слушают, и уши развешивают, и слюни распускают, и забывают важное, то есть именно то, что под новый посев надо усердно и не мудрствуя распахать все поле, а не одну кочку, ибо тогда только «все» пойдет по-новому, когда все и будет переделано.

**Altalena**

*Одесские новости. 10.08.1902*

---

<sup>1</sup> Очень хорошо (*фр.*).



## Вскользь

### ГЕНРИХ СЕМИРАДСКИЙ

Российское телеграфное агентство грянуло однажды телеграммой такого содержания:

«Хомбург. Тело Антокольского будет перевезено в Петербург».

И мир был изумлен.

Тело Антокольского? Разве Антокольский умер?

Оказалось — да, Антокольский умер.

Отчего же агентство не известило, что Антокольский умер?

Тайна.

Теперь умер Генрих Семирадский.

Умер 10 августа. Мы же узнали об этом вчера, 13-го, из варшавских газет.

Отчего же агентство?..

Тайна.

Тут, вероятно, что-нибудь «такое» да скрыто.

Такое пренебрежение к живописи и ваянию — наряду с таким вниманием к сценическому искусству.

Не телеграфируют о том, что Антокольский и Семирадский умерли, когда столько раз телеграфировали просто-напросто о том, что г-жа Лидия Яворская жива и здорова.

Если бы Морзе и Юз знали, для чего будут служить их аппараты...



Семирадский жил в Риме на *via*<sup>1</sup> Гаэта, на краю верхней новой части города, где больше воздуха и тишины.

Улица важная и спокойная; дома не скучены, не сбиты в кучу, громоздясь друг на друга в живописном убранстве развешенного белья.

На улице Гаэта каждый дом — *villino*, то есть небольшой изящный особняк, стоящий посреди просторного садика.

Не только на *via Gaeta*, но во всей этой части города можно спросить у любого мальчишки, где *villino Semiradzky*, и вам укажут.

<sup>1</sup> Улица (*итал.*).

К художнику ходило столько натурщиков и натурщиц, столько посетителей.

Итальянцы, французы, англичане, немцы — больше всего, конечно, поляков.

И меньше всего, само собою, русских.

Русских в Риме вообще очень мало, а те, которые туда попадают, нисколько не интересуются друг другом.

Даже художники, из которых многие живут там больше двадцати лет, далеко не составляют тесного кружка.

Изредка случайно встретятся в кофейне — и опять потеряют друг друга из вида на месяц.

Недавно там покончил самоубийством Александр Антонович Риццони, академик.

Любопытно бы навести справки, как и от кого узнали об этом другие русские художники в Риме?

Несомненно, из газет.

Но так как они вряд ли ежедневно интересуются газетами, то, по всей вероятности, весть о самоубийстве старейшего их товарища добрела до них вроде как бы через Российское телеграфное агентство.

Я пришел как-то к Риццони и застал его на диване.

— Хвораю, давно хвораю, — мрачно объявил он мне.

Дней через десять у Араньо я встретился с компанией русских художников.

— Что, Риццони выздоровел?

Все удивились.

— Да разве Риццони был болен?

С Семирадским они, вероятно, и по разу в год не встречались.

А русские туристы очень просто могли не знать о том, что Семирадский живет в Риме.

Или даже о том, что Семирадский вообще существует.

Ибо я сам слышал в Одессе такое мнение, что «Пляска среди мечей» есть картина г-на Газелле.

Хотя, если говорить по совести, сам Семирадский не узнал бы своего создания в том виде, в каком оно было выставлено несколько лет тому назад на углу Ришельевской и Дерibasовской — с центральной женской фигурой, которую залепили розовой юбочкой из папиросной бумаги.



Я посетил Семирадского в январе 99-го года и провел в его мастерской около часа.

Семирадский был любезен и радушен в обращении, говорил просто, легко, откровенно и производил впечатление европейца — лучшее впечатление, какое может, по-моему, произвести мужчина.

Больших полотен в то время у него в мастерской не было.

На пюпитре стоял начатый жанр из эпохи цезарей: патрицианка на загородной прогулке с двумя мальчуганами под прищотром чернокожей рабыни.

Местность — *sampagna romana*<sup>1</sup>, величавая равнина с темными пиниями, похожими на японский веер, и альбанские горы вдали.

Мальчуганы лежали на ковре и боролись. Семирадский не одел их ни во что, а г-н Газелле, живя в Одессе, не мог налепить им штанов из папиросной бумаги, и они были очаровательны.

Все это полотно было из очень удачных, но темы для оживленного разговора дать не могло.

И мы говорили «вообще»: о Риме, о других столицах, о литературе.

— Я люблю Рим, — сказал Семирадский, — и за его тело, и за его душу. Душа Рима — великие воспоминания, классическая древность — это едва половина его красоты. Но и сам по себе, как он есть теперь, независимо от воспоминаний и легенд, Рим удивительно красив и величав, даже там, где целые улицы строились для бедноты, как попало, без великих претензий на архитектурные приличия. Но, конечно, я говорю только о старинных кварталах. Новые — это другое дело. Новые кварталы, жилища богатого или зажиточного мещанина, безобразны даже тогда, когда их строят с претензией на изящество и роскошь...

Я спросил:

— Значит, вам не нравятся Вена, Берлин, Париж?

— Вену я очень люблю, — ответил художник, — там есть прекрасные здания. Берлин очень тяжеловесен. Что до Парижа, то... Знаете ли, я в первый раз попал в Париж рано утром, часов в пять. Все, что составляет шик города, еще спало: магазины закрыты, элегантной толпы на улицах нет. И таким образом Париж явился мне в полной своей наготе, без всяких прикрас.

---

<sup>1</sup> Римская равнина (*итал.*).

— И как он вам показался?

— Неважен. После Рима особенно (я тогда приехал отсюда) это — большая архитектурная нищета. Масса домов без стиля и даже без характера... Конечно, днем и особенно вечером благодаря роскоши магазинов, огням, красивой толпе — всей этой убогости зодчества не замечаешь.

Потом мы заговорили о Кракове, потом о «Светочах христианства», принадлежащих музею этого города, — и тут я спросил Семирадского, знаком ли он с тем, что писалось на русском языке об этой картине.

Семирадский помнил некоторые статьи, между прочим, Гаршина, но прекрасных страниц, посвященных его картине Н. К. Михайловским в очерках «Вперемежку», не знал и не позревал.

Это удивило меня сначала, но потом мне пришел в голову очень резонный вопрос:

— Разве русский художник знал бы польского публициста?

И я подумал про себя, что, слава Богу, если он, русский художник, интересуется хоть русскими публицистами, — и заговорил о польской литературе.

С тех пор ушло почти четыре года — многого я уже не помню; твердо в памяти у меня осталось только то, что Семирадский говорил о Мицкевиче.

— Я поклоняюсь ему, — сказал художник, — но с «Конрадом Валленродом» не могу примириться. Мораль *bisogna esser volpe e leone* (надо быть то львом, то лисицей) — не христианская мораль. Этот эпитаф достоин своего автора — Макиавелли...

Я был другого мнения о Макиавелли и о морали *volpe e leone* в применении к идее «Валленрода», но не стал спорить и сказал только:

— Но эта поэма непобедимо красива.

— Да, — вдумчиво отозвался Семирадский и стал припоминать по-польски слова отшельницы: «Теперь уж я не завидую вам, жаворонки, ибо куда еще стремиться, какого еще блаженства могу жаждать я, которая познала великого Бога в небесах и любила великого мужа на земле...» Но тем печальнее, что это все так красиво.

Интересную вещь сообщил мне Семирадский о «Дзядях».

В этой мистической поэме где-то говорится о пророке, который должен прийти во спасение людей, имя же пророку «*czterdziesty i cztery*».

— Не слышали ли вы объяснения, что хотел сказать Мицкевич этим числом «44»? — спросил я.

— Не знаю, — отозвался Семирадский. — Но сын Мицкевича, Владислав, рассказал мне, что сам однажды спрашивал у отца объяснения этого таинственного числа, — и Мицкевич, пожав плечами, мрачно ответил: «Не знаю. Так написано».

Больше я почти не видел Семирадского, но от этой беседы унес на всю жизнь впечатление тонкой художественной, чуткой и деликатной натуры.

*Altalena*

*Одесские новости. 14.08.1902*



## **Вскользь**

### **БЕГЛЕЦЫ ПИНСКОГО БОЛОТА**

Недавно в Одессе отравилась молодая прислуга «за все».

Она жила у добрых хозяев, которые обучили ее читать и писать и, очевидно, хорошо с ней обращались.

Это все внушило ей высокие мечтания. Горничной захотелось учиться и дальше.

Она получала 9 рублей в месяц; 3 из них она ежемесячно выплачивала просветителю, который преподавал ей все науки.

Потом вдруг эта девушка затосковала, стала задумываться над вопросом, *к чему жить*, и в конце концов отравилась.

Стоило бы поговорить подробнее о ней самой и о том, что можно вывести из этого казуса, но в настоящую минуту меня занимает не она.

Я думаю о ее просветителе.

Она была «прислужкой за все», он — «учитель за все».

Она получала 9 руб., он — 3 рубля.

Кто он такой?

Мне кажется, что я его знаю.

Мне достаточно закрыть глаза, чтобы вообразить его в красках перед собою.

Ему, должно быть, лет восемнадцать.

Роста его я точно себе не представляю.

Но плечи у него узкие, грудь чахлая, пиджак потертый.

Лицо землистого цвета, зеленоватое, в нездоровых веснушках — лицо еврейского юноши, выросшего без воздуха.

Волосы редкие и бесцветные, глаза робкие, мигающие.

В голове у него большие надежды; на ногах у него рваные башмаки.

Благодаря этому контрасту все его существо выражает такую растерянность, точно он с луны свалился на землю.

И невнимательный наблюдатель так и подумает:

— Этот малый с луны свалился.

Но я знаю, что он не с луны.

Мне достаточно закрыть глаза вторично, чтобы представить себе воочию его вид на жительство.

Истрепанный, почерневший по сгибам лист серой бумаги с неуклюжей захолустной печатью города Пинска.

Город Пинск — это там, где Пинские болота.

В виде на жительство может быть прописано какое-нибудь другое местечко Минской, Могилевской, Витебской губернии, но это не составляет разницы.

Если вы всмотритесь — это все те же Пинские болота.

Топкие болота, где копошатся, рождаясь и умирая, тысячи увязнувших человеческих существ, барахтаются и изнемогают, но не тонут, потому что крепко держатся друг за друга.

А иные даже выкарабкиваются из топкой трясины и бегут от нее подальше.

В те блаженные края, где можно учиться и доучиться до возможности самому обучать других всем наукам за три рубля в месяц.

Но какая же энергия требуется для этого?

Чем больше я всматриваюсь, закрывши глаза, в эту невзрачную бледную фигурку, тем больше растет мое изумление перед нею.

— Ты! Беглец из Пинского болота! — хочется мне спросить. — Ведь говорят, что здоровый дух в здоровом теле. Откуда же в твоём чахлам теле сила воли, такая непримиримая настойчивость?

Я убежден, что на такой вопрос он не нашел бы ответа.

Для него это все так просто: ему захотелось учиться, и он приехал в Одессу.

Удивительно просто!

«Захотелось» и «приехал».

Да ведь и нам часто многого «хочется» — но для нас от хотения до решительного шага так далеко, и этот шаг представля-

ется таким сложным; отчего же он «захотел» и «приехал» — и думает, что это так просто?

Вовсе это не просто.

«Приехал» значит не просто «приехал».

Это значит:

— Живу впроголодь. Ночую, где попадетсЯ. Иногда на улице. Готов на всякую работу. Годен — далеко не на всякую. Зарабатываю 3 рубля в месяц. Если месяц удачный, то и 4 рубля. И...

— И?..

— И учусь...

Вы спросите, где и как он учится.

Везде и всячески. Он копается во всякой щели, где застряла хоть одна пылинка знания.

Несколько лет тому назад я стоял на крыльце публичной библиотеки.

Из библиотеки вышел он — бедно одетый юноша с отпечатком Пинского болота.

Он робко подошел ко мне и спросил:

— Позвольте узнать: что значит «трехнедельный удалец»?

Он произнес последнее слово с ударением на *а*; я поправил его, объяснил ему смысл этого выражения, и он ушел обратно, поклонившись мне и сказав:

— Благодарю вас.

Я никогда не забуду этого случая. Потому что я не знаю, был ли у этого читателя Лермонтова в тот день билет на бесплатный обед в дешевой кухне...

При обществе распространения просвещения среди евреев есть особая «комиссия по внешкольному образованию», которая в хорошие годы (в прошлом, например) бесплатно кормила в дешевой кухне до 100 человек, а в скудные годы (таков 1902) — до 40.

Разве их 40? Разве их 100?

Даже в самые свои жирные годы внешкольная комиссия вынуждена применять нечто ужасное: выбор между голодными.

Всех кормить ежедневно — не хватает средств.

Да они и сами не особенно хлопчут об обеде.

— Нельзя ли географию Янчина? Хотя бы совсем изодраную? — просят они, толпясь в приемной комиссии.

И если иному попадетсЯ не очень подержанный экземпляр Янчина, у него руки дрожат от счастья, и в этот день ему не нужно обеда.



Лучшая мечта его, пламеннейшее желание — это вовсе не ежедневный обед и теплый угол.

Это — чтобы комиссия доставила ему дарового учителя.

Комиссия посылает его на вечерние курсы в городской аудитории, иногда на лекции по естествознанию в университет, но это все не то, что даровой учитель.

Учитель — это, во-первых, человек, который два или три раза объяснит непонятное слово или выражение.

Во-вторых — это общение, лицом к лицу, с глазу на глаз, с настоящим интеллигентным человеком — с гимназистом или гимназисткой, иногда даже со студентом.

Какое счастье!..

Сколько этих пришельцев в Одессе — не знаю, и никто точно не знает, но очень много.

Сведущее лицо пишет мне о них:

«Некоторые обнаруживают большие способности к живописи, музыке.

Немало среди них девушек, приехавших из отдаленных местечек.

Комиссия выдала в прошлом году на пособия, квартиры, обувь и прочее около 500 руб.

Ныне этот расход пришлось сильно сократить»...

Денег нет. 500 рублей в год нет. 10 руб. в неделю не набирается с пожертвований...

Стыдно и тяжело. Не поверил бы, да нужно верить.

Многие, я знаю, говорят:

— Куда они рвутся? Едва ли сотая доля из них попадет в университет; еще несколько человек пристроятся в зубные врачи или в этом роде. Прочие все останутся недоучками, оторвавшимися от ремесла и не дорвавшимися до свободных профессий, — жалкими рядовыми полуинтеллигентного пролетариата. Зачем помогать им на этом пути? Зачем поддерживать их в убеждении, будто ремесло менее почтенно, чем интеллигентная профессия?..

Господа!

Вы играете нехорошую роль.

Ремесло-то почтенно... в принципе, но разве вам неизвестно, что такое ремесло в действительности, особенно ремесленная «учеба» — не только в глуши Пинских болот, но даже здесь, в Одессе?

Вы думаете, что если сотни людей предпочитают голод, холод и чужбину, то это исключительно из отвлеченного сознания, что ремесло «менее почтенно»?

Наивные вы люди...

А наивность и доводит до нехорошей роли — до жестокосердия.

Люди выкарабкиваются из болота — понимаете, из болота, а вы им говорите:

— Зачем вылез? И тут не рай.

Разве он рая хочет? Он хочет уйти от темноты с ее побоями, бранью и всяческим смрадом.

Пусть он и тут не сделает «карьеру» — что вам за дело?

Если вы прежде, чем подать кусок хлеба голодному, спросите себя:

— А не предстоит ли этому бедняку, которого я теперь спасаю, завтра еще более мучительная смерть?

То у вас будут все резоны не дать ему ничего, ибо действительно нет гарантии, что он завтра не попадет под колеса конки.

Я очень уважаю людей, думающих о том, что последует завтра и послезавтра, но больше люблю тех людей, которые помогают сегодняшней нужде и лечат сегодняшние раны.

И мы с вами не можем судить, принесут ли пользу те из этих беглецов болота, которые навек останутся полуинтеллигентными пролетариями.

Об этом скажет будущее.

Может быть, они явятся передаточным кабелем, по которому отблески просвещения достигнут более темных слоев.

Может быть, они помогут оздоровить те самые болота, из которых выкарабкались?

Помогайте стремящемуся и не мудрствуйте лукаво.

И не бойтесь ошибиться, не бойтесь, что ваша помощь направлена не туда, куда следует.

Ошибка не страшна, страшно бездействие.

Ошибка не страшна: после вас с ними будут еще люди на свете, будет кому исправить все ошибки.

Лишь бы не гасла энергия в людях.

**Altalena**

*Одесские новости. 17.08.1902*



## Вскользь

### О КНИГЕ

Г-н Изгоев, без сомнения, не страдает врожденной книгобоязнью.

Он знает книгу, он с ней сблизился и свыкся; он, во всяком случае, то, что называется «человек начитанный».

Поэтому особенно любопытно было прочесть на днях за его подписью следующие слова:

«Книга не делает человека ни великим, ни свободным, ни счастливым.

Как это ни странно, но в стране, где больше половины жителей безграмотны и никогда не держали никакой книги, среди некоторых слоев интеллигенции замечаются признаки книжного переутомления и отвращения к книге.

Это — один из признаков, что русской интеллигенции предстоит пережить такое умственное движение, в котором книги и различные рационалистические теории не будут пользоваться ни признанием, ни любовью».

Мне тоже кажется, что мода на книгу проходит.

Я тоже замечаю признаки и оттенки, дающие мне уверенность, что близится период, когда российская интеллигенция освободится от эпидемии читательства.

И я этим признакам в высшей степени рад.

Я вовсе не противник книгопечатания.

Могу документально доказать, что еще в 5-м классе заведения, сочиняя на заданную тему «О пользе книгопечатания», я отнесся к изобретению Гуттенберга вполне снисходительно и одобрительно.

В подтверждение привожу начало трактата:

«Еще в древнейшие времена люди осознали просветительное значение науки и старались распространить ее путем переписки книг, что, однако, представляло большие неудобства, совершенно устраненные изобретением книгопечатания великим Иоанном Гуттенбергом, сделанным в 14 веке».

Но быть поклонником книгопечатания не значит быть поклонником читательства.

Я — поклонник книгопечатания потому, что есть миллионы безграмотных людей, не умеющих отличать друга от врага.

Пусть книга научит их этому важному искусству.

И есть люди полуграмотные — новички и «экстерны» интеллигенции.

Рожденные в темной среде, они попадают, волею судеб или по собственной энергии, на окраину интеллигенции, как провинциалы в столицу. Им трудно и неловко в новой среде, но назад дороги нет, и потому во что бы то ни стало необходимо им сравняться с коренными интеллигентами, которые так легко и развязно умеют держать себя на паркете умственных интересов.

И для этих полуграмотных тоже спасение в книге.

Пусть она довоспитает их до конца и освободит их от мучительного сознания неравенства с окружающей средой.

Но то хроническое повальное читательство, которым объедается коренная, урожденная интеллигенция, не стоит ни одного доброго слова.

«Интеллигент» — великое понятие.

Интеллигент — это идеальный работник своей эпохи.

Это — существо, настроенное в унисон с общим тоном эпохи, чутьем ловящее все ее склонности и запросы.

Это — образцовый духовный аппарат самой последней, самой сложной и чувствительной конструкции.

И этот аппарат предназначен для того же, для чего и вообще создаются аппараты:

— Для работы.

Он тогда только живет, тогда только исполняет свое назначение, когда под зубцами его шуршит крепкая работа.

А мы?

Мы заняты совсем другим.

Аппарат у нас стоит без дела, а мы ходим вокруг да около него, стираем с него пылинки, подливаем разного сорта масла и натираем все, что можно, до блеска.

Сконапель<sup>1</sup> «самообразование» и «всестороннее развитие».

Зачем?

«Так».

— Что это за господин?

— Серьезный и дельный малый.

— А что он делает?

— Он очень много читает.

<sup>1</sup> Как говорится (от *фр.* *ce qu'on appelle*).

И я охотно верю, что много.

«Он», вероятно, «работает» по программе чтений для самообразования (есть такое издание одного специально для сей цели пребывающего на свете общества), и уж сколь много там записано заглавий, того никакой бухгалтер не сочтет...

Рассмотрим это дело внимательно, беспристрастно и спокойно.

Я беру не специалиста — специалисту, бесспорно, необходимо много читать по своей специальности, а беру просто интеллигента, то есть образцового члена — работника современного общества.

Я беру его и ставлю направо, а налево ставлю монументальную «программу самообразования», в которой сто рубрик и десять толстых книг в каждой рубрике, и спрашиваю:

— На что правому левое?

Ответ:

— Для всестороннего развития.

Гм... Всестороннее развитие есть не то, что вы полагаете.

Всесторонне развит тот, кто все способен понять

Заговорите вы с ним о психологии — он понимает.

Заговорите о сельском хозяйстве или о юридической личности — он понимает.

Он все понимает. Но из этого не следует, что он все знает.

Что ничего нового ни о психологии, ни о юридической личности вы ему не сообщите.

Всесторонне развитый человек знаком с тем общим направлением, которое в данную минуту приняла всякая более или менее интересная ветвь науки или искусства.

Но нельзя от него требовать того, что выражено в вашей ходячей фразе:

— Сознательный человек обязан иметь определенное мнение по каждому из вопросов, интересующих современное общество!

В этой фразе скрыта большая нелепость.

Иметь «определенное мнение» о том, что дважды два четыре, — нельзя. Это всем известно без всяких «мнений».

Следовательно, только по спорным вопросам требуется «мнение».

И от кого? От «сознательного человека», от среднего интеллигента, от Ивана Ивановича и Анны Ивановны.

Это картина.

Идет спор о теории ценности.

Большой ученый провозглашает:

— Сгусток общественно необходимого количества труда:  
вот что такое ценность.

Другой большой ученый спорит:

— Нет, человеческий труд есть только один из факторов  
ценности.

Третий большой ученый:

— Предельная полезность.

Четвертый ученый — если не большой, то хоть крупный:

— Степень «желаемости».

И в этом споре больших людей Иван Иванович приглашается  
быть судьей.

И Анна Ивановна «обязана» решить, что такой-то прав,  
а остальные три больших ученых ошибаются, то есть не пони-  
мают того, что понимает она, Анна Ивановна.

У меня был учитель физики Троша, который говорил:

— По этому вопросу разные ученые разного мнения: Крае-  
вич же и я — вот этакое...

Анна Ивановна тоже «согласна с Энгельсом»:

— Энгельс и я...

Было бы абсурдом полагать, будто действительно Иван Ива-  
нович и Анна Ивановна в силах разрешать споры больших уче-  
ных.

Дело проще.

Чью книгу они первую прочли или — еще скорее — кто  
теперь в моде, с тем они и «согласны».

Остальным они кричат:

— Pfu!!

Я сам подслушал недавно такую беседу между двумя очень  
сознательными интеллигентами.

Оба были материалисты и, как было принято до последне-  
го времени, размышляли по Гегелю, но один из них стал читать  
г-на Бердяева и вдруг почувствовал в себе соблазн к мышлению  
по Канту.

И сам встревожился:

— Я, знаете, — сказал он другому интеллигенту, — колеб-  
люсь. Очень уж убедительно.

— Pfu! — сказал другой, еще не читавший г-на Бердяева.

---

<sup>1</sup> Тьфу!

— Но я еще гегелианец! — успокоил его собеседник.

— Знаете что? — заключил опасливо второй интеллигент, — надо избегать такого выбора книг. Иначе нам с вами грозит опасность превратиться в эклектиков...

Это были не дураки: это были два умных интеллигента, как дай Бог нам с вами, не пустые болтуны и не бездельники, а люди работающие.

Но сами они чувствовали за собой так мало прав на то, чтобы творить суд между спорящими учеными, что во избежание соблазна добровольно решили не читать возражений!

При чтительстве нет места никакому «собственному мнению». При чтительстве воспринимается, как гвоздь в стену, «мнение» того мыслителя, который в данное время в моде.

Чтительство вытравливает собственное мнение, потому что человек научается не только приходить к чужим выводам, но и мыслить по чужим методам.

Я знал много неглупых людей, которые до известного времени говорили своими словами и были не всегда правы, но всегда жизненны и интересны, а потом ударились в чтительство, пошли высказывать книжные мысли и стали неинтересны, нежизненны... и тоже не всегда правы.

Это стремление «иметь обо всем определенное мнение» сводится к неимению никаких собственных ни мнений, ни слов.

Оттого эти чтительствующие, как плоскость на плоскость, похожи друг на друга.

Оттого все они говорят одно и то же — и когда произносят первое слово, можно уже предвидеть второе.

Только разнообразие, калейдоскоп противоречий будит мысль.

Монотонная, вымуштрованная армия единомышленников, вычитавших свое единомыслие из одной и той же книги, убаюкивает всякую мысль, как езда по равнине.

В этом вред повального чтительства, громадный вред: оно отбивает аппетит к мышлению.

Ах, как хорошо сказал Ницше:

— Еще одно столетие читателей — и сам дух прокиснет.

Но есть и еще более опасная сторона.

Ведь мы с вами, господа многочитающие интеллигенты, ровно ничего не делаем.

Никому не помогаем, ничему не служим, ничего не спасаем и не отстаиваем.

Ерго<sup>1</sup> — все мы бездельники и вольношляющиеся?

Но, по-вашему, оказывается, есть между нами подразделения.

Не все «пустые»: есть и «дельные».

— Дель-ны-е?! У нас?!

— Именно.

— Кто же?

— А вот те, которые много читают.

Я ведь этого не выдумал, это факт: бездельника, который много и усидчиво читает, мы называем «дельным» и «серьезным».

И когда он дочитывает пятидесятую книгу Летурно, мы выражаемся:

— Он *работает* по социологии.

Срам! Чтение книги, угождение любознательности, которая есть один из видов любопытства, мы называем делом и работой.

Если бы мы с вами просто и откровенно признавали себя бездельниками, нам было бы стыдно, — и стыд, может быть, толкнул бы хоть кого-нибудь из нас в сторону дела и работы.

Книга морочит нас.

Книга дает нам иллюзию работы, и мы позорно спим на этой иллюзии, когда рядом гниют непочатые пахотные земли, ждущие рабочих рук.

Но нельзя безнаказанно лодырничать. Энергия, живущая в человеке, требует применения. Книжной лебедой-мякиной надолго ее не обманешь.

И она начинает громко тосковать.

Вот почему все чаще приходится слышать жалобы на книгу и на ее уродливо огромную роль в нашей жизни.

И вот почему верно то, что мы скоро вступим в такое умственное течение, в котором книга «не будет пользоваться ни признанием, ни любовью».

Тысячи симптомов предсказывают, что эпоха, в которую мы теперь вступаем, потребует для себя работника-индивидуалиста.

Он будет вне группы, вне партии, вне программы; это будет человек своих единоличных вкусов и стремлений, своего единоличного настроения; это будет «человек без ярлыка».

---

<sup>1</sup> Следовательно (*лат.*).



Он будет вглядываться только в те отрасли науки и искусств, которые сродни его вкусам, и не будет обязан иметь «определенное мнение по вопросу о влиянии финикиян на культуру ацтеков».

Книга для него будет тем, чем она должна быть, — советчицей и ободрительницей, но не главным и не первым из его духовных интересов.

Я вовсе не воспеваю невежества; я и теперь так же твердо, как в пятом классе заведения, верю в «просветительное значение науки»; я только хотел бы сказать книге:

— Осади назад!

Потому что первое место должно принадлежать не книге, а жизни.

В жизнь надо вглядываться, из жизни — опытом и сочувствием — надо вычитывать ее истинные нужды, а не из книг, в очках и со словарем.

И надо работать.

Ибо чтение само по себе есть вещь почтенная, но если оно самозванно именуется «делом» и «работой», тогда оно перестает быть почтенной вещью.

Тогда чтение становится самодовольным и вредным бездельничеством, хуже круглого невежества.

**Altalena**

*Одесские новости. 18.08.1902*



## **Вскользь**

Приходила троюродная сестра.

Сияет: один из семи призов на конкурсе красоты достался ей.

— Знаете, — возбужденно рассказывает она, — сначала в толкотне никто меня не замечал, только подошли три гимназиста и дали мне три клочка: я думала — талоны, смотрю — пересадочные билеты. Такие мальчишки! Я бросилась за ними, изловила одного, побила зонтиком и толкнула каблуком в затылок: тогда на меня обратили внимание. Тут я, кстати, подобрала шлейф совсем по-новому — немножко смело, зато шик, — и талоны так и посыпались...

У меня мелькает мысль проинтервьюировать троюродную сестру.

— Кстати о шлейфах, кузина, — говорю я, — слышали о новом проекте?

— О том, чтобы запретить шлейфы? Читала.

— Что скажете?

Она хватается мою руку.

— Кузен! Вы меня часто встречали на улице?

— О! Помилуйте, кузина: ежедневно и на каждом квартале.

— Видели ли вы на мне когда-нибудь платье без шлейфа?

— Никогда.

— А видели вы когда-нибудь, чтобы мой шлейф волочился по земле?

Я вдруг начинаю понимать, к чему она ведет.

— В самом деле! Никогда. Он у вас всегда подобран.

— Да само собой! И еще больше: скажите по совести, много ли вы встречали дам со шлейфами, у которых на улице шлейфы волочились бы в пыли?

Я припоминаю и, действительно...

Дам со шлейфами я видел много.

Но разве шлейф бывает в пыли?

Шлейф изъят из законов земного притяжения.

Его стремление — не к праху, а ввысь — как можно дальше от праха.

— Кузен! — настаивает троюродная сестра. — Ведь надо быть слепым, чтобы не знать, что платье тогда именно и подбирают, когда оно с треном, и так подбирают, что ни одна оборочка не заденет по земле. Это, напротив, отсталым женщинам, реакционеркам, носящим просто длинные юбки без тренов, — им надо запретить! Юбка без трена — значит, не франтиха; не франтиха — значит, не подымает платья, чтобы не показать чулка; не подымает платья — значит, оборка волочится и подметает улицу. Понимаете? Надо сделать шлейфы обязательными — вот что надо!

Я остаюсь подавленным перед этой логикой, ясной и неоспоримой, а кузина из оборонительного положения переходит в наступательное:

— Пусть лучше сочинят другой проект, не такой смелый, но более полезный.

— В каком роде?

— Чтобы ежедневно поливали улицы, а загородные шоссе даже по два раза в день. Вот тогда и пыли не будет, и все дамы, даже реакционерки, волей-неволей будут подбирать платья *comme il faut*<sup>1</sup> ...

<sup>1</sup> Прилично (фр.).

- Да это не ново, кухня.
- Отчего же не поливают?
- Поливали, да перестали: отцы города недовольны.
- Отчего же недовольны?
- «Фи», говорят, «мокро»...

**Altalena**

*Одесские новости. 20.08.1902*



## **Вскользь**

Даже римская газета «Трибуна» заговорила о том, что для Италии чуть ли не выгоднее примкнуть к двойственному союзу, чем остаться в тройственном.

«Трибуна» даже объясняет, почему выгоднее.

Нам с вами этого, конечно, не понять.

Двойственный — это пушки, и тройственный — тоже пушки.

Пушки дорого стоят.

Двойственный или тройственный — Италия будет по-прежнему тратить непозволительно много на пушки.

Значит — для Италии никаких выгод.

Для Европы — тоже никаких.

«Мир» и теперь гарантирован тем, что Германия плюс Австро-Венгрия плюс Италия боятся России плюс Франция, и наоборот.

А тогда он гарантирован тем, что Германия плюс Австро-Венгрия будут бояться России плюс Франция плюс Италия — и наоборот.

Ерго<sup>1</sup>, и так и сяк «мир» обеспечен — и в обоих случаях грош ему цена, этому миру, коренящемуся во взаимной боязни, — миру, формула которого такова:

— Я бы тебя хватил, да опасаясь, что и ты меняхватишь...

Но «Трибуна» — официоз.

Очевидно отсюда, что близится разрыв этого мезальянса, который сочетал итальянцев с их историческими врагами и нравственными антиподами — немцами.

Когда итальянцы празднуют национальное торжество, австрийцы поминают национальное горе.

<sup>1</sup> Следовательно (лат.).

Итальянцы считают героем юношу Гульельмо Обердана, казненного в Триесте; австрийцы называют его Вильгельмом Оберданком и полагают, что туда ему и была дорога — на виллицу.

И это — союзники...

Если Италия сблизится с Францией и Россией, это событие, как политический союз, для нас с вами не представит ничего особенно отрадного.

Но за политическим союзом обыкновенно следует вспышка национального сближения.

Вспышка интереса одной нации к другой.

Если это две такие разнородные нации, как немцы и итальянцы, то из этой вспышки ничего не выйдет.

Немец поглядит на итальянца и скажет:

— Lumpe<sup>1</sup>.

Итальянец поглядит на немца и скажет:

— Antipatico!..<sup>2</sup>

Но в общении с французами итальянцы найдут братьев по крови и — мне кажется — в общении с русскими найдут отчасти братьев по духу.

В национальном характере русского и итальянца много общего.

Та же увлекающаяся натура.

Та же отсутствие мелкой практичности.

Та же быстрота, чуткость и гибкость ума.

То же отсутствие узкого, исключительно корпоративного духа.

Та же глубокая и полудетская впечатлительность.

Только у итальянца все это ярче, резче, отчетливее — у русского более туманно, расплывчато.

У итальянца — гамма *staccato* при сильной педали, у русского — хроматическая гамма *legato* с левой педалью; но гамма одна и та же и один и тот же инструмент.

Политическое сближение для простых смертных безразлично, но из духовного сближения двух народов, сродных по духу, могло бы выйти благо и для русских, и для итальянцев.

Итальянцы и русские мало знают друг друга, а между тем близкое знакомство послужило бы для обеих сторон источником и культурных наслаждений, и пользы.

---

<sup>1</sup> Оборванец (нем.).

<sup>2</sup> Антипатичный (итал.).

Особенно Италия совсем не знает русской литературы и русского искусства.

Теперь там повально переводят Горького, отчасти Чехова, но разве можно понять того и другого, зная только понаслышке о сошедших со сцены деятелях русской литературы, не имея понятия о русской критике и — главное — представления о русской действительности?

Италия в России больше известна, но известна односторонне.

Здесь, собственно, знают только итальянскую музыку и... итальянскую географию, то есть, что в Неаполе Везувий и на острове Сицилия не то Гекла, не то Этна.

Итальянской литературы в России не знают, потому что классической никто не читает, а новой и новейшей не переводят.

Итальянская литература теперь не блещет звездами первой величины.

Но Матильда Серао, Фогаццаро, Верга, Капуана, Грация Дедеда, наверное, стоят тех посредственностей Франции и Англии, романы которых оптом печатаются в русских журналах.

Итальянская наука известна только в одной своей ветви — криминальной антропологии — да и то больше с легкомысленно-публицистической стороны.

А социологи Италии? А экономисты? Лабриола, Сигеле, Ничефоро, Нитти, покойный Феррари, Панталеони, Парето — не все эти имена известны даже специалистам, а все они принадлежат к оригинальным, блестящим, часто глубоким мыслителям.

А итальянская общественная жизнь, которой в России никто не знает?

Следовало бы не упустить момента, чтобы за политическим сближением последовало, или даже ему предшествовало, духовное сближение России и Италии.

И мне кажется, что Одессе, с ее крупной и влиятельной итальянской колонией, могла бы принадлежать практическая инициатива в этом деле.

Среди местных греков нашлись ведь лица, организовавшие издательство лучших произведений русской литературы на греческом языке.

Одесская итальянская интеллигенция поступила бы и хорошо, и своевременно, если бы взяла на себя роль передаточной станции между двумя культурами.

Я бы советовал ей ознаменовать какой-нибудь инициативой в этом роде близящийся национальный праздник 7 (20) сентября.

*Altalena*

*Одесские новости. 21.08.1902*



## **Вскользь**

### **АРЕРЕРЭММЕН**

Перед носом начало учебного года, и, хотя старая, но самая современная тема теперь — классицизм.

Прекрасная вещь — классицизм.

Нельзя, в сущности, не быть его сторонником.

Классическая литература — самая чистая, самая абсолютная литература.

В то время жизнь была еще проста и близка к природе.

Минуты же поэтического возбуждения совершенно сливали человека с природой.

И его устами творила сама стихия.

Творила, как может творить только стихия: величаво, мощно, цельно.

Жизнь была проста, но благодаря этой простоте легче было делать обобщения. Легче было провидеть глубину жизни.

Оттого многое тогда для возвышенных умов было яснее, чем теперь.

И оттого простые образы и простые идеи классиков часто кажутся нам откровениями, и головокружительные тропинки современного умозрения иногда приводят к тому, что тысячелетия назад угадано классиком.

Божественная вещь — классическая литература.

Странно только, что я очень поздно догадался об этом.

Если бы меня во дни отрочества спросили, какие есть великие поэты, я бы назвал, понаслышке или по собственному слуху, Гете, Данте, Шиллера, Гюго и так далее.

Мне бы напомнили:

— А Гомер, Вергилий, Гораций?

Я, конечно, поспешил бы согласиться, но про себя подумал бы:

— Разве это поэты? Это учебники.

И я был бы отчасти прав.

Ибо сознание составляется из фактов.

Факты же таковы, что на книжной полочке, где у меня хранились поэты, стояли Шиллер и Шекспир, а в ранце, где полагалось быть учебникам, лежали Ходобай, Эмиль Черный и Гомер.

И поэтому нельзя было требовать, чтобы я особенно отчетливо отличал Гомера от Черного.

Ибо едва я начинал: «Гнев, о, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына» — трах! — выскакивал Черный и спрашивал:

— А что это за форма родительного падежа: Peleidaeo?

И если я не знал, что это за форма — аттическая, дорическая или ионическая, то мне задавали в виде штрафной работы выучить наизусть plusquamperfectum passivi<sup>1</sup> от глагола ароремпро.

И я выучивал. Слушайте:

— Аререрёммен, арерёмпро, арерёмпфtho, арерёмметон, арерёмпфhten, арерёммета, арерёмпфhte, арерёммёной éсан.

После этого мне могли сколько угодно рассказывать о красотах Гомера.

Для меня Гомер был весь в слове аререрёммен.

Но однажды мне предстояло длинное путешествие.

Пушкин советует брать с собою в дорогу только скучные книги.

И я взял Илиаду, простую Илиаду на русском языке и без подстрочных примечаний.

И не спал всю ночь, а читал Илиаду до самой Жмеринки.

А потом выспался и с Подволочиска начал перечитывать сначала.

Ибо оказалось, что Гомер действительно великий поэт.

Помню я и историю совсем обратного свойства.

В третьем классе мне подарили сборник русских былин.

Это ведь тоже классическая литература!

Я ими зачитывался и увлекался, по ночам бредил чудными, хотя и непонятными словами:

— Ох ты гой еси!

В пятом классе передо мною развернули эти самые былины в учебнике Буслаева.

<sup>1</sup> Предпрошедшее время в страдательном залоге (лат.).

И я не узнал их.

Под каждой страницей чернело целое болото подстрочных примечаний.

В этих примечаниях объяснялось, что значит «ох ты гой еси».

Я прочел эти примечания и сразу понял.

«Ох ты гой еси» означало: аререрёттмен.

И былины с этого момента стали для меня тоже учебником...

Образование человека, то есть образование в человеке интеллигента, должно, по-моему, основываться на восприятии красот мировой литературы.

А изучение литературы было бы неполно и неустойчиво без изучения чистейших и совершеннейших образцов ее.

Классицизм необходим и незыблем.

Но как же быть с аререрёттмен?

Ошибочно было бы думать, что аререрёттмен есть только придирка или каприз моего учителя.

Вовсе нет.

Это слово значит, кажется, — «я был отослан», и, не зная этого слова, нельзя понять и стиха, в котором оно заключается.

Значит, и аререрёттмен необходимо и незыблемо?..

Не думаю.

По-моему, классическая литература есть нечто вечно живое и необходимое, а аререрёттмен есть мертвый и бесполезный древнегреческий язык.

К чему он?

Говорят: нет хороших переводов.

Закажите их хорошим поэтам.

Вместо тех денег, что теперь ухлопываются на аререрёттмен, назначьте солидные академические премии за лучшие переводы классических произведений.

Говорят: в переводе часть красот теряется.

О, бесспорно!

Но в грамматическом изучении не часть, а все красоты пропадают.

Всякий гимназист подтвердит это.

И всего наивнее думать, будто красота греческого текста может быть доступна даже усерднейшему гимназисту.

Надо очень хорошо знать язык, чтобы разбирать, красиво или некрасиво владеет им автор.



Возьмите человека, читающего по-французски «почти без словаря», и предложите ему объяснить, чем стиль Флобера лучше стиля газеты «Figaro».

Он не только не объяснит — он даже сам не заметит никакой разницы.

А разве от идеальнейшего гимназиста можно требовать большего, чем умения читать по-гречески или по-латыни «почти без словаря»?

На что же это?

Красота текста недоступна, а красота смысла заслоняется разными аререрётмен.

И чтение Гомера или Горация становится утомительной повинностью.

Вместо того, чтобы любить классиков, их терпеть не могут.

Разве это — классицизм?

Изучение классиков на древних языках — это отрицание классицизма.

Классическая литература велика и прекрасна.

Юноша должен воспитываться на ней. Она должна быть для него родной.

Значит, он и изучать ее должен на своем родном языке.

**Altalena**

*Одесские новости. 23.08.1902*



## **Вскользь**

Хорошо на лодке в эти последние дачные ночи.

Уключины скрипят, шелестит вода, и не знаю, откуда с берега долетает музыка; остальное все тихо.

Месяца нет, зато у звезд большой праздник.

Их столько высыпало на темную небесную площадь, и все нарядные — каждая в своей самой яркой одежде.

Под веслами черная вода зажигается чудесным бриллиантовым огнем.

И это все так хорошо и близко, что неслышно устали, и можно грести, заглядевшись на все, что вокруг, пока нос лодки не стукнется о горизонт.

Незаметно, как бежит добрая старая шаланда.

Час ли прошел или два, только уж оба маяка на виду.

Левый горит белой звездой и посылает от себя струю дерзкого света прямо вверх, в бездонное небо.

Правый мигает то желтым, то красным огоньком.

И между левым и правым тянется черный берег, лента, на которой нанизано несколько освещенных точек.

И эта лента — город с его дачами и пригородами.

Не видно его и не слышно его из далекого открытого моря, но и здесь мерещится привычным плечам гнет его тяжелой власти.

Уключины перестали скрипеть — освобожденные весла прильнули к бортам лодки, будто руки по швам, и задремали.

Полюбujemyся на город.

Вот он, город, которому надо служить и отдавать свою жизнь лучшими каплями ее.

Мало знал его, редко сюда заглядывал и рассеянно приглядывался, но любил.

Часто его при мне бранили, и я горячо вступался.

Доводов у меня не было, потому что города, собственно, я не знал, но были большая экзальтированная любовь к родному месту и много уютных воспоминаний.

И оттого была большая горячность.

И эту горячность, и эту любовь, наконец, я привез сюда и с тех пор успел обжиться и осмотреться в этом городе.

Нехороший это город.

Сердце не захотело выбросить из себя любви к нему, но любовь перегорела на огне обиды и стала другой.

Прежде это была любовь, которая не могла наглядеться и радоваться — теперь она тоскует и хмурится, потому что нехороший у нас город.

Нет в нем отзывчивости, нет ласки и радушия, нет чистоты душевной.

Для всех, кто на него работает, он выставил на площади бездонную бочку Данаид.

Лейте в нее ваш труд, вашу пламенную любовь — и не будет от того не только осязаемого плода, но и доброго слова для вас, доброй мысли о вас не найдется.

Зашибет вас какой-нибудь бедой, — ни одного привета, ни одного цветка не принесут вам, и забудут о вас, и вашего имени больше не назовут.

Ни во что этот город не верит, и нет для него ни бескорыстия, ни жажды истины, потому что ведь вам платят деньги за вашу работу — какая же тут вам еще признательность?

И ни за что ни про что при самом честном и чистом вашем шаге обдадут вас гадким подозрением — и не возмутятся, не опечалятся, а пожмут плечами просто:

— Все люди таковы...

И ничего не знает этот город. Ужасающе не знает, таких вещей не знает, которые позорно не знать.

Ничего не знает, ни о чем не помнит, ничем не волнуется, никого не любит и ни во что не верит.

Любить его так, как я любил, значит лететь на огонь и вдруг сильно и больно удариться о каменное стекло и упасть разбитым и униженным.

Бросить бы все, уехать далеко от этой обиды — да нельзя.

Что ж, возьмемся за весла, повернем шаланду к берегу, вернемся назад.

Будем и дальше стучать в ту же глухую стену и выплескивать лучшие капли нашей силы и молодости в бездонную бочку.

И не надо ждать ни видимого результата, ни ласкового отклика, потому что ни то, ни другое не растет в этом климате.

И утешимся тем, что среди капель, которые когда-нибудь продолбят камни, есть и десяток наших, — а какие, сам черт не разберет...

**Altalena**

*Одесские новости. 29.08.1902*



## **Вскользь**

### **К СЕЗОНУ**

Прошли те годы, когда я жалел об уходящем лете.

Теперь, напротив, слава Богу, что мы уже на пороге «сезона».

Слава Богу! Можно будет отдохнуть от летней скуки.

Жизнь оживится.

Надо только стараться, чтобы отдых от скуки и оживление были как можно полнее и разнообразнее.

К сожалению, здесь, в Одессе, мало для этого средств, мало подходящих учреждений.

Но все-таки и с имеющимися средствами кое-что можно сделать.

Была бы добрая воля и дружная работа.

Об этом и нужно поговорить.



Первое место театру, ибо *place aux dames*<sup>1</sup>, то есть г-же Лубковской и г-же Дюковой.

Театралы, то есть собственно «вся Одесса», уже с неделю испытывают некоторое волнение при мысли о сегодняшнем вечере.

Дебютирует новая труппа; но экзаменационной лихорадкой охвачены сами экзаменаторы едва ли не больше испытуемых.

— Каковы-то они окажутся?

По-моему, есть из-за чего быть в ажитации.

Для одесситов театр — далеко не шуточная статья.

Не всякий одессит сумел бы объяснить, в чем для него значение театра, но каждый внутренне чувствует, что для него театр — нечто весьма серьезное.

Потому что действительно театр — почти единственное место, где можно испытать освежающее чувство общения с ближним на почве чистого духовного интереса.

Больше нигде ведь этой благодати не ощутишь.

Только в театре, хоть на минуту, можно почувствовать себя интеллигентным человеком без примеси.

Театр — это наш халифат на час.

Это — роль театра повсюду, но в Одессе, думаю, больше, чем где бы то ни было.

Южный город. Здесь все крайности особенно ярки.

Нигде жаждущие влаги духовной, может быть, не жаждут так интенсивно, как здесь: вряд ли еще где-нибудь столько хандрят от духовной неудовлетворенности, сколько хандрим от нее мы, впечатлительные южане.

И нигде, наоборот, люди наживы, практические дельцы не проявляют такого полного пренебрежения ко всяким духовным запросам, как в Одессе.

А без них никакого просветительного предприятия не устроишь, потому что деньги у них.

И для жаждущих духом остается только или почти только театр.

Много умного и симпатичного народа жалуется на глубокую тоску, на бесцельность жизни в наших широтах и долготах, — и от них часто слышишь такие слова:

— Если бы не театр, и жить бы не хотелось.

---

<sup>1</sup> Место женщинам (*фр.*).

Это казалось бы парадоксом, если бы не было горькой правдой.

Только в гостях у искусства и отведаешь душу...

Очень важное дело, большой общественной ценности, находится теперь в руках у госпожи Лубковской и госпожи Дюковой.

Мы все горячо и сердечно желаем им полного успеха уже потому, что их успех — наше благо.

Мы с удовольствием видим, что начало сделано хорошее: нам уже обеспечены подряд три месяца серьезной драмы.

Пусть продолжение окажется достойным первого шага.

Одессе нужна серьезная постановка дела, которая поддерживала бы нас в театральном отношении не в хвосте провинции, а на уровне — насколько это возможно — столиц.

Мы надеемся видеть, не откладывая в долгий ящик, все интересные новинки столичных или иностранных сцен.

Мы знаем, что первоклассные таланты почти все закрепощены казенными театрами и в провинции их мало; но мы ждем, что наличные силы дадут нам все, что могут дать, и будем благодарны.

Не смущаясь трудностями начала, надо только проникнуться сознанием высокой важности дела и сообразно этому сознанию действовать.

Тогда удача, пожеланием которой мы встречаем г-жу Лубковскую и г-жу Дюкову, явится так же естественно, как на гранитном фундаменте у внимательного зодчего вырастает прочное здание.



О Литературно-артистическом обществе говорить много нет нужды.

Начиная с прошлой осени, оно само за себя говорит.

В течение одного последнего года оно стало почти наряду с театром в симпатиях интеллигентной Одессы.

В настоящем сезоне следует ожидать еще более блестящих успехов.

Общество должно использовать все разнообразие своей программы: рефераты, прения, всякого рода литературные, артистические, художественные вечера.

Особенное внимание — кажется мне — должно быть обращено на спектакли.

Опыт прошлого года в этом отношении очень невелик.

Надо помнить, что клубу немислимо, да и не пристало бы соперничать с профессиональными труппами.

Поэтому выбор пьес для клуба должен быть построен на особых критериях.

Репертуар этой сцены должен отвечать прежде всего требованию художественной красоты.

Здесь задача — развитие и *модернизация* художественного вкуса публики.

В обыкновенном театре эта сторона отчасти заслонена не менее важными задачами публицистического или морально-го свойства; на сцене клуба она должна явиться в чистом виде.

В прошлом году возникла мысль об образцовой постановке таких вещей, как «Три смерти» Майкова, «Каменный гость» Пушкина, «Les margons du feu»<sup>1</sup> де Мюссе.

Говорилось о переводах из репертуара иностранных «сецессионистских» подмостков.

Говорилось даже о создании собственного репертуара.

В наступающем сезоне из этих «говорилось» надо будет сделать факт, — и тогда Одесское Литературно-артистическое общество займет выдающееся оригинальное место в ряду подобных учреждений всей России...

Четверги — рефераты с собеседованиями — были прекрасно поставлены и в прошлом сезоне. Теперь можно им пожелать только дальнейшего следования по тому же пути.

Одно замечание, однако.

В выборе референтов и тем необходимо добиваться всевозможного разнообразия.

Надо привлечь на кафедру клуба и ученого, и литератора, и художника, и актера, и адвоката.

Как Соловей-разбойник! Никого не щадить, никому прохода не давать.



Есть в Одессе еще нечто, на чем могли бы объединиться культурные силы города.

Но никто этого не знает и не подозревает.

Это нечто — газеты.

Газета могла и должна была бы служить советчицей и подругой интеллигента.

---

<sup>1</sup> «Каштаны из огня» (фр.).

Чтобы он привык искать в ней если не настоящей «духовной пищи», то все-таки занимательной, дельной культурной беседы.

Но этого нет, а есть то, что одесский интеллигент читает одесскую газету, как справочный листок.

Всему этому разные причины.

Одна, конечно, та, что лучшие газетные силы отвлекаются из провинции во всепоглощающие столицы.

Это не может не отражаться на содержании провинциальных газет.

Но не так уж это страшно. И, после всего, не так уж бедна хорошими силами провинциальная газета вообще и одесская, в частности.

И есть, наконец, еще категория причин, по которым одесская газета дает меньше того, что могла бы дать: это — неудачная, несмелая, рутинная постановка этого дела в Одессе.

И на первый план в этом упреке надо выдвинуть странные отношения, существующие между одесскими газетами.

Мы или резко и преувеличенно ссоримся друг с другом, или совершенно друг друга игнорируем.

Полемика здесь невозможна.

Написать:

— Вчера в такой-то одесской газете помещена статья г-на Икса по такому-то вопросу. Выводы г-на Икса, при всей их смелости, очень интересны и многозначительны, тем не менее мы хотели бы возразить почтенному автору...

О, этих строк и наборщики не стали бы набирать, до того это не принято.

И отсюда получается тяжелое положение.

Пишешь, пишешь, пишешь, иногда чувствуешь, что задел даже самую суть интересного вопроса...

И нет тебе ни ответа, ни возражения, ни даже сочувственной или несочувственной фразы в соседней газете.

Точно в пустыне работаешь.

И выходит из этого, что слова твои — глас вопиющего в пустыне, пропадающий без отклика и без пользы.

Только на днях в одной из местных газет была рассказана ужасающая история о том, как талантливого артиста опутали разные гешефтмахи и как он бьется в этой паутине.

Кто ни прочел эту историю, все ахнули:

— Ужас!

Если бы обе другие газеты подхватили это впечатление, то, может быть, что-нибудь хорошее и вышло бы.

Но обе газеты промолчали, — а уж одного ответного молчания достаточно для того, чтобы дискредитировать самый громкий и страстный призыв.

Что ж, разве это нормальный порядок?

Много бы выиграла одесские газеты, если бы не замалчивали существования друг друга.

Корректная полемика по интересным вопросам оживляла и увеличивала бы в публике и интерес к газетам, и уважение к ним.

А в практическом отношении, по-моему, неоспоримо, что если бы одесская печать действовала, спевшись, то ее влияние, особенно в городских вопросах, было бы гораздо заметнее и плодотворнее.

Стоило бы не пожалеть усилий для такого объединения и сближения одесских газетных деятелей.

Ведь у нас столько общих нужд, особенно в последнее время, нужд, с которыми только сплотясь и можно бороться.

Не пора ли, господа, нам отказаться от старого взгляда друг на друга как на «конкурентов»? Не ознаменовать ли наступающий сезон воцарением между здешними газетами таких отношений, которые помогли бы одесской печати занять почетное и авторитетное место в уважении одесской интеллигенции?

Я надеюсь.

А пока, читатель, поздравляю вас с сезоном и желаю провести его занятно и полезно.

*Altalena*

*Одесские новости. 1.09.1902*



## **Вскользь**

### **МАЯК**

Что такое наш модный театральный репертуар?

Культ красивой тоски.

Ходят по сцене добрые, милые, честные, неглупые люди, которым некуда пристроиться.

Одни дают уроки, другие служат в земствах, управах, банках или департаментах, третьи лечат больных или защищают на суде жуликов.

И каждому свое ремесло противно.



Еще не так было бы удивительно, если бы нудить ремеслом начинали только тогда, когда уже вкусили его и успели им утормиться.

Нет, это теперь иначе.

Еще задолго до первого шага на будущем поприще мы уже предвидим, что поприще не удовлетворит, и уже начинаем сокрушаться.

Это ошибка, что три сестры все в один голос мечтают:

— В Москву!

Надо было бы так: чтобы одна сестра сказала:

— В Москву!

А другая бы спросила:

— Хорошо. Попадем в Москву. А там что?

И чтобы третья уныло закончила:

— Всюду одно и то же...

Это было бы вернее духу времени сего.

Теперь осень подходит, много барышень с юга разъезжает на курсы и в университеты. Прислушайтесь к их гаданиям.

В прежние годы такие барышни, вероятно, таяли от радости:

— Я еду! Я буду студенткой! Лекции! Швейцария! Ах!

Теперь они говорят:

— Ну, прекрасно. Еду. Пять-шесть лет полусытого студенчества. Потом трудный государственный экзамен. И что после всего этого? Если повезет, буду хиреть земским врачом где-нибудь в болоте...

И закончит уже не «ах!», а закончит:

— Эх...

Можно возразить на это, что лучшая радость жизни в стремлении, а не в результате.

Это так.

Но для того, чтобы наслаждаться стремлением, необходимо или страстно мечтать о будущем результате, или забыть о нем.

Теперь о нем не мечтают, о нем не забывают: его просто и сознательно презирают.

И, презирая, идут к нему, потому что не сидеть же на месте.

Но уже никакой прелести нет в этой погоне за целью, которая никого не привлекает, никого не обольщает...

Чехов ошибся, потому ошибся, что он — романтик, хотя хотячее мнение не подозревает его романтизма; его правда всегда красивее настоящей правды, и он не мог не оставить своим героиням последнего дара — мечты.

Другие писатели резче и грубее.

Они не побоялись перечеркнуть и последний лозунг и оставить пустое место.

В репертуаре модного театра немало таких героинь.

Они не говорят: «В Москву!» — они ничего не говорят.

Они знают, что нет и не будет им дела по сердцу, и свыклись с этой мыслью, как горбатый с горбом, как слепой с темнотою.

*Больше не нужно ни песен, ни слез...*

Г-н Кармен задумал трудное дело.

Протестовать против этого тона, делающего театр школой отчаяния.

Показать картину из другого мира, произнести слова бодрости и веры.

Маяк стоит на мысу, одинокий, отрезанный от шумного мира.

На маяке живут скромные, обыкновенные люди.

Здесь они трудятся, страдают, болеют, теряют родных и близких, умирают, как все смертные на земле.

Здесь и льются слезы, и раздаются слова печали и сожаления.

Одной только ноты здесь не слышно. Слово «тоска» незнакомо этому миру.

Скромное дело, скромные труженики, но они знают и ценят пользу своего дела и довольны им.

— Десяносто лет стоит наш маяк, — говорит, умирая, старый смотритель, — шестьдесят миллионов людей благополучно проплыло мимо него.

И вот эти люди радуются или горюют, смеются или плачут, но основа жизни, удовлетворяющая работа, не шатается и не колеблется под их ногами.

Оттого на маяке и в бурю тепло и уютно, и душа не мятется и отдыхает, хотя снаружи ревет ветер, бунтуют волны и с криком мечутся птицы.

Одну из таких птиц, человеческую перелетную птицу, существо из другого мира — из мира сомнений и колебаний — голод и скитания заставляют попросить ночлега и хлеба под кровлей маяка.

Новая атмосфера тихого духовного довольства сразу охватывает измученного бродягу своими чарами.

Отпадают грызущие душу сомнения, и неофит остается навсегда на маяке, чтобы в ночной вахте, под дождем и ветром, почерпать удовлетворение.

И в этом символ.

Много есть людей, стоящих на вахте, и каждая вахта свята и полезна; только жалкие люди не умеют ценить величия скромного дела.

Но нельзя не подумать в ответ, что жизнь шире символа.

Этот маяк стоит на мысу, а мыс отрезан от внешнего мира.

Люди живут на мысу и делают полезное дело. И они довольны, потому что не знают и не видят внешнего мира.

Если бы с вахтенной вышки они видели не только море, но и берег, и все, что творится на берегу, — много потеряла бы в их глазах маячная служба.

Потому что им открылись бы тысячи других нужд, тысячи других дел, столь же полезных и важных, как маячная вахта, но заброшенных и заросших сорной травой.

Хорошо часовому, который знает, что в ста шагах стоит другой часовой, дальше третий, и все вместе зорко стерегут тишину.

Но тошно стоять на часах, когда рядом все равно столько постов никем не заняты, и ночному врагу легко миновать вас и пройти беспрепятственно...

Не все живут на вышке, на мысу, отрезанном от мира.

Мы живем среди самой гущи рынка и все видим и все слышим.

Нам не может быть удовлетворения в скромной и полезной вахте.

Только тогда, когда повсюду, во все закоулки откроется свободный доступ живительной работе, когда не станет заброшенных пустырей и незанятых постов, только тогда и скромное, и малое дело сможет радовать и насыщать стремящуюся душу.

**Altalena**

*Одесские новости. 3.09.1902*



## **Вскользь**

### **У СОРЫ НИНЫ**

Итальянские газеты печатают длинные отчеты о заседаниях партийного съезда в городе Имола.

Пестрят знакомые имена: Хоста, Турати, Ферри, Коста, Ригола, Моргари, Ноэ.

О самом съезде, может быть, в другой раз.

Во всяком случае, не сегодня.

Сегодня — при чтении иных из этих имен невольно вспоминается не Имола, а Рим.

Не наполненный конгрессистами ярко освещенный театр, а скромная трагатория толстой соры<sup>1</sup> Нины.

Только пробьет полдень — много народа спешило к соре Нине.

Шел студент в широкополой шляпе, с галстуком двадцати пяти цветов.

Шел приказчик из винной лавки, скинув наскоро передник и заменив клеенчатые манжеты дешевыми белыми.

Шел оперный хорист из театра Costanzi и опереточный второй любовник из балагана Verdi, оба в узких брючках и башмаках под белыми гетрами, беседа по пути о неудобствах вагонов третьего класса.

Все, кто жил поблизости и хотел истратить не больше лиры на обед, с шиком называя его при этом завтраком.

Откидывали веревочную сетку, служившую летом вместо двери, и входили в первую комнату, где уже «завтракали» много старых и молодых и где за высокой конторкой сидела дородная сора Нина.

— Сора Нина, как живется?

— Спасибо, тащимся кое-как вперед, — учтиво отзывалась она.

Во второй комнате было уютнее и просторнее.

Здесь, в углу против окна, находился «особенный» стол.

Камерьеры<sup>2</sup> всегда убирали его особенно опрятно и аккуратно.

И когда новичок пытался развалиться на одном из дешевых плетеных стульев этого стола, подбегали, тихо извиняясь:

— Простите, этот стол занят для депутатов — per gli onorevoli<sup>3</sup>. А вот и они.

Новичок конфузился и вскакивал, а в дверях появлялись две новые фигуры.

Это были Ригола, мастер с канатной фабрики и депутат округа Бьелла, и Кьеза, маляр, депутат округа Самньердарена.

Ригола оказывался мужчиной с рыжей бородой и косыми глазами.

Стесненные манеры человека, не привыкшего к тому, чтобы на него смотрело много любопытных глаз. И вообще не привык-

<sup>1</sup> Госпожа (от *итал.* signora).

<sup>2</sup> Официант (от *итал.* cameriere).

<sup>3</sup> Для депутатов (*итал.*)

шего к своему новому положению. Уже месяц успел пройти со дня его избрания. Но это не мешало ему, знакомясь, робко говорить:

— Простите, не могу дать вам визитной карточки, еще не собрался заказать...

Через минуту, разговорившись, он сознавался:

— Видите ли: типографские карточки ужасно некрасивы, а литографские стоят 3 лиры сотня!

Къеза был бритый, в усах, с симпатичным, круглым, веселым лицом.

Он держал себя скромно и свободно, не конфузился и о визитных карточках вообще не думал.

Под жилетом у него была всегда мягкая розовая сорочка с маленьким галстуком-самовязом.

Когда Къеза в первый раз подошел к дверям, ведущим в зал заседаний палаты, сторож остановил его:

— Посторонним вход воспрещается.

— Я депутат, — заявил Къеза.

Сторож выпучил глаза на его цветной и мягкий воротничок, покачал головой и строго заметил:

— Здесь не место для шуток.

Пришлось позвать в посредники дюжину крахмальных депутатов, которые заставили сторожа сдать ся...

Ригола и Къеза сажались за стол друг против друга, переглядывались и говорили:

— По четвертушке белого.

А в дверях появлялся третий и досказывал:

— И мне.

Это оказывался Моргари.

Чем он был до палаты, не знаю; какой округ избрал его, не помню.

Слышал только, что он был стрелком в Абиссинии.

И в газете «Avanti!» прочел несколько его фельетонов.

Прелестные фельетоны.

Помню один из них, где рассказывалось, как у него, Моргари, не было денег на гостиницу.

И как он поэтому ночевал в вагоне первого класса, пользуясь тем, что у депутатов бесплатный проезд по железной дороге.

Доехал в два часа ночи до Ортэ и там пересел на обратный поезд, и утром прибыл в Рим к заседанию палаты.

И как в дороге закусывал колбасой.

И о чем думал все это время.

Тонкая, изящная, остроумная психологическая картинка — о чем думает человек, недовольный порядками мира сего, то засыпая, то просыпаясь от тряски.

Но лучший его фельетон был озаглавлен так:

«Сторож, дай ему пройти!»

Моргари написал его после инцидента с розовой сорочкой бедного Къеза.

Там говорилось:

— Сторож, дай ему пройти!

— Он родился в сыром погребе, он вырос на камнях улицы, он воспитался под ударами грубых подмастерьев, он голодал и обрывался с высоты второго этажа. Пусть он расскажет своим товарищам-депутатам про то, как живут на свете его товарищи-маляры.

— Сторож, дай ему пройти!..

Приходил Толескини, адвокат, представитель славной скрипками Кремоны.

Приходил Нофри, который ел и молчал.

Приходили еще два-три, которые ели и балагурили.

И вот показывалась последняя фигура.

Высокая, худая, с голым черепом, словно колено, с длинной черной бородой и черными-пречерными глазами.

Лицо нестарого раввина.

— О-о-о! — встречали его хором *onorévoli*, — а веселый Къеза вполголоса напевает:

— *Evviva Noé,  
Il gran patriarca  
Salvato nell'arca —  
Sapete perchè?  
Perchè fu l'autore  
Del grato liquore  
Che lieti ci fà...*

И все разражались:

— *Ha-ha-ha-ha-ha!*

Имя его — Ноэ, то есть Ной, и оттого пели ему эту песенку:

*Да здравствует Ной, великий патриарх, спасенный в ковчеге — знаете за что? За то, что он был изобретателем отрадного напитка, дающего нам веселье... Ха-ха!*

Однако Ноэ скорее напоминал аскета.

По фамилии и по лицу судя, он, может быть, происходил из евреев.

И в его лице было что-то такое, что в особенном смысле называется «иудейским».

Страстный и огневой фанатизм.

Да и то правда, не будь Ноэ фанатиком, разве возможна была бы победа его кандидатуры в Палермо?

Ленивая, порочная столица Сицилии с развращенным, суевренным и невежественным населением, голос которого можно и подкупить деньгами баронов, и запугать угрозами мафии.

У Ноэ не было денег.

И выступил он против мафии.

Десять лет он работал и агитировал, и каждый год, вероятно, глубже на линию вдавливались впадины его глаз и висков...

С Ноэ они были все в полном сборе. Весь «Монтечиторио соры Нины».

И они «завтракали» по франку с депутата, включая четвертушку белого, и шутили и хохотали, и, глядя на них, с трудом верилось, что эти самые люди уже держали тогда в своих руках стрелку весов министерства и вершили судьбы нынешней слабой и несчастной Италии, и подготавливали расцвет будущей Италии, великой и счастливой.

**Altalena**

*Одесские новости. 4.09.1902*



## **Вскользь**

### **ЧЕСТЬ АКТРИСЫ**

В труппе Эрмете Дзаккони первые женские роли играет молодая артистка Ирма Граматика.

Одна выходная актриса одного третьестепенного римского театра с восторгом рассказывала о ней:

— Ирма Граматика совершенно *emancipata*!<sup>1</sup> У нее много друзей мужчин, она очень любит мужское общество, но достаточно ей заметить, что за ней начинают ухаживать, смотреть на нее как на женщину, а не как на просто добрую знакомую, она сейчас же отстраняется и уходит: ей противно. Такая это удивительная женщина!

<sup>1</sup> Эмансипирована (*итал.*).

Тут поклонница Ирмы Граматики немного задумалась, опечалилась и проговорила другим тоном:

— Конечно, ей это легко. Она так молода — и уже приобрела такое блестящее положение. Другое дело — мы. Получаем мало, а приходится играть герцогинь. Поневоле на все пойдешь...

Это — один пример.

Артур Шницлер написал недавно пьесу «Freiwild», то есть «Вольная дичь».

Вольной называется та дичь, за которой кто угодно может охотиться, без запрета и охраны.

Это заглавие относится к героине драмы.

Она — премьерша маленького театра, девушка скромная, серьезная и чистая, но хорошенькая.

Поэтому всякие шалопаи не дают ей прохода.

А директор театра все пытается урезать ее грошовое жалование, ибо рассуждает, что у такой красивой девицы должны быть другие ресурсы.

Находится один порядочный человек, который бескорыстно берет бедняжку под свою защиту.

Но его убивают.

И она вновь остается вольной дичью, за которой может охотиться кто и когда угодно.

Как она кончит — неизвестно.

По всей вероятности, печально кончит.

Это — второй пример.

Есть одна видная столичная антреприза, во главе которой стоит даже не мужчина, а женщина.

От женщины, притом не такой уж молодой, можно было бы ожидать осторожного отношения к другой женщине, особенно к очень молодой другой женщине.

И вот к этой даме здесь на юге явилась особа шестнадцати лет и попросилась в актрисы.

Особа, лицом весьма пригожая.

Дама отнеслась к ней очень приветливо и взяла ее на маленькие роли, с окладом пятьдесят рублей в месяц.

Это зимой-то, в столице, за кулисами, шестнадцати лет от роду и с хорошеньким личиком — пятьдесят рублей в месяц.

Понимала ли дама, что она делает, допуская полурепенка в свою труппу на таких условиях?

Не могла не понимать, потому что дама — сама артистка.

Это — третий пример.



Правда ли, что такие вещи встречаются в актерском мире сплошь и рядом?

Лишний вопрос.

Печально ли это?

Праздный вопрос.

Но какой же вывод сделать из всего сказанного?

Это — не лишний и не праздный, а очень важный вопрос.

Потому что вывод, правильный и естественный вывод, будет звучать так:

— И в этой области, как во всех, надо бороться с эксплуатацией и прижимкой.

И это будет полезная, драгоценная истина, а между тем многие упускают ее из виду, делая совершенно другой вывод из ненормального положения актрисы:

— Сама виновата. Она безнравственна!

Так ли?

Наше время признает, что отдельный человек, и особенно определенная отдельная группа лиц, есть продукт и отражение тысячи внешних условий.

Наше время признает, что человек или группа выходят такими, какими их создает взаимодействие всех неисчислимых условий, и поступают всегда именно так, как это естественно вытекает из суммы особенностей, данных им средой.

Наше время признает, что без исправления среды — нет, не будет и нельзя требовать исправления личности и группы.

Наше время завоевало право на эти постулаты упорной работой и дорогими жертвами.

И потому наше время не допускает и не выносит того, что называется «морализированием».

Потому что морализировать — значит брать жертву ненормального явления и называть ее причиной ненормального явления.

И таким образом застилать глаза легковверным, внушая, будто не с основными условиями надо бороться, не всю почву надо оздоровить и удобрить, а достаточно хорошенько распечь «виновных»... за то, что они живут именно так, как велит им непреодолимая сила вещей.

Морализирование всегда очень наивно, очень примитивно — и тем хуже.

Самые ядовитые, самые цепкие пережитки и предрассудки это именно те, которые больше всего наивны и первобытны.

Ведь они всем доступны.

Морализирование страшно распространено. С ним надо бороться всеми силами, и в этой борьбе никакая горячность, никакая ярость не может быть названа чрезмерной.

Но еще можно кое-как понять морализирование перед лицом такого явления, как убийство, грабеж, обман, притеснение беззащитных.

Здесь замешано понятие насилия, к которому мы очень чувствительны.

Здесь мы всей душой возмущаемся — и самый трезвый и развитый человек не удержится в таких случаях от того, чтобы хоть на миг не удариться в морализирование.

Но морализирование перед таким явлением, как образ жизни актрисы, — это уж, знаете ли...

Это уже кощунство над содержанием самих слов «мораль» и «честь».

Я вообще не мог никогда понять, какое отношение имеет слово «мораль» — то есть *нравственность!* — к физической любви между мужчиной и женщиной.

Но сегодня речь не об этом.

Речь о том, что уж бедному-то слову «честь» совсем неприлично употребляться в этом значении.

«Честь женщины»...

Это стыдно, в конце концов.

«Честь» Авроры Дюдеван была в том, что ее звали Жорж Санд.

Что она проповедовала всю жизнь, ни разу не изменив своей вере, идеи гуманности, равенства и братства.

В этом была честь Авроры Дюдеван. И больше: в этом была честь ее родины, Франции.

А ведь мог явиться первый попавшийся моралист и произвести исследование:

— Имеется ли честь у Авроры Дюдеван?

И решил бы, конечно:

— Не имеется.

Потому что для него «честь» значит не честь, а статистика любовных походов.

«Честь актрисы»...

«Честь» актрисы — это ее талант.

Когда она зажигает себя и других вдохновенной игрой, и памятый жизнью зритель на минуту чувствует в себе возрождение лучших настроений молодости и забывает себя и всех в одной бешеной овации — вот честь актрисы.

Когда ее имя с любовью и уважением произносится людьми — вот ее честь.

А моралист сидит в куточке и подсчитывает по пальцам ее романы.

И ставит резолюцию:

— У этой женщины нет чести...

Даже неловко представить себе, что он, очевидно, понимает под словом «честь»...

Над личной жизнью человека нет и не должно быть ни контроля, ни опеки.

В частности и в особенности — над жизнью артиста.

Каждый вечер он взвинчивает все свои нервы и напрягает все фибры.

Каждый вечер, или почти, он переживает такое возбуждение, какое обыкновенному смертному перепадает по разу в год.

У обыкновенного смертного — жабры, у артиста — легкие. Оттого ему нужно больше кислорода.

А кислород артиста — это кислород всех тех, кто живет и служит людям напряженными нервами и усиленным пульсом; это — впечатления, калейдоскоп и фейерверк впечатлений, шум и движение жизни.

Я вспоминаю всех актеров и особенно актрис, которых видел и люблю, и мысленно говорю им:

— Ловите смело ваш кислород и в поисках его сообразуйтесь, если хотите, с капризом, с ветром, с приснившимся сном, — с чем угодно, только не с бакалейной моралью.

**Altalena**

*Одесские новости. 5.09.1902*



## **Вскользь**

### **ДРАМА ДРАМЫ**

Стоит в проходе партера г-н Гордеев, стоит, оглядывает рендевку пубliku и разводит руками.

— Ни одного одессита! Я ведь одесскую пубliku всю наизусть знаю. Совершенно незнакомые лица!

И тех очень мало.

А на сцене идет «Уриэль Акоста», и хорошо идет.

Не так, как мы привыкли видеть эту пьесу, по-гастролерски, когда публике подносилась одна хорошая котлета со скверным гарниром из гнилой картошки.

Тут сцена в третьем акте между Акостой и де Сильвой ведется так, что не знаешь, кого больше похвалить.

И г-н Карамазов очень хорош, и г-н Павленков очень хорош.

У г-на Карамазова образцовый грим, много — но как раз в меру — увлечения и нервности, простая и изящная манера произносить стихи.

И — редчайший из даров Божьих — красивый голос.

У г-на Павленкова — де Сильва полон старческого благородства, выражающего деликатную, утонченно чуткую натуру мыслителя и ученого.

А публики мало.

Что такое?

Может быть, старая пьеса?

Может быть, «Акосту» ходят смотреть только ради знаменитых гастролеров?

Хотите новинок?

Хорошо. На днях была поставлена новинка.

«Причуды сердца». Прелестная вещица.

Веселая, остроумная, даже чуть-чуть пикантная. И в то же время изящная, стильная, художественная.

Самому серьезному театру необходимы изредка легкие пьесы.

На них зритель отдыхает от хмурого и кошмарного современного репертуара.

Но обыкновенно для этих интермеццо употребляется «Контролер спальных вагонов».

А харьковская труппа предпочла «Контролеру» хотя тоже легкую, но действительно красивую и вполне литературную комедию Фульды.

Разыграли ее прекрасно.

Ни зги шаржа, а публика все время хохотала.

Но... публики было мало.

Как же так? Новинка?

Видите ли — «чересчур новинка».

— Что за такие «Причуды»? Не слышал.

Одессит и о Фульде вообще не слышал. Он вполне готов спросить:

— Что за такая Фульда?

А не слышал — и в театр не хочет пойти.

Он у нас осторожный!

Он любит, чтобы если уж решиться да собраться, так непременно с гарантией.

Он выбирает пьесу, приценивается, семь раз отмерит.

Вы никогда не наблюдали одессита, хотя бы и молодого, в библиотеке?

Это интересно.

Сидит он над каталогом, и видно, что глаза у бедного разбегаются.

Книг, которых он еще не читал, много, а ему, раз уж он пришел сюда, непременно хочется унести с собой самую лучшую, самую интересную.

И он мечется и шныряет по страницам, потея, бледнея, краснея, вздыхая.

Остановится на одном названии, уже откроет рот и начнет: — Позвольте мне четыреста дв...

И сорвется с голоса под гнетом мысли: а вдруг дальше будет книга еще «лучше»?

И рыщет дальше, потом возвращается назад и опять потеет и сопит от натуги.

Прямо готов человек размечтаться à la Агафья Тихоновна:

— Ежели бы к носу Ивана Ивановича да подбородок Петра Петровича...

Или в переводе:

— Если бы можно было за те же деньги взять с собою сразу книжек двадцать.

И наконец, когда уже в горле пересохло, он, взвесив все за и все *против*, выбирает одну из книг и несет ее домой.

И по дороге мучается ядовитыми сомнениями:

— А если неинтересная?

С театром — то же самое.

Одессит пойдет только наверняка.

Надо, чтобы ему заранее расхвалили пьесу.

Но и тут осторожно.

Расхваливая, надо беречься — не слишком уж подробно познакомить его с пьесой.

А то он возьмет да решит, что, зная содержание и достоинства, незачем, собственно, идти смотреть.

Нажимать пружины одессита надо очень осмотрительно — не ровен час, попадешь на кх-та-та, которое все дело испортит...

Наши драматические гости не должны, однако, тревожиться. Здешняя публика сразу недоверчива, но когда присмотрится и ознакомится, она способна проявить большое южное радушие.

Дюковцы, по всему судя, вполне заслуживают прочных симпатий и солидного успеха.

Поэтому — бодрость и немного терпения, а успех и все остальное — дело наживное и ждать себя не заставит.

*Altalena*

*Одесские новости. 6.09.1902*



## **О сионизме**

Статья г-на Бикермана в «Русском богатстве» произвела большое впечатление.

— О! — слышатся мнения, — это опыт настоящей научной оценки сионизма.

— О! — говорят другие, — в этой статье научно доказано, что сионизм — утопия.

«Научно».

Интересное это модное словечко — «научность».

Говоря о том, что книга в чрезмерном количестве портит человека, я забыл упомянуть об одной важной стороне этого вреда.

О том, как книга удешевляет науку.

Прошу верно понять эти слова.

В них речь не о том, что книга распространяет выводы и открытия науки, делая науку доступной и небогатому человеку. Эта роль книги прекрасна и полезна. Дай Бог книге — в этой роли — широкого распространения во всех слоях человечества.

То, что науку благодаря книге можно теперь иметь за дешевую цену, — очень отрадно. Но беда в том, что читающему мало-помалу из объективной дешевизны науки сделали дешевизну субъективную.

Из того, что книга стоит дешево и ее всякий может купить, у кого есть полтинник, они вывели, что наука тоже вещь дешевая и достаточно иметь полтинник, чтобы сделаться над ней, наукой, хозяином.

И действительно, все читающие за свой полтинник сделались научными людьми.

— Мы мыслим научно! — говорят они; но это еще не грех, ибо относительно себя самого каждый вправе ошибаться сколько ему угодно.

А грех то, что они и за другими следят.

И поэтому, не принадлежа к их сословию, с ними нельзя спорить.

— Вы ненаучно рассуждаете! — заявляют они. — Докажите ваше положение научно, если можете.

«Если можете»... Хорошо сказано.

Ведь под этими двумя словами подразумевается, что уж они-то сами могут и умеют научно доказать все, что говорят.

Я же позволю себе думать, что не могут, не умеют.

Потому что наука есть вещь высокая, сложная, трудная, которой владеть и оперировать может только настоящий ученый, совершенно подобно тому, как только поэт может писать настоящие стихи.

Стихи не поэта — это альбомная литература, это не стихи, а стишки.

И точно так же эта научность за полтинник, научность собственноручной домашней выделки, научность, аранжированная для балалайки и потому доступная первому встречному, — все это альбомная и туалетная научность, годная для кокетничанья перед барышнями, а не для веского добросовестного спора.

Мы, простые смертные, способны понимать и воспринимать выводы науки, убеждаться в том, что данное явление объяснено ею верно, и передавать это убеждение соседям.

Но самим ворочать пудами научного мышления — нам не дано.

Чтобы научно мыслить, надо быть ученым, то есть производителем на полях науки, а не простым потребителем ее продуктов.

Жалкая и смешная претензия грамотеев, возомнивших себя учителями.

Она ничего бы не стоила, кроме насмешки, но она ведь не только смешна, она и вредна.

Это судьба всех сорных трав — душить полезные ростки.

Обыкновенному человеку не дано гарцевать на Пегасе научного мышления, но собственная голова на плечах ему дана, глаза и наблюдательность ему даны, и он мог бы самостоятельно черпать смысл из жизни, которая перед ним, и отзываться

на нее своими объяснениями, догадками, создавать свои мечты и идеалы.

И не во всех случаях, но часто — эти догадки живого человека могут быть ценны и правдивы.

Но это возбраняется.

Сейчас же начинается затюкивание:

— Он мыслит ненаучно!

— Пусть докажет научно!

— Это утопия!

Кто уважает науку, тот должен всеми силами протестовать против этой моды, низводящей возвышенную, только избранным доступную богиню — на степень дешевой проститутки, обладание которой по карману первому встречному.

И кто дорожит свободным и полным развитием всех сил человеческого духа, должен протестовать против этой мякины, глушащей вольные побегии духа.

Полно уже, в самом деле, бояться этого окрика:

— Утопия!

Глупое слово из словаря трусов.

Многое, что сотню лет тому назад казалось утопией, окрепло теперь и шествует, и наступает, и завоевывает.

История не знает утопий.

История делается не волей человека, а силою вещей.

И когда масса людей в унисон охватывается вся одним идеалом, это значит, что не «фельетонисты» ей нашептали его.

Ей нашептала сила вещей.

Те идеалы, которые нашептаны силою вещей, — они не утопия.

Они — действительная потребность.

Они — будущая действительность.



Посмотрим, однако, ближе на эту «научность».

В конце концов, довод против сионизма у нее один:

— Всемирная история, — пишет г-н Бикерман, — не знает случая, когда бы какая-либо группа людей — род, племя, народ, орда — вздумала бы в одно прекрасное утро создать государство, а вздумав, создала бы его. И в древние, и в новые времена государства являлись *результатом* деятельности человеческих масс, но никогда не служили *целью* этой деятельности.



То есть:

— Чего до сих пор не бывало, того и впредь быть не может.

То есть:

— Все законы исторического движения нам уже известны, и ничему такому, чего бы мы еще не видели и не предвидели, произойти не полагается.

Я не думаю, чтобы это было научно.

Потому что, напротив, все школы, разрабатывающие философию истории, открыто признают молодость и неполноту этой науки.

Твердо настаивая на незыблемости своих основных положений, каждая из них, однако, подчеркивает, что многочисленные влияния и причины, обуславливающие ход истории, могут составлять самые неожиданные комбинации и, значит, приводить к самым непредвиденным результатам.

Ни один серьезный теоретик истории не позволил бы себе категорически заявить, что того, чего до сих пор не бывало, и впредь не будет.

Только самодовольное полужнание, не обязанное дорожить ни достоинством, ни престижем науки, способно изрекать от ее имени такие пророчества...

И — после всего этого — я не вижу в идеале сионизма ничего особенно нового, небывалого, беспримерного.

Примеры массовой эмиграции повторялись и в древнейшие, и в ближайшие времена.

Сионизм и предлагает массовую эмиграцию.

Но во дни оны такие эмигранты — от времен великого переселения народов и до первых поселенцев Нового Света в XVIII веке — шли в чужую страну вооруженными и, если исконные хозяева им мешали, расправлялись с ними силой.

Они гарантировали неприкосновенность самоуправления — своим кулаком.

Но теперь другое время и другие условия.

Теперь нельзя двинуться в Турцию, рассчитывая гарантировать свои права мечом. Особенно евреям, которые мечом не владеют.

А без гарантии в такую страну, как Турция, переселяться неразумно.

Следовательно, гарантия нужна в форме договора, который обеспечил бы эмигрантам самоуправление.

Сионизм слагается из двух элементов.

Первый — массовая эмиграция — не новость.

И второй — гарантия самоуправления — тоже не новость.

Только другая эпоха, и форма другая.

Переселение прежде происходило пешком и верхом, а теперь на паровой машине.

И точно так же гарантия прежде имела форму кулачного права, а теперь должна иметь форму юридического договора.

Это — вполне в духе нашего времени, в котором дуэль и — может быть — война, старые кулачные формы гарантии личности и гарантии агрегата, мало-помалу вытесняются договорным учреждением третейского суда.

Вот и все.

Впрочем, еще не все. Г-н Бикерман упрекает сионистов еще в том, что они пытаются увлечь свой народ по пути наибольшего сопротивления.

А это бесплодно, ибо непреодолимый закон природы велит всякой энергии направляться по пути наименьшего сопротивления.

Это, конечно, правильно. По пути наибольшего сопротивления никакая энергия не пойдет.

Но не г-ну Бикерману дано знать, который из двух путей есть путь наибольшего сопротивления.

Почему первые христиане в Риме, или те же евреи на Пиренейском полуострове, или гугеноты во Франции — предпочли гонения и эмиграцию вместо того, чтобы тихо и спокойно ассимилироваться, то есть принять веру сильнейшего?

Это, конечно, не значит, что все они шли по пути наибольшего сопротивления, ибо идти по пути наибольшего сопротивления логически немыслимо.

Это просто значит, что им, по многим разным причинам, было легче и выгоднее переносить гонения, умирать на кострах, разоряться и эмигрировать, чем уступить.

Никогда нельзя точно знать, какой путь в данную минуту представляет наибольшее или наименьшее сопротивление.

Для этого надо было бы распутать гордиев узел тысячи влияний, могущих увеличить сопротивление, — влияний, корнящихся и непосредственно в самой основной подпочве — экономике и в ее психологических надслоях, — распутать, рассортировать, взвесить, оценить.

Если это и возможно, то это — задача для ученых, а не для г-на Бикермана.

Статья его произвела на многих впечатление чего-то весьма «научного».

Если читатель хоть немного знает меня, ему известно, что я совсем не отличаюсь нетерпимостью к чужому мнению, потому что больше всего дорожу, напротив, широкой дифференциацией убеждений и направлений и возражающего всегда предпочитаю единомышленнику.

Пусть же читатель поверит, что не из вражды к выводам г-на Бикермана, а по искреннему и беспристрастному впечатлению я позволяю себе настаивать:

— Эта статья — яркий образец того, как мало способен начитанный профан к самостоятельному оперированию научным мышлением, которое есть преимущество избранных, потому что научность ее — это научность фельдшера, взявшего ся за операцию, или аптекарского ученика в роли Лавуазье.



Другое дело — чисто практические возражения против сионизма.

Они делаются без претенциозного тона, они вытекают из трезвых соображений здравомыслящих людей, и на такие возражения и отвечать приятно.

Эти возражения часто очень вески.

— Уступит ли Турция?

— Позволят ли державы?

— Прокормит ли Палестина?

— Способны ли евреи к земледелию?

Все это — вопросы важные и сложные, и категорически о них ничего нельзя сказать уже потому, что о будущем никогда ничего уверенно утверждать нельзя.

Но, во всяком случае, практических доводов *за*, и веских доводов, нисколько не меньше, чем *против*.

Казна Турции истощена до невероятной степени.

Останется ли в Оттоманской империи все по-старому или победят младотурки, но придет момент, когда Турции во что бы то ни стало понадобятся деньги.

Каких процентов запросят банкиры с такой ненадежной плательщицы, как высокая Порты, — можно себе представить.

При таком положении дела Турция не может игнорировать того, что в Лондоне функционирует банк, созданный именно и специально для обеспечения ей, Турции, дешевого кредита.

Когда нужен заем, его стараются заключить на самых льготных условиях. Эти льготные условия и должен будет предложить колонизационный банк.

Из самого же факта заселения Палестины евреями Турция тоже извлечет только выгоду. Потому что — сделают ли евреи Палестину «страной меда и млека», нет ли, — но, во всяком случае, они сделают ее более оживленной, более культурной и, значит, более доходной областью, чем теперь. Конtribusiция, которую будут уплачивать евреи, без сомнения, превысит теперешние доходы турецкой казны, извлекаемые из Палестины путем прямых и косвенных налогов.

Для держав нет никакой причины «не допускать».

Та часть евреев, которой они могут дорожить, — та, которая оживляет торговлю, — та, вероятно, не поедет в Палестину, потому что ей сносно и в Европе.

А поедет та галицийская, привислянская, литовская, румынская и другая голь перекатная, которая ничего, кроме обузы для государства и населения, из себя не представляет.

И поедут еще те из интеллигентов и полуинтеллигентов, которые не успели пристроиться на родине, — интеллигентный пролетариат, о котором тоже ни одна держава не заплачет.

Что касается христианских святынь, то я думаю, что они несколько не пострадали бы, если бы окружающее их дикое иноверное население уступило преобладание тоже иноверному, но гораздо более культурному элементу; и, кроме того, державы и тогда — как и теперь — могли бы сами охранять неприкосновенность памятников Святой земли.

Способны ли евреи к земледелию, способна ли почва Палестины производить злаки в достаточном количестве — на все вопросы ответить можно было бы только с цифрами в руках.

Я могу только напомнить, что в Финляндии есть совершенно голые утесы, куда люди нанесли чернозема и живут плодами этого чернозема.

Приспособиться же, не сразу, конечно, а через два-три поколения, можно ко всему, не только к земледелию.

Особенно евреям, которые давно доказали свое умение приспособляться ко всяким, даже самым невероятным условиям существования.



Над игрой в бабки термином «научность» можно посмеяться, с практическими доводами следует обдуманно и серьезно считаться и спорить, но против третьей категории возражений, вызываемых сионизмом, можно только возмущенно и непримиримо протестовать.

Я намекаю на вопли о реакционности сионизма.

Есть люди, девиз которых:

— Только и свету, что в моем окошке.

Несогласно мыслящего они готовы растоптать и предать проклятию.

Бесполезно было бы внушать им:

— Своя своих не познаша... Мы с вами идем разными дорогами, но к одной цели.

Они не признают двух дорог. Они отвечают:

— Ты не с нами? Значит, ты против нас.

Они весь мир хотели бы остричь под одну и ту же гребенку и на всех надеть один и тот же ярлык — из всех людей на свете сделать таких же узких, прямолинейных, правоверных рядовых, как они сами, неспособных и не имеющих права рассуждать собственной головой.

В сионизме нет ни одного регрессивного элемента.

Разве национализм регрессивен?

Любить свою народность больше всех других народностей — это так же естественно, как любить свою мать больше всех других матерей.

Как человек вправе охранять и развивать свои индивидуальные особенности, так точно и нация вправе дорожить своими национальными особенностями.

И когда у какой-нибудь притесненной народности хотят оттянуть ее национальную индивидуальность, как теперь в Poznани, — мы все возмущаемся и все сочувствуем пробуждению в ней духа национализма.

Все мы сочувствуем национализму обороняющегося.

Такой национализм в высшей степени прогрессивен.

Реакционен только национализм нападающего, который стремится навязать другой народности свою физиономию, свой язык, свои обычаи.

Неужели же кто-нибудь полагает, будто евреям для того нужно свое государство, чтобы получить возможность душиить и подавлять другие народы?

Какие-то дикие понятия обо всем: о сионизме, о национализме, о реакционности...

— Сионизм отвлекает евреев от общечеловеческой культурной работы, от заботы об интересах всего человечества.

Странная претензия, чтобы все люди непременно работали на одной и той же ниве.

Можно быть другом всего человечества, но работать для блага одной народности, потому что благо одной народности есть часть блага человечества.

Разве сионизм мечтает оторвать евреев от духовной близости с Европой?

Сионизм хочет дать евреям место, где бы они могли поддерживать эту близость, развивать ее, наслаждаться ею, — только не подвергаясь унижениям, не терпя гонений, не рискуя лишиться своей национальной сущности.

Можно спорить против сионизма — находить его неосуществимым или нежелательным.

Но говорить о его реакционности, видеть в его деятелях изменников идеалам общечеловеческого блага — это значит не спорить, а позорить, грубо и легкомысленно позорить мечту, рожденную из всех рыданий, из всех страданий еврейского народа; это значит зазывать людей в свою лавочку не мытьем, так катаньем; это значит отозваться ругательством на слезную молитву измученного Агасфера и очернить изветом и клеветой его многостолетний заповедный идеал.

Ругайтесь! Идеалы стоят выше изветов и не боятся клеветы.

*Altalena*

*Одесские новости. 8.09.1902*



## **Вскользь**

### **О КРИМИНАЛИСТАХ**

Анекдот, за правдивость которого не ручаюсь.

Паола Ломброзо, дочь своего отца, приехала в Вену и остановилась в гостинице.

Смотрит — пропал саквояж.

Паола Ломброзо вызвала к себе хозяина гостиницы и сказала:

— Распорядитесь об аресте номерного Фрица. Я убеждена, что это он украл мой саквояж.

— Почему?

— Потому что номерной Фриц — тип врожденной преступности. У него квадратная челюсть и висячие мочки ушей. Лицевой угол еще симптоматичнее. В строении затылка, правда, замечается отклонение от преступного типа в сторону нормальности, но это — ничто перед возмутительностью лицевого угла — чуть ли не шестьдесят градусов! Позовите полицию.

Хозяин не пожелал.

Паола Ломброзо начала волноваться.

Номерной Фриц обиделся и забушевал во все лопатки своего преступного темперамента, причем Паола Ломброзо констатировала у него подвижность ушных раковин и с новым пылом потребовала:

— Полицию сюда!

И вдруг оказалось, что саквояж был просто забыт на вокзале.

Прагматический Фриц был удержан от намерения подать в суд, и то благодаря вмешательству хозяина и щедрому раскаянию Паолы Ломброзо.

И таким образом возникла школа позитивной криминологии, в которую криминальная антропология Ломброзо вошла только в виде особой ветви, трактующей лишь об одном из пяти типов преступного человека — о врожденном преступнике, тогда как рядом с ним признаны еще преступник безумный, преступник под непосредственным влиянием среды, преступник аффекта и преступник случайный.

Да и у этой ломбровозской ветви — «медицинская» только одна кора, но сердцевина ее — тот же общественный фактор.

Потому что и вырождение есть продукт несовершенств общественного строя, в котором массы людей поколениями живут в ненормальных условиях и вырабатывают себе и своим потомкам ненормальное тело с ненормальной психикой.

Наука о преступлении только мимолетно сделала поворот в сторону чисто медицинской патологии.

Она сейчас же поняла ошибку и снова целиком вернулась в ряды социальных дисциплин.

Но прежде это была не наука, а какая-то смесь произвольной классификации преступлений по степени отвлеченной «важности», метафизического понятия о справедливости и бла-

готовительных мечтаний об исправительном воспитании преступного человека.

Теперь — это полноправная, позитивная наука, углубляющаяся в первопричины феномена, ставящая на первый план задачу улучшения общественных условий и борьбу с отдельными преступлениями признающая только в том смысле, размерах и направлении, в каком вообще наука признает паллиативы.

Вот что сделал толчок, данный Ломброзо. Несколько резких, но безвредных парадоксов, пристегнутых в пылу увлечения им и его последователями к теории преступного типа, бессильны умалить значение великих заслуг новой уголовной школы перед человечеством.

Можно пойти и дальше.

Зачем ждать, чтобы человек все-таки проворовался?

Гораздо лучше поймать его заранее.

А для этого учредить особый полицейский надзор, который разыскивал бы не следы преступления, а следы преступной потенции. И, заметив на улице человека с нехорошим лицезывым углом, немедленно представлял бы его в судилище.

Откуда последовало бы такое постановление:

Произведя дознание о личности задержанного Петрова и установив:

что отец его был алкоголик, а тетка матери эпилептичка, двоюродный же брат был дважды судим за подмешивание сахара в хлебный квас;

что сам подсудимый являет такие-то симптомы преступной потенции, дающие основание признать его существом неизлечимо антисоциальным;

что подсудимый Петров ни разу под судом и следствием не состоял, отличался постоянно хорошим поведением и теперь, собственно, тоже ни в чем не обвиняется, —

приговариваем его к устранению через смертную казнь путем электрического тока...



Но крайности недолговечны.

Крайние, в первом пылу высказанные выводы молодой криминально-антропологической школы, скоро отпали, как отпадают случайные прыщи на здоровом теле.

Мания видеть в каждом преступнике неизлечимого, самой природой отмеченного больного — пронеслась, и антропологический анализ преступления вошел в свои естественные рамки.



Не претендуя больше на всеобщее, исключительное значение, он просто указывает теперь на *одну* из важных причин преступности — на вырождение, проявляющееся в телесном и духовном атавизме.

Но именно тем, что криминальная антропология одно время объявила себя не то синтезом, не то квинтэссенцией всех теорий о преступности и борьбе с нею, — именно тем и было вызвано более глубокое и внимательное исследование причин преступления.

Чтобы возразить на выводы Ломброзо и Гарофало или ограничить их резкую универсальность, оппонентам пришлось выдвинуть и анализировать другой могучий фактор преступности — фактор социальный, заключающийся в недостатках общественного строя.

Если это все и не правда, то это все-таки метко придумано.

Это — хорошая карикатура на тот фанатизм, на ту прямолинейность, которые довели многих из школы криминальной антропологии до нелепых крайностей.

Они стали накидываться на всякого уличного карманника и «обнаруживать» у него острые уши и выдающиеся скулы.

Они распределили симптомы по профессиям и установили, что у железнодорожного вора — атавистические глаза, у ростовщика — низкий лоб, у злого банкира — большой кадык.

Они явились с обыском в литературу и доказали, что у Гамлета был один из видов паранойи, Павел и Виргиния страдали аберративной эротоманией, а у Медеи наблюдаются все симптомы «прирожденной проститутки».

После этого они перешли к миру порядочных людей и уличили самих себя и почти всех ближних, знакомых и незнакомых, в той или другой прикосновенности к тому или другому преступному типу.

В практических выводах из этого опьянения прямолинейностью они тоже дошли до геркулесовых столпов и даже дальше: до теорий барона Гарофало, ныне гостящего в Петербурге.

Гарофало рассудил так:

— Если перед нами человек, преступность которого коренится в его исковерканной природе. Если ненормальность его природы совершенно непоправима. Если эта безнадежность преступного субъекта признана и доказана учеными-экспертами. Тогда, исходя из трезвой позитивной точки зрения, —

что с ним делать? Исправить его — невозможно. Держать его взаперти до смерти — убыточно для нас и мучительно для него. Следовательно — смертная казнь.

Дальше. Чтобы точно определить особенности природы преступника и выяснить, есть ли для него надежда на излечение («исправление»), нужно быть специалистом криминальной антропологии, а не первым попавшимся обывателем, приглашенным в «судьи совести». Суд присяжных — это абсурд, который должен быть заменен судилищем из людей науки.

Дальше. Важен не состав преступления, важно не то, что именно сделал преступник — убил или только ограбил, — важна личность преступника. Возможно, что он покамест только украл, но натура у него — натура настоящего прирожденного убийцы. Неужели же запереть его на год или на два и потом выпустить: иди, убивай? Это не позитивно. Следовательно, кара вовсе не должна быть равна вине, кара должна быть равна натуре преступника, его внутренней преступной потенции, хотя бы еще не успевшей выразиться в соответствующих действиях. Иного субъекта за кражу со взломом было бы вполне уместно казнить.

Можно пойти и дальше.

Позитивная криминология окончательно доказала то, о чем уже давно догадывались лучшие умы:

— Преступника нет. Существует только жертва социальных условий, влияющих на самого субъекта или влиявших на его предков.

Из этого принципа возникает совершенно новая уголовная система.

Слово «наказание» теряет свой смысл.

Не за что карать человека. Нет никакого основания причинять ему страдания за то зло, которое не он в себе зачал и не он в себе воспитал.

Вместо наказания преступника выдвигается принцип ограждения общества от преступника — не как от злодея, а как от существа, неприспособленного к общественности, «антисоциального».

Это ограждение должно быть только ограждением и больше ничем.

Никакого элемента жестокости и нарочитого притеснения, ничего, что напоминало бы о старом «наказании», в новой уголовной системе не должно быть.

Общество не гонится за призраком метафизической справедливости. Оно ограждает себя только от тех, кто ему действительно заведомо опасен.

Случайный убийца должен выслушать условное обвинение и выйти свободным из зала суда.

А тот, от кого общество желает себя оградить, приведенный в тюрьму, должен найти в ней не могилу, не новые страдания и унижения, а новую, более здоровую и более спокойную жизнь.

Новая тюрьма будет не ульем, где в каждой ячейке заперто по живой душе, а поселком, колонией, слободой.

Тюрьме нужен обязательный труд, но этому труду будет придан не характер принуждения, а характер естественной необходимости.

Новая тюрьма не скажет своему обитателю:

— Я кормлю тебя даром, но приказываю тебе работать просто для того, чтобы ты работал.

Потому что это значило бы дискредитировать труд, сделав его ненавистным и подневольным.

Новая тюрьма скажет так:

— Человек должен зарабатывать себе на хлеб и на жилище — безразлично, где бы он ни был. И в тюрьме надо трудиться, чтобы есть.

И правильно поставленный труд явится могучим средством приспособить и примирить заблудшего человека с общественностью.

Таковы требования позитивной криминологии в области паллиатива — борьбы с отдельными преступлениями, но еще громче и гораздо важнее те требования, которые она предъявляет к самой общественности.

Только с исправлением социальных несовершенств получится убыль преступности.

Только тогда имеют смысл обязанности прокурора, судьи и так далее до тюремного надзирателя, когда рядом идет прочная законодательная работа, созидающая устои лучшей, более справедливой и свободной жизни.

Преступление подобно чуме. Чтобы с ним бороться, недостаточно тащить заболевших в бараки. Надо спуститься в погреба, в водостоки, на самое дно — и оттуда начать борьбу с заразой.

Терапия, хирургия — все это полумеры, и не в них спасение, а в гигиене, будущее — за гигиеной.

**Altalena**

*Одесские новости. 11.09.1902*



## Вскользь

### ЖЕЛТЫЕ ПЕРЧАТКИ

В старом хламе я наткнулся на почерневшую, полопавшуюся пару желтых перчаток... Славные перчатки! Они стоили три франка с половиной на Corso, угол улицы Sant' Ignazio, — и дурнушка-продавщица собственноручно натянула мне их на пальцы, говоря:

— Посмотрите: сидят, как чулок.

— А прочные? Не лопнут?

— О! Двойной шов!

Перчатки действительно оказались прочные. Если они теперь почернели и полопались — это ничего не значит: ведь с тех пор прошло столько времени!..

Где они только ни бывали, эти желтые перчатки с угла улицы Corso и улицы S. Ignazio! Чего они ни навидались на своем веку!

Даже... надо рассказать вам, для отдыха от серьезных тем, эту историю — даже на руках у свата они побывали!..

И этот сват был я. Меня тогда попросили съехать с квартиры. Пришла хозяйка и сказала:

— Извините, синьорино, но у вас собирается холостая компания с барышнями. Я, конечно, знаю, что это очень милые барышни и ничего дурного не делают, но все-таки... Соседи уже попрекают меня... Вы меня извините, я вдова, сама еще молода — не хочу, чтобы про меня начали болтать!

И прибавила, как истая римлянка, сентенцию:

— Репутация для женщины должна быть дороже всего!

Вечером у меня была «холостая компания», то есть разные Роберто, Пешино, Уго, и были также Эмма и Диана.

Эмма и Диана были действительно милые барышни и действительно не делали ничего дурного. Все дурное, что они делали, заключалось в нерадивом хождении на работу в магазин, где обе учились выдывать модные шляпки. Но это была скорее наша вина, потому что мы сманивали их на загородные прогулки.

В тот вечер мы совместно обсудили вопрос:

— Куда мне переселиться?

— Переселитесь к нам в Борго, — выдумала вдруг Эмма, — у нас как раз сдается комната!

— Это идея! — сказали Роберто, Уго и Пеппино, которые жили в Борго, и Диана, которая тоже жила в Борго.

Я согласился, что это идея.

— Только, — взмолилась Эмма, — наши не должны подозревать, что мы с вами знакомы. А то меня убьют! Папа такой вспылчивый и подозрительный...

На другой день я надел желтые перчатки и пошел смотреть комнату. Это было очень высоко, и комната была крохотная. Но какой вид!

Из окна было видно, как на ладони, пол-Рима, пол старого Рима, скученного, седого, величавого, с дивной массой замка Святого Ангела в центре и блестками белокурого Тибра в нескольких местах!

Я снял эту комнату...

На следующий день меня оттуда выселили.

Я позвал сына швейцара, дал ему свой чемодан — 21 фунт багажа — и побрел в его сопровождении по людным и звонким улицам Борго.

Когда Роберто увидел у себя мою печальную фигуру и за мною отрока с чемоданом, он сразу все понял и вскочил. И сидевшая у него на коленях Диана тоже вскочила.

— Выселили? — вскрикнули они оба.

— Выселили, — отозвались мы оба.

Я дал пять сольди мальчику, и он ушел, а мы остались втроем и начали обсуждать положение.

— Самое важное теперь — найти себе новую комнату, — сказал я.

— Самое важное вовсе не это, — ответила Диана.

— А что же?

— А вот что: Эмму теперь не будут выпускать из дому без провожатого?

— Да. Старуха кричала, — я слышал, — что и в церковь ее больше не пустят, а в магазин и обратно будет ее отводить сам отец.

— Значит, самое важное то, что эта история может отозваться и на мне!

— Как так?

— На то мы в Борго, — сокрушенно сказала Диана.

И тут же расхохоталась, потому что она всегда хохотала в минуты жизни трудные.

— Здесь все друг друга знают, а раз у Эммы вышел такой скандал, то у нас дома о ней завтра же будет известно.

— Ну?

— Дома у меня знают, что мы с Эммой подруги.

— Ну?

— А в Борго давно болтают, что за мною и Эммой ухаживают два каких-то студента. И наши об этом слышали. Понимаете?

И Диана вдруг выразила на лице большой ужас и прошептала:

— Меня тоже запрут дома...

И мы сидели и молчали.

— Диана, — спросил Роберто, — ты говорила, что ваши завтра узнают об этом скандале у Эммы?

— Да, наверное.

Тогда он обратился ко мне:

— Оденься как следует и пойдй к маме Дианы.

Я изумился.

— Зачем?!

— Скажешь ей, что ты пришел от моего имени просить ее руки.

— Для чего это?

— Чтобы ее мама увидела, что это дело чистое. Тогда ее не запрут дома, как Эмму. Только иди сейчас.

Я спросил:

— Диана, что скажете?

— Идите, — ответила она.

И я пошел за ширму и оделся. На мне очутились: черный пиджак, перекрашенный из канареечного, желтые клетчатые брюки (5 франков в магазине Боккони), скороходы из Одессы, поверх всего черная крылатка (15 франков у Боккони) и соломенная шляпа с немного побитыми краями.

И желтые перчатки.

Я вышел из-за ширмы, стал в позу, и Роберто сказал:

— Очень хорошо! Возьми мой зонтик. Без зонтика неловко: теперь облачно.

А Диана сказала мне дрожащим голосом:

— Пусть вам Бог поможет! Я бегу вперед, а вы через полчаса трогайтесь.

Через полчаса я тронулся.

По темной лестнице я добрался до двери, зажег спичку и прочел прямо на грубых дверях написанное имя: «Эмилия Тири, белошвейка»

Я позвонил. Первая комната была кухня. На пороге стояла молодая женщина, смотревшая на меня исподлобья серыми глазами.

— Синьора Эмилия Тири? — спросил я.

— Да.

— Могу я иметь с вами небольшой разговор наедине?

Она вышла в другую комнату. Это была спальня, и тут у дверей подслушивала Диана, которая увидела меня, приснула и убежала.

— Садитесь, — сказала синьора, указывая мне на стул.

— Позвольте постоять, — ответил я и положил на стул свою соломенную шляпу с побитыми краями.

— Синьора! — сказал я. — Мой друг Роберто Фронтини имел недавно честь познакомиться с вашей дочерью, синьориной Дианой. Прекрасные качества синьорины Дианы овладели его сердцем, и он просил меня довести об этом до вашего сведения и просить у вас, с самыми серьезными и честными намерениями, разрешения для него продолжать это знакомство с вашей дочерью, синьориной Дианой.

Синьора подумала и сказала:

— Пускай продолжает!..

И я пошел домой.

Вечером мы опять все трое сидели у Роберто, и Диана хохотала и на разные лады рассказывала о моем посещении.

— А не правда ли, — настаивал я, — что я был очень эффектен? Какое впечатление я произвел на вашу маму?

Диана еще звонче расхохоталась.

— На маму? Она печально посмотрела на меня и сказала: «Ах, *rovera Diana mia*<sup>1</sup>, если бы ты знала, сколько жуликов ходят по Риму в желтых перчатках!»

**Altalena**

*Одесские новости. 12.09.1902*



## **Вскользь**

У г-на Моравского, обывателя Старопортофранковской улицы, есть собака Волчок.

Очень большое животное.

Какой рост! Какой лай!

Я имею удовольствие лично знать его.

Положим, вся улица его знает.

Гостей предупреждают:

— Не ходите по правой стороне!

<sup>1</sup> Бедная моя Диана (*итал.*).

И не ходят.

Я тоже перестал ходить.

Потому что Волчок, слыша мои шаги, постоянно появлялся у себя за решетчатым забором, кидался на железные прутья и потрясал лаем и землю сию, и небеса, которые над ней.

Я, положительно, не боюсь. Через забор Волчку не перепрыгнуть.

Но ведь это обидно!

Лают на вас так, точно вы — вор или разбойник.

Я как-то остановился перед решеткой и высказал Волчку по-рицание:

— Какое право имеете вы трезвонить всему миру, что я — вор или разбойник? Я подам на вас за клевету!

Но Волчок на это зарычал с таким выражением, точно у него большие связи в шемакинском ведомстве и самого черта он не боится!

С тех пор я, когда возвращаюсь с Малофонтанской дороги, всегда прохожу только по левой стороне и думаю при этом:

— Даже за пять рублей не хотел бы я очутиться теперь по ту сторону забора!

И должен со стыдом признаться, что женщина оказалась храбрее меня.

Предаю имя ее потомству: Анна Умывакина.

Анна Умывакина смело вошла в калитку и очутилась по ту сторону забора.

И даже не за пять рублей, а гораздо меньше. Сколько полагается поденщице.

Волчок, конечно, не потерпел этого.

Сколько ему ни говорили:

— Волчок, да сядь же на цепь! Ведь в саду работает женщина.

Волчок огрызался:

— Гау! Не сяду на цепь. Нет на то моего желания.

И так-таки не сел, а помчался по саду.

И, усмотрев Анну Умывакину, полетел на нее.

Анна Умывакина поступила, как яичко в детской сказочке. «Покатилась, упала и разбилась».

Такая неловкая!

И еще строптивая в придачу.

Говорят ей:

— Встань!



Говорит:

— Не могу.

— Почему?

— Больно.

Подумаешь! Телячьи нежности.

Повезли ее в больницу — доктора посмотрели и нахмурились:

— Как тебе не стыдно! Совсем себе бедряную кость испортила.

Анне Умывакиной было очень стыдно.

Тем более, что так в больнице и пришлось остаться.

А дома тем временем все как следует: пьяный муж и голодные дети.

Очень стыдно было Анне Умывакиной!

И к Волчку отправилась депутация.

Подойдя с этой стороны забора, депутация выстроилась, одернула пиджаки и кашлянула.

В ту же минуту послышался грохот решетки и всепотрясающий лай.

То был он.

— Волчок! — сказала депутация, снимая шапки. — Анна Умывакина лежит в больнице без всяких средств. Дай ей денег!

— Не дам, — рявкнул Волчок.

— Волчок! — настаивала депутация. — Не будь животным. У Анны Умывакиной голодная семья. Дай хоть что-нибудь.

— Не дам ни копейки! — рявкнул Волчок.

— Волчок! — продолжала депутация. — Нам придется потребовать с тебя денег судом.

Но тут Волчок опять зарычал с тем же выражением, точно он и самого черта не боится.

И депутация удалилась без всякого успеха.

«Милостивый государь! — пишет мне эта депутация. — Может быть, сила печатного слова...»

Розовая наивность: в XX веке — и не знать, что где же печатному слову против собачьего лая...

**Altalena**

*Одесские новости. 17.09.1902*



## Вскользь

### ЕГО ЗАСЛУГИ

Многих изумило, что Эмиль Золя вмешался в дело Дрейфуса.

Со стороны публициста это было бы вполне естественно.

Со стороны поэта оно было бы объяснимо, потому что поэт предполагается нервным и впечатлительным.

Со стороны критика — это было бы неожиданно, но допустимо, потому что, как бы то ни было, критику приходится иметь дело со злобами дня.

Но романист! И какой романист: автор эпопеи в двадцати толстых книгах!

Эти двадцать книг вызывали представление вовсе не о нервности или впечатлительности, но о самом что ни есть кабинетном темпераменте.

Публицист должен быть гражданином, поэт может им быть, и критику не возбраняется. Но в романисте видеть активного гражданина как-то ни одна душа не ожидала.

И это было всего несправедливее именно по отношению к Золя.

Потому что Золя давно, всю свою жизнь, каждой своей строчкой неустанно повторял:

— Я гражданин.

Есть поэты, вдохновение которых не откликается на злобу дня.

Их называют жрецами искусства для искусства; это название неполно, потому что искусство всегда для искусства. Служебное искусство немислимо.

Но искусство — только форма, в которой предполагается содержание.

И вот, есть поэты, умеющие облекать в ризы, тканые искусством, только такое содержание, которое не есть злоба дня.

Прошло уже то время, когда мы думали, что у этих поэтов «чистого искусства» нет заслуги перед человечеством.

Умирая, они оставляют потомству страницы, которым в течение десятилетий или даже веков предстоит служить большую социальную службу, питать эстетическую жажду человечества.

Но Эмиль Золя не принадлежал к числу этих поэтов.

Он тоже был художником, истинным художником во всех фибрах своего существа.

Он тоже никогда (я не говорю о последних его романах, вышедших после «Парижа», потому что они явно созданы не поэтом, а борцом) — он никогда не подчинял своего вымысла мимолетным требованиям сегодняшней тенденции.

Но он всегда был гражданином.

Он не коверкал жизни в угоду своему тезису, он отражал жизнь во всей ее гармонии.

Но он подставлял свое зеркало всегда с тех сторон, к которым страстно приковано внимание современного интеллигентного человека.

Его произведения дают одинаково богатый материал и художественному критику, и социологу.

Он взял карандаш в руки и пошел по лазарету жизни.

Язвы его не пугали. Он останавливался перед ними и смело заносил их в свой альбом.

И так он обошел все койки и все палаты этого огромного лазарета.

И обо всем, что видел, рассказал человечеству с потрясающей точностью, выпуклостью, жестокостью — со священной жестокостью хирурга или прокурора.

Он ничего не забыл, он по всем клавишам ударил.

И перед глазами зрителей развернулась галерея, пестревшая всеми оттенками: от голодной нищеты до золотой роскоши, от аскетизма до последних извращений разврата, от подвига до гнусного преступления, от бездны позора до вершин почести.

Вся колоссальная хроматическая гамма той клавиатуры, которая называется *буржуазным обществом*.

И когда все это было сделано, Эмиля Золя обвинили в пессимизме.

Если не в клевете.

На обвинение в клевете он не отозвался, и не стоило.

На обвинение в пессимизме он гордо ответил:

— Нет оптимиста больше меня!

Он был прав.

Он ничего хорошего не ждал от общества, как оно скроено и сшито ныне.

Потому что оно извращает и коверкает человека совокупностью самых неестественных условий.

Оно делает из здорового, цельного человека однобокий обломок, половину человека, огрызок человека.

Но Золя верил в будущую победу здорового, цельного человека.

Оттого у него с такой любовью, с таким триумфом и восторгом изображены все те моменты, когда свободная всетворяющая сила жизни торжествует над путами предрассудков.

Наше время сознало главную задачу прогресса в оздоровлении общества, в возрождении человека, исковерканного историей; наше время поняло, что этим возрождением и ради него и во имя его должны совершиться те перемены, которые мы уже предвидим и радостно торопим.

И самым громким из проповедников этого оздоровления был Эмиль Золя.

Поистине бессмертно имя и громадна заслуга этого человека.

Потому что он пережил время большого шатания и сам не пошатнулся.

Вокруг него человечество до того истомилось своим вырождением, что наконец стало им даже любоваться: возвело свои гнойные струпы — лишь бы избыть тоску — в перлы красоты и провозгласило болезненное истинно прекрасным.

Посреди декадентов и эстетиков, посреди апологетов грязи, панегиристов гноя, Пиндаров болезненности, посреди всей этой вакханалии во славу лазарета — Эмиль Золя непоколебимо и громко призывал человечество к источникам чистого воздуха.

Он учил и теперь учит красоте и величию жизни, истинной жизни, радостной, потому что здоровой, плодотворной, правдивой, трудовой.

Я не знаю смерти, к которой более подходило бы русское выражение:

— Приказал долго жить.

Это нам, наследному поколению, он приказал долго жить — долго жить и много работать для того, чтобы действительно некогда осуществилась наконец такая жизнь на земле.

**Altalena**

*Одесские новости. 18.09.1902*



## Вскользь

### БЕССИЛИЕ

— Вас там спрашивает какая-то незнакомая барышня.

Уфф!

Опять что-нибудь скучное.

Пусть подождет.

Мне осталось дочитать две страницы до конца главы.

Неужели бросить из-за незнакомой барышни?

Я дочитываю две страницы до конца главы.

Откладываю книжку.

Но оказывается, что не выпитый утром стакан холодного чая стоит тут же на столе, накрытый блюдцем.

Я ужасно люблю холодный чай!

Но он не сладок. Сахар лежит на дне.

Надо помешать.

— Катюша! Принесите, пожалуйста, ложечку.

Катюша идет за ложечкой. Новая идея:

— Катюша! Прихватите, кстати, парочку бисквитов.

Катюша приносит бисквиты и ложечку.

Чай выпит. Удивительно вкусно!

Ах, да, барышня ждет.

Я натаскиваю пиджак... Опять пуговица болтается.

Иду в другую комнату и делаю, кому следует, выговор:

— Слепые, что ли? Будто бы уж так трудно присмотреть, чтобы хоть пуговицы были все на месте!

И наконец выхожу к барышне.

Очень маленькая и робкая барышня. Ей, верно, скучно было ждать, но наружу она не пропустила даже и намека на тень скуки.

Наряд чистенький, очень скромный, но с неуловимым оттенком невинного щегольства, по которому можно безошибочно заключить:

— Модисточка...

— Я к вашим услугам, барышня.

— Можно отнять у вас десять минут?

— Пожалуйста.

И она говорит.

Говорит, что имя ее — так-то.

Что адрес ее — такой-то.

Что их четверо детей и больная мать, а отец умер.

Она — старшая.

А ей 18 лет.

Ей 18 лет, и работает она 18 часов в сутки. Впрочем, иногда только 15 часов.

Шьет.

Зарабатывает 15 р. в месяц.

Остальные дети еще малы и ничего не зарабатывают.

А мать опасно заболела.

Каждый день приближает ее к мучительнейшей из смертей. Дети стоят и смотрят, как мать быстро, день за днем, приближается к мучительной смерти.

Все врачи объявили, что операция немыслима.

Нашелся наконец один, который согласился сделать операцию.

Даже бесплатно.

Но для этого надо поселить больную в клинику.

Для этого надо...

— Сколько надо?

— Сто рублей, — тихо говорит барышня и опускает голову, точно ей стыдно, что ее губы выговорили такое слово.

Грузное, в самом деле, слово.

Оно и мне обваливается на голову пудовой тяжестью и клонит лицо к земле.

Я понимаю, в чем дело. Барышня не у меня лично просит ста рублей.

Но она рассчитывает: «Его знакомства... его перо...»

Я, конечно, должен ей сказать всю правду.

Что мое «перо» в этом деле помочь не властно.

И что «знакомств» у меня решительно никаких нет.

Но голос не хочет идти из горла.

Ведь сказать ей все это — значит сказать:

— Уходите!

А она только что говорила:

— К вам я пришла, когда все надежды уже пропали...

— Сто рублей могут спасти жизнь нашей матери... —

Она даже выразилась книжно: могут *искупить* жизнь нашей матери...

Сто рублей.

Что я могу сделать? Чем я могу помочь этой барышне?

Я знаю несколько имен одесских богачей.

Но никого из них я ни разу в глаза не видал.

Я мог бы написать для нее трогательное письмо к какому-нибудь из них или ко всем сразу.

Они прочли бы (но не все) и пожали бы плечами:

— Странная, чтобы не сказать больше, манера — писать к незнакомым лицам...

Или:

— Эти газетчики уверены, что перед их именем должны раскрываться и сердца, и карманы!

Я бы мог лично пойти к ним, рассказать все и попросить:

— Дайте денег.

И я бы пошел, хотя это неприятно.

Но я уже когда-то пробовал, и увидел, что я это очень скверно проделываю.

Я не умею в этих случаях прийти с апломбом, попросить с эффектом и уйти с шиком.

Я прихожу робко.

Я прошу со смущением, точно хочу, но стыжусь прибавить:

— Только, ради Бога, не подумайте, что я прошу для себя...

И в результате мне холодно дают рубль.

Другой и тут бы нашелся.

— О! — запротестовал бы он с очаровательной улыбкой. —

Вы шутите. Нет, что вы, я от вас жду никак не меньше 10 рублей, и не только это, но вы должны мне сами собрать как можно больше... Для вас это так легко... О! Я не могу принять возражений. Помилуйте, ваше всем известное великодушие... Да, да, о, о, ах, ах, и я вас уже заранее благодарю... До завтра!

Все это можно отбарабанить очень быстро и непреодолимо. А если еще по-французски — тем лучше.

Но я на это не способен. Я — полная бездарность в этом отношении.

Я беру рубль и говорю за него и мерси, и благодарю, и спасибо.

Если бы я пошел делать сбор для этой барышни, я потерял бы целый день и принес бы ей десять рублей. Не стоит пачкаться.

И вот я ничего не могу для нее сделать.

Сто рублей.

Сегодня вечером много людей проиграют по сто рублей друг другу в карты, и в Гранд-отеле кто-нибудь истратит больше ста рублей на ужин с дамами, хотя, вероятно, ни ему, ни дамам не будет особенно хотеться кушать.

А я бессилен достать для этой девушки сто рублей, на которые она могла бы «искупить» жизнь своей матери.

Бессилен.

Я могу прочесть в «Литературке» реферат, из-за которого слушатели начнут ругать меня и друг друга.

Я могу написать фельетон, за который многие будут благодарить меня и очень многие бранить.

Я могу ежедневно говорить с несколькими десятками тысяч человек и могу иногда взволновать их, обидеть или обрадовать.

Но у этой барышни умирает в мучениях мать. У меня тоже есть мать. И я не могу помочь этой барышне. Я бессилен доставить ей десять тысяч копеек, я, говорящий с десятками тысяч людей!..

Твердите мне после этого о великом значении печати, о священном призвании писателя, о том, что слово есть дело. Знаю я, сколько в этом правды.

Если бы можно было, я поменялся бы. Я отдал бы слово за дело.

Я отдал все слова, которые знаю, все пламя, которое могу вложить в них, за способность творить истинное дело, хотя скромное, хотя мимолетное, лишь бы реальное.

— Прощайте, барышня. Я ничего не могу для вас сделать.

*Altalena*

*Одесские новости. 19.09.1902*



## **Вскользь**

Третьего дня в Литературно-артистическом обществе были такие разговоры.

Иван Иванович подошел к Михал Михалычу и сказал:

— Все хорошо, что хорошо кончается.

— Да! — ответил Михал Михалыч и, отойдя к Павлу Павловичу, хлопнул его по жилету:

— Что, батенька? Конец венчает дело!



— Верно, — согласился Павел Павлович и, завидя нас, воскликнул:

— Что скажете? *Finis coronat opus!*<sup>1</sup>

— Хе-хе, — ответили мы и, усмотрев за ломберным столиком Карла Карлыча, поспешили к нему и сказали:

— *Ende gut — alles gut!*<sup>2</sup>

— *Doch!*<sup>3</sup> — ответил Карл Карлович, проигрывая двадцать пять копеек.

Словом, все были довольны.

Бывает иногда, что затеряются часы.

Основательно затеряются, так что уже «пишешь пропало».

Страшно жалко.

Такие были удобные и точные часики.

Купить другие — все не то.

Бог их знает, какие они будут, эти другие часы.

Прежние как раз подходили к кармашку жилетки. Носишь их и совершенно не чувствуешь.

А новые вдруг еще окажутся тяжелыми. Или будут выпирать карман горбиком. Или просто врать будут — опоздаешь в контору, и шеф скажет:

— Хозяйских денег вам не жалко. Как будто хозяйские деньги краденые. Бессердечный человек!

И вот уже перед тем, как пойти купить новые часы, в последний раз:

— А все-таки дай поищу, может быть, найдутся...

И в самом деле — есть. Дорогие! миленькие! мамочки!

Славные старые часики, такие удобные, точные, неизменные.

На цепочку их! Скорей на цепочку, чтобы больше не прятались...

Эта заминка с поисками нового председателя ужасно встревожила всех.

Решительно некого!

Мы, прислушиваясь к этим пересудам, решили предложить в председатели г-на Знакомого.

Отчего бы ему, в самом деле, не быть председателем?

Мы уже собирались начать агитацию, когда как раз вбежал Харлам Харламыч и оповестил:

— Согласился остаться! Все хорошо, что хорошо кончается.

---

<sup>1</sup> Конец — делу венец! (*лат.*).

<sup>2</sup> Все хорошо, что хорошо кончается (*нем.*).

<sup>3</sup> Еще бы! (*нем.*).



А приятно иметь дело с «Одесским листком».

Видишь, по крайней мере, что слова даром не пропадают.

Всякий совет выслушают и постараются, по мере сил, исполнить.

Был у них рецензент Е-ф.

Мы против него ничего не имели, но не могли не указать на некоторую наивность его души.

Они немедленно сплывили г-на Е-фа и заменили его г-ном «-ром».

Мы ничего не имели против г-на «-ра», но не могли умолчать, что г-н «-р» как две капли воды похож на старого г-на Е-фа.

Они сплывили и г-на «-ра».

Теперь у них драматические рецензии пишет г-н Л. Т.

Совсем новый господин. Ни на Е-фа, ни на старого г-на «-ра» не похож, а иногда прямо даже дает иллюзию грамотного человека. Ей-богу!

Мы очень довольны.

Пусть почтенная газета будет уверена, что при таком с ее стороны отношении мы и впредь охотно не оставим ее нашими советами и руководством.

Например: есть там литератор, который теперь, очевидно, служит исполняющим дела г-на Финна.

— Большое сходство...

Г-н Финн, как известно, уехал в Болгарию...

И вот, уезжая туда, г-н Финн оставил свое перо, свое бес-  
смертное перо, купленное (?) в таком-то магазине на такой-то  
улице (между прочим, там же можно дешево купить открытки  
с веселыми картинками), оставил свое перо г-ну Будилину и ска-  
зал ему:

— Промышляй!

И г-н Будилин промышляет.

Читаем:

«Если верить почтенной фирме А. К. Дубинина (а не верить ей нельзя), то ею получен огромный запас самых свежих и разнообразных закусок...»

Недурно для начала. Что значит перо г-на Финна!

А что, если бы вы для довершения этого сходства отправили и г-на Будилина тоже в Болгарию?

Это было бы очень эффектно.

Тамошние газеты писали бы:

«Вслед за г-ном Финном еще один русский литератор приехал в Болгарию...»

Интересно знать, как это будет по-болгарски?

Вероятно, в таком роде:

«Еще один литератор-т поехал на Българску»...

Счастливой дороги. А расходы на извозчика — так и быть! — берем на себя.

**Altalena**

*Одесские новости. 20.09.1902*



## **Вскользь**

Теперь в городе будут две театральные комиссии.

Одна при Городском театре, а другая при Литературно-артистическом обществе.

В скобках:

Многие, в том числе печатно г-н Знакомый, выражают неодобрение по поводу того, что в правлении «Литературки» так мало литераторов.

Г-н Знакомый совершенно прав: не мешало бы действительно пополнить правление несколькими местными литераторами.

Но — что не сделано, то не сделано, а утешиться можно и должно тем, что председатель И. А. Смирнов и секретарь П. Т. Герцо-Виноградский — оба журналисты.

Два человека — это количественно немного. Но если принять во внимание, что в истекшем сезоне при всем том лучше всего шла именно *литературная* часть деятельности клуба, то придется признать, что недостаток количества с избытком искупается качеством.

Поэтому можно быть спокойными, что и в наступающем сезоне литературные функции общества не только не пострадают, но будут, напротив, расширяться и прогрессировать.

Закрываю скобки и возвращаюсь к новой театральной комиссии.

Как уже практикуется в литературной секции общества, будут избраны старшины и в театральной секции.

Это значит, что постановке драматических и оперных спектаклей предполагается посвятить серьезное внимание.

В добрый час.

Дело это — трудное и тонкое.

Прежде всего — сцена клуба должна абсолютно избегать всякой конкуренции с театрами.

Во-первых — потому что она не в состоянии с ними конкурировать; во-вторых — потому что совсем это не ее дело.

У театра своя функция, у сцены клуба — будет своя.

На обязанности театра лежит и просвещать, и смягчать нравы, и многое другое, что здесь перечислять не место.

Сцена Литературно-артистического клуба может преследовать одну только задачу: развитие и, так сказать, «модернизирование» вкуса у нашей публики.

Поэтому первым условием должна быть *стильность*.

Выдержанный стиль в выборе пьес, в обстановке, постановке и в исполнении.

В прошлом сезоне — правда, то были первые шаги — шли разные «Щекотливые поручения». Говорить о том, насколько это было неуместно, вряд ли нужно: это всем понятно само собой.

Сцена клуба может процветать только при условии постановки таких произведений, которых обыкновенные театры не ставят, потому что у обыкновенных театров и задача, как сказано, другая, и условия другие, и даже подбор публики несколько иной.

В репертуаре недостатка не может быть.

В газетах уже не раз перечислялись произведения, намеченные или желательные для постановки на этой сцене.

Будущие старшины без всякого затруднения составят список подходящих пьес, которого хватит на весь сезон и еще для грядущего останется.

Особенно если включить Метерлинка и Артура Шницлера...

Можно даже мечтать о большем — о том, чтобы эта сцена создавала свой собственный, оригинальный или переводной, репертуар.

До поры до времени, конечно, участие в его составлении примут только непосредственные работники Литературно-артистического общества.

Но, если средства позволят, далеко не несбыточной мечтой явилось бы учреждение при сцене особых конкурсов с премиями.

Сумм больших не потребовалось бы уже потому, что сцена клуба может ставить только одноактные и разве что двухактные пьесы.

Премия покойного Вучины, к сожалению, очень мало содействовала «оживлению репертуара», бывшему желанием учредителя.

И это вполне понятно: она учреждена при университете, а не при театре.

Зато как оживили драматический репертуар конкурсы при театре г-на Суворина!

Сцене одесского клуба, впрочем, не пришлось бы соперничать и с этими конкурсами, потому что к последним допускают только пьесы не меньше трех действий.

Конкурсы при этой одесской сцене, если их разумно поставить, могли бы привлечь литературные силы к интересным попыткам драматического *nouveau style*<sup>1</sup>.

Но для этого, конечно, требуется прежде всего именно то, что всего труднее: хорошее исполнение.

«Вот в чем вопрос». Роковой и большой вопрос.

Настоящих артистов — по крайней мере, теперь — нельзя привлечь.

Его<sup>2</sup>, любители. И это многих может заставить поморщиться.

Вот где нужна будет особенная энергия и осторожность со стороны будущих руководителей театральной секции.

Выдающихся моментов от этой сцены никто, конечно, требовать не будет.

Будут требовать только выразительной, толковой и изящной читки ролей, добросовестно разученных и хорошо понятых.

Из всего этого ясно выступает одно слово:

— Режиссер.

Нужен интеллигентный и чуткий, а главное, настойчивый режиссер.

Собственно, то, что называется сценическим опытом, не так важно; чем меньше рутины, тем лучше — да и на крохотной сцене большой премудрости не нужно.

Самое главное — чтобы режиссер был интеллигентен, чуток и настойчив.

Он должен понять тон и стиль произведения, почувствовать все его оттенки и внушить их исполнителям.

Тогда и с любителями можно было бы многое сделать.

---

<sup>1</sup> Нового стиля (*фр.*).

<sup>2</sup> Следовательно (*лат.*).

Особенно, если поискать любителей не только на поверхности — на афишах Пушкинской аудитории или зала «Гармония», а глубже — в тесных семейных кружках.

Там не найдется опытных исполнителей, но найдутся очень милые дилетанты, одаренные часто большим вкусом и изяществом.

Надо только суметь вызвать их из закрытых гостиных — на сцену Литературно-артистического общества.

И если к ним присоединится несколько уже выяснившихся имен из одесского «любительского» мира, то вопрос об исполнителях можно считать решенным.

Дело только за режиссером.

Режиссер — это главная задача, которая предстанет перед будущими старшинами театральной секции.

Задача сложная. Но неразрешимых задач нет. Следовательно, все будет зависеть от находчивости и доброй воли будущих старшин.

*Altalena*

*Одесские новости. 22.09.1902*



## **Вскользь**

Королевский прокурор города Комо, синьор Лино Ферриани, помазал вашего покорнейшего слугу по губам — и больше ничего.

Лино Ферриани напечатал по-французски статью «Дети в журналистике».

Преинтересное заглавие. Оно меня навело на столько воспоминаний!

Однако на проверку оказалось, что господин прокурор думал не то.

Издателям и сотрудникам собранных им «юных» журналов, явных и тайных, на разных языках, — от роду по шестнадцати лет и больше.

Хороши «дети». Не могу не заступиться за них. Этакие балбесы — уже, верно, давно покуривают в рукав и нащипывают усики — и вдруг «дети».

Ах! Отчего господин прокурор не обратился ко мне: я при- слал бы ему кипу материала, целый килограмм настоящей детской журналистики.

Одесситы никогда не знают, что творится у них под носом; по сему не удивительно, что они никогда не слышали о газете «Глашатай республики Халайджогло».

А между тем эта газета существовала!

Впрочем, одесситы не знают даже и о республике Халайджогло.

А ведь она тоже существовала!

Нет-с, господа, так нельзя. Все это надо вам рассказать.

Республика Халайджогло возникла в июне месяце одного давно прошедшего года, когда кончились экзамены и нам объявили, сколько передержек.

Мы построили крепость где-то в ложбине вблизи дачи Отрады.

Теперь ложбина засыпана, и от крепости не осталось следа, но крепость была прекрасная.

Камень был крепкий: мы ходили воровать его на городскую постройку и выбирали только самый лучший.

Крепость вышла прямоугольная, в сажень длиной, почти в аршин высотой; в правом углу мы поставили знамя зеленого цвета, а в левом сделали углубление для золы, чтобы печь картошку.

Мы были очень довольны крепостью, и строитель Зюзя в благодарность был единогласно избран начальником.

Зюзя не стал ломаться, вылез на крепостную стену и провозгласил, что ложбина будет отныне принадлежать нам и называться республикой Халайджогло, а столицей будет крепость, и чтобы все слушались начальника.

После этого он назначил мальчика Рыжика министром, а меня секретарем республики Халайджогло.

А остальным велел присягать.

Остальных было одиннадцать душ. И они все присягнули совершенно единодушно, как один человек.

Но, когда эта процедура закончилась, Рыжик возбудил новый вопрос:

— Нужно было бы дать какую-нибудь должность Куте?

Это была правда. Кутю мы все очень уважали. Он был самый ученый из нас: он читал «Русскую мысль» и знал геометрию.

И хотя в ту минуту его с нами не было — он лежал дома больной, у него была свинка, — но все понимали, что не почтить его каким-нибудь избранием нельзя.

Наш начальник был тоже умный малый. Он долго не думал и придумал:

— Предлагаю избрать Кутю королем!

И Кутя был единогласно избран королем республики Халайджогло.

В тот же вечер мы — начальник, министр и секретарь — пошли к Куте и принесли ему королевскую звезду из золотой бумаги, но нас к нему не пустили, потому что свинка заразна; и вообще его мама сказала, чтобы мы поменьше шлялись к нему, а не то она когда-нибудь нас выгонит.

Тем не менее звезду она все-таки взяла и обещала передать королю.

Мы же трое пошли на дом к начальнику. Там нам дали чаю с молоком и булки с маслом, и мы, ужиная, обсудили устав республики Халайджогло.

Я как секретарь записал его красивым почерком и могу теперь привести.

«§ 1. Все должны слушаться начальствующих лиц, которые выбираются на все лето.

§ 2. Судить будет король, а если он болен, то начальник.

§ 3. Присужденные к расстрелу или повешению после исполнения приговора исключаются из республики с волчьим билетом, и их можно бить безнаказанно.

§ 4. У всех граждан пуговицы обязаны находиться на местах и быть застегнуты.

§ 5. Каждый должен вносить по 10 копеек в месяц, а картофель приносить из дома поочередно.

§ 6. Курить можно.

§ 7. Встречаясь на улице, граждане обязаны отдавать друг другу честь.

§ 8. Плевать в крепости воспрещается.

§ 9. Посторонним вход воспрещается.

§ 10. Писать статьи против начальствующих лиц строго воспрещается.

Подписали: король, начальник, министр и секретарь».

Вы уже видите из последнего параграфа, что в республике Халайджогло была пресса.

И действительно, вскоре вышел первый номер журнала «Глашатай республики Халайджогло».





Это был очень удачный номер.

Мы купили тетрадки за 5 копеек, в красивой светло-голубой обертке, а наклейку «тетрадь для ... ученика ... класса ...» заклеили изящным ярлычком с заглавием журнала.

Вышло очень эффектно.

Первая страница была украшена портретом г-на Боборыкина, вырезанным из «Вокруг света». Я хотел какую-нибудь другую виньетку, но министр Рыжик возразил, что так будет солиднее.

Затем был помещен устав республики Халайджогло, список граждан и — по желанию короля Кути — его переходные отметки, для примера всем нам.

Официальный отдел на этом заканчивался.

Неофициальный открывался патриотическим стихотворением, начало которого я помню очень хорошо:

*Да здравствует наше царство!  
Настала новая пора!  
Выберем себе начальство.  
Закричим сильнее «ура!»*

Эти стихи сочинил ваш покорный слуга, но скромно подписался псевдонимом «граф Валентин Гилуа».

Но героем номера был, конечно, гражданин Спирия.

Мы уже давно знали, что Спирия пишет роман под заглавием: «О лошади».

Потом распространился слух, что роман закончен.

Спирия стал очень важен и на все вопросы отвечал:

— Не мешай! Я обдумываю новый роман.

А когда мы явились к Спирие с просьбой поместить роман «О лошади» в нашем «Глашатае», он презрительно пожал плечами.

— Как же! — сказал он. — Я лучше пошлю в «Одесский листок».

Это нас встревожило. Спирина мама действительно служила в конторе «Листка» барышней, и роман «О лошади», чего доброго, мог попасть не к нам, а в эту газету.

Пошли переговоры — и наконец Спирия согласился, но только с тем условием, чтобы его назначили наследным принцем.

Да и тогда он непременно пожелал переписать свой роман в журнал «Глашатай» собственноручно.

Впрочем, роман оказался невелик: полторы странички.

В нем, хоть и без знаков препинания, но очень трогательно рассказывалось, как одного жеребенка привезли в город, как там конюх его морил (в подлиннике написано «*марил*») работой и как жеребенок от всего этого начал харкать кровью и скончался.

Роман «О лошади» произвел огромное впечатление и вызвал восторг читателей и зависть собратьев по перу.

Особенно завидовал министр Рыжик. Спирия совершенно затмил его, тогда как он, министр, тоже немало потрудился для первого номера.

Он приготовил совершенно оригинальное произведение — опыт «критики с критикой на критику и критикой критики на критику».

На свои именины он получил в подарок шоколад в конверте с картинкой, на которой были изображены длинноносый господин и маленький мальчик.

Под картинкой было подписано:

*Испугавшись, ученик,  
Не видав такого носа,  
Он пришел тогда в тупик,  
От заданного вопроса.*

Министр Рыжик написал едкую критику на это стихотворение, затем критику на критику, а затем критику на критику критики — и подписался «Дон Карлос».

Все это было весьма остроумно, и тогда мне показалось очень оригинальным, хотя теперь я, конечно, знаю, что министр Рыжик позаимствовал идею у одного немецкого экономиста, написавшего книгу «*Zur Kritik der kritischen Kritik*»<sup>1</sup>.

Но, хотя мы этого и не знали тогда, все же трогательный пафос Спири затмил остроумие Рыжика.

И министр глубоко затаил зависть до следующего номера.

Второй номер не заставил себя ждать.

В официальном отделе был помещен указ о присоединении к республике четырех прибрежных скал, с которых граждане ее имели обыкновение купаться.

Тут же были новые правила почтовых сношений.

В стенах крепости, рядом с ямой для печения картошки, учреждалась зарытая и прикрытая землей кубышка из-под чая.

<sup>1</sup> «К критике критической критики» (нем.).

Кубышке присваивалось назначение почтового ящика, и граждане приглашались пользоваться почтой республики преимущественно перед такими же учреждениями Российской империи.

Спиря жил со мной на одной лестнице; и вот, чтобы снестись со мной, он имел полную возможность сбегать в республику, откопать кубышку, сунуть туда письмо, прикрыть землей, вернуться домой и ждать.

Для неофициального отдела Спиря дал на этот раз стихи. Вот они:

*Я рожден с душой пылкой, кипучей.  
Как лавы горящей поток;  
Но под этою лавой горящей  
Есть темный, сырой уголок...*

И подписано: — «прод. сл.»

Так как оригинального романа для этого номера не нашлось, то мы воспользовались Пушкиным и поместили первую главу повести «Выстрел»; принимая, однако же, во внимание смешанное население республики, вместо «жидовской корчмы» поставили просто корчму.

Но центр тяжести был в конце — в критической заметке министра Рыжика. Я цитирую ее:

#### «Критическая статья»

Уж сколько раз твердили молодым писателям, что не следует сразу браться за романы, но все не впрок, они все пишут романы, не слушаясь указаний критиков.

Станным также, не говоря о всех других недостатках, кажется то, что как это можно «*марить*» жеребенка? Мы думали всегда, что можно только *морить*!

Роман г-на Спиридона „О лошади“ никуда решительно не годится.

*Дон Карлос*»

Эта статья показалась бомбой; министр Рыжик стал героем дня.

Спиря был в бешенстве.

Он нарочно расколупал себе нос до крови и кровью написал на стене крепости:

«Клянусь отмстить ужасно. Наследный принц Спиридон».

На другой же день он подал жалобу королю Куте, ссылаясь на § 10 устава республики Халайджогло, который гарантировал его, как принца, от нападков печати.

Министр Рыжик подал на Спирию встречный донос по § 8 и представил не только свидетелей, но даже, в особой коробочке, вещественные доказательства.

Король возмутился. Спирия был лишен орденов, а министра посадили на целое утро в крепость и лишили права писать статьи...

*Дела гавно минувших дней,  
Преданья старины глубокой...*

**Altalena**

*Одесские новости. 24.09.1902*



## **Вскользь**

Боже! Какой ужас...

Меня прямо пришибло этим известием.

В два часа ночи — звонок.

Надеваю халат и пантофли<sup>1</sup> и бегу к двери.

— Кто там?

— Телеграмма.

Я обмер, когда прочитал роковую весть:

«Приезжайте — Балалакий заболел — новый припадок белой...»

Я зашатался.

Через полчаса я был уже на вокзале, где заказал экстренный поезд.

— Ради Бога, — торопил я начальника станции, — дайте мне самого лучшего машиниста. Пусть он гонит вовсю! Я не поскоплюсь ему на чай. Дело идет о болезни моего старого друга!

И мы помчались.

Вагон дрожал, дождь стучал в окна, вихрь свистел, и я думал о грустных вещах.

Балалакий Кликушан! Дорогое имя...

Бедный друг моего золотого детства!

Я хорошо помню его. Славный такой был мальчишка.

Кто, бывало, на него ни взглянет, непременно ущипнет и спросит:

— Чем, канашка, хочешь быть, когда вырастешь?

А он всегда отвечает:

— Тлюбочистом!

Словно предчувствовал, что будет редактором «Бессарабца».

А даровитый был ребенок.

<sup>1</sup> Шлепанцы (от укр. пантофлі).

Ведь это с ним вышел тот случай, который потом даже стал общеизвестным анекдотом.

Вы, верно, слышали об этом?

Мамка млекопитает мальчика.

Прохожий замечает:

— Как не стыдно! Такой большой бутуз кормится грудью!

А мальчик поворачивается и басом говорит:

— Пшел ко всем чертям.

И продолжает свое дело.

Это случилось именно с Балалакием Кликушаном, а оттуда уже возник анекдот.

Дело в том, что Балалакию тогда уже было действительно три года, но мамка ни за что не хотела отнять его от груди. Ужасно любила мальчишку!

Кстати.

В газетах писали, будто в детстве мамка ушибла Балалакия в темечко, и оттого будто бы он и вышел такой.

Пользуюсь случаем заявить категорически, что это — вымысел.

Мамка Балалакия слишком любила его, чтобы допустить такую небрежность.

Балалакия никто никогда не ушиб.

Балалакий просто таким родился. Это у него от роду!

...Вагон дрожит, дождь стучит в окна, вихрь воет за окном...

Помню я, как Балалакий сдал экзамен за два класса прогимназии и поступил в акциз.

Мне ужасно не хотелось пускать его в акциз.

Словно будто сердце предчувствовало недоброе!

— Не иди в акциз, Балалакий, — умолял я его, — чует мое сердце недоброе.

Он не послушался. Он утешил меня, прижал к своей груди и пошел.

Его прельщала государственная служба. Благородное честолюбие благородной души!

Увы...

...Вагон дрожит, вихрь свищет снаружи...

Как ужасна власть этого ядовитого зелья!

Его не надо пить: достаточно приблизиться к нему — и вы уже во власти зеленого змия.

Ведь вот Балалакий. Пить, кажется, не пил.

Но он служил в акцизе — и вот-с, извольте:

«Заболел... Новый припадок белой...»

«Новый». Который это по числу? Пятый? Десятый? Не помню. Счет потерял...

Вспоминается мне один из последних припадков, самый сильный.

Балалакий дрожал всем телом и кричал:

— Они хотят убить меня!

И бросался мне на шею, ища защиты у меня на груди.

Напрасно я его утешал.

— Балалакий! — говорю. — Дорогой Балалакий! Успокойся. Посуди, зачем тебя убивать? Ты ведь и так все равно что покойник, пролежавший летом три дня подряд на столе в комнате, где все окна закрыты...

Он не верил.

Это была потрясающая сцена!

...Светает. Вагон дребезжит тише, подходя к кишиневскому вокзалу.

Меня ждут на перроне.

— Здравствуйте! Что Балалакий?

Машут руками.

— Совсем?!

— Никакой надежды.

— Боже! Опять зеленые змейки мерещатся?

— Нет, уже не змейки...

— А что?

— Рыбки.

— Какие рыбки?

— Сиги. Уставится в точку и воет: «Сиг! Там сиг! Держите его! Он хочет меня проглотить»...

— Воет?

— Воет. Пройдешь мимо редакции — даже с улицы слышно.

— А зачем же его оставили в редакции?

— Был консилиум из шести врачей. Решили было отвезти в желтый дом, но потом осмотрели внимательно редакцию, этак, знаете, переглянулись и сказали, что перевозить, собственно, незачем...

— Я мчусь к нему.

— Теперь он спит. Всю ночь метался, бедолага, а теперь забылся. Вас позовут, когда он проснется.

Ужасно...

Балалакий еще не проснулся. Я сижу в номере и пишу это письмо вам, а душа моя полна смятения и боли в ожидании горького свидания...

Бедный Балалакий!

Таковы шутки рока. Человек мечтал стать трубочистом и был рожден для этого, а судьба с ним вот что выкинула...

**Altalena**

*Одесские новости. 26.09.1902*



## **Вскользь**

Я такой поганый, что они меня даже называть по имени не хотят.

Это очень любопытно.

Сколько уж раз мне приходилось посвящать теплые слова почтенной газете «Листок» и ее почтенным сотрудникам, вызывая с их стороны обиду и возражения!

А назвать меня — ни разу не назвали.

Возражают, намекают, покушаются на остроумие, а имени моего не произносят.

Пишут обо мне просто:

«Один журналист...»

Нет, даже еще почтительнее:

«Некоторые журналисты...»

Это я-то — некоторые журналисты.

Pluralis maestatis<sup>1</sup>.

Что ж, мерси.

Я никогда не скрывал, что я люблю к себе почтительность.

И, смягченный этой почтительностью, я, так и быть, сердиться на м-сье Будилина на сей раз не буду, а поговорю с ним мягко и снисходительно.

М-сье Будилин написал, что моя потребность — это:

— Браниться, браниться и браниться.

Я нахожу, что это неточно.

У меня действительно есть потребность, но не браниться.

— Полемизировать, полемизировать и полемизировать.

И этого я нисколько не стыжусь.

Потому что, по-моему, полемика — это воздух журналиста.

<sup>1</sup> «Множественное величия» (лат.) — употребление «мы» вместо «я», чтобы подчеркнуть важность собственной персоны.

Я понимаю прессу только как арену того благородного *chose des opinions*<sup>1</sup>, из которого является истина.

Нет и не может быть настоящего журналиста, который не любил бы полемики.

Спорить, бросать в толпу свое мнение и чувствовать, что оно замечено, что на него откликнулись честные противники!

Вот стихия журналистов.

Вот та буря, в которой для настоящего журналиста «есть покой».

Кто этого не понимает, кто боится полемики, тот пусть идет в приказчики... к Дубинину. Среди журналистов ему не место.

И везде и всюду журналисты полемизируют.

Выдвигают вопросы, обсуждают, возражают друг другу, откликаются и подают один другому голос.

Только здесь, в Одессе, этого нет.

Здесь, в Одессе, нельзя полемизировать.

Здесь газеты не откликаются одна другой — они замалчивают друг друга.

Если бы в одной из них завтра открыли Америку — другие не проговорились бы об этом событии ни словом.

Они свято сохранили бы эту тайну от своих читателей.

У них в отделе «Пресса» цитируются все органы Голты, Балты и Бендер, только одесские газеты не цитируются.

О чем бы ни написала одна из них — другие не укажут, не отметят, не ответят.

И есть один только случай, когда они отвечают.

Только один случай, когда можно убедиться, что работаешь не в безвоздушном пространстве, а в большом городе, где есть три газеты.

Этот случай — если вы выругаетесь.

Вот когда вам откликнутся.

Положим, и тогда вас не назовут по имени.

Им все будет казаться, что, произнося ваш псевдоним, они рекламируют вашу газету и отбивают у себя подписчиков.

Но все-таки, хоть и безыменно, вам отзовутся!

Вы наконец почувствуете, что вы не в пустыне вопиете, что вас слышно!

Без этого сознания жить и писать нельзя. Я, по крайней мере, не могу.

Недавно я уже написал об этом.

---

<sup>1</sup> Здесь: столкновения мнений (фр.).



Я написал.

Отчего мы не ведем серьезной полемики? Отчего мы упорно игнорируем друг друга?

И мне на это ответили молчанием.

Я ведь спросил:

— Отчего вы молчите?

И они ответили молчанием.

Воля ваша, я этого не желаю.

Я не могу работать в безвоздушном пространстве.

Я тоже не люблю браниться.

Я предпочел бы серьезно полемизировать.

Но это невозможно. Вы этого не хотите.

Что ж делать, приходится браниться, потому что, повторяю, работать среди молчания я не хочу.

Это вам мое последнее слово.

Выбирайте.

Угодно вам изменить отношения между газетами так, чтобы стала возможна серьезная благородная полемика?

Тогда прекрасно. Мы будем серьезно и благородно полемизировать.

Не согласны? Воля ваша, будем браниться...

**Altalena**

*Одесские новости. 27.09.1902*



## **Вскользь**

На первом четверге — полный зал.

Прекрасное начало, дающее право надеяться на прекрасное продолжение.

Публика оживлена. Ей, очевидно, приятно и уютно в этих симпатичных стенах.

Для открытия сезона — печальная нота: г-н Хмельницкий посвящает теплое слово доброй памяти покойного А. А. Андреевского.

Публика почтительно встает.

Только запоздалая дама, в эту самую минуту впорхнувшая в зал из уборной, удивляется вслух, оправляя кружева на бюсте:

— Алексей Андреевич? Какой это? Разве Золя звали Алексей Андреевич?

Спутник ее любезно отвечает:

— Эмиль-с.

Дама удовлетворена и садится.

Прочитываются рефераты о Золя...

Жаль, что рефераты читаются, а не говорятя.

Конечно, так оно плавнее и ровнее; но даже у лучшего чтеца всегда слышится деревянная мертвенность тона, которая отличает чтение по книге от живой речи.

Это, несомненно, способно несколько ослабить впечатление даже самого интересного доклада.

Совет старшин постановил, что рефераты обязательно должны быть целиком написаны.

Мне кажется — не следовало.

У нас вообще мало умеют связно и толково говорить, так что не препятствовать этому надо, а поощрять.

Как бы то ни было, доклад г-на Пекатороса о Золя произвел прекрасное впечатление.

Прений, конечно, не было — прения не соответствовали бы характеру собеседования, посвященного памяти умершего писателя.

Но некоторые дополнения все-таки следовало сделать.

Референт, например, указал на то, что Золя чересчур подчеркивал и растягивал щекотливые описания.

Точка зрения докладчика такова: называть Золя «порнографом» — это, конечно, безусловно, несправедливо и бессмысленно; но нельзя отрицать, что многое в его длиннотах производит «отвратительное» впечатление, точно автор «смакует» скользкие подробности.

С этим нельзя согласиться.

Субъективно, по отношению к Золя, о «смаковании» не может быть речи.

Во-первых, Золя сам был человек воздержанный и порядочный, менее всего способный к слюнявому увлечению скабрзностями.

Во-вторых, Золя прилагал к описаниям этого рода вовсе не исключительное старание.

Он вообще во всем и всегда был точен, подробен, смел и обстоятелен.

В «*Ventre de Paris*»<sup>1</sup> он подробно и ярко описывает базар или колбасную лавку; в «Проступке аббата Мурэ» он посвящает

---

<sup>1</sup> «Чрево Парижа» (фр.).

несколько страниц точному и обстоятельному описанию сада; в «*Au bonheur des dames*»<sup>1</sup> — он вводит нас во все детали обстановки модного магазина, чуть ли не в столбцы гроссбуха.

Это была его манера: давать разработанную, исчерпывающую картину того, о чем заходила речь.

Нельзя говорить о «смаковании» картины родов в «*La joie de vivre*»<sup>2</sup> или картины распутства в «*La cigée*»<sup>3</sup>, когда Золя с одинаковой любовью и подробностью «протоколировал» на каждом шагу и другие явления, никакому «смакованию» не поддающиеся.

Правда, есть иногда у Золя не «смакование», а ликование, восторг, торжество в таких описаниях.

Так, например, изобразил он или, скорее, воспел брачную ночь доктора Паскаля и Клотильды, Дарио и Бенедетты.

Но этот радостный тон являлся только тогда, когда Золя сочувствовал своим героям, когда праздник любви являлся в его глазах триумфом жизни и свободы над предрассудком и суеверием.

Тогда Золя ликовал; тогда он обдавал сцену любви самыми прекрасными лучами своего спектра и не стыдился этого, и мы должны за это только еще ниже поклониться его мощной памяти.

Объективно же — нельзя положительно сказать, что длиноты этого рода у Золя производят нехорошее впечатление.

Может быть, это и верно, но тем хуже для нас.

Давно установлено, что мы воспитаны в отчуждении от здоровой плоти и именно поэтому смотрим на все, что относится к этой запретной области, каким-то облизывающимся взглядом.

Нет ничего удивительного, если статуя Капитолийской Венеры вызывает у Иван Иваныча желание пощекотать ее, но это вина Иван Иваныча, а не статуи.

Не статую надо исправить, а нас.

И чтобы достигнуть исправления, есть один только способ: приучить нас к естественному, чтобы мы свыклись с ним и перестали видеть в нем секретное и запретное.

Надо говорить громко, ясно и спокойно о том, что до сих пор было тайной, — ясно, громко и спокойно, как Золя.

---

<sup>1</sup> «Дамское счастье» (фр.).

<sup>2</sup> «Радость жить» (фр.).

<sup>3</sup> «Добыча» (фр.).

Если очистится когда-нибудь развращенное воображение человека и он научится наконец смотреть на физическую любовь здорово и серьезно, в этом будет большая доля заслуги Золя и других ему подобных «порнографов».



В «Южном обозрении» г-н Ar-Nold и некий «член общества драматических писателей» выражают недоумение.

Почему Литературно-артистическому обществу захотелось поставить «Призраки» Ибсена и «Тайны души» Метерлинка?

Г-н «член Общества драматических писателей» сулит этим пьесам верный провал.

Г-н Ar-Nold тоже. И объясняет так:

Эти пьесы никогда еще не шли в Одессе. Как же с ними справятся, да еще любители?

Г-н Ar-Nold так хорошо осведомлен, что уже теперь знает, какие пьесы будут поставлены на сцене клуба.

Отчего же он не осведомлен относительно краеугольного принципа всей этой драматической затеи:

— Не ставить ничего, что было бы уже знакомо одесской публике по другим сценам?

Повторяю: общество и его сцена не должны конкурировать с театрами — это не в нашей силе и не в наших интересах.

Если бы «Призраки» шли уже в Одессе (кстати, они не шли еще нигде в России), то не было бы смысла ставить их на сцене клуба.

Трудно провести такую пьесу с любителями? Это правда.

Но у общества есть и долго еще будут только любители. А трудна всякая стильная пьеса.

И относительно того, что предстоит масса трудностей, меньше всего сомневаются, вероятно, сами организаторы драматической секции.

Но, господа критики, имейте же терпение. Вы будете считать цыплят по осени.

Нехорошо сразу, еще до рождения, накидываться на новое дело со зловещими предсказаниями:

— Где вам! Провалите!

Погодите. Когда они провалят, вот тогда вы и заговорите.

Дайте людям работать — советуйте, если угодно, но не начинайте заранее шикать...

Впрочем, нет сомнения, что эти свистки передним числом еще не раз повторятся.

Еще не раз добрые люди будут по-дружески советовать обществу забыть о Шницлере, а поставить лучше «Горе от ума».

И очень возможно, что первые шаги общества не будут иметь успеха.

У неуспеха бывают две причины: собственная вина и непонимание публики.

Организаторы драматической секции должны считаться только с первой из них.

Требовать от себя всего того совершенства, которое достижимо при наличных силах.

И не обращать внимания на «мнения» публики, привыкшей к сумбатовскому стилю.

Потому что эта сцена только тогда может со смыслом существовать, когда она даст что-нибудь свое, новое.

От этой точки зрения организаторы не должны и, надеюсь, не будут уклоняться, несмотря на все добрые советы и материнские предостережения почтенных поклонников комедии «Горе от ума».

**Altalena**

*Одесские новости. 28.09.1902*



## **Вскользь**

Товариществу южнорусских художников минуло тринадцать лет.

В старину тринадцать считалось роковой цифрой.

Мы теперь не суеверны.

Для нас теперь тринадцать лет — это только представление о возрасте.

Для человека — это очень юно. Слишком юно.

Для товарищества — это много. Очень много.

В наш век что такое — слово «товарищ»? Звук пустейший из пустых! Эфемернейшее из эфемерных слов.

А еще хуже с производным от этого словом — с «товариществом».

Когда при серьезном человеке говорят о товариществе, серьезный человек даже плечами не удостоит пожать.

— Не дал бы я им и ста рублей под вексель! — думает серьезный человек.

Иногда он иронически спрашивает:

— Сколько недель оно существует? Го-од?! Товарищество — и вдруг целый год? Странно... Обыкновенно они лопаются уже на пятое воскресенье. А то вдруг год! Ужасно медленное товарищество.

Да, тринадцать лет для товарищества — это хороший возраст.

Это, конечно, еще юность, но хорошая, расцветшая юность, полная сил и надежд.

Я обходил залы выставки и думал про себя:

— Тринадцать лет — да еще в провинции!

В самом деле, добрый и благородный пример подают южно-русские художники своим если не братьям, то «кузенам» по профессии — певцам, актерам, писателям.

Те всегда дезертируют.

Едва станут на ноги, едва расправят крылья — уже только и мечтают, что о столице.

И сияют, когда их грезы услышит небо и закрепостит их наконец при казенной сцене с надеждой на полторы роли в сезон.

Или пристроят их при столичной газете на ампула составителя отдела «Смесь».

И тогда они довольны: они могут тратить на столичную «Смесь» и на полторы казенных роли тот талант, который у себя в провинции могли бы применить в качестве видных актеров или руководящих публицистов.

Группа художников, образовавшая тринадцать лет тому назад южнорусское товарищество, поступила иначе.

Есть в этой группе таланты, которые с честью заняли бы большие места в столице — да и занимают их на выставках передвижников.

Но они остались верны нашему югу и остались прежде всего южнорусскими художниками и верными товарищами южнорусского товарищества.

По справедливости — честь им за это и слава.

Тринадцатый год уже они пионируют свое искусство в Одессе.

Потому что в Одессе живопись надо пионировать.

Говорят, когда-то наш город был очень «театральным» городом. Может быть, тогда же он был и художественным городом.

«Мы все это изменили».

За последние несколько паскудных пятилетий вся Россия одичала, а Одесса в этом отношении пошла во главе.

Теперь все надо заново «насаждать», все надо пионировать — и драму, и картину.

Одессит очень холоден к картине.

Вы ему говорите:

— Как это прекрасно!

Он отвечает:

— Ничего особенного. Нарисовано «себе» — и только.

Передвижники одно время даже закаялись привозить сюда свои выставки.

И в этой обстановке южнорусское товарищество стойко и победоносно борется уже тринадцать лет.

Нельзя не желать ему и дальнейших побед и успехов, потому что победа этого товарищества будет нашим собственным успехом, составит новый шаг вперед нашей публики...

Я еще не успел подробно ознакомиться с выставкой.

Войдя, я сразу остановился перед одной картиной и простоял полчаса.

Потом я наскоро и рассеянно обежал другие залы, вернулся к той же картине и опять простоял полчаса.

Больше у меня времени не было.

Поэтому подробный отчет начну в ближайший раз.

А сегодня — только о той одной картине, перед которой я простоял полчаса и полчаса.

Это — «Сирень» г-на Костанди.

Сирень богато расцвела в монастырском саду.

Полосы света — с изумительно переданными огненными оттенками заката — пробегают по ней.

На скамье сидит молодой монах.

Лица не видно: монах опустил голову на руки.

Из-под высокой шапки падают длинные золотые волосы.

Монах и сирень: об остальном я пока забываю. Все в этой картине прекрасно, но об остальном — в другой раз.

Сирень в полном цвету. Это значит — ранняя весна.

И весна разлита в воздухе, в окраске и неба, и земли.

И монах молод, как сирень. Червонное золото его волос так же свежо и пышно, как лиловые пятна сирени.

Но сирень цветет навстречу жизни, а у человека с золотыми волосами ничего нет впереди.

Это — простая, несложная тема.

Но она не просто рассказана или написана — она на этой картине как будто спета хорощим, в душу идущим голосом.

Мало сказать: вы поймете из этой картины, о чем думает монах.

Не «поймете», о чем он думает, но сами, если взгляните в это полотно, почувствуете ту же скорбь о жизни, которая ушла или уходит, как вода из горсти...

**Altalena**

*Одесские новости. 29.09.1902*



## **Вскользь**

«Монна Ванна» Метерлинка — это шедевр новейшей драматической литературы.

Укажите мне пьесу, где красивее и полнее была бы нарисована пропасть, отделяющая людей высшего сорта от людей низшего сорта.

Людей, в душе которых в лучшие минуты говорит возвышенное Божество, и людей, живущих на земле и землею.

И так как это существование двух сортов людей есть один из захватывающих вопросов наших дней, то укажите мне пьесу, где гармоничнее и естественнее было бы слияние исторической правдивости с современностью содержания.

И «Монна Ванна» не имеет успеха в Петербурге у госпожи Яворской и в Киеве у товарищества бывших соловцовцев.

О Петербурге говорить много, собственно, не стоит. Во-первых, г-жа Яворская; во-вторых, петербургская публика.

Весьма прекрасная публика, это само собой понятно, но чрезвычайно тугая на счет всякой оригинальности.

В Петербурге очень уж привыкли понимать слово «сценичность» в арифметическом смысле.

Если в акте хоть 25 явлений, тогда он сценичен; если всего пять явлений, тогда, извините, будут шикать.

Но Киев, живой, чуткий, отзывчивый Киев! В чем дело? Как в этом городе могла провалиться «Монна Ванна»?

В театре собралась вся лучшая интеллигенция города. Большинство, если не все, должны были уже прочесть пьесу в «Мире Божиим». Ожидание было большое и, думаю, не злонамеренное ожидание, потому что если бы в чтении драма Метерлинка



показалась скучной, столько людей не пошли бы в театр вторично скучать.

Значит, причину неуспеха надо искать в исполнении.

Сведений об игре исполнителей у меня пока нет.

Мне пока известны только мелочи — совершенно внешние и маловажные детали.

Но иногда мелочи бывают очень многозначительны. Иногда по ним можно воссоздать целое.

Попробуем же сделать какой-нибудь вывод из тех мелочей, которые у нас под рукою.

Они относятся к исполнительнице заглавной роли — г-же Строевой-Сокольской.

Вот они:

Во-первых, в первом акте г-жа Строева-Сокольская явилась в большом декольте.

Во-вторых, во втором акте г-жа Строева-Сокольская надела плащ с разрезом, открывавшим левую ногу выше колена.

В-третьих, в третьем акте г-жа Строева-Сокольская сделала купюру.

У Метерлинка монна Ванна говорит:

— Люди не верят правде, им нужна ложь.

Г-жа Строева-Сокольская эту фразу, за незначительностью, выпустила.

Мелочи, господа, но хорошие, ценные мелочи.

— Что такое монна Ванна? Это роза, но еще тесно сжимающая свои лепестки в строго закрытый бутон; это — пламя, но еще глубоко спрятанное под белым пеплом; это — молния, но еще спящая в белом облачке.

Только в конце третьего акта молния разряжается, и роза расцветает, но до финального момента монна Ванна — это Лукреция, это даже сама Веста, брошенная судьбою в объятия чужого человека, но хранящая свою строгую неприкосновенную внутреннюю чистоту.

Читатель, конечно, не оскорбит меня подозрением, будто я морализирую и восстаю против декольте и разрезов *an sich*<sup>1</sup>.

Но я думаю, что навязать монне Ванне декольте — значит не понять ее характера.

Потому что мода эпохи вовсе не требовала открытых платьев: тогда, в конце XV века, напротив, предпочитали тесно собирать воротник у шеи.

---

<sup>1</sup> Здесь: самих по себе (*нем.*).

Но разрез на плаще!

Дорого бы я дал, чтобы знать, что именно думала г-жа Строева-Сокольская, заказывая своей портнихе такой плащ.

Может быть, она рассуждала так:

— У монны Ванны были только такие плащи, а так как свидание было назначено на ту ночь, то заказать новый времени не хватило?

Pardon! Тогда монна Ванна купила бы готовый, только без разреза.

Денег не было?

Pardon! Монна Ванна могла бы взять даром из любой лавки. Всякий торговец с радостью одолжил бы ей, спасительнице города, даже десять плащей, особенно на одну ночь.

Странно, очень странно, что у монны Ванны не нашлось цельного плаща для такой прогулки...

А лучше всего — купюра.

Ведь на том вся драма и построена, что монна Ванна, Принцивалле и старый философ Марко видят ту высокую правду, для которой Гвидо и пизанские мещане еще слепы.

— Люди не поймут правды — им нужна ложь!

Это открытие ведь и создает новую монну Ванну! Оно ведь и сметает белый пепел с ее души и открывает затаенное внутри пламя!

Выбросить эту фразу! Или даже по рассеянности пропустить эту центральную фразу!..

Нет никакого сомнения: г-жа Строева-Сокольская не поняла роли.

Я не знаю, что сделали из своих ролей ее партнеры (и, между нами говоря, тоже «сумневаюсь, штоп...»), но и самые удачные исполнители не спасли бы пьесы, когда центральная роль, выражаясь по-дантовски, «пустовала перед лицом Божиим».

Эта чудная драма скоро пойдет в Одессе.

Мы надеемся, что здешние исполнители из петербургского и киевского примеров не выведут никаких зловещих заключений, а выведут только то, что для постановки шедевра нужна вдумчивая и проникновенная работа артистов-интеллигентов.

Труппа, гостящая у нас, вообще производит особенно интеллигентное впечатление; в частности, именно те исполнители, которые, вероятно, намечены для «Монны Ванны», — г-жа Пас-

халова и господа Соколовский, Павленков и Дара-Владимиров — кажутся мне, без сомнения, способными вдуматься в предстоящие им роли.

Если Одесса реабилитирует «Монну Ванну» в России, это принесет столько же чести самой Одессе, сколько и исполнителям.

**Altalena**

*Одесские новости. 1.10.1902*



## **Вскользь**

Между тем как вокруг нас два десятка человек весело шумели и звенели бокалами и вилками, и мы оба — один художник и я — тоже пили и ели, этот художник успел рассказать мне коротенькую историю без начала и конца.

Это была очень простая историйка, проще пальца, самая дюжинная обыденщина, и даже не такая печальная, как можно подумать.

Но мелодия часто зависит от аккомпанемента.

В этом случае был исключительный аккомпанемент — веселый гул товарищеской пирушки, и на фоне его рассказ художника принял какой-то особенно красивый и грустный оттенок и таким запал мне в душу, так что я должен передать вам эту историю.

«Однажды в Париже, — говорил художник, — я и один мой приятель купили две дюжины устриц, потому что они тогда стоили дешево, и пошли закусывать к третьему приятелю.

Смеркалось уже, и по тротуарам шли модисточки, возвращавшиеся из мастерских.

Две из них, проходя мимо нас, улыбнулись и сказали:

— ...charmant<sup>1</sup>...

Тогда я подмигнул приятелю и прибавил:

— Тут можно.

А приятель ответил:

— Да, кажется, можно.

И мы сказали барышням:

— Позвольте проводить вас?

Они позволили.

Я взял под руку одну, приятель взял под руку другую.

---

<sup>1</sup> Здесь: очень мил (*фр.*).

Я спросил:

— Как ваше имя?

Она ответила:

— Jacqueline. Сделайте мне подарок!

— Охотно, — сказал я, — если это окажется мне по средствам. Что вам угодно?

— Подарите мне устрицу. Одну устрицу.

Я засмеялся:

— Какой странный подарок! Зачем вам устрица?

— Потому что я еще сегодня не ужинала и моя подруга тоже.

Тогда я сказал приятелю по-русски:

— Пригласим их ужинать?

И приятель ответил:

— Хорошо.

Мы купили еще колбасы, коробочку сардин, препараты Маджи для супа и бутылку вина.

Потом мы подошли к дому третьего приятеля и свистнули условным свистом; он выглянул.

— Можно к тебе с дамами? — спросил я.

— Милости просим! — ответил он.

Мы поужинали все вместе очень весело и потом проводили Jacqueline и ее подругу туда, где они жили; мы от них ничего не потребовали и ничего не получили и через день забыли о них.

Я уехал в Россию и вернулся в Париж.

Я стоял в сумерки в аллее Люксембургского сада, и вдруг кто-то сзади закрыл мне глаза и закричал:

— Угадайте!

Я сказал:

— Лулу?

— Нет.

— Роза?

— Нет.

— Тогда я не знаю.

Она сняла руки. Это была очень элегантная важная дама.

— Вы меня не узнаете?

— Нет.

— А я — Jacqueline.

— А!

Я ей очень обрадовался.

— У меня теперь англичанин, — рассказала мне она, — он мне дает кучу денег. А где ваши друзья?

Она велела мне сесть в ее карету, и мы заехали сначала за одним приятелем, а затем за другим, и потом она повезла нас троих в ресторан пить кофе и не допустила нас заплатить за него; положим, у нас не было тогда денег.

После того я проводил ее домой.

Утром я ушел; а там опять съездил в Россию и опять возвратился в Париж.

В одну дождливую скверную ночь я шел один, без зонтика и без калош, по какой-то пустынной улице.

У окна небольшого кафе стояла на цыпочках фигура, старавшаяся, очевидно, заглянуть вовнутрь, потому что окна до половины были завешены.

— Помогите мне подняться, — попросила она.

Я помог ей подняться, и, когда лицо осветилось, я узнал Jacqueline.

— Jacqueline, — сказал я, — как вы поживаете?

— Мой англичанин уехал и не пишет, — отвечала она.

— А зачем вы заглядываете в окна кафе?

— У меня здесь свидание.

— Почему же вы не входите?

— У меня нет трех су, чтобы заплатить за чашку кофе.

Я дал ей три су, она сказала „тегсі“ и скользнула в кафе; я стряхнул воду с полей затвердевшей шляпы, съежился и ушел».

*Altalena*

*Одесские новости. 3.10.1902*



## **Вскользь**

### **ВСЕ-ТАКИ О ГОСПОДИНЕ ДМИТРИЕВЕ**

Эта история с г-ном Дмитриевым — очень печальная история.

Поднять так на смех городскую думу!

Человек строит городскую больницу без ведома отцов города — хотя на городские деньги — и мечтает преподнести им новенькое здание в виде сюрприза.

Никогда еще престиж городского самоуправления не терпел такого срама.

Гласный Драго совершенно прав в этом отношении.

Но когда гласный Драго из этого делает вывод, что виноват г-н Дмитриев — тогда он совершенно неправ.

Г-н Дмитриев не может быть виноват.

Потому что в этом случае г-н Дмитриев не личность, а факт, явление — яркий факт и выдающееся многозначительное явление.

Явление не может быть виновато.

У явления не может быть вины — у него может быть только причина.

Перед нами феномен: встает человек и начинает работать на пользу города и при этом не спрашивает и не слушается представителей города.

И нужно выяснить причину сего феномена: почему это человек, искренно желающий работать для пользы города, искренно не желает спрашивать и слушаться его представителей?

Вот что нужно выяснить и что даже не очень трудно выяснить, и даже совсем не нужно выяснять, ибо оно и без того ясно.

И так как я уже раз говорил об этом подробно, то теперь только напомним коротко и категорически:

Наша одесская дума ничего не делает.

Наша одесская дума ничего не дает делать.

С ней работать нельзя.

Работать можно — увы! — только помимо нее и ей наперекор.

Это — твердое убеждение большой массы населения. И никакими антимоциями этого убеждения вы у нас из головы не выбьете.

Потому что у нас есть глаза.

— Ознакомившись с историей дела, — сказал г-н Дмитриев, — я вижу, что в течение 33 лет мы все время из периода разговоров не выходили. Я могу сказать, что еще 33 года прошли бы, и вопрос остался бы в том же положении.

Г-на Дмитриева раскритиковали. Г-ну Дмитриеву возражали. Его разнесли в пух и прах, но...

Но никто не осмелился возразить против этого утверждения:

— Что дума 33 года разговаривала и еще 33 года могла бы разговаривать.

Потому что это правда. Потому что это не личность сказала — это факт заговорил.

И против факта ни у кого не хватило духу спорить.

Я даже думаю, никому не пришло в голову спорить.

Мы все ведь к этому так привыкли — кто же не знает или сомневается, что дума 33 года разговаривала и может еще 33 года разговаривать?

О, они вовсе этого не отрицали.

Они только настаивали:

— *Quand m'êте!*<sup>1</sup> Если дума бездействует — это не ваше дело. Повинуйтесь! Престиж самоуправления прежде всего!

Ах, я тоже согласен, что престиж самоуправления — прежде всего.

И мне ужасно больно, что наша одесская дума «33 года» подряд подрывает этот престиж самоуправления.

Вовсе не г-н Дмитриев. Один человек не может повредить престижу выборного учреждения.

Но когда это выборное учреждение, как Илья Муромец, тридцать лет и три года подряд ничего не делает (ибо я в микроскоп не смотрю), когда о самых насущных нуждах населения, о самых громких его воплях годами даже разговора не поднимают на думских сессиях, — вот когда подрывается престиж.

Безвозвратно подрывается!

Против г-на Дмитриева выдвинули жупел.

— Ах! Теперь пересматривается городовое положение, а г-н Дмитриев у нас как раз теперь *de facto*<sup>2</sup> упразднил думу. Ну, вдруг возьмут и скажут: раз дума у вас уже упразднена *de facto*, нам остается только прихлопнуть ее *de jure*<sup>3</sup>... Ах!

Сама истина здесь говорила устами гласного Драго!

Дума в Одессе действительно упразднена *de facto*.

Но не г-н Дмитриев упразднил думу. Это даже ему не по силам.

Она просто сама себя упразднила.

Ибо когда у вас есть рука и она не работает, то разве не все равно, как если бы у вас совсем не было этой руки?

И если придет человек и станет работать на вас вместо вашей бездействующей руки, то разве можно будет сказать, что он упразднил вашу руку?

Она сама праздная.

Он только подчеркнул эту праздность: вот в чем дело, и вот за что господа гласные так сердиты на г-на Дмитриева.

---

<sup>1</sup> Пусть так! (*фр.*).

<sup>2</sup> Фактически (*лат.*).

<sup>3</sup> Юридически (*лат.*).

Вовсе не г-н Дмитриев играет на руку тем, которые хотели бы передать думское управление в невыборные руки.

Наша дума играет им на руку.

Я прочитал недавно в газете характерную заметку.

«В марте 1901 г. (!) домовладельцы района северной части Молдаванки подали в гор. думу прошение о переводе Толкучего рынка... а на очищенной территории... разбить сквер. Имея в виду, что ходатайству этому до настоящего времени не дано никакого движения, домовладельцы обратились с просьбой к администрации о *понуждении*...»

Администрация, «приняв во внимание *важность* возбужденного вопроса, препроводила прошение городскому голове с предложением внести таковое на обсуждение гор. думы в одно из ближайших ее заседаний».

— Mein Liebchen, was willst du noch mehr<sup>1</sup>?

Я не понимаю, зачем еще тут г-н Дмитриев понадобился. И без него уже хорошо.

И без него *важные* прошения лежат под сукном *без всякого движения* с марта 1901 г. по септемврию<sup>2</sup> 1902 г., так что приходится «препровождать».

Пусть наша дума вообще поменьше говорит о престиже городского самоуправления и об авторитетности решений думской коллегии.

Знаем мы! Помним! Чья бы ни кричала, господа, а уж ваша бы молчала...

Хорошо это все выходит у гласного Драго:

— «Необходимо, чтобы дума определенно потребовала исполнения своих желаний»...

Pardon. У нашей думы никогда не было никаких желаний.

Это у населения и у прессы были желания — но в думу они не проникали.

По крайней мере, она их никогда не обнаруживала.

Кстати — о слове «обнаружила».

Знаете, как стало известно, что г-н Дмитриев все-таки строит больницу?

Это «обнаружила» ревизионная комиссия.

Понимаете?

Человек успел построить ровно на десять тысяч рублей, — и только ревизионная комиссия это «обнаружила».

---

<sup>1</sup> Любимая, чего еще ты хочешь? (нем.).

<sup>2</sup> Сентябрь (церковнослав.).



Этакое открытие Америки.

Можно подумать, что г-н Дмитриев у себя в кармане строил больницу, так что с улицы не было видно.

«Ограда на треть версты, — говорит г-н Масленников, — а они этого не знали, пока ревизионная комиссия не обнаружила»...

После этого я понимаю вопрос гласного Белоусова:

— «Что же нам тогда делать здесь, для чего мы здесь сидим?»

That is the question<sup>1</sup>.

Я тоже не знаю.

Знаю только, что феномен г-на Дмитриева с его своеволием — очень прискорбный феномен, но виноват не феномен, а среда, вызвавшая его появление.

И на глубокомысленный вопрос гласного Белоусова я могу только за себя и за многих других граждан ответить одно:

— Господа! Да не пропадет для вас этот урок. Или делайте дело, или не извольте утруждать себя и расходитесь по домам.

**Altalena**

*Одесские новости. 6.10.1902*



## **Мирра Лохвицкая**

### **Читано в Литературно-артистическом обществе**

В той части русской журналистики, которая считается руководящей, принято неодобительно относиться к г-же Лохвицкой.

Ее упрекают за фривольность тем. Находят, что ее стихи неприличны.

И по этому поводу, как принято, морализируют. Говорят:

— Зачем вы это делаете? Нехорошо!

Во всем этом — одно маленькое недоразумение и одна большая ошибка.

Недоразумение в том, что г-жа Лохвицкая напечатала три книги стихов: в этих трех книгах 500 страниц, и на них едва ли наберется два десятка стихотворений указанного содержания.

Так что тем хуже для моралистов, если они выловили именно *эти* два десятка и из-за *этих* двух десятков ничего другого не видят.

<sup>1</sup> «Вот в чем вопрос» (англ.) — цитата из трагедии У. Шекспира «Гамлет».

А большая ошибка — основная ошибка — в том, что морализировать по поводу литературных явлений и несправедливо, и неразумно.

Нельзя укорять поэта:

— Зачем вы это написали?

Можно только (если перед нами не простой ремесленный стихотвор, а истинно талантливый поэт, «Божией милостью поэт»), можно только задать себе вопрос:

— Почему это писалось?

Г-жа Лохвицкая — истинный поэт. Таланта в ней не отрицают даже ее журнальные прокуроры. Да и надо быть слепым, чтобы не видеть в каждой ее строке — искры Божией.

Значит — остается выяснить:

— Почему это писалось?

Истинный поэт роковым образом должен быть порождением своей эпохи. Он не покупает своих струн в лавочке — жизнь их сама подает ему.

У госпожи Лохвицкой — одна только струна: чувство любви, взятое само по себе. Я, безусловно, отрицаю, чтобы ее творчество заслуживало тех гадких эпитетов, которые часто проносят по ее адресу, — сальность, скабрзность.

Это неправда: г-жа Лохвицкая всегда сохраняет чисто женственное мягкое благородство образов и выражений, но все-таки творчество госпожи Лохвицкой односторонне.

Спрашивается, что именно в современной русской жизни создает это одностороннее творчество? Из какой стороны общественного настроения возникает *такая* поэзия?

Есть у госпожи Лохвицкой одно небольшое стихотворение:

*И ветра стон... и шепот мрачных гум...  
И жить отрады нет —  
А где-то зной, и моря тихий шум,  
И солнца яркий свет!  
Гудит метель и множит в сердце гнет  
Невыплаканных слез —  
А где-то мирт, зеленый мирт растет  
И кущи белых роз!  
Проходит жизнь в мечтаньях об ином,  
Ничтожна и пуста —  
А где-то смех, и счастье бьет ключом,  
И блеск, и красота!*

Я вижу в этом стихотворении бессознательное profession de foi<sup>1</sup> госпожи Лохвицкой.

Наша жизнь тосклива, ничтожна и пуста, и жить отрады нет. И хочется смеха, красоты, яркого солнечного света — а где они?

«Где-то».

Слишком хорошо знакомо всем нам это настроение.

В последние годы не стало живой души, которая не знала бы тоски жизни.

На ней построены новые храмы русской литературы.

Русская литература теперь звучит одним желанием — избыть эту тоску.

Даже Чехов, который как будто бы купается в тоске и как будто бы правдиво рисует ее, на самом деле тоже старается уйти от нее, потому что у него тоска жизни выходит так красива, трогательна, музыкальна, а в действительности она скучна и безобразна.

Чехов дает правду, но освещает ее бенгальскими огнями.

Горький, чтобы уйти от жизни, которая «ничтожна и пуста», рассказал нам несколько чудных небылиц о каких-то иных людях.

Он будто бы повел нас под эстакаду; а на самом деле это ложь, потому что под эстакадой валяются дряблые люди, которые вовсе не похожи на людей Горького.

Всякому тошно от жизни, и всякий мечтает о «блеске и красоте», которые «где-то».

Г-жа Лохвицкая нашла свое «где-то» — в любви.

Это — тоже ложь. Любовь тоже совсем не так красива и обаятельна, как пишет г-жа Лохвицкая.

Г-жа Лохвицкая тоже, как Горький и Чехов, обманывает и обманывается.

Но ведь нужно же чем-нибудь обмануть и обмануться.

Жизнь такова, что надо же хоть в выдумке, да позабыться: мы не можем жить без минут забвения.

Нашим серым будням нужны праздники, и так как это пока не могут быть праздники возрождения, пусть это будут праздники забвения.

И «Праздник забвения» — это заглавие одной из характернейших поэм госпожи Лохвицкой.

---

<sup>1</sup> Кредо, символ веры (*фр.*).

Под средневековой одеждой — современные слова:

*О, как бесцветна жизнь моя!  
С утра одна томлюся я  
От одиночества и скуки...*

День за днем идут монотонно — «пустые радости так редки».

*Случайный гость заглянет в дом  
Иль вечеринка у соседки...*

Женщина тоскует:

*Я изнываю... Солнца! Света!  
Но нет исхода... Нет ответа!*

И вот смелая подруга Инеса зовет героиню с собой на «праздник забвения» — на таинственную грешную оргию «нездешних утех».

Они проводят ночь в «собрании странном», где сам сатана играет для своих поклонников на арфе, вызывая вопли и рыдания, и где вопли и рыдания заканчиваются диким разгулом.

Утром эта женщина *опять* у себя дома, но —

*Я не помню — когда и не знаю — зачем  
Я очнулась в юголи земной,  
И весь мир мне казался безлюден и нем —  
Мне, вкусившей от жизни иной...*

И всю жизнь она будет помнить об этой ночи, которая, может быть, и не была, а только приснилась или пригрезилась ей...

Я думаю, что не только вся поэзия госпожи Лохвицкой, но вообще все типичное творчество наших дней, подчиняющее действительность лжи, как будто в утешение нам, утомленным действительностью, я думаю, что ко всей этой школе подошло бы одно общее заглавие:

«Праздник забвения».

**Altalena**

*Одесские новости. 8.10.1902*



## Вскользь

### ХУЖЕ ИУДЫ

Г-н Скриба пишет, что г-н Мережковский затеял пересмотр дела Иуды-предателя.

Интересное известие.

Сама по себе эта затея — совсем не глупая. Для историка-психолога очень любопытно выяснить, что за тип был Иуда Искаротский.

Этот характер вовсе не так прост и ясен, как мы привыкли думать.

Мы привыкли думать: подлец, предатель — и только.

Но если так, то почему же он попал в число двенадцати избранных учеников?

Будь апостолов сотня, среди них легко мог затесаться дурной человек, но двенадцать — это семья, где все друг друга знают; в такую семью могли вступать только отборные.

Значит, и Иуда был отборный, выдающийся человек.

Тогда его предательство, да еще за деньги, за такие малые деньги, представляется загадкой.

Разрешить ее — очень важно для проникательного историка-сердцевода.

По силам ли это г-ну Мережковскому — другой, конечно, вопрос, которого разбирать не буду.

Не буду и подражать г-ну Мережковскому, затеявая «пересмотр дела Иуды» в том смысле, чтобы установить степень вины Искаротского предателя.

Но давно уже мне хотелось пересмотреть его дело в другом смысле.

Ибо все, от отцов церкви до Данте и от Данте до Щедрина, всегда считали Иуду худшим из преступников.

А это, может быть, неверно.

Может быть, есть деяния хуже деяния Иуды Искарота.

Для Иуды это небольшое облегчение — оказаться не последним, а предпоследним из людей.

Но это все-таки справедливость, а справедливость должна быть воздана.



Пред сном Понтий Пилат вышел на террасу своего дворца, чтобы подышать свежим воздухом.

Понтий Пилат всегда перед тем, как лечь спать, выходил подышать свежим воздухом: это укрепляло сон и поддерживало цвет лица.

Ночь была весьма приятная. Воздух чистый, прохладный; сверх того, луна светила очень красиво.

Понтий Пилат стоял у мраморных перил террасы, глядел на блестящую площадь с черными, как уголь, краями и был прекрасно настроен.

Через ровные промежутки времени по площади браво шагал дворцовый стражник, и Пилат любовался его молодцеватостью и говорил себе:

— Да, Рим не Иудея.

Вдруг из черной тени, окружавшей площадь, вырвалась женская фигура.

Она с головою была закутана в покрывало, но видно было, что голова низко поникла и поступь была нетвердая.

Так как Понтий Пилат ничего не имел против того, чтобы развлечь свое внимание, он проследил глазами за фигурой и отметил, что она очень стройна.

Женщина дошла до середины площади и остановилась.

Голова ее под покрывалом поднялась; что-то похожее на стон провевало по площади.

— О, — подумал Понтий Пилат, — я уже достаточно времени провел на свежем воздухе. Я могу идти спать.

И он поднялся. Но тросточка, лежавшая у него на коленях, при этом упала, и ее золотая ручка вызвала звон из мраморной плиты.

Понтий Пилат наклонился за тросточкой, а когда он выпрямился, женщина была уже в нескольких шагах от террасы и смотрела ему прямо в лицо прекрасными глазами.

— Ты отдыхаешь, правитель, — сказала она по-гречески, и голос был сдавленный, точно сильное волнение или злоба мешали ему свободно выходить из гортани.

Понтий Пилат улыбнулся.

— Мир с тобой, женщина, — сказал он, — откуда ты родом?

— Я из Магдала. Зачем тебе, правитель?

— Ты так странно выговариваешь греческие слова, — ответил Понтий Пилат, — но ничего, твой акцент не похож на здешний — он даже приятен. К тому же у тебя красивый голос, очень красивый голос. Мир с тобой, иди спать: в этот час следует уже спать.

Женщина подошла ближе и проговорила такие слова:

— Пилат, будь проклят.

Понтий Пилат был ошеломлен. Это его изумило и сразу испортило ему настроение. У еврейки были очень большие глаза, и Понтий Пилат сейчас же подумал о дурном глазе.

— Будь трижды проклят, — говорила женщина. — Ты казнил лютой смертью Мессию нашего народа.

Понтий Пилат успокоился.

— А, — протянул он, — ты тоже из поклонниц этого философа? Да, это печальная история. Мне все это очень больно. Однако ты ошибаешься: не я его казнил. Я только исполнил желание народа. Им так хотелось!

— А ты им его отдал, — подсказала женщина из Магдала; она сказала это негромко, но в ее тихих словах угадывалось хрипение злобы.

Понтий Пилат нахмурился.

— Ты странно рассуждаешь, — ответил он. — Я, во-первых, не умею разговаривать с этим народом. Я не хочу сказать ничего дурного о твоих соотечественниках, но они не в моем вкусе. А во-вторых, я не желаю с ними ссориться. У меня жена и дети, мое имение в долгах, и если меня выживут отсюда, это будет для меня очень невыгодно. Мне усиленно советовали избегать резких недоразумений с населением этой провинции. Если бы не такое положение дела, тогда, конечно... Потому что этот Человек мне очень понравился. В Его учении я вижу большую философскую глубину и даже много поэзии; я сам сочувствую многим из Его идей...

Тут Понтий Пилат вдруг сообразил, что не было, собственно, никакой причины ему так много разговаривать с этой женщиной из Магдала; кроме того, было уже поздно. И он хотел уже кивнуть ей прощальным кивком, когда она внезапно рассмеялась и смеялась так долго, что Понтий Пилат встревожился.

— Так ты Ему сочувствуешь? — спросила она, преодолевая свой трепетный смех.

— Я этого не скрываю, — холодно и с достоинством ответил Понтий Пилат, — я вслух перед всей толпой сказал о Нем: «Се Человек». И я даже думаю, что в имени, которое Ему дали — Сын Божий, — есть своя доля символической правды.

Тогда женщина крикнула:

— Исполать тебе, сочувствующий!

Она так громко крикнула, что Понтий Пилат даже вздрогнул; а она подошла совсем близко к террасе и, подняв кверху лицо с горящими глазами, продолжала страстно и гневно:

— Ты Ему сочувствовал, ты считал Его Сыном Божиим, ты сказал о Нем «се Человек», а когда они на Него напали, ты побоялся защитить Его, потому что у тебя жена и дети? Исполать тебе, сочувствующий! А слышал ли ты имя Иуды Искарриота?

Понтий Пилат наморщил лоб и добросовестно порылся в своей памяти.

— Право, не слышал, — ответил он.

— Иуда Искарриот был из учеников его и предал его врагам за тридцать серебряных монет. Запомни это имя, правитель: Иуда Искарриот!

— О! — сказал Понтий Пилат, — как это гнусно! Я всегда страдаю от того, что нам, властям, волей-неволей приходится пользоваться услугами предателей. Ибо нет человека хуже предателя.

Тогда женщина из Магдала еще раз засмеялась.

— Вот как? — спросила она. — А ведь он простил Иуду Искарриота. Умирая, он простил всем врагам своим, а так как Иуда — злейший из врагов его, то Иуде он больше всех простил. Но знаешь ли, Пилат?..

— Что тебе, женщина? — отозвался Пилат.

— Иуда был врагом его, но ты — ты ведь не враг ему? Ты ведь сочувствующий, о правитель-судья Пилат; и когда он простил врагов своих, то не о тебе говорил он. О тебе он не говорил. Он забыл тебя, Пилат! Иуду он простил, умирая, но тебя, Пилат, тебя он забыл простить... Пилат! Пилат! Пилат!!

— Что тебе, женщина? — отозвался Пилат.

— Ты хуже Иуды.

**Altalena**

*Одесские новости. 8.10.1902*



  
**Вскользь**

От итальянского товарища министра народного просвещения.

«Рим, 16 октября.

Милостивый государь,

в ответ на ваше письмо от 13 сентября сообщаю вам точный текст тех положений регламента, которые касаются приема в итальянские университеты иностранцев, окончивших среднюю школу за границей:

Иностранцы и итальянские граждане или сыновья итальянских граждан, проживающих или проживавших обычно за границей, чтобы поступить в один из университетов королевства для получения или продолжения высшего образования должны представить документы об образовании, полученном за границей.

Признание таких документов достаточными зависит: для имматрикуляции и зачисления на 1-й курс — от философского или научного факультета; для зачисления сразу на 2-й или дальнейший курс — от того факультета, на который данное лицо желает быть зачисленным, причем факультет сам решает, на какой курс аспирант может быть принят.

*Эти нормы относятся равно к мужчинам и женщинам.*

Ваши соотечественники и соотечественницы, которые пожелают получить высшее образование в Италии, должны будут сообразоваться с вышеуказанными правилами.

В заключение нет нужды прибавлять, что они встретят в Италии, как со стороны академического начальства, так и со стороны нашего министерства, самый благожелательный прием, и что я лично буду очень рад, если случится содействовать прекрасным стремлениям этой благородной молодежи.

Примите и пр.

*Корце»*

От себя напомним, что университетский устав итальянского королевства требует от иностранцев представления тех аттестатов, которые в их собственной стране дают право на поступление в высшее учебное заведение.

Следовательно, от мужчин требуется аттестат о законченном среднем образовании; от женщин — те (мне лично не известные) условия, которые дают доступ на высшие женские курсы.

Если не в этом году, то в будущем, но немцев — каких бы то ни было: австрийских, германских, швейцарских — с их университетами пора уже оставить в покое.



Наконец, «Монна Ванна».

Сразу двойной экзамен: исполнителям и публике.

Дадут ли героиня и Принцивалле такой аккорд, чтобы на чуткого зрителя повеяло ветром той высоты, на которой они оба стоят, непостижимые для мелкого, сотнями пут опутанного мира?

Покажет ли Гвидо честную натуру бесхитростного солдата, который с молоком всосал все свое мирозерцание и не может от него отрешиться, как улитка не может уйти из своего домика?

Очарует ли нас старый Марко, весь проникнутый ароматом платоновской мысли, этот благородный портрет из галереи Возрождения, этот старец, болтливый, как дитя, чей лепет никогда не утомляет, потому что в нем открывается прекрасный и светлый дух?

И если все это будет дано, то не окажется ли наша публика ниже всего этого?

Боюсь за публику...

Метерлинк устанавливает два вида драматического диалога.

Один вид — это диалог, выясняющий фабулу.

Иван говорит:

— Пойду убить Марью.

Марья говорит:

— А я убегу!

Другой вид — это диалог, выясняющий душу.

Когда в жизни происходит драма, то не в телах главное движение, а в душах — и в этом смятении душ и должен заключаться вес драматического произведения.

Метерлинк хочет довести до минимума первый вид и дать побольше простора второму.

Чехов уже приучил нашего зрителя к диалогу душ. У Чехова это, может быть, даже смелее, чем у Метерлинка, но у Метерлинка эта черта резче и обнаженнее.

Посмотрим, что ты скажешь, непостижимая и загадочная госпожа публика...

Между прочим, в Киеве второе представление «Монны Ванны» прошло с гораздо большим успехом, чем первое.

По этому поводу мне пишут оттуда, что я напрасно обвинил г-жу Строеву-Сокольскую.

Она вовсе не не поняла, а напротив — прекрасно поняла свою роль и отлично ее провела.

Это мне пишут, а устные очевидцы говорят другое.

Очевидно, нет товарища на вкус да на цвет...



Проходишь мимо Русского театра — смотреть жалость.

Как «в доме опустелом»:

*...окна мелом*

*Забелены. Хозяйки нет.*

*А где? Бог весть...*

Антрепренер г-н Салтыков лежит больной.

Грустная это история.

Раз как-то я пошел туда на «Кармен».

Должен был петь X.

А пел Y.

Объявили, что X. заболел — но мне сказали, что X. потребовал:

— Отвалите деньги вперед.

Это оказалось невозможным.

За гастролером пошли постоянные «силы» труппы.

Первый срок был 5 октября.

За десять дней до этого срока «силы» потребовали уплаты жалованья.

— Почему?

— Боимся. У вас дела плохи.

Хороша логика. Если у тебя дела плохи, дай-ка и мы тебя прижмем.

За первачами струхнули и маленькие люди — оркестр.

— Давайте деньги до срока. Боимся. У вас дела плохи.

За что, спрашивается? Г-на Салтыкова все знали за честного человека, который своих обязательств никогда не нарушал.

Если бы не болезнь, он и тут, вероятно, нашелся бы, но пришлось слечь. И пропало дело.

Артисту тоже нужны деньги, это я понимаю.

Но надо же все-таки помнить, что театр — не лавка, а артист — не приказчик, который из-за первой денежной заминки уходит на все четыре стороны.



— Вам конверт.

Разрываю — там розовая брошюрка.

Некто О. А. Штейн (он же Елизаветин) прислал мне свои «сцены из современной жизни».

Озаглавлено: «Наши „сионисты“».

А сверху надписано: «Для отзыва».

Весьма любезно. Благодарю и охотно даю отзыв.

В книжке этой рассказано, что какие-то лица забирают у бедняков деньги будто бы для лондонского банка, а на самом деле кладут их себе в карман.

Тут же старые девы ищут себе женихов.

А шустрые молодые люди выдают себя за уполномоченных Герцзя и под этим титулом напропалую занимают деньги без отдачи.

Эти сплетни из репертуара бакалейной лавочки изложены со всей бездарностью, на которую почтенный автор способен.

Больше ничего сказать об этом опусе не имею.

**Altalena**

*Одесские новости. 11.10.1902*



## **Вскользь**

### **О «МОННЕ ВАННЕ»**

В четверг, после дождичка, здравомыслящие люди раздела-ли «Монну Ванну» под орех.

Точно излагаю обвинительный акт:

1. Психологические абсурды:

В Пизе голод, и Пиза осаждена войсками Принцивалле. Пизанцы высылают старого Марко для переговоров. Марко едет к Принцивалле, к лютому врагу пизанцев. И... заводит с ним беседу о Гомере, о Гезиоде и о Платоне.

Один абсурд.

Монна Ванна идеально чиста душою. Принцивалле заставляет ее прийти к нему в неприличном виде. После этого ей нельзя не возненавидеть Принцивалле. Вместо того она в него влюбляется.

Два абсурда.

Гвидо, муж Ванны, не может ее удержать; она уходит к Принцивалле. Гвидо остается дома рогатым и посрамленным. Отчего же он не убивает себя? Мыслимо ли, чтобы человек в его положении, да еще храбрый солдат, спокойно ждал возвращения обещанной жены и пока занимался пререканиями со своим папашей?

Три абсурда.

Монна Ванна возвращается. И народ Пизы ей рукоплещет.

Мыслимо ли это? Естественно, что чернь ей поклонялась за ее подвиг. Но за *такой* подвиг не аплодируют и не встречают ликованием. За *такой* подвиг снимают шляпы и молча пропускают героя мимо.

Четыре абсурда.

Принцивалле потребовал от монны Ванны неслыханного унижения.

Любит ли он ее или не любит, но он — дикарь и варвар. И вдруг он оказывается поклонником Платона и Аристотеля. И ведет с Ванной у себя в палатке целомудренные беседы.

Пять абсурдов...

Только пять за отсутствием времени, но оратор заметил, что эти пять еще далеко не все.

2. Недостатки изложения:

Все эти психологические нелепости изложены совершенно некрасиво, ибо длинно и скучно.

Действия нет, есть только утомительная философия на разные темы. Внутренние качества драмы Метерлинка выражаются в слове «абсурд». Внешние — в слове «скучно».

И все.

Жалею, что сегодня у меня мало места.

Иначе — я уже давно собирался разделить, как следует, Ивана Андреича Крылова.

Я бы доказал, что его моська — совершенно невыдержанный тип.

Что «Слон на воеводстве» есть чистейший психологический абсурд.

Что волк, попав на псарню, никогда бы не стал говорить таким языком.

Но нет места. Придется оставить в покое Ивана Андреича Крылова и сказать вообще:

— Нет ничего легче, как ковырять психологию. Достаточно иметь указательный палец и при нем ноготь, чтобы смело сунуть его в какую угодно психологию и блистательно расковырять ее...

Но смысла и цены в этом упражнении я, простите, не вижу.  
Чужая душа — потемки.

Нужна большая храбрость, чтобы полагать, будто мы можем ручаться, что сделает и чего не сделает такой-то человек в таком-то случае.

Этот чужой человек нежно и благоговейно говорит ей о далеком детстве.

Она в его власти, а он ее не трогает.

Он рассказывает, что любит ее с детства и любит до сих пор.

И когда она спрашивает:

— Из любви ко мне вы предаете Флоренцию?

Он говорит:

— Не хочу подкупать вас ложью, Ванна. Я все равно должен был бы стать врагом Флоренции.

Прийти к чудовищу — и вместо чудовища встретить забытого друга детских игр, по сей день верного и влюбленного, не держащего прикоснуться к руке женщины, которая в его власти, благородного и искреннего...

А господин оратор удивляется:

— Почему она его не возненавидела? Не понимаю!

У меня был в гимназии грек, который заставлял переводить *à livre ouvert*<sup>1</sup>. Я возмущался и говорил:

— Не понимаю!

А грек ставил мне кол и резонно отвечал:

— А ты, брат, поучись, тогда будешь понимать...

Абсурд третий:

— Отчего Гвидо себя не убил?

Берем текст пьесы.

Третье действие, явление первое.

Говорит Гвидо:

— ...Один человек отнял у меня Джованну. Она не моя, пока жив тот человек...

Еще в детстве фрейлейн рассказала мне, что бывают случаи, когда люди остаются жить ради мести.

Не смею рекомендовать никому взять себе снова гувернантку, но все-таки не могу опять не вспомнить резонного совета моего гимназического грека...

Абсурд четвертый:

— Отчего толпа рукоплещет монне Ванне, а не встречает ее благоговейным молчанием?

---

<sup>1</sup> С листа (*фр.*).

Действие третье, явление второе.

Монна Ванна, входя и бросаясь в объятия Марко:

— Отец мой, я счастлива!

Монна Ванна была счастлива.

— Вот она идет и улыбается, — говорит лейтенант Борсо, глядя из окна на ее шествие.

Население тоже было счастливо; но если бы Ванна вернулась с низко опущенным лицом, печальная и бледная, пизанцы не стали бы вокруг нее ликовать и вопить:

— Слава монне Ванне!

Но монна Ванна вернулась ликующая и радостная, с поднятой головой и с улыбкой на лице.

И не было никакого диссонанса в том, что ее, счастливую, счастливая, спасенная ею чернь встретила криками восторга...

Абсурд пятый:

— Несовместимые противоречия в характере Принцивалле!

Перечитайте «Братьев Карамазовых». Там Дмитрий рассказывает такую же историю. Он потребовал, чтобы невинная молоденькая девушка пришла одна к нему, занятому гуляке и распутнику, за деньгами, нужными для спасения чести ее отца.

Девушка пришла. У Дмитрия были сначала самые поганые намерения. Но, когда она пришла, он дал ей деньги, отворил двери и выпустил ее «так», даже не прикоснувшись.

Между прочим — возвращаюсь к абсурду № 2 — эта девушка потом тоже полюбила своего Принцивалле... Этакий скверный психолог был этот Достоевский.

Даже за доброго знакомого нельзя ручаться.

Иван Иванович иной раз выкинет такое, что вы сами разведете руками:

— Двадцать лет знаю человека, а этого от него не ожидал!

А вы вчера познакомились с Принцивалле и уже в пальто и в калошах устроились у него в душе. И заявляете:

— О, нет! Мой Принцивалле на это не способен.

Смелость города берет.

Я же как человек не из смелых полагаю, что никак нельзя знать, как кто когда поступит и что скажет.

И даже лень и странно распространяться на эту тему через 40 лет после того, как Писарев издевался над этим методом критики:

— Доискиваться, в меру ли отпущено каждому «типу» слов и жестов и не противоречит ли он, сохрани, Господи, самому себе?

Ужасно я люблю любоваться на эту развязность.

Сразу человек одним взором охватил все разнообразие жизни, где сто Тесеев с нитями Ариадны в руках непременно бы заблудились, а он не заблудился, и когда перед ним рисуют новый портрет, он решает:

— Таких людей нет.

Точно справка из адресного стола:

— Не значитя.

У него полный список всех обитателей мира сего под руками. Он порылся и — хлоп:

— Нет такого человека.

Жизнь создает на каждом шагу такие фантастические сочетания контрастов в одном лице, что и Шекспиру не снилось, а тут извольте:

— Тип не выдержан. Таких людей не бывает.

Упрощенное делопроизводство...

Но рассмотрим поближе этот обвинительный акт.

Абсурд первый:

— Как Марко мог беседовать с врагом своей родины о Гезиоде?

Был у меня знакомый, очень интеллигентный господин.

Вышла в банке растрата — и моего знакомого повезли к судебному следователю.

Улик было много. Моему знакомому, вероятно, так же точно хотелось оправдать себя, как Марко хотелось выручить Пизу.

Но мой приятель вдруг увидел у следователя на стене гравиюру с Беклина и засмотрелся на нее.

— Знакома вам эта картина? — спросил следователь.

— Знакома. Но я не могу понять, в чем собственно здесь выразилась «Лесная тишь»?

— Как?! — схватился следователь. — Да неужто вы не чувствуете...

— Битый час спорили! — рассказывал мне потом мой знакомый...

Абсурд второй:

Почему монна Ванна полюбила своего оскорбителя?

Ванна прикрыла свое обнаженное тело плащом и пошла на позор.



Ничего, кроме позора, она не ждала и к позору была готова беспрекословно. И вот она в палатке, во власти врага.

— Вы обнажены под этим плащом? — спрашивает он.

Она даже не отвечает, она прямо хочет сбросить плащ. Но он ее останавливает.

Она пришла, готовая к тому, чтобы чужой человек грубо наложил на нее свои грубые руки.

В чем же разница? В том, что Митька велел ей прийти в полном костюме, а Принцивалле потребовал наготы!

Это совершенно в духе той эпохи. Тогда унижение, проявление покорности со стороны женщины было неразрывно связано с понятием о нагоде.

Вспомните Теннисона. У него суровый граф требует от своей жены, леди Годивы, чтобы она проехала по всему городу верхом на коне — даже без плаща.

Это вытекало из тогдашнего взгляда на женщину. В ней ценили только тело, и символом ее покорности могло быть только обнажение как отдавание этого тела.

Но когда монна Ванна пришла и Принцивалле увидел ее, в нем вместе с воспоминаниями проснулась высшая, лучшая сторона души, чистая и отрешенная от всего животного.

Эти две стороны души — дикарски животная и платонически возвышенная — ведь это до изумительности в духе той эпохи, когда лучшие люди соединяли в себе развратный разгул с мечтательным и безнадежным поклонением Лауре, даме сердца, которую три раза в жизни видели!

А то вдруг:

— «Не понимаю...»

Нечем гордиться, откровенно говоря.

То же самое и относительно изложения «Монны Ванны».

«Длинно и скучно».

Гм... Это как кому.

Иной читатель эти чудные речи, истинные «диалоги души», точно музыку слушает. А другой говорит:

— Скучно. Философия!

Тут уж, знаете, ничего не поделаешь. Ибо одному дано, а другому не дано.

Некий тип взял у меня «Войну и мир», а потом «Преступление и наказание» и тоже вынес резолюцию:

— Скучно. Философия!

Что же я могу сказать? Ничего не могу сказать, могу только в третий раз напомнить резонный совет моего гимназического грека...

*Altalena*

*Одесские новости. 12.10.1902*



## **Вскользь**

### **I**

## **ПО ДОРОГЕ В ГРЕНЛАНДИЮ**

Херсон был, Херсон и остался.

Я посетил его целую кучу лет тому назад, но помню недурно.

Помню, что у меня там оказались две кузины, с которыми можно было ходить гулять на Суворовскую.

И что туземные гимназисты, проходя мимо нас, иронически замечали:

— Одесситы очень любят гулять с барышнями!

Или едко расшифровывали буквы «О2П», начертанные на моем гербе, таким образом:

— Одесский второй подлец.

Но я составил из их герба гораздо более едкую комбинацию и однажды, когда кузины не слышали, высказал ее вслух. С тех пор меня оставили в покое.

Помню, что по этой самой Суворовской ходили члены арестантской роты, собирали лопатами пыль, клали ее на телегу и увозили.

Помню, как я однажды сказал одному мальчику, что в Одессе на Молдаванке лучше, чем у них на Суворовской, и он нахмурился и сейчас же ушел.

Я после узнал, что у него был брат, провизор в другом конце города, и он пошел к этому брату посоветоваться, стоит ли на меня обижаться.

Провизор сказал, что не стоит, и мы остались друзьями...

Херсон остался Херсоном.

Та же захолустная внешность: идешь — ногам больно, возмешь дрожки — трясет безбожно.

И та же вражда к Одессе.

— Гадость ваша Одесса!

— Наш Херсон куда лучше.

— Вот погодите — будет у нас железная дорога — мы ж вам покажем!

— А когда у вас будет железная дорога?

— А... э... мм... скоро. В 1904 году или около этого. Но мы вам тогда покажем!

Но, по справедливости говоря, у Херсона и теперь есть что показать Одессе.

В здании публичной библиотеки помещается археологический музей, составленный В. И. Гашкевичем.

Г-н Гашкевич — редактор-издатель «Юга»; он же — губернский статистик.

Завидная энергия для нашего брата, который не то что с тремя делами сразу, но и с одним бездельем справиться не умеет.

Как справляется г-н Гашкевич со своей статистикой — не знаю, но на остальные два дела любо посмотреть.

Редакционный кружок тут маленький, но симпатичный.

Археологический музей — целиком создание В. И. Гашкевича.

Интересные раскопки, восходящие к тем временам, когда и скифов еще даже не было.

Один остров Березань дал целую комнату, преимущественно терракоты.

Тут между прочим и большие вазы, в которых хоронили детей, и найденные при этих скелетах игрушки — крохотная посуда.

В других комнатах всякие диковины: дерево, превратившееся в камень, и кольчуга, истлевшая, как дерево.

Образцовый порядок и распланировка. Видна толковая и любящая рука.

В том же здании библиотека.

Я ее не смотрел, но спросил у одного интеллигента:

— Как вы тут выживаете?

— Живем! — ответил он. — Библиотека и театр — вот что нас поддерживает.

— А хорошая библиотека?

— О! Во всех словарях упоминается. Лучшая на юге. Ваша богаче, но у нас дело хорошо поставлено, а у вас...

Я чихнул.

— А театр? — спросил я.

— А вот сами увидите.

Вечером я смотрел «Чайку».

Театр уютный. Напоминает наш Русский, но красивее и снаружи, и внутри и гораздо удобнее.

Полный сбор.

Об исполнении вот что скажу.

Господа Мейерхольд и Кошеверов, как известно, привезли сюда принципы Станиславского.

Я думаю, что с наличными средствами херсонского театра — завести настоящую «станиславщину» невозможно.

Ведь все-таки декорации дешевые и иллюзии дать не могут.

Полотно мнется и дает складки.

Стволы деревьев отрезаны от земли прямыми линиями.

Да и не только с внешней стороны: ведь и репетиций столько нельзя себе позволять в Херсоне, сколько в Москве, и уж той строгости в репертуаре здесь быть не может.

Но то, что можно было сделать, — сделано. И этого немало.

Не в пресловутых «деталях» дело.

Есть, правда, и детали, и очень похвальные: комнаты с толками, двери и окна настоящие с настоящими замками.

Но не это главное.

Главное то, что выработан ансамбль, которому и Одесса, и Киев могут позавидовать. Роли знают, господа, роли знают!

Что в исполнение внесены разнообразные живые нотки, разрушающие рутину, усиливающие впечатление правды.

Что никто — ни вторые, ни третьи, ни выходные роли — не оставлены здесь на произвол судьбы, а продуманы и введены, сколько можно, в общий тон произведения.

Благодаря всему этому прежде всего в глаза бросается одно отрицательное, но редкое и драгоценное достоинство:

Это — труппа не провинциальная.

Много ли трупп в России, которые могли бы похвалиться тем же?

Даже в больших городах нет-нет да резанет вам ухо какая-нибудь чисто любительская нотка, так что самому совестно сделается.

Здесь этого, безусловно, нет. Здесь все интересно, гладко, умно, хотя и нет, может быть, в труппе особенно блестящих талантов.

Впрочем, насколько можно судить по одному спектаклю, мне очень понравились г-жа Будкевич, сам г-н Мейерхольд...

Г-жа Мунт, игравшая Нину Заречную, очаровала меня.

Говорят, она играла ту же роль у Станиславского.

Не знаю, обучили ли ее, или в ее игре много и собственно-го, но эта грация и такая вдумчивость, которыми проникнуто исполнение госпожи Мунт, невольно вызывают искушение — взять на себя самозванно ампула пророка и предсказать молодой артистке заманчивую будущность.

Вы видите из этого, что «станиславщина» не мешает проявлению таланта.

Генералы остаются генералами, и никто у них эполет не отнимает.

Но рядовым не дают спотыкаться и брести как попало — и это прекрасно и очень важно.

Искренний привет херсонским пионерам нового театра — они взялись за свое дело умно и добросовестно.

## II

### В ГРЕНЛАНДИИ

Теперь понедельник, 10 часов вечера.

У вас в Городском театре в эту самую минуту, вероятно, идет второй антракт.

Публика гуляет по коридорам.

Мне кажется, что я ее вижу. Даже различаю своих знакомых.

Они гуляют по коридору, наступают барышням на трены и говорят:

— Виноват, мадамзель!

Счастливые!

В «Литературке» музыка в главном зале и репетиция Шницлера в какой-нибудь из боковых комнат...

Хоть бы знать, в какой именно? В правой виноградной или в левой виноградной?

Хоть бы это знать! И то легче.

Ибо все это там, у вас в Одессе.

А я сижу в пахучем номере, под моей рукой серая скатерть с дыркой и пятном, постель достойна всяческих подозрений — и вытопить забыли...

Помните Гоголя?

«Миргород есть нарочито невеликий при реке Имярек город».

То болотце, где я теперь сижу, тоже «нарочито невеликое при реке Днепре болотце».

«Нарочито невеликое». Удивительно хорошо сказано!

Ибо такую глушь, ей-богу, только «нарочито» и можно было создать.

Никогда не поверю, чтобы она сама собой создалась.

Только большой затейник мог выдумать этот портовый город.

Порт, который умещается на старой барже.

Баржу пришили ко дну — и на ней и выстроили порт.

Тут пристань, пакгаузы и портовое управление.

Вам дают достаточно времени, чтобы всем этим налюбоваться, ибо с пароходика еще не выпускают: ждут врача.

Господин из третьего класса говорит даме из третьего класса:

— А они, Манька, тебя раздевать будут!

— Ой, — ноет дама, — а я не пушусь...

— Что он вам рассказывает? — говорит сосед-еврей, пожилая плечами. — Не думает вовсе быть. На что им вас раздевать? Им не надо вас раздевать. Они вам посмотрят немножко язык и довольны.

— Взаправду?

— А что вы думаете? — подтверждает еврей.

Однако меня его слова обеспокоили.

Показать язык?

Рискованно.

Дело в том, что я на пароходе съел шницель по-венски и до селе не могу забыть о нем.

Так что мой язык... я за него не ручаюсь.

Вдруг еще сволокут в барак?

— Доктор идет.

Доктор и фельдшерица.

Доктор надевает белый халат. Страшно!

Я подхожу и про себя гадаю:

— Велит показать язык или не велит?

Вообразите: не велел.

Посмотрел только мне прямо в очки и сказал:

— Здоров!

У меня действительно недурные очки. Тот магазин, где я их купил, надо будет рекомендовать всем знакомым...

Дали мне желтый билетик с надписью: «С. И. К.» и пустили на палубу — ждать сходни.

Пассажиры третьего класса подвергают обсуждению самую целесообразность санитарии.

— Тю, — говорит один бородач, — як бы я був больной, хiba ж я б сам поихав? Зостався б у хаты з жинкою!

— А в тебе вже билет е? — спрашивают другие.

— У нас билет на Александровск, — отвечает он.

— Дурень! Другый билет, жовтый, вид доктора?

— Жовтый? На вищо мини жовтый? Пиды, видай ёго своий жинци...

Однако его уламывают. Он идет к доктору и скоро возвращается, разглядывая билет.

— Дывись яке! — говорит он. — Де я тильки не бував! У Киевский губернии був, а такого билету николаы не бачыв...

Наконец, подали сходню.

Я вступаю в порт с некоторой нерешительностью: не нырнет ли?

Однако нет. Порт, очевидно, крепко привязан и под ногой не погружается в воду.

Выхожу на твердую землю.

Кто-то перед носом у меня перехватывает извозчика.

— А других извозчиков нет?

— Как нет? Есть. Вон они. Как это можно, чтобы извозчиков не было?

— А у вас их в городе много?

— А то ж как? Штук шесть, а то еще больше.

Я растроган...

Славные тут извозчики.

Сиденье широкое. Ехать совсем не тряско. Что такое шины, хитрое создание рук человеческих, в сравнении с грязью, которая от божьего дождичка?

Тихо, спокойно.

В одноэтажных домиках темно.

Едешь квартал — фонарь; едешь другой квартал — еще фонарь.

По улицам образцовый порядок: ни одного прохожего.

А половина девятого.

Стоп. Приехали. Под фонариком вывеска:

«Тут номера»...

Я переоделся и выхожу на улицу. Нужно отыскать одного знакомого.

Бредет некто одинокий. Я подхожу к нему и спрашиваю:

— Будьте любезны, где живет Икс?..

И тут мне приходит в голову, что вопрос, собственно говоря, глупый.

И мне вдруг вспоминается сценка.

Я, приготовишка, иду из гимназии домой.

Вдруг подбегает уличный мальчишка и глядит мне на герб.

— Знаю! — говорит он уверенно. — У вас учится Мишка.

Так ты ему скажи, чтобы он лучше сядой не ходил: морду ему побыю...

Этот одинокий обыватель нарочито невеликого городка столько же может знать о моем Иксе, сколько я про того Мишку.

Оказывается, однако, совсем наоборот.

— Икс? — говорит он. — А вы вот дойдите до новой аптеки, а там рядом Срулькина лавочка, а он как раз против Срулькиной лавочки и живет...

Боже!

**Altalena**

*Одесские новости. 20.10.1902*



## **Вскользь**

Кулыгину увеличат жалованье на целых 20 процентов.

Какое приятное известие.

Говорю это от чистого сердца.

Ибо ведь мы вовсе не враги Кулыгина.

Мы, напротив, пламенно желаем Кулыгину блага.

Ведь все то, что есть благо для него, есть благо и для нас.

И если мы всегда и всюду, где можно, норовим кольнуть или хоть ущипнуть Кулыгина, — мы, однако, понимаем, что не человек виноват, а условия виноваты.

И среди этих «условий» видное место отводим, конечно, материальным.

Потому что мы прежде всего твердо помним пункт 1-й свода законов человеческого общежития:

— Какова плата, такова и служба.

И не ждем чудес добросовестности и такта от человека, получающего медные деньги...

Думается, однако, что по этому пути следовало бы пойти и дальше. Вообще позаботиться о 20-м числе.

20-го числа выдают медные деньги не одному только профессору *ut consecutivum*<sup>1</sup> титулярному советнику Кулыгину.

<sup>1</sup> Союз *ut* (что, так что) в придаточных следствия (лат.).



Много еще народа того же числа получает медные деньги.

Почтовые чиновники, полицейские чины, следователи, прокуроры, члены судов и палат и прочая, и прочая, и прочая.

Подходят к окошечку и получают свои микроскопические денежки.

Почтовый чиновник получает свои 30 рублей.

И член палаты получает свои 300 с чем-то рублей.

Почтовый чиновник, который работает так, как никакой автомат не выдержал бы.

И член палаты, который на эти 300 рублей должен поддерживать бюджет, какой приличествует советнику высшего судища, то есть одному из самых видных лиц города.

Трудненько!

Нечего же удивляться, что талантливые люди не любят пристраиваться при 20-м числе.

Какому талантливому человеку охота сидеть в товарищах прокурора за 2000 в год с эмеритурой?

Он уходит куда угодно: в коммерцию, в адвокатуру, в журналистику. Все сытнее.

Есть, правда, пенсия.

Но кого ею соблазнишь?

Кого соблазнишь двадцатью пятью годами прозябания на медные деньги — потому только, что через двадцать пять лет эти же медные деньги превратятся в пенсию?

Способный человек не прельстится. «Через двадцать пять лет» — это значит, когда даже от третьей молодости и помину не останется. Есть о чем заботиться.

— Хоть день, да мой! — вот как склонен рассуждать способный человек.

И только человек в футляре может сказать:

— Я вот молодость всю этак уж потеснюсь, а зато на старость лет... хе-хе...

Да, не только учительские — все казенные оклады нуждаются в больших повышениях.

Только за хорошую плату можно требовать и ждать доброкачественного труда.

**Altalena**

*Одесские новости. 20.10.1902*



## Вскользь

### О ЛЕВОЙ НОГЕ

Долой предрассудки!  
Искони установилось суеверие, будто главная часть тела — голова.

Будто голова всем заправляет и командует.

Голова всему хозяйка.

Какое заблуждение!

Голова стала нулем в человеческом организме.

Командует и заправляет — знаете кто?

Нога.

Та самая нога, о которой у Островского спрашивается:

— Чего моя левая нога хочет?

И чего левая нога хочет, тому и быть.

Ваш покорный слуга — человек снисходительный.

Достаточно мне трижды подряд увидеть любое явление — и я уже с ним примиряюсь.

Говорю:

— Пусть это будет так. И слава Богу, что не хуже.

Так что, вы видите, я со всем примирился.

И с левой ногой, конечно, я тоже примирился.

Но, воля ваша, в одном случае никак не могу с ней примириться. Никак не могу!

Я готов признать ее повсюду, но, когда я вижу ее или следы ее на газетном листе, мне становится скверно.

Где угодно, только не в газете.

У газеты, у журнала не должно быть хозяйской ноги.

Это, конечно, непоследовательно. Почему для газет такое изъятие?

Но, что же делать, не могу-с. Где угодно примирюсь, а в газете не могу — и, видя, скорблю.

Страшно скорблю и досаую, когда вижу сквозь стекло разнообразных псевдонимов — одну и ту же левую ногу господина хозяина, которая незримо, но ощутимо водит всеми перьями.

И оттого я недавно был очень рад.

Я узнал, что где-то в провинции основалась газета без ноги.

Так-таки без ноги.

Этот феномен родился так.

Два господина со средствами задумали издавать газету.

Не имея сами никакого отношения к литературе, они призывали варягов.

Варяги попались хорошие.

— Идем к вам работать, — согласились варяги, — но с условием: чтобы было вече.

— Будет.

— Чтобы ни один спорный вопрос не решался хозяевами без согласия большинства веча.

— Будет!

— Чтобы ни одна сомнительная заметка не проскальзывала без санкции веча.

— Будет.

Я узнал об этом и порадовался.

И пошла газета. Прекрасно пошла.

Ездил я теперь по Гренландии — везде мелькает эта газета, и все одобряют:

— Серьезная газета.

Но в скитаниях моих попал я наконец и в тот город Гренландии, где та газета, собственно, издается.

И здесь я «повесил голову».

Здесь «узнал я, что Франция погибла, что разбито наголову великое войско и император, император в плену».

Fuit Troia!<sup>1</sup>

Левые ноги не выдержали. Зазудило.

Обидно стало: зачем это по Гренландии все жужжать да жужжать:

— Хорошо поставили газету Рюрик, Синеус и Трувор!

Называют варягов. А о хозяевах ни слова!

Да и варяг еще попался такой... Несговорчивый.

У хозяина родственники. А родственники пишут. Нельзя же им отказать:

— Не подходит для печати.

Неловко. Надо же это понимать!

А варяг не хочет понимать.

— Что это? — говорит, — 800 строк о беспроводном телеграфе? Не пуцу.

А ему и горя мало, что, быть может, эти 800 строк сам, шутка ли, тесть хозяйский написал!

---

<sup>1</sup> «Была Троя» (лат.) — цитата из поэмы Вергилия «Энеида».

Или вот еще все хочется этому варягу ругать местное общество взаимного рукарукумойничества.

Общество действительно не того.

Но опять же там тесть секретарем. И, кроме того, у члена А. есть лавочка, а у члена Б. лавочка скоро будет — и, значит, надо надеяться на объявления...

А какие же объявления, когда ругать?

А варяг в ус себе не дуёт. Не жалко ему любимых мозолей хозяйской ноги.

И не вытерпели левые ноги.

Топнули и заявили:

— На все четыре стороны! Не надо нам ни вашего заведования, ни вашего вече. Алле маршир!<sup>1</sup> Мы даем деньги? Мы хозяева? Вот и будем делать по-своему.

И пошла новая зра.

Я вот теперь внимательно буду следить за этой газетой: жду не дождусь, чтобы появилась та самая статья о беспроволочном телеграфе...

*Altalena*

*Одесские новости. 24.10.1902*



## **Вскользь**

### **УМЕР ДНЕПР**

Славная это река.

Ведь теперь уже осень, зелень по левому берегу давно выцвела, небо побледнело, а как все-таки хорош Днепр!

Особенно на закате, когда он весь гладкий и стальной, только от парохода бегут толстые, крученые, глянцевитые волны, и на западе малиновое небо широкими пятнами отражается в засыпающей воде.

Так и хочется утонуть.

Когда к нам приезжают киевляне, я всегда люблю их подразнить.

— Дешевая у вас речонка, — говорю им, — что это за вода, через которую можно мост перекинуть?

Они протестуют, а я тогда «цитирую» Гоголя вот как:

«Редкая курица добредет до середины Днепра и обратно...»

<sup>1</sup> Все шагом марш! (от нем. alle marschieren).

Но ведь все это только говорится.

Чудная река.

И поречный житель ее любит.

— Лучше нет на свете нашей бедной реки! — сказал мне гордо и грустно сосед именно тогда, когда я с вышки смотрел на гладь днепровского заката.

Я понял и гордость, и грусть.

Понял даже, почему сосед назвал свою реку «бедной».

Эту ноту я уже слышал не раз за последние годы, когда попадались люди с Днепра.

— Тоскливо на Днестре, — говорили они.

И в этом году то же.

— Каков урожай у вас?

— Небывалый! — отвечают они с печалью в глазах и голо-се. — Старики не запомнят.

— Право?

— Прямо чудеса, а не урожай, — подтверждают они хмуро и уныло. — Сто лет уже такого богатства не было. Самые ледащие десятины по семи четвертей дали.

— Неужели?

— Ей-богу, — грустно божатся люди с Днепра, — возле Неплюева есть один участок, где, извините за выражение, двадцать две четверти собрали с десятины.

— Это невозможно!

— Честное слово, — скорбно вздыхают они.

— Но если такой урожай, почему же вы так грустны? Тосковали бы в прежние годы, когда мало было зерна?

— Мы и в прежние годы тосковали. Потому что, само собой, нет зерна — не на чем заработать.

— А теперь?

— Теперь? Много зерна... значит, есть на чем потерять.

— Позвольте! Это как же? И худо — худо, и хорошо — худо?

— И худо — худо, и хорошо — худо. Нет теперь и не будет хлебной жизни на Днестре. То время прошло. Теперь время другое.

— Какое же теперь?

— Шарлатанское. Экспортеров стало чересчур много. У него ни копейки, а он грузит... оттого все мелочь. Больших людей нету. Умер Днестр.

Я во всем этом ничего не понимаю.

Почему это экспортеров больше, а жизни меньше? По-моему, наоборот?

Но раз люди так говорят, верно, так оно и есть.

Да ведь и видно.

Простым глазом видно, что не то пошло, что старое минуло, а новое все и мельче, и хуже.

Не то было, когда хлеб кипел на Днестре и торговали «большие люди».

То были точно большие, крупные, интересные люди.

Я недавно слышал беседу двух студентов-математиков.

Они говорили о третьем лице.

— Удивительно красивая работа мысли! — сказал один.

— Да, художественность концепции феноменальная, — согласился другой.

— Эстетик до ногтей!

— А фантазия какая!

— Вкус!

— Чутье!

Можно было подумать, что речь идет о поэте.

А они говорили просто о том, как хорошо решает задачи один их коллега, очень способный математик.

Потому что во всякой деятельности, где только возможно комбинирование отдельных элементов, можно быть художником.

Можно быть художником в коммерции.

Те крупные люди, ныне вымершие на Днестре, и были художниками. У них тоже бывало все это: и художественные концепции, и красивая постройка мысли, и вкус, и чутье.

И особенно фантазия — могучая фантазия, которая создавала новые комбинации так ярко, что являлось непобедимое желание воплотить их, хотя бы рискуя.

Они умели рисковать.

— Риск — благородное дело, — была их любимая поговорка.

У них был натиск, пыл, увлечение, вдохновение.

Гешефт давал им средства к жизни — но сверх того они ценили в гешефте спорт, борьбу, искусство.

Помню я одного из них.

Весь Днестр еще его вспоминает.

Его там знали.

По всем этим Бериславам и Лепетихам пролетало известие:

— Завтра он проедет.

И на пристанях собиралась толпа.

Не поглазеть — нет! Все по делу. Всем было до него дело, потому что все, так или иначе, кормились при нем, через него или хоть рядом с ним.

Он всех знал в лицо и помнил.

Он выходил на вышку, бодрый, веселый, еще молодой, и бойко, фамиллярно, четко бросал каждому то именно слово, которое было нужно.

И никто не спорил, потому что — раз он так говорит, значит, уж он понимает.

Это был настоящий сокол-человек.

Видел далеко и любил отвагу больше спокойствия.

Говорили ему, бывало:

— Провалитесь. Не рискуйте так!

— Риск — благородное дело.

И не проваливался. Так что потом совсем перестали его предостерегать:

— Раз он так хочет — уж он понимает...

Он действительно понимал.

Его вдохновение не было нахрапом:

— Авось! Очертя голову!

Его вдохновение было микроскопом, в который он видел тончайшую путаницу всех вероятностей — и разбирался в этой путанице.

Вечером, наигравшись досыта в «шестьдесят шесть» или в шахматы, он обливал себе голову холодной водой и запирался у себя в кабинете.

Там он брал карандаш и начинал рассчитывать.

Бог его знает, как он рассчитывал то, чего еще не было, что только могло быть, но могло и не быть...

Но только к утру у него уже все было готово: он выходил из кабинета бледный, но твердый и бодрый и приказывал помощнику:

— Грузи все полтораста.

— Как вы не боитесь ошибки? Ведь можно спутаться в расчетах! — говорили ему.

— Можно, да не мне, — ронял он, глядя себе в карты: — двадцать! Позвольте посмотреть вашу взятку.

И он был прав, ибо что могло спутать его расчеты?

Ведь не корыстолюбие могло ослепить его: он вовсе не бил на большие барыши.

Он никогда и богат особенно не был. На Днепре тогда создавались миллионы, а он в лучшие свои времена имел, может быть, тысяч шестьдесят.

Да и не шло бы этому человеку быть толстосумом.

Сума, как брюшко, мешала бы его летучему натиску, его стремительной быстроте.

Из десяти комбинаций он выбирал не самую выгодную, а самую трудную — и потому самую красивую.

— Он работает, как Арамбуро поет! — говорили о нем днепровцы, успевшие побывать в Одессе.

Любили его днепровцы.

Он стал их гордостью. Каждому его успеху они радовались от порогов до самых гирл<sup>1</sup>.

Они привыкли верить в его силу и в то, что никакой враг ему не страшен.

И точно, не врагов ему надо было бояться.

Сильный вообще не должен бояться врагов. Друзей должен бояться сильный!

Но беда, что этого-то и не умеет сильный человек.

Не в его соколиной натуре мораль:

— Дружить дружи, а дубинку за пазухой держи.

Не может он, ложась на подушку, заглядывать под нее — нет ли там отравы.

Сильной груди нужен чистый воздух, а чистый воздух — доверие.

И зарезали того человека друзья.

Все он умел: предвидеть умел, провидеть умел, но подозревать не умел.

И продали его за грош два доверенных человека: любимый меньший брат и любимый шурин.

Насыпали черт знает что в кули и сбыли их от его имени англичанам.

Вышел позор и крах на весь Днепр.

Погибло доброе имя человека, подогнулись его крылья, и самого человека не стало: в два года захирел и умер от рака и чихотки.

Хорошо еще помнят его на Днепре, потому что он был из последних могикан.

Теперь уж таких нет.

---

<sup>1</sup> Устьев (укр.).



Теперь все больше пошли чистые беспримерные барышники.

Умер Днепр.

Двигается победоносное время над землею и сметает большие постройки, опрокидывает дубы — и Бог весть, когда вырастет новое на месте старого.

*Altalena*

*Одесские новости. 25.10.1902*



## **Вскользь**

### **КАРЬЕРА МАКСИМА ГОРЬКОГО**

Его карьеру столько раз уже определяли словами «внезапно», «головокружительная быстрота», «метеор», что я этих слов повторять не стану.

Тем более что, по-моему, в этой быстроте нет ничего загадочного.

В первый момент — после «Челкаша» — она была создана маленьким недоразумением.

Это было несколько лет тому назад. Тогда кое-кто из публики еще занимался тем, чем теперь уже занимаются исключительно критики: выковыриванием «идеи» из беллетристического произведения.

Эти люди выковыряли «идею» и из «Челкаша».

И вот какую: так как в «Челкаше» мужик, оторвавшийся от земли, возвеличен, а мужик, прикованный еще к земле, унижен, то и решили:

— Ясно, что Горький — противник общины и поборник, выражаясь мягко, развития крупной индустрии.

Это толкование было в точку, ибо тогда спор между народниками и ненародниками был в разгаре.

Горького подняли на щит.

Нedorазумение, конечно, скоро разъяснилось.

Все поняли, что Челкаш так же мало похож на фабричного, как и на мужика, что для Челкаша оба одинаково жалки: и человек, прикованный к земле, и человек, прикованный к машине.

Но на Горького уже успело обратиться всеобщее внимание.

И тут, когда первая причина этого внимания, основанная на ошибке, пропала, тут оказалось, что у Горького есть и другие, уже не фиктивные права на внимание России.

Потому что, если на раздоры народников и их оппонентов он и не давал ответа, он дал зато ответ на другой вопрос, гораздо более интересный.

Вопрос этот был:

— Чего нам нужно?

Ибо на этот счет было великое метание умов. Никто не мог точно определить, чего нам нужно.

Не все даже умели назвать, чего им самим хочется.

Горький ответил:

— Нам нужны прежде всего люди соколиного полета.

И попал в точку. Все мы почувствовали, что это именно то слово, которое нужно.

Мы поняли, что головы наши, словно котлы, доверху нали-ты всякими проектами и планами в жидком виде, но огня под котлами нет, и потому машина не движется.

И чтобы двинулась она, нужны не новые проекты и планы, не новые умствования и «идеи».

Мы уже и так достаточно заумствовались; мы и без того уже стали, как говорят хохлы, «дуже розумни». Котлы полне-хоньки, нужно только развести под ними огонь.

Мы забыли обличье сильного человека. Горький его напо-мнил.

Он нарисовал его во весь рост и нарочно оттенил и даже чрезмерно подчеркнул те его стороны, которые отличали его от нас с вами, — те именно стороны, которые нам с вами нужно выработать в себе.

И тогда Горький стал «властителем дум» — вождем поко-ления.

Ему стали поклоняться, на него начали молиться; это могло быть смешно, но это было понятно и естественно.

Потому что Горький был действительно любимцем богов.

Только любимцу своему боги открывают то, что простым смертным неведомо: *самое важное и самое нужное слово нынеш-него дня.*

Горький понял это слово, произнес его и стал повторять, вколачивая его молотом крупного таланта в наше сознание...

Раз! Два! Три!

Одна за другой ударяли, как молнии, его могучие поэмы.

И все звучали одним тоном, гремели одним лозунгом, сверкали одним спектром из двух цветов.

Один цвет назывался: уж.

Другой цвет назывался: сокол.

И мы стали понимать, и радостно уверовали в веру нового поэта.

И... и прошло несколько лет.

Не Бог весть сколько времени.

Многому за это время нельзя было выучиться.

Но зазубрить *один* лозунг — можно было.

Проникнуться *одной* мыслью — можно было.

Понять, что уж есть уж и сокол есть сокол — можно было.

И мы зазубрили. Мы прониклись. Мы поняли!

Мы верим. Мы не сомневаемся, мы не сомневаемся, что главное — это стать соколами из ужей...

И есть хорошее правило:

— Когда человек понял, незачем дальше объяснять то же самое.

А г-н Горький опубликовал «Мещан».

Герой Нил, героиня Татьяна.

Она — уж, он — сокол.

Мораль: не надо быть ужами, будущее за соколом.

Ах!.. Это очень приятно и притом очень верно, но мы это уже слышали...

Не подумайте, что я говорю это в хулу Горькому.

Максим Горький — крупный, выдающийся талант.

Таким он и останется, и его произведения всегда будут встречаться с большим интересом и читаться с художественным наслаждением.

Но как властитель наших дум и предводитель поколения — Горький отжил.

*Эта* его карьера — кончилась.

Кончилась почетным концом, потому что слово, брошенное им, всеми воспринято, всюду пустило корни и пошло приносить свои благие плоды уже независимо от своего автора.

Горький может еще много и блестяще писать, но вести и пророчествовать он больше не будет.

Потому что свое пророчество он уже сказал, мы его услышали и уверовали. И довольно.

Слава Горького взлетела превыше облака ходячего — и по заслугам.

Но момент прошел — и Горький должен опуститься с облаков просто на почетное место Парнаса, рядом с другими талантами Русской земли.

И тем не менее, несправедливо слово «метеор».

Метеор значит пустоцвет. Что-то такое, что блеснуло и пролетело без плода и следа.

А Горький не был пустоцветом.

*Altalena*

*Одесские новости. 26.10.1902*



## **Вскользь**

### **К КОНЦУ ВЫСТАВКИ**

Так как сегодня — в последний день выставки — не будет времени, я прощался с нею вчера.

Постоял в последний раз перед теми несколькими картинами, с которыми за короткое время выставки подружился.

Перед «Ночью» г-на Вальца.

Это наш, здешний пейзаж.

Чуть ли я его даже не знаю.

Почти готов ручаться, что когда-то брел, тоже ночью, мимо этой группы хаток. Хатки сверкали под месяцем нежной белизной, и белее всех блестела последняя из хаток, как на картине г-на Вальца.

Лаяли собаки — не знаю где, море шумело глухо и важно.

Когда я засматриваюсь на это полотно, мне так и вспоминается эта идиллическая симфония ночи: звонкий лай и густой рокот моря.

Постоял, сердечно прощаясь с серией г-на Нилуса «На лестнице».

Г-н Нилус — виртуоз.

Он ставит свою модель со смелостью уверенного маэстро и оправдывает эту смелость блестящим успехом.

Одна фигура у него в самом рискованном ракурсе: три четверти удачи.

Ведь это почти затылок.

Видны прическа, ухо, щека — лица не видно.

Но г-н Нилус дает вам и лицо.

Двумя намеками, двумя-тремя точками он определяет это лицо так, что, встретив оригинал, вы его узнаете.

В другой раме — другая, но уже обратная смелость.

Здесь поза, словно нарочно, взята самая шаблонная, самая даже примитивная.

Поза, которую маленькие дети придают первым своим рисункам человеческой фигуры: чистый профиль.

Такая поза ведь могла подвести всю картину.

Мы подходили бы к ней и шли бы дальше со словами:

— Это похоже на много других таких же фигур.

Но о г-не Нилусе этого не скажешь.

Что поза, когда он в ее шаблонную рамку вложил свои нилусовские тона и линии, которые ни с чьими другими не смешаешь.

Я убежден, что г-н Нилус может даже медный пятак написать так, что вы остановитесь и скажете:

— А! Это Нилус. Как это хорошо!

Г-н Нилус одной чертой своей художественной физиономии напоминает мне Чехова, особенно прежнего Чехова, автора мелких новелл.

Эта черта — умение изображать будни и все будничное так, что нам вдруг открывается живое, но дотоле не замеченное их содержание.

Это — особый дар. Но нужна и смелость, чтобы следовать собственному вкусу, несмотря на близорукие упреки в бессодержательности и тому подобных прегрешениях...

Впрочем, осторожно. Этак, имя за именем, у нас выйдет целый новый отчет о выставке.

Будем говорить только о молодых; о молодых не по летам, конечно, а по направлению.

Хотя и из молодых «просто» по летам — нужно указать на г-на Эгиза.

По-моему, он сделал большие успехи.

В большем из его двух женских портретов много жизни и соку; фон подобран с большим вкусом.

Тон мягкий и ласковый: г-ну Эгизу, вероятно, должны хорошо удаваться детские лица...

А теперь — о господах новаторах.

Трио: Кандинский, Ганский, Головков.

Дай Бог многолетие и вождевленное здравие г-ну Ганскому: он очень даровитый господин.

Но он не импрессионист.

Правда, у него барышни всегда похожи на рисунки из «Нового журнала иностранной литературы», но ведь барышни теперь так и одеваются, носят корсеты *abdomen entré*<sup>1</sup>, и не нужно быть импрессионистом, чтобы видеть это.

А колорит...

Нельзя отрицать, что картины г-на Ганского раскрашены по-модерному.

Но, глядя на эту модерность, я никак не могу отделаться от одного подозрения.

Что г-н Ганский сначала пишет все, что ему нужно, простыми, обыденными красками.

А потом, когда вся картина готова, он только смазывает ее каким-нибудь особенным цветным лаком, несомненно, собственного изобретения.

И получается некоторая (очень, однако, умеренная и благо-разумная) странность во всех красках.

И публика говорит:

— Ах, это «декадентское».

Но при этом публика довольна, ибо ценит умеренность.

Г-н Кандинский тоже не импрессионист. Он просто настоящий и хороший декадент.

Но махровые, слишком яркие, слишком роскошные краски, художественное и красивое подражание лубочному стилю — рассчитаны на вкус упадка, притупленный и требующий перца.

Нельзя отрицать в г-не Кандинском не только таланта, но даже искренности.

Он вполне искренен. Он пишет именно так, как его тянет писать. И пусть.

Есть люди, которые очень мило картавят?

Если обучить их выговаривать букву *r* правильно — выйдет и некрасиво, и неестественно.

Пусть они лучше картавят. Это у них так изящно выходит.

Я ничего не имею против красивой картавости. Все красивое имеет право на художественное существование.

Но нельзя не видеть, что красивая картавость все-таки есть исключение, любопытный феномен, и только.

А настоящая красота — в нормальном, и пути к ней другие.

---

<sup>1</sup> «Убранный живот» (фр.).

Из новаторского трио XIII выставки только г-н Головков кажется мне настоящим импрессионистом. «Импрессионист» значит: художник впечатления.

Импрессионизм добивается совершенно свободной, очищенной от привычек и условностей передачи зрительных впечатлений.

В г-не Головке чувствуется искренимый *искатель* новых путей.

Он вглядывается, вдумывается, углубляется: он *ищет*, и так же, как от профессорской условности, отрешивается от предвзятости à la г-н Ганский...

**Altalena**

*Одесские новости. 27.10.1902*



## **Вскользь**

— Не надуть.

Как приятно видеть, что девиз торжествует.

Голова, знаете ли, при этом невольно подымается кверху, стан выпрямляется и душа воспаряет.

Мы еще, мол, повоюем, черт возьми! У нас девиз. Умрем за свой девиз!

И нет девиза, который чаще радовал бы наше сердце своим торжеством, чем сей вышеуказанный.

— Не надуть.

Гордо и победоносно веют по лицу земли Русской многочисленные знамена с этим девизом.

Много в России каменных зданий, будто бы посвященных культу самоуправления, а на самом деле — взгляните — над ними развеивается флаг с надписью:

— Не надуть.

— Господа, — предлагает иной шалун, — не учредить ли нам... того... городской ломбард?

Грузно и веско раздается в ответ:

— Не надуть!

И не учреждают. Очень просто.

Живуч и цепок этот девиз.

Где его раз написали, там его семью щелоками не смоешь.

Он — как паскудное пятно, которого ни бензином, ни скипидаром, ни мылом не выведете.

Иногда уж сам квартальный расчувствуется и скажет:

— Отчего бы вам, в самом деле, не озаботиться бедственным положением сих молящих?

— Не надьтъ! — отмахиваются они. — Не лопнут и так.

Киевскому биржевому комитету прислали свыше запрос.

— Какого вы, мол, мнения об урегулировании рабочего времени приказчиков?

Собрался биржевой комитет.

Сели, закряхтели.

Трудная задача.

Как ответить?

Оно, конечно, с одной стороны, бывает, что и по двадцать пять часов в сутки, ибо торговля есть торговля...

Но, с другой стороны, как же иначе?

И с третьей стороны, кто своему карману враг? Только легкомысленный, неблагонамеренный человек своему карману враг...

Но нельзя же так прямо написать эти словеса:

«Никто своему карману не враг».

Неловко.

Как же быть? Что ответить?

Сидели и кряхтели.

И вдруг осенило.

Подняли глаза вверх и увидели в воздухе свое «сим победиши», свое доброе старое знамя с верным и крепким девизом.

И воспрянули духом, и отписали тако:

— Не надьтъ.

Не лопнут, мол, приказчики. Ничего им не будет.

Разве приказчик работает?

Совсем нет. Он только «наблюдает».

А это вовсе не трудно. Стоять себе да наблюдать.

Очевидно, в Киеве так оно и заведено.

Приходит покупатель.

— Где у вас перчатки, господин приказчик?

— Полезайте на шестую полку. Лестница вон там, можете ее пододвинуть.

И покупатель лезет на шестую полку. А приказчик сидит внизу и наблюдает. Чтобы, знаете, никто ничего не стащил.

Уйдет покупатель — приказчик сейчас же за книгу.

В Киеве перед каждым приказчиком на столе так и лежит книга для ради самообразования.



Тургенев или Доде. Что-нибудь такое.  
 И течет как по маслу жизнь киевского приказчика.  
 Наблюдает и самообразовывается, самообразовывается  
 и наблюдает.  
 И доволен, как г-н Кулыгин из «Трех сестер».  
 Какого же там урегулирования?  
 — Не надуть, и все тут, и дело с концом...  
 Господи, Господи! Чего только не навидаешься, не наслы-  
 шишься...

*Altalena*

*Одесские новости. 29.10.1902*



## **Вскользь**

Странный проект.  
 Нам предлагают обратиться к читателю:  
 — Друг! Русской печати исполняется 200 лет. Пожертвуй по  
 этому случаю копейчку в пользу нашего фонда!  
 Просто не верится, чтобы под этим предложением взаправ-  
 ду стояла подпись Градовского.  
 Чтобы человек, бывший всю жизнь деятельным другом пи-  
 сателя, вдруг посоветовал этому писателю отказаться от лучше-  
 го из наших благ.  
 От гордости!  
 И в столицах солидные журналы серьезно говорят об этом  
 проекте.  
 Какое-то затмение.  
 Ведь для этого надо было забыть, что такое писатель.  
 И как полагалось бы смотреть на писателя читателю.  
 И... как на самом деле этот читатель смотрит на писателя.  
 Писатель есть учитель.  
 Читателю полагалось бы смотреть на писателя как на свое-  
 го учителя.  
 А на самом деле он на него смотрит как на шута.  
 — Выкинь штуку! Позабавь меня.  
 В лучшем случае — как на шарманщика.  
 Жаркий летний день, скучно, нечем занять мысли — и вот  
 со двора слышится бродячая музыка.  
 И готово развлечение.  
 Попробуйте, заикнитесь этому развлекающемуся, что в ли-  
 це бродячего музыканта перед ним стоит учитель.

— Учитель? — скажет развлекающийся. — Дрессированным своим обезьянам ты учитель, а не мне. Вот позову дворника да велю прогнать тебя со двора.

Перед печатью трудная задача, на которую понадобится еще 200 не 200, а все же много лет: переубедить читателя.

Довести его до сознания, что литератор — не побрякушка, не аппарат для увеселения, а учитель.

Плохой или хороший, честный или подлый, но учитель.

А нам предлагают торжественно скинуть шапки и обойти почтеннейшую публику.

И публика будет бросать нам в шапку по копейке.

О, она, вероятно, не откажется.

Почему ей отказаться? Она нами, в общем, довольна.

— Двести лет, — скажет она благодушно, — дребезжит эта шарманка и хоть иногда и дерет уши, а все ж ничего, не меша-ет и даже развлекает. На тебе целый пятак вместо копейки!

И мы скажем:

— Мерси-с.

Хороши мы будем, мы, учителя общества.

Общество будет говорить:

— Вот мы намерены, по случаю юбилея, сложились все по копейке да учителю-то нашему новые штаны и справили...

Да минует нас чаша сия.

Лучше уж вовсе без штанов.

Можно быть без штанов, без хлеба, без глаз, можно испи-саться, издергать нервы в клочки — и все же оставаться писа-телем.

Но без гордости писателем нельзя быть.

Обойти публику с шапкой — это значило бы отречься от учительской миссии и расписаться под свидетельством на звание шарманщика.

Не делайте этого.



Г-н Лоэнгрин упрекает меня за то, что я похоронил Горького.

Г-н Лоэнгрин, я вовсе не похоронил Горького.

Максим Горький молод, и у него крупный талант.

Он еще напишет много хороших произведений, которые принесут много пользы и войдут в галерею лучших образцов творчества.

Как писатель Горький жив, Горький в расцвете жизни и таланта — да, и в расцвете таланта, ибо эти бедные «Мещане», право, не в счет.

Но как глашатай нового слова — Горький отжил. Это только и хотел я сказать.

Как провозвестник нового слова русскому обществу Максим Горький отжил — и отжил самым почетным образом: отжил потому, что сделал свое дело.

Он пришел учить нас новой грамоте.

И обучил.

Значит, больше нас грамоте учить не требуется. Ясно, как день.

Или г-н Лоэнгрин думает, что Горький может теперь преподать нам что-нибудь и дальше простой грамоты?

Сомневаюсь.

Я до сих пор в проповеди Горького видел только один элемент: культ сильного человека.

Это и была азбука, в которой наше дряблое поколение нуждалось.

И теперь, когда азбука вытвержена, я не вижу, чтобы Горький выступил со вторым новым словом.

Я вижу, напротив, что он выпустил «Мещан», то есть повторяет без особой надобности то самое, что уже раньше успел долбить нам в головы.

Этот факт как будто бы не дает уверенности, что у Горького есть еще полная торба новых слов.

И вообще я думаю, что торбы новых слов у одного человека не бывает.

Для каждой эпохи существует только одно новое слово.

Тем оно и сильно, что оно одно.

И оттого так громок голос глашатая нового слова, что он всю свою силу и веру отдает одному слову.

А не экономит, сберегая в кармане на завтра еще одно и на пятницу еще одно новое слово.

Так я смотрю на это, г-н Лоэнгрин.

Вы видите, что я не хороню Горького.

Как писателю я, напротив, предсказываю ему долгую и славную деятельность.

Как о возвестителе нового слова я говорю о нем, что он нашел это слово, что он мощно провозгласил его и заставил нас поверить.

Разве сказать о проповеднике, что его проповедь победила, значит похоронить его, потребовать для него савана? Никогда! Это, скорее, значит потребовать для него бессмертия...

*Altalena*

*Одесские новости. 30.10.1902*



## **Вскользь**

### **КНИГА ГУКОВСКОГО**

Недавно в Люцерне застрелился одессит, студент Гуковский.

Ему было 24 года от роду.

Теперь выпущена отдельным изданием его посмертная работа «Новые веяния и настроения».

В маленьком предисловии рассказана маленькая биография покойного автора.

Эта биография так мала, что может вся уместиться в одном слове:

— Работа.

Ему было 19 лет, когда он предпринял издание «Новой библиотеки», в которой дал переводы статей Брюнетьера, Куно Фишера, Луи Блана.

Ему был 21 год, когда он предпринял новое издание под заглавием: библиотека «Слово» и успел дать около двадцати выпусков ее, посвященных то социологии, то изящной литературе, то философским вопросам.

Многое для этих изданий он сам и переводил. К «Новеллам» Шницлера и Якобсена, изданным в прошлом году, он написал вступительные статьи.

И в то же время он готовил большую работу, в 300 печатных страниц, ту самую, которая теперь издана.

Эта ранняя деятельность, этот юноша, проявляющий на рискованном книгоиздательском поприще столько энергии и благородного вкуса, — мне все это кажется беспримерным.

Я никогда не слыхал о подобной ранней и в то же время вполне серьезной и так благородно направленной деятельности.

И мне особенно приятно подчеркнуть ее ввиду того характера, который носили взгляды и убеждения покойного.

Он принадлежал к тому молодому течению, представителей которого принято теперь поругивать.

Обзывать «эгоистами», «эстетам», «сверхчеловеками», «декадентами» — и обвинять в полной общественной бесполезности.

Тем ярче пример Гуковского.

Он блистательно доказал свою любовь к полезной просветительной работе.

И в то же время он весь, до корня волос, был сыном тех «новых веяний и настроений», которым посвящена его книга.

Он говорил в этой книге о «новом» в искусстве как о законной реакции против изношенных одежд.

Он пишет:

«Я назвал бы это стремление страстным порывом к правде, к свободе, страстным желанием освободиться от тяжелых пут условности и лжи, от тяжелого гнета целого ряда обязанностей и правил, выполнение которых еще так недавно считалось общеобязательным...»

Он говорил в этой книге о «культе правды», ибсеновской правды, жестоко обнажающей ложь всех фетишей мещанского общества и гниль всех его столпов.

Он пишет:

«Современный человек запутался во лжи и условности, а в его душе зародилось страстное стремление к правде, к простоте, его поработила современная жизнь, современная культура, а он рвется к свободе, всюю душою желает ее, возводит ее на недосягаемый пьедестал...»

Он говорит о «новой свободе», снимающей с отдельной личности бесполезные вериги долга перед чем бы то ни было или перед кем бы то ни было — обществом, народом, человечеством.

Он пишет:

«Каждый настоящий человек идет свободно и гордо, своею дорогой, не зная внутренней борьбы, никому, ни во имя чего не принося жертв, не зная долга и обязанностей».

Он говорит о «сильной личности», создание которой для нашего времени есть главная задача, важнее накопления нового умственного багажа.

Он пишет:

«Будущее принадлежит людям правдивым, свободным, сильным, гордым, людям, страстно любящим жизнь и не желающим напрасно убивать ни одного своего здорового стремле-

ния, ни одного живого чувства... Они станут выше борьбы между желанием и обязанностью и совершенно не будут знать таких слов, как жертва и долг».

Назвать точно общую идею этой книги я не берусь. Ведь это значило бы найти имя всей совокупности «новых веяний», их объединяющий принцип — а это вряд ли под силу современнику, да еще адепту.

Но, читая эту книгу, вы все время будете ощущать ее цельность, единую нить, связующую отдельные страницы.

Вы все время будете ощущать присутствие того, что в Европе называют *conscience moderne*<sup>1</sup>, а по-русски, за неимением лучшего термина, «новым настроением».

Гуковский был истинным человеком нового настроения.

И особенно прекрасна в нем одна черта этой *conscience moderne*: широкое понимание обеих сторон медали, умение охватить сразу и сочетать оба полюса.

«Чутьем синтеза» назвал бы я эту ценную особенность нового сознания, освобождающую нас от фанатизма и нетерпимости.

Вот пример.

Фанатик старого мировоззрения назвал бы Ницше «декадентом» и был бы доволен, считая, что Ницше убит.

Гуковский видит в Ницше оздоровителя жизни, то есть нечто обратное декаденту.

Но он пишет:

«Ницше был, безусловно, декадентом, он даже сам считал себя таким, но декадентом со здоровыми стремлениями и инстинктами...»

Эта ширина кругозора позволила Гуковскому правильно взглянуть на раздор между отцами и детьми.

Он отвергает старое:

«...Ушла в область предания былая идеализация толпы и народа, а вместе с тем мы перестали расточать прекрасные слова о долге личности перед народом, о необходимости служения ему и т. д.»

— Но, — говорит он:

*«Я вовсе не хочу сказать, что эти старые идеи сделались ненужными, что их пора выбросить за борт, — я полагаю только, что они не могут уже воодушевлять нас, так как они сдела-*

---

<sup>1</sup> Букв.: «современное сознание» (фр.).

лись слишком обыденными, слишком общеизвестными, и служение им, их осуществление перешло из сферы подвижничества в область обыкновенной серенькой практической деятельности».

Страшно жаль Гуковского.

В последнее время в нашем городе стало как будто бы клониться к оживлению.

С грехом пополам, но слышались кое-какие свежие, интересные голоса.

Стало заявлять себя новое поколение, принесшее новые вкусы и новые песни.

Явилась надежда, что через несколько лет Одесса будет в состоянии жить собственной и самостоятельной духовной жизнью, перестанет быть умственным пригородом столиц.

Страшно жаль, что один из свежих голосов так рано умолк, что немногочисленная молодая группа лишилась одного из своих членов, одаренного такими способностями...

**Altalena**

*Одесские новости. 31.10.1902*



## **Вскользь**

Г-н Киселевич открывает свой театр «Дикой уткой».

Это — хорошее начало.

Я не знаю, как поведет он свое дело дальше.

Но покамест думаю и верю, что у него лучшие намерения.

И надеюсь, что — хотя трудностей много — успех возможен при трех условиях: терпение, настойчивость, работа.

Начало, повторяю, и смелое, и хорошее.

«Дикая утка», в некотором роде, всем ибсеновским пьесам пьеса.

Напрасно полагают, будто в «Дикой утке» Ибсен говорит обратное тому, что звучит в его «Столпах общества» и в «Призраках» и повторяется почти во всех остальных драмах.

Разница только кажущаяся.

В тех драмах Ибсен обнажает ложь, на которой построено «все земное».

В «Дикой утке» он выводит Реллинга, который настаивает:

— Жизнь каждого человека скрашивается только ложью!

Не лишайте человека той лжи, которой он себя утешает!

Странно видеть в этом проповедь необходимости лжи.

Напротив!

Это не *проповедь* необходимости, это скорбное *признание* ее неизбежности!

Это не значит:

— Да здравствует опиум!

Это значит:

— Бедные люди, до чего вы довели себя — вы без опиума жить не можете...

В «Столпах общества», где протест Ибсена против лжи всего яснее, последняя сцена все же кончается призывом к правде.

И зрителю кажется, что герои отныне поведут новую жизнь, основанную на правде.

Это — среди современного-то общества, дышащего ложью!..

— Пустая мечта, которой сам норвежский гигант не мог верить.

И он доказал, что не верит ей.

Он написал «Дикую утку».

На мимолетную надежду, что для героев «Столпов» все-таки возможна новая жизнь, Ибсен сурово ответил:

— Невозможна! Ибо свет стал таков, что без помощи лжи человеку не выжить...

По «Столпам общества» можно было подумать, что Ибсен — моралист.

Что он просто — и наивно — рекомендует нам взять да исправиться.

«Дикая утка» доказала, что Ибсен не моралист, а социолог.

Он громит нас своими призывами не для того, чтобы мы сейчас же, наперекор стихиям, последовали им.

Но для того, чтобы мы от его громового голоса очнулись, огляделись и увидели, в какой гнили и грязи мы живем.

Не для того существуют Ибсены и Толстые, чтобы вести нас за собою, а для того, чтобы будить нашу совесть...

Оттого-то «Дикая утка» — несмотря на свои художественные недостатки — и есть всем ибсеновским пьесам пьеса, что в ней зло захвачено глубже, изображено темнее и безотраднее, чем где бы то ни было.





Какие нежности, однако!

Библиотекари общества просвещения стесняются объявить вслух, почему им не хочется выписывать журнал «Будущность», ибо это «может скомпрометировать указанный орган».

Деликатно.

Не хотят, понимаете, чтобы бедная газета пострадала.

Хоть она и нехорошая газета и к допущению в библиотеку недостойна, а все-таки жаль.

Видите! Не без добрых душ на свете.

Есть еще великодушные. Не умерло!

Но, тем не менее, все-таки...

Может быть, вы бы попробовали?

Отчего бы нет?

Право!

Может быть, оно вовсе не так опасно?

Может быть, если вы опубликуете «причины, по коим и т. д.», то газета «Будущность» все-таки кое-как да перенесет этот удар?

Она еще молода. Она выживет! Я уверен, что выживет.

Решайтесь. Смелее!

Ибо — сами подумайте — что тут будет такого зазорного, «компрометирующего» для газеты, если вы заявите:

— Мы не хотим выписывать «Будущность» потому, что она очень уж забористо расписала наших заправил по одному недавнему поводу...

Видите? Ничего ужасного. Просто и ясно, и никого не компрометирует.

Газеты «Будущность» не компрометирует, ибо отчего же и не расписать, коли есть за что?

И нас самих ничуть тоже не компрометирует, потому что... потому что мы с вами и без того знакомы.

Мы и без того знаем, как вы любите критику.

Как вы цените вообще всякое смелое слово, всякое свежее веяние и как охотно открываете им доступ.

Так что вы, господа, пожалуйста, не стесняйтесь.

Можете быть вполне откровенны, пока вы тут.

Пока вы тут.

А мы будем благоразумно ждать и мудро помнить, что всему на земле приходит смена.

**Altalena**

*Одесские новости. 1.11.1902*



## Вскользь

Вот история, которую не знаю как назвать: возмутительной — или обыкновенной.

Хорошенькая девушка Настя искала место прислуги.

Пошла в справочную контору.

Писарь послал ее к управляющему.

Управляющий конторой стал за ней «ухаживать».

— Какое гадкое животное, — скажете вы.

Совершенно верно.

Но оставим на минуту этого управляющего.

Поговорим о себе.

Третьего дня сидел я в небольшой компании.

Все славные, милые господа. Мухи нарочно не обидят.

Горничная внесла самовар.

Горничная из тех, которых нежно именуют:

— Горняшечки.

И когда она вышла, произошел такой диалог.

— Ты дурак, — сказал кто-то хозяину.

— Почему? — спросил хозяин.

— Такое добро под боком, а ты бездействуешь.

— С какой же стати я начну приставать, когда с ее стороны не вижу решительно ничего, кроме самой сухой официальности?

— Оттого ты и дурак.

Другой гость сказал:

— В самом деле, ведь это глупо. Вы попробуйте.

Третий гость сказал:

— Конечно. Часто бывает, что вдруг неожиданно встретишь полную благосклонность.

— А если нет?

— Если нет, можно уйти восвояси. Спрос не беда.

— Но ведь это будет не спрос, а, так сказать, маленькое насилие...

— Какая ерунда. «Насилие». Ну, поцелуешь насильно. Что ж, она помрет, что ли, от этого поцелуя?

— Да, — резюмировал всю беседу первый гость, — все это болтовня, а дело просто в том, что ты, брат, дурак.

Я еще раз настаиваю: это были милые и славные ребята.

Любому из них можно было бы доверить ту же самую горняшечку со словами:

— Отведи ее домой, не прикасаясь. Этим ты послужишь мне, твоему другу.

Отвел бы домой, не прикоснувшись. Даже не помыслил бы!

Как не помыслил бы прикоснуться к чужой, вверенной кем бы то ни было вещи.

Но пока она просто горняшечка, пока она никем никому не вверена, пока она *res nullius*<sup>1</sup>, до тех пор — «можно». Это их убеждение.

И — будем справедливы — убеждение, не лишенное основания.

Они могли бы сослаться на личный опыт.

Ибо горняшечка, говоря вообще, есть, несомненно, существо легкомысленное.

И тот, кто сказал: «Часто бывает, что неожиданно встречаешь полную благосклонность», — сам, вероятно, не раз уже отваживался на «некоторое» насилие и действительно мог констатировать неожиданную, но «полную» благосклонность.

Так что из этого всего, воля ваша, как-то неизбежно вытекало, что наш хозяин и точно как будто бы «дурак»...

И опять — в третий раз — повторяю, что все это были чудесные ребята, и пусть в них бросит первый камень тот мужчина, который сам чист.

Сомневаюсь, много ли наберется камней.

Перейдем теперь к нашему управляющему.

Мимо него прошли уже сотни горняшечек.

За половиной из их числа он «ухаживал».

И, несомненно, всегда с успехом.

Ибо, не говоря уже о легкомыслии, расположить к себе управляющего справочной конторой — важно и выгодно.

Иногда, вероятно, управляющий встречал и суровость.

И, несомненно, решал:

— Ломается.

В девяти случаях из десяти «неожиданно встречал полную благосклонность».

Гадко ли поступал он во всех этих случаях?

Гм... Он поступал, как очень многие порядочные люди.

И все его преступление заключается в том, что он наконец нарвался.

<sup>1</sup> Ничья вещь (*lat.*).

В девяти случаях из десяти удавалось. Как же было ему не привыкнуть к мысли, что все это — жеманничанье?

И вот он попал как раз на тот десятый случай из десяти, которого никак не мог предусмотреть...

Я, конечно, не отрицаю, что этот управляющий, если факт верен, есть гадкое животное.

Но хочу еще раз указать на то, что гадких животных много, очень много.

И вчера еще мы, может быть, подавали ему руку и признавали его совершенно порядочным человеком.

Хотя и знали стороною, что он балуется с горничными, — да кто же с ними не балуется.

Только та разница, что у нас у каждого по одной горняшечке, а у него их сотни.

Этот управляющий есть гадкое животное, но, pardon, он не хуже и не лучше нас. Он только попался.

И теперь ему, вероятно, «влетит», но мы-то останемся на свободе, — и не упадет, будьте спокойны, не упадет наше славное знамя грязного цвета с девизом:

«Можно»...



Господа файгисты издают журнал.

«Зарницы. № 1-й. Второй год издания. Под цензурой преподавателя такого-то».

Тетрадка очень чисто ремингтонирована и, очевидно, отпечатана на гектографе.

Дело хорошее.

Если это уже второй год издания, то можно думать, что оно и хорошо ведется.

Хотя, сказать по совести, из 1-го номера этого не видно.

Он не особенно интересен.

Правда, на то он и 1-й номер.

Я помню из своей практики, как трудно было собирать материал для первого выпуска ученического журнала.

Первый шаг в этих вещах особенно труден.

Чем дальше, тем будет лучше.

Отдел «критики», обещанный юной редакцией в предисловии, много поможет оживлению журнала.

Особенно, если в него включить и самокритику.

И для этой самокритики я позволю себе уже предложить две темы.

Первая — это начатое в журнале чье-то путешествие из «Одессы в Читу».

Автор пишет в таком роде:

«Доехал до Казатина. Хороший вокзал. Закусил. Поехал дальше. Лег спать. Ничего не видел. Продолжение следует»...

А вторая тема — следующие строки из предисловия «от редакции»:

«Журнал наш будет выходить только раз в две недели, так как мы должны посвящать ему только свои досуги, но никак не время, предназначенное для занятий»...

Весьма благонаравно, но стиль-то, стиль — для учеников VI и VII класса как будто даже немного конфузный...



Не могу согласиться с мнением автора вчерашних «Заметок» в нашей газете.

Заслуг госпожи Лубковской я, конечно, не отрицаю и не умаляю.

Но думаю, что успех драме все-таки создала не антреприза, а исполнители.

Три новинки повысили сборы: «Мученица», «Монна Ванна», «Мещане».

«Мученица» есть просто-напросто зрелище.

Постановка ее со стороны антрепризы есть удачный ход, но не больше. С принципиальной точки зрения, эта пьеса есть нечто, близкое к нулю.

Остаются «Мещане» и «Монна Ванна».

«Мещане», которые плохо принимаются публикой даже у Станиславского (у Станиславского!)

И «Монна Ванна», которая не имела успеха в Париже, провалилась в Берлине, провалилась в Петербурге и провалилась в Киеве.

А у нас «Монна Ванна» и «Мещане» имели огромный успех. Что ж, разве антреприза создала им огромный успех?

Г-жа Лубковская поставила эти пьесы. Верно.

Но хотел бы я посмотреть, как повысились бы сборы Городского театра, если бы труппа провалила «Монну Ванну» и «Мещан».

А провалить было легко. В столицах проваливают!

Г-жа Лубковская энергична, чутка, исполнена лучших намерений.

Все это вне спора.

Но будем справедливы: успех драматического сезона создан труппой.

*Altalena*

*Одесские новости. 2.11.1902*



## **Вскользь**

### **НУЖНО ЛИ СЧАСТЬЕ?**

Я заинтересовался этим вопросом на последнем четверге. Мне казалось, что этот вопрос тогда прямо висел в воздухе. Между тем его никто не замечал и не подымал.

И все говорили только о том, в чем счастье и какие пути ведут к нему.

То есть исходили сразу из того, что счастье нам, людям, нужно и необходимо.

Автор «Диалогов», обсуждавшихся в тот вечер, вывел перед нами несколько лиц разного настроения.

У каждого из них — свои взгляды, непохожие на взгляды другого.

Но общее, единственное общее в их несхожих взглядах и есть именно то, что все они, по воле автора, допытываются:

— В чем счастье?

И только по-разному отвечают на эту загадку.

Общественник Аронсон говорит:

— Счастье личности — в работе для счастья общества.

Индивидуалист Челпанов говорит:

— Моя душа не может найти счастья вне полного развития всех порывов и позывов моей личности.

Дедов говорит еще что-то третье, Клермонт говорит четвертое, Ладов говорит, Зосимов говорит, все говорят, говорят, говорят об одном:

— Как найти счастье?

Интересный спор, но вместе с тем бесцельный, бесполезный спор.

Испокон веков спорят миллионы людей о том, как найти счастье.

И каждый предлагает свой особенный рецепт.

И никто еще никогда не сварил себе каши по этому рецепту.

Химера...

Нет, господа, людям не нужно счастья.

Не к счастью должен вести нас прогресс, не за счастье должны мы бороться, не о счастье должны мы мечтать.

Вдумайтесь в это слово:

— Счастье.

К бедняку прибегает мальчик из банкирской конторы, где заложен его лотерейный билет, и говорит:

— Вы выиграли двести тысяч.

И бедняк ощущает тот внутренний взрыв, который называется «счастьем».

Но подойдите на улице к господину, у которого те же двести тысяч лежат в банке.

— Вы счастливы?

Он даже не поймет, почему, собственно, вы подошли именно к нему с этим вопросом, почему вы полагаете, что именно у него есть причина быть счастливым?

Счастье, по природе своей, есть момент.

Жизнь наша есть движение воли, рвущейся к осуществлению.

Тот момент, когда воля достигает осуществления, сопровождается приятным ощущением, которое мы называем счастьем.

Как движущийся смычок, прикоснувшись к струне, вызывает звук, так движущаяся воля, достигшая своего осуществления, вызывает счастье.

Счастье — это нота удовлетворенной воли.

Но когда воля удовлетворена, воли больше нет. Воля может жить до тех пор только, пока она еще не достигла своего осуществления.

А нет воли — не может быть и счастья, подобно тому, как и звук должен умолкнуть, когда смычок остановился.

Воля, достигая своего осуществления, умирает в нем и, умирая, дает искру, имя которой «счастье».

Но это — одно мгновение. Воля умерла, значит, электрический ток прекратился. Искра должна мгновенно погаснуть.

Счастье роковым образом осуждено на смерть в момент своего рождения. Жизнь его — секунда.

После этой секунды еще на несколько мгновений душа сохраняет приятное ощущение, подобно струне, которая дрожит, когда смычок уже оторвался от нее.

Но долго ли звучит струна, от которой оторвался смычок? Еще два или три лишних мгновения. Что они значат в сравнении с человеческой жизнью?

Счастье не может скрасить человеческой жизни, как несколько роз, там и сям разбросанных, не украсят большой песчаной пустыни.

Счастье не красит жизни, но мало того: счастье убивает жизнь, или, вернее, счастье — это «смерть жизни».

Потому что жизнь есть воля, стремление, борьба.

Сумма моей жизни слагается из нескольких стремлений. Уничтожьте их — и нет моего я, и я не живу более.

И вот, когда одно из этих стремлений исполнилось, вспыхивает во мне счастье.

Но ведь это стремление, исполнившись, тем самым прекратилось! Значит, исчезло одно из слагаемых моей жизни! Убыла часть моей жизни!

Мы должны дорожить полнотою жизни. Чтобы в ней было как можно больше стремлений, желаний, борьбы.

К чему же нам мгновения счастья, из которых каждое вычеркивает у нас одно стремление, одно желание, одну арену борьбы и приближает нас к той полной остановке движения воли, которая называется смертью?

Радость жизни, удовлетворение живого человека — вовсе не в мгновениях счастья, не в этих крышках, которыми прозаически прихлопывается то, что за минуту еще жило и стремилось.

Радость и красота жизни — в могучем ходе ее процесса, в вечной и смелой войне с препятствиями, в стремительной, дух захватывающей скачке.

Мгновения счастья — это десерт, который может быть приятен. Но удовлетворение дается не десертом, а сытными фундаментальными блюдами обеда.

Сытное блюдо, которого мы должны жаждать, — это сама жизнь: жизнь как движение, многосторонняя, многозвучная, *полная кипучей работы*, ибо только в работе расправляются крылья личности.

Людам не нужно счастья. Людам нужна только благородная усталость.



Чтобы каждый вечер, придя с кипучей работы, человек мог сказать себе:

— Я потрудился и устал.

И вечерний отдых его будет полон могучего и гордого покоя.

И этот покой будет настолько же роскошнее и возвышеннее счастья, насколько царственное отдохновение льва, неподвижно лежащего на скале, возвышеннее и роскошнее суетливой радости веселого щенка.

Как искусство для искусства, так жизнь для жизни, а не для счастья.

**Altalena**

*Одесские новости. 3.11.1902*



## **ВСКОЛЬЗЬ**

### **О ЦИНИЗМЕ**

Некто, подписавшийся инициалами «В. Д.», укоряет меня: «Ваш фельетон о *горняшечках* ужасно циничен. Удивляюсь, как это он нашел место в серьезной газете».

Я очень люблю получать письма с порицаниями.

В чем задача газетного рабочего?

Ведь не в том, чтобы давать читателям поучения и требовать:

— Соглашайтесь! Следуйте беспрекословно!

Задача газеты, по-моему, совершенно обратная.

Будить мысль читателя, расшевелить его, вызывать на спор.

И не для того вызывать на спор, чтобы непременно в конце концов переубедить его и заставить думать по-нашему!

Нет! Пусть лучше каждый человек думает по-своему.

Но спор полезен и нужен потому, что он, как гроза летом, освежает застоявшуюся мысль.

Спор расширяет наш кругозор. Мы можем остаться после него при нашем мнении, но мы поняли и мнение противника.

Вот почему я так люблю письма с возражениями.

Ничего не имею даже против того, что эти возражения принимают иногда форму порицаний.

Что вместо простого «я с вами не согласен» иногда пишут:

— Как вы смеете писать вещи, с которыми я не согласен!

Я и против этой нетерпимости ничего не имею.

Суть ведь все-таки в том, что кто-то «не согласен». Это для меня самое интересное.

А что до негодования: «как я смею» — это только форма, неуклюжее обывательское *façon de parler*<sup>1</sup>.

И оно ничуть не мешает мне любить такие письма и очень часто — как читатель вспомнит — давать им приют у себя же в фельетоне.

Но... не без исключений.

Спорить приятно, это правда, но иногда, знаете, вырвется такой оппонент, что станет, пожалуй, и неприятно.

Вот письмо с инициалами «В. Д.». Я прочел его с очень неприятным чувством.

Не слово «цинизм» меня покорило.

Но покорила меня внутренняя физиономия неизвестного автора письма, выглянувшая из-за этого слова.

Как она ясна и понятна из этого одного слова!

И в своей ясной понятности — какое тяжелое впечатление производит эта внутренняя физиономия!..

Думается невольно:

— Неужели таких много?

И сам себе отвечаешь:

— Да, вероятно, немало...

Слушайте же, многоуважаемое В. Д., — я хочу дать коротко и ясно ответ на ваш вопрос.

Почему мои слова о «горняшечке» нашли приют в серьезной газете?

А вот почему.

У нас, работающих над газетой, которую вы читаете, среди массы нерешенных вопросов и сомнений, созданных противоречиями жизни, есть одно незыблемое убеждение, один твердо решенный вопрос, не допускающий ни сомнения, ни колебания.

Этот принцип:

— Надо исправить среду, чтобы исправить человека.

О чем бы мы ни писали, мы помним этот принцип.

О какой заминке или порче в колесах общественного механизма ни писали бы мы, мы всегда напоминаем себе и вам:

— Эта порча, эта заминка — не случайность. Это неизбежность, потому что весь механизм не хорош.

---

<sup>1</sup> Манера выражаться (*фр.*).

И особенно помним мы это, когда пишем о преступном человеке.

— Нет преступника, — говорим мы, — есть несчастный продукт несовершенного, неупорядоченного общества.

И вот перед нами казус.

Миловидная горничная ищет работу.

Управляющий справочной конторы делает попытку воспользоваться своим положением для грязных целей.

Может быть, для вас, многоуважаемое В. Д., все содержание этой гадкой истории заключается в слове:

— Негодяй.

И в статье такой-то.

Но для нас ее содержание шире.

Для нас эта гадкая, но обыкновенная история — не больше, чем маленькая иллюстрация к большому тексту.

В этом большом тексте говорится о десятках тысяч таких «миловидных девушек», об их бесправном и беззащитном положении, об их грошовом заработке, об их невежестве и о том, во что превращают этих бедных «миловидных девушек» условия, в которых они живут.

Мы распахнули перед вами одну из страничек этого большого текста.

Именно ту, где говорится о беззащитности «миловидной девушки».

И о том, как смотрит на нее любой мужчина, имеющий над нею власть: хозяин, «панич» или управляющий справочной конторой.

И, негодую на этого управляющего, мы еще громче негодовали на среду — на общество.

Потому что такие казусы, по нашему мнению, неизбежны, пока не изменится грязный и вседозволяющий взгляд большинства на «миловидную девушку», нанимающуюся для уборки комнат.

Вы, г-н или г-жа В. Д., могли бы на это возразить, что мы оклеветали общество, что такой взгляд на «горняшечку» в нем совсем не распространен.

Тогда бы мы с вами охотно и мирно заспорили, как вообще спорят с достойным оппонентом.

Мы бы вам указали на то, какая масса бывших горничных в домах терпимости, и на то, что большая часть из них в качестве первой причины своего падения называют обычно «панича».

И это было бы достаточным ответом на ваше возражение.

Но ведь вы совсем не возражаете! Вы не защищаете ни общества, ни кого другого, вы просто пишете:

— Какой цинизм!

И нам остается только развести руками и спросить:

— Кто вы такой? Что вы за тип?

Ибо вы — любопытный тип.

Вам говорят с ужасом в тоне, что вокруг нас много гадкой грязи, от которой надо во что бы то ни стало избавиться.

А вы отвечаете:

— Цинизм.

Изо всех наших слов вы не поняли ничего, кроме «сюжета».

Нам этот «сюжет» казался ужасным. Вы нашли его сальным, как иные прочие находят сальной медицинскую книгу.

Что же на вас за очки, что вы ничего, кроме сала, не видите?

Где дрессировалось ваше внимание, что оно способно обращаться только на «пикантное» — и не замечать ни цели, ни смысла, ни тона читаемых вами строк?

С кем вы разговаривали всю жизнь, что разучились улавливать всякие мысли, кроме нечистых?

С вами говорят о болезни, а вы отвечаете:

— Цинизм.

Хорошее словечко.

Вы этим словом думали обвинить нас, но на деле это слово есть целый обвинительный акт против вас же.

А мы?

Мы таких словес не боимся.

Мы хорошо знаем, что человек любит годами сидеть по горло в грязи и не замечать ее, а когда вы ему крикнете:

— Любезный, да ты утопаешь в грязи! — он сделает гримасу и скажет:

— Какой цинизм!

И пусть говорит.

А я буду сознавать, что я, не желающий молчать, когда вижу грязь, во сто раз брезгливее и чище его, плавающего в грязи невозмутимо.

Сознаю это и —

*С меня довольно  
Сего сознанья...*

**Altalena**

*Одесские новости. 7.11.1902*

  
**Вскользь****ОТКРЫТИЕ НОВОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА**

Весь вопрос в том, насколько серьезно взялся г-н Киселевич за это дело.

Я лично думаю, что вполне серьезно.

Если это так, я не вижу причины, почему бы не предсказать ему успеха.

Слышны мнения, что «художественный» репертуар à la «Дикая утка» повредит, потому что тамошняя публика его не оценит, а мы, живущие в центре города, часто ездить на Дальницкую не можем.

Но ведь репертуар à la «Дикая утка» прежде всего ужасно немногочислен.

К нему на русском языке можно причислить еще пару пьес Ибсена, да Гауптмана, да четыре драмы Чехова, да больше ничего.

На одном этом репертуаре вообще далеко не уедешь.

Играть нужно каждый вечер.

Ясно, что фундаментом дела волей-неволей все-таки окажется репертуар, так сказать, «обыкновенный».

И в этом нет ничего печального.

«Обыкновенный» репертуар совсем не значит:

— Мелодрама и фарс.

Обыкновенный репертуар — это Островский, трилогия Толстого, Зудерман, классики русские и иностранные, большая часть удачных новинок, вроде «Детей Ванюшина», «Лишенного прав», «Флаксмана», мало ли что!

Всего этого публика окраин еще не видала.

При условии порядочного исполнения — все это и привлечет ее, и принесет ей большую пользу.

И наряду с тем — не будет никакой необходимости отказываться и от культивирования «художественного» репертуара.

Одно другому не мешает.

Новой драме можно отвести известные две недели.

При интересном выборе и удачном исполнении этих образцов драматического modern style<sup>1</sup> — и «центральная» публика не поленилась ездить время от времени на Дальницкую.

---

<sup>1</sup> Современного стиля (англ.).

Вдумчивость и настойчивость, без сомнения, обеспечат делу успех.

От кого-то я слышал:

— Вряд ли удастся заманить тамошнего обывателя даже «обыкновенным» репертуаром. Он так привык к своим маленьким аудиториям...

Не думаю.

На окраинах есть своя интеллигенция, не столь отшлифованная, как в центре города (впрочем, она и в центре не ахти как отшлифована), но не менее нас жаждущая хорошего театра.

Оттого она и посещает так усердно всякие аудитории.

Но с настоящим, правильно поставленным театром эти аудитории конкурировать не могут.

Я ведь знаю эти аудитории.

Там только ленивый не играет.

Все, что есть среди моих знакомых косноязычного, картавого, безголосого, — все, кого ни спроси, отвечают:

— Как же! Я выступал на Пересьши. Играл Карла Моора. Огромный успех!

Скажу вам больше.

Несколько лет тому назад я, ваш покорный слуга, чуть-чуть не поставил в одной из этих аудиторий спектакль под собственным «режиссерством».

Честное слово.

Я еще был тогда гимназистом, и в жизни не то что не играл — даже за кулисами не бывал.

Моя «труппа» тоже обучалась в разных гимназиях, женских и мужских, и тоже за кулисами ни разу не бывала.

Это было в начале осени. Мы ужасно скучали — и решили «сыграть».

Устроили заседание для выбора пьесы.

И выбрали!

Из г-на Мясницкого.

Прочли эту трагедию вслух и, так как нам при этом было очень смешно, заключили, что публике, когда мы будем играть, и подавно будет смешно.

А потом выбрали двоих повыше ростом — и отрядили.

Депутаты сели на конку и поехали.

Ехали, ехали, ехали.

И доехали.

Звонят. Выходит сторожика.

— Где заведующий аудиторией?

— А вот напротив есть трактир — видите? Зайдите на чистую половину и спросите хозяина.

— Ну?

— Он и будет заведующий.

Депутаты пошли и разыскали заведующего.

— Что, господа, сыграть у нас хотите?..

— Да.

— Это воскресенье занято. Следующее свободно.

— Жарьте следующее.

— Можно. Составьте афишу.

Депутаты написали на листе бумаги такие вещи:

«В воскресенье такого-то дня такого-то месяца и года кружком любителей драматического искусства представлено будет»...

— А пятнадцать рублей возьмем с вас вперед, — предупредил заведующий. — В обеспечение наших расходов. Если сбора не будет.

— Хорошо. Во вторник привезем.

И поехали домой.

Начали репетировать.

У меня троюродный брат — театральный репортер, так мне и сказали:

— Будете режиссером.

И я стал режиссировать.

Говорил:

— Станьте направо.

— Произнесите это с большим выражением!

— Выньте палец из носа...

Бог сжалился над несчастной публикой: у нас не набралось и половины 15 рублей.

А не то, как пить дать, сыграли бы! Ведь «сей возраст жалости не знает».

Это было не вчера, но и не так уж очень давно.

Имею основания думать, что больших перемен за этот промежуток времени не произошло.

Так что о конкуренции этих аудиторий с новым театром и говорить было бы смешно.

Г-н Киселевич начинает свое дело при лучших условиях: население окраин давно мечтает о хорошем театре, а серьезных соперников нет.

Все данные для успеха налицо; единственное, что еще нужно, это, повторяю, вдумчивость и настойчивость.

*Altalena*

*Одесские новости. 8.11.1902*



## **Вскользь**

На литературных четвергах бывает почти по 400 человек публики.

А ораторы всегда почти те же — около десятка.

В прошлый четверг они, и в будущий они же.

Разнообразие только в том, что на прошлой неделе г-н Икс говорил первым, а на будущей неделе он же выступит пятым.

Вся остальная публика интересуется, шепотом поверяет друг другу замечания, а говорить вслух боится.

Нехорошее качество — робость.

Разве непременно нужно произнести речь?

Вполне достаточно сказать несколько слов, лишь бы к делу.

Это даже лучше.

Потому что постоянные ораторы «Литературки», наоборот, говорят в избытке, но не очень к делу.

Докладчик доказывает:

— Белое белее черного.

Первый оппонент отвечает ему речью на тему о том, что черный цвет есть, собственно, отсутствие цвета.

Что дает уже повод второму оппоненту заговорить о спектральном анализе.

Линия, по которой движется ассоциация идей, весьма прихотлива: пятый оппонент, глядишь, уже трактует о средней школе, а шестой возражает ему прочувствованными словами о положении безлошадных мужичков в Солигаличском уезде.

А седьмой лучше всех: седьмой извлекает из кармана «возражение», заготовленное дома передним числом, и публике преподносится второй реферат...





О «Мысли» Андреева я думаю, что в этом рассказе нет противоположения мысли — чувству.

Керженцев, напротив, человек, обуреваемый целым ураганом разнообразных чувств, которым он вовсе не противится.

Но это не мешает ему быть типичным блудником мысли.

Лучшее определение всякого разврата дано, по-моему, Львом Толстым.

Всякий разврат, духовный или телесный, начинается там, где кончается естественное влечение и начинается влечение искусственное, взвинчиваемое нарочно.

Толстой называет это смакованием.

Пока я ем для утоления голода, нет ничего дурного в том, что я наслаждаюсь приятным вкусом пищи.

Но если потом, уже не чувствуя аппетита, я постараюсь нарочно вызвать его, чтобы еще раз испытать приятное вкусовое ощущение, — это будет «смакование», то есть излишество, искусственное взвинчивание, начало разврата.

То же самое и с мыслью.

Мысль — это орудие, которым человек ведет борьбу за существование. Андреев прекрасно сравнивает ее со шпагой.

Шпага эта свята, и искусство владеть ею драгоценно, пока длится их служебное назначение — помогать человеку продираться вперед через давку жизни.

Но когда мысль становится бесцельным спортом, когда ей отдаются просто ради удовольствия, доставляемого «умственным фехтованием», — это такой же разврат, как самое обыкновенное донжуанство.

Людей, тождественных доктору Керженцеву, я в жизни не встречал.

Но отдельные черточки, свидетельствующие о распутстве мысли, бросаются в глаза на каждом шагу.

Если доктор Керженцев еще не есть портрет многих из нас, то во всяком случае он — схема болезни, которая пустила среди нас глубокие корни и скоро сделает из нас портреты доктора Керженцева.

В этом смысле Керженцев есть предостережение.

Предостережение против излишества мысли.

Но не призыв к чувству.

Наша болезнь не в том вовсе, что мысль задушила чувство.

Нет, то, что задушено уродливым ростом мысли, — шире, чем чувство.

Это сама жизнь.

Интеллигент живет теперь не впечатлениями жизни, а одними колебаниями мысли.

Вот в чем горе.

И нет нужды проповедовать возрождение чувства: достаточно требовать «сокращения» мысли.

Вырвите только с корнем тот излишек ее, который глушит ростки живой жизни, — и эти ростки сами собой окрепнут и подымутся.

Борьба против обжорства мысли, против запойного книжничества интеллигенции — вот задача.

Вам на это ответят:

— Как! Вы против книги! Вы забываете, что в народе столько-то процентов неграмотных! Надо проповедовать книгу, а не упразднение книги!

Но вы не смущайтесь. Ибо то народ, а то интеллигенция.

Людям, доедающим десятое блюдо и допивающим десятый бокал, мы говорим:

— Стыдно столько глотать. Долой все это мясо со стола!

И они возмущаются:

— Как! Вы говорите «долой мясо»? Да знаете ли вы, что мужички годами не видят мясного куска? Надо пропагандировать употребление мяса, а не кричать «долой мясо»!

На такие резоны не отвечают. Пожмите плечами и продолжайте ваше дело.



Это любопытно.

В газете «Театр» некто пишет о «Монне Ванне»:

«Успех пьесы в значительной степени объясняется... появлением Ванны в полночь в палатке Принцивалле обнаженной и прикрытой одним лишь плащом. Эта пикантность...»

Какие есть сообразительные люди на земле! Просто удивительно.

Многое можно было бы возразить на это.

Но мне не хотелось бы возражать от себя.

Это касается всей нашей публики.

Той самой, для которой мы так хлопочем о русской драме, доказывая, что в ней «назрела необходимость» и так далее.

Ан, оказывается, вот какая потребность назрела...

Публика — это сфинкс.

Никогда нельзя знать, что она думает, чем она руководствуется.

Позвольте же хоть раз узнать от нее самой, чем она руководствуется и что она думает.

Напишите мне, читательница и читатель.

Напишите пару строк, без подписи, измененным почерком, шиворот-навыворот, как вам угодно.

Только бы откровенно!

Вот мой вопрос:

— Что вас привлекает в «Монне Ванне»?

Я буду ждать ответов, и потом мы побеседуем о результатах.

Посмотрим, правы ли эти Савонаролы тутошнего производства.

Точно ли публика наша ценит Фидию и Праксителя с точки зрения «пикантности».

Или же, наоборот, сам Савонарола развязно распространил на всю публику свое собственное «художественное» впечатление.

Я полагаю, что так оно и скажется. А впрочем, увидим.

**Altalena**

*Одесские новости. 9.11.1902*



## **Вскользь**

Есть детская книга «История кусочка хлеба».

Я ее не читал.

Я получил ее при переходе в третий класс в награду за успехи и благонаравие и сейчас же, конечно, спустил букинисту за 75 к.

Но стороною слышал, что книга хорошая.

И мне хочется взять да написать тоже что-нибудь в этом роде.

Например, «Историю одной конфетки».

Пять часов утра.

Темно, как в чернильнице.

В это время нам с вами еще только вторые сны снятся.

Объята Севилья и мраком, и сном.

Только в Старорезничном переулке уже начинается жизнь.

Появляется фигура.

Навстречу ей — другая.

— Ты ли это, брат Крахмальников? — спрашивает первая.

— Да, брат Крахмальников, это я! — отвечает вторая.

— Не пора ли, брат Крахмальников?

— Давно пора, брат Крахмальников!

И братья Крахмальниковы, благословясь, открывают свою лавку, приговаривая:

— Кто рано встает, тому Бог дает!

Проходит день, приходит ночь.

Бьет 12 часов.

С последним ударом — слышится голос:

— Не пора ли закрывать, брат Крахмальников?

— Можно, брат Крахмальников, — благодушно отвечает второй голос.

И братья Крахмальниковы, благословясь, очищают кассу и закрывают лавку.

И, уходя, говорят продавщицам:

— Ну, идите, барышни, сосните. На то и ночь, чтобы спать.

Вот, собственно, и вся «история одной конфетки».

Эти барышни работают по 17–18 часов в сутки.

Бегают вниз и вносят наверх большие подносы со всякими сладостями.

Мы эти сласти покупаем и уносим домой.

Грызём и сосем сами и детишкам даем — и ничего. Желудок не болит!

Крепкие у нас с вами желудки.

А братья Крахмальниковы похлопывают кассой, приемля золото и серебро.

И от виноградников своих отпускают продавщицам милостивое жалование.

Согласно св. Писанию:

— Оному талант, оному два.

Одной барышне пять рублей в месяц.

Другой барышне шесть.

Иным даже семь.

А есть и такие, что даже и по восьми.

Нелегко, понятно, братьям Крахмальниковым так безбожно сорить деньгами.

— Моты мы с тобой, брат Крахмальников! — говорят они добродушно друг другу.

Но все же платят и не ропщут. Ибо от доброго сердца.

— Восемь, так восемь. Пусть! На то ведь она девица. Ей и кофточку, ей и шляпку, и на приданое надо... Бери, не жалеем — авось Господь Бог нам за нашу щедрость сторицей воздаст...

Отчего не воздать? Я, нижеподписавшийся, тоже думаю, что когда-нибудь да воздаст.



Вчера наконец шла «Дикая утка» в Драматическом театре на Дальницкой.

Мое искреннее впечатление таково:

— Как постановка это, без спору, лучше всего, что когда-либо видела Одесса в русских труппах.

Не в одних декорациях дело.

Декораций, собственно, и нет. Декорация — это что-то ложное, приблизительное, мишурное.

Здесь уже не декорация, а просто «обстановка».

Обстановка самой жизни.

Чердак бедного фотографа. Стекланный покатыый потолок, полусасыпанный снегом, обмерзший, освещенный то лунным, то дневным светом.

Черные занавески на проволоках.

Старая, с покосившейся трубою, железная печь.

Убогая желтая дверь сама затворяется невинным механизмом — кирпичом на веревке.

Стулья — какие-то невиданные, грубые, захолустные.

Полочки не намалеваны, а прибиты, и на них расставлена не намалеванная утварь.

В четвертом действии приносят саквояж Эждаля.

Это не тот саквояж, который мы привыкли видеть на сцене.

Тот блестел, как лакированный башмак.

Только в лавке да на сцене попадают такие свеженькие саквояжи.

Наш собственный, настоящий саквояж совсем не похож на эту элегантную игрушку.

Наш — потрепанный, посеревший, измятый.

И когда на сцену приносят саквояж Эждаля, вы с радостью узнаете доброго старого знакомого.

Ведь это он! Мой, наш, ваш саквояж, милый, старый, измятый, посеревший...

Все это мелочи, скажете вы?

Я не согласен.

Каждая такая деталь усиливает впечатление жизненности.

Воля ваша, но когда в самый трагический момент первый любовник показывает мне свои блестящие новенькие подметки, я не могу поверить, что он прошел сотни верст для своей возлюбленной.

Мы давно уже перестали испытывать даже намек на иллюзию в театре, хотя бы перед нами был величайший талант.

Чтобы возобновить иллюзию, необходимы все эти «внешние мелочи», которые к тому же вовсе не мелочи и не внешние.

Ибо даже подметить деталь — и то трудно, а перенести ее на сцену еще труднее.

Для этого нужно большое и совсем не внешнее чутье.

Но не в одной обстановке дело.

Главное — это сыгранность, хороший ансамбль.

Спевшийся хор, в котором не так важно качество отдельных голосов.

Видно, что каждому исполнителю ясна идея пьесы, ясно его собственное место и значение по отношению к этой идее.

Есть недочеты, есть промахи, но общее впечатление до того жизненно и свежо, что некоторые моменты, особенно второй акт, оставили нас положительно в восторге.

Будущее театра — несомненно, за этим — «художественным» — способом постановки, за инициативу которого Станиславскому поистине следует великое спасибо.

И распространение этой новой струи в провинции — есть дело прекрасное и достойное полного успеха.



Я получил уже ворох писем в ответ на мой вчерашний вопрос о «Монне Ванне».

Есть интересные.

Жду еще и повторяю вопрос:

— Что вас привлекает в «Монне Ванне»?

Это не просто любопытный вопросец, это важный спор о том, что такое наша публика и чего она ищет в театре.

**Altalena**

*Одесские новости. 10.11.1902*



## ВСКОЛЬЗЬ

### ПУБЛИКА И «МОННА ВАННА»

Напоминаю историю этого маленького плебисцита.

В здешней газетке «Театр» кто-то написал, что нашу публику в «Монне Ванне» привлекает главным образом «пикантность»: Ванна является к Принцивалле, прикрытая одним плащом.

Я усомнился, так ли это.

Чтобы не спорить голословно, я решил обратиться к самой публике с вопросом:

— Что вас привлекает в «Монне Ванне»?

Публикую полученные ответы.

Думаю, что нет причин сомневаться в искренности писавших.

Ведь никого из них я не знаю, за исключением двух или трех, подписавшихся полными именами.

Поэтому считаю себя вправе полагать, что полученные мною письма дают верную картину отношения одесской публики к «Монне Ванне».

Вопрос, собственно, сводился к дилемме.

Факт, что публику что-то влечет к этой пьесе, — неоспорим.

Остается только узнать, что именно влечет: художественность или «пикантность».

Одно из двух. Третьего ответа нет.



Вообразите, однако, что есть письмо, представляющее попытку дать третий ответ.

Подписано «Москвич».

Г-н Москвич видит весь секрет успеха... в рекламе.

Он пишет:

«После того как я прочитал пьесу в журнале, я положительно не остановил на ней ни на одну секунду своего внимания...

Итак, я шел в театр исключительно благодаря пущенному вами „буму“... после ваших звонко громких статей и всяких докладов в литературном клубе»...

Это, ей-богу, очень лестно для самолюбия журналистов, но с прискорбием надо сознаться, что это все чепуха.

Ибо о «Мещанах» писали и шумели уже давно и во сто раз более, и во всех газетах и журналах; и имя Горького для Одессы не то, что имя Метерлинка; и все-таки «Мещане» не имели того успеха, который выпал на долю «Монны Ванны».

Мы, пишущая братия, можем заставить публику прихлынуть в большом количестве на первое представление.

Но не на второе и особенно не на третье.

Потому что там уже судит сама публика. И если она с нами не согласна, то она просто нас не слушается и не идет в театр.



Прежде чем перейти к самой дилемме, даю отдельное место еще трем голосам из публики.

Отдельное — потому что эти господа удостоили меня своими ответами исключительно по недоразумению.

Я спросил:

— Что вас привлекает в «Монне Ванне»?

А они отвечают:

— Ничто. Нам «Монна Ванна» вовсе не нравится.

Зачем же вы потратились на марку?

Я и без того знаю, что есть люди, которым «Монна Ванна» не нравится.

Но ведь не эти люди создали ей успех в Одессе, а те, которым она понравилась.

И только к ним я и мог обратиться с вопросом: чем, господа, понравилась вам эта пьеса — своей «пикантностью» или своей художественностью?

Удивительно непонятливые люди бывают на свете!

Спрашиваешь:

— Отзовитесь: кто из вас был в Америке? Пусть он нам расскажет об Америке.

И вдруг на ваш вызов подымается человек.

Вы ждете.

И он сообщает:

— Я... не был в Америке.

Мерси за сведение.

Однако в этих трех письмах есть любопытные строчки.



В одном из них г-н Ф. негодует:

«Как могла Ванна не устоять перед соблазном и признаться Принцивалле в скотской любви к нему вместо того, чтобы убедить и его отказаться от варварского увлечения...

Пусть будет он лучшим другом ее жизни, но раз она — законная жена другого, то не может нарушить счастья своей половины, столь серьезно освященного духовенством...»

Другой автор смотрит на дело еще откровеннее:

«Публичный грех жены для освобождения народа? А муж-то здесь причем? Ему нет дела до народа. Ему вовсе не так улыбается имя роконосца.

Между тем все могло бы хорошо кончиться, если бы монна Ванна обошлась без этой широкой публичности... Чем громче поклонение толпы монне Ванне, тем позорнее головной убор ее мужа...

Шито-крыто, вот что требовалось...»

Третье письмо подписано «Неизвестный вам читатель».

Это — очень любопытное письмо. В другой раз я его целиком напечатаю.

Сегодня приведу только место, относящееся к драме Метерлинка.

«„Монны Ванны“ на сцене я не видел и не знаю, что из нее выкраивает Пасхалова, но я эту вещь читал и, с позволения сказать, считаю ее обычным французским „паскудством“. Высокие чувства могут проявляться и не в такой похабной обстановке...»



А теперь — о «пикантности».

По этому пункту высказываются около 30 писем.

И из них шесть — подтверждают мнение рецензента газеты «Театр».

Ровно шесть, из которых я считаю себя вправе выбросить половину.

В самом деле, эти три письма в счет не могут идти.

Полюбуйтесь:

«Вы спрашивали в вашем фельетоне, что тянет (sic) нас посещать пьесу „Монну Ванну“? Это — Сальность и Пошлость, которые так ярко выращены (sic) автором. А. В. В.»

Почерк неинтеллигентного человека, а орфографию вы сами видите. Если это не отклик из лакейской, то это — нарочитое фиглярничанье.

В обоих случаях такое письмо не может иметь значения.

Два других письма уже наверное носят характер фиглярничанья.

В одном из них некто «Тев.» — такой ученый господин, что даже пишет не «Монна Ванна», а «Monna Vanna», — объявляет:

«Я — поклонник Рубенсовских женских ног. Оттого я и пошел смотреть эту пьесу... Я разочаровался, ибо Тициановских женских ног я не люблю...»

А ведь пресловутый плащ — до самых пят! Этот остроумец, как видите, даже не был на представлении «Монны Ванны».

Третье письмо совсем клоунское.

Подписано И. О. Т. — на клочке бумаги, карандашом:

«Я посещаю театр очень редко, потому что не ставят ничего интересного, пикантного, вроде (забыл, как бишь эту пьесу?) „Дамы из шантана Максима“.

На драму „Монна Ванна“ я пошел только потому, что думал, что Ванна действительно явится обнаженной и что-нибудь произойдет, а ничего особенного не было. Она была покрыта вся! Это — неправильная постановка. Я протестую!..

Моя жена того же мнения, что и я, — мы ожидали большего...

Кстати, нельзя ли написать, что публика просит постановки более легких и интересных вещей, а не каких-то „Мещан“...»

Обывательское остроумие.

Впрочем, если это письмо принять всерьез, то из него можно вывести только приятное заключение: даже *такой* зритель не нашел в пьесе *ничего пикантного*...

Остальные три письма от пессимистов — совсем другое дело. С ними нельзя не считаться.

Одно гласит:

«Я совершенно согласен, что публика рассчитывает увидеть в „Монне Ванне“ нечто такое, что удовлетворило бы ее низменному вкусу. Это мое искреннее и глубокое убеждение».

Другое письмо:

«Я твердо и глубоко убежден, что рецензент „Театра“ скажет то, что все думали...»

Не беру на себя смелости утверждать, что вся поголовно одесская публика приходит смаковать момент появления Ван-

ны в плаще, но большинство: молодежь, семейные люди — 90 процентов из них смакуют именно этот момент.

Вы посмотрите эту публику дома — услышите, как чуть ли не сестер оценивают, с видом знатока, по формам бюста...»

Третье письмо — от «Гимназиста». Очень типичное по стилю письмо:

«Я — гимназист старшего класса. Находясь с большинством своих одноклассников в лучших отношениях, прекрасно знаю их мысли, интересы, нравственность... Думаю даже, что в этом случае я мог бы считать себя много компетентнее наших „опытных педагогов“...

Да... с грустью, с искренним сердцем смею вас убедить, что 99 процентов моих товарищей-гимназистов, бывших на представлении „Монны Ванны“, имели в виду исключительную цель: видеть Ванну обнаженной.

Грустная истина! Истина, перед которой больно, обидно...»

Без сомнения, обидно. Но смею напомнить г-ну Гимназисту, что 99 процентов его товарищей не составят даже 1 процент публики.

Впрочем, пусть отвечают этим пессимистам другие корреспонденты.

Г-жа N. N., признавая, что «лысая молодежь, разбитая подагрой», действительно и в Городской театр приносит с собою свои вкусы, пишет:

«Но не кафешантанной молодежью создается успех какой бы то ни было пьесы, Метерлинка в особенности. Взгляните на нашу галерею, которую наполняет симпатичнейшая часть театральной публики, и, увидев, с каким интересом смотрится пьеса здоровой молодежью, а не сладострастными глазами молодых старичков, вы поймете, что *людей* в „Монне Ванне“ привлекает не плащ...»

Г-н Бр-к-р пишет:

«Если мы хотим видеть голых женщин, то для этого существуют кафешантаны, рестораны и т. п.

А разве в литературном клубе, когда разбиралась эта пьеса, тоже пошли смотреть голую женщину?»

Курице просо снится...»

Г-н Д-ъ пишет:

«Автор все время „держит“ публику, заставляя ее с возрастающим интересом следить за ходом пьесы. А господин рецензент объясняет это... пикантностью!

Вы, почтенный писатель газеты „Театр“, видели в Ванне голые плечи и расширили свои зрачки, а я, как и, без сомнения, все зрители, видел на этих белых атласных плечах кровавые рубцы от ударов судьбы... Я видел душу, смущенную и раздираемую противоположными чувствами...»

Г-жа М. Б. утверждает, что заявление господина рецензента — «клевета», ибо совсем не в «плаще» приманка пьесы:

«Да, по-моему, — восклицает она, — вторая половина второго акта самая неинтересная для зрителя!»

Это — заметьте — пишет лицо, которое, как вы увидите ниже, в восторге от «Монны Ванны».

Некий «голос из толпы» высказывается так:

«Мне особенно понравился плащ Пасхаловой, поскольку более простоты, изящества, живописности в костюме римской матроны (каковым мне и представляется этот плащ), нежели в современных тренях и рюмочных талиях.

Что же касается „пикантности“, о которой пишет господин критик, то вернее всего было бы предположить, что этот господин обладает весьма расстроенным воображением, которое видит нечто „пикантное“ там, где глаз здорового человека не видит и намек на что-либо шокирующее».

Последнее место даю г-же N. N. номер 2-й, которая приводит поистине побивающее и исчерпывающее вопрос соображение:

«Из слов господина критика надо заключить, что *только* одесская публика любит „пикантность“, почему пьеса у нас и имела успех.

А парижане? А петербуржцы? Там пьеса прошла без успеха. Очевидно, они там не любят „пикантности“?»

Сим считаю вопрос о «плаще» исчерпанным.

И от себя прибавлю одно.

Какая это чудесная иллюстрация к андреевской «Мысли»!

Вспомните хорошенько этот самый плащ и его покрой.

Верно говорится о нем в одном из полученных мною писем:

«Ведь это обыкновенное бальное декольте и больше ничего! Даже маленькое декольте, сравнительно...»

Без сомнения, «пикантность», открытая господином рецензентом, не в костюме.

Пикантность — в *мысли*.

В мысли, что вот хотя Ванна вся прикрыта плащом и до конца пьесы так и останется прикрытой и «ничего не произой-

дет» — *но все-таки по тексту пьесы значится, что под плащом на ней нет одежды!*

— А вам-то что? Ведь вы этого не увидите?

— Что ж, что не увижу. Хе-хе, а оно все-таки пикантно — *сознавать*, что под плащом ничего не должно быть.

Какое ужасное блудничество мысли, в настоящем значении этого слова...



— Что же наконец привлекает публику в «Монне Ванне»?

На этот вопрос дает ответ большая часть писем.

Хороший, радостный для сердца ответ.

Видно из него, что в публике не иссяк еще вкус, чуткость, благородство духа.

Писем 15 указывают как на лучшее в пьесе на образ самой Ванны:

«Чистой, благородной Ванны, способной на высокий подвиг и самопожертвование», — пишет женским почерком один аноним.

«Женщина и в старые годы была способна принести огромную жертву для спасения своего народа — вот что привлекает меня в „Монне Ванне“», — гласит другое женское письмо.

«Меня захватила чистота, какой-то внутренний свет, который исходил от этого женского образа», — пишет «Читательница», сообщая далее: «Мне пришлось читать „Монну Ванну“ в обществе молодежи, и мы все сошлись на этом одном мнении...»

Во многих письмах виден более глубокий взгляд на драму — верное понимание ее идеи.

«Уход Ванны от Гвидо мне понятен, — гласит одно из таких писем, — где нет духовного родства, нет понимания души, там нет и настоящей любви. Тогда это не брак, а простое сожительство»...

Всего лучше и безыскусственнее это выражено в письме госпожи М. Б., которое я уже цитировал:

«По-моему, самое лучшее место в пьесе — которое так дивно проводит Пасхалова — это финальная сцена: монна Ванна должна солгать: заурядный Гвидо *не может* поверить ее правде»...

Указание на г-жу Пасхалову далеко не единичное. Г-жа Н. Н. прямо говорит:

«На вопрос, что меня привлекает в этой пьесе, отвечу: Метерлинк и Пасхалова. Первый по справедливости должен разделить свой успех в Одессе со второй»...

И здесь я перехожу к тем письмам, которые считаю лучшими.

Этих писем девять.

Я их считаю лучшими потому, что в них глубже всего и вместе с тем всего непосредственнее понятно, в чем главное обаяние и значение для нашего времени таких произведений, как «Монна Ванна».

Вот смысл их ответа:

— Такие пьесы уносят и окрыляют.

«Я — пожилой человек, — пишет некий „Херсонец“, — мне 28 лет, и я знаю жизнь во всей ее неприглядности. „Монна Ванна“ меня поразила. Во мне пробудились и с новой силой заговорили лучшие мои чувства».

Еще лучше другое письмо, написанное женщиной, но без подписи — одно из самых умных писем, какие мне случалось видеть в жизни:

«В этой пьесе есть то, что важнее всего: в ней есть способность подымать ваш дух, заставлять биться ваше сердце и хоть на несколько часов дать забыть о тех „ужасах“, которые вас окружают. Слушаешь, смотришь, кажется, все это знакомо, близко твоему духу, — а *размеры не те*.

Я ничего не имею против реализма и даже за него, но, право, надоело уже это питье чая и мытье чашек на сцене. Довольно возиться с этим целые дни, чтобы вечером вновь любоваться повторением домашних сцен.

Я не ищу внешних эффектов, и согласитесь, что возвращение Ванны, увенчанной цветами, приветствуемой народом и чудным старцем Марко, заставит трепетать сердце женщины, потому что какая же женщина не хочет подвига, не хочет видеть вокруг себя счастье, сотворенное ею!

А таинственная ночь, заглядывающая в палатку; а на фоне ее две стройные фигуры...

Как хотите, но наше бедное эстетическое чувство слишком уж обижено постоянным любованием всякими Иван Иванычами...

Мы слишком выросли для того, чтобы увлекаться фантазиями и тешиться сказками. Нам нужна действительность, но действительность прекрасная, а в „Монне Ванне“ она есть. Именно не прекрасный сон, а прекрасная действительность! Вот почему чувствуешь, выходя из театра, какую-то полноту,

какое-то удовлетворение. Это то, что, по-моему, делает бессмертным Шекспира: все естественно, не выдуманно, *но размеры не те...*»

Я закончу прекрасными словами одного из этих писем за подписью «Одинокий»:

«На меня, слабого, безвольного, задавленного бесцветными буднями жизни, „Монна Ванна“ произвела действие, подобное действию живительного, бодрящего напитка.

Как ценны прекрасные минуты подъема духа и как привлекательна пьеса, давшая такие редкие минуты...»

**Altalena**

*Одесские новости. 13.11.1902*



## **Вскользь**

— Что вы любите в Пасхаловой? — спросили меня.

Знаете вы, господа, в чем разница между трагедией и драмой?

Не думайте, что в драме меньше трагического, чем в настоящей трагедии.

Когда герои современной драмы плачут, им так же горько на душе, как героям античной трагедии, когда они рыдают.

Но разница в том, что трагедия рыдает, а драма плачет.

Трагедия дает яркий свет и черную тень — драма дает полутона.

Трагедия обнажает стихию во всей ее мощи — драма дает намек, отзвук, отдаленный зловещий рокот стихии.

Трагедия — не для нашего времени.

Слишком много мы знаем, слишком много мы видели своими глазами и глазами отцов и дедов; чтобы нас потрясти, нет нужды показывать нам ужас жизни во всей его огромности — нам достаточно одного штриха, одного намека, и мы все поймем.

Нам не нужно вопля, ярости, хрипения: по легкому, полуподавленному стону, по искре в глазах, по конвульсивному движению губ мы уже чувствуем горе, гнев, муку.

Трагедия давала извержение вулкана.

Драма показывает вулкан под пеплом. Нет ни грохота, ни огненной реки, ни тьмы среди бела дня, но земля уже вздрагивает подавленным трепетом, и все живое чувствует близко дыхание гибели.

Лава, не прорвавшаяся наружу, — вот символ и девиз современной драмы.

Я люблю многое в таланте госпожи Пасхаловой, но больше всего люблю в нем ту же глубоко современную черту — скованное пламя, лаву, которая не вырывается наружу.

Вспомните артистку в Марикке.

Ведь это — подкидыш пьяной литвинки, дочь полудикой среды.

Все ее чувства должны носить отпечаток некультурной природы.

Ее любовь к Георгу должна жечь, как раскаленное железо.

Ее ревность должна быть яростна и безудержна.

Ее ропот против судьбы должен быть исполнен мрачного бешенства.

Но вся эта буря затаена внутри.

Глубоко затаена: ни одно слово, даже ни один жест не должен выдать ее.

И слова не выдают, и жесты не изменяют.

И, тем не менее, я вглядываюсь в артистку и все время чую, слышу, вижу эту внутреннюю бурю.

Мимика, тон, легкая пауза, почти неуловимые и неопределимые оттенки передают чуткому зрителю этот неслышный, подавленный рокот скованного вулкана...

Подходит миг взрыва — и уже не то. Хорошо, но не то. Не в том главная сила этой оригинальной и ценной артистической индивидуальности.

Я дал бы этой индивидуальности определение — затаенного порыва.

Страсть, горе, жгучая обида, жажда счастья, ненависть — г-жа Пасхалова непобедимо передает их в утонченной форме затаенного порыва.

Вы их чувствуете, вы иногда содрогаетесь от того, что чувствуете, — но вы именно чувствуете, чувствуете, как чуется гроза в воздухе, а не видите зрением.

Эта артистка говорит непосредственно с вашим настроением, а не с вашими глазами.

И это, повторяю, глубоко современная черта, потому что вообще мы теперь предпочитаем намек и оттенок — определенности в рельефной окраске...

Бог весть, скоро ли мы опять увидимся с г-жой Пасхаловой.

Харьковская труппа приедет весной, но кто знает, в каком составе.



А будущей осенью — как знать, опять-таки, кто и откуда привезет к нам русскую драму и будет ли в этой труппе г-жа Пасхалова.

Бродячая судьба актера постоянно бросает его из Керчи в Вологду, и, собственно, роптать против этой судьбы несправедливо, потому что истинному искусству сам Бог велел кочевать по лицу земли, не забывая и не обделяя ни одного уголка.

Но грустно все-таки думать, что пройдет теперь много времени, прежде чем мы снова услышим со сцены голос, который так полюбили.

Прежде чем снова встретим шумными приветствиями артистку, которой гордимся отчасти как нашим созданием.

Потому что мы — наша любовь и наши овации — первые упрочили за г-жой Пасхаловой славу большого таланта и выдающейся, самобытной артистической индивидуальности.

Блестящая дорога ожидает еще это дарование впереди, но яркий расцвет его начался недавно: с осени 98-го года — с Одессы.

Вот почему, хотя северянка по рождению, артистка Пасхалова дорога для нас как духовное дитя нашего юга.

Пусть же и она не забывает о нас, сколько бы ни продлилась теперь наша разлука, — пусть хоть немножко, среди других рукоплесканий, сучает по нам и пусть испытает хоть малую долю нашей радости в тот вечер, когда мы снова увидим ее, нашу Пасхалову, при свете одесской рампы.

**Altalena**

*Одесские новости. 14.11.1902*



## **Вскользь**

После фельетона, где была сделана сводка ответам публики о «Монне Ванне», получилось еще несколько писем по тому же вопросу.

Из сводки — читатель соблаговолит вспомнить — вытекало самое отрадное заключение.

Только три голоса высказались за тот взгляд, что публику привлекала «пикантность» пьесы.

В то время как бесконечно подавляющее большинство (точная цифра — 70–75), отрицая всякую «пикантность», указывало как на причины успеха на художественные достоинства драмы и на ее идею.

Письма, получившиеся после сводки, подтверждают это заключение.

Их пятнадцать, и все в один голос протестуют против достойного утверждения рецензента газеты «Театр».

Три из этих новых ответов мне хочется отметить.

Если читатель вспомнит, я уже приводил выдержки из письма некоего г-на Москвича.

Г-н Москвич настаивал, что «все это — реклама».

Что никаких достоинств в пьесе нет, да и пьесы-то, собственно, никакой нету, а все реклама. Газетчики, мол, зазывают, а публика шла. Очень просто.

Среди аргументов г-на Москвича был и такой:

«Попробуйте спросить, кто из бывших раз на представлении „Монны Ванны“ пошел смотреть эту пьесу вторично? Увидите, что во второй раз никого и калачом не заманишь...»

На этот довод есть ответ в одном из последних писем:

«Я смотрел эту пьесу с неослабевающим интересом три раза», — пишет г-н Ив. К-цын.

В другом письме меня заинтересовала параллель между Принцивалле и юношей-технологом из «Бездны» Леонида Андреева.

Автор, г-н М. А., замечает:

«Современные отношения и отношения минувших веков отделяются глубокой пропастью.

В Сергее (так, кажется, имя студента в „Бездне“) зверь торжествует над человеком, в Принцивалле человек победил зверя».

Слишком внешняя параллель.

Мне кажется, что современность или минувшие века здесь решительно ни при чем.

Ибо в том-то и заключается *идея* «Бездны» (простите за неподходящий обывательский термин), что стихийный случай неожиданно вырвал юношу и девушку из культурной атмосферы.

Несчастье словно отбросило их на несколько тысяч лет назад, к эпохе пещерного человека.

Сергей поступил, как троглодит, не потому, что таковы «современные отношения», а потому, что обстановка этого происшествия вышибла его из современности.

Из третьего письма, принадлежащего г-ну И. М., я позволю себе привести довольно длинную выдержку.

«Я решил пойти в театр, — пишет г-н И. М., — думая, что идейное содержание этой пьесы освежит мою мысль.

Но, признаюсь, меня интересовало и то, красива ли будет на сцене женская фигура, прикрытая одним плащом.

Я не порнограф, и Гранд-отель меня не привлекает, но я неоднократно думал о том культе природы и красивого человеческого тела, который позволял грекам наслаждаться без стеснения видом Фрины.

Чувство это, знакомое людям эпохи Возрождения, ныне у нас доступно лишь одним художникам...»

И вот г-н И. М. описывает свои ощущения в театре:

«Благородная осанка, жесты, лицо, одухотворенное идеей, не позволяли мне думать о чем-либо низменном.

Глядя на сцену в палатке, я думал, что наше чувство стыдливости, возникшее на почве рабского подчинения женщины, есть чувство глубоко уродливое.

Когда монна Ванна отбрасывала несколько плащ и обнажала плечо, мне думалось, что если бы она совсем сбросила плащ, в моих глазах она не потеряла бы ореола девственности и духовной чистоты.

Смотря на монну Ванну, на драпировку ее плаща, на грациозные ее движения, я чувствовал какое-то веяние свободы, отваги, чего-то юного, свежего, победоносного, какой-то новой жизни. И я думал: если бы сцена чаще приучала нас к возвышенной, благородной пластике, мы привыкли бы отличать истинно красивое и, может быть, не были бы так развратны, ибо после „Монны Ванны“ дивы из кафешантана казались бы нам пошлыми...

И вспомнил я, как однажды вел я разговор с девушкой, сидевшей в смежной комнате.

Она не хотела выйти на балкон, так как была полураздетая.

Но затем, в пылу разговора, забывшись, вышла, и разговор продолжался, и я с наслаждением увидел ее полуоткрытую снежную грудь и шею, сверкавшую белизной.

Но в этом моем взгляде не было ничего чувственного, был лишь восторг и удивление.

Затем я сказал: наденьте плед, здесь холодно, — и моя монна Ванна закуталась в черный платок, и я любовался драпировкой...»

На этом заканчиваю плебисцит о «Монне Ванне» и, благодаря авторов писем за любезность, надеюсь еще не раз иметь поводы обращаться непосредственно к читателю за разрешением некоторых спорных вопросов, требующих referendum'a...



А г-н Знакомый недоволен.

Он находит, что мой плебисцит вышел неудачным.

Ну и пусть радуется.

Мне, само собой, абсолютно безразлично, что «находит» или чего не «находит» г-н Знакомый.

Но не нравится мне то, что г-н Знакомый, очевидно, совершенно забыл страх спасительный.

Он, который столько времени подряд и пикнуть по моему адресу боялся, вдруг начинает проявлять резвость.

На прошлой неделе сделал первый выпад, а теперь, глядите, и второй.

Честное слово, сейчас же после провала «Ладно» я сказал приятелям:

— Господа! Помяните мое слово: послезавтра Насекомый будет острить, что «Ладно» оказалось «Неладно», и при этом напишет, что пьеска шла «для съезда публики».

— Ну, — усомнились приятели, — этого и Насекомый не решится написать. Разве пьесы с участием Пасхаловой ставятся «для съезда»?

— А вот увидите, напишет.

И что ж: оказалось по-моему.

И «Ладно» — «Неладно», и «для съезда».

А я — ничего, промолчал. Пусть острит. Раз пьеса провалилась — это его право.

Но теперь, оказывается, из того, что первая попытка сошла счастливо, г-н Знакомый вывел заключение, будто можно и ноги на стол положить.

Ах, нет, г-н Знакомый! Не кладите ноги на стол.

Вы называете меня «конфрером»<sup>1</sup>. Это неправда: я вам не конфрер, да и вообще всему составу прислуги «Одесского листка» не конфрер.

Поэтому покорно прошу вас со мной не фамильярничать, помня прежние экзекуции.

Ведите себя тихо и не надоедайте.

Вы, конечно, можете ответить:

— Я что же! Я не виноват. Я человек служащий. Мне хозяин велит — ну, я и надоедаю...

Это, может быть, все так, но мне до всего этого дела нет.

---

<sup>1</sup> Собратом, коллегой (от фр. confrère).

Я вам благотворительствовать не желаю. Пусть вас хоть совсем сгонят с места, — но обо мне чтоб у вас в фельетонах ни звука больше не было.

Поняли? Вот вам и весь сказ.

А если хозяин очень уж пристанет, можете дать ему понять, что я, в случае чего, могу и ему посвятить ровно столько же теплых строчек, сколько и вам, следовательно, нет расчета и ему особенно горячиться...

**Altalena**

*Одесские новости. 16.11.1902*



## **Вскользь**

По вопросу о том, «нужно ли счастье», один читатель посылает мне следующие возражения:

«Вы говорите: „Сумма моей жизни слагается из нескольких стремлений. Уничтожьте их — и нет моего я, и я не живу более. И вот, когда одно из этих стремлений исполнилось, вспыхивает во мне счастье. Но ведь это стремление, исполнившись, тем самым прекратилось. Значит, исчезло одно из слагаемых моей жизни, убыла часть моей жизни“.

С этим определением жизни я согласен, — пишет мой оппонент, — но заключение вы делаете совершенно ошибочное. Вы упускаете из виду, что уничтожение одного слагаемого, то есть осуществление одного стремления, влечет за собой появление нового или даже новых.

Человек — существо ненасытное; он никогда не может сказать:

— Дайте мне то-то, и я буду счастлив, то есть мне ничего больше не будет нужно.

Нет, дайте ему одно, он захочет другого, дайте ему другое, он захочет третьего.

Хотя бы вот пример с бедняком, выигравшим 200 тысяч.

Пусть, по-вашему, он будет счастлив только на мгновение.

Но не забудем, что с появлением этих 200 тыс. коренным образом изменяются его жизнь, его привычки, — а это изменение повлечет за собой появление новых стремлений.

От минуты счастья „сумма жизни“ не убывает, она только изменяется в составе: на месте исполнившегося стремления сейчас же необходимо возникает новое.

Это одно, что я хотел вам сказать.

Дальше вы пишете:

— „Мы должны дорожить полнотой жизни. Чтобы в ней было как можно больше стремлений, желаний, борьбы“.

Но, по вашему же рецепту, мы ведь не должны стараться осуществлять эти „как можно больше стремлений“...

Значит, вы хотите сделать нашу жизнь несколько похожей на жизнь Тантала.

Ведь и у того было страстное желание сорвать плоды, висевшие над его головой: его жизнь была полна этим стремлением!

Однако вы первый, мне кажется, отказались бы от такой жизни...»

Я совершенно согласен с этим оппонентом, строчка в строчку, буква в букву.

Ибо я вовсе не то говорил, против чего он возражает.

Но я очень рад его возражению, потому что, может быть, вместе с ним и еще многие не точно поняли мои слова о том, нужно ли счастье, — и теперь есть повод и случай объяснить определеннее.

Дело вот в чем.

Конечно, когда осуществилось одно стремление, сейчас же должно возникнуть преемственное ему новое. Это — вне всяких сомнений.

И конечно, если бы человек, боясь «убыли суммы жизни», боялся осуществления своих стремлений, он никак не мог бы найти удовлетворения в жизни. Он не мог бы совсем работать, потому что — как говорит тот же оппонент в другом месте письма — «разве возможна *кипучая работа*, когда нет желания достигнуть цели?»

Но ведь я и не думал отрицать все это.

Я только стал на объективную точку зрения.

При мне шел разговор о том, как бы устроить так, чтобы человек был счастлив.

Я вполне признавал и признаю законность и необходимость этого разговора.

Ведь и по себе, и по другим я знаю, что в каждом человеке есть и должна быть жажда счастья.

Каждый человек хочет стремиться к своему счастью.

И вопрос, которым заинтересовался я, заключается только в том, что нужнее:

— Устроить ли так, чтобы человек мог *быть* счастлив, или так, чтобы человек мог *стремиться* к своему счастью?

И пришел к выводу, что нужно, собственно, не первое, а второе.

Поймите меня на этот раз хорошо.

*Субъективно* — счастье человеку нужно. *Объективно* — не оно, а деятельное стремление к нему — вот что нужно человеку.

С субъективной стороны вопроса, конечно, немислим такой человек, который не желал бы осуществления своих желаний. «Не желать осуществления своих желаний» — это даже звучит абсурдом.

Мой оппонент имеет в виду субъективную сторону дела.

Я же говорил объективно, как говорил бы человек, который, глядя со стороны, раздумывает:

— Что нужно дать людям?

И процесс рассуждений этого человека таков:

— Может быть, им нужно дать счастье?

Счастья они все хотят, да и должны хотеть, это неоспоримо.

Но, если бы выбор зависел от меня, дал ли бы я им (желая их блага) это счастье, которого они хотят и должны хотеть, или дал бы им нечто другое?

Да, я дал бы им нечто другое.

Ибо счастье есть то, что мы испытываем в момент осуществления нашей воли.

Поэтому оно мгновенно.

Поэтому оно не может заполнить жизнь удовлетворением: ведь если таких мгновений будет мало, они совершенно ступаются перед массой жизни, а если их будет много, мы перестанем их ценить.

Поэтому не в счастье главный вкус жизни.

Поэтому мгновенья счастья хороши и полезны только в смысле десерта, но главное питательное блюдо жизни — другое.

Главное питательное блюдо — деятельное стремление к счастью, дающее человеку — достиг он или не достиг цели — «благородную усталость».

«Чтобы каждый вечер, — писал я по этому поводу, — человек, придя с кипучей работы, мог сказать себе:

— Я потрудился и устал.

И вечерний отдых его будет полон могучего и гордого покоя».

И если на этом основном фоне время от времени вспыхнет минутка счастья, — тогда от нее не убудет «сумма жизни».

Потому что при таком «фоне» жизни действительно, как только осуществится одно стремление, народится новое...

Вы спросите:

— Какой же из всего этого практический вывод?

Вот какой.

Всегда, когда люди заговаривали о том, как устроить счастье, они приходили к печальным заключениям.

На определении счастья как феномена, сопровождающего смерть воли, построена целая могучая и гениальная теория пессимизма.

Если бы можно было устроить жизнь так, чтобы людям в изобилии было предоставлено то, что называется в тесном смысле слова «счастьем», — люди не перестали бы томиться неудовлетворенностью.

Отсюда уныние, апатия. Стоит ли человечеству стремиться к чему-то, когда все равно никакого добра из этого не выйдет?

Нельзя миновать самого безотрадного пессимизма, если исходить из того взгляда, что человеку для удовлетворения жизнью нужно счастье.

И только тогда сам собою рушится этот пессимизм, когда мы признаем главную прелесть жизни в наибольшей активности ее процесса — и скажем друг другу:

— Старайтесь устроить мир не так, чтобы человек был счастлив, а так, чтобы он мог стремиться к счастью. И благо нам будет.

*Altalena*

*Одесские новости. 19.11.1902*



## **Вскользь**

— Принц! Пришли актеры, — доложил Полоний г-ну Дальскому.

И вошли два господина, из которых один был загримирован Шекспиром.

Очень похоже — с одной только неточностью.

Слишком полный, свежий, откормленный Шекспир.

Смотришь на него — и кажется, будто он чем-то очень доволен.

И хочется спросить:

— Ты чему радуешься?

Ибо совершенно непонятно, чему тут радоваться Шекспиру.



Правда, г-н Дальский (хоть и он не совсем в ударе) хорош, интересен и эффектен.

Но ведь это — талант. Это от Бога.

Кроме Бога, есть ведь еще люди.

Люди, от которых зависит устроить Шекспиру приличную обстановку и вообще отнестись к нему так, чтобы видны были забота и уважение.

Бедному Шекспиру это уважение и эта забота были бы так же дороги, как и талант.

И никогда мы ему этого удовольствия не доставляем.

И вдруг он выходит на сцену в таком жизнерадостном виде.

Право, мне стало обидно и за Шекспира, и за нас.

Что же это такое, наконец!

Когда дело идет об опере, у нас тратят и деньги, и время.

Положим, бестолково тратят. Для «Тоски» устроили панораму Рима, которая похожа на Рим, как медведь на пятиалтынный.

С желтым куполом св. Петра — а купол на самом деле синий.

Как будто нельзя было выписать оттуда за три рубля раскрашенную фотографию.

Но все-таки деньги тратятся, и «Тоска» идет с шиком.

А чуть до Шекспира или Шиллера — стоп! Нет ни декораций, ни костюмов.

Ни заботливости.

Второе действие. Огромный зал, совершенно пустой. Посередине два стула, а на стульях король с королевой.

Нельзя было убрать зал хоть какой-нибудь мебелью? Поставить две-три статуи у стен?

Пусть эта мебель была бы другой эпохи, но видно было бы старание приодеть Шекспира хоть не стильно, да прилично.

Сцена на кладбище: совершенно пустое место, в кулисах намалеванные памятники, гладкий паркет и на нем могила, заботливо заслоненная двумя полотняными щитами, изображающими не то камни, не то бугорки.

У любого фотографа, снимающего дюжину за полтора рубля, можно было бы выпросить на день картонные камни, и то уж было бы приличнее.

А небось из «Роберта-Дьявола» кладбища не дали! Очевидно, жалели. Слишком роскошно.

По-видимому, предполагается, что Офелию хоронили в участке для бедных.

Что называется, похороны шестого класса...

А входы и выходы свиты!!

Опять-таки не в убогих костюмах дело.

Но, Бога ради, неужели так-таки никогда не обучат наших хористов входить, выходить и жестикулировать, не смеша публику?

Ведь сошла же у них довольно удачно в этом самом «Гамлете» сцена всеобщего смятения после представления «Убийства Гонзаго».

Отчего же в остальном такая небрежность?

Правда, можно в ответ сослаться на традицию.

Ибо есть действительно традиция ставить классиков Бог знает как.

— Это, мол, для артиста такого-то ставится!

То есть артист такой-то и должен вывозить.

И артист, если он так талантлив, как г-н Дальский, действительно вывозит.

Но этого мало.

Шекспир ставится вовсе не для г-на Дальского.

Шекспир ставится для нас.

И мы не желаем, чтобы его «вывозил» даже такой большой артист, как г-н Дальский.

Мы хотим, чтобы Шекспир у нас на сцене *шел, шел* с триумфом, а не был бы «вывозим», точно застрявшая телега.

Мы убеждены, что к предстоящей постановке «Отелло» это будет принято во внимание.

Талантливый гастролер, изучая и разрабатывая свою роль, чтит Шекспира.

Мы, публика, восторгаясь, тоже чтим Шекспира.

Пусть же и господин режиссер не отказывает Шекспиру в уважении.

**Altalena**

*Одесские новости. 20.11.1902*



## **Вскользь**

Говорят, г-н Молдавцев хочет писать новое «Обозрение Одессы».

Ах! Если бы он пригласил меня в сотрудники!

У меня в голове составилась уже план.

Всего плана я, конечно, ни за что не открою.

Но некоторые пикантные кусочки все-таки приведу. Не могу утерпеть, по мягкости моего сердца.

Вот, например, сценка в Литературно-артистическом обществе.

Зал битком набит. На крышке рояля сидят, свесив ноги, три девственницы-марксистки.

Референт:

— ...Итак, резюмируя все вышесказанное, я повторяю и настаиваю, что главное зло, от коего страдает наша школа, есть то однообразие, которое...

Заключительные слова покрываются аплодисментами.

Первый оппонент:

— Г-н референт взглянул на дело глубоко. Но лучше было бы, если бы он взглянул на него широко, ибо ширина шире глубины. Впрочем, это для вас слишком отвлеченно (*хихиканье*), почему я и постараюсь объяснить вам это на примере (*смех*). Когда Моисей вывел евреев из Египта, фараон запряг лошадей и погнался за ними (*смех*). Но допустим, что он бы за ними не погнался, и рассмотрим, что вышло бы из этого. И вот, если вы серьезно подумаете над этим вопросом, вам и станет ясно, в чем, собственно, ошибка господина референта.

Шумный успех: рукоплескания и звуки непринужденного веселья.

Второй оппонент:

— Не могу никак согласиться со взглядом на индивидуализм, высказанным предыдущим оратором. Это течение, которое, как известно, несмотря на то, что, хотя и...

Занавес.

А вот сценка в Пизе.

Гвидо Колонна из рода Пекаторос, главный управляющий городом Пизой (говорит строго и смотрит сердито):

— Ну что, был?

Марко — старик некогда болтливый, но теперь вымуштрованный:

— Был-с.

Гвидо:

— Ну и что? Опять с врагом отчизны о Платоне разговаривал?

Марко:

— Нет-с.

— А что ж ты ему сказал?

— Я ему сказал: мерзавец!

— А он что?

— Ты, говорит, сам мерзавец.

Гвидо, улыбаясь с довольным видом:

— Вот это я понимаю! Вот как должны беседовать между собою два врага! Ну а что дальше?

Марко:

— Он требует, чтобы монна Ванна пришла.

Входит монна Ванна — тоже вымуштрованная.

Гвидо:

— Жена! Слышала? Что ты на это скажешь?

Монна Ванна:

— Я, что же... Как тебе будет угодно.

Гвидо:

— Я тебе ни за что не позволю пойти к этому негодяю.

Марко, с робостью:

— Ты ставишь свое личное счастье выше спасения народа?

Но, сын мой, ведь это похоже на индивидуализм!

Гвидо, делая сердитые глаза:

— Марко, лишаю вас слова. Жена! Можешь идти к Принцивалле. Только оденься попримичнее.

Декорация меняется.

Перед палаткой Принцивалле.

Ночь.

Является монна Ванна. Костюм *tailleur*<sup>1</sup>, модный сак и розовый капор.

Монна Ванна приходит в шатер. Оттуда слышно, как она говорит Принцивалле:

— Подлец!

Тишина. На входе в палатку появляется надпись:

«Просят не входить».

Декорация меняется. Снова в Пизе.

Монна Ванна возвращается, ведя с собой Принцивалле.

Гвидо:

— Ну, жена, рассказывай, что произошло в палатке?

Монна Ванна краснеет и шепчет ему на ухо.

Гвидо, тоном г-на Борисова в роли Кулыгина:

— Я доволен. Я очень доволен. Ибо вижу, что на этот раз все вышло согласно логике и здравому смыслу!

---

<sup>1</sup> Английский дамский костюм (*фр.*).

И тут же закаляется, во имя здравого смысла.

Толпа хочет предаться ликованию, ибо покойник, обладая крутым нравом, давно ей надоел хуже горькой редьки, — но, вспомнив, как ей уже раз влетело за неуместное и нелогичное ликование, вытаскивает носовые платки и утирает глаза...



Выражаясь торжественно, на днях юный медицинский факультет нашего города делает свой первый выезд в свет.

По этому случаю барышни в большом волнении.

— Представь, Маруся, — говорят они друг другу, — я никак не предполагала, что медики умеют танцевать.

— Вообрази, Лидочка, и я не предполагала. Такой серьезный факультет — и вдруг «медицинский бал». Даже страшно!

— А у тебя есть знакомые студенты-медики?

— Есть один третьекурсник. Он даже за мной ухаживает. Но только он такой... Третьего дня хотел сделать мне комплимент и говорит: «У вас щечки горят и глазки блестят, как у туберкулезной!» И запонки у него в виде черепов с костями.

— Ах, как ужасно!

Ожидание огромное.

Самые разнообразные слухи о подробностях вечера.

Говорят, плясать будут под музыку «Danse macabre»<sup>1</sup>.

Затем, говорят, г-жа Мендиороз споет из «Травиаты»:

— Доктор! Помогите...

Далее, говорят, устроен роскошный киоск, где дамам будут бесплатно прививать оспу.

Предполагался даже киоск с вывеской: «Анатомический покой».

Но потом вспомнили, что это лишнее.

Ибо есть ведь старое учреждение — мертвецкая.

На этот раз мертвецкая, говорят, будет устроена с шиком.

Для каждого мертвеца будет отдельный стол.

Немедленно по обнаружении мертвеца он будет подвергнут секции<sup>2</sup>.

И специальный отряд летучей почты будет оповещать публику, от какой отравы кто умер.

---

<sup>1</sup> «Пляска смерти» (фр.).

<sup>2</sup> Вскрытию.

«Vinum campaniae cum aqua vitae monopoli...»<sup>1</sup> «Cerevisiae pilsenianaе vasa duo-decim cum britannica amara quantum satis<sup>2</sup> и даже более...»

Чем закончится первый медицинский бал — этого мне пока не удалось узнать.

Но я и без того знаю, чем он закончится.

Закончится тем, что в окна заглянет рассвет.

И молодые хозяева, и многочисленные гости тут только очнутся наконец от шумного веселья и заторопятся спать.

Да и во сне еще сохраняют на лицах приятные улыбки.

**Altalena**

*Одесские новости. 24.11.1902*



## **Русская мифология\***

О мифологии древних славян, если говорить о собственно мифологии, неизвестно почти ничего. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что главным божеством, царем всей земли и громовержцем был у них Перун, богом

<sup>1</sup> «Вино домашнее с казенной водкой...» (лат.).

<sup>2</sup> «Дюжина пльзеньского с английской горькой в достаточном количестве» (лат.).

\* О славянской мифологии подробно говорится как в крупном исследовании «*Russia, Polonia e Livonia*», переведенном нашим уважаемым другом и автором, профессором Д. Чамполи для итальянского издания знаменитого цикла трудов по всеобщей истории под редакцией Гильельмо Онкена (Милан, Societa Ed. Libreria, в 2 т., 2400 с.), так и в его собственной работе «*Il Mito delle Vile*», и особенно в его ценной монографии «*La letteratura russa nel Medio evo*» (Ланчано, Casa Edit. Carabba, 600 с.). Им же переведены многочисленные былины о старших и младших богатырях и произведения русских поэтов, навеянные образами устного народного творчества: «Русалка» Лермонтова и одноименное стихотворение Мея (опубликовано в нашем журнале), «Сказка о царе Берендее» Жуковского, «Алеша Попович» и другие баллады Алексея Толстого, а также широко известное «Слово о полку Игореве» с его элементами языческой мифологии. По данной тематике, помимо обширнейшей литературы на русском и немецком языках, можно указать на две работы, содержащие полезные сведения: по мифологии — «*Mithologie Slave*» Луи Леже, по героям эпоса — «*La Russie épique*» Альфреда Рамбода. (Примеч. пег. «*Roma Letteraria*»).

солнца — Дажбог, он же Хорс, а хранителем домашнего скота и покровителем пастухов — Велес. Вот, пожалуй, и все. Были еще гиганты-лешие, населявшие лесные чащи, седоволосые водяные, обитавшие на дне озер, и неуклюжие карлики-домовые, хозяева домашнего очага и коровника. В народных поверьях все эти существа живы и донныне. Нрава они довольно беззлобного. Это, скорее, проказники, любители подшутить над человеком, не причиняя ему, однако, вреда, если, конечно, он не вздумает грубить им и перечить. Самый добродушный и непривередливый из них — домовой: оставит ему хозяйка с вечера в укромном уголке немного молока, и он будет оберегать дом от огня и заплетать по ночам в косички гривы лошадей. Гораздо зловреднее — русалки, красавицы с длинными зелеными волосами, живущие в лесах и озерах. Любимая их забава — заманить какого-нибудь беднягу и защекотать его до смерти. Такая вот изошренная пытка...

Но я буду говорить о другой мифологии. У русского народа, у тех простых русских людей, что до сих пор не умеют читать, есть неисчерпаемый духовный клад — эпические сказания, песни о древних героях, составляющие в совокупности подлинный национальный эпос, который, подобно гомеровскому, широким потоком вылился из недр народной души. Они повествуют не о мифических существах, а о смертных людях, но могут рассматриваться как мифы в силу их гениального по глубине и тонкости символического содержания, пусть и облеченного во внешне безыскусную, естественную и даже, я бы сказал, близкую к реализму форму простого поэтического рассказа.

В России эти сказания называются былинами, а их герои — богатырями. Исполнители былин, старики-сказители, поют (вернее, пели) их на деревенских праздниках или на ярмарках. Обычный размер быliny — до пятисот строк стихотворного текста.

Богатырей было много. Фольклористы делят их на «старших» и «младших». К первым относят трех сказочных доисторических богатырей, ко вторым — тех, у кого имеются или предполагаются реальные исторические прототипы. Я буду говорить о тех и о других, не вдаваясь в символический смысл их образов, который, я уверен, заинтересованный и вдумчивый читатель способен уяснить самостоятельно.



Старших богатырей было, как сказано, трое. Первый из них, Волх Всеславлич, — добрый молодец княжеских кровей, хитроумный и к тому же умеющий оборачиваться рыбой, птицей, зверем и даже насекомым. Никто с ним не мог сравниться силой и умом, пока не встретил он другого старшего богатыря, Микулу Селяниновича, чье отчество — обратите внимание! — означает *крестьянский сын*.

Возвращался как-то Волх со своей дружиной из похода и увидел в поле крепкого, молодого пахаря, идущего за сохой. Это и был Микула. Волх разговорился с ним и в восторге от его находчивых ответов стал звать к себе в дружину, уговаривая сменить орало на меч. Микула усмехнулся с мужицкой хитрецой и согласился. Тронулись в путь, но через некоторое время Микула остановился и с той же усмешкой говорит Волху: «Забыл я сошку выдернуть из борозды. Пошли-ка своих молодцов, пусть ее выдернут». Тот посылает двух дружинников. Время идет — их не видно, а Микула знай посмеивается. Волх посылает двух других им на подмогу, однако и этих след простыл. Потеряв терпение, он со всей дружиной возвращается обратно и видит, что лежат его люди обессиленные, а соха как стояла, так и стоит в борозде. Изумленный князь слезает с коня и сам берется за соху, но всей его силы хватает лишь на то, чтобы на миг оторвать ее от земли. Тогда Микула-*крестьянский сын* играючи выдергивает из борозды тяжеленную «сошку», отряхивает ее от налипших комьев и «одной ручкой» закидывает «за ракивов куст». Вот что значит крестьянская сила!

Другая былина знакомит нас с третьим из старших богатырей — гигантом Святогором. Он так огромен и тяжел, что земля с трудом носит его, и приходится Святогору сидеть на Святых Горах, потому что только твердые скалы могут выдержать его чудовищный вес. Но Святые Горы безлюдны, делать там Святогору нечего, и он томится от скуки. Да и в чистом поле с кем бы он мог померяться силой, если любой соперник намного слабее его? А Святогор мечтает о деле, достойном его силы: «Как бы я тягу нашел, так я бы всю землю поднял!» И вот однажды едет он на коне по своим горам и видит вдали всадника обычного роста и вида, хочет его догнать, но чем быстрее скачет, тем дальше уходит от него незнакомец. Вдруг тот останавливает коня, оглядывается и что-то ищет глазами: потерял



переметную сумку. Святогор наезжает на сумку, пробует поднять — не получается. Озадаченный богатырь слезает с коня, хватая сумку обеими руками и подымает ее... да только до колен! И то лишь потому, что ноги сами ушли до колен в землю. Тут незнакомец подъезжает, наклоняется, берет одной рукой сумку и кладет на седло. «Ты кто?» — спрашивает пораженный Святогор, а тот отвечает: «Я крестьянский сын. Урожай соберу, рожь обмолочу, пива наварю, мужичков напою. Станут мужички меня славить: многая тебе лета, молодой Микула Селянинович! А в сумочке у меня тяга земная».



Народ больше любит младших богатырей. Они ближе, понятнее, человечнее. Нет у них физической мощи и сверхъестественных способностей Волха, Микулы и Святогора. Люди они исключительные, но — именно люди, а не олицетворение стихийных сил.

То, что былинный эпос собрал всех младших богатырей вокруг двора великого князя киевского Владимира, есть свидетельство благоговеющей народной признательности к первокрестителю, обратившему языческую Русь в христианство и получившему в народе прозвание «Красное Солнышко» (*красный* по-старорусски означал *красивый, прекрасный*; так, про весну говорили *весна-красна*, а про красивую девушку — *красная девица*).

Младших богатырей в нашем рассказе будет, как и старших, трое. Представляют они все три сословия тогдашней Руси: сын крестьянина, сын боярина, сын священника.

Крестьянский сын, «старый казак» Илья Муромец (то есть уроженец Мурома) — самый популярный из всех и самый дорогой русскому сердцу. Не случайно с его именем связано наибольшее количество былин. Как легенда его история замечательна, как символ — удивительна. До тридцати лет Илья Муромец не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он родился на свет начисто лишенным силы и влачил свои печальные дни, сидя на печи, как старик. И вот однажды, когда он был в доме один, заходит странник и просит воды напиться. «Не могу я подать тебе напиться, — говорит Илья, — меня руки-ноги не слушаются». «А ты попробуй», — отвечает странник. И встал Илья на ноги, и пошел, и задвигал руками. А через три меся-

ца — «то не дуб сырой к земле клонится, не листочки его расстилаются — расстилается сын перед батюшкой»: так традиционным для устной народной поэзии приемом отрицательного параллелизма описывает былина сцену, в которой Илья испрашивает отцовского благословения на дорогу в стольный Киев-град. Отец благословляет его «на добрые дела, а не на худые» и наставляет: «Не таи зла на татарина, не убей в чистом поле крестьянина». И Илья Муромец едет в Киев, защищает святую Русь, воюет, разит врагов и, храня верность отцовскому наказу, остается при этом добрым, честным и великодушным.

Восхитительно чувство собственного достоинства, с каким крестьянин Илья ведет себя в жизненных обстоятельствах. Оскорбленный, он покидает двор, где его, мужика, хоть он и первый богатырь в княжеском окружении, не зовут на пир и обходят милостью. Он ни перед кем не клонит головы, что приводит к частым раздорам с князем. По одной из былин, тот даже сажает Илью в темницу, но в час опасности для отечества выпускает из узилища, и старый богатырь, не помня зла, бросается на защиту родной земли и возвращает трон князю.

Там же, при дворе князя Владимира, Илья Муромец находит двух товарищей — богатырей Добрыню Никитича и Алешу Поповича, которые в знак побратимства обмениваются с ним нательными крестами.

Добрыня происходит из знатного рода. Он, если к миру русской архаики приложимо слово, каким на Западе принято называть благородного и воспитанного человека, — *джентльмен*. Его обходительность и учтивость всячески подчеркиваются в былинах. Великодушный и честный, как Илья Муромец, он к тому же хорош собой и наряден, обладает тонкой душой, любит музыку, любит женщин. И все это не мешает ему быть отважным воином, истинным богатырем.

Прямая противоположность ему — Алеша Попович. Сын священника (*попович*), он не свободен от греха сребролюбия, который молва приписывает русскому духовенству. Алеша — рыцарь без страха, но, в отличие от его «названных братьев», не без упрека. Ему не чужды зависть, мелкое тщеславие, эгоизм, способность ради собственной пользы пренебречь интересами лучшего друга. Не мудрено, что Илья и Добрыня часто сердятся на него, но так как, в сущности, он добрый малый и, главное, отчаянно храбрый («удалой», как говорится в былинах), они

его любят и все ему прощают, разве что иногда проучат как следует, если он в своих, скажем так, проделках заходит слишком далеко.

Здесь я вынужден поставить точку, хотя многое еще можно было бы сказать о трех любимых былинных героях, об их славных подвигах и о других, менее известных богатырях. Или, например, о *поляницах* — богатырских девах-воительницах, бившихся — и не всегда безуспешно — даже с самим Ильей Муромцем, доказывая в такой наивно-сказочной форме право женщины на равенство с мужчиной — право, которое в современной России еще не установлено официально, но, разумеется, общепризнано.

Однако за недостатком места мне остается только выразить надежду, что и мой по необходимости беглый рассказ поможет в какой-то степени развеять в глазах читателей превратное представление о русском крестьянине, которого на Западе привыкли считать грубым дикарем. Не может быть дикарем тот, кто создал былинный эпос, кто свою веру в высокое предназначение крестьянства воплотил в могучих образах Микулы и Ильи Муромца.

**Vladimiro Giabotinski**

*Roma Letteraria. 1902. N. 21/22 (10–25 novembre)*<sup>1</sup>



## **Вскользь**

Право ж, это срам.

Труппе г-на Киселевича приходится временно бежать от равнодушной публики нашего культурного города — в Николаев.

Наш город не выдержал экзамена.

Ездить действительно было далеко.

Но расстояние могло бы оправдать средние сборы, средний наплыв городской публики.

Между тем сборов и публики почти совсем не было никаких.

Это весьма для нас некрасиво.

Это значит, что мы слишком уж мало интересуемся новым репертуаром и новыми путями сценической передачи.

<sup>1</sup> Пер. с итал. Гр. Ротенберга.

Чести для нас в этом обстоятельстве мало...

Нельзя, конечно, отрицать, что на первых шагах в репертуар театра попали две-три неподходящие пьесы, хотя бы вроде этого самого «Без солнца».

Но у меня язык не поворачивается упрекать за неуверенность первых шагов.

Особенно, когда эти шаги делались под обескураживающий аккомпанемент несправедливого равнодушия публики.

Извольте писать специальные декорации для «Женщины с моря» и «Столпов общества», когда образцовая постановка «Дикой утки» ни за что ни про что не окупилась даже на четверть.

Извольте влагать душу в режиссерскую часть, репетировать каждую сцену раз по двадцати, добиваться художественного ансамбля, — когда и у режиссера, и у актеров руки опускаются перед пустым залом.

Но я думаю, что и при этих отрадных условиях все-таки многое сделано.

Все-таки несколько пьес в этом театре поставлено и обновлено было так, что мы, наезжая с наших Ришельевских и Екатерининских улиц, только диву давались.

Люди, не бывающие за кулисами, не могут и вообразить, до чего это трудно — поставить и обставить пьесу художественно.

Знаете, как у нас обыкновенно «ставят» драму?

С трех репетиций. Ровно три — не больше и не меньше.

Попробуйте усомниться, достаточно ли этого.

— Как же, — ответят вам, — мы всегда с трех репетиций.

— Но, по крайней мере, перед первой репетицией читает у вас режиссер всю пьесу вслух в присутствии исполнителей?

— Нет... А это же зачем?

— Да помилуйте! Чтобы актер знал, кого он изображает!

— Нда... Нет, видите ли, это у нас как-то не в моде...

Актеру посылают переписанную «роль», где значится, что после чьей-то реплики «уже три раза» ему, актеру, надлежит сказать:

— Ах, как хороши, как свежи были розы...

И он зазубривает.

Потом идет на репетицию, которой не слушает, болтая с партнершами о посторонних предметах, пока до его слуха не коснется это самое «уже три раза».

Тогда он выскакивает и говорит:

— Ммм... как его... да! Ах, как хороши, как свежи были розы...

Это невероятно, но сплошь и рядом актеры исполняют крупные роли, не зная всей пьесы не только в деталях, но даже в общем содержании.

Тот самый актер, которого Мари только что отвергла и который только что застрелился, сидя в уборной и обтирая лицо вазелином, осведомляется:

— А она что же потом, эта Мари? Тоже стреляется или замуж выходит?

Право, если он «занят» только в первом и во втором актах, он не всегда вам скажет без ошибки даже то, сколько действий в пьесе.

Извольте, пробуйте бороться с этим порядком.

Рутиня страшно тяжела на вывоз!

А роль режиссера?

Никакого режиссера, собственно, нет.

Есть господин, который пробежал истязаемую пьесу и на репетициях делает такие указания:

— Вы, Марья Ивановна, при этих словах *отшейтесь* (то есть отойдите) и сядьте у стола, а Иван Михайлыч выйдет на авансцену.

И все.

Никаких замечаний о неверной интонации, никакого художественного руководства.

Обыкновенный режиссер — это надзиратель, смотрящий за тем, чтобы актеры на сцене не стукались лбами друг о дружку. Знают ли актеры свои роли, нет ли — его не касается.

— Ой, — говорит он Михал Иванычу на «генеральной» репетиции, — вы, Михал Иваныч, врать будете!

— Нет, — успокаивает Михал Иваныч, — я еще немного подучу. Да к тому же ролька не такая важная.

И обращается к суфлеру:

— Ты, Петенька, выручай. Кричи вовсю!

А вечером с галерки то и дело слышно:

— Да тише, суфлер!

Это — «постановка».

А вот и «обстановка».

Если нужна феерическая декорация, то ее, конечно, пишут.

Но вот беда, когда нужно что-нибудь «просто».

Небогатая комната, например.

На письменный стол в виде «бумаг» вам кладут несколько больших тетрадей с огромными печатными заглавиями:

«Дело одесского Городского театра. № такой-то. Антреприза Грекова».

— Господа, — замечаете вы, — не повесить ли на стенах несколько фотографических карточек? В небогатых комнатах всегда по стенам бывают фотографические карточки...

— Ннет, знаете, — слышится в ответ, — это лишнее, ведь все равно никто не обратит внимания...

Легче поднять самого себя за волосы на аршин от земли, чем пробить брешь в этих массивах привычки и инертности.

Судите же, сколько настойчивости и умения должны были вложить в свое дело руководители Дальницкого театра.

Страшно досадно, что теперь этому прекрасному предприятию приходится спасаться бегством.

Очень уж это неэффектно для одесситов.

Будет им поделом, если публика в Николаеве окажется более чуткой и отнесется с заслуженным вниманием к смелой, полезной и хорошей попытке, которую мы с вами прозевали, потому что... далеко было ездить.

В середине декабря эта труппа вернется к нам и станет лагерем в Новом театре. Так как это «близко», то, конечно, фортуна должна будет повернуться к г-ну Киселевичу лицом, и тогда, собственно, можно будет сказать, что все хорошо, что хорошо кончается.

Но у меня останется надолго неприятное сознание, что мы с вами, почтенные сограждане, из-за слова «далеко» чуть-чуть не погубили хорошего, своевременного и нужного предприятия.



Шутите со стихиями.

Я вчера попал, идя по одному тротуару, на такой пункт, где господин дворник забыл посыпать лед песком.

И начал — никогда не учившись, совершенно по наитию — танцевать.

Сначала сделал па-де-патинер вправо.

Потом поплыл, вроде как в танце «боярышня», влево.

Потом начался настоящий вальс, «вихрь вальса», который закружил меня на одном месте и к концу стал даже переходить в *danse du ventre*<sup>1</sup> и в казачок с присядкой.

Наконец, я остановился, выпрямился и перевел дух.

И увидел себя, так сказать, изъятым из среды человеческой.

Ибо решительно не мог двинуться с места и попасть на путь истинный.

Ступить вправо — страшно, ступить влево — тоже. Я и так был благодарен небу, что нашлось место, где можно было стоять, не танцуя. Ибо прилично ли мне, человеку в летах и отцу семейства, плясать посреди улицы круглые танцы?

И вот я стоял неподвижно.

Мимо меня пробирались люди, но ни один не хотел откликнуться на мои мольбы о помощи.

— Вишь, куда залез! — говорили они жестокосердно. — Туда нам не дорога. И вас не выручим, и сами растянемся.

И я стоял, один и беспомощен, «в людном мире, как в глухой пустыне».

Мне было холодно. Мне хотелось есть. Это было ужасно!

Я мог бы умереть там с голоду.

Мой скелет пролежал бы там до оттепели.

До марта! До апреля!

И только в апреле меня бы схоронили!

Трудно передать вам, что за муки переживал я, стоя там и размышляя на вышеуказанные темы.

Вечером был в Городском театре на «Дикарке».

Полная иллюзия московского Художественного театра: в зале темно, в коридорах у каждого гардеробного на стойке по фонарю со свечой.

В антрактах знакомые узнавали друг друга по голосу или на ощупь.

Так мне чья-то нога с такой силой наступила как раз на любимую мозоль, что я сейчас же узнал одного доброго знакомого и вскрикнул:

— Куда прешь!

Он же поднес руку к моей левой бакенбарде и тоже узнал:

— А, — говорит, — это ты!

И мы зажгли спички и пошли гулять по фойе.

Но, несмотря на тьму, театр был полным-полон и очень весело настроен.

---

<sup>1</sup> Танец живота (*фр.*).

Даже — ей-богу — кашляли меньше.

А на сцене тоже было оригинально.

По углам зажжены канделябры — это, по пьесе, середь бела дня!

Г-жа Комиссаржевская указывала в окно и говорила:

— Смотри, как все залито солнцем!

А за окном черно, как в аду.

Впрочем... беру эти слова обратно.

За окном было темно, но г-жа Комиссаржевская — волшебница.

И когда она произносит: «все залито солнцем», — все действительно само собой наполняется солнечным светом.

И когда после этих слов ее мои глаза сказали мне, что там, куда она показывает, совсем темно, — я... я сказал своим глазам:

— Вы лжете!

*Altalena*

*Одесские новости. 26.11.1902*



## **Вскользь**

Бесят меня эти турки в Македонии.

Сами по себе они, говорят, симпатичный народ.

А черт знает, что продельывают.

Малейший повод — они накидываются на старого и мало-го и учиняют турецкие зверства.

Меня все это, наконец, выводит из себя.

Я, слава Богу, сыт, одет, обут. Жена и дети — тоже, слава Богу. У Мишки была скарлатина, да прошла.

Жил бы я, поживал да радовался.

А между тем только то и делаю, что злюсь, негодую и возмущаюсь.

Сначала этот Дрейфус.

Я тогда только женился. На моем небе не должно было быть ни облачка.

А оказалась на нем целая туча.

Ибо до семейных ли радостей мне было, когда что ни день в газетах пишут все то же:

— Не хотят, такие-сякие, пересмотра процесса.

Меня это прямо выводило из себя.

Тесть, бывало, изумляется:



— Да тебе-то что, — говорит. — Не хотят пересмотреть, ну и плюнь.

— Да поймите же! — говорю. — Я не требую непременно оправдания Дрейфуса. Я не настаиваю, что он невиновен. Я допускаю, что он виновен. Но я хочу во что бы то ни стало пересмотра дела!

Тесть не соглашается, а я на него.

Где ж ему, старичку, против меня. Дойму его, бывало, диалектикой, припру к стенке — он и сдается.

— Да, — признается, — пересмотреть следовало бы.

— То-то! — говорю я с чувством удовлетворения.

Утром, однако же, разворачиваешь газету — все не то. Не хотят пересмотреть, ни за что не хотят!

И опять я на тестя. Но сколько ни бился с тестем — ничего не выходило. Дрейфус все оставался там же.

Много я себе крови из-за него перепортил.

У меня к тому году Женечка уже ножками ходила и — такая умная — когда утрешь, бывало, ей носик, учтиво говорила:

— Спасибо.

И опять, значит, мог бы я жить в покое душевном, ни о чем не печалюсь.

Только забыл про Дрейфуса — захватила меня хуже прежнего англо-бурская война.

Тут уж я, положительно, из кожи вон полез.

Такое вопиющее насилие! Напасть на маленькое, благородное племя и душить его обеими руками!

Я даже исхудал, и желудок совсем испортился.

По целым часам ссорился с мисс, что ходила к моему Витьке, старшенькому.

— Срам! — говорил ей. — Никогда я от вашей нации такого позорного образа действий не ожидал!

И тоже спорили. Страшно спорили. Она упрямая была.

Так-таки мне ее переубедить не удалось. Бился, бился, а не переубедил: трудно было аргументировать, когда она половины русских слов не понимает.

Зато, как засяду у Фанкони, — тут уж, бывало, я победитель.

— Герр Мюллер, — спрашиваю, — не следовало ли бы вашему правительству исполнить живейшее желание немецкого народа и помочь бурам?

— О да! — говорит герр Мюллер. — Конечно, следовало бы... Но, впрочем, и с герр Мюллером не всегда был у нас мир. Немало желчи вызывали во мне притеснения поляков в Познани.

— Герр Мюллер! — укоризненно говорил я ему. — Ведь это их страна. Посудите сами: прилично ли так действовать вам, немцам, носителям культуры?

И герр Мюллер надувался и багровел. Но молчал. Ибо что же мог он мне возразить?

И вот буры заключили с англичанами мир.

Ропот познанских поляков немного приутих.

Я вздохнул было свободно.

К тому же вышло так, что получил рублей 15 прибавки, что совпало как раз с рождением Люси.

Славная девчонка. 11 фунтов весу, и вся в отца.

Только бы теперь мне ликовать да благодушествовать... так нет же!

На сцене турецкие зверства в Македонии.

Это ужасно! Ни минуты покою.

Как прочтешь газету — в жилах кровь стынет.

Глаза огнем разгораются.

Кажется, если бы не семья, — так бы и поехал в Салоники, чтобы с ружьем в руке грудью заступиться за всех этих несчастных старцев, жен, дев и младенцев, терзаемых, насилуемых, ввергаемых в Белую башню!

Поймал я недавно одного турка в кофейне на греческом базаре.

Уж и влетело ж ему от меня!

— Грех! — сказал я ему. — И ваш пророк не велел убивать невинных! Не может того быть, чтобы ваш пророк дозволил убивать невинных!

Сидел он, отмалчивался, а под конец все же не вытерпел.

— Башмала купишь? — говорит. — Я башмала продам. Халва хорош продам. Сирский рахат-лукум продам полтора руб кило.

Вывернулся-таки. Не знал просто, что сказать в оправдание, ну и понес какой-то рахат-лукум...

**Altalena**

*Одесские новости. 27.11.1902*



## Вскользь

В третьем классе гимназии у нас издавался рукописный журналчик.

Некий мой приятель поместил в нем «Сказку о справедливости».

Герой сказки был юноша.

Этому юноше однажды приснилось «чудное виденье».

«Женщина, вся закутанная в белую мантию».

Она поманила его пальцем и сказала:

— Меня зовут Справедливость.

И исчезла, «как сновидение», после чего юноша действительно проснулся.

Встал, оделся и пошел по свету искать Справедливость.

Шел, шел, шел.

Ничего не нашел.

Упал наконец посреди дороги и, если не ошибаюсь, умер.

Появление этой сказки объяснялось тем, что автора за полторы недели до того посадили на двенадцать часов за участие в драке на большой перемене.

А его участие выразилось в том, что его били.

Он гулял смирно по коридору и повторял притоки Рейна.

И вдруг на него накиннулись.

Повалили и стали «дуть».

Вот и вся драка. Он бы и сам рад был не принимать в ней никакого участия.

А его еще посадили на двенадцать часов.

— Нет на свете справедливости! — вывел он.

И мне теперь вспомнился этот вывод.

Тоже вопиющее происшествие.

У мсье Шейника и мсье Вайсмана есть колбасная фабрика.

На дворе этой фабрики нашли скелет быка.

И вышел мсье Шейнику и мсье Вайсману нагоняй.

Мне по этому случаю так и хочется продекламировать монолог Сальери, который начинается словами:

«Где ж правота?!»

В самом деле! Ведь это несправедливо.

Надо было поступить совсем напротив.

Я, например, теперь ничьей колбасы покупать не буду, кроме колбасы мсье Вайсмана и мсье Шейника.

И потому именно, что у них нашли скелет быка.

Я бы даже вместо нагоняя выразил им всяческую похвалу.

Ибо страшно подумать, что ведь могли там найти не быка.

А, например, клячу.

Или даже собаку.

Или даже — в виде последнего крика моды — крысу.  
И не одну.

Ах, господа, только Небесам и колбаснику дано знать, какую дичь мы с вами кушаем в образе колбасы и ветчины.

Я, человек робкий, иногда по часу сижу перед бутербродом в нерешительном настроении.

Смотришь, оно как будто и вправду колбаса, а подумайся — никак не докажешь, от какой скотины она получена.

Мне, грешному, всегда думается:

— А может быть, это — рубленая гадюка?

Все бывает на свете.

И вдруг — целый скелет быка.

Да ведь это лучше всякого аттестата!

А между тем — нагоняй.

Ах! Нет на земле справедливости, да и только.

Пикантное известьице.

Одна дама хочет судиться с одним господином.

Он ее обидел.

Она целых семь месяцев подряд дарила его радостями семейной жизни.

Так сказать, «брак незаконный, но совершенно как бы законный».

А теперь он не хочет ей заплатить причитающийся гонорар.

Находит, вероятно, что любовь не подлежит оценке деньгами.

Она же, очевидно, полагает, что «по любви» еще не значит «*par amour*»<sup>1</sup>.

И решить вопрос придется судье.

Судье достанется это удовольствие — копаться в доводах за и против: тождественно ли понятие «по любви» понятию «*par amour*» или нет.

---

<sup>1</sup> Из любви (*фр.*).

Тяжела ты, судейская цепь...

Но не в том дело.

Меня заинтересовала цифра.

Дама требует с господина 3500 рублей за семь месяцев.

Это, господа, выходит шесть тысяч в год.

Весьма приятный гонорар. Учительница — та, например, зарабатывает только 25—75 рублей в месяц.

Но опять-таки не о сравнениях речь.

Цифра 3500 поразила меня как некоторая характеристика этой самой дамы...

Впрочем, pardon. Не «этой самой». Будем говорить вообще.

На Дерibasовской, в ресторанах, в театре часто мимо вас проходят такие парочки.

Вы, скромно стоящий в стороне, спрашиваете опытного соседа:

— Кто этот господин?

Вам называют имя состоятельного человека.

— А дама кто?

И оказывается, что дама есть особа «по любви, но не par amour».

Часто лица этих женщин невольно привлекали мое внимание.

Бывают среди них положительно хорошие лица: симпатичные, осмысленные, скромные.

По манерам, по наряду часто чувствуется хорошее воспитание, привычка к внешней и внутренней порядочности, без всякого стремления выпячиваться, лезть на глаза.

И мне думается часто, что среди них должны встречаться и настоящие интеллигентные женщины.

Читающие, думающие.

И меня дивит и пугает странность такого психологического феномена.

Читать те же самые книги и те же журналы, что читают наши сестры и дочери, думать над теми же строками о тех же вопросах... и между тем жить «по любви, но не par amour»...

Как это можно совместить?

Легко понять обыкновенную бедную девушку, бродящую ночью по улице.

Там нужда, голод — и прежде всего невежество.

Но как понять эту женщину, с которой беседуют со сцены и из книги Метерлинк, Чехов и Горький, для которой

поют оперные артисты и оркестр играет симфонию Чайковского?

Она слышит высокие слова, понимает возвышенные мысли.

Тем и страшна цифра 3500, что она говорит не только о нарядах, но и о театрах, концертах, книгах, и в то же время есть все-таки плата за продажное тело.

Я не моралист, я всегда и во всем безусловно отрицаю моральную точку зрения как совершенно бесполезную и глубоко несправедливую.

И то тяжелое чувство, с которым я думаю об этих дамах, не есть чувство осуждающего моралиста.

Я тут и морали никакой не вижу. Такая же, в сущности, сделка, как любой брак.

Но фактически — в современном обществе брак не создает унижительного положения, а *эта* жизнь — создает его.

И, создавая унижительное положение, в то же время становится презираемого с презирающим.

Уличная женщина отменена в сторону от общества. Она не встречается с теми, кто ее презирает.

Но те, о которых мы говорим, каждый вечер сидят бок о бок с теми, в чьих глазах они — падшие, с теми, кто их презирает.

Можно в свою очередь отвечать тоже глубоким презрением, можно не признавать за собою никакой вины, но видеть, своими глазами видеть день за днем хотя бы и несправедливые взгляды презрения — это должно быть страшно тяжело.

Мне хотелось бы знать, что они испытывают, что чувствуют, что думают.

Как они примиряют тяготу общественного пренебрежения с интеллигентной психикой?

Как звучит это примиряющее слово: «résignation»<sup>1</sup>? Или «презрение»?

Может быть, ни первое, ни второе, а третье: «отчаяние»...

**Altalena**

*Одесские новости. 28.11.1902*

---

<sup>1</sup> Покорность судьбе (*фр.*).

  
**Вскользь**

Хочется мне послать привет на прощанье г-же Комиссаржевской.

Петербургская газета «Театр и искусство» слегка иронизирует над тем, что одесская печать нашла в таланте нашей гостьи отражение «ясной девичьей души», и сам этот талант назвала «бодрым и боевым».

Петербургская газета, наоборот, полагает, что г-жа Комиссаржевская хороша именно не в «ясных», а в «надорванных» ролях.

И даже прибавляет что-то такое насчет того, что талант госпожи Комиссаржевской тем, собственно, и интересен, что совпадает с тоном больного века.

Честное слово, там это напечатано.

Меня давно уже поразило, что петербургская печать, когда речь заходит о театре, умеет иногда понести такое, какого и в Гренландии не слыхано.

Но сей отзыв о г-же Комиссаржевской переходит уже за всякие Геркулесовы столпы.

Diavolo!<sup>1</sup> Не заметить, что г-жа Комиссаржевская лучше всего передает все движения именно ясной девичьей души при первых столкновениях с рифами жизни: чем чище, непосредственнее, яснее эта девичья душа, тем ярче и тоньше удастся артистке воплотить ее; что самая выдающаяся особенность этого своеобразного таланта — удивительно *угаданные* интонации, которыми г-жа Комиссаржевская сыплет, как будто искорками, заставляя зрителя вспыхивать восторгом от отдельной фразы, даже от одного слова; что эти интонации больше всего приспособлены к передаче именно юношеских и свежих настроений, полностью далеких от «надорванности больного века»...

Чтобы не заметить всего этого, надо... надо... надо жить в Петербурге.

Только проживая в городе, где г-жу Комиссаржевскую выпускали на сцену около пяти раз в год с хорошими промежутками, и можно было так дико проглядеть сущность ее дарования.

---

<sup>1</sup> Черт! (итал.)

И только проживая в городе, где Чехов — истинный поэт «надорванности большого века», Чехов, играющий теперь повсюду первую скрипку в театральных репертуарах, — Чехов появляется на сцене только в качестве редкого гастролера, — и можно было приучиться тыкать словом «надорванности» именно туда, куда не следовало...

Госпожу Комиссаржевскую будут звать, и усиленно звать, назад на Александринскую сцену.

Предложат ей все: и оклад, и репертуар.

Это все будет очень выгодно и удобно.

Будем же надеяться, что г-жа Комиссаржевская от всего этого наотрез откажется.

Крепостная сцена, именуемая Александринским театром, в последнее время, несмотря на все таланты, твердо и определенно выступает в хвосте прогресса.

Это — естественное возмездие за долгую искусственную гегемонию.

Гегемонию непобедимо толстой мошны.

Эта мошна скупила все лучшее и талантливейшее... и опочила на лаврах.

И теперь свежее слово минует казенную сцену, выбирая другие подмостки.

Сборы ее чахнут.

Живая струя в искусстве шумно бежит мимо нее.

В этом пруде сытно кормят, но в этом пруде не место для живого и страстного таланта.

Талант госпожи Комиссаржевской полон свежести, весеннего света, весеннего тепла.

Что она станет делать в Александринке! В этой египетской пирамиде, куда только туристы да провинциалы заглядывают, чтобы посмотреть «настоящих фараонов»?

Свежему таланту непристойно закрепощаться.

Свежему таланту вся земля — путь-дорога; лето здесь, зиму там — так, чтобы в лицо и в душу веяло запахом вольного кочевья и чтобы все углы и края своей родины озарить и покорить...

**Altalena**

*Одесские новости. 29.11.1902*





## Вскользь

Имя его — Ермилов.

Звание... оригинальное звание.

Не дворянин Ермилов, не мещанин, не крестьянин Ермилов.  
«Проживающий в ночлежных приютах Ермилов».

Человек пятого сословия.

Возраст — 25 лет.

Род занятий — украл пальто в трактире.

Составьте себе из этих данных портрет и биографию.

Оно нетрудно.

Для портрета возьмите испитое, зеленое лицо с испорченными, вылезающими усами.

Оттените его синяком под левым или правым глазом.

Рваная шапка конусом, рваный пиджак, руки от холода прячутся друг дружке в рукава.

И вся фигура ежится и пожимается от стужи.

А биография сама собой ясна.

Собачье детство, собачье отрочество, собачья молодость.

В сумме собачья жизнь.

Двадцать пять лет: самый очаровательный возраст.

Едва ли не лучшая пора жизни.

Юношеский пыл не совсем еще выветрился, но есть уже кое-какие черты и зрелого мужа.

В эти годы должно лучше всего и плодотворнее всего работать!

Если суждено человеку когда-нибудь развернуться во всю ширь, такой человек начинает разворачиваться именно в эти годы.

В эти годы человека больше всего любят женщины...

В эти годы Ермилов ночует в ночлежном доме.

Кровь его, богатую, сочную кровь двадцатипятилетнего мужчины, — посасывают многообразные тлюфячные насекомые.

Утром он умывается от собственного плевка и уходит искать работу.

Иногда находит.

Иногда он таскает кули с берега на борт.

Так сказать, содействует экспорту.

Содействует этой благородной операции препровождения к англичанам 50 процентов зерна и 50 процентов щебня.

И получает за это около 60 копеек.

А иногда не находит работы и тогда экспорту не содействует и 60 копеек не получает.

Что он тогда делает? А Бог его знает.

Славная зима наладилась в этом году.

Я уж давно не катался в санях, зато теперь катаюсь и наслаждаюсь.

Морозец мне щиплет щеки и уши, и это так симпатично, почти как поцелуй.

Но мороз справедлив. Он не делает разницы между мной, вами и третьим лицом.

Он не привередлив, он со всеми целуется.

Целовался и с Ермиловым.

Крепко целовался. Так целовался, что эти поцелуи опьянили Ермилова.

И опьяненный ласками мороза, он завернул в трактир и украл там пальто.

Такой негодяй.

Честная публика возмутилась и ухватила Ермилова за шиворот.

У простонародья ужасно развито уважение к неприкосновенности чужой вещи.

И неуважение к неприкосновенности чужого заливка.

Когда на улице поймают воришку, то еще прежде, чем доспееет городской, честная публика бьет воришку со всего размаху кулаками по лицу. Вас, читатель, никогда не били кулаками по лицу? Это должно быть до ужаса больно и обидно.

Потом Ермилова представили в участок и так далее.

И наконец, к мировому судье.

И закатал мировой судья этого негодяя, на основании статьи такой-то, на три месяца в тюрьму.

В наш красивый, величественный, темно-красный тюремный замок.



Вспомните, по случаю этой славной зимы, о сегодняшнем бале в пользу вдов и сирот моряков.

У нас теперь так хорошо на улицах, особенно вечером.

Ветви деревьев от гололедицы сверкают, как выточенные из алмаза.

Чистенький снег красиво декорирует мостовые и тротуары.

На тротуарах он беленький, на мостовых кремовый.

По кремовым мостовым звонко бегут скрипучие санки.

В них сидят парочками, обнявшись, дамы и кавалеры, румяные и веселые.

Но на палубе морского парохода нет ни санок, ни парочек, ни деревьев, ни звонкого веселья.

Там теперь только стужа и служба, служба и стужа.

Здесь, в городе, гололедица одела ветви проволоки красивыми бриллиантовыми трубочками.

Плачется телефонная компания, плачется городской садовник, но это — десяток людей, не больше, а мы, все остальные, любимся красивой картиной.

Но если там, на море, тоже обледенели ванты, палуба, лесенки и перила, то уж некому на это любоваться, потому что всем от этого худо.

Нехорошо на море в эту славную, веселую зиму.

А мало ли теперь на море народу?

Посмотреть сверху — сотнями сплывают по Черному морю и по всем морям букашки-пароходы, и мерзнут на них тысячи букашек-людей.

Зачем мерзнуть? А чтобы доставить англичанам те самые 50 процентов щебня и 50 процентов зерна.

Тяжелая служба, беспокойная, бесприютная, опасная и малоприбыльная.

Проснешься в одно прекрасное утро мертвым на своей койке — и будешь потом с небес глядеть да радоваться на жену и детишек.

Нищими сиротами будут вырастать дети.

Не ровен час, еще сделают карьеру вроде того Ермилова.

А вдова в смертной тоске будет барахтаться в болоте нужды, пока не утонет.

Радуйтесь, люди добрые, что ваши жены еще не вдовы и ваши дочери еще не сироты.

И везите сегодня этих жен и дочерей на морской бал.

Пусть потанцуют. Им будет весело. И — чем черт не шутит — старшей, может быть, и жених наклонится?

А? Этакий, например, статный моряк, любимый начальством и сын богатого папаши.

Ведь вполне возможно. Я даже желаю вам этого от глубины сердца. Не только жениха для старшей дочери, но и выигрыша

в 200 000, и удачи во всем, и даже душевного покоя — всего, всего я готов вам пожелать от глубины сердца — только никогда не отказывайтесь потанцевать для вдов и сирот...



«Стихотворения» г-на Евреинова.

Изданы в Одессе.

Приятно отметить оживление книгоиздательского дела в провинции.

Долго ли будет тянуться это невыносимое положение, когда мы всякую духовную пищу получаем непременно через столицу?

Если бы Максим Горький издал свои произведения в Саратове, — верьте мне, только теперь начали бы появляться о них отзывы на библиографических задворках толстых журналов.

И то — отзывы вот в каком роде:

«Нельзя не констатировать у автора довольно заметного беллетристического дарования, хотя, с другой стороны...»

Ко всему, что носит клеймо провинции, и публика, и печать относятся вполне сверху вниз.

Для талантливого человека, понятно, не такая уж это беда.

Ну, добредет по шпалам до Петербурга, а там, как по маслу, вздохнется.

Но ведь оттого и глохнет провинция, что талантливые люди бегут в столицу...

Я с удовольствием вижу, что мало-помалу этот предрассудок разрушается.

Особенная заслуга в этом за Киевом.

Киевские издатели не спят, не робеют, и издания их понемногу приобретают всероссийскую популярность.

Одесса в этом отношении совсем швах.

Одесские типографии печатают визитные карточки и коносаменты.

Одесские издатели выпускают в свет календари да, в виде особенного риска, «Шмерку и Берку» или «Вот она — живая струна!»

Только в последние два года мне чудится некоторое, правда, еще чуть заметное книгоиздательское оживление.

Все-таки нет-нет да мелькнет в витрине новая книжка с пометкой:

«Одесса, такой-то год».

Правда, по большей части — издания самих авторов, но и то хорошо. Все-таки приучает публику.

Лишь бы, конечно, сами книги были доброкачественны.

«Стихотворения» г-на Евреинова производят хорошее впечатление.

Есть чувство, выражающееся образно, иногда довольно ярко и не банально.

Стихи звучные и непринужденные.

Можно указать автору только на попадающиеся прозаизмы — особенно в немногих стихотворениях публицистического характера, которые вообще довольно-таки неудачны.

К счастью, не в пример прочим.

*Altalena*

*Одесские новости. 30.11.1902*



## **Вскользь**

Навстречу шли две барышни в платочках, хихикая и прижимаясь друг к другу.

— Как вас зовут? — спросили они, приостанавливаясь.

Я, по свойственной мне искренности, жеманиться не стал и откровенно сознался:

— Епимандрахий.

— А мне Ганка зовут! — звонко откликнулась одна из девиц.

И они исчезли во мраке ночи, а я тут только вспомнил, что это был вечер «под Андрея».

Ганка. Неужели у меня будет жена Ганка?

Говоря вообще, я ничего не имею против имени Ганка.

Но, согласитесь, какое же это имя для моей будущей жены?

Когда я обзаведусь семьей, ко мне будут ходить солидные люди.

Будем сидеть за чайным столом, будем развлекаться: квартет составим, если наберутся музыканты, или там стуколку, или баккарашку.

Мне нужна будет жена такая, чтоб умела и принять, и поговорить о литературе, и сыграть что-нибудь этакое из «Трубадура» на фортепиано.

Так разве же могут такую даму звать Ганкой?

Положим, есть одна новая опера из русской жизни, написанная итальянцем.

И в этой опере героиня — дама даже из высшей аристократии.

А зовут ее — «Федора».

По отчеству, вероятно, Архиповна.

Это, должно быть, та самая графиня, которую, по слухам, собирался вывести в великосветском романе Решетников.

«Она была так деликатно воспитана, что ничего, кроме сладкой водки, не пила».

И семечки, я думаю, грызла не иначе, как с золотого блюда серебряными щипчиками.

А шелуху выплевывала в руки ливрейному лакею в белых перчатках...

Но ведь это все-таки Федора, а не Ганка.

Ганка — это совсем уж невозможно.

Нет, ни за что. Не возьму я себе жены Ганки.

Хоть давайте мне за нее пять тысяч денег и два сундука с платьями — ни за что не женюсь.

Пустяки. Я не верю ни в какие гадания, хотя бы и «под Андрея»...

А все-таки после этой встречи меня потянуло на Ямскую улицу.

По старой памяти.

Когда я был гимназистом, я «под Андрея» всегда ходил на Ямскую.

Специально даже наряжался для этой цели.

Надевал мамину ротонду, папин цилиндр и распускал над головой зонтик.

Это всегда производило фурор.

Гимназистки подбегали ко мне и спрашивали:

— Как вас зовут?

И я отвечал не просто, а с разбором. Если хорошенькая, я ей называл что-нибудь этакое звучное, вроде Георгия или Вадима.

А если рожа, то я неукоснительно отвечал:

— Сруль.

Ах, то было хорошее время. Тогда мне небось Ганки не попадались!

Попадались Зинаиды, Тамары, Евгении.

Раз даже попалась одна Кларисса.

— Меня, — говорит, — зовут Кларисса. Подари, душка, папиросу!..

Ах, теперь уже не то, что в мое доброе старое время.

И теперь на Ямской «под Андрея» толпа гадающей молодежи, но, ей-богу, и толпа не та, и молодежь не та.

И толпа жиже, и молодежь пожиже.

Нет того одушевления, того треску, блеску и шику в веселии, как в наши годы.

Потолкался я в этой толпе, послушал, посмотрел...

Ничего интересного.

Только то и заметил, что какой-то студентик смазал встречную барышню ладонью по личику и сказал:

— Ципуся!

А затем благоразумно стушевался.

На том я и ушел, пожимая плечами.

Он, верно, думает, что это называется «затронуть» барышню. Жалкая бездарность!

Нет, не так «затрагивали» барышень в наши годы.

Идешь, бывало, из гимназии и встречаешь гимназистку.

Заденешь ее нарочно полой шинели и сейчас же поворачиваешь за ней:

— Виноват, мадмазель...

А она говорит сквозь зубки:

— Виноватых бьют.

Отвечаешь ей:

— А битого целуют.

А она говорит:

— Ну, положим, не всякого!

А вы говорите:

— А, например, меня?

А она говорит:

— Оставьте меня в покое.

А вы:

— Позвольте вас проводить.

А она:

— Я на вас «пожалеюсь» вашему директору... вы какой гимназии? Ага, «Р. Г.» Так и знала. Все вы, ришельевцы, ужасные нахалы.

— Вовсе нет.

— Ну, вот! Как будто я их не знаю. Я много ришельевцев знаю. Вы в котором классе?

— Я в шестом.

— А! Я из ваших знакома только с Холодецким. Какой он дурак, Холодецкий! А я тоже в шестом.

— Да? Тогда у нас общий учитель физики. У вас его любят?

— Нет... Он опытов не показывает.

— И у нас не показывает. Его раз спросили: «Чего вы, Трофим Иваныч, никогда нам опытов не показываете?» А он говорит: «А когда вам учитель истории рассказывает про Петра Великого, так разве показывает, как Петр Великий родился?»

— Ха-ха-ха... Фи, какие вы глупости говорите.

— Это не я, это он...

Через неделю, смотришь, оба уже гуляют в темных аллеях парка и беседуют шепотом...

Вы, нынешние, ну-тка!..

*Altalena*

*Одесские новости. 1.12.1902*



## **Вскользь**

Было у меня счастливое время, когда я не торчал в этом нашем поганом городе и не сочинял для вас фельетонов, а колесил туда и назад по железной дороге.

И притом с шиком: всегда в вагонах третьего класса.

Не иначе! В этом отношении я даже был весьма требователен и неукоснительно строг.

Не дадут третьего класса — ни за что, бывало, не поеду.

— Что? Курьерский? Третьего класса нет? Ну и не поеду. Не настаивайте: не поеду, да и только. Если угодно, можете трогать, но без меня.

И что ж, делать нечего: давали третий звонок, и курьерский уходил без меня.

И вот, бывало, забравшись в вагон третьего класса, я сидел на свое место и как человек опытный и гуманный не подгибал никогда ног под скамейку.

Если вы хотите быть человеком гуманным, то никогда, путешествуя в третьем классе, не подгибайте ног под скамейку.

Лучше вытяните их вперед.

Ибо под вашей скамейкой, по всем вероятиям, прячется «заяц».

Зачем же делать ему больно? Зачем вообще тревожить его?

Беднягу все равно скоро потревожат.



Слышите, отворяется дверь.

Бас:

— Господа, приготовьте билеты.

Баритон:

— Ваш билет!

Контролер щелкает машинкой, а его спутники, с фонарями в руках, тем временем обозревают.

Нюх какой-то у этих людей.

Всегда, бывало, именно к моей скамейке подойдут, нагнут-ся и полюбопытствуют.

— А, — говорит бас, — есть «заяц». А ну, малый, вылезай.

И малый вылезает. Эффект и общее внимание.

— Те же и он, — острит господин контролер.

«Заяц» стоит, понунив голову и размышляя на свои темы.

Меткое это словечко — «заяц».

Заяц и есть.

Запуганный, загнанный заяц, и даже, как полагается зайцу, куцый.

Потому что без пальто.

Жметя, косится и только — только не хлопает ушами.

Но зато щелкает зубами, ибо на полу без пальто было прохладно.

— Ну, идем, малый, — говорит бас.

И малого уводят.

Я знал, куда и зачем его уводят, но меня всегда занимало:

— Что потом?

Куда он потом денется?

Где он будет ночевать?

На дворе ночь, зима, вьюга и степь.

От станции до станции далеко.

Ведь ехал же он куда-нибудь, этот заяц? Куда-нибудь да направлялся?

Как же он теперь туда доберется?

И решительно не мог я понять, как он туда доберется.

Ха-ха. А теперь понял.

Юноша Котляров, имея 16 лет от роду и 1 рубль 60 копеек в кармане, двинулся из Ананьевского уезда в Одессу.

Захотел повидаться с родными. Этакая сентиментальность!

Ну и залез под скамейку.

Проехал одну станцию благополучно: чьи-то сапожищи все время топтались у него на лице, но так как они были без подковок, то было все-таки довольно сносно.

Проехали станцию — и юношу Котлярова извлекли.  
— Те же и он, — сострил, вероятно, г-н контролер.

И взыскали с зайца, согласно законоположениям, двойной штраф.

Любопытно было бы подсчитать, сколько осталось от полутора рублей с гривенником после этого торжества Фемиды.

Но дело не в том.

Дело в том, что загадка наконец разъясняется: вот как, значит, добирается до своего логова спугнутый заяц:

— По способу пешего хождения.

Юноша Котляров пошел пешком.

При погоде *que vous savez*<sup>1</sup>.

Его дорога была очень интересна.

Шел, шел и набрел на другого юношу.

Сей последний был неподвижен и обнаруживал намерение замерзнуть.

Котляров уговорил его не замерзать.

Пошли вместе.

Шли, шли... (О продовольствии — сведений не имею.)  
Настала ночь.

Они погрелись у костра, смастерили из сучьев навес и легли спать.

Мягко, верно, было на снегу.

И вдруг — волки.

Совсем, как в романах. Совершенно, как роман под заглавием:

«Зайцы и волки».

Поступили бы волки с зайцами безо всякого благоразумия.

Но милосердный Бог прислал юношам на выручку мужичка.

Мужичок выстрелил, разогнал волков и подвез путников до села.

Одним словом, Котляров теперь в Одессе.

Все хорошо, что хорошо кончается, а это кончилось сугубо хорошо.

Ибо, с одной стороны, юноша Котляров попал все-таки в Одессу.

А с другой стороны, и дорога не пострадала, поелику за проезд с него получила — и даже вдвойне.

---

<sup>1</sup> Которая вам известна (*фр.*).



Рекомендую письмецо:

«Милостивый государь.

На днях умерла дочь моих небогатых знакомых, еврейка.

Я пошел в контору еврейского погребального братства просить, чтобы усопшей отвели могилку не слишком далеко от средней аллеи, потому что в этом районе схоронен ее брат.

Мне сказали:

— Нельзя.

Я возразил:

— Право, там много свободных мест.

Мне сказали все-таки:

— Нельзя.

И я с тем и ушел.

Вчера мы ее провожали.

Новое еврейское кладбище делится на две половины: старую часть и новейшую часть.

Новейшая ужасно далеко.

В старой части бездна свободного места. В том ряду, где схоронен когда-то (21 год тому назад) брат покойной, есть еще четыре незанятых и некупленных места.

Но в старой части хоронят только того, кто богаче, а эти похороны были далеко не из богатых.

И оттого погребальное братство отвело этой девушке могилу в новейшей части кладбища, и не просто в новейшей части, а нарочно в самой глубине и глуши этой новейшей части.

Пробираясь к могиле, мы шли все время совершенно пустыми участками.

Столько места, что можно было бы там схоронить — не дай Бог! — пол-Одессы.

Но эти участки слишком близко: это тоже для тех, кто богаче.

Нашей покойнице лежать здесь не подобало.

Но и это все еще ничего, если бы хоть дорожку-то к могиле расчистили или, по крайней мере, утоптали.

Ничего подобного: снег лежал буквально по колено.

Только глубокие следы от ног могильщиков, которые утром пробирались по этой дороге рыть яму, указывали путь.

Носильщики вязли в снегу, и бедный гроб качался на носилках из стороны в сторону.

Старая мать умершей девушки, в мелких калошах и плохой шубке, совсем застряла и сказала:

— Помогите мне.

Я вслушался в ее голос и заглянул ей в лицо; я никогда не забуду этого тона и этого лица.

Прошу вас, милостивый государь, протестовать против такого надругательства над горем бедных людей.

Если уж похоронное братство непременно хочет выгодно торговать ближайшими участками, то пусть оно это делает летом, но не зимой, не в заносы.

И пусть заботится о том, чтобы процессия не вязла по дороге в снегу.

Это значит насмеяться над трауром честных людей только за то, что они мало заплатили за похороны.

Сотни бедных людей приходят ежедневно на кладбище. Достаточно такого путешествия, чтобы потом эти люди разнесли по городу всякие виды простуды.

Я не понимаю, почему *такое* учреждение присвоило себе имя „братство“...

Примите и пр.»

Подписана точная фамилия и адрес.

*Altalena*

*Одесские новости. 3.12.1902*



## **Вскользь**

Г-н Шаляпин запросил в Петербурге огромное жалованье. Баснословное жалованье.

Такую суммищу, что дирекция, экономии ради, даже сократила немножко оклады компримариям.

Компримарии, будучи людьми маленькими, ничего против такого сокращения не возразили.

Г-н Шаляпин тоже ничего не возразил.

И спокойно и благодушно каждое 20-е забирает свое огромное, свое баснословное жалованье.

А хотите знать, что это за огромное жалованье?

— Сорок восемь тысяч рублей в год.

То есть четыре тысячи рублей в месяц.

Так солидно, что нам с вами, людям скромным, и не говорить такой цифры.

Но...

Но у нас в Городском театре г-н Баррера получает, говорят, четырнадцать тысяч франков в месяц!

То есть пять тысяч рублей с лишком.

И это без шума, без гвалту, без воплей о баснословности.

И, кажется, без сокращения окладов господам компримирам.

Конечно, г-н Баррера попоет у нас два месяца с половиной и уедет, а г-н Шаляпин получает жалованье круглый год.

Но ведь Одесса не одна.

Если одесские сборы оплачивают такие затраты антрепризы, то неужели не окупят их киевские, харьковские, тифлисские?

Вот мораль сей басни:

Если бы провинция не зевала, она могла бы конкурировать с казенной сценой — и оперной, и тем более драматической.

У провинции достаточно средств, чтобы перекупать у столицы все, даже самое «баснословно» дорогое, что теперь монополизируется казенной сценой.

Это вовсе не новость.

Покойный Рошин-Инсаров несколько раз отмахивался от Александринки:

— Не пойду. Дадут мне там восемь тысяч — высший мужской оклад, да и тот не сразу дадут. А мне двенадцать тысяч, по крайней мере, нужно.

Если бы провинция не зевала, то, распределяя короткие сезоны между крупными городами, она могла бы систематически привлекать к себе все лучшее, что есть в русской опере и русской драме.

Сорока восьми тысяч г-на Шаляпина, может быть, и не набралось бы, да ведь он — исключение.

Но — два месяца здесь, два месяца там, два месяца в третьем месте — те двенадцать-пятнадцать тысяч, которыми казенная сцена закрепощает первоклассных, но не «исключительных» певцов и артистов, легко могли бы быть покрыты и даже превзойдены провинцией.

Если бы, повторяю, провинция не спала, если бы артист мог быть уверен, что после двух месяцев в Одессе обеспечены два месяца в Киеве и так далее.

Делая эти выводы, я, собственно, имею в виду не оперных певцов.

Русские оперные певцы бывают восхитительны, но итальянские все-таки лучше.

И так как у нас есть итальянцы, то сманивать даже хотя бы г-на Шаляпина особенного расчета нам нет.

Я имел в виду драму.

Первоклассных драматических актеров нельзя приглашать из-за границы.

И оттого нам по большей части преподносят второстепенных.

А потом еще обижаются, что у нас только по большим праздникам полные сборы.

А все отчего? Оттого, что на скупые затраты и должны быть скупые сборы.

В текущем сезоне драма была два с половиной месяца без перерыва, и опера будет два с половиной месяца без перерыва.

С какой же стати на оперу тратятся тысячи, а на драму не хотели тратить даже грошей?

Г-н Соколовский не мог у нас поставить «Сирано».

Антреприза не хотела разориться на декорацию для первого действия.

А для «Аиды» написали несколько новых декораций — из них одну действительно великолепную.

Для «Аиды» представили в лучшем виде Фивские врата и песчаную пустыню, а для драмы простого потолка нельзя допроситься.

Эта скупость отражается и на составе труппы.

Три-четыре даровитых актера, а остальные — «полезности»... За примерами ходить недалеко...

Антреприза может ответить, что драматическая труппа не ею составляется, а приглашается от варягов.

Но это не резон.

Если перестать «экономить», если предложить варягам большие деньги, то тогда можно будет потребовать, чтобы они, ежели только хотят попасть в Одессу, усилили и пополнили свою труппу.

Но задешево ничего, кроме дешевого товара, купить нельзя.

Одесская печать, не знаю, сколько лет подряд, требует серьезной постановки драматического сезона.

Одесская печать в этом случае выражает желание населения.

И уж не знаю, сколько лет все антрепризы весьма мало считаются с голосом печати и голосом населения.

Думаю, что этому пора положить конец.

Мы тоже одесситы, мы тоже любим итальянскую оперу.

Мы даже не требуем, чтобы на драму затрачивалось столько же, сколько на оперу.

Мы знаем, что опера должна быть дороже драмы.

Но пусть на драму затрачивается столько, сколько следует.

С *дешевой* драмой мириться больше нельзя.

В большом городе и как раз теперь, когда центр тяжести литературного пробуждения заметно переходит от романа именно к драме, — больше терпеть этого нельзя.

Когда к нам приезжает дешевая драма, одесская пресса старается... выразаться мягко.

И это понятно.

Мы чувствуем себя обязанными поддерживать русскую драму.

Но когда-нибудь должен же быть этому конец.

Довольно уж, в самом деле, шутить с самыми серьезными и солидными потребностями публики.

Если нам в Городской театр еще раз привезут дешевую драму, если опять станут скупиться на постановку и угощать нас неудачными генеральными репетициями вместо спектаклей, — я надеюсь, я уверен, что одесская печать единодушно бросит «мягкий» тон и отнесется к такой небрежности с беспощадной и резкой строгостью.



Г-ну Щеглову не хотелось быть обворованным.

И он завел собак.

Чудесные собаки у г-на Щеглова.

Им, как ребятишкам, достаточно показать палец.

Покажи им палец — а они его моментально откусят.

Жалко было таких славных собак держать на цепи.

На цепи — ведь это безжалостно. Это — лишение свободы.

— Нет ничего дороже свободы! — подумал г-н Щеглов и спустил собак с цепи.

И стали собаки стеречь добро г-на Щеглова.

Ни одному вору не было прохода.

Да и какой вор пойдет к собакам?

Если вор и пойдет, то не сразу, а со сноровкой.

Прежде разузнает, сколько собак.

Скажем, пять.

Вот он и приготовит пять лепешек.

Затем выберет ночь и подкрадется.

У него и четверти часа не пройдет, как все пять собак, одна за другой, проглотят по лепешке и скоропостижно скончаются.

А сам он затем проследует со всеми удобствами на дачу и, если нужно, самого г-на Щеглова оттуда выкрадет.

Так поступит вор.

А честному человеку — где же до этого додуматься?

Женщина Наталья Черемушная не додумалась.

Красть она не собиралась, а потому лепешками не запаслась.

И собаки г-на Щеглова спокойно и невозбранно загрызли и обглодали ее до костей.

Чудесные собаки у г-на Щеглова.

*Altalena*

*Одесские новости. 4.12.1902*



## **Вскользь**

Понимаете! Он, оказывается, не виноват.

И собаки его ничуть не виноваты.

У женщины Черемушной нашли на теле синяки.

И г-н Щеглов находит, что это — непременно следы удара тупым орудием.

Резонно.

Откуда бы, в самом деле, взялись синякам, если бы не удар тупым орудием?

Правда, бывает синяк от того, например, что человек, когда его опрокидывают наземь, ушибется о камни.

Но здесь этого, конечно, не могло быть.

Собаки г-на Щеглова, без сомнения, напали на Черемушную так нежно и положили ее наземь так бережно, что не только синяков — никакого даже беспокойства ей не могли причинить.

Так что:

— Увы, сомненья нет: были удары орудием, а собаки не виноваты.

Так-с. Но ведь труп все-таки обглодан собаками г-на Щеглова?

Мм... нда. Но, видите ли...



Видите ли, ведь это совсем другое дело.

Обглодать живую даму — или обглодать мертвую даму.

Мертвой дамы отчего не поглотать?

Кому от того беда?

Ей, бедной, все уже равно.

Она уже там, вверху, где несть воздыхания. Ей теперь лучше, нежели нам с вами.

А собакам все-таки закуска.

Было бы жестокосердием восставать против этого.

Ведь и собака тоже живое существо. Разве ей не хочется полакомиться?

Не будемте ж настолько суровы к бедным собакам, желавшим полакомиться.

Отчего же собакам нельзя съесть мертвую женщину Черемушную?

Никакой справедливости! Г-н Щеглов потрясен и оскорблен в своих лучших чувствах, и его собаки тоже.



Почтенный читатель, мне нет нужды пространно беседовать с вами сегодня в газете.

Все равно встретимся вечером на студенческом балу и тогда всласть побеседуем.

О чем будем тогда беседовать?

Приткнемся, вероятно, в углу и будем любоваться танцами.

И вы мне скажете, что немножко на этот раз недовольны студентами.

— Почему? — спрошу я.

Вы скажете:

— Потому что биржевой комитет решил не отдавать больше зала под балы, и не следовало именно студентам хлопотать для получения именно этого зала...

Я соглашусь с вами, почтенный читатель.

Но и соглашаясь, я, тем не менее, скажу вам, что все-таки наши молодые хозяева — это лучшая часть нашего общества.

Самый живой его нерв.

И указав вам на ту массу народа, которая будет толкаться перед нами, спрошу:

— Знаете, отчего так много публики?

— Оттого, что поют итальянцы? — ответите вы.

— Нет, — скажу я вам, — не в том дело. А в том, что круглый год студенты ничего не знают и не слышат о публике. Жива ли она? Любит ли она их? Ценит ли она их? И публика сознает свою вину и свою небрежность. И вот сегодня, раз в году, она вся нахлынула, сколько вместится в этот зал, чтобы на целый год вперед напомнить студенчеству, что она всегда любит его, всегда ценит его.

**Altalena**

*Одесские новости. 5.12.1902*



## **Вскользь**

*По камням струится Терек,  
Плещет мутный вал...*

Меня всегда тянуло на Кавказ.

Это должна быть страна чудес.

Там можно увидеть такое, чего больше нигде не увидишь.

Так я думал всегда.

Теперь же я вижу, что там иногда можно и услышать такое, чего нигде больше не услышишь.

Узнали терские люди про то, что в Петербурге задумали поднять сельскохозяйственную промышленность.

Узнали и отнеслись со вниманием.

Устроили все, как следует: областной комитет, заседания и разговоры.

И нашли средство.

Спасительное и прекрасное средство: для поднятия уровня сельскохозяйственной промышленности — «расквартировать войска на постой в туземных селениях».

Это, господа, глубоко задумано.

Еще Гейне сказал:

*Трубят голубые гусары...*

И после отъезда гусар поэт грустно говорит своей милой:

*И даже, мой друг, в твоём сердце  
Большой был военный постой...*

Прелестное стихотворение.

И если для вас еще не ясно, в чем дело, позвольте напомнить вам другое стихотворение — Минаева.

Жил в одном городе обыватель и жена его. «И оба были белокуры».

Пришлось им взять на постой пленного черномазого турка.  
Потом кончилась война, и турка убрали.  
Но у четы вдруг родился мальчик-брюнет.  
И при виде этого чуда, — повествует Минаев, — супруг —

*Весь побледнел, как штукатурка,  
И молвил: это — штука турка...*

Теперь вы поняли?

Согласитесь, что на Тереке возникла богатая идея.

Ибо если пленному турку так повезло, то — помилуйте! — где ж турку, хотя бы даже и не пленному, против русского солдата?

Русский солдатик этого самого турка несчетное число раз побивал.

А уж там, где и турок оказался не промах, там русский солдатик и подавно поведет себя молодцом.

— Двадцати лет не пройдет, — мечтают изобретатели этого проекта, — и весь край будет «оштукатурен».

Ах, какая тогда наступит прекрасная эра!

Осуществится великий идеал: слияние племен...

Малое дитя поведет барса и агнца на одной ниточке — пасться на травке-муравке...

Ну, а при этом, между прочим, как-нибудь подымется и уровень сельскохозяйственной промышленности.

Отчего ему не подняться? Уже столько времени падает.

Падает, падает. Надоест же ему падать — он и перестанет падать да начнет подыматься. Очень просто...

— Нет, — скажете вы, — вовсе не просто. Почему именно на Тереке? Почему жили себе да поживали эти терские люди, и ничего о них не было слышно, а теперь вдруг такое заговорили, что и умному невдомек? Откуда сие?

У вас, господа, нехорошая привычка — читать газеты невнимательно.

Если бы вы читали газеты внимательно, вы бы знали, откуда сие.

Неужели вы не слышали, что на Тереке появился антихрист?

Форменный антихрист: рожден от калмыка и ведьминой дочки.

«Не успев появиться на свет Божий, вдруг заговорил человеческим голосом», — пишут газеты.

А потом исчез и появился уже в образе странническом.

И, ходя по весям, угощал людей некоей «душистой водкой».

«И кто, — пишут газеты, — этой „душистой водки“ попро-  
бует, тот сейчас и учинится „беспутным“ — перестанет дело  
делать и начнет „сквернословить“».

И насквернословит иногда такого, что и умному не рас-  
хлебать...

Ох! Велика сила антихристова...

*Altalena*

*Одесские новости. 6.12.1902*



## **Вскользь**

### **НАПЕРЕКОР**

Может быть, не следовало бы печатать это письмо.

По крайней мере, многие не советовали.

— Неудобно, — сказали они мне, — все письмо посвящено  
лично вашей особе и ее недостаткам. Поверьте, что публике все  
это ничуть не интересно.

Я с этим согласился и решил письма не печатать.

Но мне все-таки казалось, что далеко не весь интерес это-  
го письма в нападках на меня как отдельного человека.

Мне все-таки казалось, что ненависть письма направлена  
не столько против меня, сколько против того течения, которо-  
му я пытаюсь следовать.

И еще мне казалось, что ненависть автора письма — дале-  
ко не единична.

Слышал я и лицом к лицу, и через третьих лиц, и вообще за-  
метил и наблюдал вокруг себя много точь-в-точь такой же не-  
нависти, много выражений точь-в-точь такой же досады против  
того, зачем это вдруг потянуло новым ветром, как смело потя-  
нуть новым ветром?

И, кладя это письмо под сукно, я думал про себя:

— Напрасно я хороню такое письмо, под которым охотно  
подписались бы очень и очень многие.

И вот на днях эта моя последняя мысль богато подтвердилась.

Я попал в среду молодежи — в среду, с которой единствен-  
но и нахожу нужным считаться в настоящее время.

И, всматриваясь в эту среду, я уловил много такого, что за-  
ставляло меня повторить себе:

— Да, многие подписались бы под тем письмом.

Письмо, под которым подписались бы многие, не есть уже просто частное письмо, а есть то, что называется «голос из публики».

И держать его под спудом было бы, по-моему, или неряшливо, или трусливо.

Поэтому привожу его целиком.

«Милостивый государь!

Вы вызываете ваших читателей на собеседования с вами по поводу „Монны Ванны“ и заранее обещаете разнести их за мещанские взгляды и непонимание истинного индивидуализма, жрецом которого вы объявляете себя.

Без этого вызова я не стал бы говорить вам те *поневоле* резкие вещи, которые я скажу вам.

Имени своего я вам не сообщаю, так как и мне нет дела до вашего имени, но это не значит, что я прячусь за аноним: в случае надобности, я его вам открою.

Признаться, вы не церемонитесь с вашими читателями.

Когда один из них уличил вас в цинизме по поводу „горняшечек“, вы же поспешили перейти в наступление и упрекнуть его в фарисействе и в мещанстве, и в развращенности воображения.

Это свидетельствует о вашем стратегическом таланте!

Обращаюсь к вашей совести, ведь мы с вами беседуем сам на сам, без публики: сознайтесь, что добродетельный конец к вашей статье о горняшках вы прибавили после того, как почувствовали, что слишком заехали в область порнографии, сверхчеловечества и пр.?

Вы с негодованием (напускным) кричите, что это „чтение в мыслях“. Пусть и так!

Но ведь и вы читаете в мыслях читателя, когда это вам нужно.

Поэтому будем начистоту, *sans phrases*!<sup>1</sup>

„Монны Ванны“ на сцене не видел и не знаю, что из нее выкраивает Пасхалова; но я эту вещь читал и, с позволения сказать, считаю ее обычным французским „паскудством“. Высокие чувства могут проявляться и не в такой похабной обстановке.

В этой обстановке, кажется, главная суть того, что вас привлекает, потому что в высоких чувствах Ванны ведь нет ничего нового.

---

<sup>1</sup> Без лишних слов (*фр.*).

И как вы, господа индивидуалисты, любите балансировать все вокруг порнографии!

Пусть бы один-другой раз, куда бы ни шло еще!

А то — как только шедевр индивидуализма, так заранее знай, что будет клубничка.

Удивительная у вас свобода личности, смахивающая на эротоманию.

Вы сами, милостивый государь, представляете яркий образчик индивидуализма подобного рода.

В вашей сказке „Ладно“ и король свихнулся на волнистых линиях тела (или как там у вас это выражено), и рыцарь проявляет великую мощь духа и делает гордый вызов небесам и людям тем, что хватает в свои объятия красавицу.

Воистину рыцарь духа! По-видимому, вы и Гейне пробежали, да и там, кроме клубнички, ничего не схватили.

А как хорош ваш студент, требующий чего-то (чего? Да все того же!) от предмета своей страсти, отдающегося богатому старичку, и мотивирующий это высоким соображением, что он не желает уступить *ее всю* старику!

Какая смелость, какая титаническая сила характера!

Еще немножечко, и из него вышел бы чудный Альфонс, венец новейшего индивидуализма!

Я пьесы вашей не видел, но сужу по пересказу ее в вашей же газете.

Впрочем, вас ведь ничем не удивишь.

Вспоминаю вашу возвышенную героиню, ушедшую из-за идеи в публичный дом!

А еще вы не признаете ни долга, ни высших обязанностей, никаких пут на человеческой совести! Ваши герои оказываются выше вашей теории!

Вы, пожалуй, спрячетесь за „внешние условия“: сфера любви, мол, единственная, в которой можно развернуть в полной широте идею индивидуализма.

Полноте, не в этом дело, и вы это сами знаете.

Доктор Керженцев имел решимость приложить свою идею к праву собственности, — ну а у вас на это пороку не хватит — так же, как не хватит и на другие, действительно благородные способы применения понятия о свободе личности...

В заключение позвольте подать вам вполне искренний совет: не спешите выпускать в свет первый том ваших произведений.

Когда вы будете подбираться этак под 40–45 лет и почувствуете, что как ни глупа идея долга, а она все же единственное мерило нашего внутреннего самоуважения, и когда спросите сами себя: за все ли свои литературные деяния вы можете не краснеть, — быть может, вы почувствуете себя не совсем ловко.

Впрочем, вы человек смелый...

*Неизвестный вам читатель».*



Действительно, этот читатель мне совершенно неизвестен. Полный аноним.

И я ничего не имею против того, чтобы аноним остался анонимом.

Автор этого письма, без сомнения, человек интересный.

Во-первых, он вполне интеллигентен и даже литературен.

Во-вторых, то, что он совершенно бесплатно исписал целых четыре странички только ради своей ненависти, доказывает в нем идейную ревность — качество довольно редкое.

А все-таки, несмотря на его любезное предложение, я не стану просить его открыть свой аноним.

Что мне до него? Я — повторяю — ничуть не скрываю от себя, что многие, прочтя это письмо, скажут:

— Совершенно верно!

И потому я считаю это письмо от одного лица — письмом от многих и радуюсь.

Радуюсь: я бы считал свое время и свои чернила потраченными без смысла, если бы на моей дороге никто не бросал в меня камнями.

Это значило бы, что все время я только и делал, что кричал:

— Люди! Знайте, что дважды два — четыре.

Ибо тогда люди действительно камнями бы в меня не бросали, а отзывались бы, зевая и сочувствуя:

— Знаем.

Но это было бы не в моем вкусе.

Потому что заставлять человека зевать — значит говорить ему:

— Спи.

Если бы у меня не было в голове ни одной мысли, я бы и тогда погнушался говорить, что дважды два — четыре.

Ибо усыплять людей — это гражданское преступление.

Я предпочел бы уж тогда выкрикнуть:

— Дважды два — пять!

Это была бы заведомая ложь, но, по крайней мере, человек, услышав такую небылицу, не заснул бы, а напротив — встрепетнулся бы!

К счастью, мне не приходится высказывать заведомую ложь.

К счастью, есть вещи, в которые я верю, и я могу с грехом пополам высказывать то, во что верю.

Оттого мне еще приятнее, когда по дороге вдруг кто-нибудь запустит в меня камнем.

Это лучший аттестат; это значит, что течение, которому я следую, не усыпляет.

Это значит, что оно одного задевает, другого раздражает, третьего возмущает.

Это значит, что оно шевелит, расталкивает, вызывает.

*Оживляет.*

А потом — соглашайтесь с ним или не соглашайтесь, воля ваша. Мне до этого дела нет.

Новые течения посылаются на землю вовсе не для того, чтобы переубедить, ибо истина всегда едина, а для того, чтобы расшевелить.



Было еще одно побуждение, удерживавшее меня от помещения этого письма.

Оно все посвящено обличению порнографии.

Мне же не хотелось больше касаться этого вопроса.

Сильно и упорно не хотелось. Было противно и обидно.

«Мадам Бовари» попала мне в руки впервые за границей. Я прочитал и ничего «такого» не заметил.

— А, у вас «М-ме Бовари», — сказал мне один туземец. — А знаете, что за эту книгу Флобера привлекли к суду по обвинению в безнравственности?

Туземцу я ничего не ответил, но про себя подумал:

— В России, слава Богу, нет такой грязной pruderie<sup>1</sup>.

И потом не раз за границей я замечал эту грязную pruderie и радовался, думая, что в России ее нет.

Я видел, что там девушкам не давали в руки Мопассана и Золя, объясняя:

— Конечно, это великие писатели, но они сальны.

Я ничего не говорил вслух, но про себя вспоминал:

<sup>1</sup> Лжеморали, ханжества (фр.).



— Сколько я знаю славных и чистых девушек из нашего края, которые любят Мопассана и остаются чистыми и славными!

И наконец, когда кто-то из тамошних знакомых обозвал при мне безнравственным Д'Аннунцио — Д'Аннунцио, который просто скучен, — я не вытерпел и сказал ему:

— В России этого нет. Там воображение не так воспалено, чтобы мы вспыхивали от каждого смелого слова. Золя для нас — социолог, Мопассан для нас — психолог; кто говорит об их «порнографии», тот бросает грязью в самого себя. В России этого нет...

Так я думал о читателе, и так я с ним заговорил.

Что меня интересовало, о том я и старался говорить с ним просто и откровенно.

Меня интересовало многое такое, что принято считать *шокинг*<sup>1</sup>, но я полагал, что это только у глупых так принято, а мой читатель умный и в слово *шокинг* не верит.

И я говорил с ним обо всем.

Потому что многое, по-моему, было заслонено и засорено лжеморалью.

И мне хотелось, для себя и для читателя, попытаться очистить мораль от лжеморали.

Этому разбору я отдавался вдумчиво и внимательно.

Никакие побочные мыслишки не приходили мне в голову, — и не думалось, чтобы могли они прийти в голову и читателю...

И скоро я увидел, какая это была ошибка.

Я расслышал самое недвусмысленное хихиканье.

Там, где я видел серьезный социальный вопрос, — многие из читателей видели грязненькую щекотку.

Там, где мне просто хотелось весело и честно пошутить, — многие из читателей опять видели грязненькую щекотку.

Я попытался раза два объяснить.

Но, перечитывая потом эти объяснения, я заметил, что они почти звучали оправданиями.

— Ни перед кем оправдываться не желаю, — сказал я себе и решил больше не касаться этого вопроса.

Потому что мне было противно опровергать грязь, которой нет у меня в мыслях, и обидно за то, что отечественный читатель, в которого я так верил, вот каким манером понимает мои слова.

---

<sup>1</sup> Шокирующим, скандальным (от *англ.* shocking).

Я решил избегать этого вопроса.

И теперь каюсь: малодушное и трусливое решение.

Нет, только живя за четыре тысячи верст от читателя, можно было так наивно переоценивать его.

Теперь я хорошо вижу, что такое средний читатель.

Вот его голос!

Когда вы пишете о положении женской прислуги, он уверен, что вы его щекочете.

Когда вы его стараетесь убедить, что это не так, — он не верит.

— Ах, нет, — говорит он, — уж вы оставьте. Я знаю, что вы только потому приделали добродетельный конец, что самим стыдно стало!

Извольте возражать ему.

Вы его не опровергнете, потому что он на все упрямо ответит:

— А на меня это произвело такое впечатление.

И когда вы возразите, что причины «такого впечатления» коренятся в его собственной душе, а не в ваших строках, он завопит, что это с вашей стороны «стратегия».

И пойдет уже рубить с плеча.

— Никаких «внешних условий» над вами нет!

Нда... Договорился!

Или:

— Чуть шедевр индивидуализма, сейчас на сцену клубничка!..

Даже индивидуализм приплетет.

Он, очевидно, в «Докторе Штокмане» и в «Норе» — лучших «шедеврах индивидуализма» — тоже открыл клубничку.

И это неудивительно.

Потому что для него все клубничка.

Если старый отец, вождь и король воинственного времени, гордо залюбовался красотой своей дочери — это клубничка.

Если герой, отстаивая свое право на счастье, похищает из темницы свою возлюбленную — это клубничка...

Если юноша, невеста которого из расчета жертвует своей и его любовью, выходя замуж за богача, требует, чтобы она отдалась ему в расплату за гибель всех его пылких грез о будущем счастье, — это клубничка.

Если девушка, богатая и умная, добровольно уходит в публичный дом, чтобы научить его обитательниц самозащите, — это клубничка.

Я прежде думал, что порнография — это грязное, нарочитое смакование пикантных подробностей.

Теперь я вижу, что это слишком узко. Порнография шире. Все есть порнография!

Каждая общая мысль об этих предметах, каждое слово, каждый намек — все это порнография, потому что все это щечочет его порченное воображение.

И теперь я вижу, что если бы я желал щадить это порченное воображение, мне скоро пришлось бы черпать материал для фельетонов из детских рассказов Чистякова.

Благодарю покорно.

Малодушно и трусливо было бы решение — избегать скользкого вопроса, и я стряхиваю это малодушное и трусливое решение.

Я не желаю щадить испорченного воображения и не желаю с ним больше считаться.

Потакать этой болезни — значило бы поддерживать ее.

Надо идти ей наперекор. Пусть эти люди волей-неволей учатся честно читать честные мысли.

Я настаиваю на своем праве говорить то, что я думаю, без уверток и щепетильности.

Думаю же я то, что к инстинкту продолжения рода и ко всем его разветвлениям и аберрациям мораль не имеет никакого отношения.

А из того, что предрассудок, однако, упорно признает это отношение, — вытекает много огромных социальных несправедливостей, от которых страдают сотни, тысячи людей.

И значит — вопрос о половой лжеморали есть важный и великий вопрос, и замалчивать его из страха перед господами с грязным воображением было бы глупо и стыдно.

Кто, как я, убедился во вреде лжеморали и, как я, возненавидел ее, тот поступает хорошо и полезно, когда бьет и преследует этот цепкий предрассудок всеми средствами: убеждением, яростью, насмешкой, новеллой à la Боккаччо.

Ужасайтесь, сколько вам угодно, кричите о безнравственности, об эротомании, горячитесь, прыгайте до потолка — я больше не обращаю на вас внимания, дети Тартюфа.

Я вижу отныне свое право, свою заслугу и свое большое злорадование в том, чтобы идти моей дорогой вам — именно вам — наперекор.

**Altalena**

*Одесские новости. 8.12.1902*



## Вскользь

Был на выставке этюдов.

На выставках картин я всегда чувствую себя тяжело и неуютно.

— Слишком много, — думается мне всегда.

Слишком много серьезных впечатлений сразу.

В каждую картину художник что-то вложил, а всех картин две сотни.

Разве мыслимо все воспринять, во все вдуматься, все почувствовать?

Первая же зала притупляет впечатлительность.

Душа среднего человека слишком мала для двухсот серьезных впечатлений.

Другое дело — выставка этюдов и эскизов.

Картина — это целая лекция, этюд — живое, мимолетно брошенное словцо.

Это словцо бывает иногда лучше и глубже всей лекции, но оно всегда легче и живее.

На выставках картин вас точно водят без перерыва по всем факультетам Сорбонны.

На выставке этюдов — вы точно в симпатичной гостиной, где собрались тонкие, талантливые люди и ведут оживленную беседу.

Вы чувствуете себя и легко, и непринужденно, и уютно, никакого напряжения нет, и в то же время одно за другим мелькают глубокие замечания, красивые мысли, поэтические образы.

И, возвращаясь домой со свежей и взбудораженной головой, вы думаете про себя:

— Как славно было нынче в гостях у наших художников.

Но если вас спросят:

— Расскажите же, кто что говорил?

Вы будете в затруднении.

Потому что передать содержание лекции легко, но как передать впечатление *causerie*<sup>1</sup> талантливого собеседника?

Ведь прелесть *causerie* в ее тоне, в ее неожиданности — в той личности говорящего, которой не перескажешь своими словами.

<sup>1</sup> Непринужденного разговора (*фр.*).

Что можно сказать о выставке этюдов?

...Иные крошечные квадратики покрашенного полотна г-на Костанди — бездны вкуса, правды и красоты.

...На одном из них небо в темных нависших тучах передано так нежно, что и акварель не могла бы быть нежнее и ласковее.

...Дамский портрет г-на Коренева — живой и задорный.

...Г-н Кишиневский сух и лишен сока, но все-таки очень приятно видеть его наконец в компании с членами товарищества южнорусских художников. В добрый час.

...Г-н Нилус — виртуоз и в самой небрежности эскиза, но я не понимаю, за что тому серому господину, поднимающемуся по лестнице, такая честь. Даже две чести: его написал Нилус — и его, даже в недоделанном виде, продают за 125 руб.

Всю серию «На лестнице» я очень люблю и на каждой картине этой серии люблю все фигуры — кроме этого серого господина.

Это настолько бесцветный господин, что даже для типичной бесцветности он слишком бесцветен!

...Этюды г-на Головкова не продаются.

Это — лишнее доказательство того, что и само по себе уже заметно и ясно: г-н Головков «учится», искренне ищет своей правды и для этого хочет копить и бережно сохранять свои впечатления и наблюдения.

Многим из его красок, из его штрихов и линий публика еще не верит, повторяя знаменитую фразу:

— Этого в природе не бывает.

Но художник должен знать, что толпа видит только то, что ее приучили видеть, и что долг искусства — все больше и больше открывать людям глаза.

...У г-на Попова очень солидная рама.

...Г-н Заузе кроток и задумчив, как всегда. Его акварели — словно иллюстрации к любимым лирическим стихам или к музыке...

...От г-на Финкельштейна брызжет молодостью и смелостью, но я боюсь, что он слишком многое схватывает на лету, не продумывая, не углубляясь, не работая. Работайте, г-н Финкельштейн, у вас есть что разрабатывать.

Бедная «Умирающая обезьянка» прямо-таки трогательна... Она очень замечена публикой...

...Г-н Люксенберг думает, что Петербург в феврале имеет импрессионистский вид, но г-н Люксенберг не доказал этого...

Но в конце концов нельзя, повторяю, передать своими словами талантливую *causerie*.

— Интересно было на вечере? — спрашивают.

— Очень! — отвечаете вы. — Иван Петрович прекрасно острил.

— Как же он острил? Расскажите...

И вы оказываетесь в затруднительном положении.

Повторить остроты Иван Петровича можно, но выйдет то, да не то.

И ваш собеседник даже пожмет плечами:

— В чем тут остроумие? Не вижу.

В этих случаях надо отсылать к первоисточнику:

— Идите и сами увидите.

*Altalena*

*Одесские новости. 11.12.1902*



## *Лидочкина система*

Мы недавно ужинали в клубе, причем Лидочке как-то достался угол стола.

— Берегитесь, — сказал ей ваш покорный слуга, — есть примета: семь лет просидите в старых девах.

— Что ж за беда, — ответила Лидочка, — я все равно останусь, вероятно, старой девой.

На что я, зная нравы и обычаи этой милой собеседницы, выразил крайнее изумление.

— Ничего удивительного, — сказала Лидочка важно, — я очень разборчива и не думаю, чтобы нашла достойного человека.

— Кхм... — сделал я, поперхнувшись. — Извините, барышня Лида, но на правах старого приятеля позвольте не признавать вашей разборчивости. По-моему, вы, наоборот, очень снисходительны.

— Почему вы так полагаете?

— Потому что... Можно сказать дерзость?

— Можно.

— Потому что нет в Одессе, кажется, ни одного студента, который мог бы похвастать, что не имел у вас более или менее осязательного успеха.

— Вот тебе на!.. — ответила Лидочка, засмеявшись искренне. — Так ведь то флирт. А брак — дело серьезное. Для брака нужна большая разборчивость.

Я знаком с Лидочкой, слава Богу, девять лет.

И никогда я от нее таких речей не слышал.

Знал и знаю все ее житье-бытье наизусть и весьма подробно, и потому никак уж от нее таких степенных мыслей не ждал...

Перерыв кончился.

Публика из буфета повалила в зал.

— Барышня Лида, — попросил я, — останемся в буфете допивать чай.

Лидочка, надо вам знать, всегда внимательно следит за прениями.

Но в тот четверг как раз был прочитан реферат «О пользе железных дорог» — вопрос, который Лидочка успела выяснить для себя еще в пятом классе гимназии, когда им было задано домашнее сочинение на эту самую тему.

Поэтому она легко согласилась остаться в опустевшем буфете.

Реферирую наш разговор.

— Итак, — начала Лидочка, — следите за моей логикой.

— Готово, — отозвался я.

— Брак бывает по любви и по расчету.

— Верно.

— Брака по любви я не признаю.

— Почему?

— По логике. Любовь ослепляет, и чем она сильнее, тем больше ослепляет. Когда сильно любишь, трудно разобраться в человеке. Значит, неразумно и связать себя с ним на всю жизнь. Верно?

— Продолжайте.

— Продолжаю. Рассчитывать, что любовь, то есть влюбленность, продлится на годы семейной жизни, — глупо. Ни за что не продлится. Любовь может тянуться, самое большее, три месяца, да и то только если есть препятствия для randevu. А жить в одном доме... такая любовь больше одного месяца не простоит. Верно?

— Пасую. При вашей опытности вам и книги в руки.

— Вот именно. А что же может связать людей, когда нет любви?

— Мало ли что... Хотя бы общие духовные интересы?

— Слышала. Я слабо верю в это. Я, кстати, читаю теперь новую французскую книжку.

— Что?

— Роман Мюльфельда «L'associée»<sup>1</sup>. Хорошая книга. Там рассказано, как жил один врач с женой в мире и ладу; друг другу не изменяли, любили друг друга (это неправда, но допустим нарочно, что это возможная вещь) и даже дети у них были сыты и здоровы. Но жена все время чувствует, что духовно ее муж — чужой для нее. Она становится его «союзницей», она принимает участие в его общественной деятельности, подбодряет его, вытаскивает его за уши на самую верхушку популярности; дело их — прекрасное и полезное, санаторий для рабочих, и жена отдается этому делу гораздо больше мужа. Но он ничего не замечает. Ее хлопоты он приписывает тщеславию любящей женщины. А о том, что его дело само по себе дорого и ей, что у них есть общий духовный интерес, он даже не догадывается. Он все по-прежнему считает ее светской барыней, с которой ему приятно отдохнуть. И больше ничего. И на том и кончается роман.

— Ну-с?

— Так всегда. Страшно редко случается, чтобы сошлись два человека с общим духовным стремлением.

— Следовательно?

— Следовательно, когда любовь пройдет, ничего не останется. А любовь пролетит в четыре недели. Вот почему я не признаю брака по любви.

— Барышня Лида, я с прискорбием предвижу, что вы, имея двадцать лет от роду, сейчас станете защищать брак по расчету!

— Да.

— Я в ужасе.

— Нет причины. Я не говорю о денежном расчете.

— Ага... Вы, вероятно, зачитались «Комедией любви» Ибсена. Там изображен благородный расчет: Свангильда выбирает Гульдстада не за его богатство, а за солидные внутренние качества...

— Нет. Я Ибсена не читала — я у него ничего не понимаю. И такая комбинация — значит опять общность духовных запросов. Я вам уже сказала, что, по-моему, эта общность никогда не встречается. Да если бы и встретилась! Ведь быть женой — значит принадлежать мужу телом. Разве можно принадлежать

---

<sup>1</sup> «Соучастница» (фр.).



мужчине телом потому только, что у нас общие духовные идеалы? Ведь это грязно. Чтобы принадлежать без грязи, нужно быть влюбленной.

— Барышня Лида, я сбит с толку. Вы отрицаете брак со всех сторон!

— Нет, не отрицаю. Брак втройне необходим.

— Втройне?

— Во-первых, он необходим мне как женщине. Если я, девица, буду жить по-своему, меня забросают грязью; если у меня будут дети, меня вытолкают из приличного общества. Но когда я стану дамой — другое дело.

— А во-вторых?

— А во-вторых, брак необходим для мужчины. Петя на днях мне жаловался: «Ни за кем поухаживать нельзя! Отвечают: женись на мне! Не могу же я на всех жениться!» А женатому человеку не скажут: женись. Оттого женатому вольнее.

— А в-третьих?

— А в-третьих — брак необходим ради детей. Если нет устойчивого семейного очага, нельзя порядочно вскормить и воспитать детей. Нет, без брака нельзя.

— В чем же наконец ваша система?

— А вот в чем моя система. Слушайте и вникайте.

— Вникаю.

— Я высматриваю холостого мужчину. Требуется только одно: чтобы у него были задатки хорошего отца, то есть воспитателя и отчасти кормильца.

— И больше ничего?

— Остальное меня не касается. Я подхожу к нему и предлагаю ему обвенчаться со мной. И говорю ему так: «Милостивый государь! Предлагаю вам брак со мной как союз для воспитания наших будущих детей. Я буду зарабатывать, вы будете зарабатывать, мы будем жить ладно и почтительно между собой, будем жить в одной квартире, но останемся чужими друг для друга, потому что я вас не намерена полюбить и вы меня тоже...»

— Ой, барышня Лида! Простите за нескромный вопрос, но откуда же возьмутся тогда эти самые дети, ради которых вы устраиваете союз?

— Вот в том-то и дело, что нескромных вопросов не должно быть.

— Как так?

— А очень просто. Появился в детской новый ребенок — мы ему должны быть рады и не допытываться. Я мужа ни о чем не

спрашиваю, муж меня ни о чем не спрашивает. И таким образом мы с ним живем в дружбе, можем вместе ездить по театрам, а дети вырастают в атмосфере покоя и заботливости... Рай!

— В самом деле... Но если вы мечтаете о таком рае, то почему же вы сказали, что рассчитываете остаться старой девой?

— Потому что мужчины трусы. Если бы я сделала вам такое предложение, вы женились бы на мне?

— То есть... отчего бы вам не начать с кого-нибудь другого?

— Вот видите. Вы, мужчины, трусы, не способны на оригинальный шаг. Помните Шиллера: «Это столетие не созрело для моего идеала... Я — гражданка будущих поколений». Я умру старой девой, это бесспорно...

**Altalena**

*Одесские новости. 12.12.1902*



## **Вскользь**

Где-то в Керчи барышням ученицам вышел новый приказ. В антрактах по коридорам театра не гулять, а сидеть смирно на своих местах.

Я это прочитал и улыбнулся.

Вчера я слушал «Мефистофеля»: пришел в театр в восемь, ушел около полуночи.

Почти четыре часа.

Разве можно просидеть четыре часа, не вставая, не разминаясь?

Пришлось бы предположить, что керченские барышни приготавливаются из чугуна.

Нет, очевидно, дело не так просто.

Вероятно, в театре будет присутствовать классная дама.

Классная дама будет иметь наблюдение, дабы барышня, севшая перед увертюрой на кресло номер 123, там же безвыездно и просидела до конца.

Но в случае несомненной необходимости классная дама уполномочивается разрешать барышням отлучиться с кресла на срок не свыше пяти минут.

Это будет прелестно.

Баритон поет:

— Не плачь, дитя, не плачь напрасно!..

С кресла номер 123 поднимаются два пальца.

Классная дама, строго:

— Что вам надо, Петрова?

Сенсация. Баритон почтительно умолкает. Маэстро застыл с поднятой палочкой. Публика ждет.

Петрова, скромно:

— Позвольте выйти.

Классная дама, строго:

— Ступайте. Через пять минут возвращайтесь.

Публика облегченно вздыхает.

Маэстро опускает палочку.

Баритон затягивает:

— Твоя слеза на труп безгласный...

Веселая картина.

Однако пока я рисовал в своем воображении эту веселую картинку, мало-помалу мне стало совсем не весело.

Вспомнились мне мои педагоги.

Много их было. Сколько их я на своем веку перевидал — и не перечтешь.

Заботливые были господа, Бог им прости.

Что я был для них? Чужой мальчик. А они заботились!

Обо всем заботились. Не было такой вещи, о которой они бы не позаботились.

Я сижу в театре, а они заботятся:

— Почему не в мундире?

— У меня блуза новая, а мундир изношен. Ведь приличнее в новой блузе, чем в истрепанном мундире...

На два часа без обеда.

Я сшил себе на собственные трудовые деньги новое форменное платье, а они заботятся:

— Почему такая светлая материя?

— Да ведь в правилах сказано просто «серая», а не темно-серая...

— Переменить.

— У меня денег нет.

— Носить старое.

— Господи! Да что вам с того? За что вы непременно хотите меня обезобразить?

— На шесть часов без обеда, чтобы не говорил дерзостей...

Я влюбился, а они заботятся:

— Остричься под гребенку.

А Маруся вчера только говорила:

— Какой у вас славный хохол... Дайте потрепать!

Идешь к цирюльнику, и потом плакать хочется.

За что? За что все это, в самом деле?

Когда прочтешь в газете о каком-нибудь, в сущности, пустячке, вроде этого керченского, сначала засмеешься, а потом станет тоскливо и обидно.

За что портят и отравляют самую безмятежную пору жизни?

Какая тому цель?

Никакая. Кроме разве одного запрещения курить, все остальное без всякой цели. Само для себя.

Десятки лет наши дети таскали на спине ранцы.

Возьмешь ранец под мышку — скандал и «без обеда».

Теперь разрешили носить книги в чем угодно и как угодно — и что же? Развалился от этого мир?

Мир не развалился.

И выходит, что десятки лет подряд наказывали наших детей ни за что ни про что — за совершенно безразличный и безвредный поступок.

А ведь это были дети — маленькие человечки, переживающие то детство, которое принято было когда-то называть «золотым».

За что же им тысячами таких мелких уколов систематически разрушали позолоту этого детства?

У кого было хорошее детство, тот в воспоминаниях о нем найдет утешение и ободрение при толчках судьбы.

За что же отнимают у будущего человека эти воспоминания? За что хотят обесформить и придавить лучшую пору жизни так, чтобы от нее не уцелело ни одного теплого родного впечатления?

Ни за что ни про что.

Я вспоминаю себя школьником.

Я никогда не делал ничего дурного.

Абсолютно никогда и абсолютно ничего.

Чужих вещей не крал.

Помочь товарищу не отказывался.

Не наушничал.

На уроках был внимателен, когда учитель умел объяснять интересно, а когда учитель этого не умел, я, по крайней мере, сидел тихо и никому не мешал.

Я мог подражаться с товарищем, но никогда не хватило бы сердца избить слабого.

Я не делал ничего дурного.

А мне все-таки «влетало».

Меня ежедневно ставили в угол, еженедельно оставляли без обеда и ежемесячно таскали к инспектору моих родителей, для которых не было ужаса и пытки хуже.

За что?

Так. Попался в девять часов вечера на улице. Или пальто не было застегнуто.

Или блуза была зимняя, а брюки летние. Или забыл дома «билет»...

Когда мне случалось подраться с товарищем, мы через минуту уже мирно жали друг другу руки.

Но если эту драку замечали педагоги — обоим «влетало», и мы с товарищем злились друг на друга и надолго сохраняли враждебное чувство.

Мировой судья в этих случаях уговаривает:

— Помиритесь, люди добрые, да идите по домам и не ссорьтесь...

А нас, детей, этим наказанием только озлобляли друг против друга:

— Это из-за тебя!

— Нет, из-за тебя!

У мирового судьи можно защищать себя. Можно представить свидетелей.

Нас судили заочно и без всяких свидетелей.

Приходил надзиратель и говорил:

— Иванов! Инспектор оставил вас на два часа.

— За что? — удивлялся Иванов.

— Вы размахивали руками на большой перемене.

— Я не размахивал!..

— Так, по-вашему, инспектор говорит неправду?

И нам в этой атмосфере предлагалось выращивать в себе семена уважения к высоким принципам.

— Как же! Держи карман, — думали мы.

Только один идеал и лелеяли мы, начиная с пятого класса:

— Вот как получим аттестаты — так напьемся же мы в Гранд-отеле один раз за восемь лет — мое почтение!

И сбылась эта мечта.

Так сбылась эта роковая мечта, что многие из нас по инерции до сих пор еще не выходят из Гранд-отеля...

**Altalena**

*Одесские новости. 13.12.1902*



## Вскользь

Пошла философия.

«Собственно говоря» да «в сущности».

И выходит, что, видите ли, «собственно говоря» и «в сущности» никакого юбилея печати вовсе нет.

Ибо двести лет тому назад появилась вовсе не настоящая газета, а так, что-то вроде чего-то.

И это что-то вроде чего-то стараются всячески задним числом обругать.

— Бессодержательный сухой листок! — вопиет одна газета.

— Существовал недолго и с перерывами! — указывает другая.

— Никем не читался, — уничтожает третья.

В конце концов «Русские ведомости» сделали подсчет и нашли, что 200-летний юбилей печати состоится только через 160 лет.

Ибо, видите ли, «настоящая» газета появилась в России только в шестидесятых годах прошлого столетия.

Право, не могу я понять, для чего вся эта антимония.

Повременное издание есть издание, выходящее в свет периодически.

Двести лет тому назад в России появилось первое повременное издание.

Ergo<sup>1</sup>, 3 января будет 200-летний юбилей повременной печати в России.

Первая газета была плоха во всех смыслах, но и первый паровоз был плох во всех смыслах.

Первый росток всегда слаб.

Но из первого ростка со временем получится большое, крепкое дерево.

Неужели мы вправе забыть об этом?

Неужели мы без благодарности будем вспоминать о дне, когда этот первый росток показался над поверхностью земли?

Нет! По-моему, юбилей 3 января есть настоящий юбилей русской повременной печати.

И его надо серьезно и без неуместного конфуза отпраздновать.

Да-с, именно «отпраздновать».

<sup>1</sup> Следовательно (лат.).

Слово «праздник» вовсе не значит «ликование».

«Праздник» значит — торжественный день, который мы проводим в особом, приподнятом настроении, посвящая наши мысли в этот день чему-то высшему, нежели обыкновенные будничные заботы.

Есть разные формы празднования; мы легко можем выбрать те из них, которые совершенно исключают элемент ликования.

Но какую бы форму ни избрали мы — одно представляется мне обязательным и необходимым.

Проявится ли наш торжественный день внешним образом или не проявится, но мы-то сами должны отнестись к нему как к торжественному дню.

В этот день нам неуместно строчить передовицы, фельетоны, хронику городских происшествий; в этот день нам неприлично заставлять наборщиков возиться со свинцовыми буквами.

После больших праздников газеты не выходят; 4 января газеты не должны выйти, потому что 3 января для нас большой и важный праздник. Я считаю это вопросом нашего профессионального достоинства, не лишенным и общественного значения.

Надеюсь, что одесские газеты не откажутся хоть раз нарушить разделяющий нас бессмысленный взаимный бойкот и высказаться по этому поводу.



Просто глазам не веришь.

Парижский «Figaro» на днях открыл сбор пожертвований на устройство какого-то учреждения для борьбы с туберкулезом.

Прошло всего *шесть* дней.

И в рубрике сбора уже красуется великолепный итог — свыше миллиона франков.

Это пока.

А пройдет еще несколько дней — будет два миллиона и три. Вот что может во Франции газета.

И еще какая? «Figaro», который теперь заметно идет на убыль, с каждым днем теряя часть верной публики старика Вильмессана.

Его влияние не то уже, что в прежние дни.

Теперь остались только осколки прежнего влияния.

Но и этих осколков достаточно для того, чтобы в пять дней подарить человечеству свыше миллиона франков.

Драгоценные осколки.

Вообразите же, в какую цифру можно было ценить влияние «Figaro» в его лучшие времена.

А что такое был «Figaro» в его самые цветущие времена?

Газета живая, талантливая, остроумная.

Но легковесная — принципиально легковесная и нарочито несерьезная.

Такой ее создал Вильмессан и такой, умирая, приказал ей долго жить.

Парижане всегда любили «Figaro» как доброго приятеля, весельчака, балагура, собеседника.

Но никогда не чувствовали к этой газете настоящего уважения.

И когда «Figaro» обращается к ним с просьбой:

— Пожертвуйте на доброе дело!

Они ведь имели бы полное основание дружески хлопнуть его по желудку и сказать, улыбаясь:

— Ну уж, выдумал! Совсем это не твое дело — серьезничать. Ты вот лучше нам анекдотик расскажи.

А вот подите же, не хлопают по желудку и не отделявают шуткой.

А дают. Дают по 200 тысяч в сутки.

Отчего это? В чем дело?

Отчего «Matin» года два тому назад за две недели мог собрать огромную сумму для постройки подводного судна «Gustave Zédé»?

В чем секрет этого влияния?

Сравните его с влиянием русской газеты.

Вспомните, сколько лет русские газеты выколачивают и не могут выколотить из читателя те гроши, которые нужны для постройки памятников двум-трем великим писателям.

Вспомните, с каким трудом собирались пожертвования в пользу бобруйских погорельцев?

А в пользу Шемахи?

А теперь в пользу Андижана?

Туго жертвует россиянин, хотя к его кошельку вопиет не одна газета, как в Париже, а сразу все листки и газеты русской земли.



В чем же тайна такого влияния французской газеты и такого бессилия русской?

— Публика другая, — скажут иные.

Правда. Здешняя публика и беднее, и гораздо менее культурна. Это не может не отзываться.

Но если бы только это, русская газета имела бы, рельефно выражаясь, в два, в три, в десять раз меньше влияния, чем французская.

Но ведь влияние русской газеты не в 10, а в 100, в 1000 раз меньше влияния даже хиреющего «Figaro»!

Почему?

Есть причины.

И не только те, что русская газета не так распространена, не так жива, остроумна и талантлива.

Есть другая, более важная причина.

Русский читатель уважает хорошую газету и верит ей, пока она не произносит слова:

— Нужда.

Газета пишет о театре — читатель ей верит.

О новой книге — он охотно верит.

О думском заседании — он весьма охотно верит.

О погоде — он всей душой верит.

Но когда газета пишет о «нужде» — отмахивается и говорит:

— Болтовня.

И не дает ни копейки...

*Altalena*

*Одесские новости. 15.12.1902*



## **Вскользь**

Вы говорите вашему знакомому:

— Зачем это вы поселились так далеко: на Княжеской улице!

Знакомый протестует:

— Напротив! Это вам приспичило забраться в такую даль: куда-то на Канатную.

И никогда вы с ним не столкуетесь. Оба вы правы: он живет «далеко» от вас, а вы живете «далеко» от него.

Все в этом грешном мире относительно.

Труппе г-на Киселевича предстояло разрешить трудную задачу: найти такое место, которое было бы абсолютно «близко».

Обыкновенно, что близко от Ивана Ивановича, то далеко от Петра Петровича.

А тут надо было этого избежать.

Надо было найти такое место, чтобы было близко и Ивану, и Петру.

«Абсолютно близкое».

Задача почти столь же трудная, как, например, подобрать пьесу для любительского спектакля, где, как известно, всегда требуется, чтобы роли были все *ingénues dramatiques*<sup>1</sup> и притом все главные.

Ну-с, кажется, решение задачи найдено.

Остановимся на Новом театре.

Новый театр, оказывается, и есть тот пункт, который находится абсолютно «близко».

Можете удивляться.

Сколько раз проходили мимо Нового театра, сколько раз даже сидели в нем, а никогда ведь, сознайтесь, не подозревали, что это не простой театр, а редкостный. «Абсолютно близкий».

Итак, квартира найдена.

Теперь, по-моему, начинается главная баталия.

Все то хорошее и новое, что труппе удалось показать на Дальницкой улице перед немногочисленными зрителями, она должна теперь сконцентрировать и при полном зале дать интеллигентной публике центра генеральное сражение.

Время благоприятствует.

Русской драмы в городе нет.

Да если бы и была — опять, вероятно, играла бы с трех репетиций и обставляла бы пьесы на двугривенный.

Наша публика давно утомилась этим архаическим методом игры, без ансамбля и без иллюзии.

Труппа г-на Киселевича дает прекрасный, обдуманый ансамбль — на фоне такой верной, жизненной обстановки и постановки, какой Одесса еще не видала.

Надо суметь сразу показать публике эту новую окраску дела — и публика оценит.

Ведь Херсон далеко не Одесса, а в Херсоне такая же попытка господ Мейерхольда и Кошеверова, привезших туда репер-

---

<sup>1</sup> Драматические инженеру (*фр.*).

туар и принципы Художественного театра, вполне оправдалась солидным успехом.

Все, не ленившиеся посещать в прошлом месяце Дальницкий театр, не могут не желать труппе г-на Киселевича этого солидного успеха.

Она должна сыграть важную роль в истории драматического дела в Одессе.

После этой труппы, строящей свой репертуар на «Женщине с моря», «Одиноких», «Дикой утке», «Столпах общества», обставляющей свои спектакли сообразно духу времени, нас, надеюсь, не рискнут уж больше кормить дешевой и залежавшейся драматической пищей.



Последний удар.

После этого г-ну Волынскому уже не подняться.

Он добит. Он убит.

Долго он боролся.

Редактировал «Северный вестник» — все его ругали, а журнал скончался.

Но г-н Волинский устоял.

Издавал он свои книги — и опять его ругали.

Но он устоял.

Негде ему стало печататься, и пришлось замолчать.

Но он все же не сдавался и время от времени разражался публичной лекцией.

И опять его ругали. Ругательски ругали.

Но он устоял.

А теперь уже не устоит.

Теперь ему, бедному г-ну Волынскому, конец. Крышка.

Его убили старшины литературной секции Одесского Литературно-артистического общества.

Они... они... они решили не приглашать его читать.

Непреклонно решили.

Пусть г-н Волинский хоть плачет, хоть рыдает, хоть на коленях молит — ни за что.

Ни за что не пригласят они его прочесть публичную лекцию в Литературно-артистическом клубе.

Напрасны все моления: г-н Волинский погиб. Осужден бесповоротно.

Это ему будет наука.

Чтобы впредь не буйствовал.

Чтоб не плодил декадентов и не говорил продерзостей по адресу старших и умерших.

Не знаю, дошла ли уже эта весть до г-на Волинского.

Страшно подумать, что будет, когда он узнает.

Бедный г-н Волинский! Мне вчуже больно за него.

Этакое горе! Этакий удар перед лицом всей России!

— Что-о? Приглашать г-на Волинского? — сказали старшины. — Не бывать тому. Не дорос!

Непохвально, господа старшины.

Литературно-художественное общество на то и существует, чтобы знакомить одесскую публику со всем новым и интересным, что появляется в духовной жизни нашего времени.

Неужели же, по-вашему, взгляды г-на Волинского не отражают известного течения, представляющего большой интерес?

Не верится как-то, чтобы вы, люди интеллигентные, не сознавали того, насколько заметно в современной духовной жизни русского общества то веяние, которое так ярко представляет г-н Волинский.

Нет, не в том дело.

А в том, без сомнения, что господа старшины не согласны со взглядами г-на Волинского.

И, будучи несогласны, решили:

— Раз это не по-нашему, это никому не может быть интересно.

Pardon, господа старшины. Простите, но вы, честное слово, ошибаетесь.

Поверьте, что можно не соглашаться с вами — и все-таки представлять для нас большой интерес.

Для этого нужны три качества, которые есть и у г-на Волинского: талант, оригинальность, искренность.

И так как г-н Волинский скоро будет читать лекцию в Киеве, а это весьма близко от Одессы, то вы, право, переложили бы лучше гнев на милость и, скрепя сердце, дали бы и нам послушать этого многообруганного и несговорчивого «борца за идеализм».

**Altalena**

*Одесские новости. 17.12.1902*



## Вскользь

### ЖЕНЩИНА И ДАМА

Страшно перечесть, что пишут о кормилицах.

Каждая женщина, идущая в кормилицы, почти наверное губит своего ребенка.

Молочные братья или сестры — большая редкость, потому что те, которые должны быть нашими молочными братьями или сестрами, умирают.

Женщина, идущая в кормилицы, не может не знать этого. Она просто и определенно должна понимать всю картину. Вот эта картина.

У женщины родился сын Петька.

И у дамы родился сын Петя.

Дама не хочет кормить своего Петю.

И не хочет, чтобы его кормили коровьим молоком с рожка.

Тогда женщина отдает своего Петьку на кормление с рожка.

А сама идет избавлять от кормления с рожка дамского Петю.

Если бы дамского Петю кормили с рожка, то кормили бы чистым стерилизованным молоком с хорошей фермы, и рожок был бы чистый.

Но женщина, отдавая своего Петьку, знает, что его будут кормить с грязного рожка жидким, несвежим молоком от худосочной коровы.

И все-таки женщина отдает своего Петьку на кормление с грязного рожка и идет спасать дамского Петю от кормления с чистого рожка.

Идет и прекрасно сознает всю эту механику.

Сознает, что оставляет свое дитя почти на верную смерть для того, чтобы дамское дитя было здорово.

И когда дама нанимает женщину в кормилицы, между ними, в сущности, совершается сделка.

Женщина говорит даме:

— Согласна.

И контракт подписан.

И сам сатана ставит на этом контракте печать своей канцелярии...

Да в состоянии ли вы по-настоящему вдуматься в эту схему?

Много ужасного в жизни, но это явление, может быть, самое ужасное из всех.

Чем больше вглядываешься в него, тем оно невероятнее; и тем невероятнее становится то, что мы, выдумавшие электричество и железную дорогу, до сих пор не придумали, как избавить мир от такого позорного зла.

И никогда не придумаем, пока оно — это зло — рядом со всяким другим злом не уляжется само собой, силою вещей.

Скоро ли это наступит, нам знать не дано, и кого ни спросишь, все сомневаются, чтобы скоро.

Но до тех пор — ничего мы не поделаем, ничему не поможем.

Смягчим формы этого зла, Петькин рожок из возмутительно грязного сделаем просто грязным или даже только грязноватым.

Но зло останется злом.

Останется то, что женщина будет отнимать у своего ребенка и отдавать ребенку дамы.

Жесточайшая из несправедливостей, на какие только могла бы набрести человеческая фантазия.

И эта коренная несправедливость останется незыблемой.

Что бы ни говорили моралисты.

Сколько бы они ни повторяли:

— Дама виновата! Дама бережет свою фигуру и для своей фигуры губит ребенка женщины. Пусть дама исправится, и тогда все пойдет по-хорошему...

Мужчины-моралисты судят женщину за уклонение от материнства и его забот, осуждают и присуждают к выговору.

Наперекор великому правилу:

— Каждый может быть судим только равными.

Мужчина не может судить женщину за то, чего ему не дано знать и что она одна только знает.

Он вопиет, что избегать материнства — это грех, это ужас, это Содом и Гоморра.

Может быть, оно так и есть, но откуда у него право быть судьей в этом вопросе?

Не он болеет ребенком, не он переносит невероятные муки родов.

Приведите к нему палача и скажите:

— Отрекись от всего твоего святого, иначе палач причинит тебе сейчас физическую боль, равную родовым мукам женщины.

Девять десятых из нас струсили бы этой угрозы и отреклись бы от всего своего святого.

Но эти самые девять десятых во всякую минуту готовы осудить женщину, увиливающую от материнства.

— Как тебе не стыдно! — говорят они ей, качая головами.

Не щадят они и такой дамы, которая сама не хочет кормить.

— Очень стыдно! — говорят они ей и тоже качают головами.

Ибо качать головой и легко, и дешево.

Ведь мужчине от того, что дама кормит сама, ни тепло, ни холодно.

Он от того не потеряет своей молодцеватости.

Но когда потом на балу он увидит даму со скверной фигурой, он скажет:

— Фи! Какая скверная фигура.

И пригласит танцевать не эту даму, а другую.

И эта дама останется подпирать стенку.

И всегда и во всем он, мужчина, даст ей понять и почувствовать, что она уже не та, что она подурнела и потеряла изящество фигуры.

А ей, может быть, едва тридцать лет.

Тридцать лет — это еще молодость. Молодость имеет свои права.

Когда ребенок не резвится — это ненормально.

Когда молодое существо лишено возможности жить по-молодому, когда оно в тридцать лет отметається в сторону, под стенку, к старичкам, — это тоже ненормально.

И те мужчины, которые сами же отметають его под стенку, — те мужчины качают головой и говорят «стыдно», если дама бережет свою фигуру и уступает детей кормилице.

Я никого не хочу ни оправдать, ни защитить.

Я совсем не нахожу, что «фигура» должна быть дороже здорового ребенка.

Но я думаю, что не мужчине быть в этом деле судьей, ибо не мужчина расплачивается за все то, чего природа требует от женщины.

Только женщины могут судить женщин.

И мне хочется сделать попытку в этом роде: спросить у женщин.

У тех самых дам, о которых вкривь и вкось толкуют с высоты своей незаинтересованности морализирующие мужчины, я, никого не осуждая, никого не извиняя, прошу ответа на вопрос:

— Чувствуете ли вы, какое это зло? Что вы думаете о нем? Кого считаете правым и виноватым?

И пусть говорят они, потому что им принадлежит здесь право голоса.

*Altalena*

*Одесские новости. 18.12.1902*



## **Вскользь**

Из письма г-на А. Я. Кр-а:

«Г-н Вольтинский является жертвой травли вот уже несколько лет. Над ним не только разносится свист и шипение „Наблюдателя“, „Нового времени“, „Петербургского листка“ e tutti quanti<sup>1</sup>, но в свое время его травили многие из тех, которых Россия считает самыми прогрессивными своими писателями-мыслителями.

Г-н Вольтинский имел дерзость сказать, что русская мысль находится на неверном пути, что, пересаженная из Западной Европы, она еще до сих пор не сказала своего самостоятельного слова по той причине, что с самого Белинского по днесь она является как бы прислужницей русской общественной *идеи*, ни разу не поднявшись выше этой задачи как *мысль*; высоко ценя художественные произведения русского гения, ставя на недосягаемую высоту русское творчество, г-н Вольтинский снимает с пьедесталов титанов русской мысли, найдя, что такой мысли еще нет, а то, что есть, то есть только подобие мысли.

Глубоко веря в мощь русского духа, г-н Вольтинский призывает критику отречься от исключительной своей публицистической роли.

За этот смело высказанный взгляд, доказанный с чрезвычайной убедительностью при помощи большой эрудиции и высказанный со всей искренностью честного самостоятельного литератора, г-н Вольтинский подвергался и подвергается травле, и не только в литературе, но и в обыденной жизни.

Каких поклепов на него только ни возводили, и где только он ни подвергался остракизму!

Не доказывает ли этот фанатизм, эта нетерпимость, что русскую мысль надо освежить, и не имеет ли после этого суд, произнесенный г-ном Вольтинским над русской мыслью, права на признание его справедливости?

<sup>1</sup> И им подобных (*итал.*).



Г-н Волынский не имеет программы относительно злобы дня русской жизни и не принадлежит ни к одной из существующих партий, но вся его жизнь показала, что он истинный жрец мысли, в полном смысле слова борец за русскую мысль.

На его долю выпала очень неблагоприятная роль: и переоценить старые ценности русской критики, и показать новые образцы этой существенной отрасли литературы.

Его первый обширный труд „Русские критики“ наделал много шума.

Отдавая полную дань гениальному отцу русской критики Белинскому и его талантливым преемникам — Добролюбову, Писареву, Григорьеву и проч., он, однако, к этим признанным богам подошел очень смело и показал все их заблуждения, которые привели русскую мысль к застою и обратили критику в публицистику.

Сильно не понравилось нашей публике мнение г-на Волынского, что большинство наших критиков, обладая несомненными яркими талантами и умом, взялись за свое дело руководителей русского общества без достаточной подготовки.

На г-на Волынского посыпались ругательства, его журнал был объявлен кощунственным, но он с твердостью стойка продолжал свой путь...

Г-н Волынский — мощный оратор; он обладает таким колоссальным ораторским талантом и говорит с такой силой убеждения, что затрудняешься сказать, чем он владеет сильнее: даром ли устного или письменного слова...

Русская мысль, по-видимому, углубляет теперь русло своего обычного течения, и имя г-на Волынского не раз еще будет повторяться в литературе».



Из анонимного письма:

«Я прочел в газете следующую заметку:

„Воспитанница „дома“ Музыкант, по Болгарской ул., Анна Якунина, после ссоры со своей матерью отравилась карболовой кислотой. Ее доставили в еврейскую больницу“.

Эта заметка, как и тысячи других ей подобных, пройдет бесследно, и каждый прочитавший ее подумает:

— Одной проституткой меньше.

Но я позволяю себе остановиться на этом случае и объяснить вам причины этого самоубийства.

Анюту Якунину я знаю с малых лет; это был прелестный ребенок, старший в семье, состоявшей из семи душ детей мал мала меньше.

Отец ее был скромный, трезвый труженик и старался дать своим детям образование, так что Анюта, кажется, окончила городское 6-классное училище.

Но вот, на беду этого несчастного семейства, умирает отец.

После его смерти дети остались без куска хлеба, а мать связалась с каким-то каменщиком и стала пить, что называется, без просыпу...

В прошлом году мать продала пятнадцатилетнюю Анюту какому-то приезжему господину, о фамилии которого можно справиться у жертвы.

Этот господин увез девушку сначала в Ломжу, а потом в Петербург, где бросил ее в одной из гостиниц на произвол судьбы, а сам куда-то скрылся.

Бедная девушка, оставшаяся без всяких средств в незнакомом громадном городе, решила ехать обратно в Одессу, и вот, прося милостыню и торгуя собой, она добралась до Одессы.

По приезде в Одессу она была помещена в „дом“ Музыкант, о чем я узнал лишь несколько дней тому назад, встретившись с ней случайно на улице.

Она мне рассказала о своем безвыходном положении и прибавила, что, если ей не удастся оттуда вырваться, то она покончит жизнь самоубийством. Тогда же она сообщила мне, что все свои заработки отдает на содержание своих младших братьев и сестер, а мать ее еженедельно получает от хозяйки притона по 5 руб. за то, что скрывает от полиции, что ее дочери только семнадцатый год...

Теперь эта несчастная девушка отравилась и лежит в еврейской больнице, а по выходу из больницы?..»



В ответ на предложенный вчера мною вопрос получилось уже сегодня несколько писем. Есть довольно любопытные.

Откровенно говоря, я не ожидал, чтобы читательницы-матери откликнулись на этот опрос.

Я побаивался, что тема покажется им слишком интимной и сама постановка вопроса — посягательством на их личную жизнь.

Вижу с удовольствием, что мои читательницы сознают общественное значение этого вопроса, и благодарю за присланные ответы.

Считаю нужным прибавить два замечания.

Фамилий удобнее не обозначать, так как я письма сохраняю.

Но я просил бы любезных корреспонденток присоединять хоть приблизительные указания на общественное положение пишущей.

Это позволит мне, может быть, сделать более ясные выводы и сопоставления.

**Altalena**

*Одесские новости. 19.12.1902*



## **Вскользь**

Хороший лектор г-н Рожков.

Дельный, простой, искренний.

Одна беда — элементарность содержания и недостаток рельефности.

Читая лекцию для большой публики, надо ярче и выпуклее отмечать основную точку зрения и центральный вывод, тем более что в них-то в данном случае и все дело.

У г-на Рожкова вы, правда, все время сознаете присутствие этой основной точки зрения, бросающей на все факты свой особенный свет.

Но ни на минуту — по крайней мере, в первой лекции — она не появляется перед слушателями в сгущенном, сконцентрированном, «эффектном» виде, чтобы, как ударом молота, вбить раз навсегда свой гвоздь в сознание публики.

Это пренебрежение эффектом, конечно, законно и похвально с точки зрения научной корректности.

Но разве можно большой публике преподносить науку — хотя бы и такую элементарную, как наука г-на Рожкова, — в чистом виде, без примесей и украшений?

Это все равно, что кормить людей пилюлями, заключающими потребное количество белковых, жировых и крахмаловых веществ.

Нет, обыкновенному смертному нужно, чтобы все эти вещества ему подавались в виде аппетитного, ароматного, красиво уложенного бифштекса...

В первой лекции наш ученый гость недостаточно, по-моему, остановился на одном весьма важном пункте.

В известный момент крепостной труд становится настолько невыгодным, что сами фабриканты и даже землевладельцы, в собственных интересах, начинают желать замены его трудом вольнонаемным.

Это для школы г-на Рожкова — один из главных моментов, если не просто главный.

Здесь ярче всего видно, что крепостное право пало именно тогда, когда этого потребовало развитие экономического процесса.

Оттого на этом моменте, мне кажется, следовало остановиться подробнее.

Следовало яснее и нагляднее обрисовать это на первый взгляд странное положение вещей, при котором «даровой» труд обходится дороже платного.

И тем ярче и глубже поняли бы мы, что экономический процесс действительно «все может», что когда ему нужно столкнуться с дороги препятствие, он доводит это препятствие *ad absurdum*<sup>1</sup> и заставляет его рухнуть само собою.

И что так оно было всегда и всегда будет...

Но и так, как она была прочтена, лекция г-на Рожкова настроила меня оптимистически.

Так бы я в среду и ушел из клуба совсем оптимистом, если бы не дамы.

Если бы дамы не опаздывали на лекцию, а, опоздавши, проходили бы в уборную и из уборной на цыпочках, не шурша, не скрипя, не стуча, — ради Бога!..

Во время перерыва беседовал с одним из старшин литературной секции о г-не Волынском.

— Вы неправы перед нами, — сказал он мне, качая головою, — нас нельзя упрекнуть в нетерпимости. Разве обнаруживаем мы ее по отношению, например, к четверговым рефератам? Мы почти все — противники индивидуализма, однако доклад г-на Чуковского был нами пущен даже раньше очереди. Другое дело, конечно, публичная лекция: на лекции нет прений, возражать лектору никто не будет. Допуская *реферат*, с направлением которого мы не согласны, мы просто предлагаем личное мнение референта на обсуждение публики, но допуская *лекцию* несимпатичного нам направления, лекцию, за которой

---

<sup>1</sup> До абсурда (*лат.*).

прений не будет, мы как бы поддерживаем и даже пропагандируем те взгляды, с которыми сами не согласны. Неужели это наш долг?

— Долг не долг, — сказал я, — но все-таки...

— Позвольте, — прервал он, — я понимаю, что вы хотите сказать. Поверьте, что если бы Волынский сам предложил нам прочесть у нас реферат или даже лекцию, мы приняли бы его предложение. Но сами приглашать его не желаем, потому что не считаем этого писателя ни в каком отношении замечательным. Таков наш вкус. Ведь о вкусах не спорят.

— Не спорят.

— Мы находим, что киевский Булгаков как «борец за идеализм» гораздо интереснее Волынского. И действительно, мы пробовали пригласить Булгакова приехать к нам и прочесть лекцию и получили даже его согласие. Эта лекция состоится весной. В чем же тут наша нетерпимость?..

Я вижу, что, действительно, упрека в нетерпимости старшины литературной секции совершенно не заслуживают, и охотно беру этот несправедливый упрек назад.

Но со «вкусом» господ старшин относительно г-на Волынского все-таки никак не могу согласиться...



Жанровая картинка.

Сцена представляет 2-е отделение городской больницы.

На койке лежит г-н Лейба Квечман, одержимый как раз одной из тех болезней, для которых предназначено 1-е отделение.

По каковой причине, находясь во 2-м отделении, г-н Лейба Квечман чувствует себя не в своей тарелке.

Г-ну Лейбе Квечману скверно.

Бьет два часа ночи.

Г-ну Лейбе Квечману невмоготу.

Он зовет служителя Михаила Гордиенко:

— Сходи, голубчик, попроси ко мне дежурного доктора Говорова.

Г-н Михаил Гордиенко — новичок, только за три дня до того поступивший в больницу, по наивности своей идет.

Идти недалеко: доктор Говоров живет в том же корпусе.

Через несколько минут г-н Михаил Гордиенко возвращается.

- Где же доктор?
- Они сказали, что не пойдут.
- Отчего же ты плачешь?
- Они осерчали, зачем я их ночью беспокою, и отпустили мне из собственных рук пощечину...



Интересно было бы знать, чем кончится случай с г-ном Москвичом, которого г-н Рейзер хотел убить и который столь доблестно защитил себя револьвером против подсвечника.

Сам по себе случай этот не из выдающихся: подрались два мещанина за денежный интерес, и подрались вполне благополучно: у г-на Москвича поцарапано слева, а у г-на Рейзера поцарапано справа.

Что называется, до свадьбы заживет.

Но интересна почва, на которой произошел этот инцидент.

Не окажется ли, что эта смешная драка была только иллюстрацией к тем отношениям, которые в течение нескольких лет связывали г-на Москвича с г-ном Рейзером и в которых г-н Москвич всегда, выражаясь фигурально, вооружался револьвером против подсвечника?

Есть многое в этом «литературном» деле, что заставляет задуматься над вопросом:

— Не слишком ли удобно устроился этот монополист паровой литературы на плечах у своих газетчиков?

И не следует ли администрации РОПиТ внимательнее следить за «работой» таких подрядчиков?

Вот что должно выясниться на суде.

**Altalena**

*Одесские новости. 20.12.1902*



## Вскользь

Г-н А. Я. Кр-ъ превознес г-на Волынского выше облака ходячего.

Мой коллега, автор вчерашней передовицы в нашей газете, и г-н Лоэнгрин ниспровергли г-на Волынского в девятый круг преисподней.

А г-н Лоэнгрин интересуется, какую же позицию займет по отношению к г-ну Волынскому ваш покорный слуга.

Ни ту ни другую. Я — посередине.

В спор об искренности г-на Волынского вступать не стану, ибо тут невозможны никакие доказательства.

Но я лично всегда чувствовал и чувствую в том, что выходит из-под пера г-на Волынского, искреннее поклонение известным «богам».

И чему угодно поверю, только не тому, чтобы у г-на Волынского не было своего «бога».

Если бы он был простым модником, напяливающим на себя то, что сегодня в чести, то, заметив, что с «идеализмом» не повезло, он исправился бы и благонравно записался бы в армию, ныне доблестно предводительствуемую г-ном Скабичевским.

А ведь не сделал этого г-н Волинский?

Я настаиваю, что с г-ном Волинским повторяется старая история.

Когда Писарев несправедливо и резко изругал Пушкина и попутно вышутил Белинского, — те старички, для которых Пушкин был «табу», ненавидели Писарева и кричали по его адресу:

— Какая дерзость!

И прибавляли:

— Чтобы не сказать больше.

Теперь все это улеглось, и Писарев в свою очередь стал «табу».

И вот, когда г-н Волинский несправедливо — но далеко не так резко, как Писарев на Пушкина, — нападает на Писарева, люди опять вопиют:

— Какая дерзость!

И прибавляют:

— Чтобы не сказать больше...

Странные люди, которых время и пример ничему не научили.

Я не признаю «табу».

Я за одного Пушкина отдам шесть Писаревых, за одного Писарева отдам шесть Волинских.

Но когда Писарев ругает Пушкина и Волинский — Писарева, я просто констатирую:

— Сей человек сегодня неправ.

И это не мешает мне сознавать, что вчера, по другому поводу, сей человек был прав и что вообще он и даровит, и искренен.

— Да у г-на Волынского нет никакой программы относительно жгучих гражданских злоб русской жизни! — сердится г-н Лоэнгрин.

За что же тут сердиться?

У г-на Волынского нет программы, но не у всех же может быть все.

У одного человека есть и фрак, и пиджак, а у другого только пиджак.

У г-на Волынского своя специальность, и гражданская программа тут ни при чем.

И сердиться не надо.

Хорошо, когда у человека есть «бог».

Но нехорошо, когда у человека есть «табу».

«Табу» — это выдумка полинезийских дикарей, темного народа, которому не следует подражать

Между тем сколько у него подражателей в Европейской России!

Человек, верующий по-своему, ступает точно по любимым мозолям.

Направо — отдал мозоль, налево — отдал мозоль.

С ним не просто спорят — на него за что-то сердятся.

— Как ты смел осмеять мое «табу»!

Странные люди.

Как будто они не помнят своей молодости.

Ведь тогда они были «детьми», а другие были «отцами».

И отцы тогда хмурили брови на них и кричали им:

— Не смейте отрицать нашего «табу»!

И потом мало-помалу на глазах бывших «детей» все это улеглось, успокоилось, примирилось.

Кажется, могли бы они запомнить этот пример и научиться, что нет смысла отвечать скрежетом и яростью на чужие взгляды.

Но они ничего не запомнили и ничему не научились.

Глядя на них, я всегда думаю:

— Какая косность!

И прибавляю:

— Чтоб не сказать больше...

**Altalena**

*Одесские новости. 21.12.1902*





## Вскользь

Звонок.

Дверь открывается.

Некий юноша подает горничной пакет и таинственно про-  
износит:

— Анонимное письмо.

После чего исчезает.

Я вскрываю письмо, пришедшее с такой лестной рекомен-  
дацией.

Действительно, подписано:

«Отец».

В чем дело?

«Прошу обратить внимание... возмутительный факт... пре-  
подаватель 1-го класса Емельян Меркуриевич»...

А! Про Емельяна Меркуриевича я уже слышал.

У меня уже перебивало штук пять папаш, которые все на-  
чинали так:

— Мой сын учится в частном училище Ровнякова...

И переходили к Емельяну Меркуриевичу.

Оказывалось, что это действительно интересный Емельян  
Меркуриевич.

Преподает арифметику.

Преподает плохо.

Но зато как ругается!

Удивительно ругается.

— Как он ругается? — спросил я одного мальчика, пришед-  
шего вместе с папашей.

Мальчик помялся немного и рассказал мне, но...

Но я вам рассказывать не стану.

Пять штук папаш перебивало у меня, и все плакались, что  
Емельян Меркуриевич ругается.

Я спрашивал:

— Отчего же вам не потребовать у содержателя училища,  
чтобы Емельяна Меркуриевича сократили?

И в ответ на это каждый папаша, как сказано у Пушкина:

«Кряхтит да жметя, жметя да кряхтит».

Так что я, бывало, погляжу на него и скажу:

— Эх! Идите с миром.

Но уж тот шестой папаша, который прислал мне это анонимное письмо, окончательно вывел меня из терпения.

Этакий храбрец!

Его сына при всем классе изругали в пух и прах.

А он, «отец», не только к содержанию трусит пойти с жалобой, но даже ко мне боится лично заглянуть, боится назвать свое имя, чтобы как-нибудь, не дай Бог, не замешать себя в историю.

Но это не все.

Лучше всего P. S.

Вот оно во всем блеске:

«Если желаете убедиться в правдивости моих слов, прошу обратиться к любому из учеников 1-го параллельного класса училища А. П. Ровнякова».

Много, знаете, видел я нахальства, но такого не видывал.

Этому человеку надо заступиться за своего обиженного сына.

И вот он передает дело защиты мне.

— Опишите! — просит он меня.

А если не верю, то он посылает меня же на Пушкинскую — ловить ровняковских малышей и опрашивать:

— Вы из первого класса? Емельян Меркуриевич ругается?

А он сам, «отец», имеет твердое желание остаться в стороне.

— Мое имя? На что вам мое имя? Не надо вам моего имени. Вы подите расспросите, напишите, а мы почитаем и порадуемся...

Нет, господа, извините-с.

Я за ваших детей заступаться не намерен.

Если вы сами так трусливы, что не решаетесь потребовать у содержателя *частного* училища, чтобы он усмирил или убрал прочь грубияна, ежедневно оскорбляющего ваших детей, но ежемесячно кладущего в карман ваши деньги, — то с какой стати вмешаюсь в это дело я?

Благодарю покорно. Этак вы меня скоро пошлете объясняться с домовладельцем, который вам не захочет ремонтировать лестницу.

Только попомните мое слово: не доведет до добра эта ваша трусость, это нежелание шевельнуть пальцем для защиты собственного ребенка.

Много раз еще в будущем и по более важным причинам может понадобится вашим детям ваше заступничество.

Что же вы тогда сделаете, если теперь пасуете перед скромным и довольно-таки затрапезным учителем?

Ждите после этого от детей исполнения пятой заповеди, ждите...

Ужо дождетесь!

*Altalena*

*Одесские новости. 22.12.1902*



## **Вскользь**

Что-то не верится, чтобы Андре Жирон был проходимцем. Даже если признать за факт, что он в одном случае пригрозил саксонскому двору разоблачениями и скандалом.

Когда его хотели выжить из дворца, он ответил:

— Не желаю. Попробуйте только — я сейчас же распущу по всему свету про интимную жизнь саксонского двора.

Но надо же доказать, что он так и поступил бы, что это не была простая угроза.

А как угроза — это было хорошо уже потому, что привело к желанной цели: Жирон остался во дворце.

Жирон — молодой и даровитый человек.

Кронпринцесса старше его, но тоже молода и даровита.

Кронпринцесса привыкла к венскому веселью, читала передовые книги.

Она, вероятно, в юности мечтала о блестящей и красивой жизни.

Вместо того судьба послала ей сурового мужа-солдата.

Ее заперли в четырех стенах и третировали, как подчиненную, подвергали обыскам, арестам, чуть ли не побоям.

Она тосковала по свободе и свободным людям, а к ней не подпускали ни одного свободного человека.

И вдруг явился Жирон.

Молодой, талантливый, умный — что называется «интересный».

Было бы странно, если бы кронпринцесса не привязалась к нему.

Именно «привязалась», потому что любовь в тесном смысле, то есть связь, явилась здесь далеко не главным элементом.

Люди так устроены, что близость душ мало-помалу ведет к желанию сблизить и тела.

Но тем и отличается любовь благородная от любви низменной, что в первой главную роль играет сближение душ.

Если кронпринцесса допустила к себе человека моложе себя — это не было плотской авантюрой женщины бальзаковского возраста.

Жиرون был для нее островком спасения, на который ее выбросила судьба и который она полюбила, как свою родину.

Кронпринцесса провела свои девические годы иначе.

Ей тогда было весело. Вокруг нее было много молодежи.

От молодости Жирона, от его свежей талантливой живости на нее должно было повеять ее собственными лучшими днями.

Жиرون ей напомнил славные годы ее девической жизни.

С Жироном она отводила душу, отрываясь от тьмы, которая ее окружала, и переносясь к светлым воспоминаниям ничем еще не отравленной чистоты.

И если Жиرون полюбил женщину старше себя, неужели это доказательство, что у него были низкие расчеты?

Какие?

Денег он не любит: он из принципа отказался от большого наследства.

Где же расчет?

Правда, лестно связать свое имя с именем кронпринцессы.

Это действительно могло повлиять на молодого бельгийца.

Но разве это расчет? Если высокое положение женщины вскружило вам голову, разве это расчет?

Говорят, будто Жиرون обманул кронпринцессу, будто он облыжно наговорил ей, что родные хотят запереть ее в монастырь, и тем заставил ее бежать.

Прежде всего, родня принцессы действительно была бы на это вполне способна.

Но допустим, что Жиرون и солгал.

Это была бы хорошая, честная ложь.

Видя женщину в такой обстановке, зная, что она вас любит, надо спросить себя:

— Люблю ли я ее?

Если да, значит, вы готовы взять на себя ответственность.

И тогда надо просто и резко, правдами или неправдами освободить женщину из этой тюрьмы и увести ее на вольный воздух.

Потому что прежде всего каждое существо должно жить в той обстановке, которая нужна для свободного развития его личности.

И когда нет этого условия, нет такой обстановки, а есть другая, теснящая, — надо ту, другую, обстановку разбить без глупой жалости, а новую найти или создать, чего бы оно ни стоило.

Газеты называют эту историю скандалом, а следовало бы называть ее примером, советом, уроком.

Этот скандал не прошумит бесплодно...

Этот пример даст свои плоды, этот урок научит многих из тех, кто имеет уши и хочет слушать.

То сочувствие, с которым лучшая часть общества следит за женевскими беглецами, доказывает, что дух времени на стороне человека, стоящего за свое право на самого себя.

**Altalena**

*Одесские новости. 24.12.1902*



## **Вскользь**

Двадцать девять учеников старших классов училища А. П. Ровнякова прислали в нашу редакцию такое опровержение: «Милостивый государь, господин редактор!

Мы с удивлением прочли в вашей уважаемой газете статью о нашем глубокочтимом преподавателе Емельяне Меркуриевиче.

Мы, ученики училища А. П. Ровнякова, знающие Емельяна Меркуриевича в течение четырех или пяти лет, заявляем, что все, изложенное в фельетоне «Вскользь», — фактически неверно.

Напротив, мы, встречаясь с Емельяном Меркуриевичем в училище в течение пяти лет, никогда не слышали от него худого слова.

Он всегда обращался с нами самым сердечным образом.

Не жалея сил и дорогого для него времени, он постоянно заботился о нашем нравственном развитии.

Даже недели три тому назад Емельян Меркуриевич любезно согласился руководить литературными беседами, которые мы решили устраивать по воскресеньям по инициативе одного из наших товарищей.

Родители учеников тех классов, где Емельян Меркуриевич преподает, никогда еще до сих пор не выражали неудовольствия на преподавание и обращение с учениками Емельяна Меркуриевича.

Мы, к сожалению, должны ограничиться несколькими подписями, так как большинство учеников уехали; но мы уверены, что в случае надобности остальные наши товарищи подтвердят эти слова».

Следуют 20 подписей.

Лично я тоже получил два письма по тому же поводу.

В одном говорится:

«...я нашел ваши обвинения по адресу Емельяна Меркуриевича (человека, всеми уважаемого в нашем училище) ни на чем не основанными».

Подписано просто «ученик училища А. П. Ровнякова», без фамилии.

Другого письма у меня теперь нет, но могу удостоверить, что и в нем о Емельяне Меркуриевиче говорится с любовью и уважением, причем сочувственно указывается на трудность учительской миссии.

Это письмо написано бывшим учеником Емельяна Меркуриевича, подписавшим свое имя: Михаил Гринберг.

Наконец, третьего дня вечером был у меня юноша, фамилии которого я не спросил, ученик 5-го класса училища А. П. Ровнякова.

Он пришел сообщить мне, что за все годы своего учения ничего, кроме добра, не видел и не слышал от Емельяна Меркуриевича.

И с недоумением спрашивал меня, как я мог довериться в таком деле анонимному письму.

Я ему ответил, что анонимным письмам никогда не доверяюсь, а в том фельетоне достаточно ясно сказано, что ко мне несколько раз лично приходили по этому делу родители и приводили детей.

Этот юноша произвел на меня вполне искреннее впечатление.

Три письма, о которых я говорил выше, тоже кажутся мне совершенно искренними.

Это, без сомнения, значит, что Емельян Меркуриевич действительно пользуется любовью и уважением среди учеников.

И этой любви и уважения, конечно, достаточно, чтобы совершенно парализовать значение тех фактов, которые были мне сообщены и побудили меня написать тот фельетон.

Я с удовольствием это констатирую.

**Altalena**

*Одесские новости. 25.12.1902*



## **Вскользь**

### **ПУБЛИКА О КОРМИЛИЦАХ**

*Из столкновения мнений рождается истина.*

Вопрос на этот раз был сформулирован так:

«Чувствуете ли вы, какое это зло? Что вы думаете о нем? Кого считаете правым и виноватым?»

Вопрос был обращен только к дамам.

Откликнулись, однако же, кроме дам, и мужчины, и девицы.

Это вышло немножко непредвиденно, но, во всяком случае, сердечно благодарствую.



Первое место оптимистам.

«Monsieur!

Je suis Polonaise et ne connais pas suffisamment la lanque russe pour pouvoir aisément m'en servir: voilà la raison qui m'oblige á recourir à la lanque française»<sup>1</sup>...

Дальнейшие выдержки из этого письма, подписанного псевдонимом Kruk, буду переводить, заметив только, что французский язык всюду, насколько я смыслю, весьма корректен, ни одного ассент<sup>2</sup> не пропущено и единственная ошибка заключается в словах:

«... la nouvelle pièce<sup>3</sup> de Paul Hervien intitulée „Les Remplaçantes“...»<sup>4</sup>

<sup>1</sup> «Сударь! Я полька и недостаточно хорошо знаю русский язык, чтобы свободно им пользоваться: вот почему я вынуждена прибегнуть к французскому языку» (фр.).

<sup>2</sup> Ударения (фр.).

<sup>3</sup> Должно быть: pièce.

<sup>4</sup> «...новая пьеса Поля Эрвье "Заместительницы"...» (фр.).

Г-жа Крук утверждает:

«...Бог и природа велят женщине самой кормить своего ребенка».

Никаких препятствий г-жа Крук не признает...

«Есть матери, которые в свое оправдание говорят, будто слабое здоровье не позволяет им кормить, будто они хрупки и нервны.

О, как они ошибаются! Если природа позволила им стать матерями, она необходимо должна дать им силу и для кормления...»

Говорят, будто к кормящей женщине охладевает ее супруг, но для госпожи Крук это не резон.

«Если муж — человек благородный, — пишет она, — его любовь превратится в обожание; если же это — фат, стоит ли он того, чтобы в угоду ему пожертвовать материнской любовью?

Ведь фат все равно рано или поздно отвернется от жены...

Как можно забыть, — спрашивает г-жа Крук, — о тех сладостных узах, о той глубокой привязанности, которая с каждым днем все более соединяет кормящую мать с ребенком?

Материнское чувство женщины, отдающей ребенка в руки кормилицы, ничто в сравнении с нежностью той матери, которая кормит сама».

И, чтобы окончательно убедить, г-жа Крук прилагает открытку с картинкой: «Les délices de la maternité»<sup>1</sup>, розового, идиллического содержания.

Открытка премиленькая...

А вот оптимист-мужчина. Этот гораздо великолепнее:

«...Мужчина вполне прав в том, что предпочитает хороших уродам, ибо это доказывает, что он — эстетик».

Но тем не менее —

«...женщина виновата в том, что из боязни „подпирать стенку“ на балах в тридцать лет отказывается от своего долга.

Хорошая женщина во всех отношениях — это та, которая, принимая во внимание участь ребенка кормилицы, сама не только кормит своего, но всецело, принося в жертву все свои удовольствия и удобства, отдается своему ребенку».

Лучше всего подпись:

«За свою сильно занятую с ребенком жену — Я. С. Розенталь».

---

<sup>1</sup> Радость материнства (фр.).



Недостает к этому письму только эпитафия:

*...доволен сам собой,  
Своим обедом и женой.*



Рядом с розовой односторонностью этих двух посланий мне хочется поставить мрачную односторонность нескольких других писем, из которых я выберу тоже два — опять одно женское и одно мужское.

В этих письмах речь, собственно, не о кормилицах и не о дамах, отдающих в чужие руки своих грудных детей.

Авторы писем ставят вопрос шире и восстают вообще против роли, которую женщине навязала природа.

Вот, например, письмо мужчины, г-на Ю. Б.:

«Так как я буду писать со слов одной дамы, то думаю, что мое письмо сойдет за женское.

„Да, — говорила мне эта дама, — у меня только один ребенок, и я его очень люблю. Ему восемь лет, и больше я детей не имела, потому что... потому что не хочу больше иметь детей...

Материнские инстинкты сильны у всякой женщины, но они ведь удовлетворяются и одним ребенком. К чему же много? Что за кроличьи идеалы?

Почему я должна подчиняться каким-то велениям нормального и естественного, если они во мне, в моей душе не находят отклика?

Что страшного в „противоестественном“? Разве мы не беремся всегда и во всем с природой во имя красоты?

...Если бы вы знали, как все это мучительно и противно... как в тебе замирает все человеческое, и ты себя чувствуешь... животным, призванным осуществлять какие-то задачи продолжения рода...

Нет, пусть те из нас, которым осуществление этих задач приносит радость, делаются много раз матерями, столько раз, сколько им угодно... Но пусть они поймут, что могут быть и такие женщины, которые не желают быть орудием в руках природы, продолжающей род...»

К этим тяжелым словам женщины г-н Ю. Б. от себя прибавляет следующую печальную иллюстрацию.

Он знал когда-то девушку, которая жила духовно одной жизнью со своим женихом: читали те же книги, думали те же мысли.

Через год он нашел их в провинциальном городке. Они были уже повенчаны.

«Помню, — рассказывает г-н Ю. Б., — когда я вошел, я застал такую картину. Она сидела на полу и возилась с маленьким существом, лежавшим на большой подушке. Увидев меня, она сильно покраснела, и на ее лице явилось точно виноватое выражение...

Мне было и неловко, и неприятно.

„Прежде, — жаловалась она, — я чувствовала себя равной и мужу, и нашим друзьям. Все, что интересовало их, интересовало и меня... Теперь я совсем оторвана от их мира. Я чувствую, как во мне гложет интерес к нему, и мне делается страшно...“»

Письмо от женщины подписано «Экс-мать».

«Сразу объявляю свое credo, — говорит она, — женщина, отдающая свое дитя кормилице, не заслуживает никакого поощрения.

Две главные функции женщины — любовь и материнство — к несчастью, всегда вступают между собой в борьбу. Женщина, кормящая своего ребенка, теряет свою красоту.

Вы резонно заметили, что мужчина преклонится перед такой женщиной, но на балу станет танцевать с другой.

Он — самец, выбирающий красивую самку, и ему нельзя даже ставить это в упрек. Но гадко и низко с его стороны бросать камнем в женщину, которая для сохранения красоты отказывается кормить. Ведь она стремится к той же цели, что и он.

Без крупницы счастья на свете не проживешь. У вас, мужчин, есть карты, вино, дело, искусство, наука. Нам, женщинам, это все по нашей особой натуре часто недоступно. Остается любовь.

И вот в цвете лет, на самой широкой дороге жизни, когда грудь широко дышит, хочет дышать и жить, улыбаться и петь, — тебе велят закопаться в четырех стенах и кормить, иссыхать, дурнеть, прозябать...

Вам пишет рука женщины, тоже бывшей матерью, кормившей своих детей, глубоко несчастной... но оставим тяжелые воспоминания.

Еще раз: женщина — прежде всего любовница, потом — мать. Нельзя первое приносить в жертву другому...»

Хотя с последними словами — с тем, что прежде всего моя личность, а потом уже мои дети, — я безусловно согласен, — весь тон и этого письма, и предыдущего произвел на меня тяжелое впечатление.

Неужели материнство не может дать той же «крупички счастья», которую будто бы дает любовь? За что же эта приискорбная вражда к материнству?

Ответ на это: общественная неурядица.

В нашем обществе много доброй травы глушится разными плевелами. И тот, кто сеял добрую траву и пожал страдание, легко может в ослеплении возненавидеть за эти страдания добрую траву.

Но далеко не все, к счастью, ослеплены.

подавляющее большинство пришедших ко мне писем освещают вопрос трезво и разумно с его общественной стороны.

В этих письмах нет самодовольного оптимизма мсье Розенталя: они, напротив, настоятельно указывают на плевелы, затрудняющие для женщины счастливое материнство.

Но на эти же плевелы, а не на принцип материнства и направлено их негодование.



Как вступление к этим хорошим письмам привожу послание, подписанное «Одна не из ваших поклонниц» и украшенное едким P. S.:

«Простите за скучное письмо. Если вы над ним поскучили, я удовлетворена, я каждый день читаю ваши писания».

В этом письме говорится:

«Я — девушка. Мне думается, что девушка предчувствует женщину, и я хочу с вами поделиться не мыслями, а предчувствиями.

Я не обвиняю „даму“, но я не понимаю — всем существом, а не головой — не понимаю, как можно отдать ребенка чужой женщине. И именно оттого не понимаю, что понимаю, чувствую заложенное в нас стремление к продолжению рода; чувствую желание продолжить себя.

Не всякая девушка сознает это, редкая сознается. Это — ложный стыд, тот самый, который вообще застилает нам глаза и не дает видеть всю красоту и поэзию природы...»

И переходя к тому, что простая женщина-кормилица иногда даже «не любит» своего Петьку, которого отдает на рожок, корреспондентка прямо указывает на главные причины зла:

«Не любить свое дитя!.. Это страшно... Но еще страшнее те условия, которые притупили ее нервы, привели к безразличию даже животное чувство любви к своему детищу...»

О тех же «условиях» говорят и другие корреспондентки.

«Главный контингент кормилиц, — пишет „Актея“, — составляют девушки, которые сами очень рады сбыть плод своего греха».

«В кормилицы, — пишет г-жа К. М., — идут или обманутые девушки, или покинутые жены, то есть женщины, для которых ребенок составляет или лишнюю обузу, или позор... Незамужней с ребенком в большинстве случаев нет житья в семье, и она должна уйти сама на себя работать».

С ребенком редко кто возьмет прислугу, и то за жалкие гроши, а идя на поденную работу, такая мать все-таки должна дать ребенку тот же грязный рожок...»

Вывод из всего этого дает письмо госпож Д. Х. и С. П., заключающих его такими словами:

«Обеспечьте „женщине“ существование хоть на время кормления — и „дама“ не найдет больше на кого взваливать свою обязанность...»

Из ненормальной постройки нашего общества вытекает и то, что является, собственно, главной причиной нежелания матери кормить свое дитя: хрупкое здоровье...

Та же г-жа К. М. (посылка на письме: «окончила гимназию на севере и происхожу из дворянской польской семьи») говорит:

«Я принадлежу к числу тех извергов, которые берут для своих детей кормилиц».

Могу вас уверить, что причин, почему берут кормилиц, помимо „кокетства“, очень много и прежде всего — по необходимости, потому что у матери зачастую нечем кормить ребенка самой...»

Ярче это выражено в письме госпожи Н. Л., к которому я еще возвращусь ниже.

«Взгляните, — пишет г-жа Н. Л., — на наших девушек. Подавляющее количество этих будущих матерей — маленькие, бледные, худенькие и нервные созданыица».

Глядя на них, со страхом думаешь о том, где они возьмут силы быть женами, не то что матерями.

И вы хотите, чтобы эти анемичные куколочки, с плоской грудью и тоненькой талией, в состоянии были бы выкормить здорового ребенка?

Прежде всего, у них не хватит молока, а если и хватило бы, то, право, оно не приносит пользы ребенку, который с молоком матери впитает в себя ее анемию, дряблость и нервозность...»

Третья общественная ненормальность, на которую ссылаются почти все письма, это — несправедливое отношение мужчины, в частности мужа, к женщине-матери.

«Первая беременность, — пишет „Жена врача“, — сопровождается всегда особенно угнетенным состоянием духа. Вот где нужна ласка и поддержка мужа.

Между тем муж, шутя, замечает, что жена подурнела, и неохотно берет ее с собой в гости...»

После рождения ребенка равнодушие мужа становится еще резче.

Муж так свыкается со своим положением соломенного вдовца, бывающего всюду без жены, которая дома возится с ребенком, что предложи ему жена свое общество, он уже с неудовольствием посмотрит на этот балласт...

Проходит год, дитя подрастает — и жена видит, что в обществе от нее отвыкли, что она подурнела, что муж ее за это время вернулся к своим холостым привычкам и ухаживает за теми, у кого фигура не испорчена...

Мнения совершенно беспристрастное, ибо:

«Я сама кормлю своего ребенка, — пишет „Жена врача“, — и впредь буду это делать, а знаете почему? Потому что мой муж не так относится ко мне, как большинство мужей...»

Госпожи П. и Д. Р-вы, «две дамы из среднего класса», тоже утверждают:

«Главный виновник — мужчина, ищущий в даме только физического изящества и ничего более».

«Фигура, — пишет г-жа К. Ш., — большое значение имеет для мужчин не только на балах, но и в милой семейной жизни...»

Ярче всего эта «милая семейная жизнь» изображена в уже цитированном письме госпожи Н. Л., являющемся вообще едва ли не лучшим и полнейшим из ответов, полученных мною на этот раз.

«Я — барышня, — предупреждает г-жа Н. Л., — но от „дамы“ меня отделяет так мало, так мало, что, право, о такой безделице и говорить не стоит...

Итак, я говорю как „дама“.

Я думаю, что, собственно, не в фигуре дело, так как у здоровой женщины фигура вовсе и не так сильно портится от кормления.

Виноваты тут мужья.

Многие из них, лишаясь жены на два-три года, избирают благую часть, а именно переносят свои пенаты от жены к какой-нибудь Зизи, где находят за приличное вознаграждение если не большее рвение, то, во всяком случае, большее знание дела.

Вот это-то обстоятельство и заставляет женщин поскорее возвращаться к своим пылким африканцам и, отдаваясь своим супружеским обязанностям, отказываться от материнских, где замена не так оскорбительна для самолюбия...»

«Да, мы совершаем преступление, — пишет г-жа Ева З., — но виновники этого преступления — вы, мужчины».

И эта точка зрения, присутствующая в огромном большинстве ответов, получает свое завершение и обоснование в письме «матери-нефеминистки», судя по некоторым указаниям, — жены чиновника.

«Институт кормилиц есть зло, — рассуждает она, — и в этом зле:

...виноваты женщины, но виноваты и мужчины, а в общем, виновато современное общество.

Виновато оно тогда, когда из одних экономических мотивов „жена“ *стареется* не попасть в „матери“.

Виновато оно тогда, когда, став матерью, женщина старается не продолжать быть ею ради бюста.

Виновато оно тогда, когда мужчине хочется быть свободным мужем.

Виновато оно тогда, когда, став мужем, мужчине трудно быть отцом.

Виновато оно и тогда, когда и мужчина, и женщина избегают семьи во имя балов и удобств.

Виновато оно, наконец, „даже“ в том, что системе „семья без детей“ способствует и медицина... виновата, — медики.

А больше всего виновато оно в том, что мы все это знаем, но... молчим...»



Резюме.

Есть наивные оптимисты, которые думают, будто в пустыне мира сего, где бушуют всякие вихри, можно устроить семейные оазисы, куда бы ничего, кроме благорастворенного воздуха, не долетало.

Есть (другая крайность) люди, доведенные неправдой жизни до такого отчаяния, что возненавидели правильную и нормальную жизнь, и эту ненависть подняли на пьедестал.

Но большинство, трезво вдумываясь в вопрос, видит, что и виновные правы, и правые виновны, и приходит к неизбежному выводу, что причина этого зла та же, что и причина всех зол: общественное неустройство.

Отсюда — необходимость борьбы с этим неустройством, как общей, так и паллиативной.

На один из этих паллиативов позволю себе обратить внимание читательниц.

Из того же письма госпожи Н. Л.:

«Я удивляюсь, как дамы-благотворительницы не дошли еще до мысли устроить „Ясли для детей кормилиц“, которые вносили бы туда ежемесячно плату в шесть-семь рублей.

Те же деньги теперь они платят на фабрику ангелов.

Такие „ясли“ можно было бы устроить на общественный счет, а значительной поддержкой являлась бы плата матерей.

Кормилицы получают 15–20 рублей в месяц и были бы счастливы получить за 6–7 рублей уверенность в том, что „Петька“ выживет.

За границей хозяева платят налог за содержание домашней прислуги. Отчего бы не взимать особого налога на наем кормилиц и обращать этот налог в пользу тех же „яслей“?

Тогда и „Пети“ были бы сыты, и „Петьки“ целы...»

*Altalena*

*Одесские новости. 28.12.1902*



## **Когда-то**

Не припомню где — в Фиуме, или в Анконе, или в Болонье — видел я эту маленькую пьесу на рождественский сюжет.

Не помню, чья она, не помню заглавия.

Было это проездом. Мне хотелось спать, но как-то неловко было лечь рано, и я заглянул в первый встречный театрик.

Там давали эту пьесу.

Помню, что актеры говорили стихами.

Первая сцена разогнала мой сон.

На улице стоял туман и сырость, а пальто мое никуда не годилось.

В театре было тепло и светло; я чувствовал тут себя хорошо и уютно.

Потому, может быть, и понравилась мне эта пьеса.

Когда она окончилась и я вышел снова на улицу, снова на сырость и туман, мне опять захотелось спать.

И я пошел в гостиницу и заснул.

Оттого теперь, когда я вспоминаю об этой пьеске без заглавия и автора, она мне представляется каким-то интермеццо между сном и сном.

Я даже не помню подробно содержания и могу передать его именно так, как рассказывают привидевшийся сон, — одного не досказывая, другое прибавляя, восстанавливая целое по неясным обрывкам воспоминаний.



Это было в Вальдаосте, в сочельник, когда-то давно.

Шел густой снег, выла горная вьюга.

В замке, в одной из горниц, было тепло и укромно: в камине трещали дрова, восковые свечи горели ярко.

Старый граф сидел в кресле у камина.

Иоланда, его дочь, придвинула свою невысокую скамеечку к самым ногам старика.

Слуги и вассалы, приходившие поздравить с праздником, уже ушли.

Граф задумчиво смотрел на огонь и говорил:

— Много искорок и огоньков пробежало предо мною за мою долгую жизнь. Много видел, много поработал и устал. Хорошо так отдыхать, у теплого камина, рядом с тобой... Только слишком у нас тихо, Иоланда.

— Спеть вам, отец?

Граф помолчал.

— Не надо. Ты хорошо поешь, Иоланда, но в твоём голосе нет чего-то. Нет лучших, самых звучных нот. Твой голос похож на голос твоей покойной матери, но когда она пела над твоей колыбелью, в её песнях была глубина, которой я не слышу у тебя. Потому что ты не мать, Иоланда... Я бы хотел, чтобы и ты скоро запела над колыбелью — тогда бы я радостно слушал тебя с утра до ночи...

Иоланда поцеловала руку отца.

— Когда ты пишешь или мечтаешь, Иоланда, мне пусто. Моя жизнь убывает, мне нужно восполнять её близостью существ, ещё полных жизни. Если бы у меня были внуки, они шалили бы у меня на коленях, а я ворчал бы на них.



— Отец, — сказала Иоланда, — не вините меня. Я часто мечтаю, что вот в один прекрасный час зазвенят ступени нашего замка под шагами какого-то сильного и красивого, кто придет и покорит меня. Но проходят месяцы и годы, а он, сильный и красивый, еще не явился.

— Разве мало дворян просили твоей руки? Барону Рокка-Груара ты отказала...

— Медвежатник, который заснул, когда я пела!

— Герцогу Кьяравалле ты отказала...

— Я не могу быть второй женой и мачехой.

— Первому рыцарю Ломбардии, Джино Малатеста, ты отказала...

— Отец, то был действительно сильный, но ведь очень уж некрасивый!..

Старик замолчал и, покачивая головой, следил за огоньками в камине.

Иоланда ласково прикоснулась к его руке.

— Отец, не сыграешь ли со мной в шахматы?

— Не хочу. Вот уже десять раз подряд ты меня побеждаешь, подрывая мою славу искусного игрока. С меня довольно, больше не хочу...

И оба замолчали и ушли в свои думы, вдруг за рвом звонко прозвучал рог.

Иоланда вздрогнула:

— Кто это так поздно?

Вошел дворецкий и сказал:

— Барон Тебальдо Кальпеста пожаловал в замок.

— Бальдино! Старый друг! — радостно сказал граф, подымаясь навстречу.

Гость был такой же седой и крепкий старик, как и хозяин; когда они обнимались, смешивая белые кудри, казалось, что два высоких облака на небе сблизились и сочетали свои седые космы.

— Здравствуй, друг, — говорил барон Тебальдо, — за эти десять лет ты только побелел, но остался тем же богатырем. А это Иоланда? Контессина<sup>1</sup>, десять лет тому назад вы были прелестной раковинной, очаровательной раковинной, но я не представлял себе, какая чудная жемчужина вышла из этой раковины. Мой привет! Как у тебя хорошо и тепло, старый дружище, а в долине так холодно и жутко от волчьего воя. Позволь мне, прежде

---

<sup>1</sup> Дочь графа (итал.).

чем пойти переодеваться, присесть здесь и погреться с тобой у камина и попросить твою прелестную дочь разрешить то же этому юноше, моему пажу Фернандо, который только сегодня — я тебе сейчас расскажу это приключение — спас мне жизнь.

Юноша в черном дорожном платье, который, войдя за бароном, учтиво поклонился хозяевам, встретил теперь внимательный взгляд старого графа спокойно и гордо.

— Я решил непременно свидеться с тобой на это Рождество, — говорил гость, грея руки у огня, — и выехал третьего дня с этим пажом и тремя слугами. Все шло хорошо, но сегодня, за час до заката, милях в пяти от Борго-Бенедетто нас вдруг окружил добрый десяток молодцов с большой дороги. Все верхами. Если бы дело дошло до свалки, мы бы погибли. Тогда Фернандо срывает с моего пояса кожаный кошелек, подымает его над головой и, привлекая таким образом алчность разбойников к себе, дает шпоры коню. Молодцы растерялись; половина кинулась за пажом, стреляя на скаку из пистолетов. Тут мы поняли, в чем дело, и легко справились с оставшимися шестью, а затем понеслись по следам на помощь Фернандо. Вообрази: не проскакали и трехсот шагов, как наткнулись на одного из мерзавцев, распластанного на снегу. Фернандо удалось на скаку сбросить его метким выстрелом. Еще через сто шагов лежал второй, корчась и хрипя, и, наконец, на лужайке сам Фернандо отчаянно отбивался от двух расвирепевших врагов. Завидя нас, негодяи ускакали. Фернандо, к счастью, оказался не раненым, и мы могли продолжать дорогу.

Граф пытливо смотрел в спокойное и гордое лицо пажа.

— Ты храбрый юноша, — сказал он, подходя к молодому человеку, — твой отец должен гордиться таким сыном.

Паж слегка покраснел и холодно и твердо ответил:

— Мой отец не может гордиться мною, потому что я найденный без имени и рода. Но зато дети мои будут гордиться тем, что будут носить мое имя.

Граф нахмурил брови:

— Это нехорошие слова, паж. Даже великая рыцарская доблесть не извиняет в молодом человеке чванства.

У пажа засверкали глаза.

— Господин, — заговорил он, — ваша слава мне известна. Когда я состарюсь, то с гордостью буду рассказывать внукам: «Я видел его и говорил с ним». Но даже в моменты лучших

триумфов вашей жизни вы не испытывали того счастья, которое каждый день и час доступно мне. Это счастье — сознание, что я всем обязан себе. Что ни знатность, ни богатство, ни содействие родных не облегчали моей дороги, что все было против меня, и все, чего я достиг, сделано и завоевано мною, мной одним!

— Мальчик, — сурово и резко ответил граф, — тебе удалось, может быть случайно, проявить мужество и находчивость, и это вскружило тебе голову, и ты уже надменно говоришь: все, чего я достиг... Чего же ты достиг? Ты, пожалуй, на хорошем пути — если только твоя самонадеянность не совратит тебя, но на этом пути ты сделал только первые шаги. У тебя еще не может быть и начатков той зрелой мудрости, которая создает истинного рыцаря...

Паж засмеялся тихим, но гневным смехом.

— Славный старец, — сказал он, — испытай меня. Потягайся со мной, в чем тебе угодно.

— Фернандо! — воскликнул барон, возмущенный этой дерзостью, но граф остановил его:

— Пусть этот мальчик говорит.

— Я не думал оскорбить графа, — холодно сказал паж. — Я не предложил бы ему состязаться в воинской ловкости и силе, так как хорошо понимаю, что за мной преимущество молодости. Но я говорю о более тонких вещах. Я много слышал о вашей мудрости и начитанности, граф, но и с вами я рискнул бы поспорить глубиной познаний в алгебре, схоластике и поэзии, умением слагать стихи, играть на лютне и толковать бессмертного Данте. Я вижу у вашего кресла шахматный столик; эту игру называют игрой для избранных. Еще никто не победил меня в этой игре.

Граф улыбнулся раздраженной улыбкой.

— Сыграй с моей дочерью, паж. Она не так хвастлива, как ты, но берегись ее искусства!

— Контессина прекрасна, — ответил паж с поклоном, — ее красота ослепительна, но и ослепленный, я не могу быть побежден.

Граф потерял терпение. Все лицо его потемнело; в тихом голосе, которым он заговорил, слышалось предчувствие грома.

— Иоанда, — приказал он, — принеси шкатулку с шахматами.

Иоанда вышла.

— Паж, — сказал граф, — бейся со мной об заклад. Я беру в заклад твою голову.

— Граф, — сказал паж, — ваша дочь прекрасна. Я беру в заклад вашу дочь.

— Что?! — загремел граф.

— Если я проиграю, вы берите мою голову. Если я выиграю, ваша дочь моя. Или вы боитесь заклада?

Вошла Иоланда со шкатулкой и остановилась посреди горницы.

Граф сказал голосом, худо скрывавшим гнев.

— Играйте. Иоланда, ты должна победить.



Старики сидели у камина, тихо вспоминая былое.

— Что с вами, паж Фернандо? Вы смотрите на меня и молчите?

— Я смотрю в ваши глаза, которые так прекрасны.

— А я тем временем уже сняла у вас третью пешку. Вы рассеяны!

— Нет, не рассеян: берегите башню.

— Правда. Погибла моя башня.

— Ну что, Иоланда, как твоя партия?

— Пока еще наравне, отец.



— Что с вами, паж Фернандо: вы смотрите на меня и молчите?

— Я смотрю в ваши очи, которые так прекрасны.

— У вас красивый выговор, какого я никогда не слыхала.

Откуда вы родом, паж Фернандо?

— Я родом из дикого края. Там солнце горит ярче, чем у вас, и ночи там чернее вашей. Там лето пышет пламенем, зима леденит потоки трамонтаной<sup>1</sup>.

Там любят так, что идут на смерть за любовь; там ненавидят так, что и смерть не убивает ненависти. Там веруют беззаветно, богохульствуют безумно; там все прекрасное трижды прекрасно, все безобразное трижды ужасно; и эта страна лежит далеко-далеко.

— В вашем крае, должно быть, много красавиц?

— Женщины моей родины очень красивы. У них черные глаза, черные косы. Но небо наше голубое, как ваши глаза;

<sup>1</sup> Северным ветром (от *umal. tramontana*).

солнце наше золотое, как ваши кудри. Вы прекрасней, чем женщины моей родины... Шах королеве.

— Ах!.. Мой бедный конь, я не спасу королевы, если не пожертвую им...

— Ну что, Иоланда, как партия?

— Контессина проигрывает, граф.

— Нет, нет, отец, я еще не думаю сдаваться.

— Это напрасно, контессина, когда победа мне нужна, я побеждаю.

— А зачем вам так нужна победа, паж Фернандо?

— Спросите вашего отца, контессина... Шах королеве. Вы теряете другого коня.

— Бедные мои кони!.. Отец, зачем Фернандо так нужна победа?

— Он шутит, Иоланда. Я с ним пошутил, и он шутит.

— Граф, вы со мной не шутили, и я с вами не шутил. С вами никто и никогда не посмел бы шутить. Если я проиграю, — вы знаете, что я проиграю, если выиграю, — вы знаете, что я выиграю... Шах королю. Вы теряете другую башню.

— Отец, он искуснее меня!

— Паж, оставь игру. Я пошутил с тобой. Забудь наш спор. Я сделаю тебя богатым, я отвезу тебя ко двору.

— Мне ничего не надо, граф. Ваш ход, контессина.

— Паж, пока моя дочь обдумывает ход, подойди со мной к камину, я должен сказать тебе два слова...

— Я повинуюсь. Ваши два слова?

— Зачем тебе моя дочь?

— Я полюбил ее с первого взгляда.

— Ты любишь ее. Это хорошо. Помни же, если ты потребуешь заклада, ты сделаешь несчастной ту, которую любишь.

— Почему?

— Ты не знаешь жизни. Женщина, происхождение и красота которой с первых лет обещали знатную, блестящую и роскошную судьбу, не будет счастлива, став женой безымянного бедняка. Она будет страдать — громко или молча. Если молча, это еще хуже. Ты не знаешь жизни.

— Паж Фернандо, ваш ход... Паж Фернандо, вы не слышите? Паж Фернандо! Паж Фернандо, очнитесь от вашей задумчивости и займите ваше место.

— Простите, контессина... Мой ход? Сейчас...

- Что с вами, паж Фернандо: вы глядите на меня и молчите?
- Я смотрю в ваши очи, которые так прекрасны...
- Слова те же, но звук их другой — печальный. Что вас печалит, паж Фернандо?
- Что богатой контессине до печалей безымянного пажа?..
- Вы не безымянный паж, у вас есть имя: это имя — герой, а ваша печаль... ваша печаль...
- Договорите, контессина.
- Не знаю... Мне как-то не хочется, чтобы вы были печальны. Отчего вы печальны... Ага! Шах вашей королеве. Отчего вы печальны?
- Я не печален. У вас в саду есть цветы, контессина?
- Да. Если бы не зима, я подарила бы вам цветов. Какие ваши любимые цветы, паж Фернандо?
- Гвоздика. Вы срывали когда-нибудь красную гвоздику в полном цвету?
- Срывала.
- Когда красную гвоздику сорвут в полном цвету, она должна умереть. Но она умирает пышной и прекрасной. Сорванная потом, она вянет и бледнеет, но это уже после смерти.
- Да. Мне всегда поэтому жалко рвать цветы. Это все равно, что убить молодое существо.
- Почему жаль? Если вы не сорвете гвоздику, она постареет, потускнеет и тоже умрет, но умрет не пышной и прекрасной, а хилой и жалкой. Лучше умереть в расцвете, в самый яркий полдень жизни — тогда все прекрасно, тогда и смерть прекрасна.
- Почему вы говорите о смерти, паж Фернандо? Почему ваши глаза потемнели? Вам грустно?
- Я не грущу. Я цветок красной гвоздики в полном цвету — как же я могу грустить?
- Паж Фернандо, мне жутко. Что вы проиграете, если проиграете?
- Ничего такого, что было бы мне дорого.
- А что выиграете, если выиграете?
- Я не выиграю. Граф, слышите? Я проигрываю!
- Отец, я уже сняла у него почти все фигуры, но... мне не по себе. Не оставить ли эту партию?
- Ты права, Иоланда. Паж, довольно. Мне не нужно твоего проигрыша. Я пошутил с тобой.

— Старик! Никому и никогда не позволял я шутить со мною, не позволю и вам! То, что я проиграю, будет вам отдано, и не от вас зависит помешать мне. Я не похож на вас, знатных и богатых людей: мое слово свято, мне не жаль отдавать то, что я проиграл.

— Отец, что это значит, ради Бога?

— Паж, твои слова резки... но справедливы. Иоланда! Мы бились об заклад: если он выиграет, ты должна стать его женою; проиграв, он должен...

— Граф! Я не даю вам права открывать пред контессиною наш тайный договор! Ваш ход, Иоланда.

— Твой ход, Иоланда. Ангел твоей покойной матери да водит твоей рукою, потому что поистине благородная душа трепещет в запальчивом сердце этого юноши...

— Контессина, этим ходом вы открываете путь моей королеве.

— Мой ход сделан, паж Фернандо.

— Девушка, мне не нужно твоего милосердия! Ты нарочно даешь себя победить.

— Не сердись на меня, паж Фернандо, ведь ты победил уже меня другой победой...

— Шах королеве!

— Королева твоя...

— Шах королю!

— Отец, я побеждена.

— Да сбудется воля Божия! Подойди сюда, старый друг мой Тебальдо. В эту ночь родился младенец, сын бедных и незнатных людей, которого Бог поставил превыше царей земных. Оттолкнуть человека, рожденного в бедности, значит оттолкнуть Христа. Моя дочь Иоланда будет женой человека, рожденного в бедности, и я верю, что такова Его святая воля. Будьте благословенны, дети мои.



— Что с тобой, паж Фернандо? Ты глядишь на меня и молчишь?

— Я гляжу тебе в очи, которые так прекрасны.

**Altalena**

*Одесские новости. 29.12.1902*



## Вскользь

В этом месяце были две годовщины: Некрасова и Надсона. Для заурядного читателя Некрасов и Надсон — почти одно и то же.

— Оба печальное пишут! — говорит он на своем наивном языке.

А между тем какая громадная разница.

Муза мести и печали — и муза хандры.

Поэт-гражданин — и...

В самом деле! Если Некрасова мы называем «поэтом-гражданином» — как нам назвать Надсона?

Разберемся в том, что написали Некрасов и Надсон.

Прежде всего, нам бросается в глаза одно яркое различие.

Некрасов не говорит о надежде.

Некрасов сердится, уличает, бранит, рыдает, грозит.

Но никогда — или почти никогда — не заговаривает он о будущей победе.

Я перебираю мысленно все его произведения, какие могу вспомнить, и не нахожу, кроме двух-трех мимолетных строчек, ни одного места, которое звучало бы так же, как надсоновское:

— Верь, настанет пора, и погибнет Ваал, и вернется на землю любовь!..

Не припоминаю даже такого стиха, где бы Некрасов прямо «звал к борьбе».

Некрасову не нужно было этого.

Он писал в такое время, когда не нужно было.

Тогда людей нечего было звать к делу: они сами кипели активной жаждой дела.

Тогда нечего было петь им о надежде и о будущей победе: они и без того инстинктивно и неизбежно верили в близкую гибель Ваала.

В то время достаточно было просто указать:

— Вот в этом углу скрыто зло.

И обрисовать это зло с достаточной силой и желчью.

Остальное делалось само собой: уж добрые люди, как фагоциты, без особого призыва сбегались бороться с этим злом и без посторонних обнадеживаний верили в победу над ним.



Крепкая, мускулистая, работающая эпоха отразилась в самом тоне произведений Некрасова.

И оттого, читая Некрасова, сам как-то крепнешь и тверднешь, хотя Некрасов только обличает и никуда тебя не зовет и ничего тебе не сулит.

Ибо в самом его тоне, помимо слов, чувствуется такая неотделимая, приросшая уверенность, которая громче всякого призыва и обещания.

Иное дело Надсон.

Надсон через каждые пять страниц, словно чеховский подполковник Вершинин, заговаривает о надежде, о том, как хорошо будет через двести лет, когда...

— И вернется на землю любовь! — утверждает он.

И когда любовь вернется, тогда —

— Весел будет праздник — праздник обновления, радостно вздохнут усталые рабы, и заменит гимн любви и всепрощенья звуки слез и горя, мести и борьбы...

И читаете вы это, и тоже, пожалуй, верите в осуществимость всей этой идиллии; но... эта вера как-то ничуть не мешает хандре и ни на йоту не придает бодрости.

Почему? Как же это, чтобы вера да не придавала бодрости?..

Читаете вы Надсона дальше — и наталкиваетесь на нечто знакомое: на «рефлексию».

И Некрасов написал «Рыцаря на час». Но в «Рыцаре на час» нет «рефлексии». Там — негодование на человека, который никогда не в состоянии подняться до уровня своих убеждений, — на строителя Сольнеса, который боялся взлезть на вершущку им же построенной башни.

У Надсона не то: Надсоном вдруг овладевают сомнения вот какого свойства:

— А что, ежели все мои убеждения да не стоят ни гроша?

Вспомните стихотворение: «Позабывтые шумным их кругом — вдвоем мы с тобой в уголку притаились»...

Смотрит поэт на танцующих «детей довольства и сна» — и сомневается:

— Не ерунда ли все эти высокие принципы, за которые я страдаю?

Откуда такое сомнение?

А вот из какого рассуждения:

— Ведь природа никогда не ошибается. Отчего же она ко мне беспощадна, а «детям довольства и сна» бросает розы?

Как будто что-то знакомое, не правда ли?

Читаем дальше: «Томясь и страдая во мраке ненастья...»

Новое сомнение; поэт рассуждает так:

— Допустим, что все уже сделано, и с неба на землю сошел идеал. Спрашивается: я-то, привыкший к борьбе, буду ли счастлив, когда не станет ни борьбы, ни слез, которые стоило бы осушить? Нет, я не буду тогда счастлив.

Вдумайтесь. Ведь это лишено всякого смысла. Исправление мира идет постепенно и медленно: кто рожден в эпоху борьбы, тот не доживет до «праздника примирения».

Ерго<sup>1</sup>, не о чем и философствовать, да еще с такими рыданиями...

А Надсон все же философствует — и опять чем-то все более и более знакомым веет от этой бесполезной и праздной философии.

Дальше: стихотворение «Грядущее».

Опять все устроено и улажено, и с неба на землю сошел идеал.

Только вот беда: люди умирают.

Со смертью ничего не поделаешь. Умирают люди, да и только. Живут, правда, и долго, и счастливо, но все же умирают.

И Надсон недоволен. Не может он этого вынести, чтобы люди умирали. Он хотел бы, чтобы люди не умирали вовсе...

Господа, вы наконец узнаете?

Ведь это — Кифа Мокиевич.

Старый знакомый, автор и любитель умозрений относительно того, что было бы, если бы небо упало на землю.

Но у Кифы Мокиевича это шло от желудка, а у Надсона — из сердца.

— Только то, что грозой пронеслось над челом, изливал я в покорные звуки!.. — сказал он о себе.

И это правда. И тем хуже, что такие бесцельные умствования для него составляли «грозу».

Буря в стакане воды.

Это — тоже отражение эпохи. Уже другой, не некрасовской эпохи.

В эпоху, когда люди сидят без дела, засунув ручки в брючки, — из праздности рождаются и «рефлексии», и умозрительные измышления à la Кифа Мокиевич — и все это весьма политое слезами.

---

<sup>1</sup> Следовательно (лат.).

В такие эпохи гражданина сменяет обыватель.

Если Некрасов — поэт-гражданин, то Надсон — поэт-обыватель.

Обыватель и хандрит, и надеется по-вершинински, и сам в себе сомневается, и мечтает, и не решается, и философствует, и вообще выделяет от полноты сердца всякие бесполезности.

Но его хандра не ожесточает вас, его надежда не ободряет вас.

Все у него звучит одинаково тоскливо, тягуче, разжижающе...

Я очень люблю Надсона и считаю, что за ним — тоже большая общественная заслуга.

Некрасов был вождем, но и Надсон нес свою службу: он был сестрой милосердия.

— Я ушел в толпу, и вместе с ней страдаю, и даю, что в силах — отклик и привет... — говорит он.

Отклик и привет — великое дело.

В тоскливую минуту приятно поговорить по душам с чутким человеком. Это облегчает.

Особенно, если это — поэт.

Надсон много душ облегчил. Много народу он утешил, отер их слезы, как добрая сиделка, поплакав вместе с ними и шепнув, вроде чеховской Сони:

— Надейся! «Там мы отдохнем, дядя...»

Большую общественную задачу исполнил Надсон, и меньше всего хотел бы я умалить ее значение.

Но тот день, когда мы отвернемся от Надсона и перестанем чувствовать его, — будет счастливым днем.

Он покажет, что мы уже вышли из лазарета, потому что нам не нужна больше сестра милосердия.

Тогда нам снова понадобятся вожди, обличители и каратели, и мы вернемся к Некрасову, и откроем у него много бессмертных страниц.

**Altalena**

*Одесские новости. 29.12.1902*



## Вскользь

Еще одно письмо о кормилицах.  
Совершенно новая точка зрения.

«Милостивый государь!

Я не могу, к сожалению, ответить на ваш вопрос: кто должен кормить ребенка — моя жена или кормилица?

Дело в том, что я себе еще не ответил на предварительный вопрос: имеет ли право моя жена вообще родить ребенка?

Последнее вполне зависит от благоусмотрения моего патрона.

А он, когда его извещают о появлении у кого-либо из его служащих на свет младенца (безразлично, какого пола) без его разрешения, делает довольно кислую гримасу.

Из этой гримасы мы, еще не имеющие детей, заключаем, что он — принципиально против „этого“.

А мы с ним не согласиться не можем.

С почтением —

Бухгалтер».

Резонно.



Опять надо встречать Новый год.

Скучная вещь.

Я не из числа тех скептиков, которые совсем отрицают Новый год:

— Одна, мол, пустая фикция, и никакого Нового года нет.

Напротив.

Для меня Новый год полон всяких новых надежд.

Нет такого добра, которое, по-моему, не предстояло бы мне в Новом году.

Но именно поэтому мне и хотелось бы встретить его как-нибудь особенно.

Чтобы было до головокружения весело, чтобы комната вся тряслась от нашего хохота.

Чтобы сидели остроумные, милые люди, чтобы пели веселые песенки.

Чтобы собственная кровь была пьянее вина.

А вместо всего этого — я ведь хорошо знаю, что будет.

Соберемся мы, дюжина скучных человеков, в гостиной.

А из столовой будут стучать посудой.

И нам в гостиной не о чем будет разговаривать.

Я спрошу его:

— Как дела?

Он скажет мне:

— Как сажа бела.

И станем прислушиваться к стуку тарелок в столовой.

И думать:

— Эх, скорее бы к столу.

И будем в ожидании ходить по комнате, скрипя ботинками, садиться, вставать, менять позы и насвистывать.

Даже неприличного анекдота ни от кого не допросишься.

— Нет настроения, не хочется рассказывать, не выйдет...

Наконец, позовут в столовую.

Пойдем в столовую.

Дадут мне рюмку водки.

Я выпью. Неприятный напиток, лишенный вкуса, смысла и благородства, — а я выпью.

Я вино люблю и охотнее выпил бы рюмочку вина — да нельзя, ибо непорядок. И кто ж пьет вино из маленькой рюмочки?

И вот — выпью водки.

Потом начнем есть.

У меня почти никогда нет аппетита. С какой стати я буду есть? Что за смысл?

Однако буду есть.

И все будут есть, и молчать, и скучать.

Сосед скажет мне:

— Попробуйте смешать в одном стакане белое, красное и чуточку пива. Весьма не вредно.

И я его послушаюсь и смешаю.

Почему? Зачем?

Смешаю — и буду пить с отвращением и твердостью.

Ежели сосед посоветует:

— Накрошите семги в шампанское.

Накрошу и, вероятно, выпью.

Ибо ведь скучно.

Мы будем жевать и развлекаться такими замечаниями:

— Иван Иваныч, вы уже третий стакан опорожнили.

— Нет, пожалуйста, — второй! Что за клевета?

И сиянс<sup>1</sup>.  
 Стрелка подойдет к двенадцати.  
 — Двенадцать! — скажет хозяин.  
 И мы закричим «ура».  
 Я тоже закричу «ура».  
 С какой стати? Кто я такой, чтобы кричать «ура»?  
 И по какому такому случаю мне кричать «ура»?..  
 Прокричим «ура» и опять станем пить и есть.  
 Потом нагрузим друг друга попарно в дрожки и поедем  
 по домам.  
 И завтра будет у нас каша во рту и на душе погано.  
 Черт знает что...

**Altalena**

*Одесские новости. 31.12.1902*



## ***Письмо в редакцию***

«Милостивый государь господин редактор! В интересах выяснения истины не откажите поместить на страницах редактируемой вами газеты нижеследующие строки:

В № 5839 от 22 декабря „Одесских новостей“ в отделе „Вскользь“ г-н Altalena обрисовал с очень неприглядной стороны преподавателя училища Ровнякова Емельяна Меркуриевича. Состоя преподавателем в том же училище и зная Е. М. как хорошего преподавателя и педагога, я могу с полной убежденностью сказать, что Е. М. как преподаватель и педагог выдается даже из среднего уровня и пользуется общей любовью учеников за свое к ним сердечное отношение. При этом следует еще заметить, что Е. М. ничего не преподает в 1-м параллельном классе, как то было сказано в заметке, а читает арифметику в 1-м основном и, судя по отзывам наших коллег-учителей, очень хорошо и успешно.

Примите...

Преподаватель училища Ровнякова

*Е. Г. Осипов».*

Помимо вышепечатаемого письма г-на Осипова, мною получено еще множество других писем, отзывающихся о Емельяне Меркуриевиче как о педагоге и преподавателе с самой лучшей стороны.

<sup>1</sup> Молчание (от фр. silence).

Как журналист я поставил себе задачей: высказывать только то, в правдивости чего уверен, и так же открыто и громко опровергать высказанное, когда эта уверенность в его правдивости поколеблена.

Получаемые мною письма приводят меня к убеждению, что заявления лиц, внушивших мне отрицательный взгляд на деятельность Емельяна Меркуриевича, оказываются совершенно несогласными с действительностью.

***Altalena***

*Одесские новости. 31.12.1902*

# ПРИЛОЖЕНИЕ

---

ПРОЗА  
ПУБЛИЦИСТИКА  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ  
1899–1901<sup>1</sup>



## *Север и юг Италии*

*Рим, 21 (9) ноября*

На страницах газет и периодических изданий Италии идет в настоящее время горячий спор о том, кто цивилизованнее, честнее, лучше — север или юг. И так между этими двумя областями существует постоянный антагонизм. Северянин с пренебрежением отзывается о южанине, и слово «неаполитанец» произносится на севере не иначе как с презрением. Неаполитанец — олицетворение всего низкого, нечестного, грязного. Северяне в порыве увлечения причисляют к неаполитанцам и римлян, вообще всех тех, кто не принадлежит к их провинции. Издавна существует эта рознь между отдельными провинциями, доходившая во время оно до жестоких братоубийственных войн. За все время существования королевства «третьего Рима» рознь эта не особенно умалилась, а в последнее время склонность к сепаратизму получает все более и более ясное выражение и в прессе. Политика Депретиса и Криспи, поставившая себе целью приобретение Италией колоний, несомненно, много бы содействовала ослаблению сепаратистских стремлений. К несчастью или к счастью, с какой точки зрения смотреть на дело, одно фиаско за другим не дали идеям Криспи осуществиться.

Если сравнить север с югом, считая центр с Римом переходной ступенью между ними, то убедимся, что в самом деле северяне правы в своих отзывах о неаполитанцах и вообще южанах. Милан недаром считается духовной столицей Италии. Ломбардия, Лигурия, Пьемонт, Тоскана, Эмилия, словом, провинции севера не уступают по своей промышленности многим европейским странам. Грамотность очень высока. Городские и провинциальные (наши губернские) бюджеты отводят почет-

---

<sup>1</sup> В настоящем Приложении собраны произведения, по тем или иным причинам не вошедшие в первую книгу второго тома.



ное место расходам на школы, на санитарное устройство городов, на культурные потребности. Число тяжких преступлений значительно уменьшилось сравнительно с прежним. Торговля развивается быстро, экспорт также. Юг, наоборот, во всех этих отношениях является совершенно отставшим. Капитализм не успел еще развиваться тут. Торговля и промышленность в зачатке и носят характер примитивный. Неаполь, например, крупнейший город всего юга, а по количеству населения первый город Италии, имеет большое количество ремесленников и лиц, занимающихся домашней промышленностью по заказу от предпринимателей, но фабрик не имеет. Школ на юге мало, а имеющиеся плохо содержатся, так как муниципалитеты никак не могут найти достаточных средств ни для школьных помещений, ни для учительского персонала. Если безграмотность во всей Италии составляет в среднем 40 процентов, то южная Италия дает гораздо более высокую цифру, а северная — низшую. В северной есть грандиозные кооперации труда и потребления, на юге немного коопераций и с небольшим количеством членов. Тяжких преступлений, по статистике, юг дает в четыре раза больше, чем север.

Социальная и политическая жизнь севера носит характер вполне современный. Тут имеются партии, прекрасно организованные и знающие, чего хотят. Есть «умеренные» либералы, до последнего времени господствовавшие в главных муниципалитетах, как миланский, флорентийский и др. Это реакционеры, но культурные, с ясным сознанием своих классовых интересов. Есть клерикалы с чудной, завидной организацией, неутомимо работающие в экономическом отношении, устраивая кооперации, банки дешевого кредита для ремесленников, рабочих и крестьян. Далее идут социалисты, республиканцы, радикалы, теперь соединившиеся в коалицию против общего врага — либералов, но преследующие обыкновенно разные цели. Массы подают здесь голоса за какого-нибудь кандидата не потому, что он имеет блестящее имя или высокий сан и платит хорошо избирателям, а потому, что он выразитель той или другой политической программы. Словом, здесь общественный пульс сильно бьется. Юг отличается как раз обратными свойствами. Здесь еще в полном разгаре феодализм с его анархией. Здесь личность сильная, не смущающаяся никакими средствами для достижения своих целей, ставит себя выше закона, выше государственной власти. Криспи — яркий выразитель культуры

юга. В то время как в Милане его считают вором и разбойником, в Палермо все население от него без ума. В Неаполе каморра, в Сицилии мафия, тайные воровские союзы, имеют огромное влияние на всю жизнь страны. В Милане разбирается в настоящее время одно очень характерное в этом отношении дело. Шесть лет тому назад был убит в вагоне железной дороги некий барон Нотарбартоло. Труп его нашли недалеко от реки, близ Палермо. Сейчас же общественное мнение указало на депутата Полиццоло, ярого криспинца, как на главного виновника, подославшего убийц к барону, с которым он раньше был очень дружен, а потом рассорился и хотел отомстить. Но суд боялся привлечь к ответственности депутата, да еще криспинца. Теперь в Милане сын убитого прямо указал на него как на убийцу.

Фигурирующие на суде подсудимые, контролер и кондуктор, были только соучастниками. Один из свидетелей, полицейский чиновник, показал, что упомянутый депутат — глава мафии. На суде фигурируют свыше 200 свидетелей. Уже не первое такое дело переносится из Сицилии в другой конец Италии, в Милан, для разбора, так как в Палермо жизнь судей, присяжных и свидетелей была в серьезной опасности.

**А. З.**

*Северный курьер. 25.11.1899*



## **Из Италии**

*Рим, 10 декабря*

Итальянская палата депутатов ведет себя замечательно смирно теперь. Было несколько вспышек, но они прошли благополучно, и до обструкции, мешающей занятиям, не дошло. В Милане на сегодня назначены были муниципальные выборы. Должен был говорить на одном собрании социалистический депутат Турати, недавно вышедший из тюрьмы вследствие частичной амнистии короля, но находящийся под надзором полиции. Префект воспретил решительным образом ему идти на собрание. Турати телеграфировал своим коллегам в Рим, заявив, что готов сложить с себя звание депутата. В парламенте был сделан запрос, и Пеллу ответил, что он находит распоряжение префекта несвоевременным, о легальности же можно еще спорить. Так как здесь дело касается Турати как депутата вообще, а не как социалиста, то требовали от президен-

та палаты Коломбо, чтобы он выступил в защиту его. В результате Пеллу сместил префекта Милана, и крайняя левая пока удовлетворена.

Муниципальные выборы в Милане интересуют всю Италию, так как Милан поистине духовная столица Италии и миланские депутаты играют первую скрипку в парламенте в последние годы. Несколько десятков лет в миланском муниципалитете господствовали «умеренные», именующие себя либералами, отличающиеся своей нетерпимостью к другим партиям и полнейшим пренебрежением к интересам рабочих классов. Демонстрации прошлого года, раздутые с умыслом умеренными, имели своим результатом закрытие многих обществ, как, например, гуманитарного общества, основанного согласно завещанию филантропа Моисея Лориа, оставившего 10 миллионов франков для улучшения участи рабочих посредством профессионального обучения, не говоря уже про конфискацию имущества многих газет и ареста редакторов и сотрудников их, а также бесчисленного множества других лиц. Миланское население решило отомстить этим так называемым либералам, среди которых выдается философ сенатор Негри, и провалило их на выборах в городскую думу. Так как избраны были такие лица, как Турати, Къези и др., то правительство признало выборы неправильными и назначило другие на 10 декабря. Эти выборы носят не местный характер, а чисто политический; избиратели хотят показать, что они недовольны политикой правительства.

Что либералы за все свое господство сделали очень мало для поднятия экономического, интеллектуального и морального уровня населения, можно судить из официальных статистических данных, говорящих очень красноречиво для тех, кто хочет их читать и вдумываться в их смысл. Либералы с непонятным оптимизмом повторяют вечно одну и ту же песенку, что прогресс Италии не подлежит сомнению. Этот оптимизм проникает даже в тронные речи. Время от времени только прогрессивно-либеральные органы, вроде «Трибуны», готовой иногда из оппортунизма поддерживать самые реакционные проекты, как бы просветленные свыше, издают отчаянный крик: «а ведь мы падаем с каждым годом все ниже и ниже, ведь на нас смотрят за границей, как на смешных оборванцев, которых можно безнаказанно обижать в полной уверенности, что итальянское правительство будет еще извиняться перед обидчиками!» Таким же образом «Трибуна» на днях предалась самым меланхоличе-

ским размышлениям по поводу страшного прогресса преступности и вообще низкого уровня юстиции страны, на которую так же, как на полицию, миланский процесс Нотарбартоло бросает сильную тень. Вот несколько красноречивых цифр о преступности Италии, которые были приведены при обсуждении бюджета министра юстиции. Население увеличивается на один процент ежегодно, а преступность за десять лет (1887—1897) почти удвоилась. Увеличилось несоответственно количество всякого рода преступлений, но особенно преступлений уголовного характера, что говорит об одичалости населения. Убийство в Италии считается гораздо меньшим преступлением, чем кража, например, так как судьи, в особенности присяжные, склонны находить смягчающие вину обстоятельства при убийстве, при краже же — никогда. В Вене недавно приговорили к смертной казни за мученическое убийство ребенка родителями, в Италии детоубийство почти всегда кончается оправданием: ровно 50 процентов по статистике. То же при тяжких поранениях — судьи находят всегда смягчающие обстоятельства:  $\frac{1}{2}$  получает меньшее наказание, а  $\frac{1}{4}$  совсем оправдывается.

**А. З-ский**

*Северный курьер. 3.12.1899*



## **Итальянские художники**

*Рим, 11 марта*

Итальянский художественный мир деятельно готовится к всемирной парижской выставке. Но очень многих, даже выдающихся художников, ждет горькое разочарование. Назначенная правительством специальная комиссия при выборе годных для выставки художественных произведений отнеслась с необычайной строгостью ко многим картинам, служащим образцами новых течений в искусстве. Так, забракованы работы нескольких венецианских художников и целой группы римских, выставяющих ежегодно свои картины в «Галерее современного искусства» под названием «*In arte libertas*»<sup>1</sup>. На справедливые нарекания и жалобы художников комиссия отвечает, что виновата администрация выставки, которая отвела итальянскому отделу чересчур ограниченное пространство.

<sup>1</sup> «Свобода — в искусстве» (лат.).

Оставляя в стороне забракованных, которые, может быть, пошлют свои работы неофициальным путем в Париж, мы можем все-таки сказать, что итальянский отдел будет представлять очень много интересного. Так, будут два полотна известного Франческо Паоло Микетти. Затем особое помещение отведено картинам безвременно погибшего Сегантини. Он поселился нынешней зимой на Альпах, где писал с натуры картину, заказанную ему для парижской выставки. Во время работы он заболел воспалением слепой кишки, и прежде чем можно было достать врача из долины, он скончался, оставив свой громадный труд неоконченным. Его необычайный талант был в самом расцвете. Он умер сорока двух лет. Сегантини, к сожалению, очень мало известен в России, зато французы, немцы и англичане его считают самым выдающимся художником современной Италии. В отделе скульптуры особенно выдается «Saturnalia», огромная бронзовая группа из 10 фигур работы Бионди.

Момент взят из времени упадка Рима, когда нравы достигли крайней степени испорченности. Группа плебеев встречается на одной из дорог вблизи Рима с тремя пьяными жрецами, у которых глаза загораются страстью при виде молодой аристократки, шествующей рядом с молодым, здоровым гладиатором. Виден пьяный с диким выражением на озверелом лице солдат, видна куртизанка, игрок на флейте. Экспрессия лиц и движений необычайная, да и ансамбль производит замечательное впечатление. Художник хотел изобразить психологический момент целой цивилизации на границе ее разрушения и наступления новой, на ее место. В фигурах римлян он хотел представить общечеловеческие типы, повторяющиеся при великих исторических переворотах. Жрецы, пьяные и отвратительные своей распущенностью, представители старой разрушающейся римской цивилизации. Гладиатор, полный силы и мощи, вызывающе глядящий на них, есть носитель новой нарождающейся цивилизации христианского строя. Молодая патрицианка с надеждой и уверенностью жмет к нему, чувствуя инстинктивно его великую мощь. Чернь же — раб, куртизанка, солдат, флейтист — безумно танцует при гибели старого Рима. Группа эта, если и не займет первого места на парижской выставке, то нет сомнения, что она произведет чрезвычайно сильное впечатление на посетителей.

В Риме, к слову сказать, чрезвычайно бедном народопродовольственными начинаниями, существует «общество для образования женщины». Известнейшие ученые и литераторы приглашаются обществом для чтения конференций о том или другом предмете. Каждая конференция составляет собой нечто целое и законченное, но в течение сезона получается целый цикл, трактующий о каком-нибудь предмете с разных сторон. Так, нынешний цикл конференций касается истекающего века в различных его проявлениях: прочтены уже конференции о политическом развитии века, о романе, о музыке, и в последний четверг (чтения бывают раз в неделю) туринский публицист Август Ферреро прочел чрезвычайно интересную лекцию о карикатуре XIX века, иллюстрируя ее проекциями на экране.

Сначала лектор дал краткий исторический обзор карикатуры. Самой древней карикатурой надо считать папирус, находящийся в знаменитом египетском музее Турина, от 1300 г. до Р. Х., по крайней мере. В греко-римском мире карикатура также существовала: образцы ее, найденные при раскопках Палатинской горы, имеются в Кирхнерианском музее в Риме.

В Средние века нет особенно замечательных карикатур. Лектор подробнее останавливается на карикатурах Леонардо да Винчи, Карраччи, Бернини, Сальваторе Розы, затем на работах голландцев и француза Callot, жившего долгое время во Флоренции при дворе Козимо II, и на работах трех англичан, величайших карикатуристов прошлого века — Hogarth, Gillray и Rowlandson. Особенно сильное развитие получает карикатура в нашем столетии благодаря двум причинам: политической свободе и прогрессу типографского искусства.

Карикатура современная прошла известную эволюцию и стала приближаться к ее примитивной форме, т. е. к символизму и простоте чертежа.

Карикатуру можно разделить на три области: политическую, бытовую и артистическую. Все главные европейские страны, Англия, Германия, Франция, имеют свои индивидуальные карикатуры. Лектор не пропустил Америки и Японии, зато не коснулся совершенно России, с которой он, видно, не знаком. Итальянская карикатура главным образом политического характера. Выдающимся карикатуристом последнего времени был умерший в прошлом году Казимир Тейя, работавший в известном туринском «Pasquino». Известна иконография

Депретиса, вышедшая из-под карандаша двух выдающихся юмористов, сатириков и карикатуристов Gandolina и Vamba. Первый (настоящее его имя Vassallo) — директор генуэзской газеты «Secolo XIX», второй (имя его Bertelli) раньше работал в «Don Chisciotte», а теперь в «Giorno»<sup>1</sup>, ежедневной газете с цветными иллюстрациями. Характеристичная особенность итальянской карикатуры — это так называемый *puppazzetto*<sup>2</sup>, где смешной эффект получается от непропорциональности головы сравнительно с корпусом. Лицо большей частью не представляет ничего безобразного, а дает возможность легко узнать изображаемого; черты только чуть заметно утрированы. Навряд ли существует другая страна, где такого рода карикатура получила бы большее распространение, чем в Италии. Многочисленные политические газеты имеют у себя карикатурный отдел. Кроме того, существуют специальные юмористические журналы, из которых надо отметить «Pasquino», «Fischietto», римский «L'Asino» (карикатурист его называется Galantara), наконец, новый флорентийский журнал «Italia ride», берущий темы социального характера.

**А. З-ский**

*Северный курьер. 6.03.1900*



## ***В мастерской скульптора***

*Рим, 30 (17) марта*

На vicolo San Nicolò de'Tolentino<sup>3</sup> находится мастерская Hasselriis'a, датчанина родом, но превратившегося в римского старожилу, так как он живет здесь тридцать лет, отлучаясь изредка на два-три месяца на свою северную родину, и получившего даже орден кавалера от итальянского правительства. Когда я постучался в деревянные дверцы, похожие на дверцы сарая, мне открыл пожилой господин с небольшой седой бородкой, выше среднего роста, в блузе. Я отрекомендовался и попросил позволения посмотреть на надгробный памятник Гейне, который им недавно закончен и будет послан в Париж на Монмартрское кладбище.

---

<sup>1</sup> «День» (итал.).

<sup>2</sup> Фигурка (итал.).

<sup>3</sup> Переулок Сан-Николо да Толентино (итал.).

Скульптор, открывший сам мне дверь, любезно вызвался не только объяснить мне значение памятника, но и показать мне всю мастерскую, состоящую из трех комнат с высокими потолками и с большими окнами под самым потолком.

У самых дверей бросаются в глаза две статуи бессмертного Гейне. Одна, гипсовая модель той статуи, которую покойная австрийская императрица Елизавета заказала Hasselriis'у лет двадцать тому назад и поставила на своей вилле «Ахиллеон» на острове Корфу, изображает больного поэта сидящим в кресле с подавшимся слегка вперед туловищем, в нижней рубаше, с укрытыми одеялом ногами. В руках у него стиль и сверток бумаги. Выражение страдальческого, исхудалого лица такое, что не скоро его забудешь.

— Скажите, маэстро, что теперь сделают со статуей, неужели продадут ее вместе с виллой? Читал я, что виллу хочет купить компания английских капиталистов, чтобы устроить в ней рулетку, как в Монте-Карло.

— Продадут ли виллу и кому, я не знаю. Но статуи там император не оставит, а перевезет в один из своих замков, близ Вены. Помилуйте, ведь это был любимейший поэт несчастной императрицы!

— Интересно было бы знать судьбу этой статуи в будущем. Найдется ли такой город, который захочет украсить ею одну из своих площадей? Долго ли в Вене будут господами Люгер и компания?

— Да... Сложный вопрос—памятник Гейне. Филистеров немало еще на свете.

— Слышали ли вы, маэстро, о повреждении фонтана Лорелеи в Америке?

Художник живо заинтересовался этим новым проявлением варварства и фарисейства и был сильно опечален.

Тут мы обратились к главной работе, ради которой я, собственно, и пришел. Памятник сделан из белого мрамора. На довольно высоком пьедестале немного выше человеческого роста помещен бюст поэта с его худощавым скорбным лицом и небольшой бородкой, обрамляющей только подбородок до вышины рта. Глаза его закрыты.

— Вы знаете ведь, — сказал маэстро, — что у больного Гейне веки были парализованы, и когда он хотел посмотреть на кого-нибудь, он должен был пальцами приподнять веки. Я его лицо так и изобразил, как оно было незадолго перед смертью.



Вы видите эти разные фигуры на памятнике? Каждая имеет свое символическое значение. На самом верху пьедестала — бабочка. Это символ бессмертия. Ниже — лира с розовым венком — неувядаемая слава поэта, как эти мраморные розы. Под простой надписью «Heinrich Heine» находится пучок, состоящий из пинии, символа смерти и любви, песочных часов — вечности, лилий — воскресения и пальмовых листьев — мира. По углам помещены светильники, как на античных памятниках.

На горизонтальном мраморном камне памятника, который будет накрывать гроб, окруженный цветами, изваян лавровый венок и под ним две книги, на которых можно прочесть немецким курсивом: «Buch der Lieder», «Neue Lieder», «Tragödien»<sup>1</sup>. Это говорит, что памятник поставлен лирику Гейне. Как лирик он бессмертен. Вокруг этого венка размещено следующее по-смертное стихотворение, особенно хорошо подходящее сюда как эпитафия и найденное скульптором в одном сочинении о Гейне.

*Wo wird einst des Wandermüden  
Letzte Ruhestätte sein?  
Unter Palmen in dem Süden,  
Unter Linden an dem Rhein?*

*Werd' ich wo in einer Wüste  
Eingescharrt von fremder Hand,  
Oder ruh' ich an der Küste  
Eines Meeres in dem Sand?*

*Immer hin! Mich wird umgeben  
Gottes Himmel fort, wie hier  
Und als Todtenlampen schweben  
Nachts die Sterne über mir<sup>2</sup>.*

Памятник «кем-то» заказан Hasselriis'у. Не нужно большой пронизательности, чтобы понять, кто этот «кто-то». Или сама императрица Елизавета оставила в завещании, чтобы ее утешителю в минуты глубочайшего горя воздали должную честь после полувека презрения и проклятий ему, или же император

<sup>1</sup> «Книга песен», «Новые песни», «Трагедии» (нем.).

<sup>2</sup> Где усталый странник / Найдет свой последний приют? / Под пальмами Юга, / Под липами Рейна? / Буду ли я где-то в пустыне / Погребен чужой рукой / Или упокоюсь у моря / В прибрежном песке? / Что ж! Там, как и здесь, / Покрывалом мне будет Божье небо, / А поминальными лампадами / Ночные звезды надо мной. (Погстроч. пер. с нем.)

заказал, чтобы исполнить ее заветное желание. В течение месяца памятник будет выставлен в мастерской художника, а потом будет перевезен на Монмартрское кладбище.

В мастерской я наткнулся на ряд старых знакомцев. Тут и громадная статуя — т. е. гипсовая модель ее — сказочника Андерсена, и символически-мистический памятник Колумбу, и небольшая статуэтка подружки Софьи Ковалевской, баронессы Леффлер-Каянелло, и большая сидячая статуя Шекспира с выражением вдохновения на лице, точно он задумал в тот миг «Юлия Цезаря». Кроме того, есть маленькая статуэтка шведского импровизатора Бельмана и известного философа в старом, слишком длинном сюртуке и слишком коротких брюках, Sören Kierkegaard'a, есть модель памятника, поставленного в честь короля и королевы датских к их золотой свадьбе в Копенгагене. Кроме памятников и бюстов скульптор иногда занимался и легким грациозным искусством классического стиля: молодой фавн, тянущий вино через трубку и наполовину опьяневший, мальчик-фавн, пугающий собаку головой пантеры, кожу которой он накинул на себя, и проч.

**А. З-ский**

*Северный курьер. 25.04.1900*



## ***На студенческом съезде***

*Рим, 14(26) апреля*

Со времени закрытия этого съезда — «Университетского антиклерикального конгресса» — прошло уже довольно много времени; тем не менее я не считаю несвоевременным поговорить об этом интересном явлении теперь. Значение конгресса заключалось, конечно, не в его практических результатах, о которых следовало бы сообщить срочно, а в характеристике итальянского студенчества, в том представлении об особенностях здешней учащейся молодежи, которое мог вынести из четырех-пяти заседаний посторонний наблюдатель. Материал для наблюдений был обширный и разнообразный. Если читатель помнит римские события, ознаменовавшие юбилей Бруно, то ему нечего напоминать, что полиция запретила этот конгресс, и потому он, согласно закону, мог состояться только в «частной форме», т. е. не больше, чем при 50 участниках; но грубая расправа карабинеров с невиннейшей демонстрацией вызвала такое негодование в Италии и за границей, что префектура смягчилась и уже смотрела сквозь пальцы на обход своего за-

прета. Таким образом, конгресс открылся при двух или больше сотнях участников. Это — количество материала; но так как итальянец итальянцу рознь, то необходимо указать и на разнообразие. Президент конгресса принадлежал к Римскому университету, вице-президент был из Пизы, секретарь комитета — из Сиены; другой секретарь, ярый славянофоб и ирредентист, происходил из злополучной regione Giulia — из Триеста; приехали представители студенчества из Генуи, из «старой и ученой» Болоньи, и с опозданием подоспели южане из Неаполя и трех сицилийских университетов. Выбор был обширный, а смешение разных акцентов напоминало вавилонские времена.

Первое, что бросалось в глаза как общее впечатление от прений конгресса, было известное чувство меры, сознание перспектив, если можно здесь так выразиться. Видно было, что участники съезда, несмотря на свою молодость, сумели найти ту точку зрения, с которой должны были смотреть на свое занятие, не умаляя и не преувеличивая его значения. С одной стороны, не было того неприятного олимпийства, той важности, которая свойственна, например, швейцарским студентам (туземным и нетуземным), когда они собираются для «высших» целей — для обсуждения устава корпорации или, если говорить о приезжих, какого-нибудь экономического вопроса: кроме должного серьезного отношения к делу там чувствуется еще какая-то ребяческая важность, нечто вроде мысли: «а вот мы и мир переворачиваем». Здесь ничего подобного не было; но, с другой стороны, собрание держалось с достоинством и серьезностью, внимательно и добросовестно относясь к делу. Ясно было, что участники не придавали своему съезду «переворачивающего» значения, но чувствовали его принципиальную важность.

В самом разгаре заседаний вышел инцидент, о котором много говорили газеты. Так как антиклерикальное знамя съезда объединило самые противоположные политические группы, от *мон-* до *ан-*архистов, то из программы были строго исключены политические вопросы. Это, однако, не помешало неожиданному возникновению недоразумений партийного характера по поводу выборов в комитет провозглашенной на съезде «Антиклерикальной федерации». Это сейчас же повлекло за собой уход — и даже отъезд — большинства представителей монархических групп. Тут обрисовалась замечательная в юношах стойкость убеждений — может быть, излишняя, как всякая прямолинейность, но благородная. Всем этим молодым людям,

наверное, в первый раз в жизни доводилось представительствовать в подобном собрании, заинтересовавшем и общество, и печать, открывшемся с шумом и треском; но так как товарищи-монархисты строго-настроено наказали им удалиться, если только на сцене появятся партийно-политические вопросы, они немедленно исполнили этот наказ, несмотря на все старания президента и огромного большинства участников уладить дело. Как угодно, а это — признак глубокой, так сказать, политической благовоспитанности.

Если были интересны протестовавшие монархисты, то не менее хороши были и примирители, старавшиеся вернуть сбившийся конгресс на путь антиклерикальной истины. Один из них, некто Питталуга, взял слово среди непередаваемого гама и, овладев общим вниманием, говорил в течение четверти часа импровизацию, которая сделала бы честь парламентскому оратору, говорил с огнем, вдохновением и сердечностью и умирил стихию. Примирились бы и монархисты... но их уже не было: бушевали и спорили только остальные фракции. Но великопечнее всех был президент Спеццафумо. Его, одного из серьезнейших медиков шестого курса, оторвали от занятий и экзаменационного сочинения и посадили за председательский стол. Он высидел на этом посту до конца, проявив самообладание, самоотверженность и такт, которые мы рекомендовали бы *onorevole*<sup>1</sup> Коломбо, и объявил закрытие съезда хотя и охрипшим голосом, зато среди грома рукоплесканий и криков: *evviva lo Spezzafumo!*<sup>2</sup>

Постановления конгресса сводятся к основанию «Итальянской университетской антиклерикальной федерации», к которой могут присоединяться и студенты других стран и которая должна издавать журнал. Вероятно, журналу не бывать, а федерация ничем своего существования не может отметить; но, повторяю, смысл и интерес конгресса не в этих поневоле незначительных практических результатах, а в характеристике студенчества.

Между всеми студенческими средами, которые мне приходилось наблюдать, итальянская, по-моему, симпатичнее всех. Вряд ли еще где-нибудь найдется такое полное, безусловное отсутствие мелкого корпоративного духа, занесенного из Германии. Одним отсутствием формы этого отрадного явления

<sup>1</sup> Депутат парламента (*итал.*).

<sup>2</sup> Да здравствует Спеццафумо! (*итал.*)

не объяснишь: формы нет и у немцев, и у швейцарцев, но те сами создали себе ее и строго придерживаются традиционной шапочки. Вернее всего, что сама природа нации, вековая, въевшаяся в кровь цивилизованность этого «невежественного» племени не допускает развития нетерпимости и корпоративного духа. Вот почему в Италии нет ни милитаризма, ни антисемитизма; и вот почему в здешних студентах вы видите обыкновенных молодых людей в черных пиджаках и поярковых шляпах, которые умеют и шутить, и кутить, и работать (серьезно, упорно и талантливо), не выставляя при этом на вид своего студенческого чина.

И еще более, по сравнению с немцами, швейцарцами и англичанами, замечательна их серьезность. В Италии есть студенческие кружки, но среди них вы не найдете ни одного, посвященного культу спорта à la Оксфорд-Кембридж или пива — à la Берлин-Цюрих-Вена и пр., и пр., и пр. Здешние кружки носят имена: «Союз 20 сентября» (дата взятия Рима гарибальдийцами), «Монархический кружок», «Unione clericale»<sup>1</sup> и пр. И на физическом развитии студентов все эти «вредные направления» нисколько не отражаются. Норма здоровья высокая, велосипед, фехтованье, танцы широко распространены, — только ко всему этому не прицепляется, как в других местах, слово «студент», потому что — и в этом ее личная характеристика — итальянская учащаяся молодежь вспоминает о своем студенчестве только в те моменты и по тем поводам, которые этого действительно достойны.

**Вл. Ж.**

*Северный курьер. 26.04.1900*



## **Добавление к статье «В мастерской скульптора»**

**Ответ П. И. Вейнбергу**

*Рим, 16 мая*

П. И. Вейнберг в № 174 «Сев[ерного] кур[ьера]», который только теперь попал в мои руки, задает мне ряд вопросов и просит развеять его недоумения, вызванные моей корреспонденцией «В мастерской скульптора», появившейся с порядочным запозданием в № 171 «Сев[ерного] кур[ьера]». Постараюсь дать

<sup>1</sup> «Клерикальный союз» (итал.).

ему и читателям самый полный ответ. Прежде всего должен признаться, что несколько неточностей вкралось в статью по разным причинам, отчасти и по моей вине. Эти неточности следующие.

Под надписью «Heinrich Heine» имеется меньшая «Frau Heine»<sup>1</sup>, что было пропущено, вероятно, по моей рассеянности. На светильниках имеются греческие буквы X и P, переплетенные между собой в виде монограммы. Этим Хассельриис хочет показать, что Гейне — христианин и имеет право на христианский гроб. В моей корреспонденции я умолчал об этом, так как скульптор мне не разъяснил значения светильников. Я явился в его мастерскую в очень неудачный момент. Шла уборка, окончание некоторых работ, несколько рабочих в блузах и бумажных колпаках что-то местили, растирали, чистили и то и дело отзывали артиста от меня. Пришлось поневоле сократить свой визит. Это и было причиной некоторой неточности в описании монумента. Прочтя письмо в редакцию П. И. Вейнберга, я сейчас же отправился в мастерскую и получил все необходимые сведения. Еще одна неточность. Под лавровым венком на горизонтальной плите находятся две книги-манускрипта. На нижней книге видны только слова «...dichte»<sup>2</sup> в одной строчке и «letzte»<sup>3</sup> в другой. На верхней написано «Buch der Lieder. Tragödien und neue Gedichte»<sup>4</sup>. Все это выгравировано немецким курсивом. Венок сделан наискось, *на* книгах, как я писал. Художник скопировал заглавие с манускриптов Гейне, собранных в две книги с такими полными заглавиями: «Buch der Lieder. Tragödien und neue Gedichte» и «Atta Troll. Deutschland. Zeitgedichte. Romanzero. Letzte Gedichte»<sup>5</sup>. Заглавие нижней книги закрыто верхней, остаются видными часть одной строчки «...dichte» и часть второй «letzte». Слово «Tragödien» осталось потому, что оно имеется и на оглавлении манускриптов поэта. Кроме того, Хассельриис не хотел упустить случая, чтобы не вызвать в зрителе идею о трагической судьбе Гейне.

Я писал, что стихотворение, размещенное вокруг лаврового венка, взято Хассельриисом из одного сочинения о Гейне.

<sup>1</sup> «Г-жа Гейне» (нем.).

<sup>2</sup> «...творения» (нем.).

<sup>3</sup> «Последние» (нем.).

<sup>4</sup> «Книга песен. Трагедии и новые стихотворения» (нем.).

<sup>5</sup> «Атта Троль. Германия. Современные стихотворения. Романсеро. Последние стихотворения» (нем.).

Так оно и есть. Это посмертное стихотворение под заглавием «Wo?...»<sup>1</sup> напечатано в 1869 году Штротдтманом в «Посмертных сочинениях Гейне», как совершенно верно говорит П. И. Вейнберг. Но Хассельриис долго не мог придумать, какое именно стихотворение поместить в виде эпитафии. Раньше он хотел взять следующее стихотворение:

*Die Jahre kommen und gehen,  
Geschlechter steigen in's Grab,  
Doch nimmer vergeht die Liebe,  
Die ich im Herzen hab<sup>2</sup>.*

Затем его выбор пал на строфу:

*Was will die einsame Thräne?  
Sie trübt mir ja den Blick  
Du, alte einsame Thräne  
Zerfließe jetzunder auch!<sup>3</sup>*

Тут ему попалась в руки небольшая брошюрка, составленная литератором А. von der Linden «Das Heine — Grab auf dem Monmartre», Leipzig, 1898<sup>4</sup>, с целью употребить весь чистый доход от ее продажи на украшение и уход за гробом Гейне. В этой брошюре и приведено стихотворение: «Wo wird einst...» и т. д. Хассельриис, конечно, прекрасно знал это стихотворение, только оно терялось в числе многих других.

Остается разъяснить недоумение П. И. Вейнберга относительно того, что памятник еще не на Монмартрском кладбище, а в мастерской скульптора в Риме, и относительно разногласий между моим описанием и описанием Карпелеса. Предполагалось, что памятник будет готов к 13 декабря прошлого года, к столетней годовщине дня рождения поэта. Сам Хассельриис склонен думать, как и его соотечественник Брандес, что вернее было бы праздновать в 1897 году эту годовщину. Но скульптор принадлежит к тому разряду художников с истинным недюжинным талантом, которые никогда не бывают довольны сво-

<sup>1</sup> «Где?...» (нем.)

<sup>2</sup> Годы приходят и уходят, / Люди умирают, / Но никогда не умрет любовь, / Что я ношу в своем сердце. (Подстроч. пер. с нем.)

<sup>3</sup> Зачем, одинокая слеза, / Ты туманишь мой взор? / Старая, одинокая слеза, ты и сейчас, как когда-то, / Стоишь у меня в глазах. (Подстроч. пер. с нем.)

<sup>4</sup> «Могила Гейне на Монмартре», Лейпциг, 1898 (нем.).

ей работой, непрерывно и неустанно изменяют предначертанный план, стараясь делать лучше, и не работают по заказу. Когда газеты писали, что памятник уже поставлен на месте старого, жалкого камня, скульптору не хотелось портить торжество, и он оставил без опровержения это известие. Корреспонденты газет в Париже могли бы, кажется, легко убедиться, что какой-то неумолимый рок преследует память Гейне и по сию пору. Хассельриис до сих пор работает вокруг своего шедевра и никак не может расстаться с ним. Он уклонился от прямого ответа, когда именно памятник будет отправлен в Париж, куда, конечно, и он поедет.

В книге Карпелеса памятник изображен неверно. Сам Карпелес в Риме не был. Его издатель написал письмо Хассельриису с просьбой послать ему фотографию памятника, что и было им исполнено. Но с того времени, как уже сказано, Хассельриис изменял несколько раз частности, в особенности надписи. Бока обелиска, например, теперь совершенно чисты, а раньше носили надписи. То же самое и с доской впереди венка или на венке, на которой, по описанию Карпелеса, должна быть надпись латинским шрифтом. Описание памятника Карпелес сделал по корреспонденциям из Рима во «Frankfurter Zeitung» за май, июнь и июль 1897 года и «Neue Freie Presse». Рассказ, приведенный П. И. Вейнбергом из книги Карпелеса, о статуе Гейне, лет двадцать простоявшей в мастерской художника, пока не явилась императрица и не приобрела ее, взят Карпелесом из корреспонденции-фельетона римского корреспондента «Fr[ankfurter] Zeit[ung]». Рассказ также приведен в вышеназванной брошюре фон дер Линдена, дающей поучительную историю гроба несчастного поэта; гроб этот принадлежит юридически наследнику жены поэта, Матильды, какому-то фабричному рабочему, который совсем о гробе не беспокоится. Баронесса Шарлотта Эмбден, умершая в прошлом году в возрасте 101 года, как сестра поэта дала свое формальное разрешение группе почитателей украшать гроб цветами и Хассельриису поставить новый памятник. Без этого разрешения французская администрация не позволяла даже букета положить на гроб.

**А. З-ский**

*Северный курьер. 13.05.1900*





## Политические выборы в Италии

*Рим, 4 июня (22 мая)*

Вчера, в воскресенье, происходили политические выборы, за которыми через неделю должны следовать перебаллотировки. Окончательные результаты еще пока неизвестны, но мы можем уже себе представить ясную картину того, что будет представлять собой новая палата. Результатом выборов является прежде всего победа крайней левой (т. е. социалистов, республиканцев и радикалов), которая выигрывает мест двадцать. Что главари обструкционистов Ферри и Пантано получили почти плебисцитарное одобрение масс и что в Милане побит Коломбо, президент камеры, разрешивший постановку на голосование изменение регламента, имевшее единственной целью заклепать рот оппозиции вообще, не только обструкционной, доказывает как нельзя яснее, на чьей стороне симпатии масс. Цель выборов, по словам Пеллу, заключалась в том, чтобы народ высказался, одобряет ли он обструкцию или нет. Народ ответил, что одобряет. Особенно важно для суждения об этом число поданных голосов в пользу кандидатов крайней левой, возросшее больше чем вдвое сравнительно с предыдущими выборами в 1897 году.

Только близорукие могли предполагать, что министерская партия выйдет усиленной после выборов. Министерство, собственно говоря, в большинстве не нуждалось, так как имело триста депутатов на своей стороне. Не для получения лучшего большинства, следовательно, назначены были выборы. Пеллу, инспирируемый Соннино, просто не видел другого выхода, как или подать в отставку, или сделать новые выборы. Если бы удалось провести некоторые законопроекты относительно избирательного права, то, пожалуй, крайняя левая очутилась бы сильно помятой.

До Пеллу уже был сделан опыт сокращения избирательного права несравненно более талантливым государственным деятелем, именно Франческо Криспи. До 1860 года, когда в итальянское королевство не входили папская область и венецианская провинция, избирательным правом, по пьемонтской конституции, пользовалось только 1,92 процента всего населения. В 1866 году, когда присоединена была венецианская провинция, цифра остается одинаковой. В 1870 году Рим был взят и сделан

столицей королевства. Теперь уже избирательных округов стало 508, а правом избирателей стали пользоваться 2,11 процента. В 1882 году был издан закон, который расширил значительно избирательное право. По этому закону каждый 21-летний гражданин, платящий 20 франков в год прямых налогов и умеющий написать свою фамилию в присутствии чиновника от правительства, имеет право избирать депутата в парламент и в провинциальный и коммунальный советы.

Цифра избирателей, таким образом, сильно поднялась. Выборы в 1866 году давали право 8,46 процента всего населения, а в 1892 году свыше 10 процентов имели это право. Криспи, увидав, что в парламент стали проникать республиканцы и социалисты, со свойственной ему энергией дал в 1894 году приказ экстраординарной ревизии избирательных списков, результатом чего явилось лишение избирательного права целого миллиона граждан. Цифра избирателей упала сразу до 6,78 процента. 21 марта 1897 года, при министерстве Рудини, избирателей было 2 120 909 на 31 миллион населения, и из них вотировали только 58,54 процента при первой баллотировке, при перебаллотировке 61,91 процента. Несмотря на энергичное распоряжение Криспи, крайняя левая усилилась.

Кроме общих причин промышленного развития Италии, рост крайних партий обуславливают в Италии еще специфические причины недовольства народа нынешним политическим, административным, юридическим правлением.

Нет никакого сомнения, да об этом говорят и официозные статистические труды, что массы в Италии экономически хуже обставлены теперь, чем 30 лет тому назад. Уменьшилось потребление мяса, хлеба, сахара. Агрокультура в сильном упадке. Меньше культивируется хлеба, кукурузы, оливок, вина. Плодородие земли ухудшилось — гектар земли гораздо меньше дает, чем раньше. Земля вся задолжена. Ипотечный долг свыше 16 миллиардов франков, тогда как вся земля оценена в сумму 24 миллиарда. Несмотря на крайнюю густоту населения, латифундии еще не вывелись не только в Сицилии и Сардинии, но и в центральной и южной Италии. Заработная плата также сильно понижена и насилию хватает крестьянину-батраку, чтобы утолить свой голод. Отсюда страшная эмиграция сотнями тысяч в год.

Государственный бюджет составлен так, что 80 процентов из него (в этом году бюджет достигает 1600 миллионов франков) уходят на непродуктивные надобности: 27,5 процента на войско

и флот, 42,5 процента на покрытие платежей по государственному долгу, составляющему в настоящее время 14 миллиардов и все растущему. Министерство земледелия, промышленности и торговли имеет в своем распоряжении каких-нибудь 12 миллионов лир в год. На каждого итальянца приходится 500 лир государственного долга. Налоги, конечно, должны покрыть все эти непродуктивные расходы. Каждое министерство придумывает какой-нибудь новый налог. На голову приходится 60 франков в год налогов государственных, провинциальных и коммунальных, тогда как швейцарец платит 15 франков налога. Кроме того что итальянцы платят больше всех народов в мире, по словам сенатора Росси, тепер у умершего, составившего очень наглядную таблицу того, что итальянский плательщик податей отдает государству, провинции и общине, они еще платят неравномерно.

«Итальянский народ одарен необычайным терпением», — говорил сенатор, которого никто не мог заподозрить в социализме. Но всякому терпению есть конец.

Министерство Пеллу не только ничего не сделало для облегчения участи трудящихся масс и мелких собственников, но, наоборот, восстановило против себя решительно все классы населения, кроме группы подрядчиков, банкиров, крупных фабрикантов и крупных землевладельцев.

Десять тысяч учителей народных школ подали недавно петицию в парламент о том, чтобы им увеличили жалованье, так как их плата действительно мизерная, к тому еще не выдается вовремя. Крайняя левая внесла предложение о разборе петиции. Большинство же, по предложению министерства, отложили это на неопределенное время: есть, мол, более важные вопросы. А эти более важные вопросы — ассигнование целых 400 миллионов на реформу артиллерии и на флот; законопроект об обложении подоходным налогом лиц, получающих в день свыше 3,5 франка, хотя бы несколько месяцев в году они не работали и проч. Бедные чиновники, получающие каких-нибудь 80—115 франков в месяц, давно уже просят такого закона, чтобы ростовщикам нельзя было задержать хоть  $\frac{1}{5}$  их жалованья, министерство обещало, но не сдержало слова.

Немудрено, если недовольство все более распространяется в стране.

**А. З-ский**

*Северный курьер. 31.05.1900*



## Кооперации кредита в Италии

Рим, 27 мая

В последние годы кооперации получили такое сильное распространение в Италии, что на это обратили внимание и иностранные ученые. Парижский социальный музей командировал туда нескольких ученых специально с целью изучения кооперативного дела, и результатом их командировки явилась интересная книга: «Mabillot, Rœquigny, Rainery. La prévoyance sociale en Italie»<sup>1</sup>, изданная года два тому назад. Та область кооперации, которая известна под именем *prévoyance*, и составляет славу и гордость Италии. Лет 30 тому назад само слово «кооперация» не было здесь знакомо. В настоящее время имеются тысячи различного рода кооперативных обществ: потребительских, производительных, смешанных и кредитных. Кооперации кредита принадлежат к двум основным типам: 1) *сельских касс* («*casse rurali*»), введенных в Италии профессором Леоном Воллемборгом из Падуи по системе Райффайзена и перенятых скоро священником Черрутти для католиков; и 2) *народных банков*, основателем которых был профессор Луиджи Луццатти, бывший министр. Кассы теперь объединены в две федерации. Главное управление одной находится в Падуе и издает ежемесячный журнальчик «*La cooperazione rurale*»<sup>2</sup>, другой — в Парме и издает ежемесячный журнал «*La cooperazione popolare*»<sup>3</sup>. Банки объединены в одну федерацию с главным органом «*Credito e cooperazione*»<sup>4</sup>, выходящим два раза в месяц под редакцией Луццатти.

Луццатти еще в 1863 году выпустил книжку «*La diffusione del credito e le banche popolari*» («Распространение кредита и народные банки»), а в начале 1864 г. в Милане была основана первая кооперация, под покровительством рабочего общества. Главными основателями были несколько молодых интеллигентов-ломбардцев и эмигрантов-венетянцев. Шестидесятые годы, период политического объединения, были золотым временем новейшей итальянской истории. Молодежь, полная

<sup>1</sup> «Мабийо, Рекюньи, Райнери. Социальная поддержка в Италии» (итал.).

<sup>2</sup> «Сельская кооперация» (итал.).

<sup>3</sup> «Народная кооперация» (итал.).

<sup>4</sup> «Кредит и кооперация» (итал.).

энтузиазма, не видела ничего высшего для себя, чем служение народу, поднятие масс и в моральном, и в политическом, и в материальном отношении. В Падуе профессор Луццатти читал лекции о кооперации, а его студенты, вступая в жизнь, стремились осуществлять на практике учение своего профессора. Кооперации между рабочими и крестьянами росли как грибы вокруг Милана, в Ломбардии, в венецианской провинции, в городе Болонье, центре эмилианской провинции. Этот период энтузиазма и лихорадочной практической деятельности сменился периодом застоя и регресса. Интеллигенция остыла и занялась устройством личных дел. Народ же чересчур был еще не развит, чтобы понимать всю пользу ассоциаций. Народные банки и сберегательные кассы увлеклись также спекулятивной лихорадкой строительства и игры на бирже. Крах не заставил себя ждать долго. Крупные банки лопались один за другим в 80-х годах и погребали под своими развалинами множество мелких учреждений, не говоря уже про частных лиц. Те народные банки, которые устояли перед соблазном, укрепились еще больше, но многие преобразовались и потеряли свой основной характер — учреждения дешевого кредита для мелких земельных собственников и ремесленников — или же совсем погибли, в особенности на юге, где никакое учреждение не отличается прочностью.

Народные банки, существующие теперь, таким образом, являются как бы следствием естественного подбора. Усилению их организации содействует также конкуренция «конфессиональных» учреждений, преследующих наряду с экономическими целями еще и политические, а это именно отталкивает от них большую часть масс, для которых идея политического единства Италии сделалась уже органической потребностью.

Итальянские народные банки старались следовать главным образом германским учреждениям Шульце-Делича, но вводились и всевозможные иные типы кредитных учреждений, причем типы эти указывались больше практикой и опытом, чем теорией. Так, практика показала, что *займы под честное слово* заемщика — одно из прекраснейших средств кооперации, так как они возвышают нравственность членов ее. Пропажа таких займов — вещь в высшей степени редкая. Особенно полезными эти народные банки оказались для агрокультуры, так как там, где есть такой банк, со временем вырастает целый ряд других коопераций, как сельские синдикаты для покупки земледельче-

ских машин, удобрения, семян, общественные магазины, даже кооперативные фабрики и заводы, чтобы заставить фабрикантов понизить цены на продукты. В настоящее время синдикаты эти объединены в федерацию.

В отличие от других кредитных учреждений, народные банки ищут результата своей деятельности в улучшении моральных и экономических условий членов. Составлен даже особый экономический катехизис для народных банков. Тот банк, который задается целью давать большие дивиденды членам, изменяет своей основной задаче. Самое характерное для народных банков — это состав их клиентов. В 1898 году было 362 369 членов во всех этих банках (католические, как уже сказано, составляют учреждения особого характера). Из них 90 671 было мелких земледельцев, 15 813 — крестьян-поденщиков, 98 647 — торговцев, 31 675 — городских рабоч. и 67 668 — чиновников, учителей, профессоров и проч. Это преобладание народных элементов из числа мелких собственников — самое лучшее доказательство пользы, приносимой учреждением народных банков. Капитал всех (594) банков равнялся 74 643 270 лир, вклады — 377 590 000, а сумма годичных операций за 1898 год 847 474 519 лир.

**А. 3-ский**

*Северный курьер. 3.06.1900*



## ***Падение министерства***

*Рим, 19 июня*

Министерство Пеллу подало наконец в отставку. Нельзя сказать, чтобы этим был уже окончательно разрешен конфликт между большинством и меньшинством в камере. Но в сторону мира сделан большой шаг. Победила оппозиция, и именно та часть ее, которая носит наиболее прогрессивный характер. Напрасно официозная пресса трубила на весь мир о победе министерства после выборов. Даже в тронной речи Пеллу заставил сказать короля, что выборы показали, что страна одобряет политику кабинета, но это было опровергнуто через два дня отставкой министерства. Цифры лучше могут нам показать, может ли вообще реакционная политика иметь успех в итальянских массах, в которых традиции свободы так еще сильны. Эти цифры нам скажут, что хотя в камере депутатов немного больше половины депутатов стоят за антидемократические

законопроекты, ни одно министерство не сумеет держаться на этом большинстве, если будет продолжать идти по стопам Пеллу.

В 1890 году при Криспи в крайней левой было всего 30 человек, из которых меньше трети составляли социалисты. После выборов в 1897 году в камеру попали больше чем вдвое социалистов, республиканцев и радикалов, именно 65 человек. После последних выборов крайняя левая возросла еще на 30 человек. Установлен факт незаконного давления со стороны префектов и полиции на избирателей, так что оставайся правительство нейтральным, цифра крайней левой превысила бы сотню. Социалисты из 16 человек превратились в 32, т. е. увеличились ровно вдвое. Еще ярче рисует положение дел статистика поданных в пользу кандидатов крайней левой голосов. Относительно радикалов и республиканцев мы не располагаем точными данными. Но за социалистических кандидатов в 1895 году было подано 76 359 голосов, в 1897 — 134 502, а в 1900 — 215 346. Всего в этом году голосов за кандидатов трех групп крайней левой подано было 445 000. За конституционную оппозицию, состоящую частью из групп левой, Джолитти и Дзанарделли, частью из правой, из группы Рудини и Луццатти, подан 303 891 голос, так что всего оппозиционных голосов 749 485. За министерство же подано было гораздо меньше, а именно 611 425.

Слабость министерского большинства ясно выразилась при выборе президента камеры на всю сессию. Никто из известных депутатов министерской партии не хотел взять на себя этой трудной роли, так как каждый совершенно резонно рассуждал, что если Коломбо не мог справиться с 60 обструкционистами, то тем труднее справиться с 95. Прибегать же к вооруженной силе для удаления крикунов было совсем уже рискованно. Наконец, министерство нашло в лице Галло искомого кандидата в президенты. Галло — один из типичнейших депутатов Италии. Он был и джолитинец, и дзанарделлианец, и криспинец, а теперь он за Пеллу. Он, собственно, и не депутат, так как его выборы не считаются окончательными вследствие того, что количество полученных им в его округе голосов не превышает законной половины плюс один. От президента зависит назначение комиссии, рассматривающей годность выборов (*giunta delle ellzioni*). Было бестактно выставять такого кандидата, а еще бестактнее принимать кандидатуру. Тем не менее за не-

го подали на целых 28 голосов больше, чем за кандидата оппозиции Бианкери. Но эти 28 голосов, после вычета голосов министров и товарищей их, оказываются до того слабым большинством, что у министерства опустились руки.

Новый президент Галло, пользуясь своими личными дружественными отношениями с вожаками оппозиции, повел переговоры об улаживании вопроса о регламенте. Оппозиция решительно отказалась признавать новый, неправильно принятый регламент, в особенности те параграфы его, по которым большинство может назначить срок голосованию какого-нибудь законопроекта и прекратить дебаты. Что же министерству оставалось делать? На следующем же заседании началась бы обструкция. Пеллу поэтому сообщил в камере, как только кончились все формальности выборов комиссий, что кабинет подает в отставку, что до назначения королем нового кабинета старый останется на посту и что через несколько дней камера будет созвана для принятия временного бюджета.

**А. 3-ский**

*Северный курьер. 20.06.1900*



## **Италия и Китай**

*Рим, 9(22) июля*

Итальянцев среди тысячи несчастных запертых в Пекине европейцев немного — человек 60. Во главе их был посол Сальваго Раджи, назначенный на этот пост всего год тому назад, после того как его предшественник, Де Мартино, у которого он был секретарем, неудачно исполнив свою миссию — представить Цунг-ли-Ямыну ультиматум об уступке Сямэньской бухты Италии, — был отозван правительством. При себе находят его жена, ребенок, брат-миссионер и 40 моряков единственного военного судна, имеющегося в китайских водах. Остальные итальянцы — миссионеры, архитекторы, инженеры, чиновники, офицеры и представители нескольких коммерческих компаний, один от «Итало-бельгийского синдиката», один от «Peking-Syndicat» и один от итальянского синдиката. Итальянцы задумали эксплуатировать коммерческим образом Китай после неудачи военного захвата, но чуть ли не  $\frac{3}{4}$  капиталов принадлежат англичанам. До последнего времени торговля Италии с Китаем еле-еле достигала цифры 17 миллионов франков в год.



Итальянское правительство, как и остальные, впрочем, правительства, было несколько раз уведомляемо о том, что в Китае готовятся очень серьезные события. Сальваго Раджи еще в марте этого года писал в Рим о том, что боксеры угрожают порядку, так что европейцы вооружаются. Миссионеры со своей стороны посылали в Propaganda Fide<sup>1</sup> при Ватикане подробные описания секты боксеров, их ненависти к христианам и преследований миссионеров и новообращенных. Папа очень интересуется китайскими делами, говорит о мучениках за веру и приказал служить в церквах панихиды по убитым и молиться за живых.

В ведении Ватикана, а именно учреждения, известного под именем Propaganda Fide, находятся все католические миссии в Китае, которые в политическом отношении находятся под протекторатом Франции. Католические миссионеры вообще очень деятельно пропагандируют на Востоке — и в Китае успели обратить будто бы около миллиона душ. В последнее время в Китае находились 800 миссионеров разных национальностей и 400 священников-туземцев. Церквей и капелл католических в Китае — 3000. Нет ни одной провинции, где бы не было обращенных в христианство. Рядом с церквами устраиваются школы, приюты, убежища для лиц, которые готовятся принять христианство, аптеки и тому подобные учреждения. Проповедью христианства занимаются иезуиты, доминиканцы, францисканцы и другие, разделив между собой страну на участки, чтобы не мешать друг другу. Миссионеры, по словам одного сотрудника «Трибуны», очевидно, прожившего некоторое время в Китае, как бы охвачены манией прозелитизма, причем решительно не разбирают, достойное ли лицо желающий принять христианство или, может быть, лучше было бы отказаться от таких прозелитов, которые только компрометируют христианскую религию. Китайские христиане — отбросы общества. Европейцы наконец стали разделять взгляды китайцев на этих выкрестов и стараются не иметь никаких дел с ними. В шанхайских газетах, например в объявлениях, в которых требуются слуги, повара, кухарки и проч., непременно прочтешь и следующее прибавление: «Non Convert» (не обращенный). Автор статьи сообщает несколько случаев, когда миссионеры брали под свою защиту воров из китайских христиан, исходя из того взгляда, что стыдно будет для всех католиков, если

<sup>1</sup> Распространение веры (лат.).

туземный преступник предстанет перед судом. Эти факты объясняют отчасти ненависть китайских масс к европейцам вообще и к миссионерам и братьям-рenegатам, в частности. Клерикальные газеты, по обыкновению, осыпали «Трибуну» и автора статьи оскорблениями, но не привели ни одного веского доказательства в опровержение. Одна газета соглашается с «Трибуной», но при этом говорит, что не католические миссионеры так поступают, а протестантские (английские, американские, немецкие, шведские): только они приобретают за деньги прозелитов и защищают их перед судом, заведомо убежденные в их виновности. В результате оказывается, таким образом, что как протестантские, так и католические миссионеры в своем соперничестве прибегают к самым нехристианским средствам.

Теперь вся решительно итальянская пресса согласна на то, чтобы правительство послало суда в китайские воды. Согласны на это клерикалы, согласны и социалисты, и консерваторы, и либералы. Расходятся между собой все эти партии в степени участия Италии в европейском концерте и усмирения европейскими войсками китайского восстания. Одна-единственная немногочисленная группа левой, группа Криспи, требует энергичного вмешательства Италии в китайские дела. Криспи сам, этот 80-летний железный старик, перенесший с месяц тому назад тяжелую глазную операцию, к счастью для Италии не может еще принимать активного участия в политических делах страны. Энергия его пока разрешается поэтому статьями в итальянских и заграничных органах. Недели три тому назад он напечатал статью в «Трибуне» (газете, оставшейся ему верной даже после смерти директора Луццато) об Италии и китайском вопросе, в которой он советует первой заблаговременно приготовиться к тому, чтобы при неминуемом разделе Китая иметь право на получение и себе доли.

«Дело идет уже не о колониальной авантюре, о которой можно спорить, отвечает ли она интересам страны или нет. Дело идет о кровавом пиршестве, к концу которого богатая добыча будет разделена между теми, кто будет иметь на это право. А Италия, благодаря своей изолированности, будет исключена в час раздела. Мы будем тогда горевать о нашей неопытности и непредусмотрительности, но слезы слабого не заставят сильных отказаться хоть от одного листочка из хорошо заслуженных ими лавров». В другой статье, напечатанной в «Hamburger Correspondent», он советует Италии соединиться с Германией и Англией, чтобы противодействовать России и Франции.

Эти взгляды старого мегаломана поддерживались и в парламенте, при прениях по поводу временного бюджета, когда различные ораторы высказывали свои взгляды на все пункты внутренней и внешней политики. В духе Криспи высказались Фортис, Соннино и Нази, все трое — бывшие министры. Фортис и Нази теперь вошли в состав новой партии, так называемой левой независимой. Другая часть левой, с группами Джолитти и Дзанарделли, высказались так: она противница территориальных захватов в Китае, но требует отщипления за кровь убитых братьев. Консерваторы, устами Принетти, тоже высказались против колониальной политики захвата. Они были и против оккупации Эритреи, и против санмунской затеи, а теперь убеждены, что Висконти-Веноста, член их партии, ограничится посылкой в Китай такого количества войск, что можно будет наказать виновных, но не больше. Саракко, министр-президент, совершенно согласен с Принетти и заявляет, что будет послано два, максимум три батальона в Китай; ведь честь нации чего-нибудь да стоит, нельзя же позволить оскорблять безнаказанно подданных страны.

Крайняя левая в начале совершенно противилась участию Италии в китайском конфликте. После пекинских событий она не может не согласиться молчаливо на обещание Саракко. Говорили Ферри и Колояини, речи которых, по обыкновению, отличались своей содержательностью и интересом. Колояини оправдывал китайцев до известной степени. Италии в Китае решительно нечего делать. Те державы, которые заинтересованы в китайских делах, надеются свои капиталы вложить в предприятия, которые можно будет учредить в обширной стране, если одержит победу английская политика открытых дверей. Италия же капиталов экспортировать не может, а экспортирует людей все в возрастающей прогрессии, как доказывает статистика эмиграции. Надо раньше уничтожить в стране безграмотность, пауперизм, преступность, а потом думать о колониях.

Взгляды Колояини разделяются почти всеми учеными знаками современного положения Италии даже самого консервативного лагеря. В «Giorno» Нитти, в «Rivista popolare» Панталеони, в «Новой антологии» Ломброзо доказывают, что, если итальянское правительство даст себя увлечь мегаломанами и аферистами и захочет принимать участие в разделе Китая, то стране предстоит ряд гораздо более крупных несчастий, чем

после абиссинской войны. Прежде всего и раздел Китая не так еще близок. Китайцы, по мнению Ломброзо, не любят милитаризма, и в этом, как во многих других отношениях, они выше европейцев, но сделать шаг назад в культуре — очень легкая вещь, и это и показали теперь китайцы. Европе угрожает «желтая опасность», которая даст себя почувствовать прежде всего в страшной конкуренции рабочим классам. Выводы Ломброзо совпадают странным образом с выводами одного итальянского миссионера, Fra Tommaso Gentili, прожившего в Китае 33 года. По мнению последнего, от сношений с европейцами выиграют одни китайцы, но никак не сами европейцы.

Интересно отношение итальянской печати к России. Не будет преувеличением, если сказать, что итальянцы смотрят на Россию, как на своего рода Китай. Ни одна почти итальянская газета не имеет корреспондентов в России. Поэтому все, что появляется в прессе о последней, взято из иностранных газет, главным образом французских. Самое распространенное мнение о роли русского правительства в китайском конфликте следующее: Англия и Северная Америка хотели поручить Японии усмирение боксеров, но Россия воспротивилась из боязни, что Япония потребует потом вознаграждение за свои труды в виде куска Китайской империи, а ей такой сосед не по нраву; некоторые газеты даже прямо обвиняют Россию в том, что ее эгоизм стоит жизни тысяче европейцев в Пекине. Другая указывает на русско-английский дуализм как на причину пекинских событий. Криспи говорит в своей статье в «Hamburger Correspondent»: «Неизмеримое развитие России, теперь занятой Азиатским континентом, может завтра стать великой опасностью для Европы, принимая во внимание при этом удивительную живучесть Франции. Если Англия, будет ослаблена этими двумя союзницами, то в безвыходном положении очутятся не только Германия и Италия, но и Австрия, и меньшие государства Европы. Необходима поэтому коалиция между Италией и Германией с Англией.

Pantaleoni, известный политико-эконом, говорит, что одним из последствий китайского конфликта будет следующее: «Россия сделается еще более монгольской державой, чем она до сих пор была. По крайней мере, на целый век ей хватит занятий на Крайнем Востоке. Следствием этого будет уменьшение давления на Европу и, в частности, ослабление поддержки, которую она оказывала и могла бы оказывать и в будущем славянам

Австрии и Балканского полуострова». Панталеони видит в этом обстоятельстве большую прямую и непосредственную выгоду для Италии.

Социалистическая печать говорит о согласии, существующем между Россией и Германией в китайском вопросе. Франция идет рука об руку с Россией и на Крайнем Востоке на том основании, что их интересы там совпадают: и та и другая имеют индустрию, нуждающуюся в покровительстве, для чего они и добиваются военной оккупации; Россия имеет интересы на севере Китая, Франция на юге; кроме того, и причины общей интернациональной политики, как тройственный союз, толкают Францию в объятия России. Последняя представляет собой опасность для цивилизации Европы. Поэтому Италия, если хочет стоять на страже прогресса и цивилизации, должна во всеуслышание заявить, что в случае нужды она будет за Англию.

**А. 3-ский**

*Северный курьер. 5.07.1900*



## **Studentesca<sup>1</sup>**

### **ИЗ ЖИЗНИ РУССКИХ СТУДЕНТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ**

#### **Очерк 1-й**

Я проснулся поздно и встал с левой ноги. Между тем погода стояла чудная, облаков было совсем мало, как раз в меру, а Юнгфрау, Эйгер и Монах заглядывали в окошко моего чердака отчетливей и пристальнее, чем когда-либо. Ясно было, что сегодня лекции пропали, потому что стоило мне завидеть со своей вышки Оберланд, как меня начинало непобедимо тянуть вон изерна. Если у меня до того дня набралась жиденькая тетрадка записок по лекциям, то исключительно потому, что май был туманный и горы прятались.

За дверью стояли мои вычищенные башмаки; из них левый подавал в отставку, а в правом торчало письмо от университетского казначея с приглашением уплатить за второе полугодие. Я остался одинаково недоволен обоими башмаками, надел их с проклятиями на ноги и пошел на Парныхштрассе: так называли в нашем кружке ту улицу, на которой поселился Парных, потому что Парных не понимал ни слова по-немецки.

---

<sup>1</sup> Студенты, студенчество (*итал.*).

Он служил где-то на Волге в земстве, скопил двести рублей, потом потерял место и приехал в Одессу не то искать другого, не то отдохнуть. Однажды я гулял с ним и рассказал, что еду за границу. Он вспомнил, что сам, собственно, давно думал съездить в Европу — этак, в Германию, в Париж, а особенно в Лондон, — вошел в трактир и настроил прошение о паспорте. Когда мы получили паспорта и укладывали вещи, он спросил, куда, собственно, я еду. Оказалось, что, собственно, немцы его не занимали, и он, собственно, готов был ехать сначала в Швейцарию. Наконец, в Подволочиске нам пришлось долго ждать поезда, и по этому случаю Парных надумал сосчитать свои деньги. Оказалось разными европейскими монетами сто сорок семь рублей. Четыре из них он тут же отдал пограничному обывателю за черные контрабандные часы (они стали, чуть поезд двинулся), а остальные тоже уплыли, и Парных так ничего и не увидел, кроме Берна, и теперь ждал присылки от друзей-сибиряков, а впрочем, был по большей части доволен судьбою.

Мне было известно, что у него не будет ни гроша, и не за тем я шел на Парныхштрассе, чтоб просить одолжить мне пятьдесят франков для университета, а просто так. И не застав Парных дома, я пуще затосковал.

Улица меня злила, потому что была немощеная, а я этого не люблю; на проходящих тошно было смотреть из-за их очевидной глупости; на стенах были наклеены избирательные афиши, но такие маленькие, что их одни мухи только и замечали, и это было ясно на первый взгляд. Ощущение захолустья начало меня душить.

Вдруг повеяло свежее: я увидел Зиночку Н., которая мне всегда нравилась. Во-первых, она была почти единственная хорошенькая на полсотни студенток и одна красиво причесывалась; во-вторых, ум у нее был хоть небольшой, но хорошего склада, с приятной способностью забывать многое из прочитанного. Зиночка была в розовом, несла в руке тетрадки и смотрела с сочувствием на мою понурость. Поравнявшись, она осведомилась:

- Вы похоронное шествие изображаете?
- Госпожа, мне скучно.
- Мне тоже, но я иду на лекции.
- А я не пойду. Из двух зол...
- Это дело вкуса.
- Нине... безвкусия!

Тогда Зиночка приказала:

— Идите домой, вы в опасном настроении.

— Фрейлин Зина, голубочка, золотистая, — взмолился я, — пойдемте погулять.

Но Зина только пожала плечами, и я понял. Это значило: идти на час не стоит, да и мы все вблизи исходили, а отправиться в Оберланд дня на два и хорошо было бы, да у меня нет денег, и у вас в кармане двадцать сантимов никелевого достоинства.

Так я перевел движение Зиночкиных плеч, которые робко просвечивались сквозь розовую ткань, и прошел своей дорогой; и меня обуяла кромешная, стопудовая скука.

У самого моего дома мне вдруг почудилось, будто я заглянул в зеркало. Дело в том, что Парных шел мне навстречу, и его лицо поразительно походило на мое.

— Купил картошки на пятиалтынный, и остался у меня двугривенный, — доложил он.

Я ответил:

— Я не покупал картошки, но результат и у меня тот же. Были у Чопура?

— Был, но хозяйка ему одолжила три франка, и он пошел вносить плату за правоучение.

— А у Белевича?

— Был, но не застал: он пошел к хозяйке попросить три франка взаймы, чтоб пополнить плату за правоучение.

— А где еще были?

— Был в столовой: дежурит Минская; она меня попросила одолжить три франка.

И мы оба приблизили, елико возможно, основания бровей к переносицам и побрели куда глаза глядят, и Парных принялся повергать на мое рассмотрение следующие умозрения:

— Черт знает что! Допустим, что они уплатят в университете — ну, и что дальше? Станут они от этого умней? Белевич научится говорить по-русски? Минская похорошеет? Дался им университет. Отчего б им дома не учиться? Точно будто университет помогает заниматься. Тю! Он мешает заниматься, вот что. Я, допустим, сейчас расположен в химию заглянуть, а по расписанию гистология; или я устал, спать хочу, а по расписанию работа в клинике. Не будь этих самых заведений, было бы больше образованных людей, верно вам говорю. В голове толь-

ко то держится, что сам усвоил, а разве ж это значит сам, когда тебе профессор разжевал да вложил? И швейцарцы тоже. Хоть бы постыдились: земля маленькая, а пакости этой шесть штук университетов. Тоже называется: передовая страна. Хороша! Вы мне, пожалуйста, не толкуйте про Телля. Телль-то он был Телль, а его потомки уже только телята... Поглядите: чем это они довольны? Чего им здесь на улице надо? Куда они идут? Что им дома не сидится? Я бы хотел им скандал устроить, то есть чтобы небу стало жарко. Вот сниму с себя пару и пойду гулять на Шенцли... Скажите этому швейцарцу, чтоб не проходил близко, не то я ему ка-ак ддам...

По счастью, мы были у дверей Парных, и я втокнул его на лестницу прежде, чем швейцарец успел подойти. Слава Богу! Не было сомнения, что, опоздай я на минуту, Парных поколотил бы неповинного бюргера и я тоже, потому что слишком уж у нас накипело и невмочь было переваривать невозмутимость туземного довольства.

Мы добрались до каморки Парных, и снова нам обоим показалось, будто мы заглянули в зеркало: на кровати сидел Кольнер, который прибрел с Лэнггассе, чтоб попросить у Парных капельку древесного спирту для горелки, на которой хотел сварить себе химический суп: у него еще оставалась одна плитка препарата Маджи. Он, подумав, согласился разделить ее с нами, но взамен потребовал своей доли картофеля; Парных зажег горелку и полез в шкаф за солью. Но, распахнув дверцы шкафа, он вдруг замер в полной неподвижности, а электричества было столько в нашей атмосфере, что замерли и мы с Кольнером.

Загорелое лицо Парных все вдруг так и распустилось, растаяло в улыбке, озарившей эту физиономию от одного уха до другого, и тот же маневр исполнили мы с Кольнером. Парных ринулся в шкаф, извлек из него свою меховую шубу и потряс мансарду ликованием:

— Вот она, спасительница, — наша, родная сибирская тетенька черно-бурая! Как же ей, спрашивается, своего красноярца да в беде не выручить. Ну и покажем же мы тутошнему племени, как пельмени варят. Погодите! До нового века не забудут. Айда!

И через четверть часа мы шли чинно по Парныхштрассе, и вся улица бежала за нами. Парных шел впереди, дымял папироской и приказывал толпе расступиться, по-русски,



но с успехом. За ним мы с Кольнером торжественно несли сажженный плед, на котором покоилась бережно уложенная парныховская тетенька черно-бурая. В ворот ее была воткнута ветка, а на ветке висел плакат с черной каймой и надписью готического склада на немецком языке: «В ломбард».

И за нами шли встревоженные обыватели, бежали школьники, несколько собак и даже один блюститель в форме. Никто из них никогда нигде ничего подобного не видел, а придаться было все-таки не к чему. По лицу блюстителя было видно, что он про себя на память бормочет все сто одиннадцать пунктов союзной конституции и никак не может найти подходящего; статское население растерялось совсем до потери соображения; растерялись даже собаки, которые, чуя по запаху, что вещи не краденые, в первый раз за свой собачий век не знали, как с ними поступить. И в то же время все чувствовали, что наша процессия — нечто незаконное, недопустимое, и возмущались и злились, а мы были в своей тарелке и ликовали, и Парных, ненавидевший швейцарцев, сиял как вымазанный маслом.

С каким шиком мы явились в столовую, где уже собралась вся колония в ожидании обеда! Я сейчас же вошел в читальню и отыскал библиотекаршу. Она, купно с другими четырьмя девицами, висела неподвижно над свежей книгой толстого журнала, и видно было, что все пятеро задыхаются не столько от тесноты, сколько от блаженства и мления, ибо журнал был из «хороших».

— Госпожа Перцова, — позвал я, зная, что библиотекаршу ничем горше не взбесишь, так как она не признавала «титулов». — Госпожа, за мною, кажется, долг в библиотеке?

Она перевела дух от восхищения, оторвала глаза от книги и презрительно посмотрела на меня:

— Гевисс, абер<sup>1</sup> зачем это вам? Ведь вы все равно не заплатите. Пять франков.

Я заплатил, и она так растерялась, что опрокинула чернильницу на страницу хорошего журнала. Тут мне показалось, что я схожу с ума от восторга; девицы вскипели, я выбежал в переднюю и наткнулся на Зиночку.

— Я богат! Фрейлейн Зина, голубочка, золотистая, пойдете на Штокгорн, дня на три, с Парных и Кольнером.

---

<sup>1</sup> Верно, но (нем.).

И мы помчались по славной, мягкой пылице немощеных улиц к вокзалу, и добряки-туземцы с ласковым любопытством глядели на нас, когда мы затопляли вагон третьего класса гамом, хохотом и широкозвучной гармонией русского языка, лучшего из наречий мира сего!

*Altalena*

*Одесские новости. 16.10.1900*



## **Новый курс**

*Рим, 6 ноября н[ового] ст[иля]*

Летние каникулы пришли к концу, но парламент соберется только в конце ноября. По слухам, министр-президент Саракко не произнесет программной речи при открытии сессии, ибо при своей опытности в парламентской политике он боится, что это сейчас же вызовет прения, а быть может, и настоящий кризис. Гораздо надежнее другой способ: перед началом сессии в «Официальной газете» будет напечатан доклад кабинета королю, в котором будет изложена и программа министерства. По толкам, в печати и к возможному неудовольствию большинства, Саракко увидит, какие министры должны быть брошены за борт, чтобы самому остаться у кормила правления и иметь на своей стороне надежное и прочное большинство.

События последнего времени — с одной стороны, падение министерства Пеллу и победа народных партий, с другой — трагическая смерть короля Умберто и вступление на престол молодого короля, показавшего в нескольких случаях твердое намерение принимать более активное участие в государственных делах, от которых принципиально уклонялся его отец, — не прошли совершенно даром для законодател[ьного] корпуса Италии. Необходимость реформ всякого рода наконец начинает становиться ясной и для многочисленной массы консерваторов, полагавших до последнего времени, что самое необходимое и целесообразное для страны — это полицейские мероприятия и ограничительные законы. Что в головах консерваторов происходит медленное, но беспрестанное прояснение, доказывается и статьями, появившимися за последние месяцы в различных органах печати как в Италии, так и за границей, и принадлежащими перу таких лиц, как сенатор Феррарис, директор журнала «Новая антология», Соннино, недавно еще

самый упорный защитник так называемых политических мероприятий, на которых злополучный генерал Пеллу сложил свою голову, Криспи, Луццатти, Виллари и проч., доказывается и речами, произнесенными недавно перед избирателями депутатами разных политических групп. Так, между прочим, бывший в кабинете Рудини министром публичных работ Принетти, один из вожakov тосканских «умеренных», произнес на днях речь, в которой он излагает целую программу экономических и социальных реформ, под которой подпишется и прогрессист группы Джолитти, между тем как до последнего времени между «умеренными» Тосканы и приверженцами Джолитти и Дзанарделли существовал самый непримиримый антагонизм. Феррарис высказывается в том же духе: необходимо облегчить участь народных масс посредством ряда экономических, социальных и политических реформ. Более конкретно он объясняет, что экономические реформы должны сводиться к отмене коммунальных налогов (*dazio, ostroi*) и ввозных пошлин на муку, хлеб, соль, сахар, керосин, кофе и проч. предметы общего потребления. Возможны ли эти реформы при сохранении военного бюджета в неприкосновенном виде, спрашивает Феррарис в конце своей статьи и отвечает, что количество противников политики великой державы растет в Италии с каждым днем и что сокращение военного и морского бюджетов будет принято народом с радостью.

Феррарис прав, что итальянцы наконец утомились играть роль большой державы. Это подтверждается фактами, говорящими о сильном понижении курса «криспинизма» в последнее время. Сам Криспи продолжает упорно проповедовать в иностранной прессе, что Италию может спасти от гибели только сильная армия и флот. На стороне Криспи и его политики были два органа печати, имеющие сильное влияние в стране: «Трибуна» и неаполитанский «Mattino». Несколько месяцев тому назад умер директор «Трибуны» Луццато, наследники продали газету сторонникам Джолитти. Газета, отличавшаяся раньше необыкновенной франкофобией, вдруг заговорила о союзе с Францией и стала очень холодно относиться к тройственному союзу. Криспи остался без поддержки в столице Италии, хотя в Палермо была основана новая газета «Ora» по программе «Трибуны» под дирекцией известного публициста Морелло («Rastignac»), вышедшего из состава редакции «Трибуны» при переходе ее в другие руки.

Но Криспи и на юге Италии, где его мегаломания и отсутствие моральной щепетильности имели самую благоприятную почву, получил недавно почти смертельный удар, от которого он едва ли оправится. Удар этот нанесен молодой и немногочисленной партией неаполитанских социалистов, на сторону которых стали и суд, и общество. В еженедельной газете «Propaganda» напечатан целый ряд разоблачений против близкого сотрудника Криспи неаполитанского депутата Казале, который был назван главой «каморры», как Полицоло — глава «мафии». Казале подал на редактора в суд, обвиняя его в клевете. На суде многочисленные свидетели, чиновники низшие и высшие, частные лица, профессора, полицейские подтвердили до мелочей разоблачения газеты. Казале и его три адвоката, тоже депутаты, оставили зал суда, прокурор отказался обвинять, а суд вынес резолюцию, что так как все обвинения газеты доказаны, то редактор оправдывается. Казале осталось подать только в отставку, что он и сделал.

**А. 3-ский**

*Северный курьер. 6.11.1900*



## **Studentesca<sup>1</sup>**

### **ИЗ ЖИЗНИ РУССКИХ СТУДЕНТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ**

#### **Очерк 3-й**

Приближался июнь. Около этого времени, по обычаю, у нас в колонии начались приготовления к «балу». Отпечатали очень много билетов на немецком языке по аристократической цене в полтора франка и раздали их нам отчасти насильно, с тем чтобы мы по одному или больше приобрели для личного употребления и чтоб остальные продали, не принимая никаких возражений, «знакомым».

По личному горькому опыту многие из нас вообще были склонны считать фикцией очень распространенное мнение, что у человека могут быть знакомые. Даже у себя на родине, в Томске или в Севастополе, они привыкли считать своих знакомых по системе «раз, два и обчелся». Парных утверждал, что это неумение знакомиться — знамение времени. Тем более не было ни у кого знакомых здесь, в почтенной столице швейцар-

<sup>1</sup> Студенты, студенчество (*итал.*).

ского союза. Я узнал четырех болгар и нарочно пошел на их лекции, которые обыкновенно не посещал, потому что был курсом ниже; но болгары как старожилы узнали наши обычаи и теперь скрывались. Я ушел с лекции без результата, в очень злом настроении. Легко ли было отсидеть бесплодно битый час на чужом каноническом праве?

Студентам-туземцам нельзя было предложить билетов потому, что никто из нас не знал никого из них.

Впрочем, об этом всем мы мало заботились. На первом плане была программа вечера. Ее в глубокой тайне вырабатывала одна бойкая медичка, дамочка лет двадцати восьми, которая считалась образцовой распорядительницей.

Она вывесила в читальне и столовой такое объявление:

«Предполагая возобновить для предстоящего бала обычай, уже несколько лет оставленный, постановки перед танцами спектаклей, распорядительница просит желающих участвовать в нем сейчас же по окончании обеда заявить ей об этом. Вывешено с разрешения комитета».

К дамочке сейчас же хлынуло множество народу. Она, руководствуясь фонетическими соображениями, отобрала из них около дюжины и приказала собраться вечером тут же, в читальне, а остальным дала честное благородное слово иметь их в виду. Вечером мы собрались.



У нас все всегда шло по-приличному. Дамочку избрали председательницей собрания, дали ей стакан и ложечку вместо колокольчика, потому что колокольчик был под замком у комитета, а у комитета была, если не ошибаюсь, инфлюэнца. Дамочка позвонила и сказала:

— Объявляю заседание открытым.

А ядовитый Кольнер, изображая барабан, прибавил:

— Бум!

Затем председательница поставила вопрос о выборе пьесы. Я заметил, что уже с четверть часа пять девиц-первокурсниц, сидевших в уголке, шептались о чем-то настолько горячо, что даже перестали отвечать на поклоны. Теперь одна из них очень покраснела, оглянулась на правую подругу, на левую подругу, потом встала и сказала: «Я прошу слова», потом села, совсем покраснела и ничего не сказала, а за нее подруга с усилием выкрикнула:

— Мы хотели бы предложить поставить «Ткачей».

И Кольнер снова провозгласил:

— Бум!

Это пришлось очень кстати, потому что нас всех охватило некоторое недоумение от выдумки пяти девиц-первокурсниц, и надо было найти ему разрешение. Мы немного поохотали, а дамочка-председательница больше всех, и при этом она громко звонила ложечкой о стакан и говорила, задыхаясь:

— Кольнер, призываю вас к порядку.

Отдохнув, она обратилась к первокурсницам:

— Я думаю, что «Ткачей» будет очень трудно поставить.

— Здесь не в том дело, — вмешался кто-то. — Нам надо привлечь публику, то есть, по возможности, швейцарцев, а они на «Ткачей» и не подумают пойти, потому что кто же их здесь в театре не видел?

— Правда, — слышались голоса.

«Ткачи» провалились.

Я посмотрел на первую девицу-первокурсницу. У нее на лице явственно отражалась борьба с той характерной, непостижимо странной для передовых девиц дамской водобоязнью перед всякими парламентарными формами и обычаями, которая делала из молодых студенток самый неудобный элемент на собраниях нашей колонии. Они никогда не просили слова, хотя «мысли», очевидно, так и кишели под их прическами и рвались наружу; но они никогда не признавали и чужого права на слово и по всякому поводу начинали все разом громко жужжать, изливая полноту души перед ближайшими соседками. Впрочем, все это были очень милые барышни.

Борьба на лице у первой девицы окончилась победой Ормузда. Она встала и произнесла:

— Очень жаль. «Ткачи» — такая идейная драма.

Кольнер толкнул меня в бок и шепнул мне на ухо:

— Надо повеселиться сегодня. Ради Бога, предложите «Шейлока», только серьезно, а я буду возражать. Скорее! — И громко добавил: — Первоприсутствующая! Вот он просит слова, только робеет.

Я исполнил его просьбу и подкрепил «Шейлока» вескими доводами. Во-первых, эту комедию очень редко ставят; во-вторых, она будет понятна немцам; в-третьих, у нас есть все силы для постановки, а самого Шейлока, в крайнем случае, согласен сыграть хоть бы я.

Тут Кольнер попросил слова, а я сел, предвкушая удовольствие. Кольнер бесподобно умел попадать в тон «направлению» и незаметно вышучивать правоверную публику, хотя, по-моему, и сам он был в достаточной степени «правоверным».

— Я не знал, — начал он, — что коллега намеревался предложить именно эту пьесу. Против его выбора я должен сделать возражение, которое может показаться вам очень странным и даже смешным. Дело в том, что у нас, несмотря на плодотворную критическую работу славной эпохи шестидесятых годов (у меня волосы на голове шевельнулись), до сих еще сохранилось поклонение авторитетам. Буду краток. Для меня нет авторитетов. Шекспир — великий писатель (хотя по своему мирозерцанию он не подходит к позитивным течениям нашего времени). Шекспир — велик, но я безусловно против его комедии «Шейлок» как тенденциозного памфлета, полного узкой национальной нетерпимости; этой комедии место не на сцене студенческой колонии, а в театре Дрюмона и Люэгера, если бы они таковой открыли; и будь я редактором честного журнала, я, получив перевод «Шейлока», вернул бы его переводчику с советом отправиться в редакцию «Наблюдателя». Таково мое мнение.

Сказав это сильным тоном и с жестикуляцией, Кольнер очень серьезно сел, и мы сейчас увидели, что клюнуло. Собрание молчало: открытие произвело на них впечатление.

Встала одна из студенток.

— Вопрос, поднятый товарищем Кольнером, — начала она, — очень важен и интересен, и я прежде всего тут же прошу его изложить свое мнение в реферате, который может вызвать живые прения. Лично я не согласна с мнением товарища Кольнера; я думаю, что тенденция «Шейлока», напротив, самая симпатичная, передовая, как это, впрочем, уже доказал великий Гейне; кроме того, в уста Шейлоку сам Шекспир вложил такие тирады, которые не только были бы неуместны в «Наблюдателе» или в театре Люэгера, а, напротив, представляют страстный протест гениального писателя против всех клевет, которые распускаются «наблюдателями» и Люэгерами.

Эта речь тоже произвела впечатление.

Встала одна из пяти девиц-первокурсниц.

— Я тоже предлагаю не отказываться от постановки «Шейлока». Я нахожу, что эта вещь как раз теперь очень своевременна, особенно здесь, в Берне, где союзный совет на днях опять провалил проект о допущении женщин в адвокаты. Я нахожу,

и вот мои подруги тоже... мы находим, что с этой стороны у Шекспира в «Шейлоке» прекрасно решен женский вопрос. Там Порция, переодевшись мужчиной, защищает Антонио так удачно, как не сумели настоящие судьи и адвокаты, хотя они и мужчины; к тому же они получили юридическое образование, а Порция нет. Так что я нахожу, что Шекспир доказал способность женщины заниматься адвокатурой. Я нахожу, что, если мы поставим «Шейлока», то этим выразим протест учащейся молодежи против ретроградной политики бундесрата.

Эта речь тоже произвела впечатление на все собрание и особенно на Кольнера. Такого успеха он не ожидал.

Поднялся Парных.

— Вот что, — сказал он, — есть такой хороший, веселенький водевиль «Денщик подвел». Коротенький и смешной. Предлагаю поставить водевиль «Денщик подвел».

И на том порешили.

Когда мы вышли, сам Кольнер развел руками, поднял глаза к жиденькому швейцарскому небу и воскликнул:

— Эти люди способны поверить даже в левиафана, если только подать его с соусом.



О, что это был за спектакль!

На первой репетиции я играл Хвостикова, но распорядительница сейчас же вычеркнула меня ввиду полной бездарности. На мое место назначила другого, а меня, чтобы не плакал (как выразилась дамочка-распорядительница), произвели в суфлеры. На остальных репетициях я не был, потому что как раз тогда ездил с Зиночкой смотреть Шафлох у Тунского озера и вернулся как раз в день бала.

Было нанято за 50 франков большое кафе со сценой, стульями и электричеством. Кроме того, у полиции было выхлопотано разрешение пировать до утра, потому что местному человечеству обыкновенно предоставляется предаваться радости только до полуночи

— Кутить, так кутить, — сказал мне по этому поводу Чубар, которого я застал за кулисами. Он играл денщика Ивана и был очень типично загримирован и одет в полную форму зуава, которая нашлась у портного.

Распорядительница была прелестна. Она велела хозяину кафе посадить меня в суфлерскую будку. Хозяин посадил меня,



а Чубар сунул мне из-под занавеса тетрадку. Я раскрыл ее и убедился, что почерк Чубара был за пределами моей проницательности. Но было уже поздно.

Я ждал, ждал, ждал. За спиной, в зале, я слышал шум собиравшейся толпы. Наконец, подняли занавес.

Спектакль начался . . . . .  
. . . . . и наконец кончился.  
И хорошо, что кончился. Они обвиняли меня, я — их... Бог нам судья!

В зале было много народу. Вся колония собралась, даже те члены, которых я никогда еще не видал ни в столовой, ни в читальне. Было несколько туземных семейств, два-три профессора, злополучные болгары (их все-таки изловили) и десятка полтора швейцарцев-рабочих, которым продавали билеты за полцены. Рабочие пришли каждый со своей худощавой и краснощекой шэтцхен<sup>1</sup>, сидели в уголке, бесцеремонно обнимали шэтцхен за талии, пили пиво и уверяли, что водевиль им очень понравился.

Начались танцы.

А хорошо и весело было на нашем балу! Я до безумия люблю такие мгновения, когда книжники, точно по Божиему наитию, вдруг всем сердцем вспоминают, что есть у них что-то и кроме разума. И когда вдруг такой добрый ветер повеет на книжника или на зазубрившуюся барышню, и зашипит в них живая, красная, драгоценная кровь человеческая, от Бога разлитая по жилам и нервам, становится весело смотреть на эту молодежь и вообще жить на свете. И в такие минуты захудалая, многоученная факультетская барышня, на которую, казалось, и поглядеть скучно было, вдруг встрепенется, причепурится и невольно бросит вам в глаза свои двадцать два года, свои длинные ресницы, свои покатые плечи, так, что вы только изумитесь. А студентик, у которого очки лопались от усердного чтения, вдруг покажет вам, что он вовсе и не так коротконог, и не так кривоног, и не так близорук, как вы думали. И ни он, ни она не скажут вам: «как это *интересно*», — а скажут, раскрасневшись и блестя глазами, славными, молодыми глазами: «как мне весело!» И не хочется вам думать, что послезавтра поутру студентка опять покажется вам костлявой и переученой, а студентик кривоногим, точно такса, — думать не хочется, и вы бежите к ней и зовете ее на вальс... если танцуете.

<sup>1</sup> Милашкой (нем. Schätzchen).

Я разыскал Зину — мою, мою Зину, мою после Шаффлоха — и попросил ее:

— Фрейлен Зина, пойдите за кулисы, научите меня танцевать вальс, я хочу танцевать с вами.

— А что дадите?

— Угощу мороженым.

— Двумя порциями?

— Двумя.

— Идемте.

И она научила меня танцевать вальс, и я танцевал с нею все время, толкая встречные пары, и весь вечер не отпускал ее ни на шаг.

**Altalena**

*Одесские новости. 6.12.1900*

## **Библиография**

### **К. М. ФОФАНОВ. ИЛЛЮЗИИ**

*Стихотворения. С портретом автора. СПб., 1900.*

*Цена 2 руб. 50 коп.*

Меня прежде всего удивляет обстоятельство: неужели возле К. М. Фофанова нет друга, товарища, наконец, критика, который сказал бы и даже доказал бы, что в наши дни нет возможности издавать том стихотворений в 500 страниц, что на это имел бы право лишь поэт, который в наши дни пользовался бы той же известностью, какой Пушкин в 20-е, а Некрасов в 60-е и 70-е годы, и что таких поэтов теперь нет, нет и создающего их настроения. Пушкин — поэт просыпавшейся России, и все равно как после сна здоровый человек встает полный сил, свежих ощущений, радостного сознания своей силы, ищет движения и весело улыбается всем идущим навстречу ему впечатлениям бытия, так поэзия Пушкина исполнена жизненной, земной бодрости. Некрасов отметил и закрепил то же пробуждение, но уже *гражданской* России. Оба — поэты исторические, оба — грани нашей литературы, но нечего и говорить, что на подобную роль Фофанов не может претендовать. Он поэт простой и порою прекрасный, настоящий поэт «милостью Божией», каких в наши дни очень и очень мало, но это его высшая похвала и в то же время здесь же решительное осуждение таких сборников, как

«Иллюзии». Нельзя, немислимо, преступно даже г-ну Фофанову претендовать на то, чтобы отнимать у читателя сотни часов, потребных на одоление его книги. Что может дать она, когда по расчету одного наиболее даже расположенного к ней критика в ней не больше 30 хороших страниц? Извольте-ка разыскивать их в этой груде бумаги! Надо быть присяжным любителем поэзии, чтобы отважиться на такой подвиг, и, кроме того, надо обладать неограниченным свободным временем. Другое дело поэт исторический, граневой, тот, за биением пульса которого слышно биение массы, эпохи — он может быть не особенно разборчив (хотя Некрасов, например, был страшно разборчив, через край даже); даже слабые, сравнительно неудавшиеся даже вещи имеют значение. Фофанов пишет только о себе, излагает только свои ощущения, и неужели его внутренний мир так богат, чтобы стоило им интересоваться без конца. Этого нет, а здесь-то кроется первый незамолимый грех «Иллюзий», потому что это уже не иллюзия, а вполне реальная неодолимая груда бумаги. Кто же в проигрыше? Читатель — нет: читатель возьмет «Иллюзии» и, перевернув с десятков страниц, отложит обломавший ему руки том в сторону. В проигрыше сам Фофанов, который в противоположность Ахиллу, обладая лишь неуязвимой пятой, является перед публикой со всем своим уязвимым телом, пяту же он тщательно прячет.

Уязвлять, впрочем, Фофанова не стану. Конечно, много плохих рифм и неправильностей размера, масса слабых стихов, десятки и сотни скучнейших и ненужных (главное, ненужных!) страниц найти и указать не трудно. Но едва ли есть хотя какая-нибудь надобность в подобной работе, потому что едва ли кому-нибудь придет в голову мысль одолевать «Иллюзии».

Для обильной лирики у Фофанова слишком мало душевного содержания, слишком оно однообразно и связано исключительно с психологическими, а не общественными моментами его жизни. Он все еще воспекает розу, луну, синеву неба, зарево заката и т. д. Иногда такое воспевание выходит у него мило, оригинально, но

*«Восток и юг давно описаны, воспеты», —*

и забывать об этом не следует.

Для эпоса... Но что же эпическое, какая поэма может выйти из-под пера у человека, который о целой преинтереснейшей эпохе 80-х годов сохранил вот какое воспоминание:

*... Поэтов новых племя  
И беллетристов новых ряд  
В печати стали состязаться...*

*...Буренин стал смеяться  
Еще язвительней и злей...*

*... Я, бледный и печальный,  
Казалось, к счастью расцветал,  
И Репин кистью гениальной  
Мои черты живописал...*

Петербургскую мостовую Фофанов описывает более яркими и богатыми красками. А между тем он законнейший, единокровный и единокровный сын этой эпохи и мог бы при большей вдумчивости, при большей идейности свою тоску, свое неверие, свою усталость духовную связать с целым рядом крупных событий. Но он только поэт маленькой человеческой души, бессильной, бьющейся в полном недоумении перед жизнью, бессильной для проклятия и гнева, бессильной для благословения. У него не хватает даже дерзости спросить: «за что?» Он просто говорит о гибели порывов, веры, надежд.

Он любит красоту, прежде всего красоту пластики, и порою в его стихах вы слышите что-то майковское (например, «Ангелы»), но душа его слишком растерзана, слишком, если можно так сказать, дребезжит, чтобы ей было вполне доступно самодовольное и светлое майковское настроение. Он хотел бы жить искусством и только для искусства, но и тут не достает силы, и, в сущности, единственное реальное впечатление, которое остается от его поэзии, — это впечатление тоски, изредка прерываемой экстазом. Мало этого, и сам он чувствует, что мало; ему хотелось бы на простор и ширь, захватить жизнь и искусство глубже, но он может лишь сказать:

*Ищите новые пути!  
Стал тесен мир, его оковы  
Неумолимы и суровы, —  
Где ж вечным розам зацвести?  
Ищите новые пути...*

Но этих новых путей в его поэзии нет, потому что для новых путей нужна новая идея, и когда она властно заговорит в душе поэта, новые пути придут сами собой. Разве Некрасов и Пушкин искали новых путей? А раз человеку приходится искать их — значит, дело обстоит не очень-то как надо. В этом, впро-

чем, характерная и ничтожная черта нашего декадентства, что оно говорит о новой красоте, но не показывает ее, ищет новых путей, но не находит их. Оно право, утверждая, что для нового содержания нужна новая форма, но когда нет содержания, откуда взять новую форму? А потуги найти ее приводят лишь к версификации. И Боже, сколько этой скучной, никчемной версификации у Фофанова!.. Но я обещал не уязвлять и не буду, и закончу свою ревизию печальным размышлением, что будь в «Иллюзиях» не 500, а 50 хорошо выбранных страниц, книга нашла бы читателей и почитателей, а теперь как-то боязно за ее судьбу.

А.

*Жизнь. СПб., 1901. № 1 (январь.)*

## Библиография

### П. ИНФАНТЬЕВ. БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЕК

*Стихотворения. 1901. Цена 60 коп.*

Очень-очень маленькая книжечка стихов и очень-очень крошечное дарование ее автора. Ни одного оригинального стиха, образа, рифмы; все перепевы давно известного или просто переложения. Вначале переложение «Мальчика у Христа на елке» Достоевского, затем краткое тоже переложение рассказа Иловайского о царствовании Бориса и Лжедмитрия, это второе переложение почему-то названо поэмой «Он и она» и т. д. Чтобы не быть голословным, приведу два-три куплета из стихотворения «Голубка», где автор описывает, как голубка прилетала к окошку узника:

*И кротко ему (узнику) голубка ворковала  
О поле, цветах, о зеленых лесах,  
О чудной в тумане синеющей гали,  
О радостном дне в голубых небесах...  
Внимая им, узник на волю стремился  
Душой, забывая о доле лихой,  
И в даль из темницы своей уносился  
Он с ними на крыльях мечты золотой... и т. д.*

Ведь двадцатый век теперь, господа поэты!

А.

*Жизнь. СПб., 1901. № 1 (январь.)*

## Библиография

### ГИ ДЕ МОПАССАН. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

*Перевод с французского П. Д. Доброславина. Киев—Харьков, 1900.*

*Цена за три тома 3 руб. 50 коп.*

Главные достоинства этого издания — его дешевизна и полнота, так как сюда вошли и посмертные сочинения знаменитого французского романиста. За три с полтиной вы получаете невообразимое количество бумаги и невообразимое количество печатных строк. Надо еще заметить, что Мопассан — чтение очень *спорое*, потому что одна страница, особенно в небольших его рассказах, дает вам настроение, пищу для ума и сердца. Он не из тех, кто берет интригой, а из тех, кто берет мыслью и чувством. Впрочем, рекомендовать Мопассана напрасно: русская публика и так любит этого представителя разлагающегося, но умного, честного и пронизательного мещанства. Два слова о переводе. Меня всегда поражало то обстоятельство, что такой писатель, как Мопассан, не может найти достойного переводчика для себя на русский язык. Много лиц (как в этом издании) берутся за это дело, и у всех выходит оно по-ремесленному, т. е. ни хорошо, ни дурно, без особых промахов, но и без всякой попытки на художественную передачу подлинника. А ведь это обидно. Красота сочинений Мопассана столько же в идее, сколько в форме, стиле, в котором он — талантливейший из учеников Флобера — дает прямо образец совершенной передачи настроения путем выбора слов, архитектоники фразы. По-русски все это пропадает. Переводы, надо сказать, прямо-таки больное место нашей литературы — что-то глубоко, безнадежно рыночное, дешевка какая-то, удивляться чему, Впрочем, нечего. Раз цена за лист перевода доходит до 2—3 рублей, а 15 рублей считаются совсем достаточным, то чего же вы хотите лучшего? За перевод берутся те, кому или есть нечего, или делать нечего — оба обстоятельства не обуславливают даровитости.

**А.**

*Жизнь. СПб., 1901. № 1 (январь).*

## Библиография

### П. П. ГНЕДИЧ. КУПАЛЬНЫЕ ОГНИ

*Роман. СПб., 1901. Цена 2 руб.*

Нам думается прежде всего, что заглавие этого романа не совсем такое. Купальные огни, т. е. огни, зажигаемые финскими крестьянами в ночь на Ивана Купалу, не играют в произведении г-на Гнедича ровно никакой, кроме чисто обстановочной, роли: при их свете разыгрывается последняя сцена романа. Суть же его читатель должен искать не в огнях и не в этой последней сцене, а глубже, гораздо глубже — в приключениях некоего народника-радикала Невмятулина, на изображение подлости и низости характера которого г-н Гнедич не жалеет красок. Поэтому точное заглавие романа, по нашему мнению, было бы: «Посрамление некоего народника-радикала Павла Невмятулина». Как и почему посрамляется радикал-народник, мы сейчас увидим, пока же два слова о «художественном» даровании г-на Гнедича.

Г-н Гнедич принадлежит к тому разряду писателей, которых можно назвать интересными. Он пишет живо, легко, связно, так что читать его можно без особой скуки и утомления. Никогда, как человек деликатный, не утруждает он читателя глубокой мыслью или сильной сценой; он всегда скользит по поверхности предмета, порхаёт от одного лица к другому, шутит, иногда острит, сам до такой степени легко относится к страданиям своих героев и героинь, к их исканиям правды и смысла жизни, их душевным трагедиям, что заражает таким отношением и читателя, который скоро начинает понимать, что перед ним в конце концов не роман совсем, а детская игрушка-калейдоскоп, тоже начинает подсмеиваться даже и в сильно драматические моменты и не думает приходить в ужас и в тех случаях, когда героиня стреляет, а герой бросается в воду. И г-н Гнедич, и читатель знают, что роман, растянувшийся на 700 с лишком страниц, должен же когда-нибудь и чем-нибудь закончиться и, разумеется, всего лучше заканчивать смертью: хлопот меньше, с одной стороны, а с другой — и герой, и героиня порядочно-таки надоели и раньше, так что смертный конец не совсем незаслужен ими. Такое легкое, милое, порхающее, улыбающееся отношение к делу значительно облегчает художественную задачу

г-на Гнедича, делает из него приятного рассказчика сцен, удобочитаемого фельетониста, интересного собеседника. Что же до его претензий писать романы и повести, то, право, никому до них никакого дела нет, и разве к ним нельзя отнести с такой же улыбкой, как к самоубийству его героев и героинь? Я лично рекомендую именно такую точку зрения на «художественные» претензии г-на Гнедича, потому что его очевидное, им нескрываемое, им восхваляемое даже мирозерцание все целиком исчерпывается афоризмом: «один лишь водевиль, а прочее все гниль». И он пишет водевили, называя их то романами, то драмами, то повестями, пишет их, повторяю, легко и приятно, с единственной целью посмеяться самому и других посмешить. Только с этой целью... и вдруг в разбираемом романе «Купальные огни» — и злоба, и раздражение, и желание посрамить некоего народника-радикала Павла Невмятулина... Это откуда, это зачем? — спрашивает себя недоумевающий читатель и при этом, думается мне, неодобрительно качает головой, говоря: «Нехорошо, г-н Гнедич, ах, как нехорошо!.. Не ожидал я этого от вас, г-н Гнедич!..»

Показным героем романа является, однако, не радикал-народник, а князь Борис Олсуфьев, который все время говорит, ест, пьет, разъезжает, влюбляется и любит, — словом, делает все, что свойственно делать показным героям, до души которых никому на свете, а всего меньше самому автору нет ни малейшего дела. Происходя из древнего, но обедневшего рода Олсуфьевых, князь Борис служит начальником отделения в каком-то департаменте какого-то министерства, обладает хорошими манерами, выдержкой, приятностью обхождения, умением написать нужную для министерства статейку и многочисленной родней. Его служебное положение позволяет г-ну Гнедичу показать, как он разговаривает с министром, директором департамента, вице-директором, подчиненными, дать две-три легенькие картинки чиновничьих нравов и даже влюбить своего героя в племянницу министра, некую девицу Мэри, много страдавшую и отчасти даже загадочную натуру, глубоко чем-то неудовлетворенную, но понять которую до того трудно и даже невозможно, что сам начинаешь сочувствовать автору, когда он, очевидно убедившись, что с характером Мэри ему не справиться и что из нее даже на 712-й странице ничего не выходит, заставляет ее стреляться. Влюбленный князь Борис то и дело разъезжает по командировкам, по дороге знакомится с массой



лиц, разговаривает, вступает даже в незначительную интрижку с московской миллионщицей, купеческой девицей Фимой Варгиной, тоже всем на свете неудовлетворенной, тоже рвущейся куда-то, а пока напивающейся шампанским и ликерами и отдающейся после получасового разговора князю Борису просто от нечего делать. Перед читателем проходит целая галерея лиц, преимущественно москвичей, родных Бориса, купцов Варгиных, Вобловых, какого-то Огнецотова и его дочери Поликсены и т. д. Все они очерчены самыми легкими штрихами: Воблов придерживается старины, Варгин модничает, строит какие-то пирамиды Хеопса и акведуки, собирает коллекции пуговиц и застежек, Фима Варгина гуляет вовсю. Все это мелькает на страницах романа, разговаривает, болтает, и все это в таком большом количестве, что в конце концов начинает рябить в глазах... А роман? Он благополучно тянется. На предложение князя Бориса руки и сердца девица Мэри отвечает отказом. Оказывается, что ее раньше обманул какой-то шулер Герман Черногин (ставший потом священником) — натура, надо думать, демоническая. Несмотря на обман и разлуку, Мэри продолжает любить его и при новой встрече стреляется, как уже сказано выше.

Все это, повторяю, показное, все это — калейдоскоп, все это поражает легкостью кисти, той легкостью, что кажется, будто кто-то рисует перед вами пальцем по чистому, прозрачному воздуху. Но в романе есть еще и посрамление радикала-народника. Опять не понимаю, ну, решительно не понимаю, зачем это понадобилось г-ну Гнедичу? Зачем было портить водевиль, зачем вместо чистого прозрачного воздуха было начать рисовать голландской сажей? Ах, как должны быть осторожны даже опытные писатели, и какие нехорошие вещи выделяет с ними личное раздражение! Именно личное раздражение, и оно у г-на Гнедича до того очевидно, что начинаешь перебирать своих знакомых, спрашивая себя: не псевдоним ли это Павел Невмятулин? Конечно, этого может и не быть, но все же неприятно, когда такое подозрение входит в голову, потому что, повторяю, личное раздражение г-на Гнедича очевидно, как очевидно то обстоятельство, что до остальных своих героев ему нет никакого дела.

Павел Невмятулин обрисован как раз теми же чертами, которыми разные Ключниковы и Маркевичи обрисовывали несимпатичных им лиц из семинаристов-разночинцев. Тут, конеч-

но, и растрепанные волосы, и наклонность при всяком удобном случае нализаться за чужой счет, и отвратительные манеры, и отрицание искусства, а главное — низость душевная. Боже, как это старо! Но г-н Гнедич не смущается и злорадно поражает Павла Невмятулина при каждом удобном и неудобном случае. Невмятулин, побывав в ссылке, занялся литературой и, убедившись, что тут мало чего «жрать», поступает, по протекции князя Бориса, на службу и немедленно же начинает проявлять всю свою подлость: всюду сует нос, разнохивает, шпионит, делает доносы, подкапывается под своего благодетеля, князя Олсуфьева, желая занять его место начальника отделения, хамит перед старшим начальством, словом, оказывается форменным негодяем. Это бы не беда (всяко бывает!), а то беда, что Невмятулин — негодяй от начала до конца, без единого просвета. Никакого снисхождения по этой части г-н Гнедич ему не дает: Невмятулин глуп, Невмятулин безграмотен и невежда, Невмятулин тщеславен. Невмятулин составляет свою литературную карьеру визитами к видным литераторам, хамством и заискиванием, Невмятулин доносчик, Невмятулина даже швейцары зовут Недыхлятиным и т. д., пока не получается какой-то зверь апокалипсический, которому не только купального огня, но и геены огненной мало. Ах, г-н Гнедич! Конечно, Павел Невмятулин вашей художественности оценить не может, но, право, это не такое уже преступление, чтобы злорадствовать по поводу каждого шага и посрамлять несчастного сопоставлением с князем Борисом, у которого, как кажется, тоже ничего, кроме чищенных ногтей (у Невмятулина ногти, конечно, короткие, грызенные), нет. И потом пошло это повторять теперь Ключниковых и Маркевичей завыванием: ох, негодяй... у него ногти грязные... он пятиалтынного не заплатил... он в ресторане выпил после обеда (*mésaillance!*<sup>1</sup>) три стакана чаю и хотел было удрать, да Ахметка остановил его уже на лестнице... Конечно, на Невмятулина падают всякие несчастья: со службы его гонят, сочинения его умные люди считают даже нечестными, жена от него бежит к любовнику и т. д. Все это в конце концов — сажа, чистейшая сажа, разбавленная смешной и маленькой злостью.

Кроме этих, на страницах романа толкутся еще многие лица, так что в общем получается бестолочь на 752 страницах.

**А.**

*Жизнь. СПб., 1901. № 2 (февр.)*

---

<sup>1</sup> Мезальянс; неравный брак (*фр.*).

## Библиография

### **М. И. ДУБИНСКИЙ (ПОЛТАВСКИЙ). ЗА ДРУЖЕСКОЙ БЕСЕДОЙ**

*Критические статьи. Характеристики. Фантазии. Беседы.  
СПб., 1901. Цена 1 руб.*

Книжка г-на Дубинского разделяется на две части: первую, озаглавленную «Дома», и вторую, озаглавленную «В гостях». Часть «Дома» посвящена критическому разбору произведений русских авторов, часть вторая «В гостях» посвящена критическому разбору авторов заграничных. Впрочем, надо с самого же начала заметить, что г-н Дубинский отказывается называть свои статьи критическими разборами: он присваивает им более скромное название бесед. Почему — об этом он подробно говорит в предисловии. По его мнению, время критики прошло, и теперь она больше не нужна. Она нужна была раньше, когда публика «вождя ждала», когда публика «жадно требовала проповеди как проповеди и, подобно страусу, одинаково переваривала все, что ни попадало в ее огромный, здоровый, не тронутый еще культурной пищей желудок: все равно будь это сочный плод или кусок гнилого дерева», т. е. в 20-е, 30-е, 40-е, 60-е годы. «Вот, — патетически продолжает г-н Дубинский, — когда именно нужен был критический ментор!» Потому что, «кто мог поручиться, что вождь, с таким нетерпением ожидаемый лихорадочно возбужденной толпой, не окажется дерзким самозванцем или жестоким наглецом, который камень положит в ее протянутую руку?» Теперь «публика переродилась: читатель перестал искать проверки своих взглядов в другом и начал мыслить за себя, в собственном опыте находя опору для проверки и анализа». Поэтому профессиональная критика принуждена уйти на задний план и, сдав боевые доспехи в национальный музей (!), безропотно вступить на мирный путь беседы, образчики которой г-н Дубинский любезно предлагает своим читателям.

Предисловие г-на Дубинского, где изложено, что время критики прошло, занимает ровно шесть страниц. Хватило же, значит, у человека смелости духа по поводу таких неосновательных пустяков исписать целых шесть страниц (мелкого шрифта), потому что стоило бы ему только спросить себя, существует ли критика на Западе и не процветает ли она во Франции даже

и в наши дни, чтобы понять, что не только шести, но и одной шестой страницы не стоило ему тратить на свое предисловие. Если критика не исчезла в более культурных, чем наше, обществах, то, разумеется, рост нашего читателя никоим образом не может служить причиной ее действительного или кажущегося отсутствия у нас. Эту причину надо искать в другом месте, а не там, где ищет ее г-н Дубинский.

Очевидно, что он не потрудился выяснить себе вопрос, что такое критика, и все ее значение, всю ее роль свел к тому, чтобы какой-нибудь нестоящий человек не оказался на первом месте пророка и руководителя. Конечно, это очень важно воздавать каждому по делам его, регулировать и направлять общественные симпатии, умерять необузданные восторги, но задача критики шире и больше. Критика — тоже искусство и, как искусство, она не только анализирует, разбирает, ставит на свое место, возводит и низводит, но и творит. Творческая же ее функция заключается в синтезе общественного самосознания и настроения данной исторической эпохи (так, по крайней мере, было всегда у нас) и в истолковании художественных типов с точки зрения породивших их условий. Такая критика не умерла, да и не умрет никогда, пока существует искусство.

Как предисловие, так и другие беседы г-на Дубинского полны ничемными рассуждениями, хотя и красноречивыми в то же время. Говорит он, например, о причинах упадка современной поэзии (тема захватанная, но интересная), и вдруг оказывается, что «одна из причин упадка современной русской поэзии — это легкость, с какой пишут стихи нынешние поэты». «Современному писателю, — поясняет г-н Дубинский, — никогда не приходится думать о форме... Корифеи русской литературы давно уже проложили колею, на которую следует только ступить, чтобы безошибочно дойти до цели» (с. 23). Далее автор вспоминает Пушкина и его черновые тетради, его кропотливую работу над стихами, потом вспоминает Гоголя и т. д. К чему все это? На Западе колея шире и глубже, значит, по аргументации г-на Дубинского, там должен бы быть не упадок только поэзии, а полная ее прострация, полная ее смерть. Разве та же Франция не дала нам только что Сюлли-Прюдома? А ведь колея была проложена там в XVII веке. Дело проще и глубже, чем кажется г-ну Дубинскому, забывшему, что истинный расцвет поэзии всегда совпадает с моментами обновления и возрождения.

Однако в книге г-на Дубинского есть немало интересных, несмотря на всю их фельетонную риторику и газетную «случайность», страниц, немало собрано и интересного материала, особенно во второй ее части («В гостях»). Теперь, когда не только хороших, но и приличных книг выходит очень мало, до обиды мало, и беседы г-на Дубинского могут сослужить некоторую службу в ознакомлении читателя с положением художественного творчества у нас и за границей.

**А.**

*Жизнь. СПб., 1901. № 2 (февр.)*

## **Библиография**

### **Н. БРЕШКО-БРЕШКОВСКИЙ. МЯТЕЖНАЯ ДУША И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ**

*СПб., 1901. Цена 1 руб.*

Я совсем не хочу смешивать произведения г-на Брешко-Брешковского с беллетристической макулатурой, все более и более обременяющей наш книжный рынок. На основании двух вышедших уже в свет томиков его рассказов можно за молодым автором признать некоторые литературные права и преимущества, хотя гадать о будущем не берусь. Будущее неясно; в настоящем же г-н Брешко-Брешковский представляет из себя довольно искусного беллетриста, которому иногда не чужды поэтические настроения и умение передавать их без вычурности и особых претензий. Это уже кое-что. Есть у г-на Брешко-Брешковского небольшой запас наблюдений, есть небольшие идейки насчет людей порядочных и непорядочных, и этим малым материалом распоряжается он не без искусства. Наблюдения его по преимуществу, почти даже исключительно, относятся к жизни маленьких городков и местечек Юго-Западного края, причем на сцене неизменно фигурируют незначительные чиновники акцизного управления, податные инспекторы и их письмоводители, мировые судьи и т. д. Люди эти все самые незначительные, но любопытные потому, что они ядро, основная масса нашей бюрократической армии, знакомиться с психологией которой русскому человеку, по выражению Щедрина, вяще и вяще поучительно. Ни на какие обобщения г-н Брешковский не рискует, никакой глубины в его рассказах

нет, но все литературно и прилично. Очень даже прилично, слишком, пожалуй, чересчур. В молодом, начинающем авторе хотелось бы видеть больше творческой фантазии, хотя бы несколько даже растрепанной и неупорядоченной, больше искания, больше намеков, пусть даже неясных, на будущее. Ничего этого у г-на Брешковского нет. Он, точно первый ученик беллетристического среднего учебного заведения, пишет твердо и без запинки, так что, со стороны глядя, становится чуть-чуть даже обидно, потому что в жизни первые ученики редко оправдывают надежды наставников и родителей. Но и за то спасибо, что г-н Брешковский прилично описывает маленькую чиновничью жизнь. Но как только он выходит из этой сферы, у него — увы! — ровно ничего не получается, и лучшим доказательством этого может служить его рассказ «Мятежная душа». Тут автор своими словами, как зритель со стороны или как г-н Скабичевский, рассказывает длинно и вяло, хотя и не без претензий, очень сложную психологию женщины, ищущей правды и смысла жизни. Психология остается неясной, несколько вас не захватывает, потому что из нее сообщаются лишь отрывки. Такой прием, конечно, не представляет из себя никаких затруднений, зато и не дает ничего; сущность же, ядро, трагизм искания, очевидно, г-ну Брешковскому не под силу. Зачем же он и берется за такие темы?

**А.**

*Жизнь. СПб., 1901. № 3 (март)*

## **Библиография**

### **А. Л. ВОЛЫНСКИЙ. ЦАРСТВО КАРАМАЗОВЫХ И Н. С. ЛЕСКОВ**

*Заметки. СПб., 1901. Цена 2 руб.*

Г-н Волынский работает очень усердно и выпускает в свет за томом том своих критических исследований: в прошлом году вышел сборник его статей и заметок о текущей литературе под общим заглавием «Борьба за идеализм», теперь — «Царство Карамазовых и Н. С. Лесков». Несколько лет тому назад были изданы, печальной памяти, «Русские критики». Очевидно, г-н Волынский работает, и работает очень усердно. В каждом своем исследовании он хочет обнять предмет со всех сторон,

использовать весь даже малодоступный материал, и если бы такой ценный прием вел бы к ценным результатам, то, разумеется, не оставалось бы желать ничего лучшего. К сожалению, результаты, достигнутые г-ном Вольнским, ничуть не соответствуют количеству затраченного им труда и в большинстве случаев возбуждают одно недоумение, поражая читателя или полной своей бестактностью, или, что еще чаще, полной своей ненужностью. Так что критика, обращая, вообще говоря, так мало внимания на тома г-на Вольнского, не представляется нам совершенно неправой, и обвинение ее в том, что она бойкотирует г-на Вольнского, трусливо держась кем-то наложенного на его произведения либерального запрета, едва ли основательно. Как бы то ни было, собравшись говорить о «Царстве Карамазовых и Н. С. Лескове», постараюсь исполнить свою задачу возможно основательнее.

Впрочем, «Царство Карамазовых» лучше оставить в стороне. Это слишком огромная и слишком важная тема, чтобы можно было говорить о ней в библиографической заметке. Но деятельность покойного Лескова — материал очень подходящий, так как ничего огромного и важного в этой деятельности нет, хотя г-н Вольнский и посвятил этой деятельности более 200 страниц. Да, более 200 страниц и притом о произведениях Лескова, без его биографии, почти без его отношения к общественным движениям (о чем лишь несколько страниц в начале исследования), и таким образом сам размер работы внушает читателю мысль, что Лесков — величина очень крупная, что его произведения — нечто очень существенное, что, не интересуясь Лесковым, мы совершаем литературный грех. Но ни одного из этих положений г-н Вольнский не доказал. С самого начала, Впрочем, позволю себе разъяснить, как я лично смотрю на Лескова.

Мне лично он представляется писателем с большим нетерпеливым самолюбием, очень неискренним и таким, который все свои усилия устремлял на то, чтобы выделиться чем-нибудь и прослыть оригинальным. Но у него никогда не было идеи, не было определенного отношения к жизни, и он бежал за тем, что в данную минуту обещало ему успех, попадая при этом в большинстве случаев впросак, потому что говорил он не от себя, а от своего мстительного раздражения «против либералов». Его литературная карьера началась очень скверно — статьями, в которых он, например, ничуть не сочувствуя женскому эмансипационному движению, — что впоследствии и высказывал

совершенно откровенно, — заигрывал с ним, однако, понимая все его могущество и даже властность его, и другими подобными же статьями, хоть и по иным вопросам. Но случился с ним в это же время, т. е. в начале 60-х годов, именно в 62-м году, и еще худший эпизод, резкий и возмущающий. В Петербурге происходили пожары. Полиция сбилась с ног, так как бедствие принимало прямо-таки стихийные размеры. Обыватели окончательно растерялись. Лесков выступил тогда со своими «разоблачениями» в «Северной пчеле» и среди общего тревожного настроения, которое искало себе не только выхода, но и жертв для отмщения, заговорил о поджогах и поджигателях, о прокламациях, о студентах и, наконец, прямо обвинил в пожарах «неизвестную коалицию из немцев», преследующую цели грабежа! Г-н Волынский называет это бестактностью. Нет, тут что-то худшее, гораздо худшее, и надо припомнить, с каким возмущением восстала на Лескова вся печать, с каким негодованием производились выдержки из его статей. И после этого эпизода Лесков разошелся с либеральной журналистикой, как говорит его критик, — вернее, со всеми порядочными людьми. Он озлобился после этих неудачных дебютов и, нисколько не думая взять хоть часть вины на себя, весь ушел в раздраженное самолюбие, в жажду мести. Он стал преследовать «нигилистов» и тогда уже, когда нигилисты свою роль сыграли и подверглись другим более серьезным преследованиям. В результате такого настроения явились знаменитые романы: «Некуда» и «На ножах». Посрамлению нигилистов, самому пошлому, разнузданному посрамлению уже лежащих людей, отведена и большая часть романа «Соборяне» — по установившемуся мнению, лучшего из произведений Лескова. Реакционный и «консервативный» лагерь, что в те дни (начало 70-х годов) значило то же самое, послужил ему литературным пристанищем. Но он понимал, что здесь, рядом не только с Катковым и Леонтьевым, но даже с Болеславом Маркевичем, он не может играть никакой роли. А ему нужна была роль, прежде всего роль, потому что этот человек сам в своих собственных глазах наполнял собою все бытие, был выше всего окружающего, не признавал никого и ничего. Он завидовал всякому успеху, и г-н Волынский хорошо делает, признавая, что от своей злобной, раздраженной зависти Лесков не мог отделаться до конца дней своих. Ему страстно хотелось видеть крушение врагов своих — людей передового лагеря, — но те стояли твердо, хотя бы только в общественном мнени-



нии. Пользуясь умственной сумятицей восьмидесятых годов, он изредка стал печататься в их органах. Но это было ему не на пользу. Духовное одиночество может воспитать и закалить только сильную душу. Душа слабая и себялюбивая, с узким горизонтом становится еще меньше, еще мелочнее от нанесенной ей обиды, которая, как проказа, расплзается по всему ее существу, не оставляя в конце концов ни единого живого места, не отравленного заразой. Так случилось и с Лесковым. В злобе и обиде сторел и тот небольшой художественный талант, который был в нем, но самолюбие, жажда успеха толкали к письменному столу, и Лесков стал изощряться. Он создал тот невозможный вычурный стиль, ту лубочную подделку под язык древних сказаний, который характеризует произведения последних двадцати лет его жизни, — эти плохо, но с претензией на остроумие рассказанные анекдоты, полные смакующего сладострастия, бессильной, но голодной чувственности. Этот стиль Лескова — прямо позор нашей литературы и нашего языка. Например, обрушиваясь на «цыбастых» женщин, он уверяет, что настоящая женщина должна быть «понедристее», «потельнее и помясистее». Настоящие женщины — это славянские красавицы, у которых «носина не горбылем, а все будто пипочкой; но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо поуветливее...» Или на одной только странице одного из рассказов Лескова г-н Волинский отметил такие вот слова: «вздрючка», «взгефантулка», «пришпандорка», «изутие», «изутие сапога», «выгон на ять — голубей гонять» — и такую вот образцовую фразу: «это нигде не писано законом, но преданием блюдетсЯ до такой степени чинно и бесспорно, что когда с упразднением выволочки и изутия вошел в обычай более сообразный с мягкостью века — выгон на ять голубей гонять, то чины не обманулись, и это мероприятие ими прямо было отнесено к самой тяжелой категории, т. е. к взгефантулке...» Это уже паясничество, это полная протрация не только языка, но и писательства, ибо тут все непристойность.

Надо отдать г-ну Волинскому полную справедливость: отрицательных сторон Лескова он не скрывает. Разбавляя даже свое исследование личными воспоминаниями о Лескове, он укрепляет в представлении читателя образ его как природы мелкой, завистливой, обидчиво-раздражительной и сладострастной. Но в то же время он так настойчиво выдвигает на первый план художественные заслуги Лескова и так мало и слабо связыва-

ет его творчество с личным характером, что, несмотря на всю кропотливость исследования и эти бесконечные 200 страниц, цельной, синтезированной фигуры перед вами нет.

По свойственному ему отсутствию перспективы г-н Волинский ставит художественное творчество Лескова на ходули, и естественно, что пишет о нем приподнятым, вычурным языком. Например, «все произведение запечатлено фантастической наивностью»; или о птицах: «художник выдвигает эту трогательную любовь в простых тварях, которые несутся на легких крыльях к высшим целям, послушные воле Бога»; или «тонкая нежность светится в этой подробности, созданной неземным юмором»; или: «наступало то последнее белое сияние, в котором растворяется всякое искусство: приближалась смерть»; или: «мелкие подробности его наружности — эти тонкие губы, запавшие на изломанных зубах, истощенное, бледное лицо с красивыми темно-кариими глазами и, наконец, бескровные руки с четырехугольными ногтями внушают тысячу значительных (конечно, только г-ну Волинскому) психологических представлений, которые не вызываются чтением романа», и т. д. Слишком, согласитесь, все это высоко, чтобы можно было тут понять что-нибудь, и чем это хуже или лучше словечек Лескова вроде: «куфарка», толкучка, рендательша, глазурные очи, заковычный друг, долбица умножения, милианнорное личико? Все это из той же оперы стилистической вычурности, и мне жаль доверчивого читателя, которого могут отуманить эти хиромантологические соображения о четырехугольных ногтях, внушающих тысячи значительных (ну, конечно) психологических представлений.

Окончательный свой приговор о Лескове г-н Волинский формулирует так: «Лесков был типичным русским проповедником, то вдохновенным, то юродствующим. *Этим объясняется* обилие шутовских выходок, скоморошества, забавного для толпы, но невыносимого для любителей чистого искусства, в повестях и рассказах всех периодов его литературной деятельности. Несмотря на единство художественной правды, скрытой во всем, что он писал, произведения Лескова временами кажутся оторванными от главного корня его внутренней творческой жизни: в глубине его души царит многозначительная тишина, но перед толпой, которая всегда имела власть над его воображением, он любил выступать с потешными анекдотами и прибаутками». Это слишком лестно. В Лескове видно не столь-

ко типичное русское проповедничество, а юродствующее иосифлянство и притом юродство самого низкого пошиба, деланное, искусственное, как у знаменитого некогда «старца» Антония, босым исходившего всю Европейскую и Азиатскую Россию. Это — юродство мелкого характера, своими кривляниями желающего обратить на себя внимание. Это — Зазубрина Горького, но без его добродушия, а Зазубрина злая, мстительная, хоть одинаково трусливая. Не дай Господи таким «талантам» «власти и влияния»: покалечат и опозорят все, что искренне пойдет им навстречу; всякий порыв осмеют и огадят своей мстительностью, сладострастием... Мстительный скоморох и злой «карла» был покойный Лесков.

Еще говорит Волынский о Лескове: «По таланту это был писатель, призванный именно (?) возвеличить маленького человека, подчеркнуть и освятить величие божественной малости на земле». Фраза, как всегда, кудрявая, но смысл ее уловить можно, потому что смысл ее нам и раньше внушали до пресыщения. Будьте малы, смиренны и велики своим смирением в земном ничтожестве своем. Разве не старая это песня? Разве не увековечил ее Тютчев, сказав:

*Не поймет и не заметит  
Гордый взор иноплемennyй,  
Что сквозит и тайно светит  
В нищете твоей смиренной?..*

И скажите, неужели вам не надоело все то же и то же самое? Возвеличивать маленького человека — дело, конечно, хорошее, гуманное, но чувствуется в то же время что-то затхлое, застоявшееся в этом возвеличении. Разве сила не нужна человеку — сила науки, знания, инициативы, сознания своих прав и обязанностей, чувства собственного достоинства, хорошей человеческой жизни, которая не укладывается целиком в византийско-монашеские идеалы? — все это нужно. Довольно уже, кажется, нам этой «нищеты смиренной», и что за смысл ее проповедовать, раз ее и так много, раз некуда уйти от нее? Но найдя эту струну, этот мотив в некоторых, немногих, впрочем, произведениях Лескова, г-н Волынский немедленно выдает ему патент на бессмертие, и такой же, какой он раньше выдал «Выбранным местам из переписки с друзьями». И там и здесь полное отсутствие исторической перспективы, вычурность и ходульность застоявшейся мысли.

Целиком дарования Лескова я, конечно, не отрицаю, но думаю, что все любопытное, сделанное этим дарованием, сделано под влиянием Достоевского, которому он подражал и на чье место имел даже претензии!..

Это уж слишком!

Конечно, немногие созданные им художественные вещи так художественными вещами и останутся, но дело в том, что Лесков был всегда столько же художником, сколько художником-публицистом, всегда творившим с некоторой задней целью и задней мыслью, почему с одной эстетикой и с одним эстетическим мерилом здесь не обойдешься. А как публицист Лесков звал всегда в Византию, в ее государственность, ее презрение к гражданской самостоятельности или, возвышаясь над этим, в смиренное самоограничение. Сам Лесков слишком настойчиво напоминает об этом, чтобы оно могло быть забыто, и поэтому-то мне, право, жаль г-на Волынского с очевидным и искреннейшим желанием преувеличить Лескова. Тем более жаль, что со стороны внимательного отношения к исследуемому материалу работа г-на Волынского исполнена безукоризненно, и это было бы совсем хорошо, если бы Лесков не фигурировал в качестве вдохновенного проповедника, чуть ли не пророка. Хорошо вот почему.

Вижу я в современной литературе какую-то возмущающую душу небрежность, неточные цитаты, полное невнимание к чужому труду и чужим мыслям, желание отделаться острым словцом и презрительным, небрежным замечанием от того, о чем стоило бы подумать. Наша критика перестала вчитываться и пишет свои статьи, причем та, которая покороче, называется библиографической, а та, которая подлиннее и поругательнее, — критическим исследованием. Ничего хорошего в этом нет. Литературу надо любить, а разбираемым автором надо, по крайней мере, сильно интересоваться, чтобы из критических предприятий выходил какой-нибудь прок. Нужно напряженное внимание и серьезная работа. Не только напряженное, но прямо мелочное внимание, не только серьезная, но и педантически серьезная работа видна у г-на Волынского. И вот жаль, что все это ни к чему. Ходульности, искусственной вымученной приподнятости слишком у него много и в языке, и в мыслях. Что это за язык, за стиль, каким он пишет! На каждом шагу риторика, выверты фразы, привставанье на цыпочках, что-то надутое, топорщащееся! То же и в мыслях, то же и в точке зре-

ния — неперменное желание блеснуть оригинальностью, сказать «что-нибудь такое, эдакое» не в пример прочим, — совсем как у Лескова, на которого в этом отношении (к счастью, в этом и только) Волынский очень похож. И в результате — в лучшем случае снисходительная улыбка, потому что в довершение всего г-н Волынский серьезен, как жрец. Скоморошествует он насчет четырехугольных ногтей величественно, и даже мрачно величественно, и мрачно рассуждает он о различии цыбастых и телистых женщин с пипочкой вместо носа. Ну и смешно, потому что человек с видом чрезвычайного посланника клеит коробочки и таскает бирюльки.

Не всегда даже смешно, потому что г-н Волынский хочет почему-то установить какую-то изуверскую точку зрения на психологию русского человека и русского народа. Он клянется, что эта психология дорога ему, и восторгается ею, но, право, «не поздоровится от этаких похвал». Некогда он восторгался «Перепиской с друзьями» Гоголя, а теперь восторгается Лесковым и курит им, по терминологии последнего, «фимиазмы». Все это ведет к возвеличению и даже ипостазированию «божьего человека», великого в своем ничтожестве, которому не нужно ничто внешнее, мишурное и чья вся сила черпается из соприкосновения с таинственной основой жизни. Словом, старая погудка на новый лад: тот же панегирик смиренномудрия под именем богофильства. Мы все это слышали, и даже очень слышали еще от первых славянофилов. Но те, как люди умнейшие, говорили с осторожностью и не только это, — те же, кто сменил их и кому был не по плечу дух свободы, все же владевший и Аксаковым, и Хомяковым, и Самариным, — те ограничились одними панегириками. Г-н Волынский идет за *этими* и неловко, грубо сводит к *этим* даже Достоевского, которому и поет хвалу.

Я бы на этот счет посоветовал Волынскому или быть осмотрительнее, или уж высказаться не отдельными фразами, часто робкими и как бы неуверенными, а совсем откровенно. В этом направлении он, во всяком случае, не должен опасаться одиночества, хотя и может очутиться в своеобразной компании.

**А.**

*Жизнь. СПб., 1901. № 3 (март)*

## Библиография

### А. Н. МАЙКОВ. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*Издание 7-е А. Ф. Маркса, исправленное и дополненное.*

*В 4 томах. СПб., 1901. Цена 4 руб.*

В художественных произведениях, тем более крупных художественных произведениях, я никогда не ищу направления и не спрашиваю себя, читая их, насколько они «содействуют демократии», и думаю, что лучшая формула искусства в нашей критике дана Аполлоном Григорьевым, который сказал: «Искусство должно осмысливать жизнь, определять разум ее явлений положительно или отрицательно». И только. Направление остается в стороне, но зато во всей его важности выступает вопрос об *идее* того или другого художественного произведения и о том, как эта идея воплощена в образах. Идея должна быть, художник должен положительно или отрицательно определить *разум* изображенных им явлений, дать философскую исповедь о понимании им смысла или бессмыслицы жизни, но в выборе направления он свободен... при том, конечно, условии, если он не взял его в виде казенной субсидии и не кривил душою — что всегда чувствуется — в своих обожествлениях и гипостазированиях. Выслушаем всех, выберем немногое, но пойдём лишь за собой. Это лучше, чем делать из художественной литературы приготовительную школу, лучше потому, что такой взгляд основан на вере человека, на уважении к нему... «Широк человек — я бы его сузил», — с обычной своей экспансивностью говорит Дмитрий Карамазов. Но его формула несправедлива. «Узок человек, страшно узок, и хорошо бы ему расшириться», — это вернее, — расшириться до полного простора своих мыслей, чувств и настроений, до понимания, по крайней мере, что спасение, выход, смысл жизни не в догматических начатках. И в этом случае что лучше художественных произведений? Ведь конечная их цель — та же, что и у науки: определить разум явлений, дать обобщение, синтез фактов жизни. Разница лишь в методах, ибо ядро всякого искусства лирическое, субъективное, лично данному человеку и никому больше не принадлежащее. И это ядро — самое ценное, это смысл жизни, приданный ей всем опытом, всей мыслью, всей организацией человека, наконец, всей совокупностью создавших его условий, — это ответ на вопросы, зачем я живу и чего я хочу?..

Мне извинят эти элементарнейшие мысли, потому что поймут, что, когда перечитываешь Майкова, обойтись без них нельзя. Майков, то замалчиваемый с достаточным упрямством до полного игнорирования, то перевозносимый без достаточного разумения до равенства с Пушкиным, еще не нашел истинного себе места в истории литературы. Ясно одно, что ни в каком случае это не первое место, но и далеко не последнее.

У Майкова много «направленских» стихотворений. Я думаю, что не только мне, но и никому они не могут нравиться, потому что все они без единого радостного исключения казенные и писаны как будто на гербовой бумаге с подписом и приложением печати. Имея в виду именно эти стихотворения, Щедрин как-то хорошо сказал: «Решено предложить г-ну Майкову написать на случай светопреставления гимн». Эти стихи в мундирах и с регалиями можно оставить в покое: пусть в мире почитют до радостного утра. Основной идеи Майкова они не касались.

Основная идея произведений Майкова, подсказанная ему романтической школой или, вернее, ее эллинистским течением, заключалась в сознании радости и красоты жизни, ее веселия — словом, в его «мудром» эпикурействе. Больше всего привлекали поэта Греция и Рим с их пластическими формами жизни, потому что он по существу своему был поэт-пластик, и если бы его музе надо было указать ближайших родственниц среди других муз, пришлось бы остановиться на скульптуре или даже архитектуре, но никак и никогда на музыке. Звук, тех звуков, про которые Лермонтов сказал: «Есть речи, значенье...» — почти не было в его поэзии, — это поэзия холодная, из мрамора, поражающая правильностью линий, строгостью орнаментов. Поэтому лучшими вещами Майкова навсегда останутся его «Антология» и «Три смерти», а то произведение, над которым он работал всю свою жизнь, — «Два мира» — прямо неудачно. Тут Майков захотел быть философом и проповедником: он, государственный по натуре и характеру, захотел быть христианином первого восторженного и мученического века христианства, и, разумеется, ровно ничего не вышло. В своей же сфере он создал чудные вещи, и тень его казенщины ничуть не падает на них.

Можно теперь поднять вопрос, насколько эта казенщина искренна? В значительной ее искренности я решительно не сомневаюсь. Сама сущность майковской природы — его эллинизм, его любовь и пристрастие к правильным формам и ли-

ниям — должна была влечь его к государственности. Индивидуализм, особенно индивидуализм XIX века, всегда протестующий, недовольный, часто буйный и то и дело переходивший в анархию, должен был ему претить, являться чем-то отталкивающим по своей порывистости и беспорядочности, даже отвратительным. Но чтобы рассмотреть сквозь брызги и пену этих Sturm и Drang истинные основы грядущего индивидуализма, к которому, хорошо ли, дурно ли, но неизбежно выбиваются люди, Майков был слишком мало философ и обладал слишком малой художественной пронизательностью. В жизни он различал и любил только готовое, сложившееся, оформленное.

Впрочем, мне надо характеризовать не поэзию Майкова, а новое 7-е исправленное и дополненное издание его сочинений. Оно действительно очень дополненное, и весь 4-й том — это прямо находка для любителей и историков литературы. После него можно сказать, что мы имеем всего Майкова. Совершенно справедливо говорится в предисловии: «Произведения, вошедшие в 4-й том настоящего издания, были в прежнее время помещаемы автором в журналах или входили в издания прежних годов, либо были издаваемы в виде отдельных сборников, но затем исключены из позднейших собраний сочинений А. Н. Майкова им самим». Тут читатель найдет юношеские опыты Майкова, его знаменитую «Коляску» и не менее знаменитого «Отставного солдата Перфильева», смешную и прямо неискusstную вещь «Две судьбы» со странной параллелью между итальянским бандитом и русским помещиком Обломовым, большую и трогательную, хотя слишком уже шаблонную, поэму «Машенька», где рассказывается печальная судьба только что выпущенной институтки, соблазненной кавалеристом, брошенной им и вернувшейся наконец к старику-отцу.

Просматривая этот 4-й том, видишь, как глубоко сидели в Майкове казенные мотивы, как рано и настойчиво заговорили они в нем и как родственна была его натуре риторика. Это поэт-ритор по преимуществу, поэт строгих орнаментов, но ритор хорошей пробы. От этой риторики веет холодком, но она красива.

Само издание изящно, только странно, что при нем нет ни биографии Майкова, ни статьи о нем, ни его писем. Пора бы в пределах возможности и пристойности вскрыть его душу.

**А.**

*Жизнь. СПб., 1901. № 3 (март)*





## Наши за границей

Рим, 10(23) марта

Это заглавие должно возбудить веселые воспоминания в тех, кто читал Лейкина, и невеселые мысли в тех, кому случилось задумываться над вопросом о престиже русского имени в Европе.

Здесь, в Италии, Россию любят, т. е. говорят о ней как о чем-то подающем большие надежды. «Свежая, молодая, девственная раса», «будущий очаг культуры», «Франция XX века» и т. д. Только эти комплименты вы и слышите на первых порах. Но итальянцы — народ не чинный; они скоро сближаются с вами и мало-помалу устраняют неуместные церемонии. И тогда понемногу начинает выясняться перед вами их мнение, что очаг культуры — еще впереди, но в настоящую минуту ваше отечество представляет нечто совсем иное. И на пятый день знакомства они окончательно дают вам понять, что Россия — страна дикая и, главное, глубоко привязанная к своей дикости, добровольно и искренно влюбленная в свой кнут, не доросшая еще ни до сознания своего достоинства, ни до гордости, ни до самолюбия.

До чего это больно — передать нельзя. Не стыдно, а именно больно, потому что ведь все это неправда. Ведь в ответ на эту откровенность так и хочется закричать:

— Ничего вы о России не знаете. Наша интеллигенция опередила вашу, потому что в ее среде двадцать лет тому назад вымерли те предрассудки, с которыми теперь только подумывают бороться ваши новаторы. Ваша женщина только что проснулась, а в России принципиально женского вопроса уже не существует. Вы кричите об ужасах Сибири, и ни одному из ваших ученых не приходит в голову, что Сибирь — только *каторга*, тогда как ваша одиночная тюрьма, на хлебе и воде, при обязательном молчании — это уже *могила*. У вас прокурор обзывает подсудимого подлецом и председатель трибунала ему поддакивает, а у нас нет ни одного ниспровергателя авторитетов, который бы осмелился усомниться в честности и неподкупности русского суда.

Многое можно было бы прибавить: посмотрите только вокруг себя, и мало ли вы найдете в этой цивилизованной Евро-

пе такого, что у вас, на Руси, и лучше, и красивей. Однако, если вы все это выскажете, вам ответят, что в истине ваших утверждений, конечно, не сомневаются, но это тонкости, мелочи, подробности. На суть дела они ничуть не влияют; ваша Россия, и со своими женщинами, и со своими судьями, останется варварской страной; и в доказательство приведут вам факты, после которых вам не захочется глядеть в лицо добрым людям.

Рим — город небольшой; лаборатории здешнего общественного мнения не разбросаны по разным углам, а сосредоточены почти все в четырех залах кафе Араньо. Вечером Араньо наполняется толпой, среди которой есть европейски известные ученые, писатели, политические деятели, и за многими столиками слышатся такие отрывки беседы:

— Странно было бы требовать иного от татар.

— Для меня это — *terra incognita*<sup>1</sup>; я знаю только то, что ее граница — барьер, за который нет доступа прогрессу.

— Пройдет триста лет, прежде чем там подымутся до уровня культурности *Сотта Мокка* (неаполитанский Ванька Рутютю).

Вы слышите эти афоризмы справа и слева, вы знаете, о чем речь идет, и чувствуете, не глядя в зеркало, как пятнами от бешенства багровеет ваше лицо. Что вы можете поделать? Если вы вмешаетесь в беседу незнакомых лиц, над вами посмеются; если вы запустите бутылкой в чью-нибудь голову, вас выведут. А если вы промолчите, сказав себе: «Пусть лают», — это вас не удовлетворит, потому что вы сами знаете, что они не лают по злобе, а говорят от чистого сердца и считают себя правыми. Этого сознания вы в себе не задушите; и куда вы ни пойдете, всюду вы принесете с собой эту не перекипевшую, безысходную горечь, эту обиду человека, для которого стало почти клеймом позора то, чем он хотел бы гордиться.

Тяжело нашим за границей, без вины и без греха тяжело.

**Владимир Altalena**

*Новости дня. 16. 03. 1901*

---

<sup>1</sup> Неведомая земля (*лат.*).



## Рим

24 марта (6 апреля)

На днях в театре «Valle» закончился полугодовой сезон «Дома Гольдони», т. е. труппы драматических актеров под управлением знаменитого Эрмете Новелли. Еще задолго до возникновения «Дома Гольдони» о нем много говорили в Италии. Это — первый опыт оседлой труппы в стране кочующих актеров. Действительно, Дузе, Тина ди Лоренцо, Мариани, Виталиани, Рейтер, Гвальтьери, так же, как Э. Дзаккони, господа Сальвини, Мадджи, Эммануэль, да и сам Новелли до последнего времени, привыкли непрерывно странствовать по всему королевству, не останавливаясь нигде больше чем на месяц. К этому порядку привыкла и публика, которая таким образом у себя в Сиене или Салерно может знакомиться с величайшими артистическими звездами Италии, не имея надобности отправляться ради этого в столицу. Но такая постанковка дела не понравилась Новелли. Побывав в Париже и полюбовавшись на судьбу «Дома Мольера», он решил, в подражание последнему, учредить в Риме Casa di Goldoni<sup>1</sup>, т. е. образцовую труппу для постановки лучших пьес, особенно национальных, и притом труппу «постоянную», на весь зимний сезон. Таким образом, на пять месяцев в году остальная Италия отныне лишается своего лучшего артиста и его прекрасной труппы во славу, честь и пользу города Рима, в котором 500 тысяч жителей.

С таким порядком давно примирились Франция и Россия, где, к сожалению, не в одном только этом выражается умственная централизация; в Италии, где централизация не может похвалиться симпатиями общества, затея Новелли должна была вызвать протесты. Так и случилось — в провинции; римляне, конечно, были в восторге. Новелли отдал заново театр «Valle», повесил раздвижной бархатный занавес, и с 1 ноября прошлого года начались спектакли «Дома Гольдони».

С первых же вечеров бросилась в глаза разница с предыдущими опытами. Когда, бывало, Новелли приезжал только на месяц, театр был ежевечерне полон. Теперь, когда впереди было полгода, никто особенно не торопился. И в результате из всех 144 спектаклей истекшего сезона вряд ли 25 дали такие

---

<sup>1</sup> Дом Гольдони (итал.).

сборы, какие в прежние приезды повторялись по пять раз в неделю. И это — несмотря на гений Новелли, на достоинства его труппы и на невиданную в Риме роскошь и точность постановки. Кроме того, пришлось бросить иллюзию об образцовом репертуаре. Для привлечения публики на афишах «Дома Гольдони» замелькали французские фарсы в 3 действиях, и они-то именно, а не комедии Гольдони, повторялись по десять раз и давали наибольшие сборы. Оседлый театр в Риме потерпел неудачу; тем не менее Новелли в прощальном слове к публике объявил, что намерен продолжать. В ноябре «Дом Гольдони» снова откроется, снова на полгода, и ... снова, конечно, с расчетом на неуспех, о котором жалеть не следует, потому что оседлость и неприлична, и несвойственна искусству.

В Риме пользуется успехом только одна оседлая труппа, но у нее совсем особый характер. Это — труппа дешевого театра Манцони, уже лет пять не покидающая своего поста. Театр Манцони расположен в верхней части города, населенной всякого рода мелкими сошками полуинтеллигентного типа — например, чиновниками на окладе в 1200 франк. годовых с вычетами. Этот люд читает газетку «Mesaggero» и увлекается ее фельетонными романами; каждый такой роман по окончании печатания поступает в руки драматурга, который сдает его театру Манцони в виде *dramma spettacolo*<sup>1</sup> в 7 действ. и 11 карт. Пьеса обставляется сценическими эффектами — крушениями поездов, взрывами, битвами, — все это устраивается дешево, наивно, лубочно, зато смело, и публика — те же чиновники с чадами и домочадцами — валом валит. И благодаря этой системе плохонькая труппа Манцони пятый год держится на одном месте и солидно обогащает своего антрепренера Маури. Насколько Маури богат, это он показал в прошлом году постановкой переделки «*Quo Vadis*»<sup>2</sup>. Такой роскоши и такого вкуса декораций римляне и в лучших театрах почти не видели. Постановка «*Quo Vadis*» составила в Риме событие; Манцони в течение первых недель был все время полон непривычно элегантной публики; пьеса по удвоенным ценам шла в Риме около 70 раз подряд.

Денежный успех позволяет Маури изредка сделать «пердышку» и между двумя *drammi spettacoli* вставить что-нибудь более или менее серьезное. Иногда идет «Гамлет», иногда

---

<sup>1</sup> Драма-зрелище (*итал.*).

<sup>2</sup> «Куда идешь» (*лат.*).

«Риголетто» («Le Roi s'amuse»<sup>1</sup>), Гюго и т. д. Недавно шел впервые в Италии зудермановский «Иоанн», впрочем, без всякого успеха.

Труппа Манцони очень интересна в психологическом отношении. Исполнители вторых ролей, конечно, смотрят на нее как на преддверие лучшего будущего: из молодых актрис и актеров, игравших года три тому назад у Маури, некоторых я теперь узнаю в *entourag'e*<sup>2</sup> Эммануэля, даже Новелли. Иное дело «столпы» труппы, синьора Борризиди и ее партнер Дилло Ломбарди. Очевидно, в материальном отношении им живется хорошо, успех у публики, постоянный и шумный, обеспечен, так что они довольны своей судьбой и не желают большего. Играют они, конечно, с полным сознанием того, что за зрители перед ними, т. е. вполне спустя рукава. Я одно время очень интересовался театром Манцони, часто посещал его и, глядя на Борризиди, привык считать ее бездарностью, пока случайно не увидел ее в роли Zaza. Видно, роль пришлось актрисе по душе, страхнула с нее обычную флегму и обнаружила под пеплом недюжинное дарование. Г-жа Ирма Граматика, артистка высшего полета, считающаяся, после Тины ди Лоренцо, чуть ли не второй Zaza в Италии, по-моему, бесконечно в этой роли слабее синьоры Борризиди, хотя последняя и произносит имя *Duffresne*, как *Дуффрезне*.

*Дуффрезна* играл Дилло Ломбарди, и тоже недурно. Ломбарди и по таланту, и по внешним данным мог бы занять выдающееся место на образцовой сцене. Но при начале карьеры с ним вышло несчастье: он повздорил с известным артистом Чезаре Росси и ударил того по щеке. Это закрыло ему доступ в лучшие труппы Италии; он попал к Маури, и у Маури, вероятно, и скоро тает век. Он играет Петрония, Риголетто, Гамлета, героя из «Пиратов саванны» или «Брильянтового ожерелья» и все, что угодно. На сцене он держится, как у себя дома, не только не чувствуя никакого стеснения или волнения, но прямо даже скучая. Его пренебрежение к публике таково, что еще реже, чем у Борризиди, выпадают у него моменты оживления. Они для него излишни: и без того ему аплодируют. У этого артиста талант, внешность, манеры, опытность, даже, вероятно, денежная обес-

<sup>1</sup> «Король забавляется» (фр.).

<sup>2</sup> В окружении (фр.).

печенность и со всем тем его дарование, точно излишнее бремя, остается скрытым и атрофируется.

Мне кажется, что это — единственные условия, при каких в Италии может существовать оседлое искусство.

*Владимир Altalena*

*Новости дня. 31.03.1901*

## **Библиография**

### **Я. Г. ГУРЕВИЧ. К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ НАШЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ**

*СПб., 1900*

Г-н Гуревич, по собственному его свидетельству, 32 года занимается педагогической деятельностью и последние 17 лет состоит директором классической гимназии и реального училища. Критика и благие пожелания, выросшие на почве столь продолжительного опыта, должны быть выслушаны с особым вниманием.

В системе нашей средней школы г-н Гуревич нашел 14 *главных* пунктов, справедливо возбуждающих его недовольство. Эти 14 пунктов следующие:

1) Преподавание в наших средних учебных заведениях всех родов и типов лишено национального характера и вместе с тем не имеет и общеобразовательного характера.

2) Во всех средних учебных заведениях обнаруживается крайний недостаток в хорошо подготовленных к своей педагогической деятельности и вполне опытных преподавателях и воспитателях; преподаватели же и воспитатели по призванию, а не по профессии, составляют везде отрадное, но лишь весьма редкое исключение.

3) Вследствие скудного вознаграждения за свой труд преподаватели средних учебных заведений слишком обременены уроками и настолько переутомлены, что большей частью даже при достаточной педагогической опытности и подготовленности к своей преподавательской деятельности исполняют свои обязанности лишь формально, не добиваясь настоящих результатов.

4) Во всех средних учебных заведениях свободный личный почин и творческая деятельность преподавателей не только в отношении выполнения программ, но даже в отношении

методических приемов крайне стеснены искусственной регламентацией и установленными в деталях программами и объяснительными записками.

5) Во всех средних учебных заведениях, за исключением лишь корпусов, переполнение классов является неодолимым препятствием для правильного ведения учебно-воспитательного дела.

6) В преподавании различных предметов курса средних учебных заведений не установлено никакой внутренней взаимной связи. Такой связи, вследствие несогласованности программ различных предметов, не существует даже между наиболее близкими и однородными по своему существу предметами.

7) Изучение всех предметов носит крайне поверхностный характер и не дает никакого серьезного и твердого знания.

8) Способ изучения различных предметов, с одной стороны, далеко не в достаточной степени является наглядным, а с другой — недостаточно проникнут объединяющими принципами мысли и сводится главным образом к обременению памяти или, говоря проще, к простому неосмысленному зубрению, а потому и не имеет ни образовательного, ни воспитательного влияния.

9) Усвоение учебного материала значительной долей своей тяжести ложится на внеклассное время учеников, так как классная работа оказывается при существующих условиях малопроизводительной.

10) Недостатки школьного преподавания не могут быть возмещены и самостоятельным чтением учащихся, так как для последнего они не располагают достаточным количеством свободного времени.

11) Система поощрения учащихся при посредстве оценки их успехов ежедневными отметками заключает в себе элементы, противные воспитательным целям, придавая обучению характер корыстный, возбуждая по преимуществу внешнюю заинтересованность результатами работы.

12) На физическое развитие учащихся обращено в наших школах слишком мало внимания, что выражается и прямым пренебрежением их к физическим упражнениям, и антигигиеничностью обстановки умственного труда учеников.

13) Индивидуальность учащихся вследствие чисто формального отношения к ним во время пребывания их в стенах средних учебных заведений систематически ступшевывается и стирается.

14) Самодеятельности учащихся предоставлено в наших школах слишком мало простора, так как педантичность нашей школьной системы, требующая от учеников равномерно удовлетворительных познаний по каждому из многочисленных предметов учебного курса, лишает их возможности проявить искренний преобладающий интерес к известной группе учебных предметов.

Эти 14 главных коренных недостатков нашей средней школы производят довольно внушительное впечатление, хотя вы и видите, что до самого главного г-н Гуревич еще не дотронулся. Об этом самом главном — после. Пока же познакомимся подробнее с критической частью работы почтенного педагога, прошедшего через горнило реформы Толстого—Каткова—Леонтьева и усовершенствований графа Делянова.

По мнению г-на Гуревича, отечествоведение поставлено в наших школах ниже всякой критики. Знание родного языка, родной литературы, родной географии и истории, родной флоры и фауны не только не выдвинуто на первый план, но усваивается кое-как, второпях, с массой ненужных мелочей, с забвением всего существенного. Автор признает, что «наше учащееся юношество и по окончании курса довольно безграмотно, не умеет правильно и свободно излагать свои мысли ни письменно, ни устно». О большем нечего и говорить.

Во имя же чего приносится такая жертва, как жертва родным языком? Во имя успехов классической филологии? Но «настоящего знакомства с классическим миром средняя школа у нас не дает», и «в действительности мы видим только умение лучших абитуриентов свободно разобраться в тексте немногих прозаиков и поэтов, греческих и римских, в переводе которых они, так сказать, натасканы».

«Знание новых языков оканчивающими курс в гимназиях и реальных училищах также очень слабо». «Познания учеников по всеобщей географии при окончании ими курса гимназий и реальных училищ можно назвать прямо позорными». «Что касается всеобщей истории, то торопливое прохождение ее дает ученикам лишь крайне поверхностное знание и притом чисто внешних фактов, преимущественно из области генеалогии и хронологии, забываемых тотчас же по окончании выпускных экзаменов». «Совершенное отсутствие естествоведения в курсе классических гимназий представляет такой крупный пробел в смысле общего образования, что мириться с этим пробелом совершенно невозможно», и т. д.



Словом, результаты не оставляют желать ничего большего, и надо удивляться лишь мудрости и заботливости природы, не позволяющей воспитанникам средней школы впадать в безнадежную тупость.

Дальше г-н Гуревич говорит об обширности программы, торопливости преподавания, переполнении классов учащимися (до 70 человек!), отсутствии хороших преподавателей, переобременении учащихся большим количеством чисто механической работы и т. д., словом, о вещах общеизвестных, но способных произвести на читателя довольно сильное впечатление, раз они собраны вместе.

Теперь очередь главного:

«Но кроме всех вышеозначенных недостатков, наши средние учебные заведения, как мужские, так и женские, страдают еще одним общим им всем недостатком, а именно: совершенно формальным, казенным отношением к учащимся, игнорированием их индивидуальности, низводящим каждого субъекта до номера в журнале, словом, совершенным обезличиванием учеников. Нравственной связи между учащими и учащимися не существует, семейная обстановка и особенности их личного развития, их характера и ума оставляются без всякого внимания; ко всем ученикам прилагается одна и та же мерка, и отношения начальства и преподавателей к ученикам зиждутся большей частью на принципиальном недоверии к ученикам».

Откуда такое *принципиальное* недоверие? Оказывается, что наряду с чисто грамматическим преподаванием (NB. Между прочим, интересно, что из 29 недельных уроков в IV классе 17, или с лишком 58%, уходят на изучение грамматик разного рода и вида) это недоверие составляет дух и motto<sup>1</sup> системы нашей средней школы. На с. 33 своей брошюры г-н Гуревич извлекает любопытный факт из посмертной записки бывшего министра народного просвещения барона А. П. Николаи, озаглавленной «*Pia desideria*»<sup>2</sup>. Оттуда мы узнаем, что «при применении гимназического устава 1871 года» имелось в виду, что «усиление изучения древних языков должно способствовать отрезвлению юношества от современного свободомыслия, религиозного и политического». Раз школа поставила себе эту совершенно для нее чуждую полицейскую и охранительную задачу, то результаты оказались немедленные и внушительные.

---

<sup>1</sup> Руководящая идея, девиз, motto (*итал.*).

<sup>2</sup> «Благое желание» (*итал.*).

Надо, между прочим, отдать должное нашим педагогам. Они в большинстве случаев просто-таки устремились к исполнению полицейской задачи и довели ее до совершенства. Впрочем, я их не виню.

Развивать благонамеренность, особенно так, как она всегда развивается, т. е. «пресечением» вольнодумных мыслей, системой наказаний, «изъятием» злых из среды учащихся — дело сравнительно легкое и даже пустое. Ученик заражен «нигилизмом» или другой проказой — вон его! Для этого, как хотите, никаких умственных способностей не требуется. Другое дело — преподавание, не пародия на него, а настоящее. Тут без дарования, без серьезных знаний, без полной искренности, без сознания огромной ответственности, падающей на тебя за отданные почти в полное твое распоряжение юные души, — обойтись нельзя. Учитель должен сам учиться всю жизнь — это истина. Учитель должен искренне любить свой предмет — тоже истина. Учитель — это подвижник, и это справедливо. Но когда от учителя требуется прежде всего, чтобы его ученики были благонамеренны, зачем ему знания, зачем любовь к делу, зачем подвижничество? Достаточно «пресекать» всякое нарушение тишины и спокойствия, достаточно преследовать всякое вольнодумство, достаточно изымать злых из школы... Примите теперь во внимание, что большинство рода человеческого, к которому надо причислить и педагогов, невежественно, глупо и прежде всего лениво. Как вы думаете, когда перед большинством два пути: один, требующий постоянного напряжения всех духовных сил, постоянной работы, постоянного самообразования и самоусовершенствования, другой, ровно ничего не требующий, кроме единиц в журнале, кроме записей там же, кроме соблюдения чисто формальной стороны дела, — по которому пути пойдет оно? Не надо быть глубоким психологом, чтобы угадать, что выбран будет второй путь, особенно же, если этот выбор получает хотя бы некоторое поощрение свыше. Это то же самое, как в наших бывших корпусах и военных училищах. Были поставлены две цели: образование и шагистика. Преодолела шагистика, как легче осуществимая, как нечто вполне определенное. И Катков, ставя средней школе две задачи — серьезное знание и борьбу с нигилизмом, — радостно приветствуя все эти «не потерплю», злобно оплевывая единственный живой предмет наших прежних гимназий — русскую словесность, преподавание которой, по его мнению,

обратилось у нас в злонамеренное фразерство, тем самым обрек свое излюбленное детище — классическую среднюю школу — на полное и необходимое разложение.

Дело в том, что если вы хотите добиться от человека чего-нибудь мало-мальски хорошего, честного, вы должны обращаться и взывать к *высшим* мотивам, на которые он только способен, а уж никак не к низшим. Низшее же породит лишь презренное, и как раз в таком положении очутились господа педагога. Катков не говорил им: создайте благородных людей, развейте их самостоятельную мысль до той степени, до которой она только может подняться в их возрасте, научите их и своим обращением, и своими поступками, и своим характером, и теми великими образцами свободного творческого духа человека, которые у вас под руками, презирать все бесчестное, лживое, неискреннее, приспособляющееся, все ползающее, — он говорил им: изыскивайте неблагонадежные мысли, неблагонамеренные чувства и искореняйте их. Ищите, ищите и еще раз ищите.

Результат получился как раз такой, какой мы видим.

Что касается положительной, или созидающей части брошюры г-на Гуревича, то, право, о ней как-то стыдно говорить. Это ни то ни се, ни холодное ни горячее, ни Богу свечка ни черту кочерга. Г-н Гуревич объявляет себя сторонником реальных гимназий, т. е. реальных училищ с латинским обязательным языком. Эти реальные гимназии существовали когда-то в России, в 1866—67 годах, их горячо защищали наши либералы из «Голоса» и «Вестника Европы», потом о них как-то забыли.

Зачем г-ну Гуревичу латинский язык — я не знаю. Кажется, что и сам г-н Гуревич этого не знает. Вот что он говорит по этому поводу:

«Если продолжительное изучение обоих древних языков не может дать серьезных результатов и по необходимости приводит лишь к поверхностному изучению обоих, а всякое поверхностное изучение какого бы то ни было предмета действует, несомненно, крайне вредно на развитие ума, то не лучше ли, спрашивается, в видах более правильной постановки учебного дела и достижения более серьезных результатов в средней школе, ограничиваться изучением одного лишь из древних языков, но более основательным, чем в настоящее время, сделав изучение обоих древних языков обязательным лишь для желающих

поступить на историко-филологический факультет и, если уже это никак не считается возможным, то и для избирающих юридический факультет и факультет восточных языков. Но какой из обоих древних языков следует сделать необязательным, латинский или греческий?

*Несмотря на то, что греческая литература несравненно богаче и самобытнее, чем римская, мы все-таки смеем думать, что изучению латинского языка должно быть отдано преимущество, так как серьезное изучение латинского синтаксиса в связи с изучением авторов имеет, по нашему мнению, большее значение для развития логического мышления, чем разнообразие глагольных форм греческой этимологии (синтаксис греческого языка значительно проще латинского) и богатой греческой синонимии».*

Это рассуждение с любой стороны перловое (от слова «перлы»). Полезно отметить прежде всего, что латинскому синтаксису отдается предпочтение перед греческим, потому что последний *проще*. Латинский синтаксис полезнее, потому что он *сложнее*, а следовательно, имеет большее значение для развития логического мышления. Но действительно ли греческий синтаксис так прост и не представляет ли из себя синтаксис латинский — груду правил, а рядом с ними целую «свалку» примечаний, исключений, в которых даже специалисты-классики никакой логики не видят, а поясняют примерами: у одного автора так, у другого — иначе, а у третьего — тоже иначе.

Я, впрочем, не в защиту греческого синтаксиса говорю. Интересы греческого синтаксиса далеки от меня на расстояние земной окружности. Меня интересует логика: «сложнее — значит полезнее».

Логика эта показывает, что русские педагоги все еще не могут отрешиться от взгляда на русскую молодежь как на каких-то грешников, души которых должны непременно пройти через сорок мытарств, взобраться на горы, усеянные терновником или засыпанные битым стеклом, чтобы принять сколько-нибудь благообразный вид. Вот что действительно грустно. А еще грустнее то, что основное правило истинного преподавания — чтобы работа ученика являлась действительно творческой работой, а не механическим зазубриванием — совершенно забывается. Творческой же работой усвоение груды и свалок латинского синтаксиса никогда для русского ученика быть не может, потому что для нее нет органической почвы. Этой органической

почвой может явиться лишь постижение *духа* языка, на что надо затратить не 5 лет, как проектирует г-н Гуревич, а по крайней мере 25, да еще при особенно счастливых и даже исключительных способностях.

Если мы действительно хотим признать преимущество сложного над простым, то надо обратиться не к латинскому синтаксису, а к формальной аристотелевской логике, разработанной до совершенства средневековыми схоластами. При изучении ее действительно имеется в виду лишь развитие логического мышления, а по части сложности — это настоящая головоломка. Но, насколько мне это известно, до оживления этого рудимента, бывшего некогда основой преподавания, никто еще не дошел даже из господ с полувековой педагогической опытностью.

И к чему так уже заботиться о логическом мышлении! Разве геометрия Эвклида не совершенный образец человеческой логики? Разве знакомство с несколькими диалогами Платона или сочинениями Локка, или некоторыми главами из этики Спинозы не даст ученику больше, чем все синтаксисы, вместе взятые, уже потому, что это ему доступно, а синтаксис, как венец филологического знания, что прекрасно доказано, например, Спенсером, навсегда останется ему недоступным.

Одинаково невозможно защищать латинский язык и с той точки зрения, что он нужен для прохождения того или другого факультета. Когда люди говорят так, они забывают, что опыт высших женских курсов совершенно опроверг все их рассуждения на эту тему. Оказалось из этого опыта, что при желании для усвоения всего курса латинского языка, растянутого в наших гимназиях на 8 лет, достаточно 8 месяцев. И это, несмотря на строгость экзаменов. Думаю, впрочем, что для юриста и для медика латинский язык скорее не вреден, чем полезен.

Вообще думаю, что не синтаксисы нам нужны, а уважение к достоинству ученика и развитие самостоятельности его мысли всеми доступными средней школе способами.

**А.**

*Жизнь. СПб., 1901. № 4 (апр.)*



## *Бунтующая Россия*

### НАСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

В дополнение к нашим комментариям по поводу вздорных рассуждений корреспондента неаполитанской газеты «Трибуна» о студенческой демонстрации в Петербурге мы с удовольствием публикуем отклик русского студента на, мягко говоря, благоглупости новоявленного казака-неаполитанца.

Корреспондент «Трибуны» сообщает из Петербурга, что «русское общество в массе относится к студенческим выступлениям резко отрицательно», и, не будь казачьих нагаек, обрушившихся на демонстрантов, «общество само бы восстановило закон и порядок». Такова, по его скромному мнению, «чистая правда», которую он высказывает, «не опасаясь опровержений». Позволю себе, однако, предъявить ему самое решительное и полное опровержение, добавив при этом, что свое невежество в русских делах он демонстрирует не впервые.

Он говорит, что в моем отечестве все слои общества настроены против студентов. Вот, мол, и простой люд провожал возгласами осуждения и презрения колонну арестованных студентов, когда ее под конвоем казаков уводили от Казанского собора. Вот и дворяне, помещики, капиталисты, даже мелкая буржуазия порицают поведение университетской молодежи (то есть собственных сыновей и братьев). А все потому, что «русский народ не хочет свободы», будучи твердо убежден в превосходстве России над либеральной Западной Европой, на которую он взирает «со снисходительной жалостью».

Во всем этом нет ни слова правды. В апреле 1899 года я был в Одессе и тоже видел, как полицейские под конвоем вели в тюрьму студентов-«обструкционистов». А из толпы неслись возгласы: «Да здравствуют студенты!» и «Молодцы, ребята!» Я не слышал никаких выпадов против этих молодых людей, не слышал ни «гомерического хохота», ни «слов презрения» — я, понимающий по-русски, чего, боюсь, нельзя сказать про синьора корреспондента. Зато слышал, как крючники нижнего порта, так похожие на знаменитых «босяков» Максима Горького, говорили, сжимая кулаки: «Эх, нас там не было, когда

вели студентиков, — мы бы с полицией за все расквитались!» А ведь в Петербурге с его школами и народными театрами, с его многочисленным рабочим классом простой народ, несомненно, «краснее», чем в Одессе.

Бывают, правда, и манифестации другого рода. Когда по какому-либо важному случаю требуется показать России и всей Европе, как горячо «народ-суверен» предан государственной власти, соответствующие проявления массового восторга организует полиция. Дабы изобразить ликование, народу приказывают кричать «ура!», и он охотно кричит. «Народный гнев» тоже направляется и финансируется полицией. Это по ее наущению хорошо оплаченные московские мясники набросились с палками и кулаками на участников студенческой демонстрации. Мясники выполнили почетное задание, показав наивным людям, что простой народ ненавидит либералов.

Так что если даже корреспондент «Трибуны» и слышал 4—17 марта какие-то выкрики против студентов, это доказывает только то, что у русской полиции есть деньги и что есть негодяи, их с готовностью принимающие. Но есть и другие люди, дети того же простого народа, которые выступают заодно со студентами, как это сделали рабочие Петербурга и Москвы, а уж им-то, можно не сомневаться, не платил никто!

При всем том я вовсе не собираюсь отрицать, что в массе простой народ России («народ-суверен», как пишет корреспондент) совершенно равнодушен к политике. Равнодушен — да, но враждебен студентам — нет. Русскому народу, для которого голод стал хронической болезнью, не до споров либералов с правительством. Он не думает о политике и не знает, что такое парламент и конституция. Русским либералам хорошо известны покорность, инертность, безучастность народа, настолько привыкшего страдать, что для него страдание — необходимый и естественный элемент человеческой жизни наподобие дыхания.

Вот почему ни одна из конституционных партий России не питает иллюзий насчет возможной поддержки со стороны народа в случае революции. Русские либералы и социалисты любят народ, борются за его благо, но не просят у него одобрения или содействия, веря, что оно неизбежно придет после того, как великая победа принесет первые плоды.

Истинный *народ-суверен* в России, то есть тот, что формирует общественное мнение и чье слово будет законом, когда Московия станет конституционным государством, — это класс

культурных, мыслящих людей, так называемая *интеллигенция*. Именно они, помещики, фабриканты, предприниматели, адвокаты, и есть *российское общество*, а не мясники, избивающие студентов. Их, а не простых людей боится русское правительство, потому что только у них есть сила, которую не раздавить конскими копытами. И если корреспондент «Трибуны» считает, что это общество, единственно подлинное и авторитетное в моей стране, враждебно любому либеральному движению, то он или заблуждается, или хуже чем заблуждается.

После студенческих беспорядков 1899 года царь Николай через «Правительственный вестник» дал знать, что крайне недоволен отношением русской публики к этим событиям: вместо того чтобы урезонить студентов, указать им, что они неправы, публика их поддерживала и поощряла. Да и как иначе, если у каждого из тех, кто составляет у нас «публику», были в рядах бастующих студентов сыновья, братья, кузены! Русская публика в принципе не хочет свободы?! Воистину синьор корреспондент не знает русского языка, не вхож в культурное петербургское общество, не читает наших газет. В противном случае ему было бы ведомо, что восемьдесят наших периодических изданий из ста придерживается либерального направления, что восемьдесят процентов наших образованных людей грустно вздыхают по конституции и парламенту, завидуя Западной Европе, а не поглядывая на нее «со снисходительной жалостью», что *марксизм* (полуофициальное название социализма) распространяется, как эпидемия, среди русской молодежи обоего пола...

Кстати, насчет пола. Мне кажется, что корреспондент «Трибуны» испытывает явную неприязнь к той части русского студенчества, что принадлежит к *прекрасному* полу (курсив его). На его взгляд, русские студентки ужасно непривлекательные: коротко стриженные, в очках, плохо одеты. Ему бы подумать, что они не виноваты в своей невзрачности, они не могут хорошо одеваться, потому что бедны, а близоруки оттого, что должны много заниматься и много работать ради хлеба насущного для себя и своих близких.

Кроме того, ему не по вкусу «дикие выходки», с какими петербургские студенты празднуют годовщину родной *alma mater*. Что тут скажешь? В каждой стране свои обычаи. На Руси действительно гуляют широко, с сумасбродствами и битьем посуды. Я не говорю, что это хорошо, но в России так веселятся все, не только студенты. И не одни только русские студенты



отмечают университетские праздники подобным образом — немецкие бурши в просвещенной Германии ведут себя точно так же.

Синьору корреспонденту угодно писать о том, как студенты напиваются, что случается раз в году, но не о том, как те же студенты ради науки терпят голод и холод. Как закладывают зимой единственное пальто, чтобы помочь товарищу заплатить за обучение. Как жертвуют короткими часами отдыха, давая бесплатные уроки юношам, которые тянутся к знаниям, но не имеют средств.

Похоже, синьор не только плохо информирован — он злонамеренно жлет. Позор!

**Vladimiro Giabotinski**

*Avanti!* 10.04.1901<sup>1</sup>



**Рим**

2 (15) апреля

Сегодня папа Лев XIII назначил двенадцать новых кардиналов; таким образом, священная коллегия отныне является почти пополненной: в ее состав входят 67 красных прелатов, тогда как *plenum*<sup>2</sup> считается число 70.

«Tribuna» приводит по этому поводу следующие данные: из 67 кардиналов итальянцы составляют большинство — 40 мантей; из 27 иностранцев 7 принадлежат к французской национальности, 7 — австро-венгерцы, 5 — испанцы; англичан трое, германцев двое, португальцев, бельгийцев и янки — по одному. Только три кардинала из всей священной коллегии получили свое настоящее звание еще до восшествия на папский престол Льва XIII — Орелли, Парокки и Ледоховский; остальные все назначены теперешним папой, который за время своего правления проводил в могилу 136 князей церкви. Старейший по возрасту из кардиналов — Челезия, архиепископ Палермо, которому 89 лет; младшему, новоизбранному чеху Льву Скрбенскому, бывшему драгунскому офицеру, всего 38 лет.

Результаты сегодняшней «консистории» имеют важное значение для международной политики. Прежде всего удалена возможность избрания в преемники Льву XIII неитальянца.

<sup>1</sup> Пер. с итал. Гр. Ротенберга.

<sup>2</sup> Полный (лат.).

Вчера еще коллегия состояла из 30 итальянцев и 25 иностранцев: при таком составе на престол легко мог бы попасть, не приведи Бог, француз, что повлекло бы за собой осложнения с Германией. При теперешнем составе избирательной коллегии можно наверняка предсказать преемника-итальянца. Как известно, на папский престол имеет виды и шансы кардинал Рамполла, государственный секретарь теперешней курии.

Именно партия Рамполлы — непримиримые консерваторы — значительно усилена сегодняшними назначениями, что довольно важно и для Италии, и для других католических стран. Для Италии торжество Рамполлы означает продолжение комически враждебных отношений с церковью и непринятие клерикалами участия в политических выборах. Для остальных государств — продолжение той слепой и упорно реакционной тенденции, которая в Австрии породила девиз: «Los von Rom!»<sup>1</sup>, во Франции — закон против конгрегаций, в Испании и Португалии — вспышки антиклерикального мятежа.

В самой Италии нелюбовь к клерикалам вообще ярко проявляется, может быть, потому, что формально (только формально) здесь положение духовенства далеко не почетное и не торжествующее. Но внутри тлеет застарелое раздражение против всей организации папской церкви; в некоторых случаях это раздражение прорывается наружу. Так было в Риме полтора месяца тому назад по поводу смехотворной истории с прекрасными, но раздетыми нимфами работы Рутелли, против постановки которых на открытой площади, вокруг фонтана Termini, запротестовали клерикалы капитолийской думы. Раздраженное население, как известно, по собственному почину разнесло деревянный забор, скрывавший нимф от взоров публики, и клерикалам пришлось примириться с совершившимся фактом. Это дело не прошло без шумных демонстраций, доказавших нерасположение римлян к «черной партии».

**Владимир Altalena**  
Новости дня. 13.04.1901

---

<sup>1</sup> Вон из Рима! (нем.).



## ***Русские студенты: кто они и чего хотят***

Вот что рассказывал мне русский доктор, выпускник Парижского университета.

— Сам я из Иркутска. Вырос в этом сибирском городе и закончил духовную семинарию. Посчитав мое образование законченным, дядя, в доме которого я воспитывался (у меня не было родителей), решил сделать меня приказчиком в своем пушном деле. Я же заявил, что хочу учиться на врача. В ответ мне было замечено, что в Иркутске нет университета, а я сказал, что медицину можно изучать и в другом месте. Тогда дядя велел слуге принести плетку, привязал меня к лавке и выпорол. Через неделю я бежал из Иркутска. В кармане у меня было семьдесят рублей (двести лир). Где пешком, где с попутными обозами пересек всю Сибирь. В Москве узнал: семинарского свидетельства недостаточно, чтобы поступить в университет: требуется гимназический аттестат. Семьдесят рублей мои к тому времени превратились в тридцать. Нашел знакомую курсистку, дочь богатого иркутского купца. Она одолжила мне пятьдесят рублей, поцеловала в лоб, и я направился во Францию. Приезжаю в Париж. Учебный год в Сорбонне еще не начался, поэтому земляков — никого, а я — ни слова по-французски, и в кармане ни сантима. Обратился к священнику нашего посольства, показал свидетельство из семинарии и попросил работы, но он прогнал меня, заподозрив, что я «нигилист». Делать нечего. Пошел на железнодорожный вокзал, стою у выхода. Увидел господина с чемоданом, жестами показал, что могу поднести его багаж в гостиницу, поднес и заработал пару монеток. А вскоре вернулись после каникул русские студенты. Один из них нашел мне временную работу, другой согласился учить французскому языку... И вот теперь я дипломированный доктор медицины и хирургии.

Было это лет десять-пятнадцать назад. Не думаю, однако, что с тех пор что-то серьезно изменилось. Любовь к науке, отвага, энергия, железное упорство, бескорыстная взаимоподдержка, — все это осталось, но осталась, увы, и нищета. Студент-носильщик — конечно, редкость, зато совсем не редкость

студент-переписчик, которому платят двадцать копеек (пол-лиры) за четыре стандартные страницы. В Харькове, городе сравнительно небольшом, но крупном университетском центре, студент-репетитор за ежедневный часовой урок получает кусок хлеба с маслом и пару стаканов чая.

В таких же примерно условиях находятся и курсистки Петербурга и Москвы: работа, работа, работа, изо дня в день, изо дня в день...

Объединяет и поддерживает студентов их солидарность, их постоянная готовность помочь друг другу. У кого нет семьи, те питаются в дешевых столовых, принадлежащих студенческим комитетам. Создаются, несмотря на недоброжелательное отношение властей, кассы взаимопомощи, спасающие от отчисления из университета множество молодых людей, которые не имеют возможности вовремя вносить плату за учебу. Подобные организации — большое подспорье в нелегкой студенческой жизни, а землячества в Московском университете — это вообще какое-то чудо, своего рода шедевр.

Сидя долгими часами на лекциях, бегая по частным урокам, обучаясь и обучая, русские студенты — молодые люди и барышни — еще и успевают прочитывать *все журналы\**, просматривать все новые книги по экономике и проводить ночи напролет в шумных и бесконечных спорах о коммунистической природе крестьянской общины.

В глазах студентов-мужчин барышня-курсистка это друг, товарищ. Конечно, женщина, но не самка. Все они ужасные материалисты, но в том, что касается любви, каждый русский человек немного Лев Толстой.

Десять студентов могут быть платонически влюблены в какую-нибудь хорошенькую курсистку, кокетливую, как все русские барышни, однако никто из них не станет говорить ей о любви, считая это чувство чем-то неважным, второстепенным. Танцевать — пожалуйста, вместе веселиться до упаду и куролесить — сколько угодно, но ухаживать за товарищем?! Фи, какой пережиток, занятие для «белоподкладочников».

«Белоподкладочниками» зовут франтоватых студентов, проводящих дни в катании на велосипеде, а ночи — за игрой

---

\* Иностранцы не представляют себе, какую роль «толстый» журнал может играть в России, где каждый номер марксистского ежемесечника «Жизнь» становится событием.

в бильярд. Они составляют незначительную часть русской университетской молодежи, и даже среди выходцев из богатых и аристократических семей их процент не так уж велик.



Сегодня русское студенчество поднимается, бунтует, какает притеснителей, вырывает у правительства. В связи с этим — два вопроса: почему ввязываются в политику люди, чей долг — учиться? и — чего эти люди хотят?

Те, чей долг — учиться, то есть *гетти*, бунтуют, потому что *отцы*, безвольное поколение маленьких *гамлетиков*, на бунт не способны. У этих молодых людей есть право на свой голос в политике, потому что они едва ли не самый чуткий барометр на российском государственном корабле, магнитная стрелка его компаса. Не эта стрелка управляет кораблем, но горе капитану, если он не сверяется с ней. В конце концов, восставать — их долг, потому что у них одних есть некоторый шанс на успех. Народное или рабочее восстание можно задушить, потопив его в крови, тогда как против студентов нельзя применить ничего сильнее нагайки («бьет, но не убивает»), не рискуя оскандалиться перед всей негодующей Европой. А скандалов у нас боятся больше всего на свете.

Так чего же хотят русские студенты? Они хотят воздуха, хотя бы немного воздуха, потому что порой кажется, что в России вообще нечем дышать. Умственная жизнь кипит, мысль бьет ключом, а во рту — кляп, и все двери закрыты. Русские студенты хотят простора для приложения своих сил, труда на благо страны и недопущения жандармского произвола. Они не требуют слишком многого. Об отмене самодержавия даже речи не идет. Речь идет об устранении придворной камарильи, о полном изменении существующих порядков, о новом правительственном курсе, при котором в России можно было бы дышать. Они хотят воздуха, воздуха и еще раз воздуха, а значит — свободы.

Хотят — и добьются!

Не будь у меня этой уверенности, я не стал бы так откровенно говорить о бедах моего отечества. Это больно — выставлять язвы родной страны напоказ чужим людям, особенно в такой момент, как нынешний, когда и без того хватает пощечин вроде

выкрика «долой Россию!», который мне пришлось услышать в актовом зале Римского университета на митинге солидарности с русскими студентами.

Ты не прав, крикнувший это незнакомый коллега. Я знаю, какую Россию ты имел в виду, но ты ошибаешься, если символ России для тебя — казак с нагайкой. Нет, коллега, символ России — студент. Настанет день, когда ты это поймешь, и тогда ты от всей души крикнешь: «Да здравствует Россия!»

**Vladimiro Giabotinski**

*Avanti! 16.04.1901<sup>1</sup>*



**Рим**

9 (22) апреля

Общественное мнение очень заинтересовано головоломкой, которую в данный момент представляет политика Италии. С одной стороны, франко-итальянское сближение и слухи о том, что вместе с Францией Италия подает руку и России; с другой — встреча Бюлова и Дзанарделли в Вероне, которая бы не состоялась или состоялась бы тайком от публики, если бы римский министр-президент и берлинский канцлер не рассчитывали обмениваться исключительно любезностями и уверениями в дружбе; затем, в унисон с веронской беседой, демонстрация, произведенная в честь Дзанарделли немцами-дачниками, проживающими на побережье Гарды, и, несомненно, внушенная свыше.

Во всем этом трудно разобраться. Сближается ли Италия с Францией, или остается союзницей Германии, или, как угадывают некоторые, пытается, с благословения императора Вильгельма, стать звеном примирения между французами и немцами?

Ясно только то, что в большой публике были бы рады разрыву с Германией. Тройственный союз не популярен в Италии не только потому, что заставляет ее тратиться на войско и пушки (это осталось бы по-прежнему и при союзе с Францией и Россией), а главным образом потому, что не принес королевству никакой видимой пользы ни в Тунисе, ни под Адудей, ни в водах Сямэньской бухты. К этому можно прибавить, что, если итальянцы и не питают антипатии к немцам, потому что в итальянский

<sup>1</sup> Пер. с итал. Гр. Ротенберга.

характер не входит племенная вражда, то во всяком случае не чувствуют никакого расположения к нации, ни в каком отношении им не сродной; что касается австрийцев, то с ними у Италии связаны неприятные воспоминания о прошлом и неприятные впечатления настоящего, — говорю о притеснениях, которым подвергаются националисты в Триесте и Тренто, и о тени молодого ирредентиста Гульельмо Обердана, казненного в Истрии за покушение на жизнь Франца Иосифа.

Французов, наоборот, итальянцы очень любят, несмотря на то что эта любовь далеко не взаимна. Точно так же и к России здесь давно уже замечаются интерес и симпатия. Большая публика, которой о закулисном значении международных договоров знать не дано, взглянула бы на франко-итальянское или франко-итало-русское официальное сближение только со стороны этих субъективных симпатий и потому, несомненно, встретила бы возникновение такого тройственного союза с искренним восторгом.



Тюрьма Regina Coeli (произносится, по здешней манере читать латынь на итальянский лад, — *Реджина Чели*) выпустила на днях из своих ворот одну из любопытнейших фигур итальянской политической арены, экс-депутата Де Феличе. Это тот самый Де Феличе, который во время незабвенных сцен обструкции 1899 года опрокинул ударом кулака урну с головами депутатов, рискуя за такой поступок попасть в тюрьму по крайней мере на двенадцать лет. Он же — автор тех нашумевших разоблачений относительно сицилийской администрации, которые печатались в «Avanti» в течение процесса Полиццола и ясно показали публике, где именно ютятся главные корни мафии — внизу или вверху. Из этих двух примеров можно понять, в чем значение Де Феличе и тайна его популярности. Он — не из тех медленно-полезных работников, которые в тишине, скромно, упорно подвигают шаг за шагом вперед дело своей партии; он в мирное время почти стушевуется; но едва вспыхнет где-нибудь — особенно в его родной Сицилии — крупный скандал, Де Феличе тут как тут, словом и делом, впереди и громче всех. Это у него выходит искренно и естественно; скандал ему нужен не для саморекламы, а как

единственная трибуна, с которой он, Джузеппе Де Феличе, умеет говорить. Такова уж его бурная, воспитанная под Этной натура.

Не знаю, за эти ли черты его так обожают сицилийские демократы или за его островитянский патриотизм, доходящий до сепаратизма; во всяком случае, факт обожания налицо. Ко дню выхода Де Феличе из Regia Coeli в Рим прибыло немало уроженцев счастливой Тринакрии с единственной целью — встретить своего любимца у ворот тюрьмы; в Мессине, где он впервые после заключения ступил на сицилийскую почву, ему приготовили феерическую встречу, на которую съехались депутаты и просто *пилигримы* со всех концов острова. И не одна Сицилия праздновала освобождение Де Феличе: и в центре, и на севере, во многих местах соответствующие ассоциации отметили это событие особыми собраниями и поздравительными телеграммами.

Однако социалистическая партия, как она представлена в палате депутатов, относится к Де Феличе как-то странно. С одной стороны, им дорожат как ценным борцом; с другой — его очевидно хотят устранить из палаты. До последних выборов он был депутатом от Катании; в прошлом году его неожиданно побил кандидат министерства, некто Сапулло. Несомненно, в этом избрании не все чисто, и здесь почти не сомневаются, что палата, когда придет очередь, не утвердит Сапулло в депутатском кресле, а при перебаллотировке, вероятно, пройдет Де Феличе. Но любопытно то, что у социалистов в прошлом году было пять вакантных избирательных округов, и ни один из них не был предложен Де Феличе, хотя за ним, по старой памяти, числилось пять месяцев тюремного заключения и депутатская неприкосновенность была ему нужнее, чем кому бы то ни было. Очевидно, товарищи не вполне довольны этим вольным казаком, который не способен подчиниться солдатской регламентации, необходимой в парламентской партии. Поговаривают о разногласиях между Де Феличе и правоверными главарями партии, о чрезмерной независимости его поведения: он, например — ужасно! — дрался с кем-то на дуэли...

**Владимир Altalena**

Новости дня. 17.04.1901





## Толстой — царю

Русские облегченно вздохнули, когда после самодержца Александра III по прозвищу «Царь с нагайкой» на престол взошел Николай II.

Надеялись, что тепло встреченный молодой государь будет достоин народного доверия, сумеет возвыситься над узкокорыстными интересами правящей верхушки и сумеет не только умом, но и сердцем понять, как живет и в чем нуждается его народ. Очень скоро, однако, стало ясно, что этим надеждам не суждено сбыться.

Уже сами коронационные торжества были омрачены ходынской трагедией, когда из-за преступной халатности властей погибли свыше четырех тысяч человек. Тем не менее царь не отменил в знак траура ни одного из намеченных празднеств.

Еще до этих событий, принимая депутацию земских деятелей из провинции, он назвал «беспочвенными мечтаниями» разговоры о привлечении общества к делам внутреннего правления и заявил: «Мы будем хранить основы самодержавия так же твердо и непреложно, как хранил их наш усопший родитель».

Слабовольный, нерешительный, неспособный к живому чувству, под пагубным влиянием своих советчиков он совершал шаги, отмеченные крайней реакционностью. Замял дело о ходынской катастрофе. Петицию о свободе печати, присланную ему группой петербургских ученых и литераторов, переадресовал тем самым министрам, против которых она была направлена. Не допустил выявления и наказания виновных в крупном деле о мошенничестве и казнокрадстве, в котором были замешаны один министр и другие высокопоставленные чиновники. Остановил расследование генерала Ванновского, вынужденного признать, что в ходе студенческих беспорядков 1899 года имели место незаконные действия со стороны жандармов.

В то же время царь игнорировал петиции, рекомендации, предостережения, поступавшие к нему от умнейших и честнейших людей страны.

Пытаясь открыть Николаю II глаза на преследования религиозных меньшинств и жестокости, творимые именем православной церкви и ее главы, то есть самого царя, Лев Толстой

писал ему в декабре прошлого года: «Не советуйтесь с людьми, которые устроили эти гонения и руководят ими: ни с Победоносцевым — человеком отсталым, хитрым, упрямым и жестоким, ни с Сипягиным — человеком ограниченным, легкомысленным и мало просвещенным. Люди эти скажут Вам, что я утопист, анархист, безбожник и что потому все то, что я говорю и советую, несправедливо. Но то, что я говорю, я говорю не со своей точки зрения, а становясь на Вашу, на точку зрения Императора, имеющего возможность прекратить совершаемые под видом законности преступления и уничтожить те основания, на которых производятся эти преступления».

После недавних побоищ Толстой направил «царю и его помощникам» еще одно обращение. «Очень может быть, — говорит писатель, — что теперь проявившееся волнение будет подавлено. Но если оно и будет подавлено, оно не может заглухнуть, а будет все более и более развиваться», потому что «недовольство происходит не от каких-то беспокойных и злых людей, как кажется вам или большинству из вас, а от чего-то другого».

«Причина же в том, — продолжает Толстой, — что вследствие несчастного, случайного убийства царя, который освободил народ, совершенного небольшой группой людей, ошибочно вообразивших, что этим они служат всему народу, правительство решило не только не идти вперед, отрешаясь все более и более от деспотических форм правления, но, напротив, вообразило себе, что спасение именно в этих грубых, отживших формах, и в продолжение двадцати лет не только не идет вперед и даже не стоит на месте, а идет назад, этим обратным движением все более и более разделяясь с народом и его требованиями. Так что виноваты не злые, беспокойные люди, а правительство, не желающее видеть ничего, кроме своего спокойствия в настоящую минуту».

По мнению Толстого, «чтобы люди перестали волноваться, нужно сделать очень мало», а именно: уравнивать крестьян во всех правах с другими гражданами; уничтожить «нелепый институт земских начальников»; привести в соответствие с общим законодательством правила, регулирующие взаимоотношения рабочих и нанимателей; освободить крестьян от «стеснения паспортов для перехода с места на место»; освободить их от «выкупных платежей, давно уже покрывших стоимость выкупаемых земель»; и, главное, «уничтожить позорное телес-

ное наказание, оставленное только для самого трудолюбивого, нравственного и многочисленного сословия людей», то есть крестьянства.

Кроме того, необходимо отказаться от применения «правил усиленной охраны» — приостановки действующих законов, которая «развивает доносы, шпионство, поощряет и вызывает грубое насилие», а также уничтожить «все преграды к образованию, воспитанию и преподаванию» и «все стеснения религиозной свободы».

В заключение писатель обращается с призывом к царю и «ко всем имеющим власть»: «Помогите улучшить положение трудящегося большинства и в самом главном: в его свободе и просвещении. Только тогда и ваше положение будет спокойно и истинно хорошо».

Но русский народ уже знает царя Николая и ничего от него не ждет, рассчитывая только на себя самого. Живя своим умом и опираясь на собственные силы, он непременно добьется улучшения своей жизни.

**(Без подписи)**

*Avanti!* 17.04.1901<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Пер. с итал. Гр. Ротенберга.

## О псевдонимах раннего Жаботинского

Изучение раннего периода жизни и творчества В. Жаботинского упирается в нехватку адекватных источников. До сих пор остаются неизвестными сотни его произведений, нет полного списка газет и журналов, где он печатался. Даже фундаментальная библиография Жаботинского, составленная Миной Граур<sup>1</sup>, не свободна от многочисленных пробелов, неточностей и просто ошибок.

К счастью, на помощь исследователям приходит сам автор, оставивший массу нужной нам информации в «Повести моих дней»<sup>2</sup>, автобиографии<sup>3</sup>, письмах и других документах.

«...Некоторые вещи я печатал по-итальянски в социалистическом "Аванти"», — сообщил Жаботинский в «Повести моих дней»<sup>4</sup>.

Его многолетний секретарь и биограф И. Шехтман уточнил, что речь идет о четырех статьях начала 1900-х годов<sup>5</sup>. Две из них («Бунтующая Россия» и «Русские студенты: кто они и чего хотят»), подписанные Vladimiro Giabotinski<sup>6</sup>, сравнительно недавно обнаружены итальянским исследователем В. Пин-

---

<sup>1</sup> Kitve Ze'ev Z'abotinski: bibliyografiyah, 1897–1940 / 'arkhah Minah Gra'ur. Tel-Aviv, 2007 (Сочинения Зеэва Жаботинского: Библиогр., 1897–1940 / Сост. М. Граур. Тель-Авив, 2007. На иврите).

<sup>2</sup> *Жаботинский В.* Повесть моих дней / Пер. с иврита Н. Бартмана // Жаботинский В. О железной стене. Минск, 2004. С. 454–534.

<sup>3</sup> Владимир Жаботинский: опыт автобиографии / Публ. Х. Фирина [В. Кельнера] // Вестн. Евр. ун-та в Москве. 1993. № 3. С. 213–217.

<sup>4</sup> *Жаботинский В.* Повесть моих дней. С. 477.

<sup>5</sup> См.: *Shechtman J.* Rebel and Statesman: The Vladimir Jabotinsky Story: The early years. New York, 1956. P. 73.

<sup>6</sup> См.: *Giabotinski V.* La rivolta russa: L'atteggiamento del pubblico in Russia // Avanti! 1901. 10 apr.; *Idem.* Cosa sono e cosa vogliono gli studenti russi // Avanti! 1901. 16 apr. Русский перевод см.: ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 701–704; 706–709.

то<sup>1</sup>. Третья статья («Толстой — царю») была опубликована без подписи<sup>2</sup>, и ее идентифицировал для ПССЖ проф. С. Гардзонио. Близкая двум предыдущим по теме и стилистике, она вышла на день позже статьи «Русские студенты: кто они и чего хотят». Остается найти четвертую — и проблема «Аванти» будет закрыта.

Но есть, разумеется, и другие тексты Жаботинского, о существовании которых мы не знаем. Где и как их искать?

### Журнал «Жизнь» (1901): псевдоним А.

Первую ниточку находим в авторском примечании к статье «Русские студенты: кто они и чего хотят»:

Иностранцы не представляют себе, какую роль «толстый» журнал может играть в России, где каждый номер марксистского ежемесячника «Жизнь» становится событием<sup>3</sup>.

Отметим, что название этого ежемесячника встречается в письме Жаботинского к В. Г. Короленко, написанном 28 августа 1899 года, то есть за полтора с лишним года до упоминания в «Аванти». Девятнадцатилетний Владимир писал своему прославленному тезке:

Вот уже два года, как литературные журналы столиц регулярно возвращают мне мои произведения (преимущественно стихи), отказываясь их печатать. <...> ...Мне вернули... одну поэму **только** (здесь и далее выделено в тексте письма. — Л. К.) за то, что «идея ее глубоко неверна с точки зрения социологической»<sup>4</sup>.

Начинающий автор сообщал, что послал в Союз взаимопомощи русских писателей образцы возвращенных редакциями произведений с просьбой ответить ему:

<sup>1</sup> См.: *Pinto V. Imparare a sparare: vita di Vladimir Ze'ev Jabotinsky padre del sionismo di destra.* Turin, 2007.

<sup>2</sup> См.: *Tolstoi allo zar // Avanti! 1901. 17 apr.* Русский перевод см.: ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 712–714.

<sup>3</sup> ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 707.

<sup>4</sup> *Жаботинский В. Письма русским писателям / Публ. Х. Фирина [В. Кельнера] // Вестн. Евр. ун-та в Москве. 1992. № 1. С. 204.* (О других аспектах отношений Жаботинского и Короленко см.: *Stanislawski M. Zionism and the fin de siècle: Cosmopolitanism and nationalism from Nordau to Jabotinsky.* Berkeley, 2001. P. 116–118 и др.)

...ниже ли мои произведения тех, которые обыкновенно печатаются в журналах... если мои работы не ниже других, то... как следует смотреть на бракование либеральным журналом произведений только за «**неверность идеи**»?

<...>

Я отлично знаю, что даже в случае благоприятного ответа Союза это мне принесет мало пользы и много вреда, потому что я жаловался на **все** либеральные ежемесячники столиц (кроме «Жизни», «Образования» и незначительных)...<sup>1</sup>

В «Образовании» за 1899–1902 годы не удалось обнаружить каких-либо текстов, имеющих отношение к нашему автору, зато в последних номерах «Жизни» (январь–апрель 1901 года) обращают на себя внимание жесткие, порой даже хлесткие рецензии за подписью А.

Инициал, как правило, означает первую букву имени автора. Основным псевдонимом Жаботинского к этому времени становится *Altalena* (отсюда и *Alt.*, и просто *А.*). Что касается псевдонима *А.*, то он впервые появился в «Одесских новостях» лишь по прошествии шести месяцев с момента закрытия марксистского ежемесячника «Жизнь». Тем не менее, при сопоставлении рецензий *А.* в последних (январь–апрель 1901 года) номерах столичного журнала и некоторых текстов *Альталены* в «Одесских новостях» за 1901–1902 годы наблюдается сюжетная близость, весьма показательная для нашего автора. Так, первая рецензия *А.* в петербургской «Жизни»<sup>2</sup> перекликается с опубликованным в одесской газете фельетоном *Альталены*<sup>3</sup>, который рассказывает об истории написания его рецензии на стихи Мирры Лохвицкой<sup>4</sup>.

На рубеже XIX–XX веков сочетание *Фофанов–Лохвицкая* звучало так же привычно, как *Евтушенко–Ахмадулина* спустя шесть-семь десятилетий. Игорь Северянин, испытавший влияние *Фофанова*, называл *Лохвицкую* своей предшественницей. Сама же *Лохвицкая* была близка кругу журнала «Северный

<sup>1</sup> *Жаботинский В.* Письма русским писателям. С. 205.

<sup>2</sup> См.: *А.* [Рец. на кн.: *Фофанов К. М.* Иллюзии. СПб., 1900] // *Жизнь*. СПб., 1901. № 1. С. 253 (также: *ПССЖ*. Т. 2. Кн. 2. С. 665–668).

<sup>3</sup> См.: *Altalena*. Вскользь // *Одесские новости*. 1901. 28 нояб. (также: *ПССЖ*. Т. 2. Кн. 1. С. 667–672).

<sup>4</sup> См.: *Altalena*. *Мирра Лохвицкая* // *Одесские новости*. 1902. 8 окт. (также: *ПССЖ*. Т. 2. Кн. 2. С. 424–427).

вестник»<sup>1</sup>. Отметим, что в последнем номере «Жизни» (апрель 1901 года) прошла рецензия А. на брошюру Я. Гуревича (отца издательницы «Северного вестника») о реформе средней школы<sup>2</sup>, причем высказывания А. напоминают педагогические раздумья самого Жаботинского<sup>3</sup>.

Что же касается рецензии на сборник Фофанова, то идентификация ее принадлежности Жаботинскому поможет нам решить вопрос об авторстве и других текстов А. в журнале «Жизнь».

Вот что пишет А. о Фофанове:

...неужели возле К. М. Фофанова нет друга, товарища, наконец, критика, который сказал бы и даже доказал бы, что в наши дни нет возможности издавать том стихотворений в 500 страниц, что на это имел бы право лишь поэт, который в наши дни пользовался бы той же известностью, какой Пушкин в 20-е, а Некрасов в 60-е и 70-е годы, и что таких поэтов теперь нет, нет и создающего их настроения. Пушкин — поэт просыпавшейся России...

Некрасов отметил и закрепил то же пробуждение, но уже *гражданской* России. Оба — поэты исторические, оба — грани нашей литературы, но нечего и говорить, что на подобную роль Фофанов не может претендовать. Он поэт простой и порою прекрасный, настоящий поэт «милостью Божией», каких в наши дни очень и очень мало, но это его высшая похвала и в то же время здесь же решительное осуждение таких сборников, как «Иллюзии». Нельзя, немислимо, преступно даже г-ну Фофанову претендовать на то, чтобы отнимать у читателя сотни часов, потребных на одоление его книги. Что может дать она, когда по расчету одного наиболее даже расположенного к ней критика в ней не больше 30 хороших страниц? Извольте-ка разыскивать их в этой гряде бумаги!<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> «Северный вестник» (СПб., 1885–1898) — литературно-научный и политический журнал; издатель (с 1891) Любовь Гуревич, редактор Аким Волынский.

<sup>2</sup> См.: А. [Рец. на кн.: Гуревич Я. Г. К вопросу о реформе нашей средней школы. СПб., 1900] // Жизнь. СПб., 1901. № 4. С. 348–353 (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 693–700).

<sup>3</sup> См.: Вл. И. Из детского мира // Южное обозрение. 1897. 11 сент.; Эгаль. Рим // Одесский листок. 1898. 4 дек.; *Altalena*. Ученическая газета // Одесские новости. 1901. 16 мая (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 27–29, 93–94, 464–468).

<sup>4</sup> А. [Рец. на кн.: Фофанов К. М. Иллюзии].

Сопоставим это высказывание со статьей Альталены о творчестве Лохвицкой, стилистически и эстетически близкой Фофанову:

Ее упрекают за фривольность тем. Находят, что ее стихи неприличны. И по этому поводу, как принято, морализируют. Говорят:

— Зачем вы это делаете? Нехорошо!

<...>

...Г-жа Лохвицкая напечатала три книги стихов: в этих трех книгах 500 страниц, и на них едва ли наберется два десятка стихотворений указанного содержания. Так что тем хуже для моралистов, если они выловили именно эти два десятка и из-за этих двух десятков ничего другого не видят.

<...>

Нельзя укорять поэта:

— Зачем вы это написали?

Можно только (если перед нами не простой ремесленный стихотвор, а истинно талантливый поэт, «Божией милостью поэт»), можно только задать себе вопрос:

— Почему это написалось?

Г-жа Лохвицкая — истинный поэт. Таланта в ней не отрицают даже ее журнальные прокуроры. Да и надо быть слепым, чтобы не видеть в каждой ее строке искры Божией. <...>

Истинный поэт роковым образом должен быть порождением своей эпохи. Он не покупает свои струны в лавочке — жизнь их сама подает ему<sup>1</sup>.

Обе рецензии посвящены творчеству малых, но истинно талантливых «Божией милостью поэтов». Там и тут присутствует количественная оценка: примерно тридцать «хороших» страниц на пятьсот — у Фофанова; два десятка стихотворений «фривольного» содержания на те же пятьсот страниц — у Лохвицкой. Даже не самая оригинальная, в общем, посылка: «истинный поэт... должен быть порождением своей эпохи» напоминает краткий пересказ аналогичной мысли в рецензии на Фофанова.

Разумеется, чисто стилистического анализа двух текстов молодого критика, может быть, и недостаточно для однозначного решения вопроса об авторстве рецензий А. Но тут нам помог один из многочисленных фельетонов, опубликованных Альталеной под рубрикой «Вскользь» годом раньше, чем выйдет его же статья «Мирра Лохвицкая». Автор знакомит

---

<sup>1</sup> *Altalena*. Мирра Лохвицкая.



читателей с «молодым человеком, квартировавшим в то время под эстакадой» и безуспешно пытавшимся опубликовать где-либо свои сочинения.

Я спросил его, как водится:

— Отчего не пошлете в какой-нибудь журнал?

Он ответил:

— Вспомнили! Я уже три года — с тех пор, как вернулся в Россию — состою в самых оживленных сношениях с редакциями столичных журналов. Но это — сношения особенного рода.

— Какого?

— А вот какого: я посылаю, они отсылают обратно.

— Неужели и то, что вы мне только что читали, было возвращено?

— Абсолютно. И вы думаете, из одной редакции? Отнюдь. Из четырех.

Он назвал четыре толстых заглавия. <...>

Прошло несколько времени. Мой знакомый прочел мне очень оригинальную сказку или аллегорию в стихах, с гражданским содержанием, самого гуманного направления и с выводами, которые мне показались очень смелыми и новыми. (В скобках заметим, что творческий путь Володи Жаботинского тоже начинался сказками, аллегориями и тоже «в стихах». — Л. К.)

— Я посылаю это, — сказал он, — в «...» и прилагаю такое письмо: «Прошу известить меня, почему эта сказка не будет принята: из-за недостатков исполнения, по независящим обстоятельствам или ввиду несогласия редакции с основной идеей».

Через полтора месяца он опять пришел ко мне.

— Итак?

— Вот ответ.

Я прочел:

«М. г., Ваша сказка не будет напечатана, потому что мысль ее глубоко неверна с точки зрения социологической».

Я спросил его:

— Что вы теперь предпринимаете?

— Последний опыт, — сказал он злобно. — Посылаю статью о стихотворениях Мирры Лохвицкой. К ней все рецензенты возмутительно относятся. Я пишу в ее защиту. Пошлю нарочно в журнал, который еще ни разу не говорил о ней. <...>

Через два месяца из редакции архипередового и архимолодого журнала получился такой ответ:

«Не можем поместить вашей статьи, так как редакция придерживается другого взгляда на деятельность г-жи Лохвицкой».

Тогда мой знакомый... решил обратиться к существовавшей тогда видной литературной организации с чем-то вроде жалобы<sup>1</sup>.

Содержание этой жалобы изложено в уже цитированном нами письме Жаботинского к Короленко.

Фельетон Альталены появился в «Одесских новостях» спустя полгода после того, как цензура закрыла «Жизнь», где А. напечатал свою рецензию на «двойника» и учителя Лохвицкой Фофанова. Мы не можем утверждать, что к тому времени была уже написана статья Альталены о Мирре Лохвицкой, которая еще до публикации была «читана в Литературно-артистическом обществе». Но рано или поздно он должен был ее написать. Расставаясь с тем или иным изданием, Жаботинский, как мы увидим дальше, имел обыкновение писать о вышедших там материалах как о не вышедших и наоборот. К тому же Жаботинский не был бы Жаботинским, если б не упрятал в этот текст интригу, вряд ли доступную читателям «Одесских новостей». Постоянно сравнивая поэзию Лохвицкой с поэтикой Горького и Чехова, Альталена скрыто цитирует свою итальянскую статью об этих писателях<sup>2</sup>. Вчитаемся в текст его статьи о Лохвицкой:

Русская литература теперь звучит одним желанием — избыть эту тоску.

Даже Чехов, который как будто бы купается в тоске и как будто бы правдиво рисует ее, на самом деле тоже старается уйти от нее, потому что у него тоска жизни выходит так красива, трогательна, музыкальна, а в действительности она скучна и безобразна.

Чехов дает правду, но освещает ее бенгальскими огнями.

Горький, чтобы уйти от жизни, которая «ничтожна и пуста», рассказал нам несколько чудных небылиц о каких-то иных людях.

---

<sup>1</sup> *Altalena*. Вскользь // Одесские новости. 1901. 28 нояб. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 668–669).

<sup>2</sup> См.: *Giabotinski V. Anton Cekhof e Massimo Gorki: L'impressionismo nella letteratura russa* // Nuova Antologia. Roma, 1901. Vol. 96. P. 722–733. Русский перевод см.: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 675–686.

Он будто бы повел нас под эстакаду (вспомним героя «Вскользь», того самого, который квартировал «под эстакадой». — Л. К.); а на самом деле это ложь, потому что под эстакадой валяются дряблые люди, которые вовсе не похожи на людей Горького.

Всякому тошно от жизни, и всякий мечтает о «блеске и красоте», которые «где-то».

Г-жа Лохвицкая нашла свое «где-то» — в любви.

Это — тоже ложь. Любовь тоже совсем не так красива и обаятельна, как пишет г-жа Лохвицкая.

Г-жа Лохвицкая тоже, как Горький и Чехов, обманывает и обманывается. Но ведь нужно же чем-нибудь обмануть и обмануться<sup>1</sup>.

Теперь уже можно не сомневаться, что статья о Фофанове вышла из-под пера Альталены — равно как и другие рецензии А., опубликованные в четырех номерах «Жизни». С ними также требуется провести работу, подобную той, что мы проделали с первым текстом, но и сейчас уже можно сказать: они полностью вписываются в биографию Жаботинского, в круг имен и тем, во многом определявших его литературные пристрастия. Молодой автор довольно скоро угодил в одесскую тюрьму за публикацию в римской газете «Patria»<sup>2</sup> статьи о революционных событиях, знаменовавших новый период в судьбах как социал-демократической печати России, так и русского литератора Владимира Жаботинского, который станет сионистским публицистом Зеэвом Жаботинским. Но приемы и методы борьбы останутся прежними.

### **«Северный курьер» (1899—1900): псевдонимы А. З. и А. З-ский<sup>3</sup>**

По занимаемой позиции и кругу авторов газета «Северный курьер» была близка либеральному журналу «Жизнь» и просуществовала немногим более года. По «наводке» Жаботинского<sup>4</sup> мы находим в ней материалы, подписанные инициалами Вл. Ж.

<sup>1</sup> *Altalena*. Мирра Лохвицкая.

<sup>2</sup> См.: *Фирин Х. [Кельнер В.] Жаботинский // Русские писатели, 1800—1917: Биогр. словарь*. М., 1992. Т. 2. С. 250—251.

<sup>3</sup> Автор выражает признательность коллегам по редакции ПССЖ Ф. Дектору и А. Френкелю, способствовавшим расшифровке псевдонимов А. З. и А. З-ский.

<sup>4</sup> См.: *Жаботинский В. Повесть моих дней*. С. 477.

Но вот перед нами очередной очерк «Вскользь» — «маленькая грустная сказка», которая наводит на мысль: нет ли и здесь игры, вроде той, что открылась нам при сопоставлении рецензии А. на сборник Фофанова со статьей Альталены, пересказывающей письмо Жаботинского к Короленко?

Итак, слушаем:

...Мне попался истрепанный номер позапрошлогодней петербургской газеты, которой теперь уже нет. Как раз тот номер, где напечатана корреспонденция из Рима за подписью А. З-ский. Это — подпись человека, которого тоже теперь уже нет. Надо рассказать вам эту маленькую грустную сказку жизни. Я лично Златопольского не знал и никогда не видел. В той петербургской газете изредка попадались его письма из Рима. Но мне не приходило в голову искать с ним встречи. Ни даже навести справку о том, какие буквы подразумевались между этим «З» и окончанием «ский». <...> ...Зимой этого года газеты напечатали, что накануне вечером застрелился некто Златопольский, корреспондент русских газет, двадцати пяти лет от роду. Нужно сознаться, что я и тут не пошел проводить его гроб... <...> Что мне было до чужого человека, выстрелившего себе в висок? <...> Златопольский приехал в Рим из какого-то безымянного литовского захолустья. <...> Сюда его загнала чахотка, которую он думал обольстить синим воздухом и золотыми лучами римского неба.

Был это высокий, худощавый, бородатый мужчина<sup>1</sup>.

«Позапрошлогодняя петербургская газета, которой теперь уже нет», — это и есть «Северный курьер», закрытый цензурой за два года до появления в «Одесских новостях» данной «сказки». Всего в нем было напечатано 22 корреспонденции из Рима: одна за подписью А. З., девять — А. З-ский и двенадцать — Вл. Ж.

А. З. и А. З-ский — разумеется, одно лицо (Златопольский). Но и два собкора — неоправданная роскошь для одной газеты.

В цитированном фрагменте настораживает фраза: «Я лично Златопольского не знал и никогда не видел» — такое вряд ли возможно для двух собкоров одной газеты в одном и том же городе. Это и другие выражения, связанные с биографией Златопольского, в сумме представляют собой прекрасный образец литературной мистификации: «*мне не приходило в го-*

<sup>1</sup> *Altalena*. Вскользь // Одесские новости. 1901. 27 окт. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 605).

лову искать с ним встречи», «какие буквы погразумевались между этим "З" [или "Ж" ?] и окончанием "ский"», «корреспондент русских газет, двадцати пяти лет от роду» (самому Альталене тогда было 20), «я и тут не пошел проводить его гроб» и, наконец, «высокий, худощавый, бородатый мужчина» (в противоположность отнюдь не высокому, совсем не худощавому и безбородому Альталене).

Небезынтересен и явно выпадающий из вполне литературного лексикона рассказчика «одессизм» «сказка жизни». Возможно, автор хотел акцентировать слово «жизнь», ассоциировавшееся с названием журнала, про который также можно было сказать: «его теперь уже нет».

Однако дойдем до конца этой «маленькой грустной сказки»:

...Свои пятнадцать франков за комнату и кофе он вносил... аккуратно. За это хозяйка очень любила бы его, если бы... Тут начинается старая, чересчур обыкновенная быль.

— Если бы у нее не было дочери, синьорины Чезиры.

Как только Златопольский увидел ее, он... взволнованно сказал матери:

— Синьорина Чезира очень похожа на один портрет, который я вам покажу.

<...> Я видел рисунок и видел синьорину Чезиру. По-моему, сходства никакого.

Портрет был снят... с невесты Златопольского. Эта невеста... умерла от чахотки.

Мало-помалу дела молодого человека стали поправляться. <...> ...Он строчил корреспонденции в несколько петербургских и польских газет. ...Одна из них — о памятнике Гейне<sup>1</sup>... вызвала полемику. П. И. Вейнберг напечатал письмо в редакцию<sup>2</sup>, настаивая, что памятник описан неверно. Златопольский ответил, что памятник описан верно<sup>3</sup>.

Словом, все налаживалось... Только хозяйская дочка не хотела даже кокетничать. Гордый поклонник не настаивал. <...> В одно воскресенье он застал за обедом молоденького, очень вежливого поручика. <...> Вечером поручик опять был там. В следующее воскресенье тоже.

<sup>1</sup> См.: А. З-ский. В мастерской скульптора // Северный курьер. 1900. 25 апр. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 630–633).

<sup>2</sup> См.: Вейнберг П. По поводу статьи «В мастерской скульптора» // Северный курьер. 1900. 28 апр.

<sup>3</sup> См.: А. З-ский. Добавление к статье «В мастерской скульптора» // Северный курьер. 1900. 13 мая (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 636–639).

В понедельник... когда синьорина Чезира вышла из лавки, где служила кассиршей, у дверей ее ждала, по обыкновению, горничная. А поодаль стоял Златопольский.

Он подошел.

— Синьорина, позвольте мне с вами поговорить серьезно, без свидетелей.

Девушка ответила:

— Вы разве не знаете, что я — невеста?

— Ага. Извините.

Он поклонился и свернул по другой улице. <...> Дома он пообедал со всеми, шутил, острил, потом пожал руку всем и ей, ушел в свою комнату и застрелился. <...> ...На груди у Златопольского спрятали тот самый портрет, который был не похож на синьорину Чезиру<sup>1</sup>.

Отвечая П. Вейнбергу на страницах «Северного курьера», А. З-ский цитирует (в оригинале) стихотворения из «Книги песен» Гейне. Любопытно сравнить «маленькую грустную сказку» и начало «старой, чересчур обыкновенной были» со стихами Гейне из цикла «Лирическое интермеццо», который входит в ту же «Книгу песен» (приводим их в русском переводе):

*Девушку юноша любит,  
А ей по сердцу грудой,  
Другой полюбил грутую,  
И та ему стала женой.*

*И девушка тут же с досады  
Идет, невпопад и не впрок,  
За первого встречного замуж,  
А юноша — одинок.*

*Все это старо бесконечно  
И вечно ново для нас,  
И тот, с кем оно приключится,  
Навеки сердцем угас<sup>2</sup>.*

А вот и рассказ Альталены о том, как А. З-ский оказался в Италии («Сюда его загнала чахотка, которую он думал обольстить

<sup>1</sup> *Altalena*. Вскользь // Одесские новости. 1901. 27 окт. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 606–607).

<sup>2</sup> Здесь и далее стихи приводятся по изданию: Гейне Г. Собр. соч. в 10 т. Т. 1. М., 1956. С. 70–83.

синим воздухом и золотыми лучами римского неба»), который пересекается с другим стихотворением этого цикла:

*Из старых сказок, мнится,  
Кивает мне рукой,  
Поет, звенит и снится  
Волшебною страной,*

*Где все растенья юга  
Под золотым лучом  
Взирают груг на груга  
На празднестве дневном...*

Ничего реального из этого сна не получится, и через два стихотворения Гейне продолжает:

*Любовь моя сумрачным светом  
Сияет во мгле — точь-в-точь  
Как грустная сказка, что летом  
Рассказана в душную ночь.*

Как видим, «грустная сказка» звучит и у Гейне. Сердце синьорины Чезиры принадлежит жениху-поручику, и Златопольский застрелился. Эта линия тоже имеет прямое отношение к Гейне.

Процитируем еще два отрывка из «Лирического интермеццо»:

Первый:

*Путь мой мгла ночная метит,  
Сумрак стелется вокруг  
С той поры, как мне не светит  
Свет очей твоих, мой груг.*

*Золотые закатились  
Звезды прелести живой,  
Бездны темные раскрылись, —  
Ночь, прими меня, я твой!*

И второй:

*Мне мгла сомкнула очи,  
Свинец уста сковал,  
Застыв и цепenea,  
В могиле я лежал.*

&lt;...&gt;

*Любимая, не встать мне —  
Висок сочтется мой:  
Его ведь прострелил я  
В тот день, как расстался с тобой.*

Вспоминается «человек, выстреливший себе в висок», в начале «этой грустной сказки». Но и «положение во гроб» портрета любимой тоже восходит к Гейне:

*Для старых, мрачных песен,  
Дурных тревожных снов, —  
О, если бы громадный  
Для них был гроб готов!*

&lt;...&gt;

*А знаете, на что мне  
Огромный гроб такой?  
Любовь я уложил бы  
И горе на покой.*

Кажется, круг старой «грустной сказки жизни» замкнулся, не оставив даже намека на то, что перед нами какой бы то ни было реальный очерк или квазинекролог. А вот игра Альталены с текстами Гейне напоминает игру А. З-ского с выбитыми на памятнике поэту текстами, среди которых есть и название сослужившей нам хорошую службу «Книги песен»<sup>1</sup>.

Все это вместе взятое позволяет атрибутировать Жаботинскому корреспонденции, подписанные А. З-ский.

Есть ли что-либо общее между текстами Жаботинского в «Северном курьере» и в «Одесском листке», где он печатался в 1898–1900 годах? Автор и здесь приходит нам на помощь. Достаточно сравнить две однотипные корреспонденции: «Письма из Рима. Итоги 1899 года в Италии» и «Италия в 1899 году»<sup>2</sup>, чтобы убедиться: второй текст является логическим и стилистическим продолжением первого.

Приведенный в конце настоящего тома ПССЖ хронологический указатель сочинений Владимира Жаботинского

<sup>1</sup> См.: А. З-ский. В мастерской скульптора.

<sup>2</sup> См.: В. Эгаль. Письма из Рима. Итоги 1899 года в Италии // Одесский листок. 1900. 1 янв. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 234–236); Вл. Ж. Италия в 1899 году // Северный курьер. 1900. 13 янв. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 241–245).



наглядно свидетельствует, что с ноября 1899 по март 1900 года молодой журналист сотрудничал сразу в двух газетах — «Одесском листке» и «Северном курьере». Судя по всему, они либо не следили за деятельностью своего римского корреспондента сразу на двух фронтах, либо не возражали против этого.

После того как Жаботинский перешел из «Одесского листка» в «Одесские новости», подпись Вл. Ж. всего два раза мелькнула на страницах «Северного курьера». Видимо, дальнейшая служба у двух господ стала невозможной. А 22 декабря 1900 года «Северный курьер» был закрыт, и А. З-ский навсегда исчез за ненадобностью. Сказка о жизни и смерти Златопольского позволила Альталене поквитаться с П. Вейнбергом за критику, продемонстрировав «главному Гейне русской литературы» отличное знание текстов немецкого поэта и виртуозное умение пользоваться ими. (К слову сказать, этот инцидент не испортил дальнейших отношений Жаботинского и Вейнберга.)

Журналистская техника Альталены включала параллельное использование сюжетов и ситуаций, возникавших в различных органах печати, где он сотрудничал (порой одновременно). И если цензура закрывала какую-либо газету или журнал, Жаботинский так или иначе находил возможность «помянуть» их в другом издании и под другим псевдонимом. Это лишний раз подтверждают сюжеты, связанные с рецензиями А. в журнале «Жизнь» и корреспонденциями Вл. Ж. и А. З-ского на страницах «Северного курьера».

**Леонид Кацис**

(Москва)

## ПРИМЕЧАНИЯ

### **ВСКОЛЬЗЬ. Мираж**

С. 24. *Лисса* — в греч. мифологии богиня безумия.

### **ВСКОЛЬЗЬ. Заметки чужим стилем**

С. 25. *...пойдет уж музыка не та...* — цитата из басни И. А. Крылова «Квартет» (1812).

### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 27. *Литературно-художественный клуб* («Литературка») — одесское Литературно-художественное общество (1897–1919).

*Селиванов* Тимофей Николаевич (1854 или 1855–1903) — рус. актер и театральный деятель.

С. 29. «*Дон Карлос*» (1787) — драма Ф. Шиллера.

*Попечительство* — зал Болгарова, принадлежавший одесскому комитету «Попечительства о народной трезвости».

*Россов* Николай Петрович (1864–1945) — рус. актер-трагик, театр. критик, драматург, Засл. артист Республики (1926).

«*Соколы и вороны*» — пьеса А. И. Сумбатова-Южина и В. И. Немировича-Данченко.

*Зеленов* — герой пьесы «Соколы и вороны», обвиняемый в воровстве.

### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 30. *Площадь Навона* — одна из самых оживленных площадей Рима.

С. 31. *Площадь Эсквилино* — находится в районе Эсквилинского холма.

*Тальма* — просторная накидка без рукавов, введенная фр. актером Франсуа-Жозефом Тальма (1763–1826).

С. 32. *Араньо* — популярное кафе, место встреч интеллектуальной и художественной элиты Рима.

*Бефана* (искаженное от Эпифания — Богоявление) — любимый праздник итальянских детей: согласно преданию, в этот день добрая фея Бефана приносит сладости малышам.

*Святая Агнесса* Римская — покровительница дев и садоводов; по преданию, приняла мучения за веру (ок. 304).

С. 33. *Spedale Santo Spirito* — больница Св. Духа; построена в 1480-е годы.

### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 34. *Ганейзер* Евгений Адольфович (1861–1938) — рус. журналист, писатель, переводчик.

«*Санкт-Петербургские ведомости*» (1728–1917) — старейшая рус. газета.

С. 36. «*Челкаш*» (1895) — рассказ М. Горького.

*Уж, а не сокол* — отсылка к образам «Песни о Соколе» М. Горького.

С. 37. «Мужик» — неоконченная повесть М. Горького, напечатанная в марксистском журнале «Жизнь» (март 1900).

### ВСКОЛЬЗЬ

С. 39. *Соловцов* (Федоров) Николай Николаевич (1857—1902) — рус. актер, режиссер, антрепренер; основал «Соловцовский театр» в Киеве и Городской театр в Одессе, в котором кроме драм. труппы имелась и итал. опера.

«Друг Фриц» (1891) — опера итал. композитора П. Масканьи (1863—1945).

*Сара Бернар* (1844—1923) — великая фр. актриса.

### ВСКОЛЬЗЬ

С. 42. «Мей и Эдлих» — лейпцигская фирма, выпускавшая практичное и дешевое бумажное белье.

С. 43. *Аара* (Aare) — река в Швейцарии, приток Рейна.

С. 44. *Камбье* Эмиль — первый директор бельг. акционерного общества Одесской конно-железной дороги; ввел новый тип вагона.

*Легогэ* Раймон — бельг. инженер, директор Одесской конно-железной дороги, сменивший на этом посту Э. Камбье; создал первую трамвайную линию в Одессе.

### ВСКОЛЬЗЬ

С. 44. «Московские негодумы» — так иронически Жаботинский называет газету «Московские ведомости».

*Пожар в московской гостинице «Метрополь»* — уничтожил интерьеры почти готового к открытию здания (декабрь 1901).

С. 45. *Шпицрут* — подразумевается редактор газеты «Московские ведомости», рус. полит. деятель праворадикального толка В. А. Гринмут (1851—1907).

С. 46. *Хам* — средний сын Ноя, был проклят Богом за то, что насмеялся над наготой отца.

*Вересаев* (Смидович) Викентий Викентиевич (1867—1945) — рус. писатель, автор «Записок врача» (1901).

### ВСКОЛЬЗЬ

С. 47. *Верещагин* Иракий Петрович (1846—1888) — математик, составитель сборников матем. задач.

...*есть люди... <...> И страшно вместе...* — цитата из трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь» (1830).

С. 48. *Итальянская антропология* — имеется в виду учение итал. врача-психиатра Чезаре Ломброзо (1835—1909), заложившего основы антропологического направления в криминологии и уголовном праве.

С. 49. «*Винт*» — карточная игра.

*Дум-дум* — пуля с неполной или надпиленной оболочкой, вызывающая тяжелые ранения.

### ВСКОЛЬЗЬ. О сне

С. 51. *Оломоуц* — старинный университетский город в Чехии.

*Экстемпорале* — письменный перевод с рус. языка на латинский или греческий (от *лат. ex tempore* — тотчас, без подготовки).

*Манассеина* Мария Михайловна (1843—1903) — рус. ученый-физиолог, основатель «науки о сне»; автор книги «Сон как треть жизни, или Физиология, патология, гигиена и психология сна» (1889).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 57. *Сирано де Бержерак* (1619–1655) — фр. поэт и драматург; прототип героя одноименной пьесы Эдмона Ростана (1897).

**ВСКОЛЬЗЬ. Сцена-пролетка**

С. 58. *Шницлер* Артур (1862–1931) — австр. драматург.

С. 59. *Литературно-художественное общество* — см. примеч. к с. 27. *Селиванов* — см. примеч. к с. 27.

*Супруненко* Иосиф Гаврилович (1861–1936) — рус. оперный певец (лирико-драм. тенор).

**МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОНЕДЕЛЬНИКИ ЛИТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА**

С. 60. *Литературно-художественное общество* — см. примеч. к с. 27.

С. 61. *Лонго* Алессандро (1864–1945) — итал. пианист и композитор. *Боккерини* Луиджи (1743–1805) — итал. композитор.

*Прибик* Иосиф Вячеславович (1855–1937) — рус. композитор, дирижер, муз. руководитель Одесского оперного театра (1894–1937).

*Бернарди* Александр Александрович (1867–1943) — рус. композитор, дирижер Одесского оперного театра.

*Ценовский* Антон Антонович (1863–1930) — одесский врач, журналист, муз. критик.

*Аренский* Антон Степанович (1861–1906) — рус. композитор, пианист, дирижер.

*Супруненко* — см. примеч. к с. 59.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 63. ...*бойкоты английских товаров — в защиту Трансвааля, и прусских продуктов — в отместку за Вжесню...* — речь идет о реакции на англо-бурскую войну (1899–1902) и т. н. врешенский инцидент, когда польское население присоединенного к Пруссии города Врешен (Вжесня) выступило против принудительной германизации местной школы (1901).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 65. *Вольт* — в карточной игре: подтасовка, передергивание.

С. 66. *Рокамболь* — 1) обаятельный преступник, герой романов Понсона дю Террайля (1829–1879); 2) в некоторых карточных играх: повышение ставки с каждой новой партией.

*Карамболь* — у бильярдистов: 1) удар своим шаром в несколько чужих; 2) игра в три шара; 3) красный шар.

С. 67. *Гоппенфельд А.* — владелец популярного одесского ресторана на Николаевском бульваре.

**ОТЦЫ И ДЕТИ**

С. 70. *Коронный судья* — судья, назначаемый правительством (в монархическом государстве).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 76. *Иловайский* Дмитрий Иванович (1832–1920) — рус. историк и публицист, автор многотомной «Истории России» и гимназических учебников.

*Фармаковский* Владимир Игнатьевич (1842–1921) — педагог и деятель в области образования, автор учебника рус. истории.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 78. *Алма Фострем* (1856–1936) — фин. оперная певица (колор. сопрано); была солисткой Большого театра в Москве (1890–1899), преподавала в Петербургской консерватории (1909–1918).

С. 80. *Джиральдони Эудженио* (1871–1924) — итал. оперный певец (баритон).

*Бонини Франческо Мария* — итал. оперный певец (баритон).

**ВСКОЛЬЗЬ. Хаджибей**

С. 81. *Хаджибей* — селение, на месте которого строилась Одесса.

С. 82. *Греческая* — одна из главных улиц Одессы.

С. 83. *Робин и Фанкони* — популярные одесские кафе.

«Одесский Листок» (1873–1917) — ежедневная газета; Жаботинский был ее корреспондентом в Берне (1898).

*Знакомый* (Кауфман Абрам Евгеньевич; 1855–1921) — рус. журналист.

*Лознгрин* (Герцо-Виноградский Петр Титович; 1867–1929) — рус. писатель, музыкальный критик, драматург; редактор «Одесских новостей» (1907–1911).

«Южное обозрение» (Одесса, 1896–1906) — ежедневная газета.

«Одесские новости» (1884–1920) — ежедневная газета; Жаботинский был ее корреспондентом в Риме (1898–1901), затем ведущим фельетонистом и членом редколлегии.

*Вознесенский* (Бродский) Александр Сергеевич (1880–1939) — рус. журналист, драматург, переводчик, лит. критик; репрессирован, погиб в заключении.

*Кармен* (Корнман) Лазарь Осипович (1876–1920) — рус. писатель, журналист; отец кинорежиссера Р. Л. Кармена.

**ВСКОЛЬЗЬ. Имя Соловцова**

С. 86. *Соловцов* — см. примеч. к с. 39.

*Глебова Мария Михайловна* (1840–1919) — рус. актриса, жена Н. Н. Соловцова; после смерти мужа возглавила его антрепризу.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 89. *Федоров-Соловцов* — сын Н. Н. Соловцова (см. примеч. к с. 39).

*Глебова* — см. примеч. к с. 86.

С. 90. *Багров Михаил Федорович* (1864–?) — рус. актер и антрепренер; выступал в моск. Малом театре (1883–1898).

С. 91. *Лубковская Мария Мечиславовна* (1858–1934) — рус. оперная певица (сопрано), педагог, антрепренер; руководила Итал. оперой в Одессе (1898–1905).

**В ЛИТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ**

С. 91. *Литературно-артистическое общество* — см. примеч. к с. 27.

С. 92. *Оре Адамс* (1855–1927) — латыш. органист и композитор.

**МАРИ Д'АРНЕЙРО**

С. 93. *Делли-Аббати Арманда* — итал. оперная певица.

*Апостолу Иоаннис* (Джованни; 1860–1905) — итал. оперный певец (тенор) греческого происхождения.

*Джиральдони* — см. примеч. к с. 80.

*Наваррини Франческо* (1855–1923) — итал. оперный певец (бас).

*Бонини* — см. примеч. к с. 80.

*Израфил* (Исрафил) — в исламе: ангел смерти, который возвестит о воскресении мертвых в день Страшного суда.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 95. *Абруццо* — район итал. побережья Адриатического моря.

*Гран-Сассо* (Гран-Сассо-д'Италия) — горный массив.

С. 96. *Аквиль* — город в Абруццо.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 101. *Когда Италия боролась за свою равноправность...* — речь идет о войнах за освобождение от Франции и Австрии и объединение страны (1820–1870).

*...Италия захотела подмять под себя другую страну...* — имеется в виду захват Эритреи.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 102. *Гоголевский юбилей* — 50-летие со дня смерти Н. В. Гоголя (1852).

С. 103. *...100 лет со дня смерти Пушкина* — должно быть: 100 лет со дня рождения Пушкина.

*...«Вишня» или «Фавн и Пастушка»...* — юношеские стихотворения А. С. Пушкина фривольного характера.

С. 104. *«Не даром она, не даром / С отставным гусаром»* — «Эпиграмма на графиню Толстую» М. Ю. Лермонтова (1831).

**В ЛИТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ**

С. 106. *Пагеревский* Игнацы Ян (1860–1941) — пол. пианист, композитор, обществ. деятель, дипломат.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 108. *Алкивиаг* (450–404 до н. э.) — афинский госуд. деятель и полководец.

С. 109. *Демчинский* Николай Александрович (1851–1915) — рус. писатель, журналист, инженер путей сообщения; издатель журнала «Климат» (1900–1903); публиковал статьи о предсказании погоды в газете «Новое время».

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 113. *Табель* — здесь: табельный праздник.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 117. *Суворин* Алексей Сергеевич (1834–1912) — рус. журналист, издатель, театр. критик и драматург; издавал в Петербурге газету «Новое время» (с 1876), журнал «Ист. вестник» (с 1880), адресные книги и др.

С. 118. *Дела давно минувших дней, / Преданья старины глубокой...* — цитата из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1818–1820).

*Блажен, кто верует, тепло ему на свете* — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).

*Джиральдони* — см. примеч. к с. 80.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 121. *Доктор Штокман* (Стокман) — герой пьесы Г. Ибсена «Враг народа» (1882), известной также под названием «Доктор Штокман».

С. 122. *Либман* — кофейня Либмана на углу Преображенской и Садовой в Одессе.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 125. *Знакомый* — см. примеч. к с. 83.

*Яворская* Лидия Борисовна (1871–1921) — рус. актриса; играла в моск. театре Корша (1893–1895) и в петербург. Суворинском театре (1895–1900); совместно с мужем, В. В. Бярятинским, основала в Петербурге Новый театр (1901).

*Бярятинский* Владимир Владимирович, князь (1874–1941) — рус. драматург, журналист, издатель газеты «Северный курьер» (СПб., 1899–1900).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 126. *Нилус* Петр Александрович (1869–1943) — рус. живописец, худож. критик, писатель, член Товарищества южнорус. художников.

*Корнев* (Новороссийский) Вячеслав Федорович (1868–1928) — рус. живописец, график; член Товарищества южнорус. художников, преподавал в Одесской худож. школе.

*Заузе* Владимир Христианович (1859–1939) — рус. художник-график, преподавал в Одесском худож. институте.

С. 127. *Война с Китаем* — речь идет о «боксерском» восстании в Китае (1898–1901) и военной интервенции Великобритании, Германии, Австро-Венгрии, Франции, Японии, США, России, Италии.

*Двойственный союз* — военно-политический союз России и Франции (1891–1893).

*Англо-японское сожительство* — военно-политический союз Англии и Японии (1902–1923).

С. 128. *Дарклэ* (Даркле) Хариклея (1860–1939) — румын. оперная певица (лирико-драм. сопрано).

*Соловцов* — см. примеч. к с. 39.

*Фострем* — см. примеч. к с. 78.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 128. *Насекомый* — иронич. прозвище, данное Жаботинским журналисту газеты «Одесский листок» Знакомому (см. примеч. к с. 83).

*Фемистоклос* — сын Манилова, персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

**ВСКОЛЬЗЬ. Питерские неопиты**

С. 132. *Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — рус. писатель, критик, переводчик, историк, религ. философ, один из основателей рус. символизма.

С. 133. «*Сумлеваюсь, штоп*» — малограмотная резолюция, приписываемая на самом деле не князю Трубецкому, а военному министру, генералу Н. О. Сухозанету (1794–1871).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 134. *Баттистини* Маттиа (1856–1928) — итал. оперный певец (баритон).

*Знакомый* — см. примеч. к с. 83.

С. 135. *Савина* Мария Гавриловна (1854–1915) — рус. актриса, более 40 лет (с 1874) прослужившая на сцене петербургского Александринского театра; одна из лучших исполнительниц в пьесах Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. Н. Островского.

*Яворская* — см. примеч. к с. 125.

«Доктор Штокман» — см. примеч. к с. 121.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 136. *Коклен-старший* (Коклен-старший; Коклен Бенуа Констан; 1841–1909) — фр. актер и теоретик театра.

С. 137. *Эрнст фон Вильденбрух* (1845–1909) — нем. поэт и драматург. *Гольдштейн (Митяй)* Марк Михайлович — рус. драматург.

*Писаревский* (Шрайбер) Борис Ефимович [1858(?)–1936] — рус. драматург и журналист.

*Вкус, батюшка, отменная манера!* — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 143. «*Дыр-гыра*» — прятки.

С. 144. *Мюссе Альфред де* (1810–1857) — фр. поэт, драматург и прозаик, представитель позднего романтизма.

*Коппе Франсуа* (1842–1908) — фр. поэт, драматург, прозаик; на склоне лет стал ревностным католиком; был президентом реакционной «Лиги французского отечества».

*Супруненко* — см. примеч. к с. 59.

**РУССКИЙ ТЕАТР**

С. 145. *Баттистини* — см. примеч. к с. 134.

*Константино Флоренсио* (1869–1919) — исп. оперный певец (тенор).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 146. «*Дети Ванюшина*» (1901) — пьеса С. А. Найденова (Алексеева; 1868–1922).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 149. *Пасхалова Анна Александровна* (1867–1944) — рус. актриса, играла в драм. театрах Одессы, Харькова, Киева и др. городов.

*Дюкова Александра Николаевна* — антрепренер, владелица харьковского театра.

*Глебова* — см. примеч. к с. 86.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 153. *Новые итальянские криминалисты* — см. примеч. к с. 48.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 154. *Яворская* — см. примеч. к с. 125.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 160. *Фрина* — прекрасная гетера, которая позировала Пракситулю, создавшему скульптуру Афродиты Книдской (IV до н. э.).

С. 163. *Чиж Владимир Федорович* [1855–1922(?)] — рус. психиатр и литератор, автор книг о выдающихся полит. и обществ. деятелях, поведение которых он объяснял патологическими особенностями их личности.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 165. *Дорошевич Влас Михайлович* (1865–1922) — рус. журналист, публицист, театральный критик, один из виднейших фельетонистов конца XIX — начала XX века.

*Лига мира* — междунар. объединение, основанное в Швейцарии (1867).



*Вжесня* — см. примеч. к с. 63.

*Берта Зутнер* (1843–1914) — австр. писательница, пацифистка, лауреат Нобелевской премии мира (1905).

С. 166. *Гастон Моч* (Мош; 1859–1935) — фр. пацифист и деятель эсперантистского движения.

*Монета Эрнесто Теодоро* (1833–1918) — итал. журналист и пацифист; лауреат Нобелевской премии мира (1907).

*Яков Александрович Новиков* (1849–1912) — рус. социолог и публицист; писал преимущественно по-французски; в публицистических работах развивал идеи пацифизма.

*Норгау Макс* (1849–1923) — философ, публицист, обществ. деятель, один из основателей Всемирной сионистской организации; врач-психиатр по профессии.

*Кнейп Себастьян* (1821–1897) — нем. катол. священник, автор книги «Мое водолечение».

### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 168. *Тартаков Иоаким Викторович* (1860–1923) — рус. оперный певец (баритон); уроженец Одессы.

*Ланжерон* — приморский район Одессы.

С. 170. *Confessions Руссо* — «Исповедь», автобиогр. роман фр. писателя и мыслителя Жан-Жака Руссо (1712–1778).

### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 176. *Марсель Прево* (1862–1941) — фр. писатель, автор романа «Полудевы» (1894).

### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 180. *Южанин* (наст. имя Зельдис Фома Моисеевич) — рус. журналист, сотрудничал в газете «Одесский листок».

### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 183. *Литературно-художественное общество* — см. примеч. к с. 27.

*Вл. Заузе* — см. примеч. к с. 126.

*Кюи Цезарь Антонович* (1835–1918) — рус. композитор и муз. критик.

*Алексомати Николай Харлампиевич* (1848–1907) — рус. художник, член Товарищества южнорус. художников.

*«Которая из двух»* — комедия Н. И. Куликова (Крестовского; 1815–1891).

*Франсуа Коппе* — см. примеч. к с. 144.

*«Три смерти»* — лирическая драма А. Майкова (1851).

*Федоров Александр Митрофанович* (1868–1949) — рус. поэт, журналист, драматург.

### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 185. *Негелин Евгений Яковлевич* (1850–1913) — рус. актер, выступал в театрах Харькова, Киева, Одессы и др. городов.

С. 186. *Велизарий Мария Ивановна* (1864–1944) — рус. актриса.

*Знакомый* — см. примеч. к с. 83.

С. 187. *Флакман* — герой пьесы нем. драматурга Отто Эрнста (Шмидта) «Воспитатель Флакман».

*Ванюшин* — см. примеч. к с. 146.

*Савина* — см. примеч. к с. 135.

*Иванов-Козельский* Митрофан Трофимович (1850–1898) — рус. актер.

#### **ВСКОЛЬЗЬ. Рыжие**

С. 187. *Фемистоклюс* — см. примеч. к с. 128.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 191. «*Сказать не ложно, / Его без скуки слушать можно*» — парафраза цитаты из басни И. А. Крылова «Осел и соловей» (1811).

С. 192. *Апостолу* — см. примеч. к с. 93.

*Массимо Массими* — итал. оперный певец (тенор).

*Константино* — см. примеч. к с. 145.

*Мазини* Анджело (1844–1926) — итал. оперный певец (тенор); с большим успехом выступал во многих городах мира; многократно посещал Петербург (с 1877), принимая участие в спектаклях итал. оперы Паенаевского театра, Малого театра и др.

*Барриентос* (Баррьентос) Мария (1883–1946) — исп. оперная певица, одна из самых знаменитых сопрано первой половины XX века.

*Баттистини* — см. примеч. к с. 134.

*Джиральдони* — см. примеч. к с. 80.

*Наваррини* — см. примеч. к с. 93.

С. 193. *Иванов* Михаил Михайлович (1849–1927) — рус. муз. критик и композитор, автор оперы «Забава Путятишна» (1897).

«*Новое время*» (СПб., 1868–1917) — одна из крупнейших рус. газет; первоначально либеральная, в начале XX века она имела устойчивую репутацию реакционной и антисемитской.

С. 194. *Собинов* Леонид Витальевич (1872–1934) — рус. оперный певец (лир. тенор).

*Шаялин* Федор Иванович (1873–1938) — рус. оперный певец (бас).

*Ошустович* Феликс Антонович (ок. 1870–?) — рус. оперный певец (лирико-драм. тенор).

*Власов* Степан Григорьевич (1858–1919) — рус. оперный певец (бас).

*Делли-Аббати* — см. примеч. к с. 732.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 194. «*Гилка*» — игра в мяч.

«*Сало*» — здесь: салки, салочки (игра).

С. 195. «*Дыр-дыра*» — см. примеч. к с. 143.

#### **STUDENTESCA. Из жизни римских студентов**

С. 202. *Вокабулы* (от лат. *vocabulum* — слово) — иноязычные слова или словосочетания, предназначенные для заучивания и расположенные в определенном порядке.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 204. *Рябинин* Трофим Григорьевич (1801–1885) — сказитель былин, крестьянин деревни Середки Петрозаводского уезда Олонецкой губ.

#### **ГОРОДСКОЙ ТЕАТР**

С. 207. *Борогай* Михаил Матвеевич (1853–1929) — театр. деятель, антрепренер.

*Боброва* Эмилия Федоровна (1875–?) — рус. оперная певица (лирико-колор. сопрано).

*Брайнин* Абрам Лазаревич (1880—после 1941) — рус. оперный певец (тенор).

*Арцимович* (Арцымович) Антон Францевич — рус. оперный певец (лирико-драм. тенор).

С. 208. *Лосский* Владимир Аполлонович (1874—1946) — рус. оперный певец (бас), режиссер, педагог; Засл. артист Республики (1925).

*Новоспаская* Надежда Константиновна (1877—?) — рус. оперная певица (лирико-драм. сопрано).

*Ковалькова* (Ковелькова) Екатерина Георгиевна (1876—1963) — рус. оперная певица (меццо-сопрано и контральто) и педагог.

*Палицын* (Палицын) Иван Осипович (1865—1931) — рус. дирижер, Засл. артист Республики (1925); дирижировал многими оперными оркестрами России; один из организаторов оперного театра в Саратове (1890).

#### ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

С. 208. *Борогай* — см. примеч. к с. 207.

С. 209. *Палицын* — см. примеч. к с. 208.

*Брун* Клара Исааковна (1876—1959) — рус. оперная певица (лирико-драм. сопрано).

*Шевелев* Николай Артемьевич (1874—1929) — рус. оперный певец (баритон).

*Секарь-Рожанский* Антон Владиславович (1863—1952) — рус. оперный певец (тенор).

*Брайнин* — см. примеч. к с. 207.

*Томская* Алла Михайловна (?—1942) — рус. оперная певица (контральто).

*Гагаенко* Василий Артемьевич (1858—1931) — рус. оперный певец (бас).

#### ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

С. 211. *Боброва* — см. примеч. к с. 207.

*Ковелькова* — см. примеч. к с. 208.

*Шевелев* — см. примеч. к с. 209.

#### ВСКОЛЬЗЬ

С. 213. *Кунштиюк* (нем.) — фокус, проделка.

С. 214. *Винт* — см. примеч. к с. 49.

*Шестьдесят шесть* — карточная игра.

*Пересыпь* — район Одессы.

#### ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

С. 215. «*Тангейзер*» (1845) — опера Рихарда Вагнера (1813—1883).

*Секарь-Рожанский* — см. примеч. к с. 209.

*Брун* — см. примеч. к с. 209.

*Брайнин* — см. примеч. к с. 207.

*Тассин* Василий Андреевич (1864—1921) — рус. оперный певец (бас).

*Гагаенко* — см. примеч. к с. 209.

С. 216. *Новоспаская* — см. примеч. к с. 208.

*Менцер* (в замужестве Друзякина) Софья Ивановна (1880—1953) — рус. оперная певица (лирико-драм. сопрано).

#### ВСКОЛЬЗЬ

С. 216. *Вейнберг* Петр Исаевич (1830—1908) — рус. поэт, переводчик, историк литературы.

С. 218. *Менотти Дельфино* — итал. оперный певец (баритон).

#### ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

С. 219. *Серебряков* Константин Терентьевич (1852–1919) — рус. оперный певец (бас).

*Антоновский* Александр Петрович (1863–1939) — рус. оперный певец (бас).

*Мельников* Иван Александрович (1832–1906) — рус. оперный певец (бас-баритон).

С. 220. *Новоспаская* — см. примеч. к с. 208.

*Ковалькова* — см. примеч. к с. 208.

#### ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

С. 220. *Бородай* — см. примеч. к с. 207.

«*Пророк*» (1849) — опера Дж. Мейербера (1791–1864).

*Секарь-Рожанский* — см. примеч. к с. 209.

С. 221. *Томская* — см. примеч. к с. 209.

*Боброва* — см. примеч. к с. 207.

*Анабаптисты* — последователи анабаптизма, религ. течения, которое было распространено в Германии, Англии и Нидерландах (XVI в.).

*Гагаенко* — см. примеч. к с. 209.

*Брайнин* — см. примеч. к с. 207.

*Акимов* (Энгель-Крон) Сергей Михайлович (1867–1930) — рус. оперный певец (бас), режиссер, антрепренер, педагог и муз. обществ. деятель.

*Купер* Эмиль Альбертович (1877–1960) — рус. дирижер.

#### ВСКОЛЬЗЬ

С. 227. *Нюма Дроз* (1844–1899) — швейц. полит. деятель, президент Швейц. Конфедерации (1881; 1887).

*Панталеони* Маффео (1857–1924) — итал. экономист, социолог, полит. деятель.

#### ВСКОЛЬЗЬ

С. 228. *Библиотека* Андрея *Бортневского* — одесская частная коммерческая библиотека (1867–1919).

#### ВСКОЛЬЗЬ

С. 239. *Гоппенфельд* — см. примеч. к с. 67.

#### ВСКОЛЬЗЬ. *Patres conscripti*

С. 252. *Ланжерон* — см. примеч. к с. 168.

*Пересыпь* — см. примеч. к с. 214.

С. 255. *Масленников* Владимир Иванович — одесский присяжный поверенный, гласный гор. думы.

С. 256. *Малый Фонтан* — приморский район Одессы.

*Прагер* — общественный парк в Вене.

*Молдаванка* — предместье Одессы, позднее вошедшее в черту города (1917).

#### ВСКОЛЬЗЬ

С. 260. *Прибик* — см. примеч. к с. 61.

С. 261. *Куяльник* — Куяльницкий лиман.

С. 262. *Кроссинг* — пересечение, нарушение правил обгона (в соревнованиях).

*Гласные* — выборные члены земского собрания и городской думы.

**ВЕЗЕТ — НЕ ВЕЗЕТ**

С. 264. «*Мир Божий*» (СПб., 1892–1906) — ежемесячный лит. и научно-популяр. журнал демократического направления.

С. 267. *Поликратов перстень* — выражение, означающее быстротечность, непостоянность счастья и удачи (источник: легенда о перстне самосского тирана Поликрата, брошенном в море и возвращенном в брюхе рыбы).

С. 268. «*У счастливого недруги мрут, / У несчастного друг умирает...*» — цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Не рыдай так безумно над ним...».

С. 272. *Баккара, макао* — карточные игры.

С. 273. «*Претенденты на корону*» (в современных переводах — «Борьба за престол»; 1864) — драма Г. Ибсена (содержание пьесы изложено неточно).

*Ярл* — высший титул в иерархии средневековой Скандинавии.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 274. *Бурская армия* — см. примеч. к с. 63.

«*Отроческие годы Пушкина*» (1885) — книга В. П. Авенариуса (1839–1923).

С. 275. *Майн Рид* (1818–1883) — англ. писатель, автор приключенческих романов.

*Жюль Верн* (1828–1905) — фр. географ и писатель, классик приключенческой литературы.

*Буссенар* Луи Анри (1847–1911) — фр. писатель, автор приключенческих романов.

*Жаколио* Луи (1837–1897) — фр. писатель, автор приключенческих романов.

*Густав Эмар* (1818–1883) — фр. писатель, автор приключенческих романов.

*Calman Lévy* (Кальман Леви; 1819–1891) — фр. издатель.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 283. *Фонтан* — приморский район Одессы.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 284. *Знакомый* — см. примеч. к с. 83.

«*Одесский листок*» — см. примеч. к с. 83.

*Литвицкий* Федор Николаевич (?–1915) — одесский адвокат.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 291. «*Записки врача*» (1902) — книга В. В. Вересаева (см. примеч. к с. 46).

*Жбанков* Дмитрий Николаевич (1853–1932) — врач, деятель земской медицины и этнограф.

С. 293. *Мальтус* Томас Роберт (1766–1834) — англ. священник и ученый, демограф и экономист, автор теории, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 297. *Коппе* — см. примеч. к с. 144.

**PRO DOMO MEA**

С. 301. *Пойми меня, мой друг Елена...* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Амур и Гименей» (1816).

С. 303. *Боккаччо* Джованни (1313–1375) — итал. писатель, представитель литературы эпохи раннего Возрождения. Главное произведение — «Декамерон» (1350–1353, опубликовано в 1470).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 306. ...«из-за ограда зубов их» — парафраз выражения «Что за слова у тебя из ограды зубов излетели» (из «Одиссеи» Гомера).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 307. *Прибик* — см. примеч. к с. 61.

С. 308. *Гласный* — см. примеч. к с. 262.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 309. *Аркадия* — курортная зона Одессы.

С. 310. *Прибик* — см. примеч. к с. 61.

С. 312. *Финн* (Гермониус Аксель Карлович; 1860–1912) — рус. журналист.

*Вяльцева* Анастасия Дмитриевна (1871–1913) — рус. эстрадная певица (меццо-сопрано), исполнительница цыганских романсов.

*Яворская* — см. примеч. к с. 125.

*Густаво Сальвини* (1859–1930) — итал. актер; сын выдающ. итал. трагика Томмазо Сальвини (1829–1915).

«*Одонтолух*» — искаженное «одонтолог», специалист по зубным болезням.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 314. *Большой Фонтан* — см. примеч. к с. 283.

*Орленев* Павел Николаевич (1869–1932) — рус. актер.

*Велизарий* — см. примеч. к с. 186.

С. 315. «*Призраки*» («Привидения»; 1881) — пьеса Г. Ибсена.

*Альфред де Мюссе* — см. примеч. к с. 144.

*Ришпен Жан* (1849–1926) — фр. поэт, драматург, прозаик.

*Суворин* — см. примеч. к с. 117.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 318. *Добротворский* Петр Иванович (1839–1908) — рус. писатель.

С. 319. *Гофман* Эрнест Теодор Амадей (1776–1822) — нем. писатель, композитор, художник.

С. 320. *Меньшиков* Михаил Осипович (1859–1918) — рус. публицист и обществ. деятель, один из идеологов рус. национализма, ведущий сотрудник газеты «Новое время», инициатор создания правосл.-монарх. партии «Всероссийский национальный союз» (1908).

**ГЕНРИХ СЕМИРАДСКИЙ**

С. 321. *Хомбург* (Бад-Хомбург-фон-дер-Хёэ) — курорт в Германии.

*Антокольский* Марк Матвеевич (1843–1902) — рус. скульптор, академик (с 1871).

*Генрих* Ипполитович *Семирадский* (1843–1902) — рус. художник.

*Яворская* — см. примеч. к с. 125.

*Морзе* Сэмюэл (1791–1872) — амер. изобретатель; наиболее известное изобретение — электромагнитный пишущий телеграф («аппарат Морзе», 1836).

*Юз* (Хьюз) Дэвид Эдвард (1831–1900) — амер. изобретатель, создатель первого в мире буквопечатающего телеграфного аппарата (1856).

С. 322. *Александр Антонович Риццони* (1836–1902) — рус. художник; академик живописи (1866).

*Араньо* — см. примеч. к с. 32.

«*Пляска среди мечей*» — картина Г. Семирадского.

*Газеле Густав* — владелец писчебумажного магазина на Дерибасовской улице в Одессе.

С. 323. *Пиния* — итал. сосна.

С. 324. «*Свечки христианства. Факелы Нерона*» (1876) — картина Г. И. Семирадского, удостоенная Гран-при на Всемирной выставке в Париже.

*Гаршин Всеволод Михайлович* (1855–1888) — рус. писатель.

*Михайловский Николай Константинович* (1842–1904) — рус. публицист, лит. критик; теоретик народничества; редактор журнала «Русское богатство».

#### **ВСКОЛЬЗЬ. Беглецы Пинского болота**

С. 327. «*Трехнедельный угалец*» — так называет М. Ю. Лермонтов Наполеона в стихотворении «*Два великана*» (1832).

*География Янчина* — «Краткий учебник географии» И. В. Янчина (1839–1889).

#### **ВСКОЛЬЗЬ. О книге**

С. 330. *Изгоев* (Ладе) *Александр Соломонович* (1872–1935) — рус. публицист, социолог, полит. деятель; в начале своей деятельности (1890-е) был легальным марксистом; затем — социал-демократ; впоследствии — один из лидеров правых кадетов (с 1905).

С. 333. *Краевич Константин Дмитриевич* (1833–1892) — физик, педагог, составитель учебников физики и алгебры.

*Гегель Георг Вильгельм Фридрих* (1770–1831) — нем. философ.

*Бердяев Николай Александрович* (1874–1948) — рус. религ. философ.

С. 335. *Летурно Шарль* (1831–1902) — фр. этнограф и социолог, профессор антропологической школы в Париже.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 337. *Трен* — шлейф.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 338. *Двойственный союз* — см. примеч. к с. 127.

*Тройственный союз* — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии (1879–1882).

С. 339. *Гульельмо Оберган* (Вильгельм Оберданк; 1858–1882) — римский студент, уроженец Триеста; был казнен за подготовку покушения на императора Франца Иосифа (1830–1916).

С. 340. *Матильда Серао* (1856–1927) — итал. романистка и журналистка, последовательница веризма.

*Фогаццаро Антонио* (1842–1911) — итал. писатель.

*Верга Джованни* (1840–1922) — итал. писатель-реалист, известный романами, описывающими жизнь на Сицилии.

*Капуана Луиджи* (1839–1915) — итал. критик и писатель, профессор литературы в Римском университете.

*Грация Делегга* (1871–1936) — итал. писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (1926).

*Лабриола Антонио* (1843–1904) — итал. философ и социолог, ортодоксальный марксист.

*Сигеле* Шипио (1868–1913) — итал. социолог и криминолог; исследовал вопросы коллективной психологии.

*Ничефоро* Альфредо (1876–1960) — итал. социолог и юрист.

*Нитти* Франческо Саверио (1868–1953) — итал. политик и обществ. деятель, один из идеологов итал. либерализма.

*Феррари* Джузеппе (1811–1876) — итал. историк и философ.

*Панталейони* — см. примеч. к с. 227.

*Парето* Вильфредо (1849–1923) — итал. инженер, экономист и социолог, один из основоположников теории элит.

С. 341. *20 сентября 1870 года* — дата присоединения Рима к Итал. королевству, завершившая эпоху Рисорджименто (объединения Италии).

#### **ВСКОЛЬЗЬ. Аререрёммен**

С. 342. *Хогобай* Юрий Юрьевич — автор учебников по латинской грамматике.

*Эмиль Вячеславович Черный* — автор учебника древнегреч. языка.

*«Гнев, о богиня, воспой...»* — первая строка «Илиады» Гомера.

*Аттический, дорический, ионический* — диалекты древнегреч. языка.

*Plusquamperfectum passive (лат.)* — пассивный залог давнопрошедшего времени.

*Погволочиск* — пограничный город в Восточной Галиции (ныне — в Тернопольской области Украины).

*...учебник Буслаева...* — «Учебник русской грамматики, сближенной с церковнославянской, с приложением грамматического разбора» (1896), составлен Ф. И. Буслаевым (1818–1897).

#### **ВСКОЛЬЗЬ. К сезону**

С. 347. *Лубковская* — см. примеч. к с. 91.

*Дюкова* — см. примеч. к с. 149.

С. 348. *Литературно-художественное общество* — см. примеч. к с. 27.

С. 349. *«Три смерти» Майкова* — см. примеч. к с. 183.

*Мюссе* — см. примеч. к с. 144.

#### **ВСКОЛЬЗЬ. Маяк**

С. 353. *«Больше не нужно ни песен, ни слез...»* — цитата из стихотворения И. С. Никитина (1824–1861) «Вырыта заступом яма глубокая...» (1860).

*Кармен* — см. примеч. к с. 83.

#### **ВСКОЛЬЗЬ. У соры Нины**

С. 354. *Имола* — город в Италии недалеко от Флоренции.

*Турати* Филиппо (1857–1932) — итал. полит. деятель, публицист; депутат парламента (1896–1926), лидер парламентской группы Социалистической партии.

*Ферри* Энрико (1856–1929) — итал. ученый, криминолог, последователь Ч. Ломброзо.

*Коста* Андреа (1851–1910) — итал. полит. деятель, депутат парламента (с 1882), примыкал к крайней левой фракции.

*Ригола* Ринальдо (1868–1954) — итал. полит. деятель, социалист.

*Моргари* Оддино (1865–1944) — итал. журналист и полит. деятель, социалист.

С. 355. *Teamp Costanzi* — оперный театр в Риме; построен по проекту архитектора Доменико Костанци (1890).



С. 356. «*Avanti!*» («Вперед!») — ежедневная газета, центральный орган Итал. социалистической партии (с 1896).

С. 357. *Кремона* — город в Ломбардии.

С. 358. *Монтечиторио* — дворец заседаний нижней палаты итал. парламента.

*Министерство* — здесь: правительство, кабинет министров.

#### **ВСКОЛЬЗЬ. Честь актрисы**

С. 358. *Эрmete Дзаккони* (1857–1948) — итал. актер, представитель натуралистич. направления в театре.

*Ирма Граматика* (1873–1962) — итал. драм. актриса.

С. 359. *Шницлер* — см. примеч. к с. 58.

С. 361. *Жорж Санг* (наст. имя Аврора Дюпен, в замужестве Аврора Дюдеван; 1804–1876) — фр. писательница.

#### **ВСКОЛЬЗЬ. Драма драмы**

С. 362. «*Уриэль Акоста*» (1847) — трагедия нем. писателя Карла Гуцкова (1811–1878).

С. 363. *Павленков* Евгений Федорович (1866–1920) — рус. актер; выступал в театрах Костромы, Вологды, Харькова, Саратова, Казани, Одессы и др. городов.

*Фюльга* Людвиг (1862–1939) — нем. драматург и поэт.

«*Контролер спальных вагонов*» — фривольная комедия А. Биссона.

С. 365. *Дюковцы* — см. примеч. к с. 149.

#### **О СИОНИЗМЕ**

С. 365. *Бикерман* Иосиф Менассиевич (1867–1942) — публицист и обществ. деятель; выступал резким противником сионистского движения и идишизма.

«*Русское богатство*» (СПб., 1876–1918) — ежемесячный журнал.

С. 370. *Лавуазье* Антуан Лоран (1743–1794) — фр. химик, один из основоположников современной химии.

*Уступит ли Турция?* — Палестина находилась под властью Турции с 1840 по 1917 г.

*Младотурки* — участники антиабсолютистского национального движения в Турции (конец XIX — начало XX в.).

С. 372. *Познань...* — см. примеч. к с. 63.

#### **ВСКОЛЬЗЬ. О криминалистах**

С. 373. *Ломброзо* — см. примеч. к с. 48.

С. 376. *Гарофало* Рафаэле (1851–1934) — итал. ученый-криминалист, ученик и последователь Чезаре Ломброзо, автор теории «естественного преступления».

*Павел и Виргиния* — герои одноименного романа (1787) фр. писателя Бернардена де Сен Пьера (1737–1814).

#### **ВСКОЛЬЗЬ. Желтые перчатки**

С. 379. *Corso* — одна из центральных улиц Рима.

*Sant' Ignazio* — ул. Св. Игнация в Риме.

*Борго* — старый район Рима.

С. 380. *Замок Св. Ангела* (гробница Адриана) — мавзолей императора Адриана, позднее крепость, служившая убежищем для римских пап и тюрьмой для врагов католич. церкви.

С. 381. *Боккони* Фердинандо (1836–1908) — итал. предприниматель, основатель первого в Италии магазина готового платья.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 382. *Старопортофранковская* — улица в Одессе.

С. 383. *Шемякино ведомство* (Шемякин суд) — неправый, несправедливый суд.

**ВСКОЛЬЗЬ. Его заслуги**

С. 385. *Дрейфус* Альфред (1859–1935) — офицер фр. генштаба, ложно обвиненный в шпионаже. Антисемитская направленность процесса по его делу (1894–1906) расколола фр. общество на два непримиримых лагеря.

С. 386. *«Париж»* — роман Э. Золя из цикла «Три города» (1894–1898).

С. 387. *Пиндар* (ок. 521–441 до н.э.) — древнегреч. поэт; прославился одами в честь победителей спортивных игр.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 392. *Ломберный столик* — обтянутый сукном четырехугольный раскладной стол для игры в карты.

*Знакомый* — см. примеч. к с. 83.

С. 393. *«Одесский листок»* — см. примеч. к с. 83.

*Финн* — см. примеч. к с. 312.

*Бугулин* (Веккер Борис Давидович; 1879–?) — рус. журналист.

*Если верить почтенной фирме А. К. Дубинина* — имеется в виду Торгово-промышленное товарищество «А. К. Дубинин», владевшее несколькими гастрономическими магазинами в Одессе.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 394. *Знакомый* — см. примеч. к с. 83.

*Герцо-Виноградский* — см. примеч. к с. 83.

С. 395. *Шницлер* — см. примеч. к с. 58.

С. 396. *Вучина* Иван Юрьевич (Георгиевич; 1833–1902) — купец, меценат, греческий консул в Одессе; учредитель ежегодной премии за лучшее драматическое произведение (1872).

*Театр г-на Суворина* — театр Лит.-худож. общества в Петербурге (1895–1917); являлся частным предприятием А. С. Суворина (см. примеч. к с. 117); в обиходе именовался Суворинским (реже — Малым) театром.

С. 397. *Зал «Гармония»* — один из театральных залов Одессы.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 397. *Комо* — город в Ломбардии.

С. 398. *Передержки* — переезжаемые.

*Дача «Отрада»* — курортное место, принадлежавшее семейству Халайджого.

*«Русская мысль»* (М., 1880–1918) — ежемесячный лит.-полит. журнал.

С. 400. *Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836–1921) — рус. писатель, почетный академик Петербургской АН (1900).

*«Вокруг света»* — ежемесячный познавательный журнал (основан в 1861).

*«Zum Kritik der kritischen Kritik»* — вероятно, имеется в виду первая совместная работа К. Маркса и Ф. Энгельса «Святое семейство, или Критика критической критики» (1845).

С. 403. *Дела давно минувших дней, / Преданья старины глубокой...* — цитата из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 403. «*Бессарабец*» (Кишинев, 1897–1901) — ежедневная газета антисемитского направления; ее издатель П. А. Крушеван (1860–1909) возглавлял бессарабский филиал Союза русского народа.

С. 404. *Акциз* — здесь: акцизное ведомство, взимающее косвенные налоги на отдельные товары (в частности, алкогольные напитки).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 406. «*Листок*» — см. примеч. к с. 83.

*Бугилин* — см. примеч. к с. 393.

С. 407. *Дубинин* — см. примеч. к с. 393.

*Голта* — село в Херсонской губ. (ныне входит в состав города Первомайска).

*Балта* — уездный город Подольской губ. (ныне — в Одесской области Украины).

*Бендеры* — уездный город Бессарабской губ. (ныне — в Молдове), порт на реке Днестр.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 408. *Хмельницкий* Исаак Абрамович — одесский присяжный поверенный.

*Андриевский* Алексей Александрович (1845–1902) — рус. историк, литератор, педагог (у Жаботинского неточно назван Алексеем Андреевичем).

С. 409. *Пекаторос* Георгий Михайлович (1864–?) — одесский издатель, публицист, драматург.

С. 410. *Доктор Паскаль*, *Клотильда* — персонажи романа Э. Золя «Доктор Паскаль» (1893).

*Дарио* и *Бенедетта* — персонажи романа Э. Золя «Рим» (1896).

*Капитолийская Венера* — статуя I века до н. э., находится в музее Капитолия в Риме.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 412. *Товарищество южнорусских художников* (1890–1922) — независимое творческое объединение одесских художников.

С. 414. *Костанди* Кириак Константинович (1852–1921) — рус. художник, один из учредителей Товарищества южнорус. художников, преподавал в Одесском худож. училище.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 415. «*Монна Ванна*» (1902) — историческая драма М. Метерлинка.

*Яворская* — см. примеч. к с. 125.

*Соловцовцы* — см. примеч. к с. 39.

«*Мир Божий*» — см. примеч. к с. 264.

С. 416. *Строева-Сокольская* Софья Тимофеевна — рус. актриса, играла в театрах Харькова и др. городов.

С. 417. *Пасхалова* — см. примеч. к с. 149.

С. 418. *Павленков* — см. примеч. к с. 363.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 419. *Препараты Магжи* — суповые смеси фирмы «Магжи».

**ВСКОЛЬЗЬ. Все-таки о господине Дмитриеве**

С. 420. *Гласный* — см. примеч. к с. 262.

С. 423. *Молдаванка* — см. примеч. к с. 256.

*Mein Liebchen, was willst du noch mehr?* — цитата из стихотворения Г. Гейне «Прелестные глазки»; в поэтическом переводе Н. А. Добролюбова: «Милый друг, чего больше желать?».

С. 424. *Масленников* — см. примеч. к с. 255.

#### МИРРА ЛОХВИЦКАЯ

С. 424. *Мирра Лохвицкая* (Мария Александровна, по мужу Жибер; 1869–1905) — рус. поэтесса.

С. 426. *...повел нас под эстакаду...* — под грузовой эстакадой одесского порта ночевали бездомные.

«*Праздник забвения*» — поэма М. Лохвицкой (1898).

#### ВСКОЛЬЗЬ. Хуже Иуды

С. 428. *Скриба* (Соловьев Евгений Андреевич; 1867–1905) — рус. лит. критик и историк литературы.

*Мережковский* — см. примеч. к с. 132.

*Иуда Искариотский* — один из 12 апостолов, предавший Христа.

С. 429. *Понтий Пилат* — римский правитель (прокуратор Иудеи) с 26 по 36 г.н.э., при котором был казнен Иисус Христос.

#### ВСКОЛЬЗЬ

С. 432. *Имматрикуляция* — внесение в списки.

С. 433. «*Монна Ванна*» — см. примеч. к с. 415.

С. 434. *Строева-Сокольская* — см. примеч. к с. 416.

*...окна мелом... Бог весть...* — цитата из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (1823–1831).

*Салтыков Михаил Федорович* — рус. оперный певец (баритон) и антрепренер.

«*Кармен*» (1875) — опера Ж. Бизе по мотивам повести П. Мериме.

С. 435. *Герцль Теодор* (Биньямин Зеэв; 1860–1904) — австр. журналист, основатель полит. сионизма и Всемирной сионистской организации.

#### ВСКОЛЬЗЬ. О «Монне Ванне»

С. 433. *Гезиод* (Гесиод; 8–7 вв. до н. э.) — древнегреч. поэт.

С. 439. *Бёклин Арнольд* (1827–1901) — швейц. живописец, один из выдающихся представителей символизма.

С. 440. *Теннисон Альфред* (1809–1892) — англ. поэт, представитель викторианской эпохи.

*Леди Годива* — героиня одноименной баллады А. Теннисона, которая согласилась проехать нагой по улицам города, чтобы спасти земляков от непосильных поборов.

*Лаура* — возлюбленная Франческо Петрарки (1304–1374), воспетая в его стихах.

#### ВСКОЛЬЗЬ. I. По дороге в Гренландию

С. 441. *О2П* — Одесская 2-я прогимназия.

*Молдаванка* — см. примеч. к с. 423.

С. 442. *Гашкевич* (Гошкевич) Виктор Иванович (1860–1928) — историк, археолог, краевед, обществ. деятель, издатель-редактор ежедневной херсонской газеты «Юг», основатель Херсонского ист.-археол. музея.

*Остров Березань* — остров в Черном море, археол. заповедник.

С. 443. *Мейерхольд* Всеволод Эмильевич (1874–1940) — рус. актер, режиссер, педагог, Нар. артист Республики (1923), один из реформаторов театра XX в.

*Кошеверов* Александр Сергеевич (1874–1921) — рус. актер; выступал в Моск. Худож. театре (1898–1902); вместе с Мейерхольдом отделился в новую труппу.

*Будкевич* (Буткевич) Наталья Антоновна — рус. актриса.

*Мунт* Екатерина Михайловна (1875–1954) — рус. актриса; выступала в Моск. Худож. театре (1898–1902), труппе В. Э. Мейерхольда «Товарищество новой драмы» (1902–1906); Засл. артистка РСФСР (1932).

## II. В Гренландии

С. 444. *Трен* — см. примеч. к с. 337.

*Шницлер* — см. примеч. к с. 58.

«*Миргород есть нарочито невеликий...*» — эпитафия к сборнику повестей Н. В. Гоголя «Миргород».

## ВСКОЛЬЗЬ

С. 447. *Кулыгин* — школьный учитель, персонаж пьесы А. П. Чехова «Три сестры».

С. 448. *Эмерштура* — специальная пенсия отставным государственным служащим.

## ВСКОЛЬЗЬ. О левой ноге

С. 449. «*Чего моя левая нога хочет...*» — цитата из пьесы А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живет» (1863).

С. 450. *Рюрик* — легендарный варяг, призванный на княжение в Новгород, родоначальник династии Рюриковичей.

*Синеус, Трувор* — братья Рюрика.

## ВСКОЛЬЗЬ. Умер Днепр

С. 451. «*Редкая курица добредет до середины Днепра*» — парафраза выражения «Редкая птица долетит до середины Днепра» (из повести Н. В. Гоголя «Страшная месть»).

С. 453. *Берислав* — город в Херсонской губ.

*Лепетихи* (Великая и Малая) — села в Херсонской губ.

С. 454. «*Шестьдесят шесть*» — см. примеч. к с. 214.

С. 455. *Арамбуро* Антонио (1838–1912) — исп. оперный певец (тенор).

## ВСКОЛЬЗЬ. К концу выставки

С. 459. *Нилус* — см. примеч. к с. 126.

С. 460. *Эгиз* Борис Исаакович (1869–1947) — рус. художник, член правления и секретарь Товарищества южнорус. художников.

*Кангинский* Василий Васильевич (1866–1944) — рус. живописец, график, теоретик изобразит. искусства, один из основоположников абстракционизма.

*Ганский* Петр Павлович (1867–1942) — рус. художник, член Товарищества южнорус. художников.

*Головков* Герасим Семенович (1863–1909) — рус. художник, член Товарищества южнорус. художников.

С. 461. «*Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки*» (СПб., 1897–1909) — иллюстрир. ежемесячник.

## ВСКОЛЬЗЬ

С. 464. *Доге* Альфонс (1840–1897) — фр. романист и драматург.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 464. *Градовский* Григорий Константинович (1842–1915) — рус. журналист, публицист, обществ. деятель; основал и возглавил кассу взаимопомощи рус. литераторов и ученых (1891).

С. 465. *Лознгрин* — см. примеч. к с. 83.

**ВСКОЛЬЗЬ. Книга Гуковского**

С. 467. *Гуковский* Михаил Эммануилович (1878–1902) — рус. философ, литературовед, издатель.

*Брюнетьер* Фердинанд (1848–1907) — фр. литературовед, историк литературы и критики.

*Куно Фишер* (1824–1907) — нем. историк философии.

*Луи Блан* (1811–1882) — фр. социалист, историк, журналист.

*Шницлер* — см. примеч. к с. 58.

*Якобсен* Йенс Петер (1847–1885) — дат. писатель.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 470. «*Дикая утка*» (1884) — пьеса Г. Ибсена (1828–1906).

«*Столпы общества*» (1877) — пьеса Г. Ибсена.

«*Призраки*» («Привидения», 1881) — пьеса Г. Ибсена.

С. 472. «*Будущность*» (СПб., 1900–1904) — еженедельная газета, посвященная интересам рус. евреев; редактор-издатель С. О. Грузенберг (1876–1938).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 475. *Файгисты* — ученики коммерческого училища Файга.

*Ремингтонировать* — печатать (по названию американской печатной машинки «Ремингтон»).

С. 476. *Казатин* — город Бердичевского уезда Киевской губ. (ныне — в Винницкой области Украины).

*Лубковская* — см. примеч. к с. 91.

«*Мученица*» (1898) — комедия фр. драматурга Жана Ришпена (1849–1926).

«*Монна Ванна*» — см. примеч. к с. 415.

**ВСКОЛЬЗЬ. О цинизме**

С. 483. «*С меня довольно сего сознания...*» — цитата из трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь» (1830).

**ВСКОЛЬЗЬ. Открытие нового драматического театра**

С. 484. «*Дикая утка*» — см. примеч. к с. 470.

*Гауптман* Герхард (1862–1946) — нем. драматург; лауреат Нобелевской премии по литературе (1912).

*Дальницкая* — улица в районе Молдаванки (см. примеч. к с. 423).

*Трилогия Толстого* — трагедии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868), «Царь Борис» (1870).

*Зудерман* Герман (1857–1928) — нем. беллетрист и драматург.

«*Дети Ванюшина*» — см. примеч. к с. 146.

«*Лишенный прав*» — пьеса И. Н. Потапенко (1853–1929).

«*Флакман*» — см. примеч. к с. 186.

С. 485. *Пересыпь* — см. примеч. к с. 214.

*Карл Моор* — герой драмы Ф. Шиллера «Разбойники».

*Мясницкий* (Барышев) Иван Ильич (1854–1911) — рус. писатель-юморист, автор многочисленных комедий-фарсов.

С. 486. «*Сей возраст жалости не знает...*» — цитата из басни И. А. Крылова «*Два голубя*» (1809).

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 488. *Андреев* Леонид Николаевич (1871–1919) — рус. писатель.

С. 489. *Газета «Театр»* (1896–1902) — одесское издание.

*Монна Ванна* — см. примеч. к с. 415.

С. 490. *Савонарола* Джироламо (1452–1498) — итал. проповедник и обществ. реформатор.

*Фидий* (нач. V в. до н. э. — ок. 432–431 до н. э.) — древнегреч. скульптор периода высокой классики.

*Пракситель* (ок. 390 — ок. 330 до н. э.) — древнегреч. скульптор, представитель поздней классики.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 490. «*История кусочка хлеба*» — книга фр. писателя Ж. Массе (1815–1894).

«*Объята Севилья и мраком и сном...*» — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «*Я здесь, Инезилья...*» (1830).

С. 492. «*Дикая утка*» — см. примеч. к с. 470.

#### **ВСКОЛЬЗЬ. Публика и «Монна Ванна»**

С. 494. *Монна Ванна* — см. примеч. к с. 415.

С. 496. *Пасхалова* — см. примеч. к с. 149.

С. 498. *Кафешантан* — кафе с эстрадой для выступлений.

С. 499. *Трен* — см. примеч. к с. 337.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 502. *Пасхалова* — см. примеч. к с. 149.

С. 503. *Марикка* — персонаж пьесы «*Огни Ивановой ночи*» (1900) Г. Зудермана (см. примеч. к с. 484).

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 505. «*Бездна*» (1902) — рассказ Л. Н. Андреева.

С. 506. *Фрина* — см. примечание к с. 160.

С. 507. *Знакомый* — см. примеч. к с. 83.

*Насекомый* — см. примеч. к с. 128.

«*Лагно*» (1902) — спектакль по пьесе Жаботинского с А. А. Пасхаловой в главной роли.

«*Одесский листок*» — см. примеч. к с. 83.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 511. *Дальский* Мамонт Викторович (1865–1918) — рус. актер.

С. 512. «*Роберт-Дьявол*» (1831) — опера Дж. Мейербера (1791–1864).

С. 513. *Убийство Гонзаго* — сцена из трагедии «*Гамлет*» У. Шекспира.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 513. *Молдавцев* Григорий — артист, популярен автор-исполнитель эстрадных куплетов.

С. 514. *А вот сценка в Лизе* — далее следует иронический пересказ драмы М. Метерлинка «*Монна Ванна*».

С. 515. *Кулыгин* Федор Ильич — персонаж пьесы А. П. Чехова «*Три сестры*».

С. 516. «*Травиата*» (1853) — опера Дж. Верди (1813–1901).

#### **ВСКОЛЬЗЬ. Русская мифология**

С. 517. *Перун* — гл. божество восточных славян, бог грома и молнии.

*Чамполи Доменико* (1852–1929) — итал. ученый-славист, лит. критик, переводчик.

С. 518. *Дажбог, Хорс, Велес* — боги восточнославянской мифологии.

С. 519. *Волх Всеславич* — герой рус. эпоса, умевший принимать образ волка.

С. 522. *Поляницы* — героини рус. былин, богатырь-девицы.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 522. *Турки в Македонии* — речь идет о жестоком подавлении Турцией восстания в Македонии (1902–1903).

*Дрейфус* — см. примеч. к с. 385.

С. 523. *Англо-бурская война* (1899–1902) — война Англии против бурских республик — Южно-Африканской Республики (Трансваала) и Оранжевого Свободного Государства (Оранжевой Республики), вызвавшая огромный резонанс во всем мире.

С. 524. *Фанкони* — кафе в Одессе, основано Я. Фанкони (1872).

*Притеснения поляков в Познани* — Познань входила в состав Германии (до 1919).

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 525. «*Без солнца*» — первое название пьесы А. Горького «На дне» (1902).

«*Женщина с моря*» (1888) — пьеса Г. Ибсена.

«*Столпы общества*» — см. примеч. к с. 470.

«*Дикая утка*» — см. примеч. к с. 470.

С. 526. *Как хороши, как свежи были розы* — цитата из стихотворения И. П. Мятлева «Розы» (1834).

С. 528. «*В людном мире, как в глухой пустыне*» — цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Я пришел к тебе с открытою душою...» (1883).

С. 529. «*Дикарка*» (1880) — комедия А. Н. Островского.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 530. «*Где же правота?..*» — из трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830).

С. 532. *Судейская цепь* — знак должностного отличия судьи.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 534. «*Театр и искусство*» (1897–1918) — петербургский журнал. *Геркулесовы столпы* — предел чего-либо, крайняя точка (от древнего названия двух скал на противоположных берегах Гибралтарского пролива).

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 538. *Ванты* — снасти стоячего судового такелажа.

С. 539. *Евреинов* Петр Александрович (1854–1911) — рус. поэт.

*Коносамент* — документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу и удостоверяющий право собственности на отгруженный товар.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 540. *Вечер «под Андрея»* — в день поминовения апостола Андрея Первозванного (13 декабря) вечером устраивались первые зимние гадания, предшествующие святочным.

*Стуколка* — карточная игра.



С. 541. *Решетников* Федор Михайлович (1841–1871) — рус. писатель-демократ; одним из первых изобразил зарождение в России рабочего класса.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 545. *Фемидга* — в греческой мифологии богиня правосудия.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 547. *Компримарий* — исполнитель вторых партий в опере.

С. 548. *Баррера* Карло — итал. оперный певец (тенор).

*Роцин-Инсаров* Николай Петрович (1861–1899) — рус. актер; был застрелен из ревности мужем актрисы А. А. Пасхаловой, служившей вместе с убитым в театре Соловцова в Киеве.

С. 549. «*Auga*» — опера Дж. Верди; премьера состоялась в Каире (1871).

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 553. *По камням струится Терек...* — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Казачья колыбельная песня» (1837–1838).

*Трубят голубые гусары...* *Большой был военный постой...* — цитата из стихотворения Г. Гейне, входящего в цикл «Опять на родине».

*Минаев* Дмитрий Дмитриевич (1835–1889) — рус. поэт-сатирик, автор многочисленных пародий, эпиграмм, фельетонов.

#### **ВСКОЛЬЗЬ. Наперекор**

С. 556. «*Монна Ванна*» — см. примеч. к с. 415.

*Пасхалова* — см. примеч. к с. 149.

С. 560. *Д'Аннунцио* Габриеле (1863–1938) — итал. прозаик, поэт, драматург и полит. деятель; приветствовал фашист. переворот в Италии.

С. 561. «*Доктор Штокман*», «*Нора*» — пьесы Г. Ибсена.

С. 562. *Чистяков* Михаил Борисович (1809–1885) — педагог и детский писатель; издатель и редактор «Журнала для детей» (СПб., 1851–1865).

*Боккаччо* — см. примеч. к с. 303.

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 564. *Костанди* — см. примеч. к с. 414.

*Корнев* — см. примеч. к с. 126.

*Кишиневский* Соломон Яковлевич (1862–1942) — рус. живописец, график; погиб во время гитлеров. оккупации.

*Нилус* — см. примеч. к с. 126.

*Головков* — см. примеч. к с. 460.

*Полов* Александр Андреевич (1852–1919) — рус. художник, академик Петербургской академии художеств, член-учредитель Товарищества южнорус. художников.

*Заузе* — см. примеч. к с. 126.

#### **ЛИДОЧКИНА СИСТЕМА**

С. 567. *Мюльфельд* Люсьен (1870–1902) — фр. прозаик и театр. критик.

«*Комедия любви*» — пьеса Г. Ибсена (1862).

#### **ВСКОЛЬЗЬ**

С. 569. *...Не плачь, дитя, не плачь напрасно!.. <...> Твоя слеза на труп безгласный...* — ария Демона из одноименной оперы А. Г. Рубинштейна.

«*Мефистофель*» (1868) — опера итал. композитора А. Бойто (1842–1918).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 573. *«Русские ведомости»* (М., 1863–1918) — ежедневная газета.

С. 574. *Вильмессан* Ипполит де (1810–1879) — фр. журналист, издатель и главный редактор газеты «*Le Figaro*» (1854–1875).

С. 575. *«Matin»* — парижская газета.

*Шемаха* и *Анджжан* — города, пострадавшие от сильнейших землетрясений (1902).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 576. *Княжеская, Канатная* — улицы в Одессе.

С. 577. *Новый театр* — см. примеч. к с. 58.

*Дальницкая* — см. примеч. к с. 484.

*Мейерхольд* — см. примеч. к с. 443.

*Кошеверов* — см. примеч. к с. 443.

С. 578. *«Женщина с моря»* — см. примеч. к с. 525.

*«Одинокие»* (1891) — пьеса Г. Гауптмана.

*«Дикая утка»* — см. примеч. к с. 470.

*«Столпы общества»* — см. примеч. к с. 470.

*Вольнский* (Флексер) Аким Львович (1863–1926) — рус. лит. критик и истисковед.

*«Северный вестник»* (СПб., 1885–1898) — ежемесячный лит.-науч. и полит. журнал.

*Литературно-художественное общество* — см. примеч. к с. 27.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 583. *Вольнский* — см. примеч. к с. 578.

*«Наблюдатель»* (СПб., 1882–1904) — ежемесячный лит., полит. и науч.-популяр. журнал.

*«Новое время»* — см. примеч. к с. 193.

*«Петербургский листок»* (1864–1917) — ежедневная газета городской жизни.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 587. *Вольнский* — см. примеч. к с. 578.

*Чуковский* Корней Иванович (1881–1969) — рус. поэт, критик, литературовед, переводчик.

С. 588. *Киевский Булгаков* — видимо, речь идет об отце М. А. Булгакова, профессоре Киевской духовной академии по кафедре истории западных вероисповеданий Афанасии Ивановиче Булгакове (1859–1907).

С. 589. *РОПиТ* — Русское общество пароходства и торговли (1856–1922).

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 589. *Вольнский* — см. примеч. к с. 578.

*Лознгрин* — см. примеч. к с. 83.

С. 590. *Скабичевский* Александр Михайлович (1838–1910) — рус. лит. критик и историк литературы либерально-народнич. направления.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 592. *Частное училище Ровнякова* — одесская мужская гимназия, учрежденная А. П. Ровняковым.

*«Кряхтит да жметесь...»* — цитата из драмы А. С. Пушкина «Скупой рыцарь».

С. 593. *Пушкинская* — улица в Одессе.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 594. *Андре Жирон* — учитель, с которым кронпринцесса Луиза, урожденная принцесса тосканская, бежала от своего мужа, саксонского кронпринца Фридриха-Августа. О возникшем в результате этого бегства скандальном бракоразводном процессе тогда много писали в газетах.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 596. *Училище Ровнякова* — см. примеч. к с. 592.

**ВСКОЛЬЗЬ. Публика о кормилицах**

С. 600. *...доволен сам собой, / своим обедом и женой...* — цитата из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

**КОГДА-ТО**

С. 606. *Фиуме* (Риека) — город и порт на Адриатическом побережье.

**ВСКОЛЬЗЬ**

С. 615. *«Верь, настанет пора, и погибнет Ваал...»* — цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...» (1880).

*Фагоциты* — клетки, способные уничтожать посторонние тела, в частности микробы.

С. 616. *Строитель Сольнес* — герой одноименной пьесы Г. Ибсена (1892).

*Весел будет праздник... звуки слез и горя, мести и борьбы...* — неточная цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Весенняя сказка» (1881–1882).

*«Позабытые шумным их кругом...»* (1880) — стихотворение С. Я. Надсона.

С. 617. *«Грядущее»* (1884) — стихотворение С. Я. Надсона.

*Только то, что грозой пронеслось над челом...* — цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Окрыленным мечтой сладкозвучным стихом...» (1883).

С. 618. *Я ушел в толпу... отклик и привет...* — из стихотворения С. Я. Надсона «Милый друг, я знаю...» (1882).

*Мы отдохнем...* — из пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня» (1896).

**ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ**

С. 621. *Училище Ровнякова* — см. примеч. к с. 592.

**СЕВЕР И ЮГ ИТАЛИИ**

С. 623. *Депретис* Агостино (1813–1887) — итал. полит. деятель, занимал пост премьер-министра Италии в нескольких кабинетах (между 1876 и 1887).

*Криспи* Франческо (1819–1901) — итал. полит. деятель, адвокат; премьер-министр Италии (1887–1891, 1893–1896).

С. 625. *Нотарбартоло* Эммануэле (1834–1893) — итал. полит. деятель, мэр Палермо (1873–1876), директор банка Сицилии (1876–1890).

*Полиццоло* Раффаэло — депутат парламента и член совета директоров банка Сицилии, причастный к покушению на Э. Нотарбартоло.

*«Северный курьер»* (СПб., 1899–1900) — ежедневная полит. и лит. газета.

**ИЗ ИТАЛИИ**

С. 625. *Турати* — см. примеч. к с. 354.

Пеллу Луиджи (1839–1924) — итал. генерал, полит. деятель правой ориентации; премьер-министр Италии (1898–1900).

С. 626. *Коломбо Джузеппе* (1836–1921) — итал. полит. деятель, один из лидеров партии правых, президент Палаты депутатов (1899–1900).

*Негри Христофоро* (1809–1896) — итал. писатель и полит. деятель; профессор госуд. права, ректор университета, сенатор, министр иностранных дел (1848–1849).

С. 627. *Нотарбартоло* — см. примеч. к с. 625.

#### ИТАЛЬЯНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

С. 628. *Франческо Паоло Микетти* (1851–1929) — итал. живописец, рисовальщик, гравер неаполитанской школы.

*Сегантини Джованни* (1858–1899) — итал. художник-пейзажист.

*Бионди* (Бьонди) Эрнесто (1855–1917) — итал. скульптор, получивший Гран-при Парижской всемирной выставки (1900).

С. 629. *Карраччи Аннибале* (1560–1609) — итал. живописец болонской школы.

*Бернини Джованни Лоренцо* (1598–1680) — итал. скульптор, архитектор, один из создателей стиля барокко; сын и ученик Пьетро Бернини (1552–1629).

*Сальваторе Роза* (1615–1673) — итал. живописец неаполитанской школы, актер, поэт и музыкант.

*Callot* (Калло Жак; ок. 1592–1635) — фр. гравер и рисовальщик, мастер офорта.

*Козимо II* (Медичи; 1590–1620) — герцог Тосканский, правитель Флоренции, меценат.

*Hogarth* (Хогарт Уильям; 1697–1764) — англ. живописец, график и теоретик искусства.

*Gillray* (Гилрей Джеймс; 1757–1815) — англ. график, гравер, мастер политической карикатуры.

*Rowlandson* (Роулэндсон Томас; 1756–1827) — англ. карикатурист, офортист и живописец.

*Тейя Казими́ро* (1830–1897) — итал. карикатурист.

С. 630. *Депретис* — см. примеч. к с. 623.

*Gandolina... настоящее его имя Vassallo* — Вассалло Луиджи Арнальдо, псевд. Гандолин (1852–1906), итал. писатель и журналист.

*Vamba... имя его Bertelli* — Бертели Луиджи, псевд. Вамба (1858–1920), итал. писатель и журналист.

«*Pasquino*» («Пасквильянт»), «*Don Chisciotte*» («Дон Кихот»), «*Fischietto*» («Свисток»), «*L'Asino*» («Осел»), «*Italia ride*» («Италия смеется») — итал. юмористические журналы.

*Galantara* (Галантара Габриелле; 1865–1937) — итал. карикатурист.

#### В МАСТЕРСКОЙ СКУЛЬПТОРА

С. 630. *Hasselriis* (Хассельриис Луис; 1844–1912) — дат. скульптор.

С. 631. *Елизавета Австрийская* (1837–1898) — императрица Австрии (1854–1898).

*Люгер* (Люэгер) Карл (1844–1910) — австр. полит. деятель, бургомистр Вены (1897–1910), руководитель Христиан.-социалист. партии, проповедовавшей, помимо прочего, антисемитские взгляды.

С. 633. *Софья Васильевна Ковалевская* (1850–1891) — математик, первая женщина — член-корреспондент Петербургской АН (1889).

*Леффлер-Каянелло* Анна Карлотта (1849–1892) — швед. писательница; в сотрудничестве со своим другом С. В. Ковалевской написала драму «Борьба за счастье» (1887).

«*Юлий Цезарь*» — трагедия У. Шекспира (1599).

*Бельман* Карл-Микаэль (1740–1795) — швед. поэт.

*Kierkegaard* (Кьеркегор Сёрен; 1813–1855) — дат. писатель, теолог и философ; считается предтечей и одновременно основателем экзистенциализма.

#### НА СТУДЕНЧЕСКОМ СЪЕЗДЕ

С. 633. ...*римские события, ознаменовавшие юбилей Бруно...* — о них Жаботинский писал в своей более ранней корреспонденции в той же газете (см.: *Вл. Ж.* Начало конца. Джордано Бруно // ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 261–262).

С. 634. *Ирредентист* — сторонник ирреденты, полит. и обществ. движения за присоединение к Италии пограничных земель, частично населенных итальянцами (XIX – нач. XX вв.).

*Regione Giulia* — область Фриули-Венеция Джулия (Юлийская Венеция; административный центр Триест), до 1918 г. принадлежала Австро-Венгрии, с 1920 г. — Италии.

С. 635. *Коломбо* — см. примеч. к с. 626.

#### ДОБАВЛЕНИЯ К СТАТЬЕ «В МАСТЕРСКОЙ СКУЛЬПТОРА»

С. 636. *Вейнберг* — см. примеч. к с. 216.

С. 637. *Хассельриис* — см. примеч. к с. 630.

С. 638. *Шпрогтман* Адольф (1829–1879) — нем. поэт, критик и переводчик; автор одной из первых биографий Г. Гейне.

*Карпелес* Густав (1848–1909) — нем. публицист, историк литературы; ряд его исследований посвящен Г. Гейне.

*Брандес* Георг (1842–1927) — дат. лит. критик, публицист, автор фундаментальной работы «Главные течения в европейской литературе XIX в.» (в 6 т.; 1872–1890).

С. 639. *Шарлотта Эмбген* (1800–1899) — сестра Г. Гейне.

#### ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ В ИТАЛИИ

С. 640. *Ферри* — см. примеч. к с. 354.

*Пантано* Эдоардо (1842–1932) — итал. полит. деятель, лидер республиканцев в конце 1890-х.

*Коломбо* — см. примеч. к с. 626.

*Камера* — Палата депутатов (Camera dei deputati) Королевства Италия.

*Пеллу* — см. примеч. к с. 625.

*Соннино* Сидней (1847–1922) — итал. полит. деятель, дипломат, журналист; министр финансов и министр казначейства (1893–1896); премьер-министр Италии (1906, 1909–1910).

*Криспи* — см. примеч. к с. 623.

С. 641. *Рудини* Антонио Старабба (маркиз де Рудине; 1839–1908) — итал. полит. деятель, принадлежал к правому крылу либералов; премьер-министр Италии (1891–1892, 1896–1898).

С. 642. *Росси* Анджело (1838–1913) — итал. полит. деятель, сенатор.

#### КООПЕРАЦИЯ КРЕДИТА В ИТАЛИИ

С. 643. *Воллемборг* Леоне (1859–1932) — итал. экономист и полит. деятель, министр финансов (1901–1903).

*Райффайзен* Фридрих Вильгельм (1818–1888) — австр. экономист, организатор первых кооперативов, касс взаимопомощи для поддержки крестьян в период экономических трудностей.

*Черрутти* Луиджи (1865–1934) — итал. катол. священник, основатель первой «катол.» сельской кассы.

*Луиджи Луццатти* (1841–1927) — итал. экономист и полит. деятель; премьер-министр Италии (1910–1911).

С. 644. *Шульце-Делич* Франц Герман (1808–1883) — нем. экономист, один из организаторов кооперативного движения в Германии.

#### ПАДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

С. 645. *Министерство* — см. примеч. к с. 358.

*Пеллу* — см. примеч. к с. 625.

*Камера* — см. примеч. к с. 640.

С. 646. *Криспи* — см. примеч. к с. 623.

*Джолитти* Джованни (1842–1928) — итал. полит. деятель, лидер Либеральной партии, неоднократно занимал пост премьер-министра Италии (между 1892 и 1921).

*Дзанаргели* Джузеппе (1826–1903) — итал. полит. деятель, премьер-министр Италии (1901–1903).

*Ругини* — см. примеч. к с. 641.

*Луццатти* — см. примеч. к с. 643.

*Коломбо* — см. примеч. к с. 626.

*Галло* Николо (1849–1907) — итал. полит. деятель, министр народного образования (1897–1898), президент Палаты депутатов (1900).

С. 647. *Бианкери* Джованни (1821–1908) — итал. полит. деятель; неоднократно избирался президентом Палаты депутатов.

#### ИТАЛИЯ И КИТАЙ

С. 647. *Сальваго Раджи* Джузеппе (1866–1946) — итал. дипломат, представлял интересы Италии в Египте, Китае, Сомали, Эритрее.

*Де Мартино* Джакомо (1849–1921) — итал. дипломат.

*Цунг-ли-Ямын* (точнее Цзун-ли-ямынь) — канцелярия по иностранным делам в императорском Китае.

*Ультиматум об уступке Сямэньской бухты* — в мае 1899 г. правительство Пеллу сделало неудачную попытку захватить китайский порт Сямэнь, что послужило причиной падения кабинета.

С. 648. *Боксеры* (ихэтуани) — члены китайских боевых организаций, регулярно занимавшиеся физическими упражнениями, которые напоминали кулачные бои. Восстание ихэтуаней против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая (1898–1901) было подавлено императором и европейскими державами.

С. 649. *Криспи* — см. примеч. к с. 623.

*Луццато* Ателлио (1852–1900) — итал. журналист, гл. редактор газеты «Трибуна» (1883–1900).

С. 650. *Фортуис* Алессандро (1842–1909) — итал. полит. деятель, премьер-министр Италии (1905–1906).

*Соннино* — см. примеч. к с. 640.

*Нази* Нунцио (1850–1935) — итал. полит. деятель, министр почт и телеграфов (1898–1899), министр просвещения (1901–1903).

*Джолитти* — см. примеч. к с. 646.

*Дзанаргелли* — см. примеч. к с. 646.

*Принетти Джулио* (1851–1908) — итал. полит. деятель, крупный промышленник; министр обществ. работ (1896–1898), министр иностр. дел (1901–1903).

*Висконти-Веноста Эмилио* (1829–1914) — итал. полит. деятель, маркиз, сенатор (с 1884), министр иностранных дел (1899–1901).

*Саракко Джузеппе* (1821–1907) — итал. полит. деятель, сенатор (с 1865); министр общественных работ (1887–1893), премьер-министр Италии (1900–1901).

*Ферри* — см. примеч. к с. 354.

*Нитти* — см. примеч. к с. 340.

*Панталеони* — см. примеч. к с. 227.

*Ломброзо* — см. примеч. к с. 48.

С. 651. *Fra Tommaso Gentili* — Томмазо Мария Джентили (1828–1888), итал. миссионер, автор книги воспоминаний «*Memorie di un missionario domenicano nella Cina*» (1887).

#### **STUDENTESCA. Из жизни русских студентов за границей. Очерк 1-й**

С. 652. *Юнгфрау, Эйгер и Монах* — горы в кантоне Берн.

*Оберланд* — центральная часть Швейцарии к югу от Берна.

С. 655. Тель Вильгельм — герой швейц. народной легенды и одноименной драмы Ф. Шиллера.

*Препарат Магжи* — см. примеч. к с. 419.

С. 656. *Штокгорн* — гора в Швейцарии.

#### **НОВЫЙ КУРС**

С. 657. *Саракко* — см. примеч. к с. 650.

*Пеллу* — см. примеч. к с. 625.

*Умберто I* (1844–1900) — второй король Италии (1878–1900); был убит анархистом.

*Феррарис* Маджорино (1856–1929) — итал. журналист и полит. деятель, сенатор, министр в нескольких кабинетах, директор римского издательства «*Nuova Antologia*» (1897–1926).

*Соннино* — см. примеч. к с. 640.

С. 658. *Криспи* — см. примеч. к с. 623.

*Луццатти* — см. примеч. к с. 643.

*Виллари* Паскуале (1827–1917) — итал. полит. деятель, историк; министр просвещения (1862).

*Рудини* — см. примеч. к с. 641.

*Принетти* — см. примеч. к с. 650.

*Джолитти* — см. примеч. к с. 646.

*Дзанаргелли* — см. примеч. к с. 646.

С. 659. *Каморра* — преступная организация, аналогичная мафии.

*Полиццо* — см. примеч. к с. 625.

#### **STUDENTESCA. Из жизни русских студентов за границей. Очерк 3-й**

С. 661. «*Ткачи*» (1892) — остросоциальная пьеса Г. Гауптмана о восстании силезских ткачей.

*Ормузг* — Ахура-Мазда, верховный бог персидского пантеона, олицетворение светлых начал, защитник всего доброго.

С. 662. *Дрюмон Эдуард Адольф* (1844–1917) — фр. полит. деятель и публицист, автор антисемитской книги «*Еврейская Франция*» (1886).

*Люэгер* — см. примеч. к с. 631.

С. 663. *Шафлох* (букв.: овечий грот) — альпийская пещера в окрестностях Берна.

*Тунское озеро* — озеро Тун в кантоне Берн (560 м выше уровня моря).

**БИБЛИОГРАФИЯ: К. М. Фофанов. Иллюзии**

С. 665. *Фофанов* Константин Михайлович (1862—1911) — рус. поэт.

С. 666. «*Восток и юг давно описаны, воспеты...*» — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).

С. 667. *Буренин* Виктор Петрович (1841—1926) — рус. лит. критик, фельетонист, поэт, драматург, ставший символом реакционной журналистики.

С. 668. «*Жизнь*» (СПб., 1898—1901) — еженедельный лит.-полит. журнал, орган легальных марксистов.

**БИБЛИОГРАФИЯ: П. Инфатьев. Блуждающий огонек**

С. 668. *Инфатьев* Порфирий Павлович (1860—1913) — рус. писатель, профессиональный революционер; был арестован за связь с действовавшей в Швейцарии плехановской «Группой освобождения труда»; написал воспоминания о петербургской тюрьме «Кресты».

«*Мальчик у Христа на елке*» — рассказ Ф. М. Достоевского (1876).

*Иловайский* — см. примеч. к с. 76.

**БИБЛИОГРАФИЯ: П. П. Гнедич. Купальные огни**

С. 670. *Гнедич* Петр Петрович (1855—1925) — рус. драматург, переводчик, историк искусства, театр. деятель.

С. 673. *Ключников* (Клюшников) Виктор Петрович (1841—1892) — рус. прозаик, автор антинигилистич. романов, проникнутых правосл.-монарх. тенденциями.

*Маркевич* Болеслав Михайлович (1822—1884) — рус. прозаик, публицист, автор антинигилистич. романов реакционно-охранительного характера.

**БИБЛИОГРАФИЯ: М. И. Дубинский (Полтавский). За дружеской беседой**

С. 674. *Дубинский (Полтавский)* Михаил Игнатьевич — рус. поэт и лит. критик.

...камень положит в ее протянутую руку... — парафраза строк: «И кто-то камень положил / В его протянутую руку» (из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Нищий»; 1830).

С. 675. *Сюлли-Прюдом* Рене Франсуа Арман (1839—1907) — фр. поэт, автор теоретической работы «Поэтическое завещание»; первый лауреат Нобелевской премии по литературе (1901).

**БИБЛИОГРАФИЯ: Н. Брешко-Брешковский. Мятая душа и другие рассказы**

С. 676. *Брешко-Брешковский* Николай Николаевич (1874—1943) — рус. писатель, журналист, худож. критик; после революции обосновался во Франции; в годы 2-й мировой войны служил в геббельсовском министерстве пропаганды.

*Акцизное управление* — см. примеч. к с. 404.

С. 677. *Скабичевский* — см. примеч. к с. 590.

**БИБЛИОГРАФИЯ: А. Л. Вольнский. Царство Карамазовых и Н. С. Лесков**

С. 677. *Вольнский* — см. примеч. к с. 578.



С. 679. «Северная пчела» (СПб., 1825–1864) — полит. и лит. газета. «Некуда» (1864), «На ножах» (1870–1871), «Соборяне» (1878) — романы Н. С. Лескова.

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — рус. лит. критик, публицист; умеренный либерал (в 1850-х), после крестьянской реформы 1860-х стал апологетом жесткого правительственного курса, с середины 1870-х занял консервативно-опозиционную позицию; отличался нетерпимостью в любых вопросах, будь то гимназическая реформа или судебная система.

Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874) — рус. журналист, филолог, профессор Моск. университета, способствовал проведению гимназической реформы.

Маркевич — см. примеч. к с. 673.

С. 682. *Иосифлянство* — течение в Русской православной церкви, ориентированное на сотрудничество с государством и влияние на общественную жизнь; названо по имени преподобного Иосифа Волоцкого (1440–1515).

«Зазубрина» — рассказ М. Горького (1898).

*Не поймет и не заметит... В нищете твоей смиренной?..* — цитата из стихотворения Ф. Тютчева «Эти бедные селенья, эта скудная природа...» (1855).

«Выбранные места из переписки с друзьями» — книга Н. В. Гоголя (1847).

С. 684. Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — рус. публицист, поэт, обществ. деятель, один из лидеров славянофильского движения.

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — рус. поэт, публицист, религ. философ, один из основоположников славянофильства.

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) — рус. публицист, филолог, славянофил.

#### **БИБЛИОГРАФИЯ. А. Н. Майков. Полное собрание сочинений**

С. 686. «*Есть речи — значенье...*» — стихотворение М. Ю. Лермонтова (1839).

С. 687. *Sturm u Drang* (буря и натиск) — лит. движение в Германии 70-х гг. XVIII в., проникнутое мятежным духом борьбы с традициями и культурой феодальной аристократии.

#### **НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ**

С. 688. Лейкин Николай Александрович (1841–1906) — рус. писатель-юморист, автор популяр. книги «Наши за границей» (1890).

С. 689. *Араньо* — см. примеч. к с. 32.

*Сотта Мокка* (или Sciuscia Мосса) — имеется в виду популяр. комический персонаж неаполитанского народного театра Шуша Мокка, он же Феличе Шушамокка, что можно перевести как «счастливый проstack».

*Ванька Рутюто* — одесский аналог Панча, Арлекина или Петрушки.

#### **РИМ**

С. 690. *Гольдони* Карло (1707–1793) — итал. драматург.

*Эрmete Новелли* (1851–1919) — итал. актер.

Дузе Элеонора (1858–1924) — итал. актриса, искусство которой получило всемирное признание. Успешно гастролировала в США, Южной Америке, России (1891–1892, 1908).

- Тина ди Лоренцо* (1872–1930) — итал. актриса.  
*Мариани Тереза* — итал. актриса.  
*Виталиани* Италия (1866–1938) — итал. актриса, двоюродная сестра Элеоноры Дузе.  
*Рейтер* Вирджиния (1862–1937) — итал. актриса.  
*Пеццана-Гвальтьери* Джачинта (1841–1919) — итал. актриса.  
*Дзаккони* — см. примеч. к с. 358.  
*Сальвини* — см. примеч. к с. 312.  
*Эммануэль Джованни* (1848–1902) — итал. актер.  
С. 691. «*Quo Vadis*» («Камо грядеши»; 1894–1896) — роман Г. Сенкевича (1846–1916).  
С. 692. «*Риголетто*» («*Le Roi s'amuse*») — драма В. Гюго «Король забавляется» (1830), послужившая лит. основой оперы Дж. Верди «Риголетто».  
«*Иоанн*» («*Johannes*», 1898) — пьеса Г. Зудермана «Иоанн Креститель» (см. примеч. к с. 484).  
*Дилло Ломбарди* (1858–1935) — итал. актер.  
*Ирма Граматика* — см. примеч. к с. 744.  
*Чезаре Росси* (1829–1898) — итал. актер.

**БИБЛИОГРАФИЯ. Я. Г. Гуревич. К вопросу о реформе нашей средней школы**

- С. 693. *Гуревич* Яков Григорьевич (1843–1906) — историк, педагог, основал учебное заведение под названием «Гимназия и реальное училище Гуревича» (1869) и журнал «Русская школа» (СПб., 1890–1917).  
С. 695. *Реформа Толстого–Каткова–Леонтьева* — гимназическая реформа (1871), отводившая первостепенное значение преподаванию древних языков.  
*Толстой* Дмитрий Андреевич (1823–1889) — рус. госуд. деятель, министр народного просвещения (1866–1880), министр внутренних дел (1882–1889).  
*Катков* — см. примеч. к с. 679.  
*Леонтьев* — см. примеч. к с. 679.  
*Делянов* Иван Давыдович (1818–1898) — рус. госуд. деятель, министр народного просвещения (1882–1898); проводил политику контрреформ: усиление церковного влияния в начальной школе, ограничение приема детей низших сословий в гимназии и евреев в средние и высшие учебные заведения, а также ограничил автономию университетов, препятствовал развитию женского высшего образования.  
С. 696. *Николаи* Александр Павлович (1821–1899) — рус. госуд. деятель, министр народного просвещения (1881–1882).  
С. 698. *Реальная гимназия* — гимназия с усиленным преподаванием математики, естественных наук и новых языков.  
«*Голос*» (СПб., 1863–1884) — ежедневная полит. и лит. газета.  
«*Вестник Европы*» (СПб., 1866–1918) — лит.-полит. журнал.  
С. 700. *Локк* Джон (1632–1704) — англ. философ и полит. мыслитель, основоположник либерализма.  
*Спиноза* Бенедикт (1632–1677) — голланд. философ, один из крупнейших рационалистов XVII века.  
*Спенсер* Герберт (1820–1903) — англ. философ и социолог, один из основоположников позитивизма.

**БУНТУЮЩАЯ РОССИЯ. Настроения российского общества**

С. 701. *...о студенческой демонстрации в Петербурге...* — речь идет о студенческой демонстрации у Казанского собора в Петербурге 4 марта 1901 г.; избивание демонстрантов казаками и убийство нескольких студентов вызвало в России широкую волну общественного протеста.

С. 703. *Николай II* (1868–1918) — последний российский император (1894–1917), сын Александра III.

*«Правительственный вестник»* (СПб., 1869–1917) — ежедневная газета, официоз Министерства внутренних дел Российской империи.

С. 704. *Бурши* — члены студенческих корпораций в Германии.

**РИМ**

С. 704. *Лев XIII* (до интронизации — Винченцо Джоакино Рафаэль Луиджи Печчи; 1810–1903) — римский папа (1878–1903).

*Орели* (Луиджи Орелья ди Санто Стефано; 1828–1913) — кардинал рим.-катол. церкви (с 1873), епископ Остии (с 1896), декан Священной коллегии кардиналов (с 1896).

*Парокки Лучидо Мария* (1833–1903) — кардинал рим.-катол. церкви (с 1877).

*Ледоховский Мечислав-Халка* (1822–1902) — кардинал рим.-катол. церкви (с 1875).

*Челезия Микеланджело* (1814–1904) — кардинал рим.-катол. церкви (с 1884), архиепископ Палермо (с 1871).

*Лев Скрбенский* (1863–1938) — кардинал рим.-катол. церкви (с 1901), архиепископ Праги (1899–1916).

С. 705. *Рамполла дель Тиндаро Мариано* (1843–1913) — кардинал рим.-катол. церкви (с 1887), гос. секретарь Святого Престола (1887–1903).

*Рутелли Марио* (1859–1941) — итал. скульптор.

**РУССКИЕ СТУДЕНТЫ: КТО ОНИ И ЧЕГО ХОТЯТ**

С. 707. *«Жизнь»* — см. примеч. к с. 663.

**РИМ**

С. 709. *Бюлов Бернхардт фон* (1849–1929) — герм. госуд. деятель, рейхсканцлер и министр-президент Пруссии (1900–1909).

*Дзанарделли* — см. примеч. к с. 646.

*Вильгельм II* (1859–1941) — герм. император и король Пруссии (1888–1918).

*Тройственный союз* (1882) — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии.

*...ни в Тунисе, ни под Агуей...* — начиная с Берлинского конгресса (1878), Италия стремилась получить Тунис, но была вынуждена уступить его Франции (1881); итал. армия потерпела поражение в битве при Адуа (Эфиопия; 1896).

*...ни в водах Сямэньской бухты...* — см. примеч. к с. 647.

С. 710. *Ирредентист* — см. примеч. к с. 634.

*Гульельмо Оберган* — см. примеч. к с. 339.

*Де Феличе-Джужффрида Джузеппе* (1859–1920) — сицилийский социалист, организатор союзов трудящихся.

С. 711. *Тринакрия* — в греч. мифологии остров Гелиоса, который обычно идентифицируют с Сицилией.

*Катания* — одна из провинций Сицилии.

**ТОЛСТОЙ — ЦАРЮ**

С. 712. *Александр III* (1845–1894) — российский император (1881–1894).

*Николай II* — см. примеч. к с. 703.

*Ходынская трагедия* — события 18 мая 1896 г. на Ходынском поле, когда во время раздачи царских подарков по случаю коронации Николая II возникла давка, в результате которой были затоптаны и покалечены тысячи людей.

*Ванновский* Петр Семенович (1822–1904) — рус. генерал, госуд. деятель; занимал посты военного министра (1881–1898) и министра народного просвещения (1901–1902).

С. 713. *Победоносцев* Константин Петрович (1827–1907) — рус. госуд. деятель, обер-прокурор Святейшего Синода (1880–1905); играл значит. роль в определении правительств. политики в области просвещения, нац. вопроса и др., один из инициаторов политики контрреформ.

*Сипягин* Дмитрий Сергеевич (1853–1902) — рус. госуд. деятель, министр внутренних дел (1900–1902); жестоко подавлял революционное движение, проводил политику русификации Финляндии.

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ<sup>1</sup>

- Агишев, владелец школы 75, 77–78  
Акимов (Энгель-Крон) С. М. 221, 739  
Аксаков И. С. 684, 760  
Александр III 712, 763  
Алексомати Н. X. 183, 736  
Алкивиад 108, 733  
Андерсен Г. X. 633  
Андреев Л. Н. 488, 499, 505, 750  
Андриевский А. А. 408, 746  
Антокольский М. М. 321, 741  
Антоновский А. П. 219, 739  
Апостолу И. 93, 192, 732  
Арамбуро А. 455, 748  
Аренский А. С. 61, 731  
Аристотель 436  
Арцимович (Арцымович) А. Ф. 207, 738  
Багров М. Ф. 90, 732  
Бакалович С. В. 15  
Бальмонт К. Д. 193  
Баржанская, пианистка 61  
Баррера К. 548, 752  
Барриентос (Баррьентос) М. 192, 737  
Барышев см. Мясницкий  
Барятинский В. В. 125, 734  
Баттистини М. 134–135, 145, 192–193, 734  
Бах И. С. 92  
Баччелли Г. 14  
Бёклин А. 439, 747  
Белинский В. Г. 583–584, 590  
Белльман К.-М. 633, 756  
Белоусов, гласный 424  
Бердяев Н. А. 333, 742  
Бернар С. 40, 730  
Бернарди А. А. 61, 731  
Бернини Дж. Л. 14, 629, 755  
Бертелли Л. (Вамба) 630, 755  
Бианкери Дж. 647, 757  
Бикерман И. М. 365, 367–370, 744  
Бионди (Бьонди) Э. 628, 755  
Блан Л. 467, 749  
Боборыкин П. Ф. 400, 745  
Боброва Э. Ф. 207, 211, 221, 737  
Бодиско, дворянин 147–148  
Боккаччо Дж. 303–305, 562, 741  
Боккерини Л. 61, 731  
Боккони Ф. 381, 744  
Бондарская, владелица магазина 287  
Бонини Ф. М. 80, 93, 732  
Борисов, актер 515  
Бородай М. М. 207–208, 220, 737  
Борриззи, актриса 692  
Бортневский А. И. 228, 739  
Брайнин А. Л. 207, 209, 215, 221, 738  
Брандес Г. 638, 756  
Брешко-Брешковский Н. Н. 676–677, 759  
Брун К. И. 209, 215, 738  
Бруно Дж. 317, 633  
Брюнетьер Ф. 467, 749  
Будилин см. Веккер  
Будкевич (Буткевич) Н. А. 443, 748  
Булгаков А. И. 588, 753  
Бунин И. А. 184  
Буренин В. П. 667, 759  
Буслаев Ф. И. 342, 743  
Буссенар Л. А. 275, 740  
Бутти Э. 14–15  
Бюлов Б. фон 709, 762  
Вагнер Р. 61, 215, 738  
Вальц, художник 459  
Вамба см. Бертелли  
Ванновский П. С. 712, 763  
Вассалло Л. А. (Гацдолин) 630, 755  
Ведницкая, актриса 185  
Вейнберг П. И. 216, 636–639, 724–725, 728, 738  
Веккер Б. Д. (Будилин) 393, 406, 745  
Велизарий М. И. 186, 314, 736  
Верга Дж. 340, 742

<sup>1</sup> Включает лиц, упоминаемых в текстах В. Жаботинского. Страницы примечаний обозначены курсивом.

- Вергилий 341, 450  
Вересаев В. В. 46, 291–292, 730  
Верещагин И. П. 47–48, 730  
Верн Ж. 275–276, 740  
Виллари П. 658, 758  
Вильгельм II 709, 762  
Вильденбрух Э. фон 137, 735  
Вильмессан И. де 574–575, 753  
Висконти-Веноста Э. 650, 758  
Виталиани И. 690, 761  
Владыкин, антрепренер 314  
Власов С. Г. 194, 737  
Власопуло, участник судебного процесса 284–285, 287, 289  
Вознесенский А. С. 83, 732  
Воллемборг Л. 643, 756  
Вольнский А. Л. 578–579, 583–584, 587–591, 677–684, 753  
Вульфийус, музыкант 92  
Вучина И. Ю. 396, 745  
Выбодовский 196  
Вьяльцева А. Д. 312, 741  
Гаврилов, певец 220  
Гагаенко В. А. 209, 215, 221, 738  
Газелле Г. 322–323, 742  
Гаккенберг Я. 288  
Галантара Г. 630, 755  
Галло Н. 646–647, 757  
Гандолин см. Вассалло  
Ганейзер Е. А. 34–35, 37–38, 729  
Ганский П. П. 460–462, 748  
Гарофало Р. 376, 744  
Гаршин В. М. 324, 742  
Гауптман Г. 484, 749  
Гашкевич (Гошкевич) В. И. 442, 747  
Гвальтьери см. Пеццана-Гвальтьери  
Гегель Г. В. Ф. 333, 742  
Гезиод (Гесиод) 435, 747  
Гейне Г. 553, 557, 630–632, 637–639, 662, 724–728, 747, 752, 756  
Гендель Г. Ф. 92  
Гермониус А. К. (Финн) 312, 393–394, 741  
Герниг, шулер 64  
Герцль Т. 435, 747  
Герцо-Виноградский П. Т. (Лозн-грин) 83, 394, 465–466, 589, 591, 732  
Гете И. В. 210, 341  
Гилрей Д. 629, 755  
Глебова М. М. 86, 89–90, 149, 732  
Глинка М. И. 106, 135  
Гнедич П. П. 670–673, 759  
Гоголь Н. В. 15, 102–105, 107, 117, 123–124, 128, 444, 451, 675, 684  
Головков Г. С. 460, 462, 564, 748  
Голомозенко, домовладелец 254–256  
Гольдони К. 690–691, 760  
Гольдштейн М. М. (Митяй) 137–138, 735  
Гомер 341–342, 344, 435, 518, 741, 743  
Гончаров И. А. 104  
Гоппенфельд А. 67, 239, 731  
Гораций К. Ф. 341, 344  
Горина, певица 220  
Горький М. 13, 15, 34–38, 238, 340, 426, 456–459, 465–466, 495, 532, 539, 682, 701, 716, 721–722, 729–730, 751  
Гофман Э. Т. А. 319, 741  
Градовский Г. К. 464, 749  
Грамматика И. 358–359, 692, 744  
Григорович Д. В. 100  
Григорьев А. А. 584, 685  
Грингмут В. А. 45, 47, 730  
Губернатис см. де Губернатис  
Гуковский М. Э. 467–470, 749  
Гуно Ш. 92  
Гуревич Я. Г. 693–696, 698, 700, 717, 761  
Гуттенберг И. 330  
Гюго В. М. 107–108, 216, 341, 692, 761  
Давингоф, дирижер 309–310  
Да Винчи Л. 629  
Дальский М. В. 511–513, 750  
Д'Аннунцио Г. 14, 560, 752  
Данте А. 341, 428, 610  
Дара-Владимиров Д. 418  
Даргомыжский А. С. 219  
Дарклэ (Даркле) Х. 128, 734  
Д'Арнейро М. 93–95, 118  
Де Губернатис А. 14  
Деледда Г. 340, 742  
Делли-Аббати А. 93, 194, 732  
Делянов И. Д. 695, 761  
Де Мартино Дж. 647, 757  
Демчинский Н. А. 109, 733  
Денисенко, помощник повара 62–63

- Депретис А. 623, 630, 754  
 Де Феличе-Джуффрида Дж. 14, 710–711, 762  
 Джентили Т. М. 651, 758  
 Джини И. 230, 234  
 Джиральдони Э. 80, 93, 118, 192–193, 732  
 Джованьоли Р. 14  
 Джолитти Дж. 646, 650, 658, 757  
 Дзаккони Э. 11, 14, 358, 690, 744  
 Дзанарделли Дж. 646, 650, 658, 709, 757  
 Дзуккарелли, профессор 14  
 Ди Лоренцо Т. 690–692, 761  
 Дмитриев, обществ. деятель 180–182, 420–424  
 Добролюбов Н. А. 584  
 Доброславин П. Д. 669  
 Добротворский П. И. 318–320, 741  
 Доде А. 464, 748  
 Дорошевич В. М. 165–166, 735  
 Достоевский Ф. М. 104, 438, 668, 683–684  
 Драго, гласный 420–423  
 Дрейфус А. 385, 522–523, 745  
 Дроз Н. 227, 739  
 Друзякина см. Менцер  
 Дрюмон Э. А. 662, 758  
 Дубельт, певица 106  
 Дубинин А. К. 393, 407, 745  
 Дубинский (Полтавский) М. И. 674–676, 759  
 Дузе Э. 11, 690, 760  
 Дынин, гласный 308  
 Дюдеван А. см. Санд  
 Дюкова А. Н. 149, 347–348, 735  
 Евреинов П. А. 539–540, 751  
 Елизавета Австрийская 631–632, 755  
 Ермилов, воришка 536–538  
 Жаколио Л. 275, 740  
 Жбанков Д. Н. 291–293, 295–296, 740  
 Жирон А. 594–595, 754  
 Заузе В. Х. 126, 183–184, 564, 734  
 Зброжек Ф. Г. 120  
 Зельдис Ф. М. см. Южанин  
 Знакомый см. Кауфман  
 Золя Э. 14, 144, 295, 385–387, 408–411, 559–560  
 Зудерман Г. 484, 692, 749–750, 761  
 Зутнер Б. 165, 736  
 Ибсен Г. 273, 315, 411, 468, 470–471, 484, 567, 733, 740, 741, 749, 751, 752, 754  
 Иванов А. А. 15  
 Иванов М. М. 193, 737  
 Иванов-Козельский М. Т. 187, 737  
 Изгоев А. С. 330, 742  
 Иловайский Д. И. 76, 668, 731  
 Инфантьев П. П. 668, 759  
 Кадымина Ю. 197  
 Казале, депутат 659  
 Калло Ж. 629, 755  
 Камбье Э. 44, 730  
 Кандинский В. В. 460–461, 748  
 Кант И. 333  
 Капуана Л. 340, 742  
 Кар А. 234  
 Карамазов, актер 363  
 Кармен Л. О. 83, 353, 732  
 Карпелес Г. 638–639, 756  
 Карраччи А. 629, 755  
 Кастелано, антрепренер 145, 192, 220  
 Катков М. Н. 679, 695, 697–698, 760–761  
 Кауфман А. Е. (Знакомый) 83, 125, 128–129, 134, 186–187, 284–286, 288–289, 392, 394, 507, 732, 734  
 Киселевич, антрепренер 470, 484, 487, 525, 528, 577–578  
 Кишиневский С. Я. 564, 752  
 Кликушан Б. 403–406  
 Ключников (Ключников) В. П. 672–673, 759  
 Кнейп С. 166, 736  
 Ковалевская С. 633, 755  
 Ковалькова (Ковелькова) Е. Г. 208, 211, 220, 738  
 Козимо II 629, 755  
 Коклэн-старший (Коклен-старший) Б. К. 136–137, 735  
 Коломбо Дж. 626, 635, 640, 646, 755  
 Колояини, депутат 650  
 Колумб Х. 633  
 Комиссаржевская В. Ф. 312, 529, 534–535  
 Константино Ф. 145, 192, 735  
 Коппе Ф. 144, 183, 297, 735  
 Корнев В. Ф. 126, 564, 734  
 Корецкая, певица 194  
 Коста А. 354, 743  
 Костанди К. К. 414, 564, 746

- Кошеверов А. С. 443, 577, 748  
Краевич К. Д. 333, 742  
Краснушкина Е. З. 16  
Кремортат-младший (Кримента-тор-младший), кассир 278–281  
Криспи Ф. 623–625, 640–641, 646, 649–651, 658–659, 754  
Крылов И. А. 110, 436, 729  
Кукушкин И. 26–27  
Купер Э. А. 221, 739  
Къеза (Къези), депутат 355–357, 626  
Кьеркегор С. 633, 756  
Кюй Ц. А. 183, 736  
Лабриола Ант. 10, 12, 340, 742  
Лабриола Арт. 13–14  
Лавуазье А. Л. 370, 744  
Ланге, балерина 208  
Лев XIII 704, 762  
Леви К. 275, 740  
Левин, музыкант 92  
Легодэ Р. 44, 730  
Ледоховский М.-Х. 704, 762  
Леже Л. 517  
Лейкин Н. А. 688, 760  
Леонтьев П. М. 679, 695, 760–761  
Лермонтов М. Ю. 52–53, 104, 327, 517, 686, 733, 742, 752, 759  
Лесков Н. С. 677–684  
Летурно Ш. 335, 742  
Леффлер-Каянелло А. К. 633, 756  
Линден А. фон дер 638–639  
Линецкий, читатель 131  
Литвицкий Ф. Н. 284–286, 740  
Локк Дж. 700, 761  
Ломбарди Д. 692, 761  
Ломброзо П. 373–374  
Ломброзо Ч. 12, 373–376, 650–651, 730, 743  
Лонго А. 61, 731  
Лоренцо см. ди Лоренцо  
Лориа М. 626  
Лосский В. А. 208, 738  
Лохвицкая М. 424–427, 717–721, 747  
Лознгрин см. Герцо-Виноградский  
Лубковская М. М. 91, 347–348, 476–477, 732  
Луццато А. 649, 658, 757  
Луццатти Л. 643–644, 646, 658, 757  
Люгер (Люэгер) К. 631, 662, 755  
Люксенберг, художник 564  
Люэгер см. Люгер  
Маури, антрепренер 691–692  
Мадджи, актер 690  
Мазини А. 192, 737  
Майков А. Н. 144, 183, 349, 667, 685–687  
Макаревич, кабатчик 61–64  
Макиавелли Н. 324  
Мальтус Т. Р. 293–294, 740  
Манассеина М. М. 51–52, 730  
Мариани Т. 690, 761  
Маркевич Б. М. 672–673, 679, 759  
Мартино см. Де Мартино  
Масленников В. И. 255, 424, 739  
Массими М. 192, 737  
Махин, певец 211  
Мейерхольд В. Э. 443, 577, 748  
Мельников И. А. 219, 739  
Меңдиороз, студентка 516  
Менотти Д. 218, 739  
Менцер (Друзякина) С. И. 216, 738  
Меньшиков М. О. 320, 741  
Мережковский Д. С. 132, 428, 734  
Метерлинк М. 264–265, 269, 271, 395, 411, 415–416, 433, 436, 495–496, 498, 500, 532, 746, 750  
Микетти Ф. П. 628, 755  
Минаев Д. Д. 553–554, 752  
Мироненко, скрипач 92, 144  
Митяй см. Гольдштейн  
Михайловский Н. К. 324, 742  
Мицкевич А. 324–325  
Модестов, профессор 15  
Молдавцев Г. 513, 750  
Монета Э. Т. 166, 736  
Монтефорте, пианист 106  
Мопассан Г. де 559–560, 669  
Моравский, обыватель 382  
Моргари О. 354, 356–357, 743  
Морзе С. 321, 741  
Мош Г. 166, 736  
Мунт Е. М. 443–444, 748  
Мюльфельд Л. 567, 752  
Мюссе А. де 144, 315, 349, 735  
Мясницкий (Барышев) И. И. 485, 749  
Наваррини Ф. 93, 193–194, 732  
Надсон С. Я. 301, 615–618  
Нази Н. 650, 757  
Найер, владелец магазина 287  
Негри Х. 626, 755



- Неделин Е. Я. 185, 187, 736  
Некрасов Н. А. 172, 615–616, 618, 665–667, 718, 740  
Немирович-Данченко В. И. 183, 729  
Николай А. П. 696, 761  
Николай II 703, 712, 714, 762–763  
Нилус П. А. 126, 459–460, 564, 734  
Нитти Ф. С. 340, 650, 743  
Ницше Ф. 26, 171, 334, 469  
Ничефоро А. 340, 743  
Новелли Э. 11, 14, 690–692, 760  
Новиков Я. А. 166, 736  
Новоспасская Н. К. 208, 216, 220, 738  
Нордау М. 12, 166, 736  
Нотарбарголо Э. 625, 627, 754  
Ноэ, социалист 354, 357–358  
Обердан Г. 339, 710, 742  
Онкен Г. 517  
Оре А. 92, 732  
Орелли (Ореля) Л. 704, 762  
Орленев П. Н. 314–315, 741  
Осипов Е. Г. 621  
Островский А. Н. 15, 449, 484  
Ошустович Ф. А. 194, 737  
Павленков Е. Ф. 363, 418, 744  
Падеревский И. Я. 106, 733  
Палицин (Палицын) И. О. 208–209, 738  
Панталеони М. 227, 340, 651–652, 739  
Пантано Э. 640, 756  
Парето В. 340, 743  
Парокки Л. М. 704, 762  
Пасхалова А. А. 149–151, 417–418, 496, 499, 500, 502–504, 507, 556, 735, 752  
Пекаторос Г. М. 409, 746  
Пеллу Л. 14, 625–626, 640, 642, 645–647, 657–658, 755  
Петров, певец 207, 209, 215  
Петровский, артист 61  
Пеццана-Гвальтьери Дж. 11, 14, 690, 761  
Пеццола, поэт 15  
Писарев Д. И. 438, 584, 590  
Писаревский (Шрайбер) Б. Е. 137, 735  
Питталута, участник студенческого конгресса 635  
Платон 435–436, 514, 700  
По Э. А. 261  
Победоносцев К. П. 713, 763  
Полиццола Р. 625, 659, 754  
Полтавский см. Дубинский  
Попов А. А. 564, 752  
Практикатель 490, 750  
Прево М. 176–177, 736  
Прейсман, изобретатель 141–142  
Прибик И. В. 61, 260, 307, 310–311, 731  
Принетти Дж. 650, 658, 758  
Пуччини Дж. 14, 194  
Пушкин А. С. 47, 52, 69, 100, 103–104, 172, 193, 219, 274, 301, 342, 349, 402, 590, 592, 665, 667, 675, 686, 718, 730, 733, 740  
Радвилович М. 212  
Райффайзен Ф. В. 643, 757  
Рамбод А. 517  
Рампола дель Тиндаро М. 705, 762  
Рахманинов С. В. 61, 106  
Рейтер В. 690, 761  
Решетников Ф. М. 541, 752  
Ригола Р. 354–356, 743  
Рид М. 275, 740  
Ридаль, актер 183  
Ристори А. 11  
Рицциони А. А. 15–16, 322, 742  
Ришпен Ж. 315, 741  
Ровняков А. П. 592–593, 596–597, 621, 753  
Рожков, лектор 586–587  
Роза С. 629, 755  
Розенталь Я. С. 599, 602  
Росси А. 642  
Росси Ч. 692, 761  
Росси Э. 11, 756  
Россов Н. П. 29, 729  
Ростан Э. 137–138, 731  
Роулендсон Т. 629, 755  
Роцин-Инсаров Н. П. 548, 752  
Рубинштейн А. Г. 61, 92  
Рудецкий, чиновник 122  
Рудин А. С. 641, 646, 658, 756  
Руднянский, участник судебного процесса 284–289  
Руссо Ж.-Ж. 170, 736  
Рутелли М. 705, 762  
Рябинин Т. Г. 204, 737  
Савина М. Г. 135, 187, 734  
Савонарола Дж. 490, 750

- Салтыков М. Ф. 434, 747  
Салтыков-Щедрин М. Е. 104, 186, 190, 428, 676, 686  
Сальваго Раджи Дж. 647–648, 757  
Сальвини Г. 312, 690, 741  
Сальвини Т. 11, 741  
Самарин Ю. Ф. 684, 760  
Санд Ж. (Дюдеван А.) 361, 744  
Сапулло, депутат 711  
Саракко Дж. 650, 657, 758  
Сведомские, братья 15–16  
Сегантини Дж. 628, 755  
Секарь-Рожанский А. В. 209, 215, 220–221, 738  
Селиванов Т. Н. 27–30, 59, 729  
Семирадский Г. И. 16, 321–325, 741  
Серао М. 340, 742  
Серебряков К. Т. 219, 739  
Сигеле Ш. 340, 743  
Сипягин Д. С. 713, 763  
Скабичевский А. М. 590, 677, 753  
Скрбенский Л. 704, 762  
Скриба см. Соловьев  
Смирнов И. А. 61, 394  
Собинов Л. В. 194, 737  
Соколовский А. 418, 549  
Соловцов (Федоров) Н. Н. 39, 86–91, 128, 149, 730  
Соловьев (Скриба) Е. А. 428, 747  
Соннино С. 640, 650, 657, 756  
Спенсер Г. 700, 761  
Спеццафумо, президент студенческого конгресса 635  
Спиноза Б. 700, 761  
Станиславский К. С. 27, 443, 476  
Сташевский, хулиган 262–263  
Степанов А. С. 15–16  
Степанов, актер 186–187  
Строева-Сокольская С. Т. 416–417, 434, 746  
Суворин А. С. 117–118, 315, 396, 733  
Супруненко И. Г. 59, 61, 144, 731  
Сюли-Прюдом Р. Ф. А. 675, 759  
Тартаков И. В. 168, 736  
Тассин В. А. 215, 738  
Тейа К. 629, 755  
Теннисон А. 440, 747  
Терещенко Н. 212  
Толескини, адвокат 357  
Толстой А. К. 517, 749  
Толстой Д. А. 695, 761  
Толстой Л. Н. 104, 175, 275, 295, 471, 484, 488, 707, 712–713  
Томская А. М. 209, 221, 738  
Трош, учитель 333  
Турати Ф. 354, 625–626, 743  
Тургенев И. С. 15, 83, 100, 104, 186, 464  
Тютчев Ф. И. 682  
Умберто I 14, 657, 758  
Умывакина А. 383–384  
Успенский Г. И. 186, 293  
Фармаковский В. И. 76, 731  
Федин В. 47–48  
Федоров А. М. 7, 184, 736  
Федоров Н. Н. см. Соловцов  
Федоров-Соловцов, сын Н. Н. Соловцова 89–90, 732  
Феличе-Джужффрида см. де Феличе-Джужффрида  
Фельдман, лавочник 224  
Фердман, певица 92  
Феррари Дж. 340, 743  
Феррарис М. 657–658, 758  
Ферреро А. 629  
Ферри Э. 10, 12, 354, 640, 650, 743  
Ферриани Л. 397  
Фидий 490, 750  
Финкельштейн, художник 564  
Финн см. Гермониус  
Фишер К. 467, 749  
Флобер Г. 344, 559, 669  
Фогаццаро А. 340, 742  
Фортис А. 650, 757  
Фострем А. 78–79, 128, 732  
Фофанов К. М. 665–668, 717–722, 759  
Франц Иосиф I, император 710  
Фульда Л. 363, 744  
Хайт, музыкант 92  
Хассельриис Л. 630–632, 637–639, 755  
Хмельницкий И. А. 408, 746  
Хогарт У. 629, 755  
Ходобай Ю. Ю. 342, 743  
Хомяков А. С. 684, 760  
Хоста, политический деятель 354  
Ценовский А. А. 61, 731  
Чайковский П. И. 135, 208  
Чамполи Д. 517, 751  
Челезия М. 704, 762  
Черемушная Н. 551–552

- Черный Э. В. 342, 743  
Черрутти Л. 643, 757  
Черткова, певица 106, 144  
Чехов А. П. 15, 34–35, 37–38, 340, 352, 426, 433, 460, 484, 532, 535, 721–722, 750, 754  
Чиж В. Ф. 163, 735  
Чистяков М. Б. 562, 752  
Чуковский К. И. 6, 8, 587, 753  
Шаляпин Ф. И. 194, 210–211, 218–220, 547–549, 737  
Шевелев Н. А. 209, 211, 738  
Шекспир У. 136–138, 342, 424, 439, 502, 511–513, 633, 662–663  
Шиллер И. Ф. 30, 341–342, 512, 569, 729, 749, 758  
Шницлер А. 58, 359, 395, 412, 444, 467, 731  
Шопен Ф. 106  
Шпицрут см. Грингмут  
Шрайбер см. Писаревский  
Штейн (Елизаветин) О. А. 435  
Штродтман А. 638, 756  
Шульце-Делич Ф. Г. 644, 757  
Щеглов, владелец собак 550–552  
Щедрин см. Салтыков-Щедрин  
Эвклид 700  
Эгиз Б. И. 460, 748  
Эмар Г. 275, 740  
Эмбден Ш. 639, 756  
Эммануэль Дж. 690, 761  
Энгельс Ф. 333  
Южанин (Зельдис Ф. М.) 180–181, 736  
Юз (Хьюз) Д. Э. 321, 741  
Яворская Л. Б. 125, 135, 154–157, 312, 321, 415, 734  
Якобсен Й. П. 467, 749  
Якунина А. 584–585  
Янчин И. В. 327, 742  
Bertelli см. Бертелли  
Callot см. Калло  
Galantara см. Галантара  
Gandolin см. Вассалло  
Gentili см. Джентили  
Gillray см. Гилрей  
Hasselriis см. Хассельриис  
Hogarth см. Хогарт  
Kierkegaard см. Кьеркегор  
Kruk 598–599  
Linden см. Линден  
Lévy С. см. Леви  
Moch см. Мош  
Pantaleoni см. Панталеони  
Rowlandson см. Роулендсон  
Vamba см. Бертелли  
Vassallo см. Вассалло

## СОЧИНЕНИЯ ВЛАДИМИРА (ЗЕЭВА) ЖАБОТИНСКОГО 1897–1902

### Библиографический указатель<sup>1</sup>

#### 1897

ИЗ ДЕТСКОГО МИРА: Педагогическая заметка / Вл. И. // Южное обозрение. Одесса, 1897. 11 сент. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 27–29.*

ЭДГАР АЛЛАН ПО / Вл. И. // Южное обозрение. Одесса, 1897. 12 окт. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 30–35.*

ВЗГЛЯДЫ СОВРЕМЕННЫХ БЕЛЛЕТРИСТОВ НА ВОСПИТАНИЕ / Вл. И. // Южное обозрение. Одесса, 1897. 19 окт. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 35–38.*

★ МЕМЕНТО: (Сонет Лоренцо Стеккетти) / Вл. И. // Южное обозрение. Одесса, 1897. 2 нояб. С. 9.

#### 1898

АРИЭЛЬ И ТАМАРА: Сказка / Вл. И. // Южное обозрение. Одесса, 1898. 27 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 38–43.*

АЛЬ-ДЖАНЕСКО: Цыганская легенда / Вл. И. // Южное обозрение. Одесса, 1898. 22 марта. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 43–47.*

МЫШОНОК: Из действительной жизни / Вл. Ж. // Одесские новости. 1898. 19 мая. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 48–51.*

ИЗ ШВЕЙЦАРИИ: Открытие национального музея / Вл. И. // Южное обозрение. Одесса, 1898. 19 июня. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 52–53.*

БЕРГЛИ: Оберландская легенда / Вл. Ж. // Одесские новости. 1898. 19 июня; 21 июня. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 55–60.*

ИЗ ШВЕЙЦАРИИ / Вл. И. // Южное обозрение. Одесса, 1898. 20 июня. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 53–55.*

ВСТРЕЧА С ЛУКЕНИ: Письмо в редакцию / Вл. И. // Одесские новости. 1898. 1 сент. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 71–73.*

НОРТИ: Этюд / Вл. И. // Одесские новости. 1898. 27 сент. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 60–63.*

ВО ДВОРЦЕ БОГДЫХАНА / Вл. И. // Одесские новости. 1898. 4 окт. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 63–66.*

ЭДЕЛЬВЕЙС: Оберландская легенда / Вл. И. // Одесские новости. 1898. 11 окт. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 66–70.*

★ ГОРОД МИРА: Древнее сказание / Эгал // Восход, СПб., 1898. Кн. 11 (нояб.). С. 142–144. Переиздано: Город мира / Altalena // Южные записки. Одесса, 1903. № 17 (16 мая). Стб. 708–710.

---

<sup>1</sup> Даты публикаций приведены по старому стилю для российских изданий и по новому — для зарубежных. Знаком ★ отмечены пьесы, стихи и переводы, которые составляют отдельный том ПССЖ.

ВО СЛАВУ НАУКИ: Этюд / Эгаль // Одесский листок. 1898. 3 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 73–75.

С ДОРОГИ. I–II / Эгаль // Одесский листок. 1898. 17 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 75–79.

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1898. 21 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 80–82.

ПИСЬМА ИЗ РИМА / Эгаль // Одесский листок. 1898. 26 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 82–85.

С ДОРОГИ. III / Эгаль // Одесский листок. 1898. 30 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 85–88.

ЧОЧАРА: Рассказ / Вл. Эгаль // Одесский листок. 1898. 3 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 88–93.

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1898. 4 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 93–94.

ПИСЬМА ИЗ РИМА. У русских художников. I. Братья Сведомские; II. Г-жа Краснушкина; III. Г-н Александров / Эгаль // Одесский листок. 1898. 6 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 95–100.

ПИСЬМА ИЗ РИМА. Против ножа / Эгаль // Одесский листок. 1898. 11 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 100–102.

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1898. 16 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 103–105.

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1898. 17 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 105–107.

ПИСЬМА ИЗ РИМА. У русских художников / Эгаль // Одесский листок. 1898. 20 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 107–109.

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1898. 22 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 109–111.

РИМ / В. Э. // Одесский листок. 1898. 25 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 111–113.

СВЯТКИ В ИТАЛИИ. «Мео»: Старая рождественская сказка / Вл. Эгаль // Одесский листок. 1898. 25 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 113–121.

ПИСЬМА ИЗ РИМА. 1898 год / Эгаль // Одесский листок. 1899. 1 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 122–125.

## 1899

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1899. 4 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 125–126.

РИМ. La malavita / Эгаль // Одесский листок. 1899. 10 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 126–129.

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1899. 17 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 129–130.

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1899. 18 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 130–132.

ДЛЯ «ДНЕВНИКА»: Рассказ / Вл. Эгаль // Одесский листок. 1899. 19 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 132–135.

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1899. 24 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 136–137.

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1899. 25 янв. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 137–139.*

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1899. 28 янв. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 139–141.*

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1899. 31 янв. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 141–142.*

РИМ. Из нравов клерикальной печати / Эгаль // Одесский листок. 1899. 2 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 143–145.*

ПИСЬМА ИЗ РИМА / Эгаль // Одесский листок. 1899. 8 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 145–147.*

ПИСЬМА ИЗ РИМА / Эгаль // Одесский листок. 1899. 10 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 147–149.*

КАРНАВАЛ В РИМЕ / Эгаль // Одесский листок. 1899. 14 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 150–153.*

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1899. 15 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 153–155.*

ПИСЬМА ИЗ РИМА / Эгаль // Одесский листок. 1899. 17 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 155–156.*

ПИСЬМА ИЗ РИМА / Эгаль // Одесский листок. 1899. 20 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 157–158.*

УЛЬРИХ: Очерк / Вл. Эгаль // Одесский листок. 1899. 22 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 159–163.*

РИМ / Вл. Эгаль // Одесский листок. 1899. 25 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 163–165.*

ПИСЬМА ИЗ РИМА / Вл. Эгаль // Одесский листок. 1899. 2 марта. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 165–167.*

РИМ / Эгаль // Одесский листок. 1899. 13 марта. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 168–170.*

ДУША И ТЕЛО / Вл. Эгаль // Одесский листок. 1899. 17 марта. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 170–178.*

ПИСЬМА ИЗ РИМА. Г-н Семирадский / Эгаль // Одесский листок. 1899. 17 марта. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 178–184.*

ПИСЬМА ИЗ РИМА. Римское гетто / Эгаль // Одесский листок. 1899. 3 апр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 184–188.*

БУРЯ: Рассказ / Вл. Эгаль // Одесский листок. 1899. 12 апр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 188–195.*

ПРАВДА: Притча / Вл. Эгаль // Одесский листок. 1899. 15 мая. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 195–199.*

КОТ-МУРЛЫКА. Н. П. Вагнер / В. Эгаль // Одесский листок. 1899. 2 июля. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 199–204.*

НИЦЦА LA BELLA: Одесская сказка / Вл. Эгаль // Одесский листок. 1899. 4 нояб. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 204–214.*

СЕВЕР И ЮГ ИТАЛИИ / А. З. // Северный курьер. СПб., 1899. 25 нояб. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 623–625.*

ПИСЬМА ИЗ РИМА / Эгаль // Одесский листок. 1899. 28 нояб. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 214–216.*

ПИСЬМА ИЗ РИМА / Эгаль // Одесский листок. 1899. 3 дек. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 216–218.*

- ИЗ ИТАЛИИ / А. З-ский // Северный курьер. СПб., 1899. 3 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 625–627.
- ПИСЬМА ИЗ РИМА / В. Эгаль // Одесский листок. 1899. 12 дек. 1899. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 218–220.
- ИТАЛЬЯНСКАЯ МАФИЯ / Вл. Ж. // Северный курьер. СПб., 1899. 14 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 221–225.
- ПИСЬМА ИЗ РИМА / Эгаль // Одесский листок. 1899. 19 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 226–227.
- ANNO SANTO. ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС / Вл. Ж. // Северный курьер. СПб., 1899. 19 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 228–231.
- ПИСЬМА ИЗ РИМА / В. Эгаль // Одесский листок. 1899. 30 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 231–234.

## 1900

- ПИСЬМА ИЗ РИМА. Итоги 1899 года в Италии / В. Эгаль // Одесский листок. 1900. 1 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 234–236.
- ПИСЬМА ИЗ РИМА. Мафия / Эгаль // Одесский листок. 1900. 13 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 237–240.
- ИТАЛИЯ В 1899 ГОДУ / Вл. Ж. // Северный курьер. СПб., 1900. 13 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 241–245.
- ПИСЬМА ИЗ РИМА / Эгаль // Одесский листок. 1900. 20 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 245–248.
- «ТОСКА» ПУЧЧИНИ. ДАНТЕ СО СЦЕНЫ / Вл. Ж. // Северный курьер. СПб., 1900. 21 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 248–250.
- НАЧАЛО СЕССИИ ПАЛАТЫ / Вл. Ж. // Северный курьер. СПб., 1900. 30 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 251–253.
- РИМ / В. Эгаль // Одесский листок. 1900. 31 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 253–254.
- «ПЕРЕВОСПИТАНИЕ» СИЦИЛИИ И ДЕЛО НОТАРБАРТОЛО / Вл. Ж. // Северный курьер. СПб., 1900. 4 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 255–257.
- ПИСЬМА ИЗ РИМА / Эгаль // Одесский листок. 1900. 10 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 257–259.
- НАЧАЛО КОНЦА. ДЖОРДАНО БРУНО / Вл. Ж. // Северный курьер. СПб., 1900. 11 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 259–262.
- ПЕРВЫЕ СТЫЧКИ. «QUO VADIS» / Вл. Ж. // Северный курьер. СПб., 1900. 27 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 263–264.
- ПИСЬМА ИЗ РИМА / Эгаль // Одесский листок. 1900. 29 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 265–267.
- ОБСТРУКЦИЯ / Вл. Ж. // Северный курьер. СПб., 1900. 4 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 267–269.
- ИТАЛЬЯНСКИЕ ХУДОЖНИКИ / А. З-ский // Северный курьер. СПб., 1900. 6 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 627–630.
- ПИСЬМА ИЗ РИМА / Вл. Эгаль // Одесский листок. 1900. 12 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 270–272.
- ОБСТРУКЦИОНИЗМ В ИТАЛИИ / Вл. Ж. // Северный курьер. СПб., 1900. 18 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 272–275.
- РИМ / Altalena // Одесские новости. 1900. 22 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 275–279.

НОВЫЙ РОМАН Д'АННУНЦИО. В ТЕАТРАХ / Вл. Ж. // Северный курьер. СПб., 1900. 31 марта. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 279–282.*

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1900. 3 апр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 282–285.*

ТЕАТР В РИМЕ / Altalena // Одесские новости. 1900. 6 апр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 285–289.*

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1900. 16 апр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 289–293.*

В МАСТЕРСКОЙ СКУЛЬПТОРА / А. З-ский // Северный курьер. СПб., 1900. 25 апр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 630–633.*

НА СТУДЕНЧЕСКОМ СЪЕЗДЕ / Вл. Ж. // Северный курьер. СПб., 1900. 26 апр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 633–636.*

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1900. 27 апр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 293–298.*

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1900. 1 мая. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 298–302.*

РИМ. Caffè Aragno / Altalena // Одесские новости. 1900. 4 мая. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 303–307.*

ЗАДАЧА: Вагонный рассказ / Altalena // Одесские новости. 1900. 6 мая. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 307–313.*

ДОБАВЛЕНИЕ К СТАТЬЕ «В МАСТЕРСКОЙ СКУЛЬПТОРА»: Ответ П. И. Вейнбергу / А. З-ский // Северный курьер. СПб., 1900. 13 мая. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 636–639.*

«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» НА РИМСКОЙ СЦЕНЕ / Altalena // Одесские новости. 1900. 14 мая. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 314–317.*

СИЛУЭТЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ СЦЕНЫ. I. Новелли и Дзаккони / Altalena // Одесские новости. 1900. 28 мая. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 317–321.*

РИМ. Новая палата / Altalena // Одесские новости. 1900. 28 мая. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 322.*

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ В ИТАЛИИ / А. З-ский // Северный курьер. СПб., 1900. 31 мая. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 640–642.*

КООПЕРАЦИИ КРЕДИТА В ИТАЛИИ / А. З-ский // Северный курьер. СПб., 1900. 3 июня. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 643–645.*

РИМ. Образцы «вырождения» / Altalena // Одесские новости. 1900. 4 июня. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 322–324.*

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1900. 5 июня. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 324–327.*

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1900. 10 июня. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 328–330.*

РИМ. Новое министерство / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1900. 19 июня. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 330–331.*

ПАДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА / А. З-ский // Северный курьер. СПб., 1900. 20 июня. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 645–647.*

ИТАЛИЯ И КИТАЙ / А. З-ский // Северный курьер. СПб., 1900. 5 июля. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 647–652.*

РИМ. Молодежь / Altalena // Одесские новости. 1900. 7 июля. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 332–335.*

РИМ. Убийство короля Умберто / Altalena // Одесские новости. 1900. 24 июля. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 335–340.*



- РИМ / Altalena // Одесские новости. 1900. 25 июля. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 340–342.*
- РИМ. Следы заговора / Altalena // Одесские новости. 1900. 26 июля. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 343–344.*
- РИМ. Следы заговора; Новый король; Другие сведения / Altalena // Одесские новости. 1900. 27 июля. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 344–346.*
- РИМ. Королева Маргарита / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1900. 29 июля. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 346–349.*
- РИМ. Скандал в палате; Другие известия / Altalena // Одесские новости. 1900. 31 июля. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 349–352.*
- СИЛУЭТЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ СЦЕНЫ. II. Джачинта П. Гвальтьери / Altalena // Одесские новости. 1900. 8 сент. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 352–354.*
- ГОРОДСКОЙ ТЕАТР. «Жизнь» И. Н. Потапенко / Altalena // Одесские новости. 1900. 18 сент. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 355–356.*
- STUDENTESCA: Из жизни русских студентов за границей. Очерк 1-й / Altalena // Одесские новости. 1900. 16 окт. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 652–657.*
- НОВЫЙ КУРС / А. З-ский // Северный курьер. СПб., 1900. 6 нояб. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 657–659.*
- ★ STUDENTESCA: Из жизни русских студентов за границей: [Поэма] / Altalena // Одесские новости. 1900. 14 нояб. Переиздано: Шафлох // Altalena. В студенческой богеме. [Одесса, 1903]. С. 7–13.
- STUDENTESCA: Из жизни русских студентов за границей. Очерк 3-й / Altalena // Одесские новости. 1900. 6 дек. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 659–665.*
- РИМ / Altalena // Одесские новости. 1900. 12 дек. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 356–359.*
- РИМ / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1900. 20 дек. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 359–361.*
- РИМ. Экс-депутат де Феличе / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1900. 22 дек. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 362–365.*
- НЕВЕЖА: Очерк / Altalena // Одесские новости. 1900. 23 дек. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 365–371.*
- РИМ. Сто лет после «Тоски» / Altalena // Одесские новости. 1900. 24 дек. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 371–374.*
- ОДНА МИНУТА: Рождественский рассказ / Altalena // Одесские новости. 1900. 28 дек. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 375–378.*
- РИМ. Разного рода бандиты / Altalena // Одесские новости. 1900. 29 дек. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 378–381.*

## 1901

- БИБЛИОГРАФИЯ. К. М. Фофанов. Иллюзии; П. Инфантьев. Блуждающий огонек; Ги де Мопассан. Полное собрание сочинений / А. // Жизнь. СПб., 1901. № 1 (январь). С. 253–256. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 665–669.*
- СИЛУЭТЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ СЦЕНЫ. III. Бенини / Altalena // Одесские новости. 1901. 1 январь. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 381–384.*
- РИМ. Новая опера Масканьи / Altalena // Одесские новости. 1901. 3 январь. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 385–388.*

РИМ. Экспедиция герцога Абрुццского / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1901. 8 янв. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 389–393.*

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 11 янв. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 393–396.*

РИМ / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1901. 17 янв. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 396–400.*

РИМ. Д. Верди / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1901. 20 янв. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 400–402.*

ОБ АКТЕРСКОЙ ОСЕДЛОСТИ: Письмо из Рима / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1901. 22 янв. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 402–406.*

РИМ / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1901. 29 янв. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 407–409.*

РИМ. Культурность или невежество? / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1901. 31 янв. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 409–413.*

БИБЛИОГРАФИЯ. П. П. Гнедич. Купальные огни; М. И. Дубинский (Полтавский). За дружеской беседой / А. // Жизнь. СПб., 1901. № 2 (февр.). С. 370–374. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 670–676.*

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 2 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 414–418.*

РИМ. История четырех нимф. Новая драма / Altalena // Одесские новости. 1901. 9 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 418–424.*

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 13 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 424–427.*

РИМ / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1901. 27 февр. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 428–430.*

БИБЛИОГРАФИЯ. Н. Брешко-Брешковский. Мятая душа и другие рассказы; А. Л. Вольтинский. Царство Карамазовых и Н. С. Лесков; А. Н. Майков. Полное собрание сочинений / А. // Жизнь. СПб., 1901. № 3 (март). С. 324–332. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 676–687.*

РИМ / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1901. 1 марта. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 431.*

РИМ. Уличная жизнь / Altalena // Одесские новости. 1901. 1 марта. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 431–436.*

★ МИНИСТР ГАММ (КРОВЬ): На сюжет «Sangue», dramma sociale di K. Lombardo: Пьеса в 3 карт. / Altalena // Одесские новости. 1901. 2 марта (веч. вып.); 3 марта (веч. вып.); 5 марта (утр. вып.); 5 марта (веч. вып.); 8 марта (веч. вып.); 9 марта (веч. вып.); 12 марта. Также отд. изд.: Министр Гамм (Кровь): В 3 карт.: На сюжет «Sangue», dramma sociale di R. Lombardo / Altalena. Одесса: Тип. «Одес. новостей», 1901. 64 с.

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 4 марта. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 437.*

РИМ / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1901. 6 марта. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 437–439.*

РИМ / Altalena // Одесские новости (веч. вып.). 1901. 7 марта. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 439–442.*

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 8 марта. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 442–443.*

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ / Владимир Altalena // Новости дня. М., 1901. 16 марта. — *ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 688–689.*

STUDENTESCA: Из жизни русских студентов за границей. Очерк 4-й: В Риме / Altalena // Одесские новости. 1901. 19 марта. Переиздано: Studentesca // Altalena. В студенческой богеме. [Одесса, 1903]. С. 14–24. — ПССЖ. Т. 1. С. 488–495 (напечатан более поздний вариант: *Via Montebello*, 48 // Жаботинский В. Рассказы. Париж, 1930. С. 67–77).

С БЕРЕГОВ ТИБРА / Altalena // Одесские новости. 1901. 25 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 443–446.

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 29 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 447–448.

РИМ / Владимир Altalena // Новости дня. М., 1901. 31 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 690–693.

БИБЛИОГРАФИЯ. Я. Г. Гуревич. К вопросу о реформе нашей средней школы / А. // Жизнь. СПб., 1901. № 4 (апр.). С. 348–353. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 693–700.

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 4 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 448–449.

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 7 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 449–452.

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 8 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 452.

LA RIVOLTA RUSSA: L'atteggiamento del pubblico in Russia [БУНТУЮЩАЯ РОССИЯ: Настроения российского общества] / Vladimiro Giabotinski // Avanti! Roma, 1901. 10 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 701–704.

РИМ / Владимир Altalena // Новости дня. М., 1901. 13 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 704–705.

COSA SONO E COSA VOGLIONO GLI STUDENTI RUSSI [РУССКИЕ СТУДЕНТЫ: КТО ОНИ И ЧЕГО ХОТЯТ] / Vladimiro Giabotinski // Avanti! Roma, 1901. 16 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 706–709.

РИМ / Владимир Altalena // Новости дня. М., 1901. 17 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 709–711.

TOLSTOI ALLO ZAR [ТОЛСТОЙ — ЦАРЮ] / [Без подписи] // Avanti! Roma, 1901. 17 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 712–714.

РИМ. Gabriele / Altalena // Одесские новости. 1901. 25 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 452–453.

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 1 мая. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 457–459.

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 3 мая. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 459–461.

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 4 мая. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 461–464.

УЧЕНИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА: Из школьных воспоминаний / Altalena // Одесские новости. 1901. 16 мая. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 464–468.

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 30 мая. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 469–471.

РИМ. Русская колония в Риме / Altalena // Одесские новости. 1901. 2 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 471–474.

РИМ. Между королем и нацией / Altalena // Одесские новости. 1901. 6 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 475–477.

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 11 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 478–480.

ПИСЬМА ИЗ РИМА. I. Аника-воин; II. «Travaso» / Altalena // Одесские новости. 1901. 13 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 480–485.

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 17 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 486–488.

НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛУ / Altalena // Одесские новости. 1901. 19 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 488–491.

НЕАПОЛЬ. На распустье / Altalena // Одесские новости. 1901. 19 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 491–495.

РИМ / Altalena // Одесские новости. 1901. 29 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 495–497.

ПИСЬМА ИЗ НЕАПОЛЯ. I / Altalena // Одесские новости. 1901. 31 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 497–504.

НЕАПОЛЬ. II / Altalena // Одесские новости. 1901. 8 авг. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 505–510.

ПИСЬМА ИЗ НЕАПОЛЯ. III / Altalena // Одесские новости. 1901. 15 авг. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 510–518.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 1 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 518–521.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 5 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 521–524.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 7 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 524–526.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 8 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 526–529.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 16 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 529–532.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 17 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 532–535.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 18 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 536–539.

ВСКОЛЬЗЬ. Дома и на чужбине; На «Д-ре Штокмане» / Altalena // Одесские новости. 1901. 19 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 540–543.

РУССКИЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1901. 20 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 543–544.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 21 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 544–548.

РУССКИЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1901. 21 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 548–549.

РУССКИЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1901. 22 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 549–550.

КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕР / А. // Одесские новости. 1901. 24 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 550–551.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 26 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 551–555.

РУССКИЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1901. 26 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 555–556.

- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 28 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 556–562.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 29 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 562–567.
- РУССКИЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1901. 1 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 567–568.
- РУССКИЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1901. 3 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 568–569.
- ВСКОЛЬЗЬ. «Уехали...» / Altalena // Одесские новости. 1901. 4 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 570–572.
- ПРИЕМ ИНОСТРАНЦЕВ В ИТАЛЬЯНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ / А. // Одесские новости. 1901. 7 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 572–574.
- РУССКИЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1901. 7 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 574–575.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 9 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 575–578.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 12 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 579–581.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 13 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 581–584.
- БИРЖЕВОЙ ЗАЛ / А. // Одесские новости. 1901. 13 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 584–585.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 15 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 585–587.
- ВСКОЛЬЗЬ. Госпожа Шапокляк / Altalena // Одесские новости. 1901. 16 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 588–591.
- РУССКИЙ ТЕАТР / Altalena // Одесские новости. 1901. 16 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 592–592.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 17 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 593–594.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 18 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 594–597.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 20 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 597–599.
- ВСКОЛЬЗЬ. О среднем сыне патриарха Ноя / Altalena // Одесские новости. 1901. 21 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 600–602.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 25 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 602–604.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 27 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 605–607.
- ГАСТРОЛИ А. ЗАНДРОК. «Аррия и Мессалина» / Alt. // Одесские новости. 1901. 29 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 608–609.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 29 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 609–613.
- ВСКОЛЬЗЬ. Сверхчеловек Репочкин / Altalena // Одесские новости. 1901. 30 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 614–616.
- ГАСТРОЛИ А. ЗАНДРОК. «Александра» Фосса / Alt. // Одесские новости. 1901. 31 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 617–618.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 31 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 618–622.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 1 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 622–625.

ГАСТРОЛИ А. ЗАНДРОК. «Гамлет» / Alt. // Одесские новости. 1901. 1 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 625–626.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 3 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 626–631.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 8 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 631–634.

ЧТО БУДЕТ С ГОРОДСКИМ ТЕАТРОМ. У К. В. Леонарда / А. // Одесские новости. 1901. 9 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 634–635.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 11 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 635–639.

ЧТО БУДЕТ С ГОРОДСКИМ ТЕАТРОМ. У В. И. Масленникова / А. // Одесские новости. 1901. 13 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 640–642.

НОВЫЙ ТЕАТР. «Женский вопрос» Балуцкого / Alt. // Одесские новости. 1901. 14 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 642–643.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 14 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 643–644.

НОВЫЙ ТЕАТР. «Заглоба сватом» Г. Сенкевича / Alt. // Одесские новости. 1901. 15 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 645.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 18 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 646–648.

НОВЫЙ ТЕАТР. «Золушка» Шуткевича / Alt. // Одесские новости. 1901. 18 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 648–649.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 20 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 649–652.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 21 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 652–656.

НОВЫЙ ТЕАТР. «Мазепа» Юлия Словацкого / Altalena // Одесские новости. 1901. 23 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 656–657.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 24 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 657–660.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 25 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 660–664.

ВСКОЛЬЗЬ. Господину А. Р., в Дрезден / Altalena // Одесские новости. 1901. 27 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 664–666.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 28 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 667–672.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 29 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 672–674.

ANTON SEKHOF E MASSIMO GORKI: L'impressionismo nella letteratura russa [АНТОН ЧЕХОВ И МАКСИМ ГОРЬКИЙ: Импрессионизм в русской литературе] / Vladimiro Giabotinski // Nuova Antologia. Roma, 1901. Vol. 96. P. 723–733. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 675–686.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 1 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 686–689.

- ВСКОЛЬЗЬ. Из римских очерков / Altalena // Одесские новости. 1901. 2 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 690–693.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 4 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 693–695.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 5 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 695–698.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 6 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 699–702.
- ВСКОЛЬЗЬ. Ради Бога! / Altalena // Одесские новости. 1901. 8 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 702–704.
- ВСКОЛЬЗЬ. Письмо к мамам / Altalena // Одесские новости. 1901. 9 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 704–708.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 13 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 709–711.
- ВСКОЛЬЗЬ. Харчевня студентов: Из римских очерков / Altalena // Одесские новости. 1901. 14 дек. Переиздано: Харчевня студентов // Altalena. В студенческой богеме. [Одесса, 1903]. С. 25–28. — ПССЖ. Т. 1. С. 483–488 (напечатан более поздний вариант: Траптория студентов // Жаботинский В. Рассказы. Париж, 1930. С. 57–65).
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 15 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 712–715.
- ГОРОДСКОЙ ТЕАТР / Altalena // Одесские новости. 1901. 15 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 715.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 18 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 715–722.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 19 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 722–725.
- ВСКОЛЬЗЬ. О литературной критике: Особое мнение / Altalena // Одесские новости. 1901. 20 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 725–729.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 21 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 729–732.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 24 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 732–736.
- ВСКОЛЬЗЬ. «Ради бога!» / Altalena // Одесские новости. 1901. 29 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 737–739.
- ВСКОЛЬЗЬ. Открытое письмо / Altalena // Одесские новости. 1901. 30 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 740–743.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1901. 31 дек. — ПССЖ. Т. 1. С. 541–549 (напечатан более поздний вариант: Белка // Жаботинский В. Рассказы. Париж, 1930. С. 157–169).

## 1902

- ВСКОЛЬЗЬ. Мираж / Altalena // Одесские новости. 1902. 1 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 21–24.
- ВСКОЛЬЗЬ. Заметки чужим стилем / Altalena // Одесские новости. 1902. 3 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 24–27.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 5 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 27–30.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 6 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 30–34.

★ ВСКОЛЬЗЬ. Из Эдгара По: [Стихи] / Altalena // Одесские новости. 1902. 8 янв.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 11 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 34–38.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 13 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 38–41.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 17 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 42–44.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 18 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 44–47.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 19 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 47–51.

ВСКОЛЬЗЬ. О сне / Altalena // Одесские новости. 1902. 20 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 51–53.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 21 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 53–58.

ВСКОЛЬЗЬ. Сцена-пролетка / Altalena // Одесские новости. 1902. 23 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 58–60.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОНЕДЕЛЬНИКИ ЛИТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА / А. // Одесские новости. 1902. 23 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 60–61.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 24 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 61–64.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 25 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 64–67.

ОТЦЫ И ДЕТИ / Altalena // Одесские новости. 1902. 26 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 67–72.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 27 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 72–75.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 29 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 75–78.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 30 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 78–81.

ХАДЖИБЕЙ / Altalena // Одесские новости. 1902. 30 янв. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 81–85.

ВСКОЛЬЗЬ. Имя Соловцова: Открытое письмо кому следует / Altalena // Одесские новости. 1902. 1 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 86–89.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 5 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 89–91.

В ЛИТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ / А. // Одесские новости. 1902. 6 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 91–92.

МАРИ Д'АРНЕЙРО / Altalena // Одесские новости. 1902. 7 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 93–95.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 9 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 95–99.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 10 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 100–102.



- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 12 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 102–105.
- В ЛИТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ / А. // Одесские новости. 1902. 12 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 106.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 13 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 107–108.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 14 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 108–110.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 17 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 111–117.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 19 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 117–120.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 20 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 120–123.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 21 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 123–125.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 22 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 126–128.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 24 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 128–130.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 26 февр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 131–132.
- ВСКОЛЬЗЬ. Питерские неопиты / Altalena // Одесские новости. 1902. 1 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 132–134.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 2 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 134–136.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 3 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 136–138.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 5 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 138–140.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 7 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 141–142.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 8 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 142–144.
- РУССКИЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1902. 11 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 145.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 14 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 146–148.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 15 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 149–151.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 16 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 151–154.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 17 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 154–157.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 19 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 157–160.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 21 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 160–164.

- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 22 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 165–167.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 24 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 167–170.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 25 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 170–175.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 27 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 176–179.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 30 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 180–182.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 31 марта. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 182–184.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 7 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 184–187.
- ВСКОЛЬЗЬ. Рыжие / Altalena // Одесские новости. 1902. 9 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 187–191.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 11 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 192–194.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 12 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 194–196.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 13 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 196–198.
- STUDENTESCA: Из жизни римских студентов / Altalena // Одесские новости. 1902. 14 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 199–204.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 17 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 204–207.
- ГОРОДСКОЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1902. — 18 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 207–208.
- ГОРОДСКОЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1902. 19 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 208–209.
- ГОРОДСКОЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1902. 20 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 210–211.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 20 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 212–215.
- ГОРОДСКОЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1902. 21 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 215–216.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 21 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 216–219.
- ГОРОДСКОЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1902. 21 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 219–220.
- ГОРОДСКОЙ ТЕАТР / А. // Одесские новости. 1902. 23 апр. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 220–221.
- ВСКОЛЬЗЬ. Ботаника / Altalena // Одесские новости. 1902. 9 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 221–223.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 12 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 223–224.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 14 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 225–227.

- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 15 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 228–230.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 16 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 230–234.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 20 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 234–238.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 21 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 238–241.
- МЕСТЬ И ПРАВОСУДИЕ / Altalena // Одесские новости. 1902. 23 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 241–248.
- ВСКОЛЬЗЬ. Patres conscripti! / Altalena // Одесские новости. 1902. 29 июня. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 249–257.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 2 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 257–260.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 5 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 260–264.
- ВЕЗЕТ — НЕ ВЕЗЕТ / Altalena // Одесские новости. 1902. 7 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 264–274.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 7 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 274–277.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 8 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 277–279.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 10 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 279–282.
- ★ ДРЕВЛЕ: Сказание о любви израильянина Зимри к язычнице Казве / Altalena // Одесские новости. 1902. 10 июля.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 16 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 282–284.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 17 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 284–289.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 18 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 289–290.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 21 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 291–297.
- ★ ГЕЙША: Картина для Überbrett'l / Altalena // Одесские новости. 1902. 24 июля.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 26 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 297–299.
- PRO DOMO MEA / Altalena // Одесские новости. 1902. 28 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 299–305.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 28 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 305–307.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 30 июля. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 307–309.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 4 авг. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 309–313.
- БИЧЕТТА / Altalena // Одесские новости. 1902. 5 авг. Переиздано: Бичетта // Altalena. В студенческой богеме. [Одесса, 1903]. С. 29–35. — ПССЖ. Т. 1. С. 495–500 (напечатан более поздний вариант: Бичетта // Жаботинский В. Рассказы. Париж, 1930. С. 79–85).

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 6 авг. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 314–316.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 9 авг. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 316–318.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 10 авг. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 318–320.

★ БАЛЛАДА: Из мелодрамы «Карменсита» / Altalena // Одесские новости. 1902. 11 авг.

ВСКОЛЬЗЬ. Генрих Семирадский / Altalena // Одесские новости. 1902. 14 авг. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 321–325.

ВСКОЛЬЗЬ. Беглецы Пинского болота / Altalena // Одесские новости. 1902. 17 авг. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 325–330.

О КНИГЕ / Altalena // Одесские новости. 1902. 18 авг. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 330–336.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 20 авг. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 336–338.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 21 авг. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 338–341.

ВСКОЛЬЗЬ. Аререрёттмен / Altalena // Одесские новости. 1902. 23 авг. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 341–344.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 29 авг. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 344–346.

ВСКОЛЬЗЬ. К сезону / Altalena // Одесские новости. 1902. 1 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 346–351.

ВСКОЛЬЗЬ. Маяк / Altalena // Одесские новости. 1902. 3 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 351–354.

ВСКОЛЬЗЬ. У соры Нины / Altalena // Одесские новости. 1902. 4 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 354–358.

ВСКОЛЬЗЬ. Честь актрисы / Altalena // Одесские новости. 1902. 5 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 358–362.

ВСКОЛЬЗЬ. Драма драмы / Altalena // Одесские новости. 1902. 6 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 362–365.

О СИОНИЗМЕ / Altalena // Одесские новости. 1902. 8 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 365–373.

ВСКОЛЬЗЬ. О криминалистах / Altalena // Одесские новости. 1902. 11 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 373–378.

ВСКОЛЬЗЬ. Желтые перчатки / Altalena // Одесские новости. 1902. 12 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 379–382.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 17 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 382–384.

ВСКОЛЬЗЬ. Его заслуги / Altalena // Одесские новости. 1902. 18 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 385–387.

ВСКОЛЬЗЬ. Бессилие / Altalena // Одесские новости. 19 сент. 1902. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 388–391.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 20 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 391–394.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 22 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 394–397.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 24 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 397–403.

- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 26 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 403–406.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 27 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 406–408.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 28 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 408–412.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 29 сент. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 412–415.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 1 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 415–418.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 3 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 418–420.
- ВСКОЛЬЗЬ. Все-таки о господине Дмитриеве / Altalena // Одесские новости. 1902. 6 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 420–424.
- МИРРА ЛОХВИЦКАЯ: Читано в Литературно-артистическом обществе / Altalena // Одесские новости. 1902. 8 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 424–427.
- ВСКОЛЬЗЬ. Хуже Иуды / Altalena // Одесские новости. 1902. 8 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 428–431.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 11 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 432–435.
- ВСКОЛЬЗЬ. О «Монне Ванне» / Altalena // Одесские новости. 1902. 12 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 435–441.
- ВСКОЛЬЗЬ. I. По дороге в Гренландию; II. В Гренландии / Altalena // Одесские новости. 1902. 20 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 441–447.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 20 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 447–448.
- ВСКОЛЬЗЬ. О левой ноге / Altalena // Одесские новости. 1902. 24 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 449–451.
- ВСКОЛЬЗЬ. Умер Днепр / Altalena // Одесские новости. 1902. 25 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 451–456.
- ВСКОЛЬЗЬ. Карьера Максима Горького / Altalena // Одесские новости. 1902. 26 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 456–459.
- ВСКОЛЬЗЬ. К концу выставки / Altalena // Одесские новости. 1902. 27 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 459–462.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 29 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 462–464.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 30 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 464–467.
- ВСКОЛЬЗЬ. Книга Гуковского / Altalena // Одесские новости. 1902. 31 окт. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 467–470.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 1 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 470–472.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 2 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 473–477.
- ВСКОЛЬЗЬ. Нужно ли счастье? / Altalena // Одесские новости. 1902. 3 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 477–480.
- ★ ВСКОЛЬЗЬ. Сказка: Из драмы «Ладно» / Altalena // Одесские новости. 1902. 5 нояб.

ВСКОЛЬЗЬ, О цинизме / Altalena // Одесские новости. 1902. 7 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 480—483.

ВСКОЛЬЗЬ, Открытие нового драматического театра / Altalena // Одесские новости. 1902. 8 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 484—487.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 9 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 487—490.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 10 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 490—493.

MITOLOGIA RUSSA [РУССКАЯ МИФОЛОГИЯ] / Vladimiro Giabotinski // Roma Letteraria. 1902. N. 21/22 (10—25 novembre). P. 391—393. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 517—522.

ВСКОЛЬЗЬ, Публика и «Монна Ванна» / Altalena // Одесские новости. 1902. 13 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 494—502.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 14 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 502—504.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 16 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 504—508.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 19 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 508—511.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 20 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 511—513.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 24 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 513—517.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 26 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 522—527.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 27 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 527—529.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 28 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 530—533.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 29 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 534—535.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 30 нояб. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 536—540.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 1 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 540—543.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 3 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 543—547.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 4 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 547—551.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 5 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 551—553.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 6 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 553—555.

ВСКОЛЬЗЬ, Наперекор / Altalena // Одесские новости. 1902. 8 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 555—562.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 11 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 563—565.

ЛИДОЧКИНА СИСТЕМА / Altalena // Одесские новости. 1902. 12 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 565—569.

- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 13 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 569–572.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 15 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 573–576.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 17 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 576–579.
- ВСКОЛЬЗЬ. Женщина и дама / Altalena // Одесские новости. 1902. 18 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 580–583.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 19 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 583–586.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 20 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 586–589.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 21 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 589–591.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 22 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 592–594.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 24 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 594–596.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 25 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 596–598.
- ВСКОЛЬЗЬ. Публика о кормилицах / Altalena // Одесские новости. 1902. 28 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 598–606.
- КОГДА-ТО / Altalena // Одесские новости. 1902. 29 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 606–614.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 29 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 615–618.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1902. 31 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 619–621.
- ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ / Altalena // Одесские новости. 1902. 31 дек. — ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 621–622.

## СОДЕРЖАНИЕ

От редакции .....	5
<i>С. Гардзонио. Жаботинский итальянского периода</i> .....	6
ПРОЗА. ПУБЛИЦИСТИКА. КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. 1902 .....	19
ПРОЗА. ПУБЛИЦИСТИКА. КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. 1899–1901 ...	623
<i>Л. Кацис. О псевдонимах раннего Жаботинского</i> .....	715
Примечания .....	729
Именной указатель .....	764
Сочинения В. Жаботинского, 1897–1902. Библиографический указатель .....	771



## ЗАМЕЧЕННЫЕ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ

### Том I

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
625	20 сн.	Под этим названием рассказ был опубликован...	Впервые рассказ был опубликован...
625	18–19 сн.	Окончательный вариант явился результатом переработки ранних рассказов «Studentesca» и «Amoureuse trinité», вошедших...	Близок по тематике ранним рассказам «Studentesca» и «Amoureuse trinité», вошедшим...

### Том II. Книга I

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
9	10 св.	непонятней	отдаленней
73	5 св.	1.11.1898	1.09.1898
227	1 сн.	Северный курьер. 14.12.1899	Одесский листок. 19.12.1899
414	12 св.	1863	1893

*Художественное издание*

**Жаботинский Владимир (Зеэв)**  
**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**  
**В ДЕВЯТИ ТОМАХ**

ТОМ ВТОРОЙ  
в двух книгах  
книга 2

Художник обложки *М. Драко*  
Художественный  
и технический редактор *Г. Емел*  
Корректор *М. Ходыко*  
Компьютерная верстка *Т. Пришепова*

Подписано в печать с готовых диапозитивов . . . 2010.  
Формат 60×90<sup>1/16</sup>. Гарнитура Балтика. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 49,5. Тираж 2000 экз. (1-й завод 1000 экз.) Зак.

ООО «МЕТ». ЛИ № 02330/0494383 от 16.03.2009 г.

Ул. Киселева, 20, 220029, г. Минск.

Отпечатано в ПРУП «Минская фабрика цветной печати».

ЛП 02330/0494156 от 3.04.2009 г.

Ул. Корженевского, 20, 220024, г. Минск.

ISBN 978-985-436-579-4



9 789854 365794